

БОРИС
ВАСИЛЕВСКИЙ

Человек
и его
мир
в русской
литературе



БОРИС ВАСИЛЕВСКИЙ

Сказка бывших времен

Документальное повествование

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1987

Путешествие с бозбращениями

1

Художник Анатолий Мешков

Василевский Б. А.

В19 Снега былых времен: Документальное повествование.— М.: Советский писатель, 1987.— 448 стр.

«Снега былых времен» — итог двадцатилетней работы писателя. Рассказ Бориса Василевского о Чукотке — это, скорей, документальное повествование о путешествиях, во время которых автора, по собственному его признанию, «интересует все»: экономика, история края, древняя и новая культура, судьбы людей...

4702010200—166
В 083(02)—87 17—87

ББК 84.Р7

© Издательство
«Советский писатель», 1987 г.

В Красноярске в самолете нашем обнаружилась какая-то неисправность. Посадку отложили на два часа, потом еще на два и еще, и наконец всех нас, магаданских, пристроили на другой самолет, следующий по сложному, пересекающему чуть ли не всю страну маршруту: из Сочи через Кемерово, Красноярск, Якутск, Магадан в Петропавловск-Камчатский. И вот, вместо того чтобы лететь сразу в Магадан, мы направились в Якутск, но никто не роптал — все-таки движение вперед, все-таки лучше, чем томиться неизвестностью в аэропорту... После Якутска, где стоянка, к счастью, была очень короткой, самолет пошел вдоль зари — не понять было, вечерней еще или утренней. Я долго смотрел на узкую алую полоску, и вдруг она как-то опрокинулась, приобрела перспективу и необратимо стала громадным, разлившимся у горизонта морем с темными островками облаков. В противоположной стороне все было сине и темно, а далеко внизу в сумерках лежала земля, тусклым светом отливали озера и реки. Речки были похожи на перекрученную алюминиевую проволоку, которую кто-то, не выпрямляя, неровно, где уже, где шире, расплющил молотком.

Все три салона дружно спали. Прислонились друг к другу мои соседи — студенты из строительного отряда. У каждого на куртке была нашита эмблема Магадана: золотой олень на красном фоне, внизу синие волны.

Спали бывалые северяне. В свободных креслах свернулись калачиком стюардессы. Угомонился наконец молодой человек, сидевший впереди. Он летел на Север с женой и маленьким ребенком, и, видимо, впервые. Был он возбужден, рассказывал окружающим, как брат — он в Гижиге работает, может, слышали?! — уговорил его на Север, и вот они едут, интересно, холодно там, нет? Он вообще-то мороз легко переносит, но вот мороз с ветром, это, наверное, да! Хорошо, он догадался, теплые вещи уже вперед выслал, посылками, авиационные не оплачивают, так он заранее,

простыми... И все привставал, все заглядывал в иллюминатор, гадал: «Это что же, Обь? Или уже Енисей?!»

Перед Магаданом все окончательно пробудились, и теперь не только новички, но и бывалые подолгу припадали к иллюминаторам: кончилась равнина, пошли черные, остроконечные сопки с пятнами снега у вершин, пересохшие ручьи в распадках, невысокие хребты с вылизанными ветром светлыми спинами. Начинался настоящий Север...

Почему, приступая к рассказу о путешествии, чаще всего, да почти всегда начинают с дороги? Не сразу — о цели, о результатах, но, как это ни избито, непременно о начале пути? Может быть, столь многое ожидаешь от этого путешествия, так обостряются — с готовностью видеть, выбирать, осознать — все наши чувства, что и самые первые минуты и незначительные подробности кажутся предзнаменованиями, полными смысла? А может, так овладевает, так безраздельно распоряжается тобой дорога, особенно здесь, на Севере, что наступает в конце концов момент, когда и ты должен овладеть ею и распорядиться: поездку на вездеходе по тундре — воспеть, охотничью избушку на берегу Мечигменского залива — помянуть с благодарностью, а вот о бесполезном десятичасовом сидении в Красноярске и писать не следовало бы, как будто и не было его вовсе...

Впрочем, было оно, это сидение, не совсем бесполезным — в зале ожидания я познакомился с человеком, несомненно повлиявшим если не на смысл и цель, то на характер моей поездки. Рядом с его креслом стоял кофр с кино- или фотоаппаратурой, а к пиджаку был приколот большой необыкновенный значок: кружок с исходящим из него конусом. «Всесоюзная конференция по распространению радиоволн», — написано было в кружке, а в конусе помещался силуэт Байкала и даже остров Ольхон был помечен. Этого было достаточно, чтобы заговорить. Собеседник мой — назову его Карл Янович — оказался человеком серьезной профессии: преподавал техническую электродинамику в одном из рижских институтов. Он ездил в Иркутск на конференцию, а возвращаясь, остановился на несколько дней в Красноярске — посмотреть город. Он кинолюбитель. Во время отпусков всегда путешествует... В свою очередь, я сказал, что тоже люблю путешествовать и сейчас вот еду, а потом буду писать об этом.

— Ехать, чтобы писать?! — воскликнул он с недоумением.— Что может быть нелепее? Я, знаете, не очень

доверяю таким описаниям. В них, как правило, нет никакой информации! Да какую информацию вы даете? — сердито спросил он меня.— Мимолетное впечатление от природы, несколько передовиков труда, лозунг дня... Вам кажется, что вы описали именно это место, но сравните с описанием другого и найдете почти то же самое. Только вместо снега будет песок, вместо холода жара, вместо шубы полосатый халат... Это мы помним из учебника географии!

Чтобы как-то оправдаться, я пробормотал, что немного знаком с местами, куда еду. Но он придирчиво переспросил и записал в блокнот мою фамилию.

Все это навело меня на серьезные размышления, и часто вспоминалось мне в моем путешествии строгое лицо Карла Яновича, и не оставлял некий подсознательный страх, что не дам я никакой информации. У меня даже появилась мысль — выделять то, что считал я безусловной информацией, курсивом. Например: *в поселке Билибино проживают ≈ двенадцать тысяч человек ± несколько десятков неучтенных бичей*. Однако, когда я закончил свой очерк, оказалось, что курсив только подчеркивал бы, как ее в самом деле мало, этой информации. Кроме того, уже имеющиеся сведения о Севере очень различны у разных людей. Когда я в первый раз вернулся с Чукотки, мне случилось рассказывать одному знакомому про моржей. Я долго и вдохновенно повествовал, какого они размера, какие у них клыки и какой вкус мяса, пока мой знакомый не спросил:

— А вот эти... ты говоришь, моржи... они что — в лесу?

Человек этот жил в противоположном Чукотке углу страны, высоко в горах, занимался тем, что делал отличное красное сухое вино, потом добавлял в него воды и сахара и спускался на маленький базарчик к морю.

— Ну, хорошо, ты не знаешь ничего про моржей, зато, наверное, все знаешь про вино. Зачем же ты его портишь! — укорил я.

Лицо его не дрогнуло, он только сказал:

— Завтра такой и такой вино торговать будем.

И назавтра я, с чувством неловкости за моих разомлевших от жары соотечественников, вынужден был наблюдать, как они недовольно морщатся, отведав настоящего вина, и как нахваливают разведенное. И я простили тому человеку незнание моржей.

И есть у меня несколько фанатиков-друзей, с которыми я вижусь очень редко, зато уж когда мы видимся, то до утра сидим, сблизив над столом головы, глядя друг на друга

влюбленными глазами, и разговор наш звучит примерно так:

- Амгуэма...
- Да-а... А Провидения?
- Эх! А Нуулгран, Сиреники, Чаплино...
- И Нутепельмен, и Биллингс, мыс Шелагский!
- И Лаврентия?
- М-м... Но Уэлен!
- Да, да, Уэлен...

Таким образом, написать о Севере, чтобы это было одинаково ново и интересно для всех, видимо, невозможно. И все-таки мне хочется рассказывать о нем, на это есть много причин, и вот одна из них: я там жил, и я люблю туда возвращаться, а рассказать — значит, вернуться еще раз...

2

В Магадане на проспекте Ленина выставлен стенд со схематической картой области. Расположенный не в центре этой громадной территории, а в юго-западном ее углу, сам Магадан очень напоминает штаб наступления на Север, с тремя отчетливыми направлениями. Два из них — вдоль Колымской трассы и побережья Тихого океана — как бы охватывают Север полукольцом, с запада и востока. Певек и Билибино — это лобовые удары...

От Магадана до Билибина полторы тысячи километров. Лететь туда можно напрямик на «АН-24», а можно и на неспешном «ИЛ-14» с посадками в Сеймчане, Омолоне, Черском. Я летел на «ИЛ-14». Комары, которых много было в Магаданском аэропорту, прекрасно чувствовали себя и в самолете, и с каждой посадкой их становилось больше. В Сеймчане очень интересное здание аэропорта, деревянное, с фигурно срезанными остатками бревен, с башенкой, напоминает старинный русский терем. Говорят, и в Омолоне было такое, да сгорело. Поселок Омолон относится уже к Билибинскому району. Здесь к самолету собралась большая толпа, видно было, что большинство никого не встречают, вернее, просто встречают самолет. Сбежались и собаки. Их знали, с ними разговаривали: «А-а, Серый, и ты пришел встречать...» В сторонке стоял давно не бритый мужчина, держа в руках небольшие оленьи рога. Время от времени он негромко и хрипло объявлял:

- Желающие приобрести рога — только в Омолоне!

После Омолона в самолете соблазнительно запахло вяленой рыбой.

...Оказалось, что самолеты садятся теперь не рядом с Билибино, а в тридцати километрах, в Кэпервееме. В прошлом году здесь закончили строительство нового аэродрома. Дорога к нему пока не готова. Отсюда пассажиры перелетают в поселок на «АН-2». Еще несколько минут полета над широкой долиной, над Кэпервеемом, по-чукотски — Росомашней рекой. Разреженная лиственничная тайга. Возле самой реки и на островах — плотная зелень ольхи, тополя, ивы. На берегу темного круглого озерца — палатка, кто-то рыбачит. Еще разворот — другая долина. Слева, на склоне сопки мелькает прямоугольное сооружение, непривычно внушительных для этих мест размеров. Билибинская атомная электростанция... И вот наконец Билибино — заполярный поселок, где живут геологи, энергетики, горняки.

Дома, как и во всех поселках, единственная дорога к которым — по воздуху, начинаются сразу от аэропорта. Длинные приземистые бараки, небольшие оштукатуренные домики, времянки — с них начиналось и до сих пор начинается Билибино. Прямая пыльная улица с дощатым тротуаром. И вдруг — как подарок — мостик через ручей и лес, настоящий лес с высокими частыми деревьями, густой травой. Неширокая, утоптанная тропинка и снова мостик. Вода в ручье цвета кофе, слабо разбавленного молоком, холодного такого кофе, с густыми разводами на поверхности. Разница в том, что разводы эти беспрестанно меняют очертания — течение в ручье быстрое. Это — Ка-ральвеем, на нем моют золото...

Детский садик с террасой, затянутой марлей, от комаров. Улицы, и каждая — словно этап застройки поселка: улица с двухэтажными домами, улица с трехэтажными, пятиэтажными... Ни одного распахнутого настежь окна, несмотря на июль, на более чем двадцатиградусную жару. Замазаны, заклеены навсегда, наглухо. Во многие окна встроены выступающие наружу деревянные или металлические ящики — естественные холодильники зимой...

Не знаю, как кто, а я ценю и всегда стремлюсь немного продлить эти первые минуты по приезде: никому еще не звонил, не представлялся, нигде не живешь — идешь себе по улице, примечаяешь подробности чужого и, кажется, неторопливого життя-бытья. Но вот устроился в гостинице, перевел дух, умылся с дороги, покурил, заглянул в блокнот, подошел к телефону, и... будто цепная ядерная реакция

началась на страницах блокнота: кому позвонить, с кем увидеться, куда поехать, что посмотреть...

С Валентином Васильевичем Лыковцевым, секретарем Билибинского райкома партии, мы условились встретиться ненадолго, куда-то он торопился. Валентин Васильевич в Билибино не так давно, а на Севере двадцать пять лет, раньше работал на Колыме. По профессии — горный инженер. В Билибино вообще много колымчан, это столь же естественно, как, например, то, что на Устье Илма много строителей из Братска... Пока он говорил по телефону («Да-да, через час...»), я разглядывал большую, почти во всю стену, карту района. Оранжевыми штрихами были обозначены линии электропередачи. Темно-зеленой полосой протянулся зимник Билибино — Зеленый Мыс. Красные прямоугольнички символизировали промышленные россыпи.

— Как я понял, вам нужен предварительный краткий обзор? — спросил Валентин Васильевич.— Район наш очень большой,— начал он, подойдя к карте.— По размежем второй в области, после Анадырского. Еще лет десять — двенадцать тому назад был чисто сельскохозяйственным, оленеводческим. Имелись здесь считанные поселки: Омолон, Аниуск, Илирней... Билибино вообще не существовало. В пятьдесят четвертом пришли геологи, обнаружили золото на Карапвееме. В пятьдесят девятом дали первый промышленный металл. Сейчас Билибинский район считается одним из самых перспективных в отношении развития горнодобывающей промышленности. Кроме золота есть у нас медь, и олово, и серебро, и ртуть... «Атомку» вот строим. Пока наша ДЭС соединена линиями электропередачи с Певеком и плавучей электростанцией «Северное сияние». Это, так сказать, малое кольцо. В перспективе закольцуется вся Чукотка: Билибино, Певек, мыс Шмидта, Иультин, Анадырь... Создание мощной энергетической базы — одна из узловых проблем Чукотки. В нашем районе дефицита электроэнергии сейчас нет, но с открытием и разработкой новых месторождений он может возникнуть...

Хотя Лыковцев старался говорить очень коротко, в час мы, разумеется, не уложились. На очередной звонок он попросил кого-то: «Поезжайте одни», — и объяснил мне:

— Собирался посмотреть дорогу в Кэпервеем. Из тридцати километров осталось отсыпать два... Дороги, транспортная связь — тоже проблема. Основная масса грузов идет к нам Северным морским путем, до Зеленого Мыса.

Там порт, склады, холодильники... Оттуда перевозим все машинами по зимнику. От продуктов до турбины для «атомки». Дорога жизни... В конце октября, как устанавливаются холода, снаряжаем первую автоколонну. Дня через три встречаем, с флагами, транспарантами, с оркестром. Для нас это праздник. Как полярники на льдине пароход или самолет ждут, так мы — эту колонну... И почти до мая перевозим грузы. Сотни тысяч тонн. Зимой — до шестидесяти градусов мороза, а где-нибудь на перевале и того больше. Триста километров по тайге и тундре. На полпути, в Погынде, для шофёров гостиница есть, там можно душ принять, поесть, отдохнуть... Как потеплеет, дорогу закрываем, чтоб не разбить. Что еще? В прошлом году в Кэпервееме построили аэродром для больших самолетов, теперь наладим сообщение непосредственно с материком. Грузовые самолеты уже летают, вчера, например, получили яйца из Москвы. Как только выстроим гостиницу, столовую, начнем принимать и пассажирские... Есть у нас «Орбита», второй год телевизор смотрим... И решенных, и нерешенных вопросов очень много, всего я вам и за несколько дней пересказать не смогу,— улыбнувшись, заключил Валентин Васильевич.— Посмотрите сами, поговорите с людьми...

Поблагодарив, я вышел на небольшую уютную площадь. Здесь, видимо, был центр. Неподалеку стоял дом с изображенной на торцовой стене сопкой и солнцем над ней. А в перспективе улицы виднелась настоящая сопка, и настоящее солнце, несмотря на вечер, было еще очень высоко. В Москве рабочий день только что начался, а здесь закончился, и на улицах было особенно оживленно. Так же, как и в любом другом городе, торопились люди по домам, в магазин, купить что-нибудь к ужину, вели детишек из садов и ясель, толпились возле бочки с квасом. Сверху бочки приделан был другой, небольшой бачок с водой для мытья кружек — местное усовершенствование. Продавщица пирожков у дверей гастронома стояла с букетом цветов — отмахивалась ими от комаров... И вот прошел мимо меня загорелый человек в брезентовой куртке, сапогах и в накомарнике с откинутой сеткой. В одной руке он нес лопату и кайло, а в другой промывочный лоток. И была в его походке упругость и легкость, появляющаяся обычно у человека к концу долгого перехода. Я посмотрел ему вслед, с легкой завистью к тому ощущению, которое он испытывал сейчас...

Я очень люблю ходить. Впервые обнаружилось это лет в пятнадцать, когда гостили я у родственников в Белоруссии. Впрочем, и раньше, совсем в детстве, это было в нашей деревне недалеко от Зарайска, где проводил я летние каникулы. С утра я брал корзину и уходил в лес, который знал наизусть.

Урожайное на грибы или неурожайное бывало лето, а я обязательно возвращался с полной корзиной, и бабушка с дедом (тонкие педагоги!) изумлялись: «Гляди-ка! Опять набрал! А мы уж думали, ты в Конаково ушел, за клубникой...» За лесом через поле был у нас Конаковский овраг, куда деревенские ребята ходили за ягодами. Но мне не нравилось ползать на животе по его склонам, я любил ходить. Теперь я так это понимаю. Тогда же — не понимал, мне казалось, что я люблю собирать грибы.

В Белоруссии было уже по-другому. Вдруг подступало неопределенное, но очень сильное желание идти — куда, зачем, я не знал. Но имелась у меня излюбленная дорога — по тропинке, вдоль мощенного булыжником шоссе, к Свислочи. На берегу ее, километрах в семи от поселка, была старая дубовая роща. Большие деревья стояли просторно, без всякого подлеска, под ними росла густая короткая трава. Туда я в таких случаях и шел быстрым целеустремленным шагом. Однажды весь день собиралась, никак не могла собраться гроза, и вот перед вечером, когда уж совершенно ясно было, что сейчас она все-таки разразится, и первые тяжелые капли прошли на дороге толстый слой пыли, внезапно, словно ждал, сорвался и я и пошел, объятый каким-то восторгом, почти не различая ничего за сплошной стеной дождя... Потом стал уходить и на два-три дня, клал в рюкзачок хлеб, ветчину, несколько огурцов или яблок, а чтобы не совсем даром идти — еще пару самодельных свинцовых гантелей...

Из последующих своих походов я очень люблю и помню сибирские. Мне было лет девятнадцать, я работал в экспедиции на Устье Иlima. Партия наша стояла в трех деревнях: Бадарме, Карапчанке и Невоне. Никакой ГЭС там еще не было — только думали, где ее строить. Зиму я жил в Бадарме, но каждую неделю, на воскресенье, уходил в Карапчанку — километров двадцать по замерзшей реке. Между этими деревнями, посреди Ангары, был длинный остров Сизов, и на нем тоже стояла деревня. Дорога долго шла вдоль этого острова, под самым берегом. На всем во-

круг лежал глубочайший снег, только невысокие песчаные обрывы были обнажены, там свисали стынившие древесные корни. Белое поле реки было не гладким, но с небольшими застругами, отчего казалось, что река как неслась стремительно, да так вдруг мгновенно и остановилась...

Теперь-то я не бежал вперед безотчетно, как раньше, — я мерно шел, мне кажется, я уже чувствовал, в чем прелесть ходьбы. Я размышил, я предвкушал всю неделю, как я пойду и буду размышлять. И никогда не размышлялось так прекрасно, не думалось так высоко о жизни, как во время того неспешного движения по реке в полном одиночестве. Иногда нагоняла меня лошадка, и кто-нибудь знакомый, из деревенских, кричал мне: «Падай!» — указывая на место в санях рядом с собой, но я отрицательно качал головой и махал ему с извиняющейся улыбкой. Саны быстро удалялись, а я возвращался к прерванной нити, к прерванному ходу... Нет, это не нить и не ход были, скорее мерное движение маятника, вперед-назад, и я возвращался к его ритму... Да, все дело, я думаю, было в ритме — мысли, сопок, моего движения, — постепенно они совпадали и, наверное, резонировали, потому что я вдруг убыстрял шаг или совсем останавливался в страшном волнении от озарившей меня истины о жизни, я с изумлением, будто впервые увидел, озирался вокруг, и все, что было замершим, застывшим, без намека на жизнь, преисполнялось ею, я ощущал гармонию бытия...

Ощущение это не удерживалось долго, но ради таких вот мгновений я и ходил. Причем понимал я уже, что походом моим лучше придавать вид естественный, подыскивать для них причину попроще... Однажды, придя в Карапчанку, захотел я дойти до Невона, «знакомого техника проводить», как объяснил я бабе Сане, моей квартирной хозяйке. До Невона тоже было двадцать километров: десять по реке до Лосят, где сейчас плотина, и десять по берегу, лесом. Через Толстый мыс, через Тонкий... Техник Володя очень мне обрадовался, раздобыл у своей хозяйки пару бутылок жуткого мутноватого зелья, мы сели и начали вспоминать, как весело жилось нам в Братске. «А здесь и пойти некуда, — сетовал Володя, — бурундуки с вечера позатворяются в избах, на улице темень, ни души...» В углу стояла его коечка раскладная, на ней спальник, рядом рюкзак. Мы все так жили. Правда, в Карапчанке у меня было получше, я помещался один за перегородкой, там можно было ночью свечу зажечь и читать, никому не мешая... И вот, посидев с Володей, вдруг я объявил, что, пожалуй, пойду.

— Ты что? — встрепенулся он.— Куда это ты пойдешь на ночь глядя??!

— Да обещал я бабе Сане сегодня вернуться,— сказал я, хотя никакого такого обещания не давал.

— Слушай, ты это брось,— подозрительно заговорил Володя.— Я понимаю... Я тебя еще в Братске понял, псих ты ненормальный!

— Нет, правда...

И я ушел.

Был февраль. Морозы стояли сорокаградусные. Холода я не ощущал, идти было даже жарко, только ноги мои в тяжелых валенках начали гудеть. Я решил отдохнуть. Недалеко от Тонкого мыса (где сейчас город Усть-Илимск) был неглубокий овражек. Я лег на его склоне, так, чтобы ноги оказались выше головы. Я вспомнил рассказы о том, как замерзают люди в пути. Смертельно уставшие, они вот так же ложатся или садятся отдохнуть и засыпают... Но мне-то это не грозило. Я не устал. Через несколько минут отольет кровь, и пойду. Я даже попробовал представить, что я смертельно устал и замерзаю. Я закрыл глаза, расслабился... Над моим холодеющим лицом нависал голый черный куст. «Ну, ладно, вставай»,— сказал я себе. И не встал... «Ну, полежи еще, считаю до десяти. Один, два, три... Все, поднимайся!» И — не встал. «Да ты что, смеешься?! А ну, вставай!» — крикнул я и вскочил...

В тот вечер был необыкновенный закат, а сразу вслед за ним — я даже принял его сначала за последний отблеск заката — северное сияние, и я к нему еще вернусь... Я только хочу сказать, что в разных местах в разное время по-разному ходилось. После Сибири, например, в университете, в нашей славной полутемной читальне на Моховой, я вдруг вскакивал, не дочитав фразы: невозможно было более сидеть среди этого обилия поглощаемых книг, мыслей, чужих, своих — казалось уж, что они испаряются, мысли, насыщают самый воздух читальни, поднимаются к ее высокому, в аллегорических фигурах потолку. Я выбегал на улицу и давал порядочный круг, обычно по Горького до площади Маяковского, отсюда по Садовой и до Восстания, потом по Герцену... Успокоения бег этот все равно не приносил, я возвращался в читальню, сдавал книги и ехал домой — с пустой совершенно, гудящей головой и каким-то тяжелым, неопределенным чувством...

Прекрасны зато были хождения (иначе и не назовешь) из Уэлена в Наукан, на самую оконечность Чукотского мыса. Уже не было внезапных и коротких откровений,

исчезла неопределенность, сопутствовали там всегда спокойствие и сосредоточенность...

4

Привыкнуть к светлым билибинским ночам приезжему человеку очень трудно. Давно бы надо спать, а уснуть невозможно. Сказывается, наверное, и разница во времени. Я встаю, смотрю в окно на прозрачный воздух над крышами домов, на облака, подсвеченные низким ночным солнцем, ложусь, ворочаюсь, снова встаю. Наконец одеваюсь и выхожу на улицу. Я иду к Григорию Сергеевичу Глазырину. За его зашторенным окном на первом этаже в глубине комнаты горит лампа — он тоже не спит в этот поздний час, работает. Но гостю он рад. Мы пьем чай, беседуем.

В невеликом холостяцком жилье Григория Сергеевича прежде всего привлекают внимание книги, обилие книг — в шкафу, на полках, на столе. Здесь литература по геологии, истории, искусству и, разумеется, художественная. Много поэзии.

По специальности Глазырин гидрогеолог, работает в Анийской комплексной геологоразведочной экспедиции. Почему-то наивно я полагал, что в стране золота каждый геолог — это нечто вроде прежнего старателя: обязательно с молотком, а то и с кайлом и лотком. Но гидрогеология?

— А проблема водоснабжения поселков, приисков? — спрашивает в свою очередь Григорий Сергеевич.— Порой же бывает необходимо не найти воду, а избавиться от нее. Всем этим занимаются гидрогеологи... Наконец, помимо основных методов поиска месторождений — шлихового, металлометрического, штуфного опробования — существует еще гидрохимический метод. С его помощью можно обнаружить месторождения свинца, цинка, меди, олова, серебра, золота, других металлов. Ибо все, что вода моет, она растворяет, пусть в незначительных количествах. Чем ближе к месторождению, тем выше концентрация... А в некоторых сильно заболоченных районах, где шлиховое опробование невозможно, наш метод эффективнее...

За время нашего недолгого знакомства с Глазыриным я убедился уже, что познания его обширны и разнообразны. Особенно сведущ он во всем, что касается Чукотки — ее истории, географии, экономики, культуры... Но здесь надо отступить, рассказать, как мы познакомились.

— Знаешь ли ты, что у нас открылся свой краеведче-

ский музей? — спросил меня мой давний приятель, билибинский журналист Валентин Колясников.— Есть здесь такой интересный Дед — Григорий Сергеевич Глазырин, он его общественный директор...

И я отправился в музей, небольшой домик недалеко от кинотеатра «Искра». Очень я люблю такие музеи — в них всегда стараются охватить историю от докембрия до последнего выпуска районной газеты. И делают это со страстью, с любовью к месту, в котором живут. Так и здесь — в маленькой, пока единственной комнатке музея чего только не было: кости искощаемых животных, чучела птиц, геологические образцы. Вот мрамор с Люпвеем, притока Малого Аниоя, каменный уголь с Большого Аниоя, кварцевый метасоматит с золотом и полиметаллами с ручья Весенний, стопятидесятикилограммовая друзья горного хрусталия, слепок золотого самородка «Юбилейный» весом более семи килограммов, поднятого на Каульвеем... На стене — расщепленные кухлянки и торбаса оленеводов.

Специальный стенд «Его имя носят поселок и район» посвящен выдающемуся ученому-геологу, одному из первооткрывателей колымского золота, Юрию Александровичу Билибину. В конце двадцатых годов Билибин, молодой тогда геолог, возглавил разведывательную экспедицию на Колыму и вместе со своими товарищами открыл несколько месторождений. Применяя геолого-статистический метод, он стал оценивать золотопромышленные перспективы Колымы. Числа получались такие, что, по словам самого Билибина, приводили его «в священный ужас». Но какими бы путями он ни пробовал их выводить, результат оказывался приблизительно одинаков. Впоследствии он получил название «Билибинского прогноза». Прогноз этот блестательно подтвердился... А сейчас промыочные приборы работают на ручьях и реках центральной Чукотки. У чукотского золота свои первооткрыватели, ныне лауреаты Ленинской премии геологи К. Иванов, С. Абаев, Д. Егоров, В. Логинов... Многочисленная армия геологических партий. Своя, не менее увлекательная и драматическая история открытия — история долгих неудач, пессимистических предсказаний и, несмотря ни на что, упорных поисков. Теперь, когда «оптимисты» все-таки победили, ощущаешь что-то очень справедливое и закономерное в том, что центр вновь открытой золотой страны носит имя Билибина. Ведь именно на Колыме накоплен тот богатейший опыт геологов, горняков, строителей, без которого были бы невозможны нынешние темпы освоения Чукотки...

Жена ученого, Татьяна Васильевна Билибина, живущая сейчас в Ленинграде, узнав о музее, прислала несколько старых колымских фотографий Юрия Александровича и два именных, принадлежавших ему значка — «Стахановцу золотоплатиновой промышленности» (№ 980) и «Отличник соцсоревнования. Наркомцветметалл» (№ 3603)... Пока я рассматривал экспонаты музея, пришел, можно даже сказать — прибежал, сам Дед Глазырин, бодрый, подвижный, чем-то, показалось мне, особенно возбужденный. Потом я понял: он всегда такой. Я, кажется, не сказал, что Дедом называют его меж собой старожилы Билибино, и думаю, что он не обидится на меня, если и я буду так называть. По крайней мере, он сам в дальнейшем поведал мне, что когда-то, еще на фронте, его величали Батей. Из-за бороды. Борода цела и до сих пор — не такая, как у большинства бородатой молодежи, не кургузая квадратная бороденка, но могучая густая бородища. Только теперь вскипает в ней проседь — как-никак Деду уже за шестьдесят...

...Глазырин поведал об идее создания народного краеведческого музея, зародившейся года два назад у кучки энтузиастов, о том, как был образован совет музея, как собирались, приводились в порядок, размещались экспонаты. Энтузиасты — это геологи, учителя, врачи района, работники строящейся Билибинской атомной электростанции.

Пока мы беседовали, то и дело забегали дети.

— Смотри, рога! Смотри, бивень мамонта! Вот бы таким по башке, а! — шептались они, своеобразно выражая свой восторг.— А вон, гляди, на фотографии Виталькин отец! Вон, возле вертолета...

— Это главные энтузиасты,— сказал Глазырин.— Приносят кто камень, кто значок. Иногда и ненужное, но берешь. Чтобы не обидеть... По сути — для них все это. Писал ведь Пушкин: «Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Неуважение оной есть постыдное малодушие». А здешним детям есть кем гордиться и кого уважать...

Сам-то Григорий Сергеевич тоже немало сделал для приумножения этой славы. На лацкане его пиджака значок с надписью «Магаданская область. Ветеран труда». Такой значок дается тем, кто отдал освоению Севера более двадцати лет. Участник Великой Отечественной войны, на Колыме он с сорок девятого, а здесь, в Билибино, с пятьдесят пятого года. То есть с самого начала, с палаток и маленько-

го рубленого домика, в шутку окрещенного геологами гостиницей «Золотой клоп». (Когда, во время опробований, сверкнут вдруг в лотках небольшие самородочки, на условном языке поисковиков это звучит так: «Появились клопы». Или: «Появились тараканы».) Исходил Глазырин пешком весь район, от побережья Ледовитого океана до верховьев Омона. И вопреки своей, в общем-то, очень не легкой судьбе, не утерял ни остроты ума, ни пристального интереса к окружающему, ни какой-то азартной торопливости в работе — всего, с чем впору только начинать жить человеку. Я знаю: у Григория Сергеевича идея — систематизировать все собранные им материалы и написать историю района. Над ней-то он и трудится светлыми билибинскими ночами, отгородившись от навязчивого солнца шторой и включив настольную лампу.

...Однако я засиделся у него, заслушался, пора уходить. Дед Глазырин провожает меня. Отмахиваясь от комаров, мы бредем по тихим, безлюдным улицам. Кругом тайга, а этим улицам так не хватает деревьев.

— Гидрооттайка... Вода уходит вглубь, деревья засыхают, — сокрушенно объясняет Григорий Сергеевич и вдруг предлагает:

— Сходим в парк?

Я соглашаюсь. Я понимаю: поход наш не бесцелен. Однажды вечером мы уже ходили туда, в дальний угол парка, к пересохшему руслу ручья. Оказалось, ручей чем-то мешал строителям и временно они перегородили его.

— С месяц как уже засыпали, а работы всего-то на два дня! Ну вот разве ей не нужна вода?! — негодовал тогда Дед, указывая на наклонившуюся лиственницу. — Или вот ему?! (Имелся в виду тополь). Завтра же пойду в посовет!

«Наверное, он уже был в посовете», — думаю я. Мы переходим мостик через Каульвеем. Минуем стадион. Комары свирепеют. Спустя несколько десятков метров нам открывается ручеек. Он полон. Пьет накренившаяся лиственница. Пьют топольки и остролистые чозении. Пьет трава. Некоторое время Дед молчал, удовлетворенный, смотрит, а потом мы возвращаемся домой.

5

Названия улиц в Билибино характерны для многих поселков Чукотки и Колымы: Геологов, Строителей, Мандрикова, Сеймчанская, 30 лет Советской Чукотки... Но есть

одно, вряд ли еще где в области повторяющееся, — улица академика Курчатова, человека, стоящего у истоков советской атомной промышленности.

В годы войны Курчатов возглавил группу ученых, работавших над «урановой проблемой». Тогда же, тридцать лет тому назад, был пущен первый экспериментальный атомный реактор. В 1954 году дала ток Обнинская атомная электростанция, положившая начало мирному использованию атома. Спустя еще десять лет введены были в эксплуатацию мощные энергетические блоки на Белоярской и Ново-Воронежской АЭС. Строительство атомных электростанций открыло перед энергетикой новые перспективы. На карте новостроек страны можно увидеть большие звезды на Кольском полуострове, в Крыму, под Ленинградом, Курском, Смоленском. Это — «атомки», которые начнут строиться или будут введены в действие в нынешней пятилетке. Стоит такая звезда и рядом с поселком Билибино.

Проектная мощность Билибинской АЭС сравнительно невелика — около 50 мегаватт. Однако для Магаданской области, для освоения дальневосточного Севера это — веха. Электроэнергия, которую даст «атомка», — условие дальнейшего развития производительных сил области, в частности Анюйско-Чаунского горнопромышленного района...

На улице Курчатова пока только три дома, пятиэтажных. Один строится, другой наполовину готов и половина же заселена, третий заселен полностью. Видимо, с учетом домов, которые еще будут построены, номер третьего дома — 8-й. Здесь на втором этаже разместилась дирекция строящейся Билибинской АЭС. Ее главный инженер, Евгений Владимирович Корягин, заучено и быстро перечислил мне:

— Постановление Совета Министров СССР о строительстве принято в январе шестьдесят шестого года. В декабре — первый взрыв. В шестьдесят девятом первый бетон... На третий квартал будущего года назначен физический пуск. На четвертый квартал — энергетический пуск...

— Извините, а что такое «физический пуск»? — неосторожно спросил я.

Тут на озабоченном лице Евгения Владимировича мелькнула какая-то идея.

— Сейчас я представлю вас одному из наших работников, и он вам все-все расскажет и покажет, — сказал он.

Пришел молодой светловолосый человек, Владимир

Кузьмич Абалакин. В Билибино он всего несколько месяцев, но «атомный» стаж у него серьезный. Закончил Московский энергетический, работал старшим инженером управления реактором на «Белоярке», потом в Алматинском институте ядерной физики, тоже на реакторе... Сюда приехал дежурным инженером станции. Хотя «атомка» еще не действует, но у дирекции сейчас много дел: окончательно определить объем пусконаладочных работ, заключить соответствующие договоры с подрядчиками, следить за качеством работы строителей...

Мы сели в машину и отправились настройку. Километрах в полутора от поселка, слева от дороги, на вершине сопки стояла «Орбита». Снизу, на фоне неба, она выглядела большим грибом со сдвинутой набекрень шляпкой. Я уже знал, что телевизионная станция — гордость билибинцев. Строили ее все организации на общественных началах: геологи сделали привязку, строители пробили дорогу... «Это же первая на Чукотке «Орбита»!» — не раз слышал я. И при этом добавляли с веселой усмешкой и как бы по секрету: «А в Анадыре-то появилась только год спустя, да и то, говорят, изображение у них плывет...»

От поселка до «атомки» — километра четыре-пять. Перед зданием электростанции на низком бетонном постаменте четыре огромные, тоже бетонные, буквы: БАЭС. Здание развернуто к дороге темной, не отделанной еще торцевой стеной с отверстыми проемами окон... После гигантских строек, таких, например, как Братская, Усть-Илимская ГЭС, после могучих кранов, шагающих экскаваторов, бесчисленных огней электросварок, немолчного рева машин, многотысячной армии строителей, после скал стометровых и плотин, перед которыми скалы эти кажутся игрушечными, вид строящейся БАЭС, может быть, даже и не впечатляет. Широкая, открытая долина. Посреди ее — скорее можно угадать по темно-зеленой полоске, чем различить, — ручей Понеургин. И на пологом склоне одной из сопок — прямоугольный дом, довольно большой, правда, метров тридцать высоты, метров сто длины. Главный корпус. Рядом сооружения поменьше: склад, мастерские, управление строительством... Людей почти не видно, все внутри.

Владимир Кузьмич находит где-то пару касок, надеваем их, входим в главный корпус. Вернее, это не главный еще, это вспомогательный, примыкающий к торцу главного, здесь разместятся химводоочистка, мехмастерская, санпро-

пускник и другие принадлежности большого атомного хозяйства. Мы поднимаемся по деревянным лестницам, переходим по узким мосткам, пролезаем в незакрытые стенные проемы. По всему зданию на разных отметках трудятся сейчас бетонщики, каменщики, кровельщики, монтажники. Мы идем, разумеется, в реакторный зал. Здесь уже готовы четыре глубоких бокса с толстыми стенками из специального бетона. В них и будут монтироваться реакторы. К монтажу первого уже приступили: на дне бетонного колодца лежит нижнее основание реактора — круглая стальная плита, усеянная множеством цилиндриков. Напоминает гигантскую терку. В других боксах временно размещены прочие части реактора: кожух, кольцевой бак биологической защиты. Наверху, у наших ног большое металлическое полукольцо — компенсатор. Он нужен на случай нагрева корпуса реактора при работе. Поверх колодца лежит защитное перекрытие из железосерпентинитового бетона, замедляющего нейтроны...

Мой спутник объясняет, как будет действовать реактор. Я слышу: «Обогащенный уран... нейтроны... коэффициент размножения... температура графита... поглощающие стержни... ксенон... «отравление» реактора (даже и такое может быть)...»

— Ну, а что все-таки означает «физический пуск»? — спрашиваю я.

Оказывается, физический пуск — это, приблизительно говоря, экспериментальная проверка реактора. Продолжается она примерно месяца три. Реакторы хоть и типовые — кстати, здесь того же типа, что и в Обнинске, — но каждый рассматривается физиками индивидуально. В это время к нему относятся не как к источнику тепла, а как к физическому нейтронному устройству... Только после такой проверки происходит пуск энергетический. Дальше все «просто». Энергия ядерного распада, совершающегося в реакторе, передается воде, превращает ее в пар, а энергия пара в турбогенераторе преобразуется в электрическую. Одной загрузки реакторов топливными стержнями хватит на полтора года работы. Для Билибино, куда всякое другое топливо, вроде угля или нефтепродуктов, доставлять сложно и дорого, это очень выгодно. Себестоимость киловатт-часа понизится в несколько раз.

Решит Билибинская «атомка» и другую проблему. Она задумана как теплоэнергоцентраль, и в этом ее отличие от других АЭС. Часть тепла, вырабатываемого в реакторе, пойдет на нагревание воды в теплотрассе «БАЭС — посе-

лок». Для обеспечения водой поселка и электростанции в трех километрах от нее, выше по ручью, сооружается сейчас водохранилище... Зимой над Билибино обычно висит черное облако — от многочисленных дымов из труб. Даже снег на улицах — закопченный. Как только начнут действовать не менее трех блоков электростанции, котельные в поселке прекратят свою работу. Станет в Билибино чисто...

Посмотрели мы с Владимиром Кузьмичом и машинный зал, и место, где будет диспетчерский пункт с пультами управления. На каждые два блока — один пульт. За каждым пультом — два обслуживающих его инженера... «Атомка» есть «атомка». В санпропускнике у всех эксплуатационников будет по два шкафчика — для домашней одежды и рабочей. Спецодежда — белая...

— Белая — это красиво! — сказал я.

В самом деле, будто из иллюстраций к научно-фантастическим романам, читанным в детстве: громадное окно, по эту сторону люди в легких светлых одеждах, по ту — какие-нибудь дикие скалы, или чудовища, или полярные льды...

— На белой одежде грязь виднее, — ответил Абалакин. — Грязь может быть «активной». Обнаруживает это специальный прибор. На одежде она не опасна, но лучше, конечно, ее удалить. Для «грязной» одежды предусмотрена спецпрачечная. Стирают там машины. Помои после стирки идут на спецводоочистку, потом «чистая» вода сливается, а «активные» остатки направляются в так называемый «могильник» — хранилище жидких отходов...

Мы вышли наружу. Под удивительно жарким для Чукотки солнцем млела долина. Горизонт замыкали сопки, не очень-то изменившиеся со времен мезозоя. Слоны их были утыканы тонкими, но старыми лиственницами. Возле невидимого ручья сгрудились тополя и чозении — реликты третичных эпох. Из мхов торчали валуны, окатанные ледником... «Все мы, еще со школы, — подумал я, — знаем о микромире, наслышаны, в большей или меньшей степени, о происходящих в нем процессах. И то, что человек научился управлять этими процессами, нас уже не впечатляет. Это нам кажется закономерным. Но что управлять он будет здесь, именно в этом месте, где лет двадцать — тридцать назад не только о движении атомов, а и вообще о каком-либо движении трудно было помыслить, — это, конечно, впечатляет... Пока... Потому что Билибинская АЭС — первая в нашей стране «атомка», строящаяся за Полярным

кругом. А возможно, наступит время, когда название — улица Курчатова — станет по Северу столь же распространенным, как, скажем, Геологов или Дежнева...»

6

...Да, так вот, был в тот вечер необыкновенный закат. Начался он, как обычно, с узкой полоски, но все разгорался, высвечивая на быстро темнеющем небе все новые облака. Я бежал — так говорят в Сибири про ходьбу — тайгою и, когда поднимался на сопку, видел закат сквозь деревья, потом спускался в глубокий распадок, где его отблески продолжали мерещиться мне на стволах. Я в самом деле почти бежал. Спустившись с Толстого мыса к реке, я увидел, что закат успел охватить весь горизонт — оставалось совсем немного, чтобы сомкнуться ему на востоке, — а сверху надвинулся до зенита. И все это происходило в полнейшей тишине — вот чтоказалось неестественным! Посреди Ангары торчали Лосята — три острова с высокими, не засыпанными снегом, каменными берегами. Сейчас, в сумерках, их обращенные к закату бока отливали багровым цветом. С противоположной же стороны была совершенная чернота... Никогда и нигде больше не видел я таких закатов. Потом я описал их в письме к своей школьной учительнице, и она ответила: «Я знаю, насмотрелась в эвакуации. Томящие тоской...» Но у меня тогда было другое ощущение — тревоги... Ниже, напротив Толстого, в отдалении друг от друга, стояли наши буровые. Выйдя на середину реки, я услышал отраженное сопками постукивание движков, увидел, как вспыхивают и меркнут лампочки, подвешенные над тепляками. Иногда дверь тепляка на мгновение растворялась, в светлом проеме мелькала темная фигура. Я представил раскаленную железную печку из бочки, чайник на краю с медленно обращающейся заваркой, знакомого коллектора, дремлющего на ящике для керна... Это как-то успокоило меня, я двинулся дальше.

Закат пошел на убыль, пламя его постепенно втягивалось в расщелину между сопками, словно кто-то понемногу подвертывал там горелку. Наконец и совсем стало темно, только высоко в небе никак не исчезало бледное розовое пятно. Свет был настолько прозрачный, что я несколько раз буквально протирал глаза. «Надо же, — бормотал я, — не хочет гаснуть!» Казалось мне, что это — все закат... Я то и дело оглядывался — пятно не меркло, а разгоралось. Сначала оно просто увеличилось и стало ярче, потом отчет-

ливо обозначились вертикальные складки, как на занавеси. И цвет возле складок был гуще. Теперь они ниспадали с высоты к горизонту. Я знал про северное сияние и представлял его многоцветным, переливающимся, движущимся на глазах, — здесь же не было переливов, была почти полная неподвижность тяжелой портьеры, которая вдруг слабо, еле заметно, как от дуновения, колыхалась. И цвет был один — красный, но многих оттенков...

Усталость и тревога мои прошли, я с легкостью шел мимо темного берега и уже угадывал вдали тусклые огни деревни. Придя к себе, я тут же, не раздеваясь, потянул бабу Саню на двор и спросил, что это. «Столбы, мой, столбы, — отвечала она. — Эчо, морозишишо-то, лицо так и береца!»

Зато на другой день наши экспедиционные рабочие в ответ на мои восторги объявили мне, что это все — туфта, это не сияние, а вот на настоящем Севере — это сияние, да!.. От них я и наслушался в те времена разговоров про Лену, Колыму, Магадан... Знакомые по урокам географии, абстрактные эти наименования звучали в их устах по будничному доступно. «Доеезжаешь на поезде до Усть-Кута, оттуда первым же пароходом сплавляешься до Якутска, из Якутска самолетом в Берелех, а там-то по трассе, совсем рядом... Но была в этой будничности, в этой небрежности упоминания своя, как я понимал, тайная гордость: «Вот я там был, прошел, а поди-ка ты побывай!» И возникали споры:

— Да что твой Оймякон?! Летом жарища, а зимой сала с маслом нажрешься, так и в фуфайке не замерзнешь. На улицу выходишь, будто сто грамм принимаешь...

— А ты про дождь с туманом и ветром слышал?! Идет человек по тундре, из сил выбьется и замерзает. От переохлаждения, в июле, понял?!

— Колыма, Колыма... а вот Яна!

У каждого был свой Север — в воспоминании, и Север этот оказывался самым истинным, самым северным из всех... А сходились в одном: что эта, самая глухая в ту пору, срединная часть Ангары, с несколькими деревушками в тридцати — сорока километрах друг от друга, с единственной дорогой — по реке: зимой на санях, летом на лодке, и даже с сиянием, — не Север. Впоследствии-то, вспоминая такие разговоры, я был уверен, я прямо слышал, как кто-нибудь из этих же хулителей, выбравшись на трассу и соображая, куда ему теперь податься, на запад или восток, говорил случайному попутчику: «А что твой Братск

(или — Заярск, или — Тайшет)? Вот я на Устье Илма работал...» Но тогда, после Устья, с каждым новым путешествием я забирался все дальше, все севернее и одновременно восточнее — Якутия, Магадан, Чукотка, пока и мне наконец не открылся мой настоящий Север, треугольничек земли, отсеченный ствосьмидесятым меридианом, так что на карте мира его приходилось печатать дважды: в правом и левом верхних углах... Но дело, конечно, не в географии. Уэлен, например, даже не за Полярным кругом находится — Полярный круг от него в нескольких километрах, в море. Дело в ваших собственных ощущениях, бояться по каким приметам, но безошибочно определяющих: не Север, не Север, еще не Север... стоп, Север!

Я не забуду, как в шестьдесят четвертом году, после университета, впервые приехал в Уэлен, на учительскую работу. Перед тем я попал в Лаврентия, районный центр, где как раз проходило августовское (почему-то это слово произносили с ударением на «о») совещание учителей. Заворонь говорил о каких-то проблемах, с которыми я еще не сталкивался, и задачах на новый учебный год. Мне было неинтересно, я смотрел в окно на близкие сопочки. По бурым их склонам носились стаи собак, справляли осенние свадьбы. Поселок мне не понравился. Стоял он на берегу широкого скучного залива. Несколько длинных приземистых бараков — первые, видно, постройки — вытянулись в ряд, остальные дома были раскиданы кругом без всякой системы. Плавные сглаженные очертания невысоких окрестных сопок навевали какое-то уныние. Очень даже может быть, что разочарование это было естественной реакцией: я ожидал увидеть на Севере нечто необыкновенное...

До начала учебного года оставалось всего дня три, погода была нелетная, и уэленские учителя отправились домой на вельботе. Мне, как одетому наиболее легко, заворонь дал свою зимнюю шапку и брезентовый плащ с капюшоном. В заливе было сравнительно спокойно, но едва миновали мы плоский мыс с решетчатой пирамидой маяка и вышли в море, как начало нас подбрасывать. Команда поставила брезентовые борта от брызг. На руле сидел пожилой эскимос невысокого роста. Это был Утоюк, председатель уэленского сельсовета. Спустя два года он погиб — в день выборов понес на Науканскую полярку urnu для голосования. Погода была плохая, слегка мело. Перед Науканом есть так называемая Долина смерти, в которой сходятся несколько распадков. Зимой там очень часто пуржит, даже когда в округе тихо. Утоюк, видно, заблудился

дился в белой мгле, повернул не в тот распадок и пошел в противоположную Наукану сторону. Охотники нашли его замерзшим в тундре через два дня. Он прошел километров сто. Его замело, но обтянутый красной материей ящик лежал у него на груди и далеко был виден на белом снегу...

Тогда же я не слыхивал еще о Наукане, о Долине смерти, не знал и Утоюка — я только поразился его выносливости: мы плыли часов четырнадцать, и все это время он молча и неподвижно сидел у руля не сменяясь. Зато моторист, эскимос помоложе, был весьма оживлен, особенно в начале пути. Поскольку я сидел рядом с ним, он избрал меня своим слушателем, спел мне до обидного неуместную в этих краях песенку: «На далеком Севере эскимосы бегали...» — и предложил махорки, пожевать...

По дороге мы недолго остановились в Нуунямо, небольшом селении надалеко от Лаврентия. Здесь разделявали сразу двух китов. Разделка шла давно, скелеты были почти обнажены. Издалека можно было подумать, что строили большую лодку. Я не берусь описывать и сравнивать с чем-либо запах разделываемого кита, это и невозможно, я приложу к нему только один весьма субъективный эпитет: повелевающий. Есть множество запахов, приятных и неприятных, которые мы обоняем незаметно для себя, почти не отдавая себе в том отчета, но этот запах именно повелевал не только немедленно заметить, но и тут же определить свое отношение к нему. Он как бы говорил: «Ты не отделаешься уклончивым «можно терпеть», тут сразу — или принять, или не принять, но учти: если ты надеешься полюбить этот берег без меня, тебе это не удастся, потому что я неотделим от этого берега...» Впоследствии я узнал многие запахи Чукотки: запах снега, тундры в самом начале лета, южного ветра, копальхена, моржового мяса, которое всю зиму протомилось в яме, плохо выделанной шкуры, запах свежей корюшки, неотличимый от запаха молодого, только что сорванного с грядки огурца, — но всем, кто приезжает на этот Север с намерением его узнать, я для начала рекомендовал бы запах разделываемого кита...

Потом мы долго шли по Берингову проливу, вдоль черных отвесных каменных стен с темными треугольниками пещер, выбитых штормами. Иногда стена прорезалась узким распадком, и тогда вдали можно было видеть склон сопки, золотистый или темно-фиолетовый. Навстречу нам, на юг, низко над водой летели большие стаи уток. Быстро смеркалось. Какое-то время берег еще угадывался слева от

нас неясной темной массой, но скоро слился с чернотой. Все пассажиры сбились в кучу в середине вельбота, укрылись брезентом и задремали...

Я пробудился от выстрелов. Наш капитан несколько раз выпалил из карабина в воздух, и это был знак, что мы подходим. Сколько я ни вглядывался в темноту перед собой, мне не удавалось различить ни берега, ни домов, ни огней, лишь в стороне, где-то очень высоко, равномерно вращался яркий луч света. Пробегая над морем, он укорачивался, настолько непроницаемой даже для него была ночь, и, на мгновение ослепив, начинал удлиняться и изламываться, скользя по сопкам.

Мотор заглох, вельбот несильно ткнулся в берег, мы стали выгружаться. Вдруг одна из женщин, которая, как и я, только что приехала с материка, охнула: «Батюшки, медведь!» Все засмеялись. «Медведем» оказалась неслышно возникшая из темноты обыкновенных размеров белая собака. Мы принялись вытаскивать вельбот. «То-о-ок! То-о-ок!» — кричала команда. Я быстро усвоил, что под протяжное «То-о...» надо собраться с силами, а при энергичном коротком «ок!» тянуть. Нечто вроде нашего «Разва — взяли!»

Потом меня проводили в учительский дом, устроили на ночлег, и едва я стащил свои одежду, лег и закрыл глаза, как длинная и плавная волна океана снова меня подхватила. Только теперь это была еще и теплая волна...

Наутро я пошел посмотреть на поселок. Я сразу увидел маяк. Серый домик с башенкой стоял над обрывом, на склоне большой круглой сопки, совсем не так высоко и далеко, как это выглядело ночью. Я поднялся к нему. Отсюда хорошо было видно неширокую, но длинную галечную косу, отделяющую лагуну от моря. За лагуной лежала тундра, ее пологие холмы постепенно повышались к горизонту. Километрах в тридцати на западе в море выдавался мыс, подобный тому, на котором я стоял. Вдоль косы тремя рядами выстроились немногие домики поселка. Конец августа — для Чукотки поздняя осень. Все было окрашено в мягкие — голубоватые, зеленоватые, желтые — тона... Меня поразила эта картина. В ней не было изломанных линий, мрачного колорита Берингова пролива, не вызывала она ощущения затерянности на краю земли (а здесь как раз и был край земли) — в ней были завершенность, спокойствие и простота. И я понял, что отныне мне предстоит постигать на Севере именно это спокойствие и простоту...

Перед зданием Билибинского горнообогатительного комбината (БГОК) есть Доска почета с портретами передовиков, и тут же невысокая мачта со звездочками. На эти звездочки я поначалу не обращал внимания, принимая за обычное украшение, пока не услышал однажды разговор прохожих:

— «45 лет» горит, «Анюйский» горит, остальные не горят...

- И комбинат не горит.
- А вчера горел?
- Вчера тоже не горел.
- Плохо.

Звездочек было шесть: по числу приисков в районе, и одна общая, комбинатовская. Горящая звезда означала, что суточный план добычи золота выполнен. Каждый билибинец, проходя мимо ГОКа, обязательно посмотрит на звезды...

С весной, с появлением воды в ручьях и речках, начинается для золотодобытчиков настоящая... не хочется говорить — страда, так уже затаскано это слово, но иначе действительно не назовешь. Да, а проще: начинается промывочный сезон, который длится до наступления холодов — теоретически, а практически — иногда и дольше. В газетах — от областной «Магаданской правды» до районной «Золотой Чукотки» — ежедневно помещается табличка: «Календарь промывочного сезона. Выполнение плана добычи золота за минувшие сутки...»

Что мы, подавляющее большинство из нас, знаем о золоте? Из политэкономии: «Золото и серебро по природе своей не деньги, но деньги по природе своей золото и серебро». Из юношеского романтического чтения: « — Нам ничего есть,— сказал он.— Мы только посмотрим на это золото, увидим, откуда оно и много ли его здесь. И сейчас же уйдем отсюда, пока оно не ослепило нас и не лишило рассудка. А потом мы вернемся, захватив с собою побольше припасов, и все это золото будет нашим.— И мы осмотрели золотоносную жилу, которая вырисовывалась на скале, как настоящая жила на человеческом теле, измерили ее, очертили сверху донизу, вбили заячные столбы и сделали зарубки на деревьях в знак наших прав. Ноги у нас подгибались от голода, к горлу подступала тошнота, сердце колотилось, но мы все-таки вскарабкались по неприступной стене наверх и двинулись в обратный путь». И т. д.

В Билибино все намного проще, будничнее, чем у Джека Лондона, и — намного сложнее. О золоте здесь говорят меньше всего. Речь идет о ремонте горного оборудования, о зимней и летней вскрыше торфов, об улучшении использования землеройной техники, о том, что пески на одном прииске обходятся дешевле, чем на другом, и почему... Говорят о повышении квалификации бульдозеристов, о режиме экономии, о том, что если для зимней вскрыши применять взрывчатое вещество игданит и экономить на буровой стали, то себестоимость кубометра торфов окажется значительно ниже... В один из вечеров пустая гостиница, в которой я жил, внезапно населилась молчаливыми, чем-то озабоченными людьми. Это было руководство приисков, собравшееся на районный партактив. Только что закончился июнь, середина года, а звездочки приисков чаще не горели, чем горели. Это называлось «задолженность по металлу». В Билибино прилетело областное начальство. С совещания приисковики вернулись еще более мрачные и неразговорчивые — видно, комплиментов им там не говорили — и тут же разъехались. Не знаю, что они сделали, но в последующие дни звездочки начали загораться. Горела и звезда ГОКа.

— ...Мне бы только посмотреть на это золото, увидеть, откуда оно,— сказал я в комбинате и назавтра уже ехал на прииск «45 лет ВЛКСМ».

Спутником моим был Энгельс Егоров, председатель объединенного комитета профсоюзов комбината. По профессии он геолог, в Билибино шестнадцать лет, первые палаткиставил. Он тогда горным мастером работал. «Эх и бригада у меня была! Одного звали Перс. Бывало, наряд закрываешь: «Ну, как тебя все-таки писать? Иванов? Петров?» — «А, пиши: Перс...» Как сейчас помню: Перс, Чих-Пых, Иван Черт, Тарзан... И если бы мне кто тогда, в пятьдесят седьмом, сказал, что здесь пятиэтажные дома будут стоять, а сам я, раздевшись до трусов, буду перед телевизором сидеть, я бы спросил: ты что,— Энгельс покрутил возле головы пальцем,— ошелел?! Мы возле аэродрома медведей били... А сейчас Билибино — что? Город!»

С дороги, ведущей на «атомку», мы повернули влево, на Встречный. (Обычные названия поселков, распадков, ручьев — Встречный, Дымный, Спорный... Убили утку — Утиный. Много комара — Комариный. Много ягод — Ягодное. И вдруг, как напоминание, что ничто человеческое геологам не чуждо,— ручей Мизер...) Кругом — сопки, невысокие, округлые, сглаженные ледником. Есть и нетронутые,

заостренные. Иные склоны будто овечьими ножницами стригли: бульдозер ходил, сгребал грунт для отсыпки дороги. По сторонам груды развороченной земли и камня, между которыми, полузадушенный, все-таки пробивается ручеек. Это — отвалы, то, что осталось после промывки. В них еще есть золото, их еще будут перемывать. Не боясь машины, сновали евражки, длиннохвостые суслики, жители чукотской тундры. Но что они делали здесь, в отвалах, когда вокруг ни одной живой травинки? Перевал Крутой. Действительно, очень крутой. Речка Энмынвеем — Скалистая. Русло ее усеяно гладкими, торчащими из воды серыми валунами. Один такой валун, весом более двадцати тонн, несколько лет назад перевезли в Билибино. Теперь он стоит среди ромашковых клумб, против здания Аниойской геологоразведочной экспедиции, а на нем — бюст Ю. А. Билибина. Матери с детишками проходят мимо памятника, спрашивают: «Это кто?» — «Дядя Юра-а...»

И вот появились ГЭПы — гидроэлеваторные приборы, громоздкие и неуклюжие, будто динозавры. Один из них перекинулся через дорогу, и мы проехали под ним, как сквозь арку. Поодаль, в ряд, словно на водопое, стояли еще три. Здесь был первый участок прииска. Ближний промприбор наполовину заслонялся высоким валом. По эту сторону вала трудился бульдозер. С той стороны, откуда-то снизу и вбок, вдруг вылетела сильная струя воды, потом исчезла. Мы перебрались через груду валунов. Внизу был дощатый настил с будочкой, на котором стоял монитор. Из него и била вода. Бульдозер стоял вниз, на грохот, очередную порцию песков, мониторщик направил на нее струю, преследуя ею и отшвыривая в сторону увесистые, килограммов на двадцать — тридцать, камни. Мелкая, размытая порода провалилась в бункер, оттуда вместе с водой по трубе, под действием насоса, понеслась высоко вверх, на колоду. Колодой называлось длинное, в несколько десятков метров, наклонное деревянное корыто. Горка. Такие горки, только меньше значительно, зимой во дворах устраивают. Подняться вверх, съехать вниз... Так и порода, с той разницей, что вниз, в «хвости», уходит ее легкая фракция, а тяжелая, в данном случае шлих, остается. «Там, наверху, в желобе, — объяснял Егоров, — уложены резиновые коврики со специальным узором. Потом металлические трафареты. В них золото и оседает. Вся хитрость...»

Бульдозерист по сигналу мониторщика все подавал и подавал пески. Им не было видно друг друга, и мониторщик сигнализил флагом: дергал за веревочку внутри

будки, и на крыше ее поднимался флагок наподобие семафора. Мол, давай! Работали двое. Но это была, конечно, не вся бригада. Дежурили еще электрик, слесарь и сварщик. Имелась еще вторая смена. Работали по двенадцать часов. Пробовали перейти на восьмичасовой — упала производительность. Не успевали разработать, частые пересменки ломали ритм... Были в бригаде, кроме того, горняки: бурильщики, забойщики, взрывники. Большинство из них наслаждались сейчас жизнью на материке: грели кости где-нибудь в Лазаревской, или, наскучив югом, посиживали с удочкой в родимой деревне, над родимым прудом. К зиме съедутся, начнется зимняя добыча песков. Пески на этом прииске — подземные, с глубины сто и более метров. Десятки тысяч лет тому назад прошелся по этой долине самый первый бульдозер — ледник. Все перепахал, нагромоздил перед собою вал и так оставил. В глубь этого вала, морены, и пробиваются теперь горняки. Старший горный мастер Вадим Артемчук показал нам шахту. Под небольшим углом (не более 16 градусов, чтобы могли транспортеры тащить наверх породу) входил под землю черный туннель. На улице было около тридцати жары, а здесь, сразу за обитой войлоком дверью, лежал монолит льда. На глубине во все стороны от штолни расходятся выработки. Всего вынуто из этой шахты больше полутора миллионов кубов. Те пески, что сбрасывал бульдозер под струю гидромонитора, — это остатки. Шахта закрыта, неподалеку заложена другая, крупнее этой... Вокруг нее уже стоят вспомогательные постройки: кузница, слесарка, компрессорная, бокс для ремонта бульдозеров, чтобы не гнать их, в случае чего, в поселок, буфет, куда привозят горнякам пищу... План зависит от многих вещей, не только от количества добываемых песков. Сломался, к примеру, не выдержал такого темпа бульдозер — ГЭП стоит. «Как думаешь, за сколько времени можно разобрать почти полностью и вновь собрать бульдозер?» — спросил Артемчук. Я пожал плечами. «Так вот, в конце смены полетел у бульдозера задний мост. Не ушел домой бульдозерист, не ушел слесарь, и втроем, со сменщиком, ребята раскидали машину и снова собрали за тридцать часов! Зависит от коллектива. Сказал бы один: я свое отработал — суток двое простояли бы...»

И не только от коллектива, от состояния техники, от виртуозности мониторщика зависит. Бытует на приисках всем хорошо известный термин — «неотход среднего содержания». Среднее содержание золота в кубометре песков определяет геологоразведка. Таким образом устанавлива-

ется план: с этого участка должны взять столько-то золота. И вот требуемый объем породы перемыкается, а ожидаемого количества золота нет. Среднее содержание не отходит... В прежние годы обычно отходило. Законные претензии горняков к геологам: обеспечьте прииски надежной сырьевой базой. Приросту добычи должен сопутствовать прирост запасов...

Конец месяца... Первый участок свой план выполнил, а второй нет. Прииск «горит» — не в буквальном смысле, там, рядом с Доской почета, а в переносном. В итоге мониторщики первого участка поживее начинают ворочать пушкой, а бульдозеристы не слезают с машин всю смену, чай и бутерброды им подают в кабину. Первый участок должен перекрыть второй. Прииск должен гореть буквально — звездочкой на мачте. В противном случае другому прииску нужно перевыполнить свой план, чтобы горела звезда комбината. Не справился Билибинский ГОК, должен поднатужиться Полярнинский, изыскать резервы Колымы и т. д. Потому что из всех этих планов складывается план области...

Пока мы ходили по участку, остановился один из ГЭПов, там начался съем. Мы поднялись. Наверху нас встретила девушка из охраны. Егоров забыл свой пропуск, у меня его вообще не было, но благодаря авторитету Артемчука нас допустили. К промприбору подошла специальная машина — шлиховоз. Колода была вскрыта, посреди желоба стояли две женщины-съемщицы, в брезентовых робах и резиновых сапогах. На ковриках желтело золото. Они стряхивали его в круглые высокие банки — контейнеры с надписью «ГЭП № такой-то». Тут же в качестве «тяжелой фракции» валялись гвозди, болты, железные кости, вынесенные вместе с породой из шахты. Одна из съемщиц наклонилась и подобрала небольшой самородок. Я попросил посмотреть. Он лежал на моей ладони, мокрый, тусклого желтого цвета — в оплощенныи человеческий труд. Пробивались Северным морским путем пароходы, лопалась от мороза резина у шоферов на зимнике, торопились с жильем строители, вгрызались в мерзлоту шахтеры, и в результате этих и еще многих других соединенных усилий явился из недр на свет этот кусочек металла. И никого он — по крайней мере из тех, кто работал здесь и имел к нему самое непосредственное отношение, — не «ослеплял», не «лишал рассудка»... Я бросил самородок в контейнер.

— Вон еще. И вон, — сказал я.

— Подберут, — ответил Артемчук. — На съем отводится около четырех часов. Все подберут, до кручинки...

Мы возвращались в поселок. В машине под ногами лежал такой же коврик, как на колоде. Я вспомнил знаменитое пророчество насчет отхожего места из золота и представил, что время сбыться ему пришло, и стали решать — где, и сошлись на том, что в Билибино. Там, мол, наиболее заслужили... И я вдруг очень ясно осознал, что билибинцы отказались бы. Не из почтения к «ослепляющему» металл, но изуважения к своему труду. Отказались бы и в Усть-Омчуге, и в Сусумане, и в Ягодном, и на Комсомольском, и везде, где в дни промывки, рядом с портретами передовиков, то не горят, то зажигаются красные звезды...

8

Пора было расставаться с Билибино. За десять дней многоного, конечно, я не увидел, со многими не познакомился, не поговорил, но ведь всего окончательно и за год, и за несколько лет, и проживи здесь всю жизнь — не увидишь, потому что постоянно будет появляться что-нибудь новое. Начал, например, строиться в Билибино новый квартал, по сути, целый поселок, так его и называют: поселок БАЭС. Будет там и Дворец культуры, и вместительная школа-интернат с бассейном, и спортивный комплекс. Запроектированы парники, которые будут обогреваться теплом «атомки», и птицеферма, и коровник. Появится у билибинцев свое подсобное хозяйство — понадобятся им и овощехранилище и мясомолочный комбинат. Они тоже предусмотрены пятилетним планом. Решится наконец жилищная проблема, которая в поселке, как, впрочем, и по всему Северу, остается одной из самых насущных.

Нехватка жилья объясняется не только тем, что строительство идет на Севере трудно и медленно, но и тем также, что, планируя город или поселок, проектные институты и организации не учитывают перспектив его развития. К примеру, Билибино замышлялось вначале как небольшой приисковый поселочек, на две с половиной тысячи жителей. Сейчас в нем почти в пять раз больше. К горнякам прибавились энергетики, возросла армия строителей... Раньше это было вполне понятно, вполне объяснимо: торопились закрепиться, некогда, да и в диковинку, было думать об удобствах, но прежде о деле, даже бравировали

этим — четыре стены, крыша, печка железная и минута ходьбы до буровой, до карьера, до причала... Так и Магадан встал у Нагаевской бухты, а теперь выяснилось, что отодвинуться ему бы всего на несколько километров подальше от моря, и вместо туманов постоянных было бы в нем солнце. И в Билибино поговаривают, что место неудачное — надо было в Кэпервееме строиться: там просторнее, там микроклимат лучше...

Заходишь в квартиру северянина в новом блочном или крупнопанельном доме и, не подумав, хвалишь: «Совсем как на материке!» А северянину, оказывается, надо лучше, чем на материке. В крохотной его передней зимой такое обилие шуб, унтов, валенок, меховых брюк, что еле протиснешься. В добавок к водяному отоплению, на кухне у него плита — значит, нужно где-то хранить дрова и уголь. Продукты он привык закупать оптом — в другой раз можно и не достать или погода такая, что идти не захочешь, — их тоже нужно где-то держать. Так появляется напротив современного дома шеренга дощатых сараев... Если в тихую погоду форточку в квартире открыть, то в пургу можно и не закрыть — лучше уж заклеить окна, замазать с осени наглухо. Нужно проветрить — открывешь дверь на лестницу. Открыл и сосед — растекаются по подъезду, перемешиваются запахи кухонь...

А на закопченной, давно не беленной стене поселковой котельной — большой выцветший транспарант: «СЕВЕР — КРАЙ СИЛЬНЫХ!» Подразумевается, что слабые здесь не задерживаются. Но кто решит, силен человек или слаб, если он на пятидесятиградусном морозе голыми руками в моторе может ковыряться или в тундре пурговать несколько дней, а вот не нашла жена работу по специальности или ребенок заболел, и пришлось уехать... Надо сказать, что настоящие северяне относятся к подобным лозунгам весьма иронически. Север, вопреки распространенному мнению, не ГЭП, не промприбор, который наиболее ценную человеческую породу оставляет, а прочую смывает, а если и ГЭП, то установленный внутри каждого отдельного человека, и внутри каждого происходит этот процесс: что-то человек в себе вырабатывает, от чего-то избавляется... О проблемах заселения человеком Севера и адаптации к нему в последнее время много говорят. Причем говорят очень серьезно — на основе многолетних наблюдений, детальных социологических исследований. Все это — добрый знак, это свидетельствует о том, что в освоении Севера должна возобладать новая стратегия: не десантами,

не рейдами, а продуманным наступлением по всему фронту, с учетом добытых в этих рейдах важных сведений: о ресурсах края, о потребностях его жителей, о психологии северянина, о демографических особенностях и т. д.

Да, и все-таки пора расстаться с Билибино. Очень распространены на Севере две разновидности отъезда: человек собрался, торжественно распростился со всеми и... застрял из-за погоды недели на две. Положение его странно: он уже не у дел, вне жизни поселка, и все еще в нем. Он старается не попадаться на глаза друзьям, потому что их сочувственные лица еще более растравляют его. У него одно занятие: караулить самолет, вельбот, вездеход, трактор — любой транспорт, на котором можно уехать... Или: только что сели за прощальный стол, только подняли, промолвили традиционное: «Ну, чтоб в море...» — как влетает кто-то с воплем «Самолет!», и больше никто ничего не успевает сказать, отъезжающий бежит, впрывгивает, садится, спохватывается, порывается назад, поздно — дверца захлопнута, «от винтов!». С дороги он присыпает какую-нибудь сумбурную телеграмму... И все-таки на Чукотке говорят: лучше уехать, не простишись, чем, простившись, не уехать.

Мне повезло: я и простился и уехал. Накануне моего отъезда проводился в Билибино День здоровья, с большой спортивной программой. На стадионе я всех и увидел. Футбольные команды поселка разыгрывали кубок здоровья. Условия игры были такие: два тайма по пятнадцать минут. В случае ничьей — по пять одиннадцатиметровых в каждые ворота. В финал вышли «Строитель» и «Горняк». Болеющая публика вела себя так же, как и везде, но реплики были попроще, «подомашнее»:

- Коля, отдан, ну, отдан же Вите!
- Ну, смотри, на работу теперь не приходи!
- А ты что, за «Строителей»?
- Не, принципиально, у меня крыша течет.

Я сидел рядом с Дедом Глазыриным. Григорий Сергеевич неистово болел за «Горняк», но болел своеобразно: ругал на чем свет стоит. «Куда, куда ты бываешь, тоже мне — Банишевский!» По другую сторону от меня помещался здоровенный парень. На могучей, бревноподобной его руке была татуировка: холмик с покосившимся крестом, а ниже душераздирающая надпись — «Я буду спать». Но, судя по его виду, «спать» он собирался не скоро. Какой команде он сочувствовал, установить было невозможно, потому что при каждом прорыве, в любую сторону, он кричал: «Дави!»

День здоровья совпал с Днем рыбака, на Севере очень популярным, поэтому в общем праздновании поначалу выделялись два господствующих стиля. «Рыбаки» устраивались под деревьями, на травке, в стороне от футбольных страстей. Затем все, конечно, перемешалось... Кафе «Золотинка» было забито. Гремел электрифицированный оркестр. Его мэтр, окидывая орлиным взором столики, объявлял: «По просьбе наших омоловских гостей прозвучит песня «Колымская трасса»!»

В рейс далекий
Машина пошла,
Трасса, Колымская трасса,
Магадана душа-а...

Или: «Наш гость Александр с прииска «Анюйский» просит исполнить для своего друга Виталия песню о Билибино!»

Городок романтиков,
Городок мечтателей,
Городок Билибино
Светится в ночи...

До свидания, Билибино!

9

У меня оставалось две недели, и я хотел теперь только одного: попасть на другой конец Чукотки, в Уэлен. Велик был соблазн лететь по Северу: через Певек, мыс Шмидта и сразу в Лаврентия, но я боялся плохой погоды, столь частых на побережье туманов. И я отправился дальним, кружным, но более надежным путем — опять в Магадан, чтобы потом в Анадырь и т. д.

Омолове наш самолет провалился буквальным образом. Он уже выруливал после стоянки на взлетную полосу, как вдруг мы услышали перемену в гудении моторов — начало оно снова слабеть, и винты, покрутившись, повисли. «Не везет вам, товарищи пассажиры, — сказала улыбающаяся стюардесса. — Просьба всем выйти». Мы вышли и увидели, что колесо самолета почти целиком ушло в землю — видимо, вытаяла в этом месте мерзлотная линза. «Ничего, толкнем», — сказали ко всему привыкшие пассажиры. Откопали колесо. Привезли и подсунули под него стальной лист. Пришел бульдозер, зацепил шасси тросом. Поколебавшись, командир разрешил мужчинам встать под крыло.

«Однако чуть что — разбегаться!» Бульдозер тащил. Мы упирались в крыло, как атланты. Колесо медленно выкатилось из ямы.

Женщины тем временем собирали большие букеты кипрея, в изобилии росшего по краям поля. Снова уселись, полетели. В полуумраке салона цветы, казалось, излучали какое-то слабое малиновое свечение.

— Третий раз лечу этим самолетом, — сказал сидящий рядом со мною паренек.

— Почему ты думаешь, что именно этим?

— А вот...

Рядом с иллюминатором было нацарапано: «Лиза Е.»

— Я ее хорошо знаю. Это она в Хабаровск летала, поступать.

Сам он только что закончил школу и тоже летел сдавать экзамены — в Петропавловск, в мореходку.

Как старый, растрепавшийся чаат, расплелась внизу на множество рукавов река. Зеленые склоны сопок, по которым вскарабкивалась и скользила вниз тень нашего самолета, поблескивали на солнце — это значило, что между кочками сочилась вода. Почему-то я вспомнил своего красноярского собеседника, строгого Карла Яновича, воскликнувшего почти с негодованием: «Ехать, чтобы писать?!» — и подумал, что был он, наверное, не прав. Давно мечтал я о таких неспешных записках, не связанных ни сюжетом, ни тщательно выверенной композицией, объединенных единственным, чем только и могут быть объединены записи о путешествии, — дорогой... И еще: надо нам было тогда сразу договориться об информации, о смысле, который каждый из нас вкладывал в это слово. Для меня, например, когда я жил в Уэлене, бездна информации заключалась в том, как движутся льды в Беринговом проливе, какая расцветка у гаги-гребенушки или что приносят разные ветры. О снеге можно написать целый рассказ. О пурге, об осеннем штурме. Я уж не говорю о самом Уэлене... И хотя прошло несколько лет, как я покинул его, все это по-прежнему продолжает меня волновать. Еще меня в дороге всегда интересует информация о себе. Живя подолгу в одном месте, особенно в городе, к себе как-то привыкаешь. Приучаешься к одним и тем же лицам, улицам, кругу, ритму, словам. До автоматизма доводятся действия. И вот тем-то и ценно путешествие, что, помимо мира, открывает нам самих себя: не разучились ли мы еще мерзнуть, мокнуть, претерпевать, ходить, ждать, говорить, удивляться...

Анадырь, вернее, аэропорт его славится среди северян тем, что в нем — сидят. Сидят, когда едут в отпуск или командировку. Сидят, когда возвращаются обратно. В Анадырь, как в Рим, ведут дороги чуть ли не со всей Чукотки. Отсюда большие самолеты летят в Магадан, Хабаровск и в Москву. Несколько лет назад, когда в аэропорту не было еще гостиницы, зал ожидания в месяцы «пик» являл непривычному взору ошеломляющее зрелище. Люди располагались на ящиках и даже на газетах. В креслах заслуженно спали «старожилы». Мне, например, довелось однажды ночевать на багажных весах. Но постепенно в этом хаосе людей и вещей можно было различить какой-то порядок, незримые территориальные границы. В одном углу собирались беринговцы, в другом — этвекинотцы. Отдельная компания у марковцев. В каждом стане свои развлечения, свои остряки, свои, понятные только посвященным, веселые воспоминания. Одновременно звучат несколько транзисторных магнитофончиков:

Остался у меня
На память от тебя
Портрет твой, портрет
Работы Пабло Пикассо...

Так проходят дни. Выпивается последняя бутылка выдохшегося «жигулевского», которое и на этот раз не довезли. Вдруг — долгожданное объявление по радио, и тут же с кличем «За мной, беринговцы!» пустеет угол, чтобы через мгновение заполниться провиденцами. И когда наконец объявляют и твой рейс, то, честное слово, к радости примешивается некоторое сожаление — обжился уже, привык, появились друзья... Очень часто на Чукотке на вопрос: «Такого-то знаешь?» — лицо человека расплывается в почти счастливой улыбке и он восклицает: «Как же! Да я с ним в Провидения месяц сидел!»

Сейчас напротив аэропорта стояло длинное здание с вывеской «РАМКОЛЫРАН» — гостиница, и в зале ожидания, я бы сказал, было довольно просторно, несмотря на нелетную погоду. Да и пора была такая: основной вал отпускников уже прокатился, а время возвращаться ему еще не пришло. Над аэродромом светило солнышко и синело небо, но радио через каждые два часа оповещало: «Пассажиры, ожидающие вылета до Лаврентия, Отрожно-

го, мыса Шмидта, Иультина (шел длинный перечень), ваш вылет откладывается до... часов местного времени». Закрыты были все четыре, а если пользоваться определениями чукчей, то все двадцать четыре стороны света. Закрыт был и «утренний рассвет», и «минувший полдень», и «низкое солнце», и «узкие сумерки», и «погасшие сумерки». Я поехал в город.

Анадырь, в отличие от Билибино, расположен не в котловине, а на склоне сопки, и светлые его корпуса видны издалека. Добраться до него из аэропорта сложно: километров двадцать на автобусе и полчаса на катере через залив. Зимой вертолет летает — в хорошую, конечно, погоду. Так что, бывает, и сами анадырцы обживают аэропорт...

Три года назад город отпраздновал свое восьмидесятилетие. Летом 1889 года пришел сюда из Хабаровска военный клипер «Разбойник», и на берег высадился высокий худой человек — начальник только что образованной Анадырской округи Леонид Францевич Гриневецкий. Через несколько дней появился на пустынной косе домик из досок и плавника. Так был основан Ново-Мариинский пост, нынешний Анадырь. Все три года своего правления Гриневецкий посвятил изучению края. У него уже был опыт исследования Новой Земли, и его не пугали ни дальние путешествия, ни холод, ни одиночество. Все интересовало его: климат, растительность, минералы, животный мир, но главное — местное население, его обычай, условия жизни. В селе Марково Гриневецкий познакомился с чуванцем Афанасием Дьячковым, талантливым самоучкой-краеведом, и привлек его к своей работе. Книга Дьячкова «Анадырский край» и до сих пор не потеряла своего значения для историков дальневосточного Севера. Умер Гриневецкий в 1891 году от чахотки, далеко от дома, на реке Майн. Там же и похоронен. Менее всего он был чиновником, и на кресте, воздвигнутом спустя несколько лет на его могиле, написано: «Потрудившемуся на пользу науки». Но и это не совсем точно. Гриневецкий был еще и самоотверженным врачом, и просветителем по наатуре, и, наконец, основателем Анадыря, так что, мне кажется, настоящий памятник ему должен стоять в этом городе...

Когда переправлялись мы через залив, на палубе рядом со мной оказался человек, бывший в Анадыре последний раз лет двадцать назад. Он удивлялся, как вырос город.

— Тогда он весь умешался вон там внизу, на берегу Казачки, а сейчас смотрите, куда забрался!

— Чему же удивляться? — сказал я.— Вот если бы он по-прежнему умещался на берегу Казачки, тогда и надо было бы удивляться.

— А вы правы, пожалуй! — засмеялся он.

По этой причине я не стану подробно рассказывать о городе, о привычном силуэте «Орбиты» над ним, ни о роскошном Дворце культуры, ни о строящейся ТЭЦ, которая войдет в единую энергосистему с «атомкой», ни об экспериментальном жилом доме, закрытом такими же, как на БАЭС, алюминиевыми панелями. Но мне хочется упомянуть об одном ощущении, которое начинаешь испытывать всякий раз, попадая именно в эту часть Чукотки — от Анадыря и дальше на Север. Сказать, что это — опущение соприкосновения с ее историей, значило бы сказать слишком общие слова. Ибо с историей мы соприкасаемся везде: в Москве, Киеве, Таллине, Львове, Новгороде, на Куликовом поле... Но в каждом таком месте, при всей его древности, звучит свой исторический лейтмотив или, по крайней мере, несколько сменяющих друг друга мотивов, и мы их слышим в определенной, хотя и неизбежно хронологической последовательности. Здесь же, в этом углу Чукотки, почему-то чувствуешь, что соприкасаешься не постепенно, не с отдельными событиями, веком или даже эпохой, а со всей ее историей сразу: от тех десятков тысяч лет назад, когда не было еще пролива между материками и тонкий человеческий ручеек просачивался из Азии через Канадский ледниковый щит в Америку, и до последнего дня, скажем, до строительства Дворца пионеров в Анадыре... Я не случайно вспомнил о Гриневецком: он вполне мог проплыть сейчас пустынными водами залива. А в устье реки Анадырь засыпал с товарищами Семен Дежнев, только что отыскавший Восточный проход, прошедший мимо с ого мыса, мимо своего памятника. Правда, на берегу залива они увидели бы многоэтажный город и другой памятник — первому Ревкому Чукотки... В Уэлене, отойдя немного от поселка, можно слегка копнуть и обнаружить обожженную землю, следы очагов, на которых готовили пищу в I тысячелетии до н. э. Уэлен старше Самарканда, отметившего недавно свое 2500-летие. Он дал название открытой здесь археологами древнейшей эскимосской культуре. Мимо него проходили корабли Витуса Беринга, Норденшельда, Амундсена. В его ярангах жили спасенные челюскинцы. Здесь приземлялись знаменитые летчики Ляпидевский, Красинский, Леваневский, Молоков. Берега, заливы, проливы, сопки Чукотки — это настоящие музейные экспонаты, с

той только разницей, что их не надо рассматривать из-за барьера с табличкой «Руками не трогать». По ним можно ходить, плыть, на них можно жить. Об их охране заботится сама природа. Такова эта земля: она не только тщательно сохраняет древние свои очертания, но и любой — и давний, и недавний — оставленный человеком след. Видимо, отсюда и впечатление мгновенной обозримости ее долгой истории...

В Анадыре я зашел к секретарю Чукотского окружкома комсомола Юрию Тототто, и мы побродили с ним по городу. Юрий родился на побережье, в Чегитуне, а учился в Уэлене. Отслужил в армии, здесь же, на Чукотке. Сейчас ему около тридцати, и он заканчивает Магаданский пединститут. «Работаешь-то с людьми — нужна и педагогика, и психология...» Сходили мы на строительную площадку Дворца пионеров, того самого, для которого собирала средства вся пионерская организация страны. Уже закончен нулевой цикл, бурильщики подготовили свайное поле. Вся площадка была усеяна торчащими из земли восьмигранными железобетонными сваями. Забивать их приходилось в скальную породу, что очень трудно, зато уж Дворец будет стоять надежно. Чтобы представить, как он будет выглядеть, мы отправились в музей, на улицу Отке, названную в честь умершего в пятьдесят пятом году председателя Чукотского окрисполкома. Его дочь, Наталья Павловна Отке, историк по образованию и директор музея, показала нам небольшой белоснежный макет. Крыша макета снималась, и мы, наклонившись над ним, как Гулливеры, рассматривали его холлы и широкие лестницы, кабинеты для кружков и зимний сад, спортивные залы и бассейн. Тут же был и интернат — для тех ребят, которые приедут из далеких поселков... «Это будет самое красивое здание в Магаданской области!» — воскликнула Наталья Павловна.

В музее увидел я множество уэленских знакомых. Смотрели на меня со стен Утоюк (я о нем уже говорил), и великий старик Нутетегин, танцы которого я так любил, и знаменитые косторезы Хухутан и Вуквутагин. Прошло уже года два-три, как их не стало, но они и при жизни были историей... Вот живой и здравствующий Вася Канхатегин, один из лучших охотников Уэлена, мечет гарпун в кита, и Канхатегин с гарпуном — это тоже своего рода история, потому что чукчи на китов уже не охотятся. Теперь все прибрежные поселки обеспечивает китами один всего китобоц из флотилии «Владивосток»... А вот моя бывшая

ученица Нина Кымытгивев — гравирует моржовый клык...
Нет, в Уэлен, в Уэлен!

По дороге на пристань мне попался на глаза стенд «Погода», и я узнал, что ветры на северном побережье Чукотки в течение декады преобладали южные, слабые до умеренных, а в отдельные дни сильные до штормовых. Температура была днем 14—16, а ночью 6—8 тепла. И целых двадцать семь дней наблюдались туманы. Вот это было плохо. Но я надеялся, что мне повезет. Если туманы были почти месяц, то пора им и расходиться...

Графа «Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях» была пуста... На пирсе толпилась шумная компания со стаканами в руках — обычная вещь, кого-то провожали. На палубе катера была свалена груда тюков и чемоданов — слишком много для отпускников. Уезжали совсем. Определить кто — было пока трудно: все чокались, все смеялись. Но вот расцеловались, взошли на катер муж с женой, уже пожилые, и двое ребят-подростков. Катер стал отходить, и тут в машущей толпе женский голос полу-весело-полупечально воскликнул:

— И зачем ты, Боря, нас оставляешь?!

Боря сорвал с лысой головы шляпу, взмахнул ею, хотел, видно, крикнуть что-то бодрое и — припал к жене и заплакал... Но дорога есть дорога, особенно на Севере, ей не до переживаний, и в аэропорту я видел, как с озабоченным лицом, взмокший в теплом пальто, он тащил на хабаровский рейс свои чемоданы...

«Выпихнули» наконец и лаврентьевцев. Как всегда, я устроился на излюбленном месте, в хвосте, увидел рядом с иллюминатором автограф Лизы Е. и тихонько поприветствовал самолет, как старого знакомого.

11

...На Севере действительно были другие сияния, обычно в виде широких свивающихся лент, какие — с назидательным латинским изречением — помещали на старинных гравюрах. Не знаю, чем объяснить, но в Уэлене они никогда не бывали многоцветными, но всегда одного, бледно-зеленого оттенка. Иногда из такой ленты, перпендикулярно ей, выбивались тонкие отдельные струи — как из продырявленного шланга. Но что поражало — это внезапные и быстрые перемещения света. На Ангаре кто-то ровно, не переставая, дул на тлеющий уголь, и этот уголь медленно

разгорался. Здесь свет бродил-бродил в одной стороне неба и вдруг кидался в противоположную... И очень становилось понятно старое поверье чукчей, что в северных сияниях обитают души людей, умерших внезапной, насильственной смертью. Не было им, наверное, покоя...

В Уэлене я первое время вел дневник. Недавно я его просмотрел. Это оказался очень лаконичный, очень своеобразный дневник — в день не более нескольких строчек.

«15 сентября. Сейчас ходил на море. Ветер с севера. Трубка сама раскуривается на ветру».

«22 сентября. Киты по вечерам собираются в море против маяка. Как бабочки — на свет».

«8 октября. Снег лег на сопку, и по белому склону поднимаются четыре темные фигурки. Полярники пошли за зайцами».

«11 октября. На моем столе лапа полярной совы: комок белого пуха со спрятанными в нем стальными крючками».

«17 октября. Лагуна замерзла. Грязный и старый лед возле берега, и голубой, чистый — посередине».

«9 ноября. Море закрылось. Утром оно еще было, и стадо гренландских китов на горизонте, различались только фонтаны».

«14 ноября. Половина третьего. Слегка пуржит. На юге, посреди серого неба, одинокое красное облако».

«28 ноября. Был самолет. Все бежали: люди, собаки. Типичная картина: на Север пришла почта. Но она не пришла».

«13 декабря» воспроизведена линия сопок на юге.

«16 декабря. Ночью светло и тихо, и собаки сняты, свернувшись на кучах золы, выброшенной из печек».

«1 января. Не забыть, как в десять утра над маяком в море прошла стая уток».

Не забыть — вот в чем было дело, вот почему я все это записывал! Нигде, как здесь, не казались исполненными смысла каждая мелочь, каждое мгновение. Нигде не было такого ощущения сопричастности всему, что происходило в этом разомкнутом во все стороны пространстве... Потом я перестал записывать — понял, что и так не забуду...

Коса, на которой стоит Уэлен, сверху очень напоминает выступившую из воды, узкую и округлую спину кита, того самого, сказочного, который никак не может погрузиться. А тут еще стада разгуливающих вокруг, ныряющих, вы-

40

41

прыгающих, свободных от заклятия китов, и воспоминание об американских китобоях, что некогда здесь разбойничали, и так соблазнительно было думать, что название «Уэлен» произошло от английского whale — кит. (Помните «Этимологию», самую первую страницу «Моби Дика»? «Если ты берешься наставлять других и обучать их тому, что в нашем языке рыба-кит именуется словом whale, опуская при этом, по собственной необразованности, букву h, которая одна выражает почти все значение этого слова, ты насаждашь не знания, но заблуждения».) Была и другая, романтическая версия: у одного капитана умерла здесь дочь, Эллен, отсюда и название места «У Эллен», так и на старых картах писалось «Уэллен». Однако название это чукотское, настоящее его начертание, как установил В. Леонтьев, писатель и уэленский старожил, — Увелен, что означает буквально «Черная земля». Действительно, в апреле, когда все еще в снегу, но солнце светит так ярко, что невозможно ходить без темных очков, на склоне сопки оттаивают два бугра — два черных пятна, далеко видные путнику, едущему по тундре... А на языке соседей, наученных эскимосов, поселок назывался Олык, то есть Нож, и это тоже, мне кажется, понятно почему: если косу вообразить рукояткой, то примыкающая лагуна станет широким полукруглым лезвием — такими ножами женщины Севера до сих пор скребут шкуры... И если уж говорить о косе, еще она похожа на моржовый бивень, что давно и отлично известно уэленским гравировщикам по кости. Один из традиционных сюжетов — вписанное в клык старое стойбище. На другой стороне — теперешний поселок. Неизменная форма клыка обладает всеми достоинствами и недостатками классицистических канонов: и ограничивает, и заставляет оттачивать мастерство... Хранится и у меня такой клык с надписью «Уэлен, 1967 год», и я могу отыскать на нем свой дом. Я знаю, он и теперь там стоит, окнами на лагуну...

«16 февраля. Пургой выбило окно в чулане, и весь его занесло снегом».

«10 апреля. Ездил за льдом на речку».

«30 мая. Тепло. Топить можно меньше».

Заботы о доме были постоянными: тепло, вода и — во время пург, когда рвутся провода, — свет. В доме — летом в коридоре, зимой в кухне — стояла бочка. По воскресеньям я брал у своего соседа Эйнесса грузовую нарту, вооружался топором, пилой и лопатой и шел к сопке. Нарту я оставлял внизу, а сам взбирался на обрыв. Там

нависали наметенные южными ветрами снеговые карнизы. Снег приносился из тундры влажный и плотный, потом схватывался морозом. Пила была двуручная, но один конец вместе с петлей был специально обломан и заострен — чтобы выпилить куб побольше. Когда со всех сторон надрезы были сделаны и подкопано снизу, оставалось забраться наверх и стукнуть топором. Глыба отваливалась и медленно, переваливаясь, катилась вниз. Иногда и не сразу отваливалась, тогда приходилось поплясать на ней... Возле дома ее надо было еще разрубить, чтобы куски вошли в бочку. Стенки бочки сразу запотевали, от нее начинало тянуть холодом, а изнутри долго слышались шуршание и тихие всплески — таял и оседал снег. Потом вместе с водой зачерпывались листики, разные травинки... Хорошо было также долбить смоченный с осени дождями и замерзший до твердости камня уголь и складывать его сизые от инея куски в чулане. Но самое лучшее — это чувство глубокого удовлетворения, охватывавшее вас, когда вся эта работа была сделана. Бочка полна, угля вдоволь, груда луцины для растопки сохнет за печкой... Теперь можно отправиться, например, в гости к друзьям, только они уже и сами идут, не говариваясь, один за другим...

Когда я уехал из Уэлена, он начал сниться мне беспрестанно: зимний, летний, осенний, пургливый, дождливый, солнечный — всякий. Иногда он и не похож бывал на себя — какие-то незнакомые высокие каменные строения, как в городах, и я блуждал между ними, хотя продолжал твердо знать, как это часто случается во сне, что это Уэлен, но три, по крайней мере, ощущения присутствовали в этих снах всегда. Ощущения моря, косы и друзей — даже если я их и не видел... Однажды приснился мне штурм, но странный: волны стремились одновременно с моря и из лагуны к центру косы, чуть-чуть не смыкаясь, оставляя узкую полоску, и я в темноте пробирался между ними, различая по сторонам, у ног белую вскипающую пену. И я знал, что все собирались возле маяка, на сопке... Но чаще всего снился сон один и тот же: я вновь прилетаю в Уэлен, но у меня очень мало, совсем почти нет времени, и я бегу по улице, вижу знакомых, не останавливаюсь, машу им, стремлюсь дальше, потому что у меня цель — пробежать поселок и увидеть все село. То ли я в тяжелых унтах бегу, то ли это обычный для сна мучительный бег на месте, но сны такие всегда бывали как-то бесполковы и обрывались нелепо где-то посередине...

И вот теперь, очень скоро, я мог пройти по уэленской улице не торопясь, белой ночью, когда солнце стоит над горизонтом, прямо напротив поселка, и все гуляют, а старики сидят на берегу и смотрят на море...

12

Самолет наш, снижаясь, долго пробивал облачность и вышел низко над заливом. На другой его стороне я успел увидеть маленький поселочек Пинакуль — там у нас был когда-то пионерлагерь. Через минуту мы сели в Лаврентия, центре Чукотского района. Несколько необычной грамматической формой своего названия этот поселок — так же, как и Провидения, — обязан заливу, на берегу которого он стоит. 15 августа 1791 года на корабле «Слава России» пришел сюда из Охотска капитан-поручик Иосиф Билингс, он и окрестил залив в честь святого Лаврентия. В 1928 году образовалась здесь кульбаза, а затем поселок с тем же названием, правда, уже без титула «святой». Материковские друзья и родственники лаврентьевцев недовумевают и на конвертах как только не пишут: и Лаврентий, и Лаврентие...

В этом уголке Чукотки не нашли пока полезных ископаемых, нет здесь бурно развивающейся промышленности, основные и исконные занятия его жителей — оленеводство и морзверобойный промысел. Причем по количеству оленей район далеко не самый богатый — Анадырский, Иультинский, Чаунский, Билибинский богаче. Но они и крупнее... Если подсчитывать плотность населения в районе, целых чисел не получишь — 0,2 человека на квадратный километр.

Перемены, которые здесь произошли и происходят, не столь мгновенны и впечатляющи, как, например, в Билибино, и, когда они происходят, люди не замечают, что это перемены. Особенно те из них, кто не так давно на Севере. И это в общем-то закономерно. Один из первых приехавших на Чукотку учителей и жителей Лаврентия, впоследствии писатель Тихон Семушкин, рассказывал в своей книге о нескольких домиках возле залива, о том, как приходилось ездить по стойбищам, уговаривать родителей отпустить ребят в школу, приглашать заодно отцов, чтобы они видели, чем занимаются их дети... Теперь же Анадырское педучилище в течение более тридцати лет готовит своих учителей, чукчей и эскимосов. А в памятке «Новоселу Чукотского

района» написано: «Тебе уже не придется, наверное, наездить десяток-другой тысяч километров на собаках, не доведется, вероятно, пурговать неделями в снегу. Не придется тебе и жить в общей со многими семьями квартире... Но не печалься. На твою долю осталось еще немало трудностей... Старожилы Севера приветствуют тебя! Прими от них добрые советы...»

Один из авторов этих строк, Валентин Алфеевич Ивакин, как раз относится к тем людям, которые могут дать эти добрые советы. И для него, конечно, заметнее перемены. В 1948 году, двадцати трех лет, приехал он на Чукотку. Был комсомольским, партийным работником. Руководил уэленским колхозом «Герой Труда». До недавнего времени Валентин Алфеевич работал первым секретарем Чукотского райкома партии. В упоминании о десятке-другом тысяч километров — много личного. На собаках, на байдарах, обтянутых моржовой шкурой... Другого транспорта в то время на побережье не было. Образованные колхозы, в конце сороковых — начале пятидесятых годов, по сути оставались теми же стойбищами с патриархальными отношениями, прежним укладом, бытом, старыми орудиями промысла. Надо было объединять мелкие хозяйства, обеспечивать их надежной техникой, ликвидировать неграмотность, перестраивать образ жизни, борясь с болезнями, переселять чукчей из яранг в дома. И не было четкого разграничения обязанностей: учителям — учить, врачам — лечить и т. д. Каждому приходилось делать все! Но это не значит вовсе, что были эти люди замученными, задерганными, ничего не видящими, кроме работы. Ивакин рассказывал об инчоунской учительнице Нине Горшковой, которая залихватски играла на гармошке и научила чукчей отплясывать «Барыню». И до сих пор в Инчоуне складывают частушки — на чукотском языке, но на смоленский мотив... А сам он, когда мы собирались у него в долгие уэленские вечера, любил достать свои старые записные книжки и прочесть оттуда с веселой усмешкой что-нибудь вроде: «Рентыргин пришел на полярку к радиисту и долго расспрашивал, как телеграмма переходит из одного места в другое. Узнав, что по воздуху, он вышел на улицу, покачал головой, вернулся и заявил: «Не полетит твоя телеграмма. Ветер в другую сторону...» Однажды Ивакин сказал: «Я с Вологодчины, у нас там — леса... Здесь уже около двадцати лет. На эти сопки, веришь ли, — иногда кажется, и не глядел бы, так примелькались. Но я совершенно точно знаю: уеду — начну тосковать...» Я вспомнил эти грустные

слова сейчас, когда прилетел в Лаврентия и застал Валентина Алфеевича собирающим вещи. Его переводили на работу в Магадан, заместителем начальника управления сельского хозяйства области.

...А Уэлен мой был закрыт. Да и в райцентре погода была невеселая: туман, дождь. «Окошко», в которое успел проскочить наш самолет, тут же и затянулось. И только что ушли из Лаврентия уэленские вельботы, с которыми можно было бы добраться... В гостинице я встретил знакомого уэленца, Анатолия Тымневаката. Он ехал в отпуск, к брату. Его брат, Тымнетагин, был одним из первых чукотских летчиков, а сейчас вышел на пенсию и жил под Москвой. Сам Тымневакат — строитель, многие уэленские дома сложены его руками. Мы сидели у меня в комнате, и он рассказывал мне про поселок.

— Новая школа при тебе уже была?

— Была. Я в ней работал.

— Так. Значит, напротив школы, на берегу моря сейчас стоят четыре двухэтажных дома. Еще один — к лагуне. Где горевший клуб был, помнишь?

— Я его тушил.

— На этом месте строят новую косторезку... Дальше по косе будут еще три двенадцатиквартирных, а возле совхозного гаража — Дом культуры...

— Ты лучше начерти, — просил я.

Анатолий проводил посреди листа бумаги широкую полосу, по краям надписывал: «Море. Лагуна».

— А здесь сопка, так?

И мы склонялись над уэленской косой...

Со мной в комнате жил «москвич». По крайней мере, он сам мне так (с большим достоинством) представился: «Такой-то. Из Москвы». Он ездил по Чукотке, кажется, с лекциями от общества «Знание» и тоже непременно хотел в Уэлен. Определив во мне, по нашим с Тымневакатом разговорам, человека сведущего, «москвич» заводил со мной осторожные беседы насчет клыков и шкур. Не в упор, конечно, выведывал, как бы и где достать, абстрактно вроде бы интересовался.

— А нерпы эти, они что? — спрашивал он.

— Что «что»?

— Ну... где?

— Да в озерах в основном, — отвечал я. — В тундре, в озерах. Днем — в воде, ночью на берег выходят пастись. Тут их и ловят...

— Интересно... А мне говорили, они — в море...

— В море — да. Но в море хуже. У озерных шкура лучше. Не разъедается соленой водой.

— А как отличить озерную от морской? — настороживался он.

— Озерная — светлая и пушистая. Морская — желтая и облезлая.

— Да... И все-таки непонятно, как они попали в озеро?

Мне надоедал этот обоюдный вздор, и я отвечал какую-нибудь уж совершенную нелепость:

— Утки заносят на лапах икринки. Из икринок и выводятся.

В глазах его вспыхивал огонек недоверия — не оттого, что он понимал, что это неправда, а так, на всякий случай, по привычке всему неизвестному не особенно доверять. «Ничего, все это можно еще уточнить», — читал я на его лице. И как ясно было мне назначение его громадного пустого чемодана...

Однако так прошел и день, и два, и три. И никто не мог обещать мне, что не проведу я в лаврентьевской гостинице оставшиеся у меня полторы недели. В пятидесяти же километрах к юго-западу от Лаврентия было село Лорино — хорошо известный не только в районе и округе, но и в области колхоз имени Ленина. Туда можно было добраться на вездеходе. И я поехал.

13

Я не упомянул, что корреспондент давно уже стал привычной деталью чукотского пейзажа. Ивакин, когда еще работал в Уэлене, как-то подсчитал, что за год у него побывало более трехсот разного рода творческих личностей: пишущих, рисующих, фотографирующих, снимающих фильмы. То есть примерно около человека в день. Так что, выйдя на пустынnyй берег, можно увидеть не неподвижно взирающего на море старика чукчу, а, к примеру, спецкора журнала «Советская женщина». Поэтому я ничуть не удивился, когда зашел в кабинет к Григорию Семеновичу Гутникову, председателю колхоза имени Ленина, и застал у него сразу человек пять, у которых на груди, под расстегнутыми куртками, наготове так постоянно и висели расчехленные фотоаппараты. Одного из них я узнал, он давно ездил по Северу. Несколько лет назад он просил меня позировать ему на льдине в плавках. И хотя я уверял его, что на Чукотке, по крайней мере в нашем поселке, нет

«моржей», что даже летом температура воды в Чукотском море около нуля, он не отставал, ему нужен был такой кадр. Надо отдать ему должное, уговаривать он умел. «Хорошо,— согласился я наконец,— только пойдем подальше от поселка: мне еще здесь все-таки жить, работать...» Мы ушли под скалы, и я постоял там на льдине, плавающей у берега, пока он щелкал.

— Ну, а теперь в море,— сказал он.

— А какая у тебя самая маленькая выдержка? — спросил я.

— Тысячная...

— Вот ее и поставь...

Потом мне попадались некоторые его работы — например, в самый центр напуганного, кружашегося оленевого стада, как в водоворот, опускался вертолет. Возможно, это и эффектно выглядело, но я уже знал, чья это была идея: никакой летчик не позволил бы себе по доброй воле такого, попросту сказать, хулиганства... И вот — один изобретет такой кадр, другой напишет, что жители Уэлена принимают душ под фонтанами китов — буквально так и было написано! — и после этого как-то неловко приезжать в эти места и объявлять, что ты корреспондент. Но к'элюкъым мин кыри, как говорят чукчи, — ничего не поделаешь. Север и сам привык к корреспонденту, привык к его постоянной спешке, незнанию элементарных вещей, беспечной готовности к риску, Север, я бы сказал, балует корреспондента и относится к нему со снисходительностью взрослого. Отправляется в дорогу вельбот, вездеход, собачья упряжка. И слышишь: «Корреспондента, смотрите, не заморозьте!» Или: «Корреспондента не забудьте покормите!»

Сейчас, по беседе, которая велась в кабинете Гутникова, можно было понять, что в течение нескольких последних дней приходилось ему довольно туга, и что все это, слава богу, теперь позади. Уже с облегчением и смехом вспоминались непременные меховые одежды, в кои должен он был облачаться, и чучело поднявшегося на дыбы белого медведя, которое, по общей горячей просьбе, надо было вытащить из музея и поставить на улице — «будто бы он живой», чего Григорий Семенович все-таки не сделал. «Но в следующий раз — так и быть!»

Корреспонденты откланялись и уехали на том вездеходе, который меня привез. Тогда я тихонько подсел к столу и сказал:

— Я вас, видимо, разочарую, Григорий Семенович, но я в некотором роде тоже...

Гутников крякнул.

— Но мне ничего не надо,— поспешил заверить я.— Мне бы только в тундру...

— Это практически невозможно,— сказал он.— Вертолет, обслуживающий бригады, только что отработал. Все колхозные вездеходы в тундре. Не на чем вас отправить! Единственный шанс: завтра, если будет погода, на ту сторону залива пойдет вельбот с продуктами для оленеводов. На берег придет вездеход. На нем попадете в бригаду. Это — единственный шанс!

— Какой же еще шанс нужен, Григорий Семенович! — воскликнул я...

Ночью я несколько раз выходил на крыльцо лоринской гостиницы и с радостью отмечал, как постепенно уходит туман, все яснее проступают очертания близких сопок и далекой гряды за ними, а серые воды лагуны начинают отливать зеркальным блеском...

Наутро Гутников сам отвез меня на газике к вельботу.

Команда была уже на берегу. Бригадир Гриша Анканро сидел в вельботе и откачивал ручным насосом воду из-под настила. Он выплескивал ее за борт, красную и густую от крови,— наверное, вчера охотились. Остальные пили чай вокруг маленького костерчика. Потом погрузили бочки с горючим для вездеходов, ящики с галетами, печеньем, маслом, консервами, папиросами. Тронулись. Гутников махал рукой и кричал: «Пониже садитесь! По-ни-же!»

Я не встречался с ним раньше, но многое о нем слышал. Григорий Семенович — из того же поколения чукотских старожилов, что и Ивакин. Фронтовик. На Чукотку приехал вскоре после войны. Был председателем райисполкома. Попросился в колхоз. Сейчас в колхозе — девятнадцать тысяч оленей, звероводство, морской промысел, три миллиона основных фондов и миллионные прибыли. Но самое удивительное — тепличное хозяйство. На полпути между Лаврентия и Лорино, в уютной, закрытой со всех сторон долине бьют горячие ключи. Ныне это место так и обозначается — Горячие Ключи. Здесь в теплицах выращиваются самые северо-восточные в стране помидоры, огурцы, редис, капуста. Куры несутся. Есть у лоринцев и молоко, не порошковое, из банок, а свежее — только что от коров. Во все это вложено более двадцати лет труда. И теперь, сетуй не сетуй, от журналистов никуда не денешься...

Мы шли через лагуну часа три. Справа, за плоской косой, было море. Слева тянулся невысокий берег с пятнами нестаявшего снега. Сияло солнце, дул легкий ветерок,

поплескивала мелкая волна. Развлечений в такой дороге мало: чайки подрались с морским разбойником, нерпа вынырнула и снова ушла, блеснув на мгновение боком цвета старого серебра...

Вездеход мы увидели издалека, он сползая по распадку к берегу. Потом появился второй. Когда мы подошли, чай у вездеходчиков был уже готов... Снова почаевали. Вытащили из вельбота ящики и бочки. Погрузили на вездеходы. Ушел вельбот...

- Чайник твой?
 - Мой.
 - Не забудь.
 - Курево есть?
 - Возьми пару пачек. А ты патронами не богат?
 - «Нолевка»...
 - Дай немного... Ну, привет!
 - Погнали!
- И разошлись вездеходы по своим бригадам...

14

Представьте себя внутри закрытой железной коробки, которую то медленно, то быстро тянет кто-то по гигантской стиральной доске. А иногда этот «кто-то» хватает коробку и несколько раз сильно встряхивает, чтобы убедиться, погромыхивают ли еще в ней ваши кости. Так идет вездеход по летней тундре. Взбирается с ревом на перевалы, грохоча катится вниз, скрежещет по камням, устилающим дно ручьев и неглубоких речек. Сзади на зеленых склонах остается след от гусениц: две широкие полосы с пропступающей в них темно-коричневой жижей...

И все-таки мне нравилась езда в вездеходе, нравились и этот гул, и тряска. Мы лежали на мягких кукулях — спальных мешках из оленьих шкур, и смотрели назад, через прямоугольный проем кузова. Горизонт не оставался в покое, поднимался, опускался и вдруг совсем проваливался, и тогда мы видели только небо. Три дня мы уже ездили по тундре, и все три дня стояла жара. На фоне прозрачного воздуха в броуновском движении мельтешили комары и залетали внутрь кузова. Когда вездеходчик Толя Рыбаченко прибавлял скорость, их выдувало сквозняком.

Мы ехали к стаду. Оно паслось сейчас километрах в десяти от передвижного домика, в котором останавливались мы на ночлег. Домик стоял на плоском сухом бугре, посреди небольшой долины. Еще зимой его притащил сюда

трактор. Рядом, под обрывом, была речка, а на другом берегу я обнаружил выложенные по кругу камни, ралк'ан'ын — старые следы пастушьих яранг. Валялись тут же обломки нарт, и железные коробочки из-под чая, и выцветшие оленьи рога, и стреляные картонные гильзы. Раньше ярангам чаще приходилось перемещаться вслед за кочующим стадом. Теперь всю летовку они стоят на одном месте, а пастухи на маршрутах живут в таких вот домиках и в палатках...

Светлый прямоугольничек палатки увидели мы с очредного и последнего перевала. Гор впереди больше не было. Сопки, окаймлявшие долину, расходились вправо и влево, а между ними, за горизонтом, угадывалось море. Туда же, извиваясь, уходила узкая темно-зеленая полоса кустарника, обозначавшая русло речки Енкивеем. В переводе это означало примерно — Петляющая. Летний маршрут бригады пролегал вдоль этой речки до моря, а затем вверх по соседней речке обратно к ярангам, стоявшим в глубине тундры.

Через полчаса мы подъехали к палатке. Днем, как обычно, здесь были молодые пастухи, Борис Тынекай и Никита Каалтагин, да несколько школьников. Летом чукотские ребята трудятся — кто на зверофермах, кто в морзверобойных бригадах, а кто помогает пасти оленей. «А как же! Очень хорошо помогают, — сказал мне в прошлый раз бригадир Кавратагин. — Учим их, чтобы могли нас заменить...» Сам Кавратагин с другим опытным пастухом был сейчас в стаде. Он всегда ходил в стадо днем, потому что в жару выпасать труднее, олени беспокойные, тревожат их комары и оводы. Ночью, по прохладе, к стаду шла молодежь.

Мы тоже каждый день приезжали к стаду, вездеход был так и закреплен за этой бригадой на всю летовку. В его кузове имелась большая емкость и различные химикаты: хлорофос, каустическая сода, углекислый аммоний. Ведал этим хозяйством зоотехник Сергей Горбунов — он заканчивал последний курс магаданского сельхозтехникума и с самого начала отела был в тундре на практике. Пока он смешивал химикаты в ведре, Толя загонял свою машину в речку и наполнял емкость водой. Когда адская смесь в ведре начинала бурлить, ее выливали в ту же емкость. Потом ехали к оленям. Они или кормились еще, или уже стояли, сгрудившись, на водопое. Мы устанавливали возле стада длинные шесты с распылителями и начинали опрыскивание. Однажды, чтобы проверить действие раствора,

я смазал себе руки — комаров от них словно отбрасывало. Олени хорошо понимали, зачем их опрыскивают. Некоторое время стадо крутилось, но постепенно замирало, только рога потряхивались. «Сначала боялись,— замечал Сергей,— а теперь норовят под самую струю подойти, ложатся...»

Пастухи, пользуясь тем, что олени стоят спокойно, кипятили чай на костерчике. Кавратагин подкладывал сухие веточки кустарника под черный бидончик, висевший на изогнутой пастушьей палке. Был Кавратагин оранжев с ног до головы — кора ольхи придает кухлянке и брюкам такой цвет,— только лицо его было темно-красным. «Олень еще худой. Зима этик плохой был,— объяснял он.— Пурга часто, гололед. Сейчас старый мех сбросит, поправляться начнет...»

Олени правда линяли. Старый сизый мех слезал ключами, из-под него проглядывал блестящий, молодой. У иных на шкуре явственно виднелись небольшие черные дырочки — в этом месте не так давно ее прогрызла и вышла наружу жившая весь год под кожей оленя личинка кожного овода. Кожный овод, похожий на небольшого желтоватого шмеля, откладывает летом яйца на волосяной покров оленя. По волосу личинки проникают сквозь кожу, растут там, развиваются, а в июне выходят и падают на землю. Через три недели с земли поднимается новый овод. Круг замкнулся... Интересно, что оводы не садятся на слабых, поздно родившихся телят. Что-то подсказывает им, что такие телята могут погибнуть, а вместе с ними, следовательно, и потомство овода... Есть еще серенький овод, носовой, его личинки устраиваются в носоглотке оленя. Кавратагин убил такого овода, раздавил его у себя на ладони, и я увидел замельтешившие там белые микроскопические существа... Вдобавок еще комары. В прежние времена, да и сейчас пастухи раскладывают дымокуры из мха. Помимо этого, теперь ведется опрыскивание. До недавнего времени делалось оно вручную. В колхозе имени Ленина впервые на Чукотке разработали и стали применять для опрыскивания технические средства...

Я не знаю, откуда пошла слава о неприхотливости северного оленя. По-моему, капризнее — нет, не так,— именно прихотливее его нет животного на Севере. У Сергея я видел карту участка бригады. Разными цветами обозначены были на ней пастбища: зимние, ранне-весенние, поздне-весенние, летние, ранне-осенние и т. д. Подсчитана была и указана оленеемкость пастбищ (есть такой термин).

Разработаны точные маршруты движения стада. Специалисты по оленеводству устанавливают, какие корма в какое время года оленю нужны и сколько. Изыскивают наиболее эффективные, т. е. экономически выгодные, способы кастрации. Определяют оптимальное соотношение в стаде половозрастных групп, составляют таблицы: матери, нетели, телки, телята, производители, быки-кастраты... Думают, как устранить непроизводительные отходы — от некробациллеза, истощения после зимовки,— которые еще очень велики. Я не ставлю себе целью писать очерк об экономике Чукотки, поэтому, надеюсь, хозяйственники извинят меня, что я перечисляю здесь так бегло и только некоторые из множества этих вопросов. Я только хочу сказать, насколько далеко оленеводство от идиллической картины мирно пасущихся в тундре «олешков». У пастуха нет «свириели», у него есть палка, ровно такой длины, чтобы на нее можно было опираться во время бега, и слегка изогнутая, чтобы пружинила при этом. Потому что работа пастуха — это почти постоянный бег. Одна из чукотских сказок начинается так: «У женщины было несколько сыновей. Когда они подросли и стали сильными и бегали так быстро, что могли догнать оленя, женщина послала их к далеким горам — окарауливать дикое стадо оленей...» Северных оленей никто никогда не приручал, на них охотились, и оленеводство родилось из преследования. И сейчас они если не совсем дикие, то полудикие.

Позже, вернувшись в Магадан, я попал на выставку работ магаданских художников. Внимание мое привлекла картина «Оленеводы». Изображены были на ней юноша-пастух, рядом девушка в белом халате и с чемоданчиком с синим крестом — зоотехник, а между ними торчала голова оленя с доверчивыми, прямо благодарными глазами. Я признаю право картины на символ, но у меня свежи были впечатления тундры, и я вспомнил, как мы ловили большого ездового быка, у которого обломился рог. В июле рога у оленей еще молодые, неокрепшие, покрыты пушистой кожицей, и часто ломаются. Ломаются прямо у основания прямые рожки годовалых телят, обламываются целые ветки у взрослых. И висят, болтаясь на одной коже. Пока с рогов не сходит кожа, в них усиленно циркулирует кровь. Олень, сломавший в это время рога, может погибнуть от потери крови... Кавратагин бросил чаат, но неудачно. Бык откололся от стада, перебежал через речку и встал там, на песчаной отмели. Бригадир снова подошел к нему, держа чаат за спиной, посвистывая. На этот раз ему удалось за-

арканить быка, и мы все кинулись на помощь. Подтянув, он схватил его за рога, другой пастух, Гемако, навалился на спину, олень упал, кто сидел у него на ногах, кто прижал к земле голову. Что мерещилось в это время оленю? Кавратагин извлек нож, отрезал болтающийся обломок рога, начал состругивать, зачищать острые края. Кровь хлестала. Кавратагин достал из мешочка на пояссе шелковые нитки, туго стянул вокруг обломанного места. Прибежал Сергей, с таким же, как на картине, чемоданчиком, присыпал это место сухой марганцовкой. Олена отпустили. Он вскочил, пошатнулся и потрусили к стаду. Кавратагин, присев над речкой, вымыл руки и нож, собрал чаат. Отломавшаяся ветка рога очень напоминала человеческую руку. Нависают у взрослого северного оленя прямо над мордой два отдельных отростка, словно протянутые вперед, словно простертые в мольбе о чем-то руки... Иногда мы замечали, что олень захромал. Копытка... Его тоже непременно ловили, вскрывали гнойник на ноге, делали укол, разжимали зубы, сыпали на язык лекарство и заливали водой из черной резиновой бутылки...

В старину у чукчей-оленеводов было заклинание: «У хозяина Песчаной реки (Песчаная река — это Млечный Путь) я прошу большой железный ящик. Я помещаю в него мое стадо и запираю его на ключ. Как теперь келе войдет в него?» О, как понятна была эта древняя мечта о железном ящике, о надежном месте для стада, где с ним ничего не могло бы случиться!

15

Вместе со вторым пастухом, Гемако, пасли оленей два его сына. Старший, Сергей, в этом году закончил шестой класс. Был он молчалив и, видно, застенчив. Он никак не хотел, чтобы я его сфотографировал. Несколько раз я пытался снять его украдкой, но он словно чувствовал, отворачивался в самый последний момент. Второклассник Олег, напротив, фотографировался охотно и с достоинством. Одет он был так же живописно, как Кавратагин, и воротник его кухляночки был собачий, и торбаса настоящие, с дырками, чтобы не набираться воде, а на голове мраныквыи — легкая шапочка от комаров, сшитая из куска оленей шкурки и отделанная по краям красной ленточкой. На остановках он, как и взрослые, деловито снимал торбаса, выбрасывал размокшие стельки из травы и подкладывал новые. Мы

с ним подружились и любили разговаривать: я спрашивал, он отвечал, потом он спрашивал, но я не всегда мог ответить. Наше знакомство началось с того, что я поинтересовался, почему чай кипятят не в чайнике, а в бидончике. Бидончик удобнее носить, сказал Олег. А в яранге и в палатке они пьют из чайника. Потом он рассказал, что уже второй год пасет оленей, только прошлым летом мало пас. Он убил утку и полез за ней в озеро, хотя ему говорили не лазить, но он не послушался и заболел. Тогда прилетел вертолет, и его увезли в поселок... Иногда Олег прерывал себя на полуслове и бежал наперерез отколовшимся оленям, крича «Хок! Хок!» и размахивая своей палкой. Потом он возвращался и беседа наша возобновлялась.

Я спросил его, кем он хочет быть — вездеходчиком, как Толя, или зоотехником, как Сергей.

— Я буду пастухом, — твердо сказал Олег и пояснил: — Вездеход не может пасти оленей. И зоотехник не пасет, только лечит...

— А чем тебе нравится в тундре? — продолжал я свои расспросы. И получал простой ответ:

— Кушать. Ходить к стаду. Отдыхать...

— Хорошая погода, — замечал я в другой раз. — Солнышко, тепло, ясно.

— Немножко нет, — вежливо возражал Олег. — Для оленей плохая.

Потом в свою очередь спрашивал:

— А ты где живешь?

— В Москве.

— Тебе нравится в Москве?

— Да как тебе сказать... Не очень.

— А в тундре?

— Нравится, — искренне отвечал я.

— Тогда живи здесь, — заключал он мудро.

Во мне просыпался бывший учитель, я расспрашивал его о школе, как зовут учительницу, добрая ли она.

— Немножко нет, — отвечал Олег. — Ругается.

— Отчего же она ругается?

— Я немножко не стараюсь. Бывает, немножко опаздываю на урок.

— А тебе хочется сейчас в школу?

— Не очень, — честно признавался он, и я с огорчением думал: «Ну вот, дети пошли, в школу ему не хочется!» — а потом напоминал себе: «Как будто тебе самому очень хотелось после каникул в школу!»

Я попросил его написать мне что-нибудь на память

в моем блокноте, он расписался: Олег Гемако. Потом, подумав, написал еще «Ольень»...

Я подумал: забавно получалось — за несколько лет работы в чукотской школе я, кроме своего поселка, по сути, ничего не видел. И даже в тундре не бывал по-настоящему, если не считать коротких вылазок на охоту. А теперь, пожалуйста, за какой-то месяц объездил пол-Чукотки, побывал у оленеводов... А интересно было бы пожить с ними именно тогда, учителем, посмотреть на своих учеников. Ведь я расставался с ними на целое лето, и каждую осень нам было очень трудно на первых порах находить общий язык. Наверное, я тоже выглядел «немножко не добрым», — может быть, слишком ревностным, молодым был педагогом, может, переживал за свой сложный предмет, а главное, не знал я тогда, о чем они грезили наяву, только что вернувшись из тундры, сидя в классах и глядя на меня отсутствующими глазами. Теперь — знал, и был уверен, что с этим знанием работать было бы легче...

Но когда учителю чукотской школы выбраться в тундру? В течение учебного года невозможно, а летом он если не в отпуске на материке, то или в пионерлагере, или едет в Магадан, на курсы усовершенствования, или партии красит. И никто не посылает его в тундру, где тоже курсы, и весьма полезные, где учитель и сам мог бы многое узнать, и свое учительское дело исподволь, не навязчиво продолжить... В Лаврентия я, кстати, видел знакомых учителей, разговаривал с ними — все так же красят партии...

А между тем пора было уезжать. Мы связались по радио с Лорино. Каждый день бывало по три установленных сеанса связи. Центральная усадьба вызывала по очереди все бригады. Позывные у них были «Арбуз-1», «Арбуз-2», «Арбуз-3» и т. д. Смешно: восемь «Арбузов» катились по тундре. Иногда на связь приходила жена какого-нибудь из тундровиков, говорила, что дома все в порядке, целует.

— Что? — переспрашивал «Арбуз».

— Целую!

— Чего?

Тут подключался наш Толя Рыбаченко:

— «Арбуз-5», целуют тебя, целуют, понял?!

Так вот, нам сказали, что вельбот за нами придет на следующий день. И с вечера, как это обычно и бывает на Чукотке, погода снова стала портиться. Сначала над заливом появилась полоса тумана, потом прямо на глазах она перевалила через сопки и поползла в нашу долину. И сразу похолодало... Мы все-таки приехали наутро на берег, и

вельбот пришел, но по заливу уже шла большая волна и тянулись с моря прямые, параллельные полосы пен. Еще два дня, укрывшись от дождя и ветра в старой, полуразобранной на костры охотничьей избушке, мы сидели на берегу, ждали, когда штурм утихнет. Потом часов восемь, промокшие и прогретые насквозь, переплывали лагуну. Вдруг я вспомнил оленей и просто физически ощутил, как им сейчас хорошо и спокойно. Не трясут они головами, не топают ногами, не хоркают недовольно и не порываются мчаться куда глаза глядят. И пастухам спокойнее тоже. Укрывшись где-нибудь от ветра, пьют они чай, наставляясь до черноты. А школьники чай не пьют, они делают себе кисель. «Кисель вкуснее», — объяснял Олег Гемако. Еще я вспомнил, как Олег, пускаясь вдогонку за отколовшимися оленями, бормотал: «Эх, Сырдарья, Амударья!», и это означало, что он особенно рассердился.

16

Я стоял в Лаврентьевском аэропорту и смотрел на вертолет. Вертолет должен был лететь в Уэлен и, разумеется, сразу вернуться. И я мог это сделать. Сбывался мой постоянный сон — о беге по Уэлену. И я отказался. Если бы у меня был еще хотя бы месяц! Я бы сел на вельбот, доплыл бы до Нуяямо, оттуда бы вместе с охотниками перебрался в Наукан, из Наукана пешком через сопки — в Уэлен... Но у меня был всего день. И я отказался. Я сел на самолет, чтобы вернуться в Анадырь, потом в Магадан и в Москву. Снова пошли внизу распадки с высохшими руслами рек, похожими, в сетке мелких ручьев, на старую кожу, из которой ушла большая сверкающая змея... Мне хотелось проститься с Севером как-то торжественно, сказать ему какие-то необыкновенные слова. Как это сделали, например, замечательные датские путешественники и исследователи Арктики Петер Фрейхен и Финн Саломонсен в конце своей прекрасной книги «Когда уходят льды». «Людям, побывавшим в Арктике, — написали они, — всегда хочется туда вернуться. Они не находят себе покоя и готовы многим пожертвовать, только бы еще разбросить взгляд на полярные льды. Арктика прочно завоевывает их сердца. В чем же кроется ее обаяние? Не в том ли, что здесь можно ближе подойти к сокровенным тайнам природы, а следовательно, и жизни человека! Арктический пейзаж прост и ясен. Все лишнее, все ненужное исключено. Нет ни де-

ревьев, ни домов, не слышишь шума; иногда пройдешь десятки миль и не встретишь признаков человеческого существования. Один во всем мире, наедине со своими мыслями, человек сливается с окружающей природой, слышит биение ее сердца, проникает взором за бесконечный горизонт и ощущает всю полноту своего бытия».

Да, может быть, медики, психологи и философы сообща откроют когда-нибудь сущность этого необыкновенного влечения. Исследуют состав воздуха, проследят зависимость настроения от созерцания поутру плавных очертаний гор, а ввечеру — тихих и ясных вод, установят необходимую и достаточную для человека дозу информации о мире и выведут формулу Севера. Пока же этого нет, и один мой знакомый свою любовь к Чукотке объясняет просто: «Нравится мне холод! Тот самый — воспетый, когда «снова счастлив, молод, и снова жизни полн!» И я его понимаю. А тут еще, по некоторым теориям, ожидается потепление на Земле, и, следовательно, Север, каким мы его видим сейчас, исчезнет. Я знаю очень многих людей, которые не хотели бы этого. К счастью, по тем же теориям, это должно произойти не очень скоро, и долго еще можно будет узнавать и любить его таким, какой он сейчас... Впрочем, все это не те, не торжественные слова. Меня мучило обилие не рассказанного, оставшегося за пределами этого короткого очерка. Например, полянка цветов на пустынной косе посреди туманного Мечигменского залива. Довольно крупноватых для Севера цветов с желтыми лепестками и сердцевиной, на толстых коротких стеблях с шершавыми листьями. Что-то мне эта желтизна и шершавость напомнили. Я понюхал цветок, растер и понял, что это обыкновенный, только очень маленький подсолнух. Кто-то, наверное, просыпал здесь горсть присланных с материка семечек... А одинокая яранга на дне громадной и круглой чаши, сверкавшая в низком ночном солнце, — словно космическая капсула. И запах растревоженной травы, цветов и земли, после того как стадо прошло по тундре... Но странно: оказалось, что я совсем не сожалел, что не удалось мне побывать в Уэлене.

— Пусть Уэлен, — сказал я себе, — остается за логом...

Оттого и не шли мне на ум слова прощания с Чукоткой — я знал, что я не прощаюсь, я еще вернусь.

Чукотка, июль 1972 года

Влюблён на Ресомашней реке

1

Известно, что вся Чукотка, вопреки элементарным географическим определениям, материком себя не считает. Правда, и островом не называет. Просто говорят люди: «Откуда? С материка. Куда? На Чукотку...» Впервые прямое сравнение с островом увидел я в статье Валентина Васильевича Лысковцева, секретаря Билибинского райкома партии. «Билибино называют островом, — прочел я в «Магаданской правде». — И это потому, что расположен он в большой котловине, окруженной высокими сопками. Поселок отгорожен непроходимой тундрой, горными хребтами, бурными реками. Однако его население трудится по-ударному и живет полнокровной жизнью». Я в этот момент как раз летел в Билибино и находился где-то между Сеймчаном и Омолоном.

Не знаю, как вы, читатель, а я по себе замечаю, что когда летишь на большом самолете, например, из Москвы в Магадан, то словно выключаешься из жизни.

Когда же в Магадане пересаживаешься в самолет поменьше и летит он пониже и помедленнее, не столь отрешенно от земли, то и в тебе этой оторванности нет — начинаешь воображать, как прилетишь, кого встретишь, живо приобщаешься ко всему, что видишь внизу.

А внизу разворачивались те самые, помянутые Валентином Васильевичем «горные хребты и бурные реки». Впрочем, хребет — это ведь какая-то все же линия, цепь, а тут никакой линии невозможно было угадать, горы выселись сплошь, от края до края, иные совсем были засыпаны снегом, у иных прорезались черные каменные вершины или обнажалась отвесная стена. Бесконечная, однообразная, сверкающая под солнцем, черно-белая, с серыми тенями в распадках пестрота... Иногда открывалась широкая долина, река в ней тоже была укрыта снегом, придавлена льдом. Лишь в очень открытых местах, на излучинах, снег сдувался ветром и темнели узкие полукружья льда, обозначая, какую немыслимую петлю выписывало здесь

русле или протока... И ни малейшего признака, следа человеческого пребывания. Остров не остров, но какой-то затерянный мир, это точно... Я вспомнил, как несколько лет назад, когда я вот так же приехал в Билибино и познакомился с Лысковцевым, он уповал: «Вот закончим аэродром для большегрузных самолетов в Кэпервееме, отсыпем дорогу, тут всего тридцать километров, и со снабжением будет проще. Ведь от турбины для «атомки» до последнего гвоздя — все везем с материка! Не говоря уж о продуктах. А единственная пока дорога — зимник...» За жизнью Билибино я следил и знал: и аэропорт, и дорога к нему построены. Теперь в статье Лысковцева выдвигалась другая идея — превратить трехсоткилометровый зимник Билибино — Зеленый Мыс в постоянную, круглогодичную дорогу. В Зеленом Мысе морской порт, основные грузы приходят туда... Что ж, это было естественно: перспективы перед районом открывались большие и потребности его росли.

Прошлый раз я был в Билибино в разгар лета. По всей континентальной Чукотке стояла тридцатиградусная жара. К вечеру солнце опускалось пониже, поостыпало, и прохладная белая ночь выманивала на улицу. Я выходил из дома, бродил по поселку и обнаруживал, что я далеко не единственный полуночник. Интересно было наблюдать за разговором каких-нибудь находящихся в отдалении людей. Именно — наблюдать: одолевали комары, люди, отмахиваясь, делали самые отчаянные жесты, прикладывали руки ко лбу, щекам, хватались за голову, а слов не было слышно, и казалось, что происходит какой-то безмолвный пересказ совершенно невероятной, ужасной, раздирающей душу трагедии... Сейчас было самое начало марта. Полярная ночь кончилась, пятидесяти—шестидесятиградусные морозы миновали. Днем доходило до 25—30, что, по здешним понятиям, уже не холод, и только по утрам, как говорили билибинцы, «еще маленько давило».

Первой, приятной для всякого путешественника, новостью была большая четырехэтажная гостиница «Северянка», выстроенная на улице Курчатова. В номере, куда меня поселили, я обнаружил полный комплект мужской парадной одежды: костюм, сорочку с галстуком, ботинки. «Пастух здесь жил, из тундры... — пожаловалась Сима, дежурная по этажу. — Они всегда так. Едут в отпуск, покупают костюм. А возвращаются — бросают. Зачем им в тундре?! А у нас теперь этого добра... прямо хоть комиссийский открывай!» Я вообразил на миг паренька, прыгаю-

щего по кочкам в накрахмаленной рубашке, лакированных туфлях и с ременным чаатом в руках. Действительно, не вязалось...

Совсем недавно, а если быть точным, 9—10 февраля 1976 года, поселок Билибино праздновал свое двадцатилетие. Я и летел-то сюда с расчетом, чтобы поспеть, но — поздно выехал из Москвы, задержался в Магадане... Однако я был спокоен: все, что касалось юбилея, итогов, наград и дальнейших обязательств, было, несомненно, запечатлено, собрано и увековечено моим добрым старым знакомым, старожилом Билибино и ревнителем его истории Григорием Сергеевичем Глазыриным. Я услышал о нем, еще не успев въехать в поселок. Дорога из аэропорта вдруг разделилась надвое, на развилке стоял «кирпич». Шофер поехал на «кирпич». Я оглянулся — тяжелый грузовик позади тоже свернул за нами. Дорога здесь шла по реке, по Кэпервеему, ровная, гладкая, как асфальт, только без жесткости асфальта, изредка, будто через плавную волну, переваливая огромные вспучившиеся наледи. Я спросил про «кирпич». «А это есть у нас такой неугомонный Дед, — сказал спутник. — Он и добился, чтоб поставили. Совещание было как-то в исполнкоме, по охране природы. Так он часа два докладывал... Ну и почему по реке зимой нельзя ездить. Загрязняем, говорит, лед. Все это весной уйдет в воду. А на перекатах, где до дна промерзло, портим речную растительность...»

— Но ведь все равно ездите?

— Ездим, — сокрушенно согласился спутник. — Какой чукотский шофер устоит. Такая дорога!

А в «неугомонном Деде» я узнал Григория Сергеевича и порадовался его верности себе, неиссякаемому его энтузиазму.

Глазырин по-прежнему, несмотря на свои шестьдесят семь лет, работал начальником гидрогеологического отряда в АКГРЭ; слово это, напоминающее крик осипшей на морозе птицы, обозначает: Анюйская комплексная геологоразведочная экспедиция. И, помимо основного своего занятия гидрогеологией, по-прежнему со дня основания оставался общественным директором Билибинского краеведческого музея. В музей он меня и потащил, едва мы встретились. Я года три не был в Билибино, а зимним его вообще не видел — шел, озираясь. На центральном перекрестке, рядом с экспедицией, намело большой сугроб: один склон довольно пологий, другой почти отвесный. Рядом, по скрипучему билибинскому снегу, кружили на

велосипедах мальчишки. Задача была: разогнавшись, взлететь на пологий склон и — сверзиться с отвесного... Молодая женщина катила навстречу колясочку, и так все было внутри коляски укутано, завешено, закрыто, что только по ее ширине можно было догадаться, что там — двойня... На автобусной остановке стоял огромный парень в огромных валенках, в ушанке, казавшейся крохотной на его голове, и с необыкновенным румянцем на круглом лице. «Типичный старатель,— определил я.— Ему бы еще фанерный чемодан с висячим замком...»

Окна домов в Билибино, пока держатся холода, — это витрины всевозможных яств. Чего только не вывешено наружу, на мороз: мешки, авоськи с мясом, рыбой, ягодой, выставлены какие-то ящики, кастрюли, банки. Над форточками — большие плотные карнизы инея... В самом центре поселка, я помнил по прошлому разу, стояло несколько трехэтажных домов в аварийном, если выражаться языком техническим, или попросту в плачевном состоянии. На их стенах снизу доверху — издалека как черные высохшие деревья — разветвились трещины; жильцы выехали; к домам, чтобы не окончательно они развалились, приставили подпорки. Нередкие для Севера последствия многоэтажного строительства на вечной мерзлоте, когда грунт под домом оттаивает и проседает. Казалось мне тогда, что эти дома осталось только сломать. «Вечную мерзлоту или совсем не тревожить, или тревожить капитально,— говорил мне один магаданский архитектор.— А Билибино что? Это же был испытательный полигон для проектировщиков. Там упражнялись и так, и эдак...» Однако увидел я, что дома те самые продолжали стоять как новые. «Стены затянули мощными металлическими балками,— объяснил Григорий Сергеевич.— Как в корсет... А сверху еще раз оштукатурили». Практикуется в Билибино и еще один способ борьбы с вечной мерзлотой, то есть борьбы своеобразной, заключающейся в том, чтобы ее сохранить. Вокруг домов, на некотором расстоянии, по периметру бурятся скважины, в них вставляются трубы, заполненные керосином. А керосин, как известно, хорошо проводит холод. Я вдруг очень зиромо представил, как в жесточайший мороз земля втягивает, впитывает через эти трубы бесплотный пока холод и он расходится на глубине во все стороны, материализуется в маленькие кристаллики, в целые ледяные глыбы...

Но вот и музей — все в том же домике, в одном из первых домов поселка, под которыми грунт никогда не

проседает, которые так споро и без затей ставятся перво-проходцами и стоят надежно по многу лет, и еще могут стоять, ровно столько, сколько понадобится... Когда-то, лет шесть назад, отвели здесь Григорию Сергеевичу одну маленькую комнатку, и в ней стала сосредоточиваться история Билибинского района. Теперь же музей занимал дом во всю его длину; то, что раньше было лишь намеком, знаком и ютилось в небольшой витринке или на стенде, стало разделом. Жизнь и деятельность Юрия Александровича Билибина, чьим именем названы поселок и район, история самого поселка, летопись строительства атомной электростанции, прежний и новый быт оленеводов, золотые прииски — все это размещалось сейчас в отдельных комнатах. Просторно стало многочисленным образцам полезных ископаемых, костям, бивням, черепам мамонтов, бизонов и прочих вымерших животных, а также чучелам ныне уцелевших; улеглись, наконец, во всю ширь своих разворотов страницы пожелтевших газет, расположились в должном порядке фотографии, появилась масса новых экспонатов. Историю и способ приобретения некоторых из них я знал. Приезжает, к примеру, Григорий Сергеевич в отпуск на материк. Отпуска у северян, как известно, долгие, но еще более долгие и перерывы между ними: два-три года. Ну чем, скажите, заниматься в отпуске человеку его лет, половину из которых он отдал Северу, исходил пешком, «ископытил», как здесь выражаются, пол-Колымы и Чукотки? Ясно — отдыхать! Но у Глазырина свои планы. Сначала он едет в Ленинград, где живет семья Билибина. Потом устремляется куда-нибудь в Ростов — там проживает другой, забытый всеми, но не Глазыриным ветеран Севера. Затем еще куда-то, к кому-то... В конце отпуска звонит: «Приезжайте, поглядите мои «трофеи»!» И с торжеством предъявляет походный нож Билибина, выючную сумму из отряда академика Сергея Владимировича Обручева, сетку для образцов, которой он пользовался... Все это я сейчас в музеиных витринах и вижу...

Билибинский краеведческий музей называется народным, он создан на общественных началах, на энтузиазме добровольцев. Я знаю многие поселки на Чукотке гораздо более древней историей, чем у Билибино, но таких музеев там почему-то нет. Нет даже в моем Уэлене, куда приезжают археологи и раскапывают человеческие жилища, сделанные во II тысячелетии до нашей эры. И то, что билибинцы свой недавний, всего лишь вчерашний, и свой сегодняшний дни осознали как исторические и постарались

запечатлеть, — факт знаменательный. Из этого факта многое можно вывести — ну хотя бы уважение к тем, кто пришел сюда первым, к их труду, и уважение к собственному труду, и мысль о тех, кто будет трудиться здесь завтра. Мой знакомый магаданский социолог и демограф мечтает о том времени, когда во вновь освоенных северных районах подрастет поколение, для которого эти районы будут родиной. «Прекратится, наконец, эта постоянная езда взад-вперед, с материка, на материк», — говорит он. — Прекратится колоссальная трата государственных денег только на ввоз и вывоз рабочей силы! То есть он смотрит с понятной, с экономической точки зрения. Но есть и просто человеческая. Новое поколение, подросшее за эти годы в Билибино, кончает сейчас школы, получает паспорта. Эти ребята не раз были и еще будут в музее. Они узнают здесь не о «делах давно минувших дней», а о делах своих отцов, матерей, видят их лица, читают их фамилии — свои фамилии. И лишний раз утверждаются, что корень их — здесь...

А Григорий Сергеевич, переводя меня от экспозиции к экспозиции, сетует, что помощников мало, что многое приходится делать самому. Я знаю, что есть, есть у него помощники: и школьники, и комсомол, и общественники, и шефствующие предприятия, — просто музей его детище, и по исключительности, по силе своего энтузиазма он действительно главный энтузиаст. Недаром и общественный директор. Не будь его, эта идея, наверное, воплотилась бы в ком-нибудь другом, а так билибинцы спокойны, знают, что Глазырин есть и ничего, ни одной черточки из их действительности он не упустит. Вот, кстати, и стенд, посвященный 20-летию... Фотография широкого, пустого, заснеженного пространства. В отдалении — сопки с лиственничным редколесьем. На первом плане — одиночная, искореженная ветрами лиственница. Это долина Кэпервеема, Росомашней реки, двадцать лет назад. Здесь, с палаток, с маленьких рубленых домиков и зародился поселок.

Вот и статья Глазырина в местной газете «Золотая Чукотка»: «Так начиналось Билибино». Панорама нынешнего поселка с кварталами многоэтажных домов, с силуэтом «Орбиты» на сопке... Проникновенные слова: «Тебя основали геологи, имя тебе дали геолога, открывателя первого Золотой Колымы...» Отпраздновано было торжественно. Были гости, среди них первооткрыватели чукотского золота, лауреаты Ленинской премии Константин Александрович Иванов и Салат Михайлович Абаев. Было

учреждено звание «Почетный гражданин Билибино». Было обращение поселкового Совета билибинцам, где, в частности, говорилось: «От жирника и свечей мы дожили до огней первой заполярной «атомки», в наших квартирах светятся голубые экраны телевизоров... Часть Вашего личного труда, частица Вашего тепла и сердца остались в Билибино. Поздравляем Вас...» И была, наконец, и осталась теперь песня о Билибино, сочиненная геологом Русланой Тулиновой:

Сколько с тобой, Билибино, связано, видано,
Наши дома и площади тоже чуть-чуть музей.
Зимний туман — Билибино, белая ночь — Билибино,
Нам не забыть, Билибино, верных своих друзей...

— Хорошая песня, — говорю я.

Григорий Сергеевич вдруг раздвигает свою бородищу в широкой улыбке:

— А в наше время пели не так! «Чифирные консервные баночки попадаются нам по пути. Ты смотри на пустые жестяночки, чтобы легче дорогу найти!»

И, обернувшись к фотографиям, глядящим на нас со стен, он взмахивает рукой, как бы призывая первопроходцев, старых своих товарищей, поддержать, грязнуть привет:

Бредешь кое-как, три пуда рюкзак,
Устал, как черт, зато и рад, и горд,
Недаром сезон в тайге проведен,
Держись, старина, получит золото страна!

— Это был наш «Марш сеймчанских геологов», — заключает Глазырин. — Базировались-то мы тогда на Колыме, в Сеймчане. А здесь было — «поле»...

Теперь, когда двадцатилетие поселка миновало, Григорий Сергеевич был одержим двумя идеями. Первая — поставить рядом с музеем ярангу оленеводов, настоящую, с меховым пологом, с предметами домашнего обихода. Так сказать, филиал музея на открытом воздухе. В ограде, конечно, чтоб бичи не вселились... Вторая — «идея мамонта». Попадаются до сих пор в изобилии в чукотской земле кости мамонтов, встречаются даже целые скелеты. Но целого в Билибинском районе пока не нашли, и Григорий Сергеевич задумал собрать, «скопить» его по частям.

— Череп с бивнями, три ноги, верхняя челюсть, две тазобедренные кости уже есть. Осталось...

И «неугомонный Дед» начинает перечислять, что — осталось...

Кроме старожилов «золотого» Билибино, его основателей, геологов и горняков, есть в поселке и другие ветераны — ветераны «атомки». В самых первых строках летописи Всесоюзной ударной комсомольской стройки Билибинской АЭС записано: «Год 1966-й. 14 января. Принято решение о строительстве Билибинской атомной электростанции». Так что «атомка» в Билибино, можно считать, вдвое моложе поселка. Соответственно молоды и «ветераны»: тридцать — тридцать пять лет...

Так вышло по ритму моих чукотских путешествий, что до нынешнего приезда я видел Билибинскую «атомку» дважды — не скажу, что в самые ее ответственные, но довольно характерные моменты. Впервые, мимолетно — летом 1969-го. И взгляду непосвященного человека стройка являла тогда малопонятное зрелище. Ну если бы протекала могучая река и строили ГЭС, было бы ясно: вот здесь перегородят ее плотиной, и такие плотины мы еще по школьным учебникам, еще по изображениям ДнепроГЭСа привыкли представлять. Тут же была широкая, окаймленная сопками долина с маленьким, совсем потерявшимся между валунами и кустами ручейком Понеургин. А на склоне одной из сопок и у подножия ее была взрыта земля, не столь, кстати, и глубоко, да стояло несколько домиков. Особенной мощи техники тоже тогда не наблюдалось: ходил взад-вперед бульдозер, мелькали изредка самосвалы. На дне какой-то ямы лежала бетонная плита. Вот и все. Что здесь будет? Как это будет выглядеть? Теперь в летописи я читаю: «Год 1969-й. 13 мая. В подпорные стены приямка здания спецводоочистки уложен первый куб бетона...» Вот, оказывается, что это было...

Спустя три года, летом 72-го, я отправился в Билибино специально. Уже можно было видеть, что представляет собой «атомка», по крайней мере, снаружи. На склоне сопки расположился огромный, по чукотским понятиям, дом — метров сто в длину, шестьдесят в ширину и тридцать в высоту. Две высокие трубы над плоской крышей. Стены его отливали на солнце светлым металлическим блеском. И оттого, что этот большой дом стоял так уединенно в тундре и так непривычно — не камень, не дерево, не штукатурка — выглядели его стены, вид у него был какой-то загадочный, странный, и ездеший, ну, может быть, как у инопланетного корабля, причалившего из космоса тихо, без грома и огненных струй...

Водил меня тогда по станции Владимир Кузьмич Абалакин, молодой инженер из дирекции строящейся БАЭС. По специальности он был не строитель, а энергетик и приехал в Билибино как эксплуатационник, хотя до пуска «атомки» было еще далеко. Показывал он мне, как я догадался, не что есть, а что будет, но показывал так, будто это уже есть. Мы поднимались по крутым деревянным лестницам, проходили по дощатым мосткам над пропастью и попадали в просторное помещение с круглыми глубокими колодцами в полу. На дне колодцев и рядом с ними лежали какие-то металлические детали непонятного назначения, такие же большие, как все вокруг, каждая деталь пока сама по себе, а Владимир Кузьмич говорил: «Это реакторный зал. Четыре блока...» И объяснял принцип работы реактора. Мы перелезали через отверстые проемы в стенах, нависали там над другой пустотой, и Абалакин называл: «Блочный щит управления. По одному щиту на два блока. Обслуживает смена из нескольких инженеров. В белых одеждах...» Конечно, он уже работал на атомных электростанциях и мог все это себе представить. Я же видел со всех сторон, и справа, и слева, и над нами, и под нами, бетонщиков, каменщиков, кровельщиков, монтажников — отнюдь не в белых одеждах, — видел хаос металлических конструкций, свежие кладки из бетонных блоков, вспышки электросварки, слышал стук и гул, наполняющий изнутри весь этот дом. Тогда, мне показалось, на «атомке» был самый разгар работ — разгар для строителей.

И от строителей я узнал массу интересных вещей. Я узнал, что возведение этого дома — я по-прежнему упорно называю его «домом», потому что в то время это действительно был пока дом, не «атомка»,— да, возведение такого вот дома, впервые в условиях Чукотского Заполярья, было для них... как бы это поточнее сказать... чем-то вроде непрерывного эксперимента. Правда, сразу отказались экспериментировать с вечной мерзлотой, о которой я уже упоминал. Сняли со склона несколько метров почвы и поставили здание на коренные, скальные породы — так-то надежнее. Но вот хотя бы крыша. По проекту для нее в качестве утеплителя предназначался газобетон. Строители предложили пенополистирол, в итоге вес крыши уменьшился на тысячу тонн, затраты — на 140 тысяч рублей... Или укладка бетона в мороз. Раствор с завода приезжает на стройку с температурой всего 5—6 градусов. Предыдущие блоки уже застыли. Чтобы бетон схватился с холодной конструкцией, надо

его опять разогреть. Для этого строители изобрели и сами сделали специальные бады с электродами. Подается напряжение 380 вольт, и раствор обретает нужные семьдесят — семьдесят пять градусов... Я узнал, что стены, выглядевшие столь экзотически, смонтированы из алюминиевых панелей, и такие стены на Чукотке — тоже впервые. Панели двойные, с утеплителем, и, несмотря на то что толщина их всего тридцать сантиметров, они позволят поддерживать внутри здания температуру плюс двадцать при минус пятидесяти снаружи. Чтобы обеспечить такой тепловой режим, из бетоноблоков пришлось бы выложить целые крепостные стены толщиной около метра, нагрузка на фундамент увеличилась бы на 7,5 тысячи тонн... Я познакомился с Николаем Ботиным, бригада которого ставила эти панели. Кстати, в летописи стройки есть и такая запись: «Год 1971-й. Ноябрь. Комсомольско-молодежной бригадой монтажников (бригадир Николай Ботин) с оценкой «отлично» досрочно закрыт главный корпус АЭС...» Ботину было тогда тридцать три года, средний возраст ветерана «атомки».

До Билибинской участвовал в строительстве Белоярской атомной электростанции. Был там депутатом областного Совета, имел трехкомнатную квартиру. Приехал в Билибино со всей семьей, жил пока в квартире друга, уехавшего в отпуск. «Закрыли стены за два с половиной месяца», — сказал он.— Торопились, чтобы дать возможность строителям наладить отопление и работать внутри корпуса. А над стеной из бетоноблоков полгода пришлось бы трудиться...»

Познакомился я и с бригадиром каменщиков Петром Щербаком. Высокого роста, с лыняными кудрями белорус. Он со своими ребятами выкладывал тогда стекну на отметке 15.60. Посовещались в бригаде, решили тридцатисорокакилограммовые блоки таскать на себе. Не потому, что не имелось техники, но объем работ был невелик, и монтировать подъемный механизм не было смысла — и дорого, и долго... Я понял: тут все считали — и время, и деньги, и материалы, и человеческие усилия — и старались сэкономить на всем, ну а если уж не получалось на всем, то жертвовали прежде всего своим временем и своим и усилиями. Висел тогда на стройке плакат: «Строитель, помни! Бетон m^3 стоит 102 руб. Раствор m^3 — 106 руб. Брус m^3 — 280 руб. Стекло m^2 — 2,30 руб.». В сравнении с центральными районами страны это дороже в 4—4,5 раза. Во столько же надо увеличить затрачиваемую людьми

энергию, и тогда, без описания пятидесятиградусных морозов, метелей и полярных ночей, можно понять, что такое стройка на Севере...

«Торжественное нажатие кнопки» произошло... Впрочем, на атомных электростанциях подобная дата как бы раздваивается, существуют два одинаково важных, одинаково ответственных, одинаково торжественных момента. Первый — когда в реактор загружают необходимое для его работы количество стержней с ураном и происходит так называемый «физический пуск». Второй момент — когда станция начинает давать промышленный ток, «энергетический пуск». Оба эти момента помнятся на Билибинской «атомке» до минуты. 10 декабря 1973 года в 21 час 57 минут по местному времени (разница с московским — девять часов) в первый реактор опустили первый рабочий канал. К следующему дню загруженная масса урана стала, что называется, критической, и реактор «заработал». Вот это была горячая пора для «атомщиков», эксплуатационников. По круглым суткам они от этого реактора не отходили, исследовали, испытывали его нрав, проверяли как самостоятельное «физическое нейтронное устройство». Обращаясь к сравнению, от атомной физики очень далекому, — вот так необъезженного коня укрошают, прежде чем запрячь. И через месяц, 12 января 1974 года в 22 часа 15 минут, реактор «запрягли»: энергию ядерного распада передали воде, вода обратилась в пар, пар ринулся в турбогенератор — по высоковольтным линиям пошел ток. Из летописи: «Год 1974-й. 22 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР Билибинская районная комсомольская организация награждена орденом Трудового Красного Знамени за развитие энергетики на Крайнем Северо-Востоке и коммунистическое воспитание молодежи». Но летопись на этом далеко не закончилась — оставалось смонтировать и пустить еще целых три реактора, или, как тут говорят, три блока...

...И вот я опять, в третий раз на «атомке» (и опять через три года)... Вдоль дороги от поселка к станции тянется — вернее сказать, тянется от станции к поселку — трубопровод, трубы уложены на высокие стойки, весь он как бы подвешен в воздухе. Это теплотрасса, она готова, но пока не пущена, не решились строители опробовать ее в сильные морозы. Примерно через месяц пойдет по этим трубам от «атомки» к поселку горячая вода. Тепла, образующегося в ее реакторах, хватит и на то, чтобы отапливать Билибино. Погаснут поселковые котельные, перестанет висеть над

долиной облако черного дыма... Знакомые четыре бетонные буквы перед станцией — БАЭС, только в прошлый раз казались они почему-то огромней... Вход: устланная каменными плитами площадка, широкий нависающий козырек, сплошные стеклянные двери — так выглядит подъезд какого-нибудь современного здания театра. Из проходной я позвонил Абалакину. (Приятно все-таки встречать и называть старые имена! Так, Петр Щербак, я уже знал, по-прежнему бригадирствует, сейчас, когда строительство «атомного дома» закончено, ставит жилые дома в поселке. Член Магаданского обкома КПСС... А Владимир Кузьмич — заместитель главного инженера станции.) Он встретил меня, и мы отправились по многочисленным лестницам, коридорам, перешли из служебного корпуса в главный по закрытой стеклянной галерее. В одном месте Абалакина отвлекли каким-то вопросом, а я увидел интересный плакат. «Доза облучения в БЭР (биологический эквивалент рентгена), — гласил он. — Возможное действие: 25 — видимые нарушения отсутствуют. 25—75 — возможно изменение в крови, серьезные нарушения отсутствуют...» И т. д. Завершался этот бесстрастный перечень так: «400 — смерть 50% пострадавших. 600 и более — поражение обычно смертельно для 100% пострадавших». Подошел Владимир Кузьмич, махнул рукой: «Это тыщу лет надо проработать, и то столько не схватишь. 0,02 — допустимая норма...»

Сбылись некогда обещанные Абалакиным белые одежды! Прошлый раз мы с ним лазили по этому дому в строительных касках, теперь нам выдали белоснежные халаты с меткой на кармашке «БАЭС», такие же шапочки, на ноги натянули мы какие-то прозрачные калоши. Возле окошка дозиметрической службы Владимир Кузьмич получил и прицепил к пуговице халата маленькую черную кассету. В ней обычная фотопленка. Все кассеты пронумерованы, у каждого сотрудника станции, имеющего доступ в «зону строгого режима», своя. Периодически пленку проявляют — для контроля... Мы прошли через раздевалку с душевыми и вступили в «зону». Опять коридоры, переходы, лестницы — теперь уж не деревянные, конечно, — и опять тот самый реакторный зал. «Сердце атомки», как принято выражаться... Гул, грохот, бешеное вращение, низвергающаяся вода, вздывающие клубы дыма — вот что до сих пор производит на нас привычное впечатление работы. Здесь же было тишина. Там, где когда-то зияли глубокие, незаполненные колодцы, легли мощные металлические,

почти вровень с металлическим полом люки. И все. Вот так это и выглядело. Большой пустой зал, тишина, неподвижность, тепло, за окнами древний, застывший, заснеженный пейзаж. Единственное движение в зале — несколько женщин в белом намотанными на щетки влажными тряпками протирали пол... И все-таки было ощущение, что что-то происходит. Может быть, это был результат особой настроенности сознания. Я наклонился и приложил ладонь к люку — он был горячее руки. «Над реактором два с половиной метра специальных защитных перекрытий, — сказал Абалакин. — Но греет, конечно. Температура графитовой кладки 450—470 градусов...»

«Зону строгого режима» атомщики на своем условном языке называют «грязной». Ну а в буквальном смысле по чистоте станция действительно напоминает корабль. Да и вообще в ней многое от корабля: машинный зал, гулкие рифленые металлические полы, отвесные трапы. Смена инженеров, дежурящих возле пульта управления, называется «вахтой». И какая-то во всем четкость... Если в реакторном зале представляла и слегка разочаровывала видимая простота, или, точнее, недоступна была скрытая сложность, то эта сложность, «изнанка простоты», в полной мере открывалась непривычному взору на пульте. На дверях этого помещения кратко (здесь любят краткость) было написано: «БЩУ-1», что означало «Блочный щит управления». Щит оказался довольно высокой, вогнутой к зрителю стеной с вмонтированными в нее приборами. Нельзя сказать, что приборов было «много» — их было необозримо, ошеломляюще много! Круглые, полукруглые, квадратные, прямоугольные, большие и маленькие стекла, стрелки за ними, прыгающие и неподвижные, красные предостерегающие отметки, вздрагивающие самописцы, неуклонно что-то вычерчивающие на диаграммных лентах, кнопки, тумблеры, рычажки... Бросалась в глаза геометрическая точность, строгая симметрия, с которой все это располагалось, — отвлекаясь от инженерной целесообразности, это было просто красиво... Перед щитом стоял стол с пятью-шестью телефонами, имелся еще микрофон, динамик. Вокруг стола сидело несколько операторов, все молодые ребята. Сидели, смотрели на щит. Время от времени кто-то подходил к какому-нибудь прибору, что-то записывал. Иногда говорили что-то в микрофон, о чем-то оповещал динамики... Здесь я встретил начальника смены АЭС Георгия Владимировича Букина, который сказал, что «станция в управлении очень проста». Все автоматизировано.

Мощность реакторов задана и поддерживается автоматически, с помощью СУЗ — стержней управления и защиты. Имеется и автоматическая система контроля. За приборами на щите помогает следить предупредительная сигнализация. Не усмотрел оператор — звонок напомнит ему, что надо обратить внимание, скажем, вот на этот прибор. Все наблюдения за состоянием блоков записываются в «вахтенный журнал»... Под стать главному смыслу своей речи — что станция «проста» — объяснял Георгий Владимирович спокойно, неторопливо, и вид у него был какой-то домашний, добродушный, и по-домашнему уютно, чем-то вроде пижамы, выглядела на нем романтическая белая спецовка — не было в нем ничего от этой загадочности, которую привыкли мы в своем воображении связывать с обликом «атомщика».

Несколько слов о Букине. Тридцать три года. Ветеран из ветеранов. В 66-м году, когда было принято постановление о строительстве Билибинской атомной, весной он защитил дипломную работу в МВТУ, а в августе уже был здесь. Директором строящейся БАЭС был Владимир Георгиевич Букин — отец. Он и позвал. Сам Букин-старший начинал когда-то на ДнепроГЭСе, слесарем. Вслед за Георгием приехали еще три брата, все энергетики. От тех времен сохранилась фотография: солнице, ослепительный весенний снег, пятеро голых по пояс лыжников скатываются с сопки. В центре отец, по бокам Владимир, Дмитрий, Евгений и Георгий. Подпись: «Батя с сыновьями осваивает Чукотку». Сейчас отец на пенсии, в Москве, в каждом письме спрашивается: «Как там «атомка»?» А трое братьев из четырех остались на Севере: Дмитрий в Якутии, директором строящейся Нерюнгринской ТЭЦ, Георгий вот на «атомке», и Владимир здесь же, в Билибинском районе, тянет ЛЭП на один из приисков... А тогда, в 66-м, начинали с «кола». В дирекции работало всего шесть человек. Основная задача — связь со строителями, и сами, по сути дела, стали строителями. Потом пошло оборудование для станции со всех концов страны... Но это ведь звучит так хлестко, так заманчиво: «БАЭС строит вся страна!» — а в смысле организации поставок очень усложняет дело. Причем доставлялось оборудование единственной дорогой, Северным морским путем, и только летом, в короткую навигацию. Опоздаешь заказать заранее, получишь через год, а то и два... Этот самый важный в то время участок — отдел оборудования — Георгий и возглавлял. А оно ко всему еще честандартное, опытные образцы. Ездил Букин по заводам-

поставщикам, вникал в проекты. Сам и встречал это оборудование в морпорту, на Зеленом Мысе, и сопровождал с наступлением морозов по трехсоткилометровому зимнику. Отдельные «детали» весили по несколько десятков тонн. Сооружали для них специальные сани, в «упряжку» ставили штук пять тракторов «К-700» и волокли через тундру и перевалы по двое-трое суток. Помнит, однажды встречная машина задела и пробила трансформатор с маслом. Водитель скинулся с ноги валенок, пробоину заткнул... Когда с поставкой оборудования закончили, перешел Букин в технологическую группу, поехал стажироваться на работающую Белоярскую АЭС — пора было из строителя превращаться в эксплуатационника... Затем наладка и пуск, и бронзовая медаль ВДНХ «за непосредственное участие в строительно-монтажных работах на реакторной установке БАЭС». Уже десять лет как в Билибино. Здесь и семья. Жена — врач, две дочки. Двое бабушек с материка совершают «челночные операции», приезжают по очереди нянчить внучат...

...Я не сказал — не все еще строители ушли с «атомки». В дальнем конце реакторного зала заканчивался монтаж четвертого блока. Мы подошли в тот момент, когда в одно из отверстий в графитовой кладке очень медленно опускали стержень. Так же медленно его поднимали и опускали в следующее отверстие — всего их было более трехсот. Это был пока лишь макет рабочего канала, а настоящие каналы, уже привезенные, висели вдоль стены в реакторном зале... Соответственно выглядел и второй щит управления: одна его половина действовала, а на другой сквозили незакрытые приборами гнезда, виднелась великая путаница неподсоединеных проводов. Пуск четвертого, последнего реактора был назначен на конец года... Я еще долго ходил по станции, по ее цехам и многочисленным лабораториям, и тут она уже больше походила на обычное предприятие: в одном месте гудело, в другом вращалось, в третьем потрескивало и воздух был насыщен озоном. В коридорах, как положено, висели доски почета, стенгазеты, соцобязательства. На стенде с общим заголовком «Информация к размышлению» приколота была записка: «Кто хочет иметь значок БАЭС (Палех), сдавайте 10 рэ». А в одном из цехов увидел я вдруг «старателя», которого несколько дней назад мысленно и столь решительно наделил фанерным чемоданом. Он оказался инженером с «атомки»...

Выходя из «зоны», мы с Владимиром Кузьмичом ограничились тем, что помыли руки (постоянно работаю-

щие принимают душ), потом по очереди ступили на площадочку СУ — сигнального устройства. «В случае «грязи» на одежду — не пропустит», — сказал Абалакин. Перед моими глазами возникло световое табло, поделенное на квадратики, в каждом из которых было написано: «грудь», «правая рука», «левая рука», «живот» и т. д., — и я поймал себя на странном, граничащем с желаниям ожиданием, чтобы какой-нибудь квадратик вспыхнул: посмотреть, как действует. Однако ничего не осветилось, аппарат после короткого раздумья щелкнул, и металлическая калиточка выпустила меня... Помню, я вышел под театральный навес, сел в автобус, увозящий в поселок отработавшую смену, и уехал со станции без каких-либо раздумий, за отсутствием которых крылось твердое сознание закономерности, даже обычности того, что здесь, вписавшись в чукотский пейзаж, стоит и работает дом, начиненный атомной энергией. И будничность разговоров, которые велись вокруг в автобусе, словно поддерживала меня в этом убеждении. Лишь через несколько дней, когда я очутился уже далеко от Билибино, на молодом прииске, в маленьком поселке геологов и горняков, в знакомой обстановке палаток и времянок, в шахте, среди грохота перфораторов и взрывов, я вспомнил вдруг загадочную тишину реакторного зала, пульт, весь этот большой дом посреди тундры с его обитателями в белых одеждах, и вновь он представился мне необыкновенным, непостижимым.

3

...Зимник, чувствовалось, п о р а б о т а л. Это была уже не та идеальная дорога, что становится с первыми снегами и холодами, гладкая, без выбоинки, с белыми отвалами сугробов по сторонам. Начиная с ноября не одну сотню тысяч тонн груза перевезли по ней, так что, естественно, подразбили... Я сказал — чувствовалось, потому что самого зимника мы не видели, не могли видеть: пока собирались, пока останавливались возле магазинов, закупая в дорогу провизию, наступил вечер, и из Билибино мы выехали в темноте. Тяжелые, большие машины, конечно, были менее чувствительны к этим ухабам, но наш бедный газик ощущал подлетал на каждой ямке, а внутри него еще ощутимее подлетали мы. Главное же, невозможно было предугадать, в какой момент, в какую сторону, с какой силой и сколько раз тебя бросит, поэтому сидеть приходилось в постоянной

готовности: сшибаться с соседом, оказываясь на нем или, наоборот, под ним, взвиваться к потолку кабины или вылетать головой вперед, к шоферу. Инстинкт самосохранения очень быстро подсказал, что во время толчка тело должно быть предельно собрано воедино и лететь в едином направлении, никак нельзя было допускать, чтобы что-нибудь вычленялось — руки, ноги, особенно голова — и дергалось отдельно, в самостоятельную сторону... Кстати, я вовсе не стремлюсь, чтобы все это было воспринято как традиционный для путешественников шутливый пересказ минувших дорожных невзгод — я действительно уверяю читателя, что такая езда дело серьезное, требующее немалого напряжения и физических и душевных сил.

Да и шофер наш, Валера Агафонов, гнал машину, почти не переключая скорости, без всякого сострадания к пассажирам. Поездку организовал райком комсомола, он же задал жесткий график движения. Почему-то именно в три дня надо было объехать отдаленные углы района и сфотографировать комсомольцев для новых билетов. С этой целью ехала молодая женщина из райкома, Наташа, и фотокорреспондент местной газеты Коля Ткачев. Остальные, вроде меня, были просто попутчики. Мне, например, нужно было на Дальний. То и дело, живя в Билибино, я слышал о Дальнем. Еще в музее у Глазырина заприметил я фотографию, где на свежем, рыхлом снегу прутиком или пальцем было написано это название — Дальний. Так он начинался. Ребята в гостинице, знакомясь и называя себя, непременно добавляли — если, конечно, имели на то право: «С Дальнего...» Мой давний друг билибинский журналист Валя Колясников в своих статьях определял Дальний не иначе как «самой горячей точкой района». О Дальнем говорили даже больше, чем об «атомке» — к «атомке» как-то привыкли. Секретарь Билибинского райкома партии Лысковцев, рассказывая о перспективах района, в первую очередь упомянул Дальний. И не только о перспективах, но и о весьма реальных итогах: «за достижение наиболее высоких показателей в выполнении девятого пятилетнего плана» Билибинский горно-обогатительный комбинат объединения Северовостокзолото был награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную Доску почета на ВДНХ СССР... Короче говоря, сидели мы однажды на квартире у Колясникова, он подошел к висящей на стене карте района, зацепился взглядом за отмеченные уже

поселки, проследил разветвления речек и ручьев и показал: «Примерно здесь». Получилось и в самом деле — Да ль н и й... Тогда же возникла идея совместной поездки. Близилась весна. Валентину нужно было писать о подготовке к промывочному сезону. Конечно, проще и быстрее всего было лететь на Дальний вертолетом, но я хотел посмотреть зимник, ощутить, так сказать, «прелесть дороги». И вот я ехал. Ну а Колясников, проработавший в Билибино с десяток лет, сначала литеатрудником районной «Золотой Чукотки», теперь собкором окружной «Советской Чукотки», прелестями чукотских дорог был, разумеется, сыт. Он обещал прилететь через несколько дней...

...Спустя четыре часа, где-то за полночь въехали в Погындино. Этот маленький поселочек, как раз на полпути от Билибино к Зеленому Мысу, является чем-то вроде промежуточной базы для шоферов, работающих на зимнике. Здесь для них есть гостиница, круглосуточная столовая, теплый гараж, заправочная станция, ремонтные мастерские... Еще на подъезде сюда самоотверженная Наташа заикнулась было, чтобы в Погындино только перекусить и спешить дальше, но оказалась в удручающем меньшинстве при воздержавшемся Валере Агафонове. Сошлись на том, чтобы в шесть утра встать и в семь ехать... Мороз чувствовался ночной, градусов сорок пять, и было северное сияние. В отупевшем от долгой тряски воображении эта волнистая, мерцающая, то и дело изгибающаяся лента могла отождествиться лишь с одним: с каким-то небесным зимником, который в своем бесконечном колыхании был ничуть не идеальнее земного... Пока ходили мы по темному спящему поселку в поисках столовой, а потом гостиницы, нас неотступно сопровождали две заиндевевшие гривастые якутские лошадки, соскучившиеся, видно, в темноте и одиночестве. В гостинице нам сразу у порога было велено снять наши унты и надеть тапочки. Здесь имелся душ, жаркие сушилки для рабочей одежды, в комнатах было тепло. Уже по одному этому уюту и сервису можно было судить, что такое зимник для шофера и сколько значит он для Билибино...

...Наутро, отъезжая, я успел разглядеть сквозь окошко кабины в предрассветных сумерках силуэт черта с вилами, который чья-то веселая рука укрепила на трубе котельной. Силуэт то закрывался целиком черными клубами дыма, то проглядывал очень отчетливо на фоне тонкой розовой полоски зари, и создавалось впечатление, что черт в самом

деле то проваливался, то опять высакивал из своей прерисподней... Машина выехала из поселка на дорогу, и вновь ни о каком «любоваться окрестностями», «предаваться воспоминаниям» или просто «дремать» нечего стало и думать. Мрачный, неразговорчивый Валера гнал и гнал. Однако за ночь мы отдохнули, силы у нас были. Кто-то, явно не без умысла, стал рассказывать историю, как два райкомовских работника, оказавшись вот в такой же длительной поездке, на четвертый день изобрели: сделали из шарфов широкие петли, прикрепили к потолку кабины и положили в них свои настрадавшиеся головы. Они наслаждались, закрыв глаза — все вокруг прыгало и тряслось, а головы их как бы плавали в блаженной невесомости и отдыхали затекшие от постоянного напряжения шеи. Зато оглянувшись случайно шофер испугался в первый момент до смерти: «Батюшки! Пассажиры-то... висят! Не вынесли!» История была непридуманная, назывались даже имена этих людей, и я их знал. «Ну наш-то Валера не испугается, — сказал я. — Наш скажет: слава богу! Наконец-то!» Тут Валера, кажется, впервые за дорогу улыбнулся... И зимник стал лучше, целее: мы свернули с основной трассы влево, на Анюйск. Совсем перестали попадаться навстречу машины: трехосные «Уральцы», «Татры», экзотические оранжевые «Магиры» и огромные тракторы «К-700», водителей которых на зимнике ни шоферами, ни трактористами не называют, так уважительно и зовут — «ка-семьсотчики»... Мы поднимались все в гору и в гору, и вдруг Валера, по обыкновению ни слова не сказав, остановился. Переглянувшись, мы нерешительно вышли из машины. Мы стояли на самом верху сопки, на перевале. Дальше дорога уходила вниз, и там далеко впереди, между горами открывалась широкая долина — укрытая сейчас снегом пойма Малого Анюя. Самое же удивительное было тут, вокруг. По сторонам дороги не сплошь, а в отдалении друг от друга росли деревья, невысокие чукотские лиственницы. Но ни стволов, ни веток почти не было видно — казалось, что это ажурные, с проемами, с причудливыми просветами снежные башни. Сияло солнце, и снег середины марта выглядел как в наших материальных лесах где-нибудь в январе: пышный, вэбитый, сухой, ослепительный... Коля Ткачев тут же принял щелкать.

Потом ехали еще долго, миновали старое село Анюйск, пошла кругом низкая, болотистого вида равнина с чахлыми кустиками, с деревцами, напоминающими сухие голые

жерди, на которых забыли обрубить один-два сучка. На языке науки это называется образно и точно — у гиенте иное редколесье... Иногда нагоняли и долго не могли обогнать по узкой дороге лесовоз, на нем лежал листвяк явно нездешней мощи. Это везли крепежный лес, это был признак приближающегося Дальнего. К середине дня, наконец, доехали. Спутники мои, вскоре отобедав, погрузились опять в машину — они хотели сегодня же добраться до прииска Мандрикова, им предстояло еще часа четыре тряски. «А то поедем, — не то в шутку, не то всерьез пригласили они. — Посмотришь Мандриково...» — и я в какой-то миг созерцал в себе действительное желание: сесть и ехать. «Под вечер мы привыкли к ней» — так, кажется, написал Пушкин о «телеге жизни»... Помню, что под желанием этим была еще некая растерянность, я вдруг ощущил себя так, как много лет назад, в юности, в Братске. Я приехал в Братск с большим тяжелым чемоданом, набитым сплошь книгами, и рюкзаком с кое-каким барахлом. Деть их было некуда, и я оставил все это в лесу, в уцелевшем кочке тайги между Зеленым городком и Постоянным. Потом целый день ходил по поселку, переезжал на другую сторону Ангары, бродил по котловану... Вечером я вернулся к своим вещам и тут же, на склоне сопки, под деревьями заночевал, завернувшись, сколько возможно было, в телогрейку. Проснулся на рассвете от проинзвившего меня насквозь дикого холода, стал бегать, чтобы согреться, выскоичил к обрыву, и мне открылась Ангара со стометровой высоты. Широкая гладь реки вдалеке дробилась, расчесывалась, как гребнем, Падунскими порогами на отдельные струи, потом они вновь соединялись и плавно текли дальше, к котловану, где будто чья-то рука сбирала, сжимала их в тесную горсть и тщетно пыталась переплести друг с другом эти тугие, неуловимые, бьющиеся пенные струи... Я сверху смотрел на все это с твердым и радостным убеждением, что буду здесь жить и работать. Очнувшись, я выволок свои вещи к дороге. Мимо меня в ту и другую сторону проносились самосвалы, проезжали автобусы, народ ехал на работу, а я снова стоял в каком-то оцепенении, не зная, куда податься, к кому обратиться, не решаясь поднять руку. Наконец какой-то «МАЗ», летящий с горы, сам затормозил возле меня, и шофер, еще на ходу открывая дверцу и ни о чем не спрашивая, крикнул: «Чего стоишь? Давай быстрее!» Да, и вот сейчас, по приезде на Дальний, неизвестно откуда возникло во мне в первый момент это наваждение двадцатилетней давности, но длилось, правда,

недолго: минут десять спустя рослый человек в горняцкой каске поверх шапки, один из здешних бригадиров, Леонид Мельник уже вел меня от конторы к своему дому. «Здесь сплю я, здесь один товарищ из моей бригады. Та койка — твоя... Вот печка, вот дрова... Чайник, заварка, — показал он и, прибавив: — Ну до вечера!» — исчез. Я скинул полу-шубок, раскочегарил железную печку, вышел на крыльце и понял, отчего вспомнил Братск: здесь так же вокруг домов валялись кора и стружки, во всем поселке стоял такой же запах свежей, непросохшей древесины, легкого горьковатого дыма от смолистых поленьев, и было особенное ощущение на чала...

Вообще-то, если подходить к делу профессионально, нужно жить на Дальнем год, и два, и три, вкалывать на «подземке» и писать о нем роман. Что же сказать о Дальнем на немногих страницах, отведенных для очерка? Действительно, вот так геологи только оконтуривают, очерчивают открытое месторождение и подсчитывают запасы, а вся работа по извлечению и промывке песков — впереди...

...На домике, в котором размещалась нарядная шахты № 61, висело необходимое количество плакатов и лозунгов, один из них извещал: «С января 1974 года объект «Дальний» осваивает коллектив коммунистического труда, руководимый депутатом Верховного Совета РСФСР Н. Чувыым!». Другой был краток: «Спасибо за ударный труд!» Что это не формальная благодарность, я понял сразу же. На шахте был пересменок, во время которого проводили собрание. Со Встречного прилетели секретарь парткома прииска Алексей Игнатович Калинов и секретарь комсомольской организации Галя Бельчева. «Парторг появился — промывка близко», — пошутил кто-то. Однако сейчас причина была в другом. Бригаде, как победительнице в социалистическом соревновании, вручали переходящее знамя ветеранов труда области. Целую группу ребят (бригада комсомольско-молодежная) наградили значками лауреатов премии Магаданского обкома комсомола. На премиальные деньги тут же решили купить книги для клубной библиотеки. Деньги эти сразу отдали одному из лауреатов, Илье Дорошенко, который по делам вскоре уезжал в Магадан. «Пусть он магазин не перепутает...», «А пиво будет?!» — сыпались шутки. Еще разъяснили, что если бригада удержит знамя в течение двух лет, то оно останется в бригаде навсегда. «Однако куда оно денется? Конечно, останется!» — заверил кто-то. В ногах у собравшихся вертелся

симпатичный и, видно, сообразительный пес — когда аплодировали, он лаял...

...Я надел каску, как ее тут носят — на шапку, завязав тесемки сверху, опоясался ремнем с аккумулятором, присципил к каске фонарь, и со сменим горным мастером Сабитовым мы полезли в шахту. Анвару Шакировичу лет пятьдесят. Родом из Башкирии. У него седые волосы, приятное интеллигентное лицо, доброжелательная речь. Накануне мы с ним допоздна сидели за крепким чаем: Сабитов рассказывал о шахте, о здешней жизни, ну и о себе, конечно. Родился в семье сельского учителя. Едва успел кончить десятилетку — война. Учился в военно-пехотном училище, сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, Буг, Вислу, брал Берлин, освобождал Прагу. На фронте вступил в партию. Семь боевых орденов и восемь медалей... На Колыме с 49-го года, на Чукотке с 67-го. Здесь, на Севере, родились и выросли дети: сын сейчас в армии, старшая дочь в Магадане, учится в пединституте, и еще три дочери-школьницы с матерью на Встречном... Интересуется Анвар Шакирович литературой, посещал когда-то, еще на Ягодном, литературный кружок и до сих пор пишет — рассказы и очерки для газеты, иногда стихи. Задумана у него книга: «Рождение прииска».

Мы шли в подутье штольни, навстречу нам по движущемуся резиновому желобу струилась наверх порода. Возле лебедок работали скреперисты, уходил внутрь камеры, волочась на трофе, и возвращался с песками железный ящик-скребок, висели предупреждения: «Берегись трофе!» Некоторые камеры были уже отработаны, как здесь говорят, «сактированы». Входы в них были закрещены досками, завешены рубероидом. Мы сворачивали и сюда, продвигались в совершенной темноте, если не считать наших фонарей, и попадали в другой штрек. Шахту Сабитов, видимо, знал, как свою ладонь. Иногда сверху через круглое небольшое отверстие сквозил тусклый свет зимнего дня — здесь была вентиляционная скважина. Кровля шахты в этом месте поднималась к отверстию широким сужающимся конусом. Я понял, что такой конус специально выдалбливают, чтобы вентиляция была лучше, но Сабитов объяснил, что все делается гораздо проще. В пробуренную скважину опускают трофе, на нем снизу, под кровлей, подвешивают бочку с соляркой и поджигают. Промерзшая земля постепенно оттаивает и сама осыпается. Бочку, висящую и пылающую в темноте подземелья, горняки окрестили не без остроумия — «Аполлон»...

Еще в Билибино, перед поездкой на Дальний, я встречался с геологами, которые работали здесь, в частности с Владимиром Ивановичем Теплых и с Аркадием Григорьевичем Сенотрусовым, возглавлявшими поисковые партии, — и от них знал, что мы ходим сейчас по дну реки, протекавшей 30 000 лет назад. За это время река превратилась в ручей, обмелела, новое русло ее смешилось, а прежнее вовсе исчезло на сгладившейся долине, так что выявить такое древнее речное ложе, где залегают золотоносные пески, было на первых порах совсем не просто. Погребена я россыль — так называют теперь геологи подобное месторождение. И хотя они уверяли, что открытие Дальнего носит скорее научный характер, нежели романтический, что «наличие геологической ситуации... тектонической обстановки... интрузивного магматического комплекса, сходных... позволяло, пользуясь методом аналогии, прогнозировать... и т. д.», поморешились мне все-таки в их речах отзвуки пережитой и воскресшей в памяти радости.

Защищать месторождение ездил в Магадан Сенотрусов. «Обычно как,— сказал он.— У нас в экспедиции ставят четыре, а в Магадане — три. А в тот раз после нашей «четверки» Магадан оценил на «пять»!» И вот сейчас, в основании обромсанных взрывами стен шахтных камер, над самыми коренными породами я видел неширокую темную полосу — спрессовавшийся древний речной ил. А сверху шла ничем не примечательная на вид сероватая мерзлая земля. Иногда она посверкивала в лучах наших фонарей, не золотом, конечно, — льдом. Но это и были «золотоносные пески»...

Как же их добывают? В принципе, казалось бы, процесс несложный и полностью механизированный: бурильщики перфораторами пробуривают в стенах камер отверстия, взрывники закладывают в эти отверстия аммонит и взрывами отбивают горную массу (на языке горняков это называется «палить камеру»), затем порода скреперуется на центральную рассечку, на рудный двор, в бункер и по ленточному конвейеру — на-гора. Здесь пески разваловываются бульдозерами и ждут промывки. Но сколько при этом опыта требуется от горняков, какое виртуозное владение всей этой техникой: перфораторами, скреперами, электробульдозерами, бульдозерами! Помимо этого, в бригаде идет постоянный поиск — как, например, лучше, рациональнее спланировать шахтное поле, чтобы с той же площади взять наибольший объем песков, чтобы произво-

дительнее использовался конвейер... Поднятая наверх порода тоже не просто сгребается в кучу: конфигурация отвала продумана так, чтобы к началу промывки пески уже оттали и можно было удобнее и скорее подавать их на промприбор... В первое время своего существования Дальний особенно страдал от нехватки электроэнергии. В бригаде Николая Чуева нашли выход: сняли со скреперных лебедок электромоторы, поставили дизели. То же проделали и на транспортере. В итоге — электричества не было, а техника работала, не простоявала, и производительность не падала... А сколько приходится думать об экономии! Ведь снабжать-то Дальний еще сложнее, чем Билибино, здесь каждая доска, каждый метр троса, крепежного леса на учете, не говоря уж о буровых коронках, о запчастях, о киловатт-часах. Здесь каждая вышедшая из строя деталь еще раз десять вновь доведется до ума и сгодится в дело. И почти полтора рабочих дня ежемесячно чуевцы работают на сэкономленных материалах... Вот об этом и о многих других вещах, связанных с организацией процесса труда, в бригаде и думают, и говорят, и беспокоятся. А о конечном результате процесса, о самом золоте как-то не говорят. Ну помянут иногда: «металл»...

Мы долго ходили с Сабитовым по шахте, видели, как бурят, как взрывают, скреперуют, и, когда я потерял всякую ориентировку, вышли на поверхность в том самом месте, где спустились. Сабитов показал на маленький тепличек среди долины, находившийся на порядочном расстоянии: «Там, под ним были...» С высоко поднятого ленточного конвейера сыпалась и сыпалась земля к громоздившемуся отвалу.

Мы пошли к поселку. Навстречу дул легкий ветерок, и при сорокаградусном морозе этого было достаточно, чтобы леденело лицо, быстро нарастал иней на шапке и отворотах полушибутка. Над площадкой недалеко от шахты стрекотал большой вертолет «МИ-8», к нему была подвешена сверкающая цилиндрическая емкость. Вертолет приспустился, цистерна осторожно легла на снег. Ее отцепили, и освобожденная машина, не приземляясь, взмыла и удалилась.

— Шакирович! — окликнули Сабитова в поселке. — Завтра домой, на Встречный лечу. Что жене передать?!

— Передай, чтоб тапочки домашние прислала, — сказал Сабитов...

Тут надо упомянуть, что формально Дальний именуется «участком» или «объектом» — пока. Осваивают его так называемым «экспедиционным» способом. С двух приисков — «45 лет ВЛКСМ» и карьера имени Билибина — направлены сюда несколько лучших бригад. На вопрос: «Какая бригада у вас самая передовая?» — на Дальнем с неизменной серьезностью отвечают: «У нас все — передовые. Отстающих нет». Каковы в данном случае критерии «лучшей» бригады? Стабильный, давно сработавшийся коллектив. Большой опыт работы на «подземке». Высокая квалификация рабочих, причем каждый владеет несколькими необходимыми горняку специальностями. Разумеется, дисциплина. И что, конечно, немаловажно — мобильность бригады, то есть готовность и умение начинать с «кола» и продолжительно трудиться в условиях «поля»... Километрах в сорока от Билибино находится поселок прииска «45 лет ВЛКСМ» — Встречный. В последнее время в шутку, а очень может быть, что и всерьез, его стали называть «Городом тысячи женщин», потому что «тысяча мужчин» со Встречного уехала. Около месяца горняки живут и работают без выходных на Дальнем, стараясь не только выдать месячный план, но и сделать «задел» на будущее. Затем на вертолетах их отвозят на Встречный, где у них благоустроенные квартиры, где ждут семьи и домашний уют. Пустеет, замирает Дальний. Через несколько дней с утра опять налетают вертолеты, высаживают «тысячу мужчин», и поселок вновь оживает. Таков ритм Дальнего. Это и есть «экспедиционный способ». И так — в течение нескольких лет...

Начался Дальний, как водится, с палаток, и «палаточный период» здесь еще не кончился. Длинные, армейского образца, брезентовые домики вытянулись в ряд на склоне сопки, а вокруг — беспорядочная россыпь свежесрубленных, деревянных. Строить самим себе жилье дальненцам официально разрешили недавно, и теперь в поселке около двухсот домов. Самая простейшая разновидность такой постройки — передвижной теплик на санях. Называют его — «бунгал», отбросив лишнее, пригодное, может быть, в тропиках и под пальмами, а на Севере совершенно неуместное «о». Никаких улиц, в строгом смысле этого слова, и тем более нумерации домов на Дальнем пока нет, поэтому домики ставят на любом свободном месте, кому где понравится. Идешь по поселку, смотришь — бульдозер сдвигает на сторону сугроб. Через час проходишь снова — «бунгал» уже стоит, и от ближайшего столба тянут к нему

проводы. Потом появится в «бунгале» печка, нехитрая самодельная мебель, и — может приезжать жена... Или сделали его для себя два-три закадычных друга, теперь переберутся из общей палатки на десять-пятнадцать человек, где один со смены пришел, спать хочет, а другой — частушки по приемнику слушать, и будет у них маленькая согласная коммуна... Как только не называли на новостройках поселки, возникшие таким образом! В Братске, помню, была «Индия» — от «индивидуального застрая». Так кондуктор в автобусе и объявлял: «Следующая — Индия!» Еще «Нахаловка», то есть образовавшаяся «по нахалке», когда не разрешали строить. Еще «хал-строй», потому что всякий брошенный обрезок доски или бревна, кусок железа или рубероида человек прибирал — ему сгодится. Но он же не дворец себе отгрохал — времянку слепил! Он бы и рад, чтоб ему готовую квартиру со всеми удобствами дали, но ведь это ждать сколько!..

Уникален ли в этом смысле поселок Дальний для Севера? Конечно, нет. Еще в 1969 году, за несколько лет до возникновения Дальнего, в Магадане вышла книга «Человек и Север», написанная сотрудником Магаданского Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института В. Яновским. Книга очень своеобразная: патетические слова в адрес Севера перемежаются в ней с данными статистики, лирическое авторское отступление вдруг заключается сухой рационалистической мыслью, а за всем этим чувствуются давняя неизлечимая любовь северянина к своему краю и беспокойная забота о тех, кто его осваивает и будет осваивать вперед. В этом исследовании есть немало строк, которые можно и сейчас отнести непосредственно к Дальнему. Вот, например: «В наиболее неблагоприятном положении оказываются на Северо-Востоке небольшие по численности жителей поселки приисковых горных участков. Эти «промышенные десанты» берут на свои плечи самый тяжелый труд и удерживают позиции не на день-два или неделю, а год, другой, третий... Как аванпосты наступления, они выдвинуты далеко вперед и нередко отделены от приискового поселка ста — ста пятьдесятю километрами полного бездорожья, а от районного центра и всеми пятьюстами километрами...» Интересно, что в этой же книге приводятся перечни объектов культурно-бытового обслуживания для подобных поселков с различной численностью населения, разработанные в свое время в СВКНИИ с учетом современных требований демографии и социологии. Вот подходящий как раз для Дальнего по

количеству жителей комплекс — Н-1000. Здесь предполагается Дом культуры с комнатами для кружков, библиотекой в 10—15 тысяч томов, зрительным залом на 200—250 мест. Спортивный комплекс с плавательным бассейном, крытая зимняя площадка, зимний сад! Затем прачечная, всевозможные ателье, мастерские, химчистка, парикмахерская, столовая-кафе с отделениями кулинарии и полуфабрикатов, магазины и т. д. Что есть на Дальнем? Есть клуб в палатке, вернее, даже два: своя палатка у билибинцев и своя на «45 лет ВЛКСМ». На двери столовой обычно висят две афиши: сегодня, положим, у билибинцев «Нейлон-100 %», а на «45 лет ВЛКСМ» — «Звезды не гаснут». Назавтра — наоборот. Добрая половина зрителей в такой палатке во время сеанса стоит... Есть одна столовая, в которой горняки по часу-полтора простоявают в очереди. Крохотный магазинчик с набором консервированных компотов — продуктами Дальний снабжается так же трудно, как оборудованием. Есть баня, где часто нет холодной воды — воду на Дальний доставляют водовозками с реки за сорок километров, и львиную долю ее забирает дизельная электростанция. Идет горняк в баню, несет с собой таз со снегом. Вот, пожалуй, и все...

Позже, когда я вернулся в Билибино и поделился с Лысковцевым своими впечатлениями о Дальнем (впрочем, он и без меня все это хорошо знал), секретарь райкома просто сказал: «Если ждать, пока все будет построено, плана не дали бы... Мы мечтаем о том времени,— добавил Валентин Васильевич,— когда на вновь открытое месторождение нам сразу выдадут генпроект горняцкого поселка, в котором все было бы предусмотрено. Чтобы мы могли быстро поставить жилье, магазины и прочее, а потом пригласить горняка и сказать ему: «Вот твой дом, вот детский сад и школа для твоих детей, иди и спокойно работай». Чтоб были легкие и надежные домики, которые можно было бы забросить вертолетом, и несколько комплексов таких мобильных поселков — для разных месторождений...» Помню, мы еще пошутили грустновато, что все это, наверное, тогда будет, когда и «металл» никому не понадобится... Однако, уже прилетев в Москву и засев за этот очерк, отыскал я в своем архиве (как человек, пристрастно относящийся к Северу, я собираю самые разнообразные сведения о нем) опубликованное несколько лет назад в журнале «Новое время» интервью с заместителем Председателя Совета Министров СССР, председателем Гос-

строя СССР И. Т. Новиковым, возглавлявшим одну из советских делегаций в Канаду. На вопрос корреспондента: «Вы упомянули, что в Канаде есть немало такого, что можно было бы позаимствовать. На что вы, в частности, обратили внимание?» — И. Т. Новиков ответил: «В Канаде, как и в нашей стране, много леса, и канадцы строят немало деревянных домов и строят хорошо. Мы ознакомились, например, с фирмой АТКО. Она изготавливает заводским способом передвижные дома из дерева и легких заполнителей. В основе своей — это блоки, которые можно использовать как жилые дома для одной семьи, причем фирма снабжает их всем необходимым для благоустройства. Из таких блоков можно также собирать здания любой протяженности и ширины для школ, контор, детских учреждений и так далее... Такие здания, недорогие и удобные, могут даже в суровых условиях Севера эксплуатироваться в течение 10—15 лет. Блоки весом от 1300 до 2000 килограммов без всяких затруднений доставляются в законченном виде по железной дороге, водным или автомобильным транспортом, а в отдаленные места — вертолетами или самолетами». А из той же книги В. Яновского узнал я, что и у нас в стране уже существуют предложения по проектированию «серии типовых приисковых комплексов». Следовательно, не такая уж это, оказывается, невозможная вещь, чтобы о ней нужно было мечтать!

И тут, конечно, можно было бы пуститься в долгие и правильные рассуждения о том, «как хорошо было бы, если...» и т. д. Однако я всегда при этом вспоминаюувиденную реальную жизнь и реальных людей. Как, не дожидаясь, пока кто-то где-то спохватится и сделает для них, строят они себе «бунгалы», привозят со Встречного книги из собственных библиотек (когда на Встречном подписька была на Пушкина, возле книжного магазина всю ночь костры жгли), привозят целые подшивки газет и журналов, транзисторные приемники и магнитофоны. А строители между тем заканчивают детский сад и школу, начали два больших жилых дома. И потихоньку налаживается быт на Дальнем... Вспоминаю «лесных братьев», ребят из бригады Чуева — Геннадия Сливаева, Бориса Лосева и Геннадия Жукова. «Лесными братьями» дальненцы прозвали их потому, что они себе дом в лесу поставили, в стороне от поселка. Вокруг дома стаи белых куропаток с дерева на дерево перелетают. Чем не «зимний сад»? Все трое — бурильщики, взрывники, скреперисты. «Какая работа на шахте самая легкая?» — наивно спросил я, и коре-

настый светлоусый Жуков ответил за всех: «Самая легкая — это лечь на койку и читать газету».

Улетев, я мысленно и с какой-то грустью проследил свой путь над заснеженными сопками, деревца на которых напоминают сверху редкую и тонкую штриховку, и — оказался опять на Дальнем. Ведь уже с половиной поселка начинаешь здороваться, и в столовой, в списке, кому поступили телеграммы, отыскиваешь свою фамилию, и бурильщик Вася Шодьогов, венгр из Закарпатья, на день рождения пригласил, и за обедом есть с кем перекинуться парой слов, в духе того лихого, бесшабашного юмора, какого ни от кого, кроме северянина, не услышишь. «Говорят, японцы часы изобрели с ультразвуком, комаров отпугивать!» — «Ну это, может, их, японского, комара отпугнешь, а нашего, чукотского, никак не отпугнешь. Наш умрет, а сядет!..» И все чаще по вечерам заводишь с Леней Мельником разговор, чтоб поступить к нему в бригаду, и он согласен: «А что?! Давай! На первых порах возьму помощником скрепериста...» И вот тут вспоминаешь, что надо еще на другой конец Чукотки, и чувствуешь, что пора... Расставшись с Дальним и с этого момента начинаешь вспоминать всех этих людей и многих других, о которых просто упомянуть — недостаточно, а чтоб рассказать подробно — повторяю, надо писать книгу. И раз обо всех невозможно, тогда в заключение хотя бы несколько слов о пекарихе Вере Владимировне Потапенко, одной из немногих женщин в «Городе тысячи мужчин». На Дальнем она тоже с первой палатки. Никакой пекарни, конечно, не было, а хлеб нужен. Сложили сразу русскую печь, двадцать пять булок в нее садилось, потом начали ставить кругом стены. Днем плотники свое дело делали, а ночью Вера Владимировна приходила, пекла под открытым чукотским небом... Ну а сейчас пекарня сразу полтонны выдает, и должен сказать, что такой вкусный хлеб я редко где пробовал... Вот потому-то и не пускаюсь я в помянутые мной «правильные» рассуждения типа: «Как хорошо могло бы быть, если...» Удерживают меня воспоминания о Дальнем да изречение одного великого философа: «Жизнь борется и работает, добродетель стоит праздно и говорит».

Февраль — март 1976 года

Коса, на которой стоит Уэллен

1

Кто из нас не помнит школьную географическую карту нашей страны с постепенно редеющими к востоку кружочками городов и самый последний одинокий кружочек в конце Чукотского полуострова и прежнее, через два «л», написание: Уэллен. Виделся он тогда привычным взору, большим и в то же время необыкновенным городом — в снегах, с яркими огнями, просвечивающими сквозь постоянную метель, с веревками, натянутыми вдоль улиц, чтоб не заблудиться... Многим, наверное, он и до сих пор таким кажется: часто, например, приходят чукотским ребятам письма с адресом «город Уэллен» и номером школы, скорее всего своей — ученик 101-й московской желает переписываться непременно с учеником 101-й уэлленской, — а Уэллен-то при знакомстве с ним оказывается маленьким поселочком с одной недлинной улицей без всяких веревок и с одной школой.

И еще узнаешь: расположен он не на самой оконечности мыса Дежнева — до крайней восточной точки страны от поселка еще километров двадцать. Я не раз ходил туда и очень любил эту дорогу, вернее, путь, потому что никакой дороги, даже тропинки малой там нет. Сразу за поселком начинается сопка, по склону которой поднимаешься долго, часа два, и долго, оборотясь, можешь видеть Уэллен, стоящий на узкой галечной косе, в окружении лагун и моря. Постепенно скрываются домики, ближайшие к сопке, остается только полярная станция в дальнем конце поселка, но вот и она пропадает. За сопкой обнаруживаются распадок и крутая стена другой, еще более высокой горы — ее можно обойти, но и велик соблазн подняться. Кочковатый, зеленый, как и лежащая внизу тундра, местами сочавшийся водой склон перемежается черными осыпями громадных камней, глубоко между ними виднеется иногда лед, который до зимы, наверное, и не растает. К концу подъема уже порядочно устаешь, однако не останавливаешься, не отыхаешь, не смотришь по сторонам, чтобы сделать это не

торопясь, как следует, на самой вершине. Увенчивают ее кекуры, останцы, каменные столбы, подобные башням древней крепости, уцелевшим под соединенным натиском солнца, дождя, мороза, ветра. Вот сюда, на самую высшую точку мыса Дежнева, ради открывающегося с нее вида ты и стремился.

«А через тот Камень ходу день; а как на него человек взойдет, и он оба моря видит: Ленское и Амурское», — говорится в пояснениях к старинной карте. Оба моря, то есть оба океана — Северный Ледовитый и Тихий. И не только два океана — к западу простирается слегка всхолмленная равнина тундры, замыкающаяся далеко на горизонте цепью гор. Тундра поблескивает множеством ручьев и речек, сверху они напоминают нарисованные детскими рукой деревья с ветвями, отягощенными плодами озер. Впереди же, на востоке, между двумя понижающимися сопками, словно в кубке прозрачном, светится ярко-синий треугольник Берингова пролива. И в ясную летнюю ночь, при невысоком поостывшем солнце, когда не струится от земли, не дрожит и не размывает даль нагревшийся воздух и все предметы видятся особенно отчетливо и выпукло, еще дальше можно различить такие же, как и вокруг тебя, горы с остатками снега — оконечность другого материка, мыс Принца Ўэльского, Аляску... С этой сопки не торопишься уходить: внезапно очень хорошо представляешь себе весь лежащий за твоей спиной материк, потом и другой, напротив, и вот уже не два океана и два материка, но разом созерцаешь всю Землю, чувствуя, что не просто на вершине стоишь, а на одной из немногих, самых примечательных в е р ш и н м и р а.

Отсюда до «крайней точки» еще два, два с половиной часа ходу. Пересекаешь небольшую глубокую долину, поднимаясь на последний перевал, и открываются перед тобой каменные обрывы мыса Дежнева и вся ширь Берингова пролива с высоким скалистым островом посередине. «А против того Носу есть два острова...» — писал Дежнев в своей отписке. Да, их два, Большой Диомид, он же остров Ратманова, и Малый Диомид, или остров Крузенштерна, но отсюда, с берега, хорошо виден только Большой, Малый же самым краешком выглядывает из-за него, так что если не знаешь, что он есть, то и не отличишь на таком расстоянии. Снежные вершины Аляски по-прежнему видны чуть левее островов, и ловишь себя на мысли, что Дежнев тоже поднимался на этот берег, не мог не подняться, а следовательно, обязательно заметил бы Новую Землю — «чаятельной бе-

регъ Северной Америки», как надписал позже М. Ломоносов на своей карте,— когда бы оказался в проливе в разгар лета, в такие вот редкие и недолгие погожие дни. Но он только в конце июня, раньше льды не позволяли, вышел семью кочами из устья Ковымы-реки, два с половиной месяца плыл вдоль побережья Студеного моря, теряя «морские розбои», то есть крушения, и теряя кочи, и лишь в сентябре три судна достигли оконечности Большого Каменного Носа. А в эту пору здесь начинаются штормы, дует северяк, и несущийся по ветру дождь мешается с туманом и снегом. Осенью скалы Берингова пролива заставляют вспомнить описание их, данное русским путешественником в начале прошлого века: «Место сие представляет ужаснейшее зрелище: черные, страшно друг на друга упирающиеся утесы, между коими особенно отличается один, имеющий совершенно вид пирамиды, вселяют какое-то чувство содрогания. Сие сокрушение страшных утесов заставляет человека размышлять о великих превращениях, которые некогда в природе здесь последовали...» Ну а сейчас — пролив зеркально гладок, редкие разбросанные льдины недвижны и кажутся влитыми в его поверхность, очертания скал, действительно причудливые и резкие, смягчены в рассеянном свете белой ночи, и крики птиц — морских уток, бакланов, топорков, летящих над самой водой,— не нарушают, а еще более подчеркивают царящие здесь тишину и покой.

Теперь вниз, где уже виднеются маяк и крест. Возле них также обязательно останавливаешься, обходишь кругом, читаешь надписи. На потемневшей медной доске, прикрепленной к высокому деревянному кресту, на двух языках, русском и английском, написано:

ПАМЯТИ ДЕЖНЕВА

Крест сей воздвигнутъ

въ присутствии Приамурского Генералгубернатора
Генерала Унтербергеръ командою военного транспорта «Шилка»
под руководством командира капитана II ранга

Пелль и офицеров судна

1 сентября 1910 года

Мореплаватели приглашаются поддерживать этот памятникъ

Крест установили после того, как в 1898 году, в связи с 250-летием открытия Северо-Восточного прохода, по ходатайству Русского географического общества мыс Восточный был переименован в мыс Дежнева.

Рядом, в нескольких метрах, и маяк, сооруженный

в 1956 году Главным управлением Северного морского пути (автор проекта инженер Б. К. Семененко). В этом месте склона выходит наружу твердая скальная порода — массивная эта глыба служит маяку естественным основанием. Немногие ступеньки ведут на квадратную площадку. По углам ее, как водится, — тумбы, между которыми провисли тяжелые цепи. Башня маяка начинается четырехугольным, слегка сужающимся цоколем, на нем — четырехугольная же пирамида, заканчивающаяся на высоте шестнадцати метров огороженной площадкой с фонарем-проектором. Над прожектором — тонкий, со звездочкой шпиль.

Вход в башню прикрывается обычно стальной дверью, но даже ее мощные петли не выдержали бурь минувшей зимы. Водрузить дверь на место еще не успели — лежит тут же, возле маяка. Заглядываешь внутрь: уходят вверх и теряются в темноте колодца вделанные в стену скобы-ступени.

На восточной, обращенной к проливу стороне башни, прямо над цоколем — бронзовый бюст уже немолодого бородатого землепроходца с простыми и сильными чертами русского помора. Взгляд его, как и положено, устремлен «встречь солнцу». Внизу на чугунной доске слова:

СЕМЕН ИВАНОВИЧ
ДЕЖНЕВ

Родился около 1605 г.
Умер в 1672 г.

На другой грани другая надпись:

С. И. ДЕЖНЕВ

В 1648 году первым
из мореплавателей открыл пролив
между Азией и Америкой
и морской путь вокруг
Северо-Восточной Азии

Этот маяк — самый восточный памятник в стране. Немного ниже его, на узком карнизе над морем — домики станции, где живут и работают несколько человек. Они-то, с наступлением непроглядных осенних ночей, и зажигают прожектор и посылают в эфир радиосигналы, указывающие путь кораблям. И вдруг понимаешь, что оба памятника Дежневу, и маяк, и крест при всем их несходстве объединены схожим замыслом: ведь кресты древними поморами ставились в наиболее приметных местах побережья и служили навигационными знаками. А сам Дежнев как один из признаков Чукотского Носа поминал увиденную им здесь

«башню из кости китовой», сооруженную, видимо, с той же целью местными жителями — эскимосами, также исконными и отважными мореходами. Не на этой ли самой скале она стояла?

Еще раз невольно озираешься вокруг: как всякий памятник органически соединяется с местом, в коем поставлен, и сообщает ему и сам получает взамен дополнительное содержание и смысл, так и эти два простых маяка, прежний и новый, неотделимы от окружающего их сурового пейзажа. Не новое, далеко не новое стремление человека: стоя в памятном месте, мысленно перенестись в минувшие времена, представить обстановку тех дней, участников славного деяния, но если в иных местах требуется для этого известное усилие воображения — совсем другой кругом вид, другие приметы жизни, — то здесь, кажется, и никакого усилия не надо, чтобы увидеть, как потрепанные шторами дежневские кочи огибают вон ту скалу и поворачивают, наконец, «круто к Онандыре-реке под лето». Все те же остались с тех пор черные утесы, дикое нагромождение камней, скучная зелень травы, снег в расселинах, льды в проливе... Те же были они и в 1728 году, когда, спустя восемьдесят лет, вторым после Дежнева проплыл здесь на боте «Св. Гавриил» Витус Беринг, выйдя из Нижнекамчатска. «Земля более к северу не простирается, а к Чукотко-му или к Восточному углу земли никакой не подошло», — заключил он. По прошествии еще пятидесяти лет побывал в проливе английский капитан Джеймс Кук в безуспешной попытке пройти из Тихого океана в Атлантический вокруг Северной Америки. Потом лейтенант Коцебу, он-то и оставил столь мрачное описание Восточного мыса. Пролегал через пролив трагический путь «Жаннеты» Де-Лонга, стремившейся к полюсу и раздавленной льдами на 77-й широте. Но все эти экспедиции направлялись с юга. И лишь в 1879 году, то есть впервые за двести тридцать лет после дежневского плавания, швед Норденшельд вошел в пролив с севера. А 21 июля 1920 года, затратив на борьбу с Северным Ледовитым океаном два года, мыс Дежнева обогнул Руал Амундсен на шхуне «Мод». «Сегодня можно отметить о третьем случае сквозного плавания Северо-Восточным проходом», — записал он. За ним, в 1932 году, уже в виду пролива счастливо был отпущен льдами наш «Сибиряков», первым в истории проделавший весь рейс от Архангельска за одну навигацию. А еще через год, глубокой осенью, те же льды вынесли в пролив и вновь утащили на север пароход «Челюскин»... И вот теперь, перейдя пешком из Уэлена

с рюкзачком нетяжелым через «Необходимый Камень» и стоя здесь, в окружении недвижных утесов, — не тот ли являет «совершенно вид пирамиды»? — ощущаешь вполне реально, что и различные времена как бы сливаются в один миг в этом непеременяющемся пространстве, соединяют вместе всех побывавших тут людей и их героические плаванья, а начало сему, длящемуся уже более трех веков мгновению положил, бесспорно, Дежнев «с товарищи».

Впрочем, споры о Дежневе были — слишком долго не знали историки о его путешествии, только в 1736 году член Российской Академии наук Г. Ф. Миллер обнаружил в архиве Якутской приказной избы отписки казака-землепроходца, а в 1758 году, то есть спустя более чем сто лет после похода, сообщил о своей находке: «Чукотский Нос, лежащий между Севером и Востоком и до неизвестных нам пределов Северной Америки простирающийся, давно уже обойден морем. Давно уж Россияне сим водным путем доходили до Камчатки...» И начались споры: а точно ли Дежневу следует приписывать славу первооткрывателя, он ли возглавлял поход, ведь на двух других, прошедших через пролив кочах предводительствовали также служивый человек Герасим Анкундинов и торговый человек Федот Алексеев Попов? Затем: действительно ли дежневцы обогнули Нос морем? Язык отписок темен: «А с Ковыми-реки итти морем на Анадыр реку есть Нос, вышел в море далеко, а не тот Нос, который от Чухочи реки лежит, до того Носу Михайло Стадухин не доходил...» Какой имелся в виду Нос, что за река называлась тогда Чухочей?! «Розбило у того Носу судно служивого человека Ерасима Онкудинова с товарищи, и мы, Семейка с товарищи, тех розбойных людей имали на свои суды... И того Федота со мною, Семейкою, на море разнесло без вести...» После того как Дежнев остался один, его коч бурей выбросило на берег, «в передний конец за Анадыр-реку». «И шли мы, — вспоминает он, — все в гору, сами пути себе не знаем, холодны и голодны, наги и босы... и попали на Анадыр-реку близко к морю, и рыбы добить не смогли, лесу нет, и с голоду мы, бедные, врозь разбрелись...» Теперь известно: судно Дежнева потерпело крушение много южнее Анадырского залива, откуда оставшиеся в живых двадцать четыре человекашли к цели своей, к Анадырь-реке, пешком, в течение десяти недель. Но были и предположения: что, если Дежнев принял за Большой Каменный Нос один из мысов побережья Северного Ледовитого океана, например Шелагский, против которого также есть острова, и выбросило его

там же, поодаль, где-нибудь в районе Колючинской губы, и двигался он к Анадырь-реке не с юга, а с севера, пересекая Чукотский полуостров посуху и не достигнув, следовательно, самой восточной его оконечности? Вот, пожалуй, главные сомнения исследователями обстоятельно отвечено, я ничего не могу прибавить к этим ответам и отсылаю интересующегося читателя к специальной литературе. Сомнения такого рода не вызывают теперь досадного чувства, напротив, были они необходимы и полезны: здесь История как бы еще раз все тщательно перепроверяла, исследовала события со всех сторон, чтобы решить для себя уже окончательно: да, именно Дежнев, да, прошел морем, первый...

Однако, когда знакомишься с отписками и челобитными Семена Дежнева, возникает неизбежно еще один вопрос: отдавал ли он себе отчет в том, что совершил, понимал ли истинный смысл своего подвига? Даже так: заметил ли он сам свое открытие, стоящее в одном ряду с открытиями других великих мореплавателей — Христофора Колумба, Васко да Гамы, Фернандо Магеллана! Какой возникает соблазн сказать: да, понимал, еще в Нижнеколымске, когда был членом государю «на новую реку на Анадырь», уже тогда чувствовал свое предназначение! Иначе как и объяснить — почует себе казак по сибирским рекам: Лене, Индигирке, Яне, Оймякону, добирается до Колымы, живет не то чтоб богато, но и не в бедности, пользуется уважением товарищей и вот, на пятом десятке, вдруг снаряжает на свои средства коч, спорит с «вором» Анкундиковым из-за права предводительствовать всей экспедицией, выходит в плаванье летом 1647 года, но «был в тое поры на море лед непроходимой», и, вынужденный вернуться, весь год не оставляет Дежнева своего замысла, чтобы следующим летом снова «подняться» на реку Анадырь, о которой никаких достоверных сведений не было, только слухи... А что его ждет? Много спустя, уже в Москве, он пишет в челобитной царю Алексею Михайловичу: «И будучи же на тех твоих государевых службах... всякую нужу и бедность терпел и сосновую и лиственную кору ел и всякую скверну принимал...» Вполне возможно заключить: весь этот взрыв энергии и вынесенные испытания, все это — в предчувствии великого открытия и ради его свершения!

Да, и все-таки слишком мало в своих отписках уделяет Дежнев внимания тому, что мы сейчас прежде всего вменяем ему в заслугу, ради чего и памятник ему стоит на мысе его имени. Вот Анадырь-река была ему нужна, к ней он

стремился, ее и достиг и острог тут поставил, и Анадырскую «коргу», то есть отмель, нашел, где «много вылегает морской зверь морж, а на той же корге заморный зуб зверя того». О корге и о реке Дежнев первым делом и пишет, а Нос Чукотский — лишь один из ориентиров, примета по дороге к ним: «...а тот Большой Нос мы, Семейка с товарищи, знаем... и от того Носу та Анадыр река и корга далеко...» Тут — не в оправдание ли Дежнева?! — можно было бы припомнить, что и Колумб, ступив на прежде неведомый европейцам материк, уверен был, однако, только в том, что открыл новый путь в Индию, но речь не об этом, не о «возможности или невозможности осознать в то время все историческое значение...». Тут внезапно понимаешь совсем другое: что сам-то твой вопрос «сознавал — не сознавал?» есть целиком порождение твоего века, когда людям почему-то непременно понадобилось самим оценить свои свершения, и стали как бы сами себе историками, и заглядывают назад, и забегают вперед, пытаясь смотреть оттуда вроде бы беспристрастными глазами потомков, но и ревниво — «гениально — не гениально?», «преходяще — непреходяще?», «впервые ли в мире?». А ведь не предугадать, что в твоем подвиге больше всего отличат потомки: «коргу» или «Нос», диковинную и дорогую «кость рыбий зуб» или нагромождение камней голых, — потому и поучительна и не вызывает снисходительной усмешки деловитаядержанность нашего пращура. Как иные люди, весь век свой незаметно трудясь, не помышляя вовсе о вопросах великих и вечных, а занимаясь делами обычными, пойседневными, оказываются вдруг к концу дней словно напоенными истинной мудростью и высоким пониманием жизни, так и всякие настоящие дела отдельных людей сами собой, без сопровождающих патетических восклицаний претворяются в духовный опыт человечества...

К этой вот простой мысли и приходишь здесь, в несущем месте, у маяка-памятника Семену Дежневу. Удивительно, как мрачнеют ущелья перед самым утром, когда простоявшее всю ночь над морем солнце начинает подниматься, высвечивая вершины сопок. Темнеют и льдины у горизонта, а море светлеет. И натянуло откуда-то розовую снизу, темно-фиолетовую сверху гряду облаков. Конец твоего пути близок, уже из-под обрыва выглядывают антенны станции — еще несколько минут, и встретят тебя давние и хорошие друзья. Но если даже ты и в первый раз пришел сюда, путник, все равно найдешь здесь человеческое тепло и привет.

Осенью в Уэлне начинаются штормы. По неделям, не ослабевая, дует северяк, и море подступает все ближе к поселку. Ветер подхватывает водяную пыль и несет ее через косу, перемешивая с дождем. Окна домов залеплены солью.

Я люблю это холодное время и часто хожу на берег смотреть, как один за другим скручиваются громадные валы и повисают на мгновение зеленоватой мраморной стеной, по которой, словно прожилки, струится пена. Затем стена с грохотом рушится, и начинается обманное движение воды: сначала медленно, как бы нехотя, и стоишь на месте, уверенный, что до тебя не дойдет, но вдруг все быстрей и быстрей, и вот она уже захлестывает тебе ноги. Берег здесь не песчаный, а галечный, поэтому каждый такой аккорд заключается не тихим шипением истаивающей пены, а звоном и скрежетом поднятых, трущихся, стучающих друг о друга камней. Когда шторм утихнет, посреди ровного пляжа обозначится граница наката — крутая галечная грязь, усеянная мелкими рыбешками, лентами водорослей, чурками, морскими звездами, кусочками потемневшего моржового клыка.

Ну а пока шторм набирает силу. Птиц — бакланов, топорков, мартынов — не видно среди пустынных волн. Горизонт, этот «достижимый край неба», как называют его чукчи, приблизился чрезвычайно, рождая мучительное желание, чтобы за очередным разбившимся валом открылось наконец море, но там уже скручивается другой вал. Да и само небо спустилось, заволоклось матовой, непрозрачной пеленой, в которой теряются вершины сопок.

Лагуна с другой стороны косы выглядит спокойной, северному ветру не удается ее раскачать, он только давит на воду, отжимая ее от берега, и временами по ней пробегает быстрая судорожная рябь. Лишь у противоположного края лагуны видна вскипающая белая полоска прибоя — там свой небольшой шторм, жалкий, как подражание...

Полуостров, подобно гигантскому волнорезу, принимает на себя соединенные усилия двух океанов. Проснувшись среди ночи, можно слышать все тот же шум ветра, грохот волн и чувствовать содроганье косы под их ударами. Полупробужденному сознанию море кажется наделенным злой волей, и отчетливо воображается картина, как оно перехлестывает через косу, рушит дома и уносит их со спящими людьми... А утром снова идешь посмотреть на

шторм и видишь, как по тому месту, где стоял вчера, прокатываются волны.

С этим же ветром надвигаются льды. Первые льдины моментально дробятся, и осколки летят далеко на берег. Но постепенно полоса ледяного кроша увеличится, уплотнится, и морю станет все труднее приподнимать ее. Утихнет ветер, установятся ясные, солнечные, морозные дни. Лед будет медленно колыхаться у берега, как тяжелое набухшее одеяло, выгибаясь на длинной пологой волне. С севера, теснясь, придвигнутся целые ледяные поля. Наконец от моря останется только узкая, ослепительно синяя полоска у горизонта, и будет видно, как вдоль кромки спешат на юг последние стада китов и вспыхивают, се ребрятся на солнце, словно снежная пыль, их фонтаны.

Лагуна к этому времени окончательно замерзнет. Потом закроется и та узкая полоска на горизонте и наступит зима.

...Но это не сейчас, не завтра, и еще много дней можно приходить на берег. И странное спокойствие овладевает мной при виде этого безостановочного волнения. Как что-то нереальное, я вспоминаю большой город и все, что казалось там единственным и непреходящим: настольные лампы университетской читальни, ученые беседы со старым профессором у него дома, в кабинете, где все стены сплошь закрыты книгами и картинами, а на столиках и подставках всевозможные шкатулки, табакерки, бронзовые фигурки и белые античные головы, и все это тускло, по-старинному блестит, и ни к чему не приглядываешься особенно, а коротко определяешь для себя общее впечатление — «музей»... «Да, о чём это мы с вами говорили? Так вот, не «планъ я» стояло у Пушкина, а «плач Яр.», «плач Ярославны», и все, таким образом, становится понятным. Конечно же не мог он не отметить...» И собственное молодое тщеславие, соблазн науки, твердая решимость «посвятить себя», и вдруг — мгновенная тоска по далекому путешествию, острое сознание того, что есть места, которых никогда не увидишь, и люди, которые о тебе не узнают. А вдобавок к этому еще любовь, нет, не вдобавок, — любовь, конечно, вначале: сложные, безнадежно запутавшиеся отношения, сумятица мыслей, гонка чувств, доброжелатели, долгие разборы с самим собой, кто что сказал и что сделал и что надо было сказать и сделать, чтобы все пошло по-другому... И внезапный отъезд — в тот самый момент, когда казалось уже, что ничему не сможешь отдать предпочтение, что все эти колебания бесконечны.

Теперь, когда выбор сделан, я рад, что оказался не

в лесу, не в степи, где воспоминания о той жизни медленно и томительно глохли бы во мне, а здесь, на берегу океана, где они будто моментально выветрились. Я думаю даже, что все было бы гораздо проще и легче у меня в прошлом, когда бы я еще раньше мог постоять на этом берегу. Север только начинается, говорю я себе, а я-то поначалу воображал, что он будет не более как мутное, залепленное солью окно моей комнаты, сквозь которое я стану вглядываться в прошлое. Ведь, как это ни парадоксально, думал я, наше будущее однозначно, зато прошлое имеет множество вариантов, и я здесь для того, чтобы в тиши и уединении в нем разобраться. Но прошлое отодвинулось далеко, словно я обозреваю его в перевернутый бинокль. Лишь в первое время, во сне, оно возвращалось — да, была такая полоса снов, как осенью полоса звездных дождей, и так же, как звезды, вспыхивали они внезапно, мелькали и гасли, теряясь в темноте, и опять вспыхивали, и всю ночь порывался куда-то бежать, искать, объяснять... И, пробудившись в смятении, в следующий миг слышал гул и содроганье, говорил успокоенно: «Ах да, Уэлен!» — и вновь засыпал, проваливался в черноту.

А наутро — нехитрые и неотложные дела: растопить печь, принести воды из переполненного дождями ручья, сесть за тетради, подобрать нужные для урока фразы. Потом пойти в класс, диктовать там: «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн... дум великих полн... Подчеркните, пожалуйста, в этом предложении...» — и вглядываться в склонившиеся над партами нежные, матово светящиеся лица детей, завешенные иссиня-черными волосами. Где-то читал я про старинные солнцезащитные очки у северных народов: представляли они собой пластинки с прорезями для глаз, такими узкими, что нельзя в них было заглянуть солнцу. Глаза детей напоминают мне пока такие вот очки: я еще не могу проникнуть в них, угадать, что там, за приспущенными веками, за темным, будто сонным, зрачком. Но я надеюсь узнать, я сам учусь — у моря, у рыжих сопок, скрытых сейчас дождем и туманом, у всей этой всхолмленной страны, напоминающей разыгравшийся было да так и застывший с размаху штурм.

После уроков — снова на берег. Иногда я беру с собой детей, и они немедленно затеваю с морем опасную игру, цель которой — подобраться как можно ближе по обнаружившемуся берегу к нависающей волне, а после удирать что есть силы. Мальчишки хватают девочек и держат, не давая убегать слишком рано, девочки визжат, и первое

время я вступался за них, пока не понял, что ничего-то они не боятся...

Я отпускаю детей и сам бреду домой. Дома у меня среди немногих книг, оставшихся от моего предшественника, есть томик Пушкина с отчеркнутыми строчками:

Пора покинуть скучный берег
Мне неприязненной стихии...

Я пытаюсь представить этого человека, по единственной черточке на полях восстанавливую его жизнь здесь, вечера, развлечения, скуку, воспоминания, его нетерпение перед отъездом. Я увлекаюсь и сочиняю целую историю и вдруг спохватываюсь, что эта история — **моя**. И тут я понимаю, что рано или поздно наступит момент, когда и я с сочувствием перечитаю отчеркнутые строки и покину этот берег, ибо не единственным спокойствием и созерцанием жив человек, но понимаю также, что многое потом отдашь, чтобы хоть изредка, хоть раз в году, пусть десять минут из каждой осени, постоять на холоде, ветре и дожде, посмотреть, как скручиваются волны, и вновь припомнить все, чему я здесь научился.

3

Как убить воскресенье в поселке, который можно пройти из конца в конец за десять минут и вы уже делали это не однажды? Если в субботу вечером чукчи долго смотрят на юг, на лагуну, тундру и дальние сопки, а потом поворачиваются к северу и смотрят на море, то вам повезло: завтра будет северный ветер и, следовательно, полетят утки. С вечера на улице появляются люди, несущие патронташ, или шомпол, или барклай. Они останавливаются поговорить друг с другом о погоде и спорят, полетят утки или не полетят. Это не настоящие охотники. Это любители, которые ходили к настоящим охотникам одолжить шомпол или ерш, а то и само ружье. Настоящие охотники не таскаются по улице с охотничими принадлежностями и не спорят об охоте, они все знают о погоде, об утках и теперь сидят дома, снаряжают патроны. Они не доверяют магазинным зарядам, у них свои пропорции, свои мерки и пыжи из старого валенка.

Но если судить по ружьям, то охотники почти все. Один из первых вопросов, который вам задают, едва вы приехали в поселок: «Ну, купил ружье?» И тут же посоветуют, какое

ружье лучше. Для начинающего стрелка лучше всего одностольное ружье, оно приучает добросовестно целиться, при двух же стволах полагаешься на удачу — из какого-нибудь да попадешь, кроме того, тратишь впустую вдвое больше зарядов..

Если вы в тире попадали по банкам, это еще ничего не значит, потому что здесь стреляют только влет. Как стрелять влет? Существует несколько простых правил: стреляешь в налетающую стаю — бери повыше, стреляя вдогонку — пониже, если утка над тобой или сбоку — поймай ее на мушку, а потом возьми резко вперед — кто говорит, на корпус, кто на полтора, многое зависит также от того, дымный или бездымный у тебя порох. Но все это не главный секрет стрельбы влет, главный секрет заключается в том, чтобы не забыть все эти правила, когда налетит стая. Очень часто ловишь себя на том, что стрелял с закрытыми глазами.

Еще для стрельбы по уткам важно отличать их от других птиц. Журавли отступают на юг строго, как старые солдаты, гуси спокойно, словно штатские, но солидные люди, кроме того, все они летят так высоко, что стрелять по ним вы будете только самое первое время. По бакланам вы будете стрелять дольше, они летят так же низко, как утки. Утки летят, подобно толпе дезертиров. Один мой приятель, настоящий охотник, изображая летящих уток, вытягивал шею и закрывал глаза. Потом он открывал глаза и медленно водил головой из стороны в сторону — так поглядывает сверху пролетающий баклан. И чтобы я окончательно понял, как летят бакланы, мой друг, сунув руки в карманы, начал медленно прохаживаться передо мной. Действительно, они летят свободной, беспечной компанией, словно приятели, возвращающиеся с дружеской попойки: один идет, балансируя по низкой ограде, другому вздумалось пересекать улицу по диагонали, третий застрял у телефонной будки, но есть во всем этом разброде какая-то внутренняя согласованность, гармония.

В отличие от уток, бакланы свободны в своем выборе и могут лететь в обратном направлении, с моря в лагуну, и это тоже полезно запомнить: не стрелять уток, летящих в лагуну. Не стреляйте в одинокую утку — это почти всегда баклан. Кроме того, в одинокую утку меньше шансов попасть. На первое время этих сведений вам достаточно.

Ложась спать, необязательно заводить будильник, выстрелы под окном разбудят вас часа в четыре, и в крайнем случае вы пропустите одну-две стаи. Оденьтесь по-

теплее: шапку, рукавицы, можно и валенки, потому что земля уже замерзла. Хорошо сверху куртки или телогрейки надеть плащ, чтобы не чувствовать спиной северный ветер.

Выходите. Охотники стоят на берегу лагуны, другие — вдоль улицы поселка, и когда утки полагают, что опасность уже миновала, она может еще поджидать их возле моря. Выбираете компанию и присоединяетесь к ней, обычно такие компании собираются вокруг настоящих охотников. Сначала вы видите стаю только в тот момент, когда она почти садится на ваши стволы, потом вы стараетесь отыскать ее посреди лагуны, где она сливаются с водой, наконец вы научитесь различать у горизонта темное, зыбкое, меняющее очертания пятно.

Теперь ведутся разговоры, где стая пройдет. Иногда сразу ясно, что утки пролетят за поляркой, в другом конце поселка, и вам остается только слушать и считать выстрелы. Если стая идет на ваш конец, вы гадаете, пройдет ли она над вами или по соседству. Досадно, когда утки летят прямо на вас, но в последний момент отворачивают в сторону. Самый волнующий момент, когда вы точно знаете, что стая идет на вас. Выдергиваете руку из рукавицы и взводите курки. Если утки летят высоко, раздается свист. Свистят мальчишки, чтобы испугать стаю, сбить с толку, ошарашить. Утки резко снижаются. В последний миг, когда утки пересекают линию берега, вы судорожно шепчете друг другу: «Не стреляй, пропусти!» И еще: «Сядь, сядь!» Если выстрелить слишком рано, стая развернется и уйдет в сторону, и это будет нечестно по отношению к охотникам, стоявшим позади. Если не присесть, утки могут испугаться и отвернуть до выстрела. Теперь они над вами. Вы, уже не таясь, выпрямляетесь, открыто, во весь рост, и, ничего не видя, выпаливаете прямо перед собой.

Стая разделяется. Часть уток закладывает глубокий вираж и уходит назад, делает круг над лагуной, разворачиваясь к следующей атаке. Другая, не успевшая отвернуть, летит дальше, на вторую и третью линии огня. Очень часто, особенно если среди вас нет настоящего охотника, после вашей канонады не падает ни одной утки, и вы, переглянувшись, с недоуменным видом пожимаете плечами. Действительно, черт те что! Но иногда, неожиданно для вас, утки все же падают, и тут возникает вопрос, кто убил.

Когда я был так наивен, что не отличал еще утки от бакланов, этот вопрос очень занимал меня. Я смотрел, как от группы чукчей, вместе стрелявших, отделяются один, два,

три и бегут за утками, а остальные спокойно перезаряжают ружья.

— Как же вы знаете, кто убил? — спросил я.

Они засмеялись.

— Кто взял — тот и убил. Кто не взял — тот не убил, — мудро сказал пожилой чукка.

И я решил, что просто существует очередность: сначала бежит один, потом другой, третий...

Иногда, возвращаясь с убитой уткой к вашей компании, вы слышите рассуждение, что в такой куче, конечно, никогда не разберешь, кто убил. Тогда вы вежливо протягиваете утку этому человеку. Он вежливо отказывается. Он не говорит, что не убил, но отказывается. Вы тоже не отрицаете что убили, но предлагаете. Оба вы хотите показать, что все не дорожите убитой вами уткой, возьмите ее себе на здоровье, а уж я-то еще настrelяю, сколько захочу.

Но бывает, охотник и в самом деле не подозревает, что убил, ибо утка сгоряча перелетает косу и падает на берегу моря...

Если утка упала в воду, если вы сбили утку на ее территории, здесь может быть два варианта: или она убита, или ранена. Если она ранена, здесь тоже два варианта: или вы добиваете ее вторым выстрелом, или она успевает уплыть. Если утка убита, вариант только один: вы спокойно продолжаете охоту, поглядывая, как вашу утку относят от берега. Вы знаете, что ее прибьет к выступающей метрах в пятистах косе. Через полчаса, не торопясь, вы направляете туда, и в тот момент, как вы подходите, волна выносит утку и кладет к вашим ногам с выучкой охотничьей собаки.

Что же касается уток, которым удалось уплыть, они живут в лагуне, пока она не начинает замерзать. Однажды ночью, когда нет ветра, лагуна схватится льдом, таким тонким, что собаки еще не решаются бегать по нему, и тогда все подранки собираются к большой полынье. Как-то утром я заметил утку, которая ползла по льду. В бинокль было видно, что она именно ползла. От воды ее отделяло метров двести. Когда вечером я возвращался с работы, ей оставалось совсем немного.

Что делают такие утки, когда лагуна замерзнет полностью? Говорят, что они отправляются пешком через косу в море. Тут они, конечно, беззащитны, не столько перед людьми, сколько перед воронами и собаками... Впрочем, собаки равнодушны к мясу морской утки, может быть, потому, что оно пахнет рыбой. Чтобы устраниТЬ этот запах, морскую утку надо не ощипывать, а обдирать, удаляя

вместе с кожей весь подкожный жир. Еще рекомендуют вымачивать мясо в течение суток в слабом растворе уксуса или в рассоле. Можно и не вымачивать, а жарить сразу, положив побольше специй...

Наконец вам надоедает стоять на одном месте, кроме того, вам кажется, что по соседству утки летят чаще. Вы переходите с места на место. Иногда, завидев стаю и рассчитав, что она пройдет стороной, вы, пригнувшись, бежите ей наперерез. Настоящий охотник не делает этого, он твердо знает: его утки от него не уйдут. Но вы не настоящий охотник. Вы идете домой, пьете чай, берете книгу. Но если ваши окна выходят на лагуну, взор ваш поминутно отрывается, блуждает по горизонту, обшаривает его там, где на грани воздуха и воды возникает темное колеблющееся пятно. Вы с интересом следите за его приближением. В тот момент, когда вы понимаете, что стая пройдет над вашей крышей, вы высекиваете в тапочках и майке — ружье в сенях наготове — и выпаливаете прямо с крыльца. Если вы не смотрите в окно, вы узнаете о приближении стаи по свисту мальчишек. В конце концов вы не выдерживаете. Вам начинает казаться, что, как только вы ушли, стаи полетели одна за другой. Вы идете снова.

Утки налетают сразу несколькими стаями, в разных местах, и выстрелы гремят по всему берегу. Когда пальба стихает, слышно, как дробь падает вокруг вас, ударяет по железным крышам, словно первые редкие капли дождя. Вообще-то стрельба в поселке запрещена. Иногда из окружного центра наведывается охотинспектор и вешает объявление, запрещающее стрельбу на участке от больницы до школы — как раз там, где летят утки. Лучше бы он запретил им лететь.

Смеркается. Стai летят все реже. Чукчи возвращаются домой, увешанные связками уток. Уже подмораживает по ночам, и утки отлично сохранятся в чулане.

Когда все разошлись, над поселком, без единого выстрела, проносится последняя в этот день стая.

Завтра они полетят снова, и загремят выстрелы, но уже не так, не будет той всеобщности, как в воскресенье, все это будет раздробленно, не дружно, не празднично. Поедет трактор, и из кабины будет торчать ружье. За трактором тянутся сани, колхозники едут на звероферму, и у каждого ружье. Вукун заделывает к зиме окна в магазине, и рядом ружье. Повар Коля Донов, высмотрев в окно стаю, выбежит из столовой пальнуть хоть вдогонку. Если же вы сидите в школе, за партой или учительским столом, вам

остается только поворачиваться к окну на каждый выстрел...

Вы ложитесь спать с чувством отлично проведенного воскресного дня. Постепенно вы перестанете покупать патроны в магазине, но снаряжать их станет для вас удовольствием, запах горевшего пороха сделается вашим любимым запахом, а момент, когда утка, вертясь, как пропеллер, летит к вашим ногам, превратится для вас в момент истины. Тогда вы станете настоящим охотником.

Ах, как летели сегодня селезни, штук двести — триста в стае, не меньше, поблескивая на солнце белыми подкрыльями, все разом, словно деревенские франты карманными зеркальцами! Как в детстве, когда целый день собирали грибы или орехи и, едва вечером закрыл глаза, они начали всплывать из темноты вместе с травой, сучками, листьями, так и теперь мгновенно возникают темные пятна утиных стай, и, засыпая, дергаешься от волнения, все еще выхватываешь руку из рукавицы, как из ножен, все еще шевелишь пальцами, взводя курки...

И вдруг в куче других налетел на темное пятно, казавшееся издалека морем, и только начали снижаться, как воздух из знакомого, стремящегося спокойной рекой тебе навстречу, сделался зыбким, неровным, словно тундра, пронизанным шумом, свистом и какими-то горячими струями, и тебя понесло кверху на этой струе, и ты быстро быстро замахал крыльями, выпрявился, перелетел, шлепнулся на спасительную морскую волну, заработал лапками, окуная голову в воду, убеждаясь, что жив, цел, невредим, и начал долгий путь к югу, через пролив, открытый твоими предками задолго до человека.

4

Нигде, кроме Уэлена, не представишь себя так легко и точно по отношению к целому земному шару. Не полуостров, не оконечность его и не поселок, а именно себя, стоящего на краю материка, в самом его северо-восточном углу. Иногда воображение рисует этот материк в виде бесформенной туши задремавшего на лежбище моржа, и тогда каменная громада Чукотского мыса становится его головою, а уэленская коса — длинным изогнутым кликом. Нигде, как здесь, если продолжать говорить о географии, не ощущимы так, ежедневно и ежечасно, все четыре стороны света. Живя в городе, никогда не спрашиваясь себя, где тут

север, а где юг, где восток или запад, и только припомнив, что всякий раз, возвращаясь с работы, видишь в конце улицы заходящее солнце, можешь сказать себе, что запад там. На Чукотке стороны света так же реальны, как, например, море, тундра, горы, льды, как, наконец, стены вашего дома.

Но Уэлен мне почему-то видится не в квадрате и даже не в круге, поделенном на 360 частей, а, скорее, в эллипсе, составленном из двух дуг, одна из которых — это море и север, а другая — тундра и юг. Да, север и юг господствуют здесь во все времена и полны значения для повседневной жизни поселка: летом вдоль севера, низко над водой, ходят солнце, освещая круглые бурые спины моржей и длинные черные — китов, осенью оттуда приходят штормы и по месяцам дует северяк, перенося через косу мельчайшую соленую пыль, оседающую на окнах. Вслед за штормами надвигаются льды и наступает зима — время терпеливой охоты возле разводий. А солнце уходит на юг и выныривает там, среди сопок, чтобы тут же спрятаться, как испуганная нерпа. Замечено, что в эту пору полярных сумерек на юг почему-то любят смотреть собаки — неизвестно, что их там привлекает, но могут подолгу сидеть и смотреть, не шелохнувшись. Люди тоже смотрят на юг — чаще всего осенью, когда из тундры в море, прямо над поселком, собравшись в стаи, перелетают утки, поглядывают и зимой, ожидая самолет или пурги.

Действительно: «от юга приходит буря, от севера стужа». Ледяной зимний северяк не бывает особенно сильным, зато ветер с юга достигает двадцати пяти — тридцати метров в секунду, и говорят, что здесь, на побережье, это далеко не предел. Есть множество конкретных примет, по которым можно определить приближение пурги, но самая, пожалуй, главная — это ощущение возбужденного ожидания, охватывающее вас перед тем, как передовые отряды ветра вступят в поселок. Возбуждены и собаки — они не лежат, как обычно, свернувшись на кучах золы, а перебегают с места на место и то и дело принимаются кататься по снегу.

Сначала ветер налетает порывами — это авангард пурги, разведка. Потом он устанавливается и дует пока несильно, но ровно, и видно, как по лагуне, подсвеченной снизу, из-под горизонта, зимним солнцем, ползут, извиваясь, к поселку белые снежные змеи. В это время еще можно успеть внести в дом запасы угля, если он у вас на улице, и сбегать в магазин за недостающими продуктами. Обратно прихо-

дится возвращаться согнувшись, ложась на ветер и пряча лицо от снега, поднявшегося уже высоко. Собаки не катаются больше — некоторые забились в угольники, а другие сидят с подветренных сторон домов, прижавшись боком к стене, мордами в одну сторону, к завихряющемуся вокруг углов ветру. Возле домов особенно трудно идти, они слишком невелики, чтобы защитить от ветра, он обтекает их сверху и с обеих сторон и, на какое-то время сбившись с пути, начинает кружить и метаться, так что не знаешь, откуда он налетит и ударит. Лучше держаться открытых мест, где вся масса воздуха, не колеблясь, стремится только в одном направлении — на север...

Только что на улице пурга обыкновенным образом выла и свистела, но в доме она звучит по-другому. В тамбуре вас оглушает грохот железной крыши, словно по ней прокатывается асфальтовый каток или пробегает нескончаемое стадо оленей. Привыкнув к этому звуку, начинаете различать еще один: тонкое посвистывание ветра сквозь крохотную дырочку в наружной двери. Против этой дырочки уже возвышается небольшой холмик снега. Открываете дверь в комнату и натыкаетесь на тяжелое ватное одеяло. Выпугиваетесь из него не прежде, чем закроете дверь, — так меньше напускается холода. Здесь грохот пурги потишь, ровно и напряженно гудит печка. При такой тяге можно совсем закрыть трубу — все равно будут уноситься и угар, и дым, зато тепла останется больше.

Уголь и вода есть, продуктов хватит, в доме тепло. Теперь можно спокойно сесть к столу с кружкой чая и журналом да еще поймать по «Спидоле» какую-нибудь музыку. Гаснет свет — опять где-то не выдержали многострадальные, неоднократно порванные предыдущими пургами, не раз чиненные провода. Но есть свечи. Язычок пламени стоящей против окна свечи колеблется. Задергиваешь окно шторой, пламя выравнивается, зато штора — хотя окно тщательно замазано — начинает едва заметно колыхаться.

Пурга стремится в дом, и он сотрясается от ее ударов. Даже в этом равномерном и бешеном движении бывают какие-то ускорения, когда кажется, что олени, бегущие сзади, сшибли передних и покатились по крыше в общей большой свалке. Не труба ли это упала? Почему-то хочется выйти и посмотреть. Снова одеваешься. Процесс этот не совсем обычный, и его стоит описать. Влезаешь в брюки — меховые или ватные, надставленные сверху до уровня груди. Обуваешь сапоги с широкими голенищами — как раз для таких брюк. Вверху голенища стягиваешь ремня-

ми. Следующий из доспехов — куртка. Она так и называется «Пурга», ее придумали — хочется сказать «сконструировали» — специально для севера. Куртку застегиваешь сначала с левой стороны, потом сверху — с правой. На шапку накидываешь капюшон и последнюю пуговицу нащипываешь где-то возле уха. Стягиваешь капюшон вокруг глаз и завязываешь шнурки. Теперь можно выходить. Снова возня с одеялом. Грохот крыши. В тамбуре светло от налетевшего снега. Он лежит на полу толстым ровным слоем, если не считать холмика против той дырочки, который значительно вырос. На улице совсем темно. Карабкаешься на сугроб, светишь на крышу фонарем. Кажется, труба цела. Раз уж оделся, надо выбросить снег из тамбура, чтобы завтра открылась дверь. Осенью, казалось, все было забито, заткнуто, заделано — деревом, паклей, кусками старых шкур, — но каждая новая пурга находит себе новые щели... Снег тяжелый, влажный, его можно бросать даже против ветра. С севера тоже, бывает, метет, но снег оттуда приносится легкий, высушенный морозом, он разлетается, как пух, при одном прикосновении лопаты. Снег выброшен, дверь закрыта — снова наносится снег.

На ночь засыпаешь в печь целое ведро угля — чтобы поддерживать тепло, надо топить беспрерывно. Прежде чем уснуть, долго лежишь в темноте, глядя на мечущиеся по потолку отсветы пламени, слушая пургу, воображая теперь особенно отчетливо стремящийся во мраке поток, иссеченный белыми пунктирными линиями. Куда девается этот ветер? И оттого, что, живя здесь, часто представляешь себе земной шар, и оттого, что меридианы в этом месте особенно круто закругляются и устремляются к полюсу, кажется, что ветер, едва миновав поселок, не удерживается над морем, а срывается по касательной куда-то в околосземное пространство.

Опять сшиблись и покатились олени. К однообразному грохоту крыши теперь примешивается другой звук — несколько быстрых резких ударов. Это где-то над чуланом, определяете вы, отрывается лист железа. Но сейчас, ночью, ничего сделать нельзя. Остается лежать и чувствовать себя единственным с содрогающимся домом, и вспоминать старое чукотское заклинание: «Если я боюсь нападения келе, когда силу одиноко, я говорю: «Я делаю себя маленьким камешком. Он лежит на морском берегу. Разные ветры дуют на него, многие волны омывают его. Я невредим...» Да, и сейчас вы чувствуете себя маленьким камешком — и себя, и дом, — только не на морском берегу, где вам

спокойно среди множества других камней, а совсем одиночным камешком, подрагивающим на ледяном ложе под напором сильного весеннего ручья. «Нельзя слиться с этой природой,— размышляете вы,— это там можно, на юге, где высшее ее сосредоточение — солнце, или в средней полосе, где сосредоточения вообще нет, а вся сила поделена, равномерно разлита по кустам, речкам, полянам, березам и отовсюду ненавязчиво входит в вас, так что вы и сами не замечаете, как слились, а здесь не заметить и слиться нельзя, а можно только противостоять: морю, тундре, дождю, морозу, снегу и высшему их соединению — пурге...»

Вот о чем примерно думаете вы ночью, слушая пургу, когда спите одиноко. Но если не одиноко, и даже не вдвоем, если в кроватке, со всех сторон завешенной одеялами, посапывает еле слышно существо, которое вы и по имени пока не называете, так это странно, а просто — «человечек», то сразу, услышав хлопанье на крыше, вспоминаете не заклинание, а довольно большой деревянный брус, виденный возле школы, и мысленно прикидываете, достаточно ли он тяжел, чтобы придавить им до окончания пурги отрывающееся железо. Несколько раз среди ночи вы просыпаетесь и освещаете фонариком термометр, висящий на уровне кроватки. Потом идете на кухню, разбиваете слежавшийся в печке темно-красный ком угля и подбрасываете новую порцию.

Назавтра выполняете свое намерение насчет бруса. Взваливать его на плечо при таком ветре — нечего и думать. Ташите волоком, то и дело останавливаешься и поворачиваясь к ветру спиной, чтобы перевести дыхание — не оттого, что брус очень тяжел, а оттого, что очередной глоток воздуха был выхвачен и унесен прямо из горла. С еще большими ухищрениями закидываете брус на крышу. Снова — в который раз — выбрасываете из тамбура снег.

И так несколько дней и ночей, а иногда с небольшими перерывами и по неделям, и по месяцу мчится через поселок обезумевший ветер. В последние дни уже не метет: весь снег, не успевший слежаться, поднят и выметен из тундры, а оставшийся сбит и сглажен, как асфальт. И в какую-то ночь вы просыпаетесь от внезапной тишины: не гремит крыша. Пурга утихла мгновенно, вот только что была здесь, и вам кажется, что, выскочив из дома, вы увидите, как она быстро удаляется в темноту, словно последний вагон прошибшегося мимо полустанка поезда. И сразу же температура в комнате подскакивает до тридцати — начала

отдавать все свое тепло раскалившаяся за эти дни печка...

Наутро все ходят с лопатами, откалывают друг друга. Особенно занесло тех, чьи окна и двери выходят на север. В сугробах, сровнявшихся с крышами, пробивают траншеи, но весь снег не раскидывают — так будет теплее. Самые большие сугробы — длиною в несколько десятков метров и высотою метра в два-три — пролегли поперек косы, в просветах между домами, там, где на пути ветра не было препятствия. Плавными и округлыми очертаниями они напоминают морских великанов, которые ползли из лагуны в море и не доползли. Там, где они пересекли дорогу, в их боках выбивают ступени.

Кроме того, что изменился рельеф поселка, и сам он обновился, стал чище. Занесло горы консервных банок, бутылок, золы и прочих отбросов, неизбежно вырастающие за время зимы возле каждого дома. Скрылся старый снег, почерневший от копоти из многочисленных труб. И если весной рассечь до основания какой-нибудь сугроб, то по разрезу, по чередующимся черным и белым слоям можно подсчитать, сколько пург было за минувшую зиму.

Эта была не очень сильная: ни у кого не свалило трубу и не сорвало крышу, не открылось море. А ведь бывает, что в середине зимы ветер отрывается от припая лед и сдвигает его к горизонту, и тогда некоторое время, пока льды вновь не сомкнутся, море напоминает протекающую вдоль поселка широкую реку с низкой заснеженной равниной на том берегу, с облаками вдали, похожими на горы.

Чувствуете какое-то обновление и вы — оттого что противостояли пурге и не были побеждены. Так что же: вы — победили? Должны признаться, что нет, потому что она не сражалась с вами. Не было ей дела до вашего мужества и сопротивления, не было в ее действиях ни разумной необходимости, ни злонамеренной случайности — слепая цель ее была промчаться извечным для этих краев путем, и, промчавшись, не иссякла, не рассыпалась эта дикая орда, а просто миновала вас и кружит теперь где-то там, у полюса. Какими-то путями она вернется, зайдет к югу, чтобы вновь устремиться к северу, а у вас пока есть время снова запастись углем и льдом, прибить оторвавшееся на крыше железо и заделать в вашем доме последнюю, как вам кажется, щель.

Здесь нет ни холмиков, ни памятников, ни оград — лишь одинокая дощатая пирамидка напоминает о местах упокоения, привычных нашему взору. На ее полинявших гранях не сохранилось никакой надписи; рамка, где была фотография, пуста, но вырезанный из жести штурвал говорит, что это могила моряка с проходившего мимо судна.

Прочие усопшие лежат открыто, среди травы и камней, в деревянных ящиках, сколоченных грубо и непрочно. Тонкие доски быстро распадаются, и, проходя по кладбищу, можно наблюдать, что происходит с человеком после смерти. Вот покойник, появившийся здесь сравнительно недавно. Лыжный костюм, в который он одет, цел, но совершенно обесцвечен водой и солнцем. Лица уже нет, и странно видеть темные густые пряди волос в сочетании с выбеленной костью. Кстати, у чукчей есть поверье: если птицы и звери потревожили труп вскоре после похорон, значит, умерший был хороший человек и не таит зла против оставшихся. Тело, не тронутое в течение долгого времени, ждет себе попутчика в страну «верхних людей».

Вот ящик со сдвинутой крышкой. Из-под нее торчат ноги, вернее, две обуглившиеся на медленном огне кости в крепких еще башмаках. Вот целый, совсем маленький ящичек, обтянутый красной цветастой матерью; из которой чукотские женщины любят шить себе камлайки, но сейчас цветочки обращены внутрь. В ящиках и рядом с ними кое-какая утварь: разбитые чашки и блюдца, облупившиеся эмалированные миски, сломанные лыжи, остовы нарт. В старые времена чукчи якобы не портили предметов, оставляемых на могильнике, но с появлением в тундре «чужих» людей стали опасаться, что покойник будет ограблен. По другой версии, эти вещи ломают затем, чтобы от вещей отделились их души, которые умерший забирает с собой. Нарту ломают для того, чтобы он не вернулся...

Но больше всего на кладбище давних останков — разрозненных черепов и костей. Посреди зеленого островка куропачьей травки — идиллия: два осиротевших черепа трогательно прослонились друг к другу. «Семейный портрет,— думаете вы.— Нет, Ромео и Джульетта...» Что их соединило — ветер, хищник, весенний поток? Впрочем, причина может быть очень простой: я сам однажды видел, как чукотские дети, прибежавшие сюда одни, без взрослых, пинали эти черепа ногами. Почему-то не пришла ко мне в тот момент мысль о концунстве, и я не заступился за

мертвых. Не испытываю я на этом холме и других, прилипчивых слушаю чувств, как на наших кладбищах среди взывающих к вам надгробий, имен, укоризненных лиц, дат, кричащих о кратковременной жизни. «Не гордись, прохожий, посети мой прах, ибо я уж дома, ты еще в гостях». Не испытываю радости оттого, что сам еще не умер, и мгновенно следующих за ней раскаяния, и скорби, и смирения, потому что умру, и тайной надежды, и вновь какого-то веселого и циничного вызова — всех этих ложных чувств, источник которых один: страх смерти.

Никто, как мы, не поставил себя в столь сложные и напряженные, столь двусмысленные отношения со смертью, в которых мы разбираемся вот уже не одну сотню лет и все больше запутываемся, стараемся разгадать тайну и еще больше усугубляем ее... Одинокая пирамидка на краю обрыва попадается мне на глаза, вызывая ощущение тайны, смирения и страха, и я пытаюсь задержать ускользающую догадку. Смотри, говорю я, здесь неизвестность и боязнь, а рядом бедный Ранау, или бедный Вуквутагин, или бедная Росгувуквуна лежат себе под открытым небом, соединившись наконец с теми силами природы, которым пытались противостоять всю жизнь. Их мочит дождь, сушит солнце, бьет и вышвыривает из ящиков пурга, обглаживаются звери, засыпает снег. Но тайны в этом нет, нет и двусмысленности. Люди, живущие внизу, в поселке, всегда могут подняться на сопку, посмотреть на своих умерших. О жизни и смерти они знают больше, чем мы, и эти знания еще драгоценнее оттого, что человечество не приобретает их, а забывает. О знаниях такого рода не говорят «уже» — они уже знали порох, уже изобрели автомобиль, уже побывали на Луне, — тут уместнее слово «еще». Чукчи еще знают, почему нельзя называть новорожденного по имени, почему надо сменить имя при тяжелой болезни, для чего, возвращаясь с кладбища, надо провести черту поперек своего следа и бросить позади себя маленький камешек. Мы подобных вещей уже не знаем или только чувствуем некоторые из них. Мы запрещаем себе думать обо всем, что связано со смертью, она застает нас врасплох, и наше горе удесятеряется неведением и растерянностью.

Пока мы терзаемся сомнениями, где дорогие нам умершие люди, блаженствуют они или мучаются, или их вообще нет больше и что же в таком случае лучше: мучиться или не быть, — чукотские мертвцы ведут жизнь мирную и деятельную. Прежде чем отнести их на сопку, с ними советуются, спрашивают, какие вещи они хотят взять с собой, не

случится ли с кем из оставшихся несчастье, удачна ли будет охота. Им дают поручения. Русский путешественник, побывавший на Чукотке в начале века, рассказывает о похоронах старухи чукчанки. Готовый к погребению труп уже собрались везти в горы, как примчался на оленьей упряжке чукча. Было видно, что он очень боялся опоздать. Соскочив с нарты, он подошел к сыну покойницы, что-то подал ему и сказал несколько слов. Оказалось, что этот чукча был должен своему другу пачку табаку, но тот умер. Теперь должник пересыпал ему табак со старухой.

Помнят и умершие о живых, оберегают от злых духов, помогают в охоте. Иногда они могут причинять зло, но существует много способов их задобрить. Например, тело, лежащее в тундре, может встать и пуститься в погоню за одиноким путником. Но сколько бы ни встречался я с одиночко лежащим телом, оно никогда не делало этого. Я знал, что его можно расположить к себе, бросив на могилу кусочек мяса или немного табаку. Мяса у меня с собой не бывало, а щепоть табаку с успехом заменяла сигарета.

«Никто не возвращается язычником из царства одиночества», — сказал какой-то писатель, романтик и христианин, но именно язычником становишься, пока бредешь по бескрайней равнине, разговариваешь с сопкой, ручьем, каменной глыбой. И я ничуть бы не удивился, когда, оглянувшись, увидел бы, что тело все-таки встало и идет за мной, протягивая незажженную сигарету тем самым просьительным жестом, которым мы на улице останавливаем прохожего, чтобы прикурить...

Сидя на холме среди мертвых, я смотрю вниз, на поселок, где живые занимаются своими делами, и мне не приходят в голову слова «брэнность» и «тщета». Живые не лицемерят перед мертвыми, и вот отчего так спокойно лежат эти кости, вот отчего не пугают, а дружелюбно улыбаются вам истаявшие лица. Отсюда уходишь, без ложного смирения и натужного оптимизма встречая мысль о том, что когда-нибудь и сам ляжешь здесь и начнешь постепенно освобождаться от последних условностей: от ящика, от одежды, от плоти, от скелета, наконец, и чем скорее освободишься, тем скорее — отполированным черепом — обретешь бессмертие. В один прекрасный день промчится через кладбище толпа сорванцов, и, низринутый ногой правправнука, ты скатишься вниз по склону, к лагуне — смущать нескромной улыбкой молоденьких чукчанок, собравшихся в тундре за цветами.

6

Я давно заметил: что бы я ни собирался вспомнить об Уэлене, я всегда невольно начинаю с того, что он стоит на косе. Но сейчас, мне кажется, для моего рассказа это тем более важно, и немного позже я постараюсь объяснить почему.

Итак, Уэлен стоит на узкой и длинной галечной косе, протянувшейся между лагуной и морем, а основание ее упирается в подножие большой сопки. Сопка начинает собой удивительную, маленькую — в попечнике не более двадцати километров — и по-северному прекрасную горную страну, которой заканчивается Чукотский Нос, как называли в старину оконечность этого полуострова. К югу от поселка, за лагуной, на многие десятки километров легла низкая, слегка всхолмленная тундра, а дальше — опять горы. Часто из-за плохой погоды их совсем не видно, зато уж когда проступают они вдали — как преобразуется, восполняется, какую приобретает завершенность весь окружающий пейзаж! Линию тех гор я знаю наизусть и могу воспроизвести с закрытыми глазами. Причем всякий раз она не одна и та же — все зависит от того, в какой стороне закат, потому что здесь, в соседстве с Полярным кругом, места восхода и заката перемещаются в зависимости от времени года. В середине декабря они совпадают; солнце, не успев взойти, садится именно там, за горами, и тогда очертания их вершин видны наиболее отчетливо и полно. Слева направо: словно постепенно нарастающие волны, три округлые сопочки, затем, уже на высоте, ровная, слегка вибрирующая черта, и вдруг пик, провал и снова пик, а дальше такой же, как вначале, затухающими волнами спад... В такие минуты солнце нельзя не сравнить с полукруглым отверстием некоей плавильной печи, откуда изливается, плотно заполняя и обозначая малейший изгиб горизонта, ровный горячий красный цвет. И если постоять и понаблюдать подольше — Север ни к чему так не располагает, как к длительному неподвижному созерцанию, — то можно увидеть, чем закончится единоборство белого, холодного и живого, пламенного цветов. Четкая граница между ними станет, наконец, дрожать и плавиться, а на снежных склонах сопок как бы изнутри, как бы сквозь них пропустит слабое бледно-розовое свечение... Я описываю все это столь подробно потому, что, во-первых, это само по себе достойно описания, а во-вторых, речь пойдет о художнике, точнее, о художнице, живущей в Уэлене, и мне хотелось бы

пусть немногое, пусть приблизительное представление дать о том, что она тут вокруг себя видит...

Когда я жил здесь, мне не раз случалось проходить мимо небольшого дома в центре поселка. Через одну из его стен была выведена на улицу вентиляционная труба, и всегда в этом месте стоял характерный, какой-то подожженный запах обрабатываемой кости. В домике помещалась косторезная мастерская. Я любил заглядывать сюда и подолгу мог следить за работой мастеров. В самой просторной и светлой комнате за длинными деревянными столами сидели косторезы. Один, зажав в тиски кусок моржового бивня, выпиливал из него ножовкой нечто, пока отдалено напоминающее фигуру белого медведя. Перед другим стояла орава готовых, одинаково жизнерадостных пеликанов, а в руках резчика легко поворачивался очередной их приятель. Третий заканчивал собачью упряжку. На плоской и длинной подставке из цельного клыка он укрепил попарно с дюжину бегущих собачек. Впереди, как водится, поставил передовика. Сзади — нарту. На нарту посадил склонившуюся вперед фигурку человека в кухлянке. За его спиной поместил груз. В отличие от прочих частей скульптуры «груз» обычно вытачивался из кусочка очень старого клыка, долгие годы пролежавшего в земле или море и приобретшего от этого золотисто-коричневый, шоколадный, а то и совсем черный цвет... Казалось бы — все. Но нет: в вороне обрезков мастер нашарил коротенькую, меньше спички, костяную палочку, в руке каюра она превратилась в настоящий остол... и — какой чукча не любит быстрой езды!..

Еще нравилось мне разглядывать старые работы. Они находились тут же, в стоявших вдоль стен застекленных шкафах. Чего здесь только не было, на этих полках! Вот стая косаток, треплющих большого гренландского кита. Медведица, за которой вышагивают два медвежонка, каждый, между прочим, со своим характером: первый в точности копирует мать, второй поотстал, заглядевшийся на что-то... Еще два белых медведя, схватившиеся из-за убитой нерпы... Спящие вповалку моржи... Распластавшийся в полете олень, на котором повисли сразу два волка: один ухватил спереди, за горло, другой извернулся в прыжке и вцепился в брюхо... Вот охотник возвращается с охоты, добытая нерпа скользит за ним по снегу на длинном ремне... Моржиха кормит детеныша... Просто пасущиеся олени... Просто бредущий медведь. Нерпочка... И опять охотники, пастухи, олени и собачьи упряжки, а главное, звери,

извечная звериная жизнь: погоня, битва, победа, испуг, покой, любовь, материнская ласка, сон... Среди всех этих переплетенных, напрягшихся, замерших в живом движении тел выделялась своей геометрической правильностью и какой-то заданной неподвижностью шхуна. Все в ней, вплоть до тонких просвечивающих парусов, тоже было выполнено из кости, и только узкая черная полоска вдоль бортов — из китового уса. Изделие старика Гемауге... Каждая выставленная там скульптура была неповторима, ни один из многочисленных медведей, оленей, моржей не был схож со своими собратьями, но имелось и нечто общее в тех фигурках: покрывший их со временем тонкий желтоватый налет, патина. Это был художественный фонд мастерской, творения старых мастеров, так сказать, образцы, на которые призывались равняться остальные резчики... Ну, а самые знаменитые мастера сидели тут же, рядом, — да стоило мне тогда обернуться к верстакам, и я мог увидеть, например, Туккяя, его склоненную над работой массивную, круглую, всегда стриженную наголо голову. Или тонкое интеллигентное лицо Хухутана... А вон призадумался над куском клыка Вуквутагин. У него настоящий облик очень старого человека Севера, лицо его сплошь покрыто сеткой глубоких и тонких морщин — так бывает изрезан во всех направлениях большими и малыми трещинами морской лед...

Но более всего мне нравилась работа гравировщиц. Они помещались в соседней небольшой комнатушке. Перед ними лежали огромные, тяжелые, блестящие клыки моржей. У косторезов визжали ножовки, шаркал напильник, грохотала фреза, жужжали бормашины, да, обыкновенные, только что без зубоврачебного кресла, бормашины, с помощью которых мастера производили самую последнюю, самую тонкую обработку кости. А здесь была тишина, лишь поскрипывали в руках женщин стальные маленькие изогнутые резцы, похожие на коготок, и так они по-чукотски и назывались — вагылгын... Удивительное дело: ничего нельзя было предугадать постороннему глазу, пока ходил вагылгын по белому гладкому пространству клыка. Но вот, закончив рисунок, художница сплошь зачерчивала его черным карандашом, затем проводила по клыку влажной тряпочкой, и проявлялось сложное сплетение тонких линий, обнаруживались силуэты людей, яранг, оленей, очертания гор. Теперь начиналась работа «кисточкой», крохотной стамесочкой с почти незримыми зубчиками, шли в ход цветные карандаши, и силуэты обретали плоть —

округлялись бока и спины оленей, бугрились мускулы моржей, наполнялось водой море, делались отвесными береговые скалы, отодвигались вдаль и там голубели сопки. Непостижимо ожидало и белое, не тронутое рецом пространство — становилось воздухом, льдом, снегом... Это было традиционное, излюбленное уэленскими гравировщиками, да и закономерное сочетание: изобразить на одной стороне клыка жизнь моря, а на другой — жизнь тундры, — ведь я уже говорил в начале своего рассказа, что море и тундра господствуют здесь и открыты взору живущих на косе ежедневно и ежечасно. Сама же коса очень походила на моржовый бивень, таким образом возникал еще один естественный сюжет — вписавшееся в узкую полоску старинное стойбище, а на противоположной плоскости теперешний поселок... От той жизни в Уэлене подобный клык, с морем и тундрой, сохранился и у меня; на его торце неловко, мелкими буквами и цифрами нацарапано: Янку, 1964. Я часто смотрел на него, когда хотел вспомнить Север, и однажды вдруг понял, как счастливо, самой природой была дарована чукотской художнице эта длинная, выпуклая и изогнутая поверхность, как, благодаря вот этой кривизне, сами собой, без специальных ухищрений, возникают даль, глубина, объемность, а точнее — необытность запечатленных земли, воды и неба...

В мастерской было много талантливых гравировщиц. Кроме Янку, была Тынатваль, и еще работала старая Эмкуль, у которой они обе учились. Начинали тогда и совсем молодые способные девушки — дочь Эмкуль Лида Теютина, дочь Туккая Лена Илькай, дочь Гемауге Майя. Однако не знаю почему, и не в обиду будь сказано всем этим художницам, более всего я любил работы Янку. Наверное, это дело вкуса и потому необъяснимо. Может быть, мне нравились ее горы. Ведь эти вершины не нагромоздишь просто так — чем причудливее, тем лучше, — и не срисуешь раз и навсегда эту линию, ведь ее каждый раз надо заново с творить, единственную для этого пейзажа. И линию моря не проведешь где попало, должно найтись точное, особенно ощутимое на узкой полоске соотношение — чтобы море чрезмерно не заполняло клык и чтобы небо не преобладало над морем... Мне нравилось чувство меры, с которым Янку использовала данное ей пространство, не забивая его до отказа рисунком, не перегружая деталями, но и без схематизма — видимо, это и была гармония. И еще цвет — молодежь почему-то увлекалась яркими красками: оранжевым, красным, ярко-зеленым, ярко-си-

ним,— так что клык начинал походить на перо из крыла нездешней экзотической птицы. А у Янку цвета были как бы приглушены: зеленоватый, голубоватый, коричневатый, серый, совсем немного желтого, если изображалась, например, вывешенная для просушки шкурка песца, и еще она позволяла себе поместить маленько красное пятнышко возле головы лежащего на льдине моржа — в знак того, что этот морж убит. Причем подобная сдержанность в цвете не была верным следованием северной природе; я знал, сколько раз видел — а уж Янку тем более знала,— какими фантастическими, ослепительными могут здесь быть море, облака, льды, склоны сопок, даже черные береговые обрывы приобретали на закате кровавую окраску... И как бывали изрезаны скалы и горы, как выветрены камни на вершинах, как петляли реки и ручьи в тундре, какую всхолмленную мятущуюся поверхность являло море во время осенних штормов. Но что интересно: в памяти все это неистовство красок и линий успокаивалось, слаживалось, меркло, и Чукотка представлялась именно такой, какой запечатлевала ее Янку! То есть ее цвет и линия были, если можно так выражаться, цветом и линией в споминании...

Что же касается жизни художницы, то она, скорее всего, разочарует тех, кто до сих пор верит, что на Севере все, от мала до велика, только и делают, что переживают необыкновенные приключения в постоянной борьбе с суровой природой: уносятся морем на льдине, спасаются от преследования разъяренного медведя, теряют дорогу домой, застигнутые пургой, или проваливаются вместе с упряжкой под лед... Янку родилась в стойбище Инчоун, километрах в двадцати от Уэлена. Сейчас это тоже поселок. Он стоит на косе, очень похожей на уэленскую, рядом такое же море, такая же большая сопка и такая же тундра за лагуной. При рождении девочке дали имя Янкуувуквуна, по-чукотски это примерно значит: «Камешек, лежащий на морском берегу». Потом стали звать просто Янку. Еще у нее есть второе, русское имя Елена, так что чукотское постепенно сделалось как бы ее фамилией — Елена Янку. У нее было одиннадцать сестер и братьев. Ее отец... — это теперь чукотские мужчины и женщины работают механиками, радистами, учителями, врачами, библиотекарями и даже появилась такая профессия, как косторез,— а в то время ее отец Сааны, как и все мужчины, занимался исключительно охотой, а мать Тыккай, как и все чукотские женщины, была хранительницей домашнего очага, что

можно понимать буквально... Янку была совсем маленькой, когда недалеко от их берега затонул пароход «Челюскин», раздавленный льдами, и в соседний Уэлен прилетело много самолетов, чтобы снимать людей со льдины. Помогали вывозить челюскинцев и чукчи на своих упряжках. Но Янку этого не помнит, ей было года три-четыре... Вскоре вся семья переехала в Уэлен, где все тогда жили в ярангах, только несколько домов было деревянных — полярная станция, магазин, школа... Здесь Янку пошла в школу. Все дети, и постарше и помладше, сидели в одном классе, и занимался с ними чукотский учитель Татро. Вместе с Янку учились ее сверстники Галя Тынатваль, Юра Рытхэу... Сейчас Тынатваль, как и Янку, работает в мастерской, она — заслуженная художница РСФСР, а Юрий Рытхэу пишет книги...

Какие развлечения были у чукотских детей? Зимой, в долгую полярную ночь, особенно когда задувает ледяной северный ветер эйгысын, не очень-то тянет на улицу, но как хорошо, тепло, уютно в меховом пологе. А летом солнце светит, не переставая, много дней, и можно ходить на сопку за цветами или бродить по берегу моря — здесь столько попадалось интересных вещей! Волны выбрасывали кусочки старого потемневшего моржового клыка, морских звезд, маленьких рыбок, разные съедобные водоросли. Низко над косой пролетали утки, мальчишки связывали несколько ремешков с камушками или зубами моржа на концах и швыряли в стаю. Ремешки опутывали утку, она падала... Вдали показывались байдары, теперь на берег высypyали все — встречать охотников... И еще бывали необыкновенные дни — это когда береговые чукчи-зверобои и те, что кочевали по тундре с оленями, встречались в каком-нибудь условленном месте. Береговые плыли на байдарах, а олennые подкочевывали поближе к берегу. Тут происходил обмен: одним были нужны олени шкуры для одежд, другим шкуры моржей для покрытия яранг, жир для светильников. Когда Янку стала постарше, отец брал ее с собой в такие поездки. Там устраивался настоящий праздник — с соревнованиями в беге, борьбе, стрельбе. А еще одно состязание заключалось в том, что смельчаков по очереди подбрасывали высоко вверх на растянутой моржовой шкуре, и кто из них удерживался на ногах, тот и побеждал. Девочка глядела и еще не знала, что когда-нибудь изобразит все это...

В косторезную мастерскую она впервые пришла, когда ей исполнилось шестнадцать лет. В прежние годы только

мужчины резали и гравировали по кости, да и мастерской никакой не было — каждый занимался этим сам по себе, не считая искусством. Просто брал человек клык в свободное от дел время и вырезал какую-то фигурку. Но однажды — было это в начале тридцатых годов — приехал в Уэлен русский художник Горбунков, собрал резчиков и объяснил, что это не забава, а, оказывается, большое, важное дело и заниматься им надо серьезно. Тогда и объединились старые мастера: Вукутагин, Айе, Онно, Аромке, Гальмо... Сами изготовили верстаки, нужные инструменты, оборудовали помещение. Вскоре пришла в мастерскую первая чукотская женщина-гравер, дочь Аромке Эмкуль. И когда Янку репила попробовать гравировать, ей уже было у кого учиться... С тех пор прошло тридцать лет! Сколько клыков расписала она за это время? Как-то я спросил ее об этом, Янку подумала и с обычной своей извиняющейся улыбкой ответила: «Коо... Не знаю». Дома у нее не хранится ни одного клыка, кроме разве незавершенного, который она иногда захватывает из мастерской, чтобы закончить работу. И если задаться вдруг целью собрать все ее произведения, сделать это, увы, будет невозможно. Она и надписывать-то их стала не так уж давно, не было ведь раньше такого обычая — надписывать... А между тем работы Янку расходятся по всей стране, по всему свету, по музеям крупнейших городов мира, по международным выставкам. Однажды клык с ее рисунками подарили Рокуэллу Кенту — в день его восьмидесятилетия. Американский художник, столько раз изображавший на своих полотнах Север, написал чукотской художнице: «Я был глубоко тронут, когда получил этот подарок. Ваша замечательная работа сейчас передо мной, я любуюсь ею... Графика на клыке — чудо Вашей земли. Ваше искусство — правда жизни, через него познается душа народа...»

Чтобы изучать работы Янку, в Уэлен приезжают искусствоведы, пишут о ней в специальных исследованиях. Сама же она никуда не ездит. Всего один раз была в Магадане — когда принимали ее в Союз художников. Но это не свидетельствует об узости ее мира, о какой-то инертности натуры — просто она переполнена тем, что окружает ее здесь, на берегу, где она родилась. У нее нет потребности в других, посторонних впечатлениях, она действительно запечатлевает душу своего народа... С утра она идет в мастерскую, теперь это новый большой дом. Из окна, возле которого работает Янку, видно море. Впрочем, море видно и из окон ее собственного дома, и когда она идет по по-

селку — отовсюду... Янку выбирает клык, с помощью тесла оббивает с него жесткую, пожелтевшую, в трещинах эмаль. Потом долго шлифует его — напильником, наждаком, острой бритвой, мелом. Работа эта предварительная, черновая, но ее всегда надо делать самой — чтобы чувствовать поверхность. Когда клык готов для гравировки, Янку кладет его перед собой и какое-то время на него смотрит. Это она называет «немножко думать». И надо видеть, как она уходит в себя, как удивительно изменяется в эти минуты ее лицо, обычное лицо чукотской женщины с грустноватой, мягкой улыбкой. Ее глаза, большие и темные, кажется, делаются еще темнее и больше, удлиняясь к вискам, и в них возникает выражение отрешенности и печали... Янку берет карандаш, набрасывает что-то, стирает, пробует снова. Затем сжимает в руке «коготок»-вагылгын и, упираясь большим пальцем в клык, пророчивает на нем длинную плавную линию — так легко, словно не стальным резцом по твердой кости, а карандашом по мягкой бумаге...

Я не знаю, что она задумала изобразить на сей раз — охоту ли, праздник или рассказать с помощью рисунков древнюю чукотскую легенду, — но я уверен, что море и берег будут там обязательно. Ведь на них можно смотреть и воспроизводить их бесконечно, как, например, бесконечно можно воспроизводить облик дорогого тебе человека... Даже я, совсем не художник, часто пытаюсь нарисовать — разумеется, только для себя — этот берег. Тогда моя память, как некая собирающая линза, соединяет все его цвета в один, изначальный, а все его линии — в самую простую, прямую черту. Я провожу ее на бумаге, вглядываюсь в нее, потом ставлю на ней маленькую, еле различимую точку. И мне достаточно этой линии и этой точки в окружении белого беспредельного пространства.

7

В эти апрельские дни, что я живу в Уэлене, погода меняется по нескольку раз в сутки. Поутру тянет несильный северяк с моря со снегопадом, потом вдруг начинает задувать ветер с юга, из-за лагуны, и поднимает не успевший слежаться снег обратно в воздух. Особенно хорошо видно, как сметает его с уэленских скал — там своя небольшая пурга. Все ждут пурги настоящей. Но к обеду проглядывает солнце, то есть поначалу самого солнца нет, а только свет его сквозь какую-то молочную пелену, такой яркий,

что режет глаза. Когда эта слепящая мгла рассеивается, открываются вершины ближних сопок, Инчоунский мыс на западе и наконец — это всегда неожиданно — проступают самые далекие горы на краю тундры. Ночью выходит из дома: темно, морозно, и в море, над торосами призрачное, бледно-зеленое свечение — северное сияние. Время от времени будто чья-то незримая рука проходится по этой изгибающейся ленте, стирая ее, но едва успевает дойти до конца, как следом начинает приступать, возобновляться тот же свет... И так хорошо, тихо кругом. А назавтра — опять ветер, снег...

Намерение мое съездить к Берингову проливу, в Наукан, я откладываю. Когда бы можно было остаться там хоть на пару дней, побродить, посмотреть... Но селение давно необитаемо, жители его, наукаинские эскимосы, еще в конце пятидесятых годов перебрались в другие поселки: в Нуяномо, Пинакуль, Лаврентия, многие в Уэлен.

Приехать, бросить взор на отвесный каменный берег, на маяк-памятник Дежневу, на остовы жилищ, если не совсем их замело, да и назад. И собаки будут с вежливым недоумением оборачиваться на тебя: где же, мол, твоя нерпа, лахтак, зачем ехал, охотник?.. Но и для того чтобы просто так, мимолетно взглянуть, я бы поехал, — доведется ли в другой раз побывать здесь? — только вот погода... Это уж известно: в Уэлене слегка метет, а в Наукане — пурга.

В один из вечеров в уэленском клубе репетирует ансамбль чукотско-эскимосского танца. Я иду. Клуб в поселке теперь новый, с вместительным фойе и зрительным залом, с комнатами для различных кружков. Танцоры собираются на сцене. Приходят старики Тагёк и Тулюкак, жена Тагёка Аяя и жена покойного Умки, совсем старенькая Эмун. Приходит молодежь и школьники, в основном почему-то девочки. Руководитель ансамбля Семен Эмутеин приносит бубны. Это не те знакомые нам бубны с бубенцами, которыми потрясают во время пляски, звенят, и бренчат, и хлопают себя по разным частям тела. На вид они незатейливы: большой деревянный обод, обтянутый кожей моржового желудка. К ободу прикреплена короткая рукоятка. Ударяют по бубну палочкой из уса гренландского кита. Но изготовить такой бубен не просто, вот почему они тщательно обергаются и передаются из рода в род.

Мужчины с бубнами усаживаются в ряд на стулья, сяди и по бокам выстраивается хор. Эмутеин объявляет, что будут танцевать, и — разом начинает звучать мелодия. «Я-а-а... Я-а-й-а-а... Ай-я-а-айя...» Негромко вторят ей

бубны. «Пинильгъэ саун» — «Любимый танец». Танцующие выступают из хора вперед, образуя полукруг. Этот танец могут исполнять все, и мужчины и женщины, но каждый на свой лад — ведь мужские и женские движения отличаются друг от друга. И определенного сюжета здесь нет; свободно, делаясь все громче, льется напев: может быть, впервые проглянуло солнце, может быть, прилетели пурночки, сошел снег, распустились цветы на сопке, и все радуются этому... Мелодию для «Любимого танца» сочинил Тагьёк. Сильнее и чаще ударяют палочки по бубнам, резче становятся движения танцов. «Йа-ка-яя, йа-ка-яя, яя!» — внезапно, с последним раскатом бубнов, обрывает хор, и танцующие замирают в согласных позах: одна рука перед грудью, другая поднята вверх.

Потом выступают отдельно мужчины, потом женщины. «Охота на море» — традиционный мужской танец. Широко расставленные, согнутые ноги мужчин будто вросли в пол. Не теснота ли полога зимней яранги породила эту скучность передвижений? Зато тем выразительнее движутся руки, голова, плечи, туловище, с их помощью передаются тончайшие оттенки переживаний, здесь все: и осторожность и внимательность охотника, выслеживающего зверя, и высшее напряжение поединка, и торжество победы... Зрителей в зале, кроме меня, почти нет, изредка заглядывают из фойе собирающиеся к кинофильму, и тогда слышно, как там стучит бильярд. Но танец живет и сам собой — эх, как самозабвенно исполняет старая Эмун «Открытие клуба» под сочиненную ею мелодию, как резко, энергично движется ее маленькое сухое тело в свободной камлайке, выбились из-под платка седые пряди, поблескивают очки... Когда танцуют взрослые, молодежь, не занятая в танце, выстраивается в глубине сцены, за хором, и там повторяет движения старших. В перерывах по сцене носятся малыши, трехлетний внук Тагьёка подбегает к деду, хватается за бубен, тянет к себе палочку, дед не дает ему, тогда он в знак протesta садится на пол... «Трудный подъем», — говорит Эмутеин, откладывает свой бубен и один выходит вперед.

«Я-я-а...» Легко, непринужденно начинает свой путь человек, все интересно ему, озирается по сторонам, привольно дышит. Но круче поднимается дорога, все тяжелее идти, теперь выбора нет и впереди одна цель — вершина, где можно будет и передохнуть. Взор путника неотрывно устремлен вперед и вверх, напряженные ноги коротко переступают, руки как бы с силой вонзают остроконечную палку в плотный снеговой склон. «А-я-а-а-а...» — гремит

хор, частые и громкие удары бубнов подобны толчкам человеческого сердца. Тут подразумевающееся по замыслу напряжение всех сил словно соединено с действительным трудом танцора, прямо физически ощущаются тобой его нелегкие движения, его усталость.

«Иа, аяя, яя!» — по обыкновению резко смолкает песня, и в последней позе, в последнем шаге застывает человек, видно, что он одолел подъем, сделал завершающий шаг, но еще не расслабился, не так скоро можно освободиться от тяжелой дороги... Хочешь, вспомни, как сам ходил по этим горам, хочешь, представь целую человеческую жизнь — твое дело...

...Эмутеин обещал рассказать мне об ансамбле, на другой день я прихожу к нему. Это худощавый, сорока с лишним лет эскимос, в лице его мне чудится какая-то стеснительность. Родился он в Наукане, сызмальства, как и все сверстники, привыкал охотиться. После школы закончил строительное училище в Провидении, многие дома в Уэлене выстроены его руками. Сейчас Эмутеин руководит ансамблем. Уэленский ансамбль выступает и в Анадыре, и в Магадане, и в Хабаровске. Несколько раз уэленцы приезжали на Всесоюзный смотр в Москву... Искусству танца Семен начал обучаться с детства, еще в Наукане. Помнит, пришел к ним в школу старик Синянец, показал самый первый танец. Для мужчин он называется «Тохомин», а для женщин — «Путурак». Что-то вроде «Вольного». В нем есть все основные движения, так сказать, «азбука» танца... Приезжали в Наукан гости, эскимосы с Имаклика, уэленцы... И обязательно устраивали соревнования в танцах, был такой специальный круг для состязаний. Кто лучше исполнит, дольше продержится в круге, больше покажет танцев, тот и побеждает и получает призы — лахтачи и нерпичьи шкуры, камус на обувь, материю на камлайки. Науканцы часто побеждали, хорошие были танцоры... Тогда Нутетеин и Умка еще не старые были, а уже знаменитые на все побережье...

— А помнишь, как Нутетеин исполнял свой «Танец Ворона»?! — спрашиваю я.

— Ох и ловкий был, — с восхищением говорит Семен, — какие точные были у него все движения! Этот танец я выучил, а вот другой, «Полет чайки против ветра», так и не смог запомнить... Сейчас мы некоторые новые танцы сочинили: «Телефонный разговор», «Дружба», «Фестивальный»... Аяя и Эмун могут... А некоторые старые забыли — «Ремонт яранги», «Сбор зелени» не танцуем...

Старики умерли, трудно без них,— сетует Эмутеин.— Еще мы не можем придумывать новые движения, а они могли!

Постепенно из нашей беседы, мне кажется, я начинаю понимать причину застенчивости Эмутеина — ему как бы совестно, что он, не сочинивший ни одного своего танца, стал преемником таких прославленных мастеров. Но сбре речь в себе то, чему научился от них, и в свою очередь стараться научить этому других — тоже ведь важное дело, которому Семен отдает все свои силы и умение, вот почему, я считаю, он по праву возглавляет ансамбль. Чтобы отвлечь его от грустных мыслей, я снова завожу разговор о Наукане. Когда я говорю, что бывал там, Эмутеин оживляется и вдруг предлагает: «Сходим к Тагьёку?!»

Тагьёк тоже из Наукана. Сейчас ему шестьдесят четыре года, не так много для старика, но по здешним понятиям это возраст патриарха. Он и впрямь патриарх, у него уже пошли правнуки.

Старшая его дочь Мемыльнеун работает швеей в уэленской мастерской «Северные сувениры». Младшая Валентина на гравирует по кости, сейчас учится в совпартшколе во Владивостоке. Сын Яков Тагьёк стал профессиональным артистом, выступает в ансамбле «Эргырон», что значит «Рассвет». Внучка Зина — секретарь Уэленского сельсовета... Трудолюбивая семья! Сам Тагьёк хотя и на пенсии, но работу не оставляет. При косторезной мастерской организована специальная бригада с ответственной задачей: объехать места прежних поселений и стойбищ эскимосов и чукчей и собрать предметы старинного быта для создаваемого в Уэлене музея. Тагьёк возглавляет эту бригаду... Живет он в новом двухэтажном доме.

— В Наукане такого дома не построить,— говорит он.— Места мало на скалах... И машина там не пройдет, и вездеход. Даже вертолет не сядет.

Это звучит как объяснение, почему оставили родное место.

— Все на себе приходилось таскать,— добавляет Семен.— Маяк когда строили, я молодой был, бюст Дежнева наверх затаскивали. Ох и тяжелый, человек двадцать нас тащило. Носилки крепкие сделали из весел от байдары. И сверху еще помогали, подтягивали веревками...

Я представляю, как Эмутеин тащил бронзовый бюст своего тезки-землепроходца на обрыв, куда и без всякого груза забраться нелегко...

— Что бюст, а киты? — напоминает Тагьёк.— Всем селением поднимали. Блоки деревянные были наверху,

а другой блок укрепляли прямо на ките. Сверху и большие и маленькие тянули, а кит внизу поворачивался, жир с него полосами разматывался... как бинт. День и ночь работали, море ждать не станет. Однажды не успели разделать, штурмом унесло кита, через три дня только нашли, опять притащили...

— Сильные очень люди,— вторит Эмутеин.— Когда охоты не было, погода плохая, собирались в большой пещере на берегу. С утра до обеда устраивали бег, мужчины бегут по большому кругу, молодые по маленькому, в середине. Потом — борьба...

И я вижу, как мало-помалу на лицах моих собеседников проступает светлое и сосредоточенное выражение, свойственное воспоминанию, причем воспоминанию лишь об одном — о родине, как загорается в их глазах взволнованный огонь. Наукан!.. Было шесть вершин в его окрестностях, по которым издавна определяли время года, не просто отмечали приход весны, лета, или осени, или зимы, но узнавали о времени того или иного занятия. Когда солнце проходило над вершиной Агарат, можно было очищать дома от зимнего снега. На склоне другой горы лежал большой камень Сигалге, что означало «Ползущий на животе». Когда солнце шло через этот камень, пора было бить лежащую на льдах нерпу. Скала Кагытхекак — «Серая чайка» — указывала время сбора птичьих яиц. Повисало солнце над Какытак, «Рыбьей косточкой» — можно добывать лахтаков и моржей. А вот когда впервые появлялось оно над Таликук, скалой, похожей на ласт белухи,— собираясь охотиться на белуху и кита... Весь год бывала охота, даже зимой пролив не закрывался наглухо льдом, как море на севере, и сверху, со скал, хорошо было видно, где разводье, где зверь, куда он плывет... Возле поселка имелись специальные места, каждое со своим названием — Тынагрук, Ыныльках, Тукак, Каяхвик — места о ж и да н и я, где сидели старики и смотрели на море. Завидев кита или стадо моржей, они давали знать охотникам, и те садились в байдары... Когда у берега стоял припай, охотиться уходили на кромку льда, к чистой воде, и опять старики не покидали своих постов, бдительно следя за припаем, ведь в любой момент его могло взломать, оторвать. Только начинал тянуть кажущийся безобидным южный ветерок, старики хором, громко, трижды кричали: «И-и! И-и! И-и!» — и далеко разносился отраженный скалами сигнал опасности. Охотники спешили к берегу, обходя появившиеся трещины, старики показывали, как лучше идти. Иному

тяжело было с добычей, и он не поспевал, полоса воды между ним и берегом все увеличивалась. Но кто это выдумал, что люди покорны злому духу, забирающему к себе их собрата, и не предпринимают ничего, чтобы спасти его?! Сейчас же те, кто был на берегу, сталкивали байдары, кидались в них и нагоняли уплывающую льдину... Сильные, быстрые и бесстрашные люди!

И — гостеприимные, щедрые: когда приезжали соседи из Уэлена, или из Инчоуна, или с Нешканы, где зимой случалась плохая охота, с ними всегда делились. Мясо, жир, шкуры — это и еда, и одежда, и жилище, и свет. Каким жиром лучше всего заправить жирник? Конечно, жиром белухи, он горит жарким и белым пламенем, а от моржового и нерпичьего жира пламя красноватое, коптящее... А как убить белуху? Надо стрелять ей только в голову, и только в тот момент, когда она вслышивает. Тогда белуха не утонет. Когда стреляешь в погружающуюся или попадаешь не в голову — утонет... Мясо ее, удивительного темного цвета, очень вкусное, и становится еще темнее и вкуснее, если вляпать его ломтями на горячих камнях под солнцем.

И не только охотились да вечно противостояли суровой природе — холодному морю, туману, ветру, морозу, пурге, — но умели и воспеть свою жизнь, увидеть ее осмысленной и прекрасной. В легендах, в фигурах из моржового бивня, в танце, даже в названиях окрестных гор, ручьев, долин, сколько-нибудь примечательных камней... Огромная гора, что нависает над поселком, названа его жителями Насик — «Сугроб». Скалы со множеством круглых дырок в отвесных стенах носят имя Ырынгыт — «Глазастые». На этих скалах птичий базар. Большие камни на берегу моря называются Кихпит — «Седины». Возле них, по преданию, была вырыта яма, где л ю д и выращивали кита, рожденного женщиной...

...Лирические воспоминания Тагьёка и Эмутеина перекрещиваются смешными случаями — эскимосы умеют посмеяться и над собой, и над другими, беззлобно, дружелюбно.

— Как я однажды с вельбота упал, — говорит Семен. — Кита гоняли, фонтан маленький, и думали, кит маленький, а оказалось, большой, но косатки его поранили... Стреляли несколько раз, гарпунить надо. Подошли, я стою с гарпуном. Только кинул, а вельбот качнуло, и я — за гарпуном следом. В последний миг извернулся как-то, за борт ухватился с другой стороны и вишу. А Никуляк и Кинтын оглядываются, меня не видят. «На Эмутеин?! Где Эмуте-

ин?!» — Семен очень хорошо изобразил оторопь охотников. — А я им из-за борта: «Вантак'о, тут я!» Вытащили меня, сразу чай... Ох, летом хорошо в море: светло, чаю крепкого тут же, в вельботе, попьешь, сутки-две охотишься, спать совсем не хочешь...

— А с Умкой случай был, — напоминает Тагьёк. — Опять кита гоняли, осеннего, агывсака. Я тоже на вельботе был... Умка на носу стоял с гарпунным ружьем, ждал, когда кит вынырнет. Вдруг наш вельбот к-а-ак подбросило — кит под нами прошел. Мы кто за что похватались, а Умка со своим ружьем еще выше полетел. Пока он в воздухе был, вельбот с того места ушел. Умка видит, что падает прямо на кита. И — бросил ружье. Оно в кита стволом ударилось, само выстрелило. Кит сразу в воду опустился, на этом месте яма образовалась. Умка туда упал, кухлянка у него надулась, плавает в яме, как пыг-пыг. А мы вверху, на большой волне. И с этой волны, как с горы, мы к нему на вельботе съехали... Умка с охоты вернулся мокрый-мо-о-кий, — лукаво заключает Тагьёк, и мы все смеемся, потому что, если бы просто мокрый, ничего удивительного тут не было бы, а вот «мокрый-мо-о-кий» — действительно смешно.

— ...А кит назавтра всплыл, на том самом месте. Очень большой. Праздник тогда устроили, полякуют, праздник кита... После того в Наукане недолго охотились. Скоро уехали. Сначала часть семей, дома ставить на новом месте, потом к ним другие... Нутетеин уехал, Умка, Хухутан, Тулюкак, Утоюк... все! — говорит Тагьёк задумчивым тоном. И лицо Эмутеина тоже сосредоточивается. Вот по тому, оставленному людьми селению мне и довелось бродить однажды: крутой склон горы, уходящий далеко вверх, и такой же крутой обрыв к морю, а посередине, на тесной ровной площадке, сохранившиеся стены домиков, сложенные из всего, что могла предоставить природа — из плавника, из камней, вперемежку с дерном... И скалы, скалы кругом. И пролив... «Нет! — невольно думаю я, глядя на серьезные лица эскимосов. — Не правы были древние, а скорее всего, иронизировали, когда говорили: *«Ubi bene, ibi patria»* — мол, где хорошо, там и родина... Где родина — там хорошо!»

Когда я возвращаюсь домой, уже темно, и полная луна стоит высоко над лагуной. В ее отвесном свете, не дающем теней, большая уэленская сопка кажется низкой и плоской. Еще выхватывается ярким пятном лагуна, а дальше, в тундре — мерцающий сумрак... В разных концах поселка

начинают подвывать собаки, но слаженного хора еще нет, то и дело какая-нибудь сбивается на лай и вслед за ней сбиваются и другие, потом снова зарождается и начинает разрастаться: у-у... у-у-у... В Уэлене этот звук привычен и незамечаем, как, скажем, в большом городе шум машин, но мне, вернувшемуся сюда спустя десять лет, он опять внове...

Я продолжаю размышлять о душевной сосредоточенности этих людей на всем, что говорит и напоминает им о месте, где они родились, где были молодыми... Вроде бы и недалеко, всего за двадцать километров уехали от Наукана, и такое же море вокруг, сопки, те же снега, тот же серый галечник на берегу... Ну ладно — они, но отчего и для тебя столько очарования заключается в названиях: водопад Акулик, вершина Кегнектук, сопка Ингегрук? А какое странное, почти родственное чувство узнавания и обретения чего-то давно забытого было вчера, когда смотрел на эти танцы, слушал эти напевы! Несложные, кажется, движения — на согнутых ногах в одну сторону, потом в другую, а поди-ка, воспроизведи! Вон и сам Эмутеин не запомнил «Полет чайки»... Мысли мои возвращаются к Эмутеину, к его неудовлетворенности собой. И вдруг меня осеняет: воспоминание о Наукане! «Воспоминание о Наукане» — вот танец, который он может, обязан сочинить! Ведь когда так долго и самоотверженно служишь какому-то делу, должна быть, наконец, награда, даже если не ждешь, не надеешься на нее. Ведь не исчезает же без следа такая любовь, и то горячее чувство, которое носишь в себе, рано или поздно, а неизбежно выльется — в слове, звуке, движениях, образе... Я уже представляю, как он выходит впереди хора, один или с целой группой танцоров... И будет в этом танце все: как солнце встает над скалой Серая чайка, как впервые после зимы спускают с обрыва байдары и они сами скользят вниз по намеченному сугревому склону, как танцуют с гостями на кругу для состязаний, как мокрый Умка плывет посреди моря и как уходит из Наукана насовсем последний вельбот и, оборотясь, смотрит назад последняя покидающая его семью... «Воспоминание о Наукане»... Обязательно надо сказать Эмутеину, — бормочу я. — «Воспоминание о Наукане»...

Апрель 1976 года

Остров и Заповедник

1

Я опять ехал в Уэлен, точнее, опять намеревался добраться до Уэлена, но прежде хотел побывать в Заливе Креста и на острове Брангеля. Все это расположено отнюдь не по пути, а в разных углах Чукотки, и если соединить эти пункты между собой на карте, получится весьма внушительный треугольник с далеко отстоящими друг от друга вершинами.

После полуденной тридцатиградусной красноярской жары Магадан встретил очень прохладным и туманным утром. Бетонное покрытие трассы, камни на склонах, стволы деревьев, трава в долине — все словно отливало глянцем. Зелень лиственниц казалась сероватой от влаги. Речка Дукча, время от времени возникавшая сбоку дороги, была мутной и выглядела более стремительной, чем обычно. Или я просто давно ее не видел?.. А только что, когда приземлялись, за иллюминаторами очень долго рвалаась и не могла разорваться белая мгла, потом сквозь эту воздушную, призрачную белизну стала мелькать иная, плотная, сбитая, материальная — пятна снежников на сопках, и наконец открылась внизу тундра со своими особенностями озерами, налитыми черной водой всклепь, и эта же черная вода, не удержавшись в границах озер, будто просочилась, растеклась под землей, напитала тундру так, что, казалось, стоит надавить легонько на ровный зеленовато-бурый покров, и тут же она проступит... Около города, только начали спускаться с перевала «Подумай», снова посыпал дождь, а может быть, он здесь, вблизи моря, и не переставал и мы въехали в него...

Все это навело меня на естественные и бесспокойные размышления, какова же погода на самой Чукотке? Из Москвы я смог вылететь лишь в середине июля. Еще какие-нибудь две недели, и быстротечное чукотское лето кончится, а с ним сведется до минимума и благоприятная возможность для передвижения. Мне же, по предварительным подсчетам, предстояло проехать по Чукотке около десяти

тысяч километров. Первоначальный мой план был — от Магадана продвигаться постепенно на север. Анадырь, Залив Креста, Иультин, Мыс Шмидта, остров Врангеля... Теперь я сообразил, что разумнее всего забраться сразу как можно севернее и оттуда спускаться к югу.

В Магадане, едва обосновавшись в гостинице, я отправился в Институт биологических проблем Севера и в какой-то комнатке на третьем этаже, заставленной колбами и провонявшей химреактивами, отыскал своего старого знакомого Мирона Марковича Этлиса. Мирон приютился за маленьким столиком под настольной лампой и что-то писал своим чудовищным гигантским почерком, при котором ему одной страницы хватало на несколько слов. На вопросы, когда, зачем и надолго ли приехал, у него обычно уходят секунды, а затем, без предисловий, будто мы вчера только прервали наш разговор, начинается то, что я называю «страсти по Мирону»: выкатывая на меня яростные глаза с желтоватыми белками и надвигаясь вместе со стулом, перемежая такие слова, как «экология», «биосфера», «психогигиенический аспект», «интолерантность» и т. д., со словечками вовсе далекими от науки, он продолжает излагать мне проблемы научного, психологического подхода к освоению Севера... Но здесь надо отступить и рассказать немного об институте.

Это старое здание, недалеко от магаданского театра, на углу улиц Карла Маркса и Дзержинского, было мне знакомо с 73-го года, когда я по договоренности с журналом «Вокруг света» работал над очерком об адаптации человека к Северу. Тогда этот институт лишь год как существовал. Идея его создания принадлежала академику, Герою Социалистического Труда Николаю Алексеевичу Шило, возглавлявшему в то время Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт (СВКНИИ). Сам Николай Алексеевич начинал здесь когда-то молодым геологом, бродил, вдохновленный примером Ю. А. Билибина, с рюкзаком и молотком по колымским тропам... Да, освоение этого края началось с открытия геологов, и не удивительно поэтому, что первым крупным научным учреждением, созданным в Магадане в 1948 году, стал Всесоюзный научно-исследовательский институт золота и редких металлов. Была самая прямая и накоротко замыкающаяся связь науки с горнодобывающей промышленностью. Однако народное хозяйство области развивалось, дифференцировалось, возникали новые отрасли промышленности, быстро увеличивалось население, росли масштабы строи-

тельства, и все это требовало научных исследований, обоснований, рекомендаций. Как следствие этого, в 1961 году в Магадане был создан Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт АН СССР, где рядом с геологами стали трудиться географы, мерзлотоведы, экономисты, историки и археологи. В сельском хозяйстве области, помимо традиционного оленеводства и морской охоты, появились новые для Севера направления, вплоть до земледелия, — и в 1970 году начал действовать Магаданский зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока... И то, что наконец возникла, почувствовалась необходимость в создании института с биологическим профилем, было логическим развитием все той же идеи — научного обеспечения освоения края, но освоения на ином, более современном уровне. Поначалу — это было в 68-м году — при СВКНИИ был образован отдел биологии с тремя направлениями исследований: ботаника, зоология, человек. Человек на Севере, разумеется... А через несколько лет, в 72-м году, этот отдел превратился в самостоятельный институт, ИБПС, или, как его полностью величают, Институт биологических проблем Севера Дальневосточного научного центра АН СССР...

Замечательно то, что институт с первого дня своего существования одной из самых основных задач осознал изучение и решение проблем охраны окружающей среды в условиях Севера, и непосредственно в Магаданской области. И сразу выступил с конкретными предложениями. Тогда же, в 73-м году, будучи в Магадане, я познакомился с двумя только что изданными здесь небольшими брошюрами. Одна из них называлась «Состояние охраны природы в Магаданской области» и была написана заведующим лабораторией ландшафтования и охраны природы Алексеем Петровичем Васильковским. Начиналась она решительно: «В пределах Крайнего Северо-Востока СССР, и в частности в Магаданской области, наблюдаются почти все недостатки и просчеты в деле защиты природы, отмеченные в Постановлении Верховного Совета СССР от 20 сентября 1972 г. Их отрицательные последствия усугубляются здесь суровыми климатическими условиями, делающими ландшафты и биоценозы более уязвимыми при неосторожном воздействии на них, предпринятым даже с самыми лучшими намерениями...» И так далее — сжато, убедительно, с цифрами, фактами... Вторая брошюра являлась как бы органическим продолжением первой и содержала обоснованные предложения по организации заповедников и при-

родных парков в Магаданской области. Вместе с Васьковским ее подписал директор института, член-корреспондент Академии наук В. Л. Контримовичус. Заповедники предлагалось распределить на территории области с таким расчетом, чтобы представить в них и сохранить все характерные для Северо-Востока ландшафтные зоны, уникальную фауну и флору...

Тут, мне кажется,— чтобы по-настоящему оценить все значение и смысл этих начинаний,— следует вспомнить, что взаимоотношения человека с природой Севера всегда были особенными, в них всегда присутствовало стремление человека преодолевать, покорять и побеждать. Взаимоотношения эти вполне понятны, исторически объяснимы, сложились давно, еще со времен геройских походов и экспедиций первых землепроходцев и полярных исследователей — кончавшихся нередко поражением и гибелью человека, но тут и поражения способствовали конечной победе,— и эти отношения в почти неизменившемся виде сохранились в человеческом сознании до наших дней... Ведь все мы, особенно за последние годы, успели проникнуться прекрасной идеей охраны окружающей среды, она стала для нас аксиомой, вошла в наши повседневные заботы, мы, естественно, считаем, что это дело не только соответствующих специалистов и организаций, но и каждого человека, что это дело не только государственное, но и всечеловеческое. Мы привыкли, что в прессе время от времени появляются статьи энтузиастов с призывами защитить, сберечь, оградить от гибели какое-то редкое по красоте место, лес, речку, озеро. И хотя мы в жизни не видели и, может быть, не увидим этого места, но мы разделяем их тревогу, волнуемся вместе с ними, справляемся, какие принятые меры... За эти годы мы могли заметить, что география таких мест, «география тревоги», если можно так выразиться, постепенно расширялась, начинаясь от центральных районов, переваливала Урал, распространялась по Сибири. То есть тревогу вызывали места, в общем-то освоенные и теперь легко доступные для человека. И лишь Крайний Север до самого последнего времени продолжал казаться, да и сейчас, я знаю, многим кажется, каким-то отдаленным заколдованным замком с непрступными ледяными стенами. Слишком долго человек полагал, что «суровой и могучей» северной природе ничего не сделается, что уж по отношению к ней-то слово «беречь» смешно, что она в состоянии сама постоять за себя и не «беречь», а по-прежнему подчинять ее надо, потому что тут борьба

«или — или»: или человек, или природа, и природа в этой борьбе порой казалась неуязвимее и сильнее...

И вот — обнаружилось вдруг, что все-таки уязвимее, слабее. Что дикая и бескрайняя тундра очень долго не может заживить оставленный вездеходом или трактором след, да и не такой уж кажется она дикой и бескрайней, когда с вертолета видишь этот след, множество следов, рассекающих ее от горизонта до горизонта... Что срубленное дерево, в руку всего толщиной, вырастало, оказывается, сотню лет... Что реки с такой чистой, прозрачной водой легко и надолго мутнеют и загрязняются... Что стая птиц, казавшаяся неисчислимой, в один прекрасный день может вообще не прилететь... Что с виду такой могучий и грозный белый медведь — на самом деле беззащитен... И уж совсем беззащитно самое огромное, самое, безусловно, мощное и величественное животное, этот эталон гармонического слияния организма со средой своего обитания — кит,— да, беззащитен и очень уязвим, как поведал нам в своей книге «Кит на заклание» канадский писатель Фарли Моуэтт... Грустная какая-то получается закономерность: чем девственнее, чище, чем могучей и сурошей, тем, выходит, и уязвимее, тем и беззащитней... И еще одна закономерность явно видна: идея охраны природы всегда в конечном счете сопутствовала человеку в освоении земных пространств, но что ж скрывать, обычно она все-таки запаздывала, отставала от человека, возникала после «покорения». И если уж эта идея настигла человека здесь, орудующего на самом краю, как говорится, ойкумены, то можно теперь надеяться, что в дальнейших своих начинаниях человек пойдет уже рука об руку с этой идеей, а еще лучше, органически сливвшись с этой идеей, и что совсем было бы прекрасно — органически сливвшись с самой природой...

Ибо понятие «охраны природы», если вдуматься, предполагает пока заведомую разъединенность, разобщение природы и человека, только начало союза с ней, но никак не гармоническое единение. Кто будет охранять? Человек. От кого? Да от себя же, от своего слишком активного вторжения! Ведь само собой разумеется, что, когда не было человека, по крайней мере в современном его понимании,— не стоял вопрос и об охране природы, природа, видимо, сама справлялась, своими силами... Та же изолированность человека сказывается и в употреблении им выражения «окружающая среда», «охрана окружающей среды» — человек ощущает себя не в среде, а именно в «окружении» среды, не включенным в нее, и «охранять» ее он намерен,

по-прежнему оставаясь вне природы, по-хозяйски озирая эту природу со своей эволюционной вершины, как со сторожевой башни... Как хотите, а мне мерещится в этом нечто еще покровительственное... Но тут самое время вернуться в институт, к Мирону Марковичу, потому что эта тема — любимый его конек.

2

...«ЧИБ» — как произносит он обычно. Что означает: человек и биосфера... И еще «АЧ» — адаптация человека. Так я и не спросил у него, что это — жаргон или общепринятые сокращения?..

Несколько лет назад, когда я познакомился с ним, он сидел в маленькой комнатке института, на которой как раз и было написано: «Адаптация человека». По забавному и, видимо, случайному совпадению напротив его комнаты была дверь с табличкой «Адаптация одноклеточных»... Прямая специальность Мирона — врач-психиатр. До Магадана жил и работал в Москве, ездил на «скорой помощи». Что это за помощь? Да вот, например, однажды пришлось снимать человека с карниза, на Ленгорах, на высоте двадцать какого-то этажа. Неведомо, что произошло с человеком, что ему померещилось, но вылез на карниз и стоял, будто завороженный... Как, наверное, сапер остается наедине с заряженной миною неизвестной ему системы и малейшее неверное движение будет стоить ему жизни, так и Мирон остался один на один с этим загадочным, до предела взведенным человеческим сознанием, и точно так же неосторожный жест, слово, даже неверная интонация могли обернуться трагически, а то и вдвойне трагически, потому что Мирон, чтобы войти в контакт с тем человеком, тоже вылез на карниз. Снял...

В Магадане он уже лет десять, и в институте — с самого его начала. «Человеком на Севере» до недавних пор занимался практически он один. Уйдя в науку, своему интересу к экстремальным ситуациям Мирон не изменил. Только если раньше, будучи врачом, он имел дело с экстремальными состояниями, так сказать, в душе человека, то теперь изучает его в экстремальных внешних условиях — условиях Сева. Выезжает в «поле», живет подолгу в маленьких национальных и больших рабочих поселках, наблюдает, анкетирует. С тех пор собрал массу фактического материала, теоретически обобщил и выдал практические реко-

мендации. А вот диссертацию не написал. «В институте я — самый старший эмэнэс», — констатирует Мирон с грустноватым юмором... Говорят, что некогда Маркс в шутку отозвался о нашем народнике Петре Лаврове: «Он слишком много читал, чтобы что-то знать». Так вот, о Мироне я бы сказал, что он слишком много знает, чтобы сосредоточиться на чем-то одном. Кроме того, он слишком одержим наукой и, в основном, ее практическим применением, чтобы отвлечься и написать сугубо теоретический труд. Его всегдаший девиз: «Полагать одну основу для науки, а другую для жизни — есть ложь». Зато великое множество всевозможных научных публикаций, докладов на симпозиумах, журнальных и газетных статей. Поскольку адаптация человека к Северу не есть какой-то абстрактный процесс, отделимый от его повседневной жизни, а, наоборот, очень с нею связан и от нее зависит, то и Мирон по роду своих занятий должен вникать во все стороны этой жизни: работа, быт, культурные условия, географические условия... — короче, все то, что обозначается словом «среда». «Био-антропо-социосфера» — как он говорит.

Еще заинтересовал меня Мирон Маркович при нашем знакомстве тем, что внешне очень не походил на представителей той научной магаданской интеллигенции, с которыми мне приходилось иметь дело раньше. Были это в основном геологи, здоровые, уверенные в себе ребята, и эта уверенность усугублялась в них сознанием привилегированности своей профессии здесь, в открытой геологами стране. С весны они отправляются в «поле», честно, своими ногами копытят Чукотку, зимой в институте обрабатывают материалы, многие что-то открыли, выстрадали какую-то идею, защитились. И обязательно спорт: штанга, борьба, десятиборье, горные лыжи, — и в спорте они тоже кое-чего достигли: перворазрядники, мастера спорта. И все у них железно распределено, рассчитано: время на работу, время на тренировки, время на книги, а отдых — в смене занятий. Суббота и воскресенье обязательно отданы походам за город... Словом, самый что ни на есть современный тип молодого ученого, да еще в романтическом северном исполнении... А Мирон предстал невысоким, с полнеющей мешковатой фигурой, с толстыми выпуклыми стеклами очков, сползающих на нос, и этим характерным потерянным взглядом поверх очков, с одновременным наклонением головы. Тоже, конечно, типичная наука, «профессор, симите очки-велосипед», но ведь не для Магадана?! Да и занятие его выглядело как-то сомнительно в этой стране пионеров,

таежников, бродяг по натуре, «землепроходимцев», как остроумно выражается один мой знакомый, здоровенных мужиков, которые и в снегу могут ночевать, и по лесотундре прут, как лоси, и пресловутый чистый спирт — но где он, спирт?! — пьют неразведенным, — в этом «гнезде» пользуясь словами Николая Васильича Гоголя, откуда они вылетают на полгода в отпуск на материк, «гордые и крепкие, как львы». АЧ... Какие ему рецепты психадаптации, когда он и обычный аптечный рецепт забыл, как выглядит!..

Но Мирон объяснил мне, что программа АЧ — это только начало, самый низший уровень, на котором мы еще вынуждены выделять две модели: модель субъекта и модель среды, а в перспективе надо думать о ЧИБ, где человек и биосфера будут рассматриваться в единой системе, приведенной в равновесное состояние... Увлекаясь, Мирон начинает говорить и мыслить как бы рвано, — опуская всякие там, привычные нам в рассуждении, фигуры и модули силлогистики, выдает готовые тезисы. Поначалу он еще спрашивает изредка: «Понятно я говорю? — а потом перестает и спрашивать. Куда только девается потерянный взгляд из-под очков — Мирон закипает. — Необжитость Чукотки — миф! Развеять!.. Чукотка обживалась тысячи лет... Мамонты исчезли не только из-за перемены климата, но и охоты... Мы сейчас в основном имеем в виду приезжих, но не надо забывать о коренных... Нужно выяснить с помощью этнографов те психологические изменения, которые произошли здесь за эти тысячи лет... Во взаимоотношениях с природой... Это очень важно! Их отношение к природе — без излишних эмоций и романтизации. Это — их дом... Наша профессиональная задача — понять и удержать все лучшее, что возникло... Может, и так называемые пережитки!.. А тех, кто приезжает, — отбирать. Тестиовать... Чтоб не было случайных... Чтоб не стоял миграционный вопрос... И охрана природы... Случайные, временные на Севере люди — это бандиты по отношению к природе! И уйти от примитивной биологизации в ситуации «человек и природа»... Не тот уровень!.. Нас уже не интересует, сколько времени человек может прожить в одиночестве или за сколько дней он перетащится через пролив Лонга. Это культуризм в ситуации «человек и природа»! Я понятно выражаюсь? Научная разновидность хиппиизма! — В знак презрения Мирон налегает на звук «п». — Не это сейчас решает... Нам важна психология человека, прочно осевшего на Севере, работающего в коллективе... Мы должны плани-

ровать социальное развитие таких коллективов! Без науки это невозможно... И в идеале решать в системе ЧИБ, воспитывать экологическое сознание... Это перерастает в проблему мировоззренческую! Лаборатория АЧ в институте — пока эмбрион... Должен быть отдел экологии!.. Понятно я говорю?»

Утверждают, что профессия накладывает отпечаток на человека. В таком случае Мирон со своими исследованиями экстремальных ситуаций — сам человек экстремальный. А может быть, наоборот — взрывчатый его темперамент сыграл свою роль в выборе профессии... Тут не решишь. Идеи распирают его. В школе на уроках физики нам демонстрировали опыт. Сосуд с холодной водой помещали под стеклянный колпак, из-под которого выкачивали воздух. И вода вдруг закипала... Ничего зрячего для глаза вроде не произошло, а сосуд бурлит. Слушая и наблюдая Мирона, я всегда вспоминаю этот опыт. Только что шел по улице, смотрел на магаданцев — адаптированные они или неадаптированные, кто их знает? — но, кажется, вполне нормальные, спокойные люди, вон капусту покупают, чешнью и яблоки, объявившиеся в магаданских магазинах, цветной телевизор человек грузит в такси, а тут Мирон неистовствует в своей комнатке. У него свое внутреннее давление... Может быть, без этого вообще нет смысла заниматься наукой?.. Во всяком случае, я в его речах услышал то, о чем я и сам думал: в процессе взаимоотношений человека и окружающей среды, в зародившемся стремлении охранять природу должно все-таки исчезнуть противоречие человека и природы и образоваться их гармоническое единение... Иными словами: «Природа только там хороша, где освящает ее довольствие человека, где он и сам равен красоте роскошной природы». Именно — «где он и сам равен...».

Но в этот мой приезд Мирон был грустен и тих. Жена второй месяц болеет, вреден ей, говорят врачи, магаданский климат, тот самый, который включается в «экстремальные условия». Сам Мирон весь в домашних заботах: дочка четырех лет, меланхолическая собака Берта, ремонт квартиры... Из институтских новостей самая важная: только что создана лаборатория экологических проблем народонаселения Севера, именно та лаборатория, «эмбрионом» которой Мирон когда-то себя полагал. Со штатом в семнадцать человек: демографы, социологи, медики... Но меня сейчас интересовало другое. Я ехал на остров Врангеля и знал, что ИБПС уже несколько лет проводит там свои работы. В мар-

те 76-го года на острове Врангеля — и в этом немалая заслуга института! — был наконец учрежден заповедник, первый и пока единственный заповедник в Магаданской области, а в силу своего арктического месторасположения — и уникальный в системе заповедников нашей страны. Я хотел познакомиться с людьми, которые там бывали и работали. Мирон тут же свел меня с зоологами — Феликсом Чернявским и Анатолием Ткачевым.

Феликс Борисович — кандидат биологических наук, зав. лабораторией зоологии позвоночных. Анатолий Владимирович — доктор медицинских наук, руководит лабораторией нейроэндокринных регуляций. Обоим по сорок — сорок с небольшим лет — возраст, характерный для большинства магаданских ученых. С Феликсом Чернявским я заочно был уже знаком, зимой я получил от него его книгу «На острове арктических сокровищ», выпущенную Магаданским издательством, в которой речь шла как раз о животных острова Врангеля. Феликс занимался белыми медведями, песцами, леммингами, белыми гусями, участвовал в экспедиции, которая исследовала, пригоден ли остров для акклиматизации овцебыков, завезенных, как известно, впоследствии с Аляски... Обо всем этом он и рассказал широкому читателю с увлечением специалиста, знающего свой предмет досконально, и по-писательски просто хорошо. Сейчас Чернявский и Ткачев коротко посвятили меня в суть исследований, которые проводили их лаборатории на острове, сказали, где там кого разыскать и кому обратиться, познакомили, словом, с «островной ситуацией».

3

...Да, сколько раз зарекался я — не писать очерков «на тему»!. Но попробовать обратиться к прекрасному и свободному старинному жанру записок путешественника... Какие тут образцы! Карамзин — «Письма русского путешественника»... Пушкин — «Путешествие в Арзрум»... Александр Фомич Вельтман — «Странник»... Нынешним изобретателям новых форм повествования и глав размером в несколько строк я советовал бы заглянуть в «Странника» — там есть глава, состоящая из двух всего слов: «Нет ее»... Да мало ли! «Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться! О сердце, сердце! Кто знает, чего ты хочешь? —

Сколько лет путешествие было приятнейшою мечтою моего воображения? Не в восторге ли сказал я самому себе: наконец ты поедешь? Не в радости ли просыпался всякое утро? Не с удовольствием ли засыпал, думая: ты поедешь? Сколько времени не мог ни о чем думать, ничем заниматься, кроме путешествия? Не считал ли дней и часов?» Вот так надо писать!.. Или: «Как всегда бывает в дальней дороге, на первых двух-трех станциях воображение остается в том месте, откуда едешь, и потом вдруг, с первым утром, встреченным в дороге, переносится к цели путешествия и там уже строит замки будущего...» Конечно, при тогдашней многодневной неспешной езде на почтовых, когда возникали перед тобой, сменяя друг друга, все новые и новые пейзажи: обрывались леса, разворачивались степи, вставали неожиданно громады гор... — было время и повспоминать, и подумать, как жил, и построить замки...

Ну, а теперь другая стала езда, другие стали путешественники. Не оплывают свечи под утро, не переминается у двери сонный лакей с известием, что ямщик не хочет больше ждать. Не поднимаются с друзьями последние бокалы, не выбегаешь и не падаешь в сани, давясь от приятных слез... В глухой предрассветный час пробуждает тебя треск будильника, пьешь наскоро кофе, чемодан уложен с вечера, посреди пустынного проспекта ловишь такси, мчишься на автовокзал. Еще час с лишним в автобусе и — сразу в самолет. Невыспавшийся, с гудящей головой ждешь поскорее взлета, чтобы заснуть. Снишь ли, дремлешь, скорчившись в кресле, но приходишь в себя — что это? За иллюминатором яркий свет низкого солнца, как всегда, особенно режущий и слепящий глаза здесь, на высоте, — неужели все рассвет? Нет, это уже вечер, летишь-то против солнца, и время накатывается тебе навстречу. На стоянке в Красноярске почти автоматически подходишь к киоску в зале ожидания и спрашиваешь значок города Красноярска — сколько раз пролетал здесь, столько у тебя и значков. Затем слоняешься мимо кресел, то и дело выходишь на улицу, огибая здание аэропорта, чтобы зайти в него с другой стороны, и слушаешь радио — не твой ли рейс? Опыт предыдущих полетов говорит, что могут и отложить, и среди лета случается непогода по трассе, но, слава богу, объявляют... Проходя на посадку, бездумно скользишь взглядом по хорошо знакомому, сто раз виденному плакату со стюардессой и призывом экономить время, пользоваться услугами Аэрофлота, и как-то вдруг по новому и неожиданно воспринимаешь примелькавшиеся

слова. И, снова уносясь за облака, продолжаешь размышлять, твердить себе машинально: «Экономьте время... экономьте время... А что же нам делать с этим сэкономленным временем, и вообще — возможно ли его сэкономить, накопить постепенно в какой-нибудь специальной сберкассе, чтобы потом, когда почувствуешь, что оно иссякает, свое время, и наступает тот самый, пресловутый «черный день», пойти и снять, продлить себе еще лет на десять?!.» Что-то во всем этом не так, не до конца ясно, надо бы еще поразмышлять, но тут к тебе наклоняется сосед: «Так ты в Анадыре будешь?» Слышал, наверное, когда стюардесса собирала сведения. «А у меня там как раз двоюродный брат! Будь другом, зайди, — он называет фамилию и адрес, — передай ему, что Николай возвращается. Я то есть... Он поймет... Он там строителем. А я с Оротукана, по трассе, знаешь? Был в отпуске, хотел с концами, да вот опять еду. Все-таки уже шесть надбавок, жалко, ну и вообще...» И вот тут-то, пока Николай с Оротукана объясняет, как-то окончательно осознаешь, будто заново вспоминаешь, что летишь на Север. Опять на Север...

Но и теперь не переносишься мысленно к цели, не строишь замков будущего путешествия, потому что они уже построены однажды ночью в Москве, когда вдруг очнулся с томительным ощущением только что привидевшегося сна. И в это время, пока лежишь в темноте с открытыми глазами, и доходит до тебя, что в твоем сне действительно сон, а что самая настоящая явь, и в какой степени они дополняют и стоят друг друга, в этот момент потихоньку толкается вроде бы посторонняя мысль: «Поехать... Съездить... Ну, хотя бы еще раз, последний...» Потом долго не спишь, представляешь все те места, былые и возможные новые впечатления, лица друзей, разговоры... Наутро, опять проснувшись, смутно чувствуешь нечто важное, прошедшее в тебе за ночь, и вспоминаешь — что, и с крепнущей уверенностью подтверждаешь себе: «Да-да, ехать!» После чего твоя жизнь, помимо отвлеченного и, разумеется, высокого, наполняется еще конкретным, близким, сиюминутным смыслом: иди в Союз писателей, убедительно излагать, зачем тебе нужна командировка на Чукотку и почему именно на остров Врангеля и в Уэлен, что на острове Врангеля «родильный дом» белых медведей и овцебыки, а в Уэлене «известная всему миру косторезная мастерская»... И во все эти дни формальностей и сборов продолжают строиться, разрушаться и вновь возводиться те самые замки... В самолете же, повторяю, — впрочем,

может быть, это мое сугубо личное впечатление, — будто выключаешься из жизни. Все, что касается будущего, замерло в расплывчатом, туманном определении: «Вот прилечу, тогда...» — оставленное прошлое еще более неясно и отдаленно: «Вот вернусь, и тогда...» — а настоящего как бы вовсе нет. Решаешь ли кроссворд в старом журнале, не припомнив, как всегда, реку в Южной Америке, пьесу Горького и областной центр в РСФСР. «Может, Магадан?! — сверкает догадка. — Нет, не подходит...» Читаешь ли специально захваченную в дорогу книгу, ничто не ложится на душу, не будит ни мысли, ни чувства, и взору не на чем остановиться: за иллюминатором опять слепящая пустота, устланная понизу непроницаемым покровом облаков...

Но вот и Магадан, и при виде знакомых очертаний сопок — сопок 57-го километра — становится как-то спокойно, будто приехал окончательно и никуда больше не надо торопиться. Просторное, пронизанное светом здание нового аэропорта; на каменной плите пола, против входных дверей, золотистой проволочкой выписана дата открытия: «5.XII.73». Июль, народу в залах ожидания немного, желающих улететь в Анадырь просят подойти к регистрационной стойке. Желающих!.. Через какой-нибудь месяц-полтора этих «желающих» наберется столько... Мне надо в Анадырь, но прыгнуть сейчас еще на полторы тысячи километров — это значит просто не осознать, не прочувствовать такой дороги. Так называемая экономия времени, к которой призывает Аэрофлот, может быть, необходима человеку деловому, но совсем не нужна путешествующему, ибо путешествие по природе своей, по самому звучанию этого слова: путешествие — должно быть размеренно, неторопливо и обстоятельно. И при современных скоростях все-таки сохраняется, если не обостряется потребность в старинной неспешной езде. Поэтому хотя бы на несколько дней, но в Магадане обязательно надо остановиться, перевести дух, оглядеться, возместить украденное самолетом время, пространство и ощущение дороги, помыслить себя в новом состоянии, приготовиться к Северу — то есть совершить все то, что в прежнем путешественнике произошло само собой, естественно и постепенно...

Но в Магадане, как я говорил, я вдруг обнаружил, что времени-то у меня в обрез, и потому на следующий день уже летел дальше, в сторону острова Врангеля. К вечеру я очутился на Мысе Шмидта.

Мыс Шмидта, резко выступающий в море, назывался чукчами Рыркайпий — Моржовый. На старых русских картах значился как Северный. Это название было дано ему в 1778 году английским мореплавателем Джемсом Куком, который из-за тяжелых льдов не смог пройти Северо-Западным проходом и повернул исследовать сибирские берега. После известной экспедиции 1933—1934 гг. на пароходе «Челюскин», возглавляемой полярным исследователем, профессором О. Ю. Шмидтом, мыс был переименован в его честь...

Я попал сюда впервые. Место показалось мне довольно унылым, главным образом, из-за того, что сопки, единственное украшение пустынного северного пейзажа, отступили тут от берега очень далеко. В близком море, возле горизонта, отчетливо и прочно утвердился мираж — скопления светлых прямоугольников, которые все находят очень похожими на кварталы современного города. Что же касается реального поселка, на берегу, то он выглядит не столь нарядно: коробки домов монотонного серого цвета на голой серой земле. К тому же — обильная летняя пыль... Как сказали бы мои магаданские друзья — «типичный антропогенный ландшафт без каких-либо биогенных компонентов». Шофер райкомовской машины Саша в ответ на мое первое впечатление согласился: «Да, красивого мало... — Но тут же бодро возразил: — Зато у нас — миражи!»

Шмидтовский район образовался недавно, три года назад, объединив частично территории Чаунского и Иультинского районов. Остров Врангеля также относится к Шмидтовскому району, и, следовательно, район может гордиться первым в области заповедником. Впрочем, по этому поводу здесь пока только недоумеваю... И секретарь райкома партии Герман Васильевич Станкевич, узнав, что я еду на остров, сразу заговорил о врангелевских оленях. Об этой проблеме я уже был наслышан.

Дело в том, что изначально оленей на острове не было, их завезли с материка в конце 40-х годов — небольшое стадо, голов в сто пятьдесят. Остров порядочный, около 800 тысяч га, пастбища отличные, условия выпаса идеальные: овода на острове нет, волков нет. В таких условиях олени быстро размножились. Ведал ими сначала колхоз, а до последнего времени отделение совхоза «Пионер»,

находившееся на острове. С образованием заповедника отделение совхоза, естественно, ликвидировали, пастухи уехали на центральную усадьбу, в Банкарем, а олени остались... И как раз недавно, в последних числах июня, в «Магаданской правде» появилась статья «Беспрizорный олень», написанная сотрудником шмидтовской районной газеты «Огни Арктики» В. Земляниным. Автора статьи беспокоило, что врангелевский олень теперь предоставлен самому себе, племенной работы с ним не ведется, кастрацию и выбраковку производить некому, просчет стада не делается, а уж об окарауливании и говорить нечего. И вообще заповедник намерен всех оленей на острове извести!..

Статью я прочел еще в Магадане и вместе с автором возмутился — как так: заповедник, охрана природы, а олени вдруг извести?!. Вернее, не возмутился, а пришел в изумление: не может этого быть, что-то здесь, наверное, не так. Но, зайдя к директору ИБПС В. Л. Контримовичу, я встретил у него в кабинете директора заповедника Василия Федоровича Примакова. В Магадан он приехал по делам и, как выяснилось, в основном из-за оленей. Почему-то он очень обрадовался, что на остров едет писатель, обещал в скором времени следом за мной и там, на месте, обо всем подробно поговорить. «А пока,— горячо и серьезно сказал он,— я хочу, чтобы вы запомнили главное. Аксиому заповедника на сегодняшний день, аксиому номер один. Заповедник, конечно, уникальный. Fauna, flora... А олени эту уникальность портят! Местные власти за то, чтобы их сохранить. А мы за то, чтобы изъять. Семь тысяч голов, и почти безнадзорные. Оленеводов у нас всего двое. Бездехода нет. Рации нет. Вертолета нет. Олени числятся на заповеднике. С ними надо работать. А в положении о государственных заповедниках записано, что в них исключается всякая хозяйственная деятельность! В общем,— заключил Василий Федорович решительно,— вопрос стоит так: или олени, или заповедник!..» Вечером из гостиницы я позвонил домой Феликсу Чернявскому — узнать, а что он думает об оленях. Феликс сказал, что сам не решил еще для себя этой проблемы. С одной стороны, олени — особенно в таком количестве, — конечно, причиняют заповеднику вред. Вытаптывают, уничтожают растительный покров и т. д. С другой стороны, олень тоже животное Севера, как же заповеднику без него? Ссылаются, что олена на острове не было, что он завезен. Но ведь и овцебык завезен. Чтобы, как говорится, заполнить пустую-

шую экологическую нишу... Для чего же, заполняя одну экологическую нишу, мы должны опустошать другую?.. С тем я и отбыл из Магадана.

В довершение всего я услышал про оленей острова Врангеля, едва прилетев на Мыс Шмидта, тут же, в аэропорту. И про оленей, и про овцебыков. Я только что сошел с самолета и пребывал в обычной для первых минут в неизвестном месте растерянности: может быть, вертолет в этот момент уже раскручивает винт на остров, а я теряю драгоценные секунды, а может быть, никакого вертолета не будет и надо бежать и забивать место в гостинице, и я опять теряю драгоценные секунды? И где тут гостиница?.. И вдруг мне показалось, что я услышал слово «овцебык»!.. Я огляделся. На ступеньках аэропорта беседовали двое: один в зимней, несмотря на лето, шапке, в меховой куртке, брезентовых штанах и резиновых сапогах. Другой в шерстяном вязаном колпаке, в штурмовке, затертых джинсах и тяжелых ботинках. И оба в очках, обросшие, с запущенными бородами, с обожженными летним северным солнцем лицами. Вид типично «полевой», но не геологический — у геологов наблюдается все-таки какая-то унификация в одежде. К тому же — померещившийся мне «овцебык»... Я подошел и, выяснилось, угадал. Один был Евгений Сыречковский, сотрудник ИЭМЭЖ, Московского института эволюционной морфологии и экологии животных, кандидат биологических наук, орнитолог, другой — Владимир Вовченко, зоолог из лаборатории Чернявского, занимался овцебыками. Их-то и рекомендовал мне Феликс разыскать на острове Врангеля, а они, оказывается, уже возвращались оттуда...

— Ну, и как там овцебыки? — первым делом спросил я.

— Никак, — неопределенно улыбнувшись, отвечал Вовченко.

— Позвольте, как это — никак?!

— Овцебыки пропали, — веско и загадочно изрек он.

— Пропали... Погибли, что ли?!

— Неизвестно... Может, погибли... А может, и не погибли... — еще загадочнее стал говорить Вовченко.

Плохо понимая, я собирался задать очередной вопрос, но тут объявили рейс: Шмидт — Певек — Сеймчан — Магадан, и специалист по овцебыкам, к великой моей досаде, устремился на посадку. Он улетел тем самым самолетом, которым я прилетел. По счастью, Евгений остался: ему надо было ждать борт на Анадырь, чтобы оттуда лететь

в Москву. Я надеялся расспросить его. Час был довольно поздний, и мы пошли устраиваться в аэропортовскую гостиницу...

Гостиница именовалась не как-нибудь, а «Полюс». Кстати, тут был забавный момент. Евгений, привыкший, видимо, к сложности восприятия своей фамилии, так четко и так раздельно произнес ее: «Сыро... — и с некоторой паузой, — ...ечковский!» — что дежурная, догадливо поглядев на меня, сказала: «А вы, значит, будете Ечковский?» Нас поселили... Из Магадана я вылетел рано утром, день целый был в дороге, и весь мой дневной рацион ограничился стаканом кофе в сеймчанском буфете. Евгений тоже не успел поужинать. Единственная столовая неподалеку, конечно, оказалась закрытой. Я пошел к нашей дежурной узнать насчет чая или «хотя бы просто кипяточку» и по давно известному принципу: «Дай закурить, а то так есть хочется, что почевать негде!» — разжился электрическим чайником, заваркой, куском хлеба и полбанкой тушенки. Стул, втиснутый между нашими койками, мы с Евгением превратили в стол и вскоре уже сидели за чаем — без сахара, зато крепчайшим.

Евгений рассказал, что на остров ездит уже десять лет. Изучает он белых гусей. Диссертация, которую он защитил, так и называется: «Экология белых гусей на острове Врангеля». В былые годы белые гуси селились по всему побережью Северо-Восточной Азии, вплоть до устья Лены, теперь у нас в стране живут только на острове Врангеля, да и то от многочисленных прежде колоний осталась здесь лишь одна, в районе речки Тундровой. Еще белые гуси гнездуются в северо-западных, арктических районах Канады, отчего этот вид называют иногда «канадским». На зиму и наши, врангелевские, и «собственно канадские» белые гуси улетают в Калифорнию... Этих гусей я видел лет десять назад, когда жил в Уэлене, и, что греха таить, охотился на них. Правда, я не подозревал тогда, что их так мало, и они еще не были внесены в Красную книгу... Это очень красивая, белоснежная птица с черными окончаниями крыльев, с крупной головой на коротковатом мощном столбе шеи, да и все ее сложение, несмотря на средние размеры, производит, я бы сказал, впечатление скорее атлетического, нежели изящного... Конечно, я не знал тогда ничего об их образе жизни — как узнал после из прекрасной книги американского орнитолога Пола Джонсгарда «Песнь северного ветра» и других книг — и думал, что они живут где-то рядом с Уэленом, в прибрежных тундрах.

Потом я понял, что мимо Уэлена они пролетали, следуя своим древним ежегодным путем: весной с американского материка через Берингов пролив, вдоль чукотского побережья, через пролив Лонга на остров Врангеля и осенью — обратно...

Сыроечковский знал о белых гусях очень много, и знал не только из книг. Орнитологи приезжают на остров обычно в мае, поселяются в маленьком балке возле гнездовья, еще скрытого под снегом, и ждут прилета птиц. Уезжают осенью, в сентябре, когда последний гусь покидает остров. Так что вся жизнь колонии развертывается на их глазах... Часа два Евгений рассказывал удивительные вещи о повадках белых гусей, о том, как прилетают на остров первые пары, как с каждым днем их становится все больше, как схватываются между собой самцы за место на гнездовье, как появляется в гнезде первое яйцо, как, примерно до середины июня, пока не установится окончательно полярное лето, орнитологи пребывают в каждодневном страхе за гусей: вдруг вернутся холода, выпадет снег, разразится шурга... Я вообще понял, что работа ученых-орнитологов на гнездовье далека от безмятежной идиллии: казалось бы, наблюдай себе, любуйся своими подопечными, как они ухаживают друг за другом, подыскивают место для гнезда, как, отправляясь ненадолго пощипать свежей травки, гусыня заботливо прикрывает яйца сухой прошлогодней травой... Но ученым приходится еще быть свидетелями борьбы гусей за существование, и в этой борьбе они ничем не могут им помочь. Главные враги гусей — песцы, которые в это время во множестве собираются вокруг гнездовья. Воруют яйца, охотятся за молодняком. Взрослый гусь не слабее песца и, охраняя свое гнездо, не боится его, наоборот, песец избегает прямого столкновения с птицей. Евгений сам видел, как какой-то неосторожный песец, зашедший в середину гнездовья, рыча и огрызаясь, катался по земле, будто футбольный мяч, сбиваемый ударами гусиных крыльев. Но песец хитрее, прибегает к различным уловкам, отвлекает гусей от гнезда, отводит за собою подальше, а потом кидается со всех ног к кладке... А как он уничтожает молодняк?! Птицы, едва поднявшиеся на крыло, не могут долго летать, быстро устают, садятся, опять взлетают невысоко над землей, и песец, настигая гусенка, прыгает, хватает его еще в воздухе, душит и кидается за следующим... Как ученый-биолог, Евгений понимал «невиновность» песцов, понимал, что они такие же исконные обитатели острова и им так же надо кормиться самим и заботиться о потомстве, но я по-

чувствовал, что по-человечески он этих песцов просто ненавидел...

Нашим соседом по комнате был горняк из Иультина. Летел на материк в отпуск, две недели сидел в Иультине, ждал борт на Анадырь, наконец вылетел и... из-за непогоды в Анадыре приземлился на Шмидте. Так что теперь он оказался от Анадыря еще дальше. Горняк к нашему приходу уже лежал в постели и собирался спать, но позабыл о своем намерении и тоже слушал — молча, но внимательно.

— Колония у нас в Союзе — единственная! — продолжал Евгений.— И то тревожит, что численность гусей в последние годы сокращается. В семидесятом году было примерно сто пятьдесят тысяч. Сейчас — около пятидесяти тысяч... В семьдесят четвертом году, например, пурга внезапно ударила, на трое суток! Гуси на гнездах сидели, только шеи из снега торчали... Плотность гнездования из-за пурги снизилась втрое. Песцу — раздолье. За десять дней он уничтожил все гусиные кладки! Ни одного птенца не вывелось в тот год!..

— Да, но ведь все эти взаимоотношения: гусь — песец — были всегда... Складывались тысячелетиями! За это время могло установиться какое-то равновесие? — спросил я.

— Дело в том, что песцу, как ни парадоксально это звучит, начал помогать человек... Ведь гусь — не главный объект охоты песцов, — терпеливо принял объяснить Сыроечковский.— Основная его пища — лемминг. А численность лемминга, как известно, непостоянна, из года в год колеблется. С нею обычно колебалось и количество песцов, живших на острове. Много лемминга — много песца. Мало лемминга — мало потомства у песца, и сам он с острова уходит. В эти годы размножается гусь... Примерно такая всегда была схема... Человек, поселившись на острове, начал охотиться на песца, но добывал незначительную его часть, зато большей части помогал кормиться в голодные, в «безлемминговые» годы. Охотники развозили по острову части моржовых туш — привады, песец также кормился отбросами возле человеческого жилья, да и в тундре после забоя оленей оставались отходы... В итоге песец перестал уходить с острова, начал процветать, а гусю не стало передышки. И сам человек регулярно охотился на гуся и собирал гусиные яйца... Не говоря уж о варварах: в конце пятидесятых годов полевая партия геологов целиком истре-

била предпоследнюю гусиную колонию на реке Мамонто-вой!..

— Вот сволочи! — горячо и прямо сказал вдруг молчавший до этого времени горняк.

— ...И олень любит гусиные яйца,— благодарно взглянув на горняка, продолжал Евгений.— В семидесятом году за неделю олени уничтожили восемь тысяч гнезд!.. Кроме того, пробегая по тундре, олени беспокоят гусей, гуси переходят с места на место, выводки при этом неизбежно растягиваются — тут опять они становятся добычей пescов... В общем, желая того, не желая, думая о том, не думая, а человек за пятьдесят лет своей хозяйственной деятельности заметно вмешался в островную экосистему... В шестидесятых годах на острове образовали государственный заказник, сбор яиц на гнездовьях был запрещен, охоту на гусей регламентировали, а вскоре вообще запретили. Сейчас — заповедник... Все это — большое дело!.. Но олени-то остались...

— Уничтожить! — снова горячо воскликнул горняк, проникнувшись, видимо, сочувствием к гусям.

— Может быть, всех не уничтожать? — предположил я, вполне понимая чувства горняка.— Может, сократить стадо до таких размеров, чтобы оно не вредило гусям?

— Это сейчас и обсуждают, об этом спор идет. Но пока будут спорить... Мое мнение: или олень — или гусь,— сказал орнитолог.— Никто ведь точно не знает, сколько оленей на острове. Хозяйственники считают: тысяч шесть-семь... А мы сами видели тысячные стада оленей там, где об их существовании даже не подозревают! Врангелевский олень размножился чрезвычайно!.. Я думаю — их тысяч десять... И если, например, решат сокращать до тысячи от тех шести-семи, все равно за счет неучтенных их останется гораздо больше. Если поставить целью уничтожить всех — то и сохранится та самая оптимальная тысяча!.. Песцов тоже надо сократить, хотя бы в районе гнездовья. Ощутимого вреда всему поголовью пescца это не причинит, а гусей спасет... Сама по себе гусиная колония не восстановится... Я не упомянул: их ведь еще убивают на перелетах и в местах зимовок. Сейчас мы метим своих, врангелевских гусей, чтобы с помощью американских зоологов точнее представить пути их перелета в районы зимовок. В Канаде своих белых гусей более миллиона, охота на них не запрещена, а нашего белого гуся от канадского, естественно, не отличить... Если мы будем знать, в каких местах зимуют именно наши гуси, то в рамках советско-американского

договора об охране окружающей среды можно будет решить вопрос об ограничении там охоты... Ведь это так ясно, смотрите: если мы вмешались когда-то в островную экосистему и нарушили ее, то теперь мы и должны ей помочь, и прежде всего наилучше пострадавшему ее звену, в данном случае, гусю! — обращаясь к нам, закончил Сыроечковский.

Что же тут можно было возразить?

— Н-да,— сказал горняк,— а я думал, что только наше, горняцкое дело — непростое... Вон у нас один ушел с шахты, работает в рыбнадзоре, я все ему говорил: «Сбежал на легкую должность!» — а тоже, наверно, работа нервная...

— Ну, а что все-таки с овцебыками? — наконец вспомнил я.

Овцебыков Евгению самому доводилось видеть: в по-запрошлом году три пришли на гнездовые — два быка и самка. С месяцем держались неподалеку. Невысокие, но когда бегут по тундре — топот, грохот, будто вездеход идет... С тех пор как в 75-м году их завезли на остров, в течение двух полевых сезонов сотрудники ИБПС за ними наблюдали: как пасутся, чем кормятся, как отдыхают, как складываются взаимоотношения в стаде... Весной 76-го года были обнаружены четыре трупа овцебыков. У одного была трещина в черепе, видимо, от столкновения с каким-то массивным предметом, другой погиб по неизвестным причинам, и два, как установило вскрытие, от пневмонии. Наверное, не перенесли суровой зимы. Такие вещи при акклиматизации, в общем-то, неизбежны. Когда американцы завозили с Гренландии на Аляску, у них тоже гибли... Последний раз стадо овцебыков видели летом и осенью прошлого года; кто-то, говорят, даже усмотрел в бинокль двух новорожденных телят. В сентябре к поселку подходил одинокий бык... Ну, а в этом году занимался ими практически один Вовченко Володя, а что он мог сделать один? Остров большой, пешком исходить его трудно, на вездеходе по тундре летом ездить нельзя, а с вертолета не очень-то разглядишь. Зашли в какой-нибудь распадок... там такие есть распадки... Врагов на острове у них, как и у оленей, нет, белому медведю овцебык не нужен, ему нерпа нужна... Уйти с острова они тоже не могли, это исключено, пролив широкий, двигаются они очень медленно, корм нужен... Словом, неизвестно пока, искать надо...

За разговорами не заметили мы, что час уже очень поздний. Стали укладываться. В полуслне мне представились олени, но не те кроткие, грациозные и пугливые

животные, которых видел я раньше, а хищные, свирепые, с оскаленными мордами, с клыками, вроде волчьих, и также, как волки, неукротимо мчались они по тундре и уничтожали все живое...

Наутро на Мысе Шмидта погода была отличная: солнышко, тепло, без ветерка, небо ясное, море гладкое. Я проводил Евгения на анадырский рейс. Мой Врангель был в тумане, я поехал в райком. Секретарь райкома Герман Васильевич, как я уже упоминал, тоже заговорил про оленей: «Конечно, нам бы они нужны. Семь тысяч — для района стадо немалое. Чтоб его сокращать, нужны убедительные научные обоснования... А может, не сокращать, а наладить окарауливание?! Разработать специальные олены маршруты? Организовать охрану гнездовья, когда там гуси?.. Ведь олень на острове — удивительный! Разве в полтора-два крупнее, чем на материке. До двухсот килограммов бывает. Другого такого оленя на всей Чукотке нет!..» Действительно, ситуация с оленями становилась интригующей: и одна сторона говорила убедительно, и другая рассуждала вроде бы здраво. К тому же с овцебыками — загадка... Мне оставалось только караулить вертолет на Врангель...

5

«Всякий ученый-путешественник обязан умно и подробно отвечать на вопросы о той земле, которую он измерял растворением ног своих», — пишет Вельтман. Забегая вперед, скажу, что с островом Врангеля мне не очень повезло, в том смысле, что был я на нем недолго, не находил пешком, может быть, и пятидесяти километров, но предварительные сведения об острове, которые я должен сообщить, никаким измерением с помощью собственных ног все равно уже не добудешь, эти сведения принадлежат истории.

Некогда, всего лишь десять тысяч лет назад, остров еще был частью довольно обширной суши, соединявшей азиатский материк с Америкой, Чукотку с Аляской и называемой сейчас учеными Берингией. Затем земная кора опустилась, Берингия ушла под воду, образовался пролив между Азией и Америкой, далеко на севере остался остров... Некоторые ученые предсказывают, что примерно через двадцать тысяч лет произойдет обратный процесс: материки снова соединятся, Берингия поднимется из морской пучины. Ну, а пока остров Врангеля, столь долго остававшийся неизвестным человеку, являет нам черты ее древнего облика...

Что к северу от побережья Чукотки есть какая-то земля, человек подозревал давно. Особенно упорными эти слухи стали в XVIII веке. Так, на карте полярного бассейна, составленной М. В. Ломоносовым в 1763 году, очень близко к местоположению острова Врангеля, одним только краешком, условной линией берега помечен «остров Сомнительной». Примерно в это же время по распоряжению начальника над Охотским и Камчатским краем полковника Плениснера сержант геодезии Андреев и ученый чукча Николай Дауркин, каждый своим путем, искали эту землю. Сержант Андреев достиг Медвежьих островов, с которых «усмотрел в великой удаленности полагаемый им величайший остров, куда и отправился льдом на собаках. Но, не доехавшись того верст за двадцать, наехали на свежие следы превосходного числа на оленях в санях неизвестных народов и, будучи малолюдны, возвратились в Колыму». В донесении Дауркина также говорилось о «северной стороне», где живут «оленные люди, коих называют эти чукчи Храхой, и у тех людей копья и ножи медные, а медь у них красная. Говорят по-чукотски. Есть же особая земля, на коей живут весь женский пол, а плод имеют от морской волны, и рождаются все девки». На карте, составленной Плениснером, в Северном море, отступая от чукотского побережья, изображена весьма прихотливая береговая линия и так и написано: «...живут оленные люди Храхон». В наше время некоторые ученые-географы по разным веским причинам, — например, что с Медвежьих островов из-за дальности расстояния никак нельзя разглядеть остров Врангеля, — считают сведения, добытые Андреевым и Дауркиным «баснословными» и надолго сбившими с толку более поздних исследователей. Конечно, в этих донесениях, особенно Николая Дауркина, было немало фантастического, однако когда поисками «земли Андреева» занялся в 20-х годах прошлого века лейтенант русского флота Фердинанд Врангель, ему на мысе Шелагском чукчи также рассказывали предание, по которому онкилонский старшина Крехай, спасаясь от преследований чукчей, уплыл со своей родней через море на байдаре — в землю, ясно видимую с мыса Якан летом, в хорошую погоду. Люди Храхой — старшина Крехай... Несомненно, речь шла об острове, который искал Врангель... Интересно также, что существование земли на Севере теоретически предсказал капитан Гаврила Сарычев, участник экспедиции И. Билингса в 1785—1792 гг. Его описание этой экспедиции «по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Вос-

точному океану, в продолжении осьми лет» было издано в Санкт-Петербурге в 1802 году. Предположение капитана Сарычева было просто и остроумно. «Мнение о существовании матерой земли на Севере подтверждает бывший 22 июня юго-западный ветер, который дул с жестокостью двое суток. Силою его, конечно бы, должно унести лед далеко к северу, если б что тому не препятствовало; вместо того на другой день увидели мы все море, покрытое льдом», — писал он.

В течение 1821—1823 гг. Врангель предпринимал один за другим несколько походов и вдоль побережья, и далеко от берега, в морской лед. Читая эти старинные отчеты, убеждаешься, что лучше всего предоставить слово самому путешественнику. «Мрачные, черные утесы, веками нагроможденные, никогда не расстаивающие ледяные горы, необозримое, вечным льдом скованное море, все освещенное слабыми скользящими лучами едва поднимавшегося над горизонтом полярного солнца, совершенное отсутствие всего живущего и ничем не прерываемая могильная тишина представляли нам картину как будто мертвый природы, которой описать невозможно. Казалось, мы достигли пределов живого творения», — записал в своем дневнике Врангель. Однако это была не та земля, которую искали — таким предстал перед Врангелем и его спутниками всего лишь мыс Шелагский в марте 1821 года. Пройдя еще километров пятьдесят вдоль берега к востоку, отряд вынужден был вернуться в Нижнеколымск. В этом же году Врангель безуспешно искал землю к северу от Медвежьих островов...

Во время следующей попытки, предпринятой от мыса Большой Баранов Камень, путешественники наблюдали картину, из которой следует, что если даже «величайший остров», увиденный сержантом Андреевым, не существовал на самом деле, то Андреева тем не менее нельзя заподозрить в предумышленном обмане. «Чем далее ехали мы, — сообщает Врангель, — тем явственнее становились замеченные нами возвышения, и скоро приняли они вид недалекой гористой земли. Холмы резко окраились, мы могли различать долины и даже отдельные утесы. Все уверяло нас, что после долгих трудов и препятствий открыли мы искомую землю. Поздравляя друг друга с счастливым достижением цели, мы спешили далее, надеясь еще до наступления вечера вступить на желанный берег. Но наша радость была непродолжительна, и все прекрасные надежды наши исчезли. К вечеру, с переменой освещения,

наша новооткрытая земля подвинулась по направлению ветра на 40° , а через несколько времени еще обхватила она весь горизонт так, что мы, казалось, находились среди огромного озера, обставленного горами и скалами...» На этот раз экспедиция перешла 72-ю параллель, углубившись во льды на 262 версты. То есть, если бы Врангель вышел в море с мыса Якан или даже с мыса Рыркайпий, он бы, при благоприятствующей ледовой обстановке, попал на остров...

В последний раз Врангель и его спутники, среди которых был лицейский товарищ Пушкина мичман Ф. Матюшкин, попытали счастья в марте 1823 года, с мыса Шелагский. Торосы приходилось пробивать пешнями. Однажды ночью сильный штурм разбил лед, и путешественники очутились на льдине. Всю ночь их носило по волнам — «в темноте и ежеминутном ожидании смерти», — пока утром льдину не прибило к сплоченному льду... Наконец почти у 71-й параллели путь им преградила огромная, в несколько сот метров шириной, полынь. «Мы влезли, — пишет Врангель, — на самый высокий из окрестных торосов в надежде найти средство проникнуть далее, но, достигнув вершины его, увидели только необозримое открытое море. Величественно-ужасный и грустный для нас вид! На пенящихся волнах моря носились огромные льдины и, несомые ветром, набегали на рыхлую ледяную поверхность, по ту сторону канала лежавшую. С горестным удостоверением в невозможности преодолеть поставленные природой препятствия исчезла и последняя надежда открыть предполагаемую нами землю, в существовании которой мы уже не могли сомневаться. Должно было отказаться от цели, достигнутуть которой постоянно стремились мы в течение трех лет, презирая все лишения, трудности и опасности. Бороться с силою стихий и явной невозможностью было безрассудно и еще более — бесполезно. Я решился возвратиться».

Однако Врангель не совсем еще отказался от надежды хотя бы издалека увидеть свою землю. В апреле того же года, продолжая идти на восток вдоль побережья, он вышел на выступающий далеко в море мыс и отсюда долго наблюдал горизонт, где, по рассказам чукчей, можно было разглядеть иногда горы. Но не увидел... Потом прошел до Колючинской губы... Новой земли он так и не открыл. Однако описал и картировал участок побережья огромнейшей протяженности от Индигирки до Колючинской губы. Уточнил описание Медвежьих островов, составленное сер-

жантом Андреевым. Доказал, что в указанном Андреевым направлении земли нет, — что тоже открытие... И между тем с каждой новой попыткой он приближался, с запада на восток, к «искомой земле». На карте, составленной по материалам экспедиции Ф. Врангеля и приложенной к его сочинению «Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820—1824 гг.», положение острова обозначено уже довольно точно, под 71-й параллелью, с надписью рядом: «Горы видятся с мыса Якона в летнее время...» Вернувшись из экспедиции, Врангель возбудил ходатайство перед Морским министерством о выделении средств на открытие и исследование земли на Севере, но ему было отказано...

Капитан Келлет и его спутники на английском корабле «Геральд», занятые поисками пропавшей экспедиции Джона Франклина, были первыми европейскими мореплавателями, которые в 1849 году увидели остров. Вернее, им показалось, что они видят цепь островов. Ближайший, на котором они высадились, действительно, оказался маленьким островком и был назван в честь корабля — Геральд. Остальные виднелись милях в шестидесяти к западу. К ним англичане не подходили, иначе они убедились бы, что эти острова — всего лишь отдельные горные вершины одного большого острова...

В это время, то есть в середине прошлого века, в Чукотском море стало промышлять много американских китоботов, и в поисках добычи они, случалось, заходили далеко на север. Следующим после Келлета, кто убедился в существовании ранее неизвестной земли, был капитан американского китобойного судна «Найл» Т. Лонг. Это было в 1867 году 14-го августа. Выйдя к западной оконечности земли, Лонг поплыл вдоль нее на восток, держась на расстоянии примерно в пятнадцать миль. Он хорошо рассмотрел низкие зеленые берега, горные кряжи в глубине острова, дал название юго-восточному мысу — Гаваи, так как судно его базировалось на Гавайских островах. Подходить к острову Т. Лонг не стал. Вот как он сам пишет об этом: «Между берегом и шхуной плавал разбитый лед. Я мог бы без большого риска для корабля достигнуть берега, но так как в этом месте не было никакой надежды встретить китов, то я не счел себя вправе терять время для подхода к берегу...» Вот так! Один тратит годы, чтобы пешком пробиться через лед к предполагаемой земле, другой видит ее невооруженным глазом, но не хочет «терять время»... Справедливости ради следует отметить, что Лонг, которому, видно,

было известно о героических походах Врангеля, назвал остров в его честь...

Затем, уже с северной стороны, видел этот остров в 1879 году Де Лонг, капитан «Жаннеты», медленно дрейфовавшей во льдах к месту своей гибели у 77-й параллели... Два года спустя два американских судна «Томас Корвин» и «Роджерс» отправились искать экспедицию Де Лонга. В конце июля 1881 года «Томас Корвин» под командованием капитана Хупера подошел к острову Геральд. Обследовав Геральд и не найдя следов экспедиции, Хупер решил пробиться к острову Врангеля, логически рассуждая, что в случае аварии моряки с «Жаннеты» могли найти приют там. 12 августа шлюпка с «Томаса Корвина» пристала к восточному берегу острова, возле устья реки, названной высадившимися Кларк. Американцы водрузили в этом месте свой флаг и почему-то решили назвать остров Новой Колумбией. В этот же день корабль отошел от острова... Через тринадцать дней, 25 августа, в удобную бухту на южном берегу острова вошло второе судно — «Роджерс» — под командованием капитана Берри. В этой бухте, так и названной — Роджерс, корабльостоял почти до середины сентября. За это время параллельно с поисками пропавшей экспедиции было произведено более или менее детальное исследование острова.

Из записки Хупера, найденной лейтенантом Уэлингом, капитан Берри узнал, что острову присвоено наименование Новой Колумбии, но все-таки решил сохранить за островом прежнее название, данное Лонгом, — остров Врангеля. С тех пор это имя прочно утвердилось на всех картах...

Далее в истории исследования острова мы видим тридцатилетний перерыв. «Покров таинственности сброшен с него, — пишет Е. Шведе, — определен его характер, и им перестают интересоваться. Никому не нужны голые, холодные скалы, и все державы молча признают его принадлежность к России. На всех географических картах, во всех иностранных руководствах, энциклопедиях и справочниках он значится как русский остров, вошедший в состав Сибири...» И когда два ледокольных транспорта «Таймыр» и «Вайгач» были посланы в гидрографическую экспедицию для новой описи северных берегов азиатской России, остров Врангеля также вошел в программу исследований. В сентябре 1911 года «Вайгач» подошел к юго-западной оконечности острова. Здесь был поднят русский трехцветный флаг. Затем «Вайгач» обошел остров с се-

верной стороны, что не удавалось сделать ни одному судну...

Попытки оспорить принадлежность острова России начались, пожалуй, с неудачного плавания судна «Карлук». Экспедиция была организована в 1913 году известным канадским полярным исследователем В. Стефансоном для изучения моря Бофорта. Однако судно попало во льды, продерживалось в Чукотском море и затонуло в шестидесяти милях северо-восточнее острова Геральд. Часть экипажа во главе с капитаном Робертом Бартлеттом спаслась, достигнув острова Врангеля. Радио на «Карлуке» не было, никто в мире не знал о случившейся катастрофе. Поэтому капитан решил добраться до материка, чтобы вернуться затем в Америку и организовать спасательную экспедицию. Это предприятие Бартлетта — пример редкостного в Арктике везения. Вдвоем с эскимосом, бывшим на борту судна, он перешел по дрейфующим льдам пролив Лонга, встретил на мысе Якан чукчей, которые дали ему собак, добрался до Уэлена, а затем до бухты Провидения, откуда на попутной шхуне переехал в Америку... Осенью 1914 года Бартлетт на американском крейсере «Медведь» вернулся к острову за оставленными им людьми.

После этого на американском континенте стали распространяться слухи о больших природных богатствах острова, в частности, о небывалых возможностях промысла пушного и морского зверя. В американской, канадской и английской прессе развернулась дискуссия о территориальной принадлежности острова Врангеля, несмотря на то что еще в 1867 году при продаже Аляски в договоре была точно определена граница арктических владений России и США, проходившая через Берингов пролив, на равном расстоянии между Большим и Малым островами Диомида и далее по прямой линии к северу. Особенно ратовал за присоединение острова к Британской империи В. Стефансон, указывая не только на промысловое значение, но и на выгодное стратегическое расположение острова Врангеля. Не без учета трудностей, которые переживало молодое советское государство, в 1921 году В. Стефансон наспех снаряжал на остров экспедицию из пяти человек под начальством канадца А. Крауфорда с заданием обосноваться на острове и поднять на нем британский флаг. Флаг Крауфорд поднял, но судьба самих участников экспедиции была трагической — все они погибли, кроме эскимоски Ады Блекджек, бывшей в отряде поваром. От голода смерти ее спасла следующая, отправленная Стефансоном

в 1923 году экспедиция на судне «Дональдсон» под командованием капитана Нойса. По инструкции капитан оставил на острове новую партию зимовщиков: несколько эскимосских семей под началом канадца Уэллса — всего четырнадцать человек...

Пора было кончать с этими настойчивыми попытками отторгнуть остров, и в 1924 году советское правительство отправляет из Владивостока канонерскую лодку «Красный Октябрь» под командованием Б. В. Давыдова, чтобы водрузить на острове государственный флаг СССР и снять с него канадцев, занимавшихся незаконным промыслом. Интересно вспомнить, что Борис Владимирович Давыдов, русский ученый и моряк, командовал «Таймыром» во время упоминавшейся гидрографической экспедиции «Таймыра» и «Вайгача»... Сроки на сборы отводились сжатые, требовалось спешить, ибо стало известно, что американцы также направляют к острову свое судно «Герман». Поход на «Красном Октябре» впоследствии был описан Б. В. Давыдовым в очерке «В тисках льда». 20 июля 1924 года «Красный Октябрь» вышел в море, 10 августа прошел Берингов пролив, и уже 19 августа входил в бухту Роджерса. Здесь, на мысе, названном Пролетарским, на следующий день был поднят советский флаг. Продвигаясь затем вдоль острова на запад, моряки вскоре заметили палатки и постройки из плавника, развешанные для просушки шкуры белых медведей. Были обнаружены и люди... Даже из краткого и сдержанного повествования Б. В. Давыдова видно, что поход «Красного Октября», и особенно возвращение его, был невероятно сложным и мужество экипажа беспримерным. Несколько раз судно попадало в штормы и в тяжелые льды, ему грозила опасность зимовки, и последний раз льды поджидали корабль у Берингова пролива. Кроме того, на исходе было топливо, приходилось рубить и жечь все дерево, имевшееся на судне. Когда наконец 6 октября «Красный Октябрь» вошел в бухту Провидения, на нем совершенно не было пресной воды, а запасов топлива едва хватило бы на 25 минут хода... Что же касается американского судна, то оно к острову не пробилось.

С этого времени начинается новая история острова — история его заселения, планомерного хозяйственного освоения и научного исследования. Нет нужды пересказывать мне здесь трудности первых зимовок, об этом оставлено немало воспоминаний самих участников — первого начальника острова, знаменитого исследователя Арктики Г. Ушакова, затем сменившего его на пять долгих полярных ночей

А. Минеева, дважды зимовавшего на острове геолога Л. Громова... Обстоятельная книга А. Минеева «Остров Врангеля» — это энциклопедия жизни советских людей на острове с 1926 по 1945 годы, а его непосредственные наблюдения за природными условиями и животным миром острова до сих пор не потеряли ценности для исследователей... Я же в своем коротком очерке старался дать читателю общее представление об истории острова Врангеля и в то же время не лишать его удовольствия самому познакомиться с подробностями.

6

...Какой путешественник без путевого журнала?! И я, разумеется, вел его — в «Полевом дневнике», небольшой книжечке в твердом переплете, подаренной мне в дорогу знакомым магаданским геологом, с грифом «Академия наук СССР», с указанием на титульном листе фамилии, имени и отчества исследователя, с названием экспедиции и обозначением района работ, а также с просьбой «в случае нахождения утерянного дневника вернуть его по адресу...». Очень люблю я эти книжки — в них так удобно записывать, без всякого стола, примостившись где угодно: на гостиничной койке, на сиденье вертолета, на камне в тундре... От записей в тундре у меня меж листочками остались засохшие комары, не успевшие улететь, когда я закрывал дневник...

Цитировать свои записи, в общем-то, странно, потому что от них со временем отделяешься, отчуждаешься, и создается впечатление, будто воспроизведешь свой голос, записанный когда-то на пленку, но не узнаешь его: и голос вроде не похож, и слова не твои... Однако я попробую, опуская по возможности то, что не относится ни к острову, ни вообще к путешествию, и то, что сейчас, то есть дома, за рабочим столом, мне самому непонятно. Ведь я давно уже заметил, что в дальней дороге выходишь из обычного, будничного состояния и, переезжая беспрестанно с места на место, общаясь все с новыми и новыми людьми, постепенно возбуждаешься, впадаешь, я бы сказал, в тихую эйфорию и вот начинаешь делать записи, которые в тот момент кажутся открытиями, исполненными для тебя глубокого и важного значения, а по прошествии времени оборачиваются совершенным вздором... Как — не помню, в чём-то психологическом исследовании, кажется, начала

нашего века — рассказывалось о человеке, которому в состоянии кислородного опьянения померещилось, будто его озарила последняя и окончательная истина о жизни, и, сделав трезвое усилие, он схватил карандаш и записал ее... Когда же, прия в себя, этот человек кинулся к своей истине, то увидел, что в ней всего-навсего содержалось: «Повсюду пахнет керосином!» Впрочем, теперь, с нашими нынешними тревогами по поводу загрязнения окружающей среды, эта запись может показаться не лишенной пророческого смысла...

7

20 июля 78-го года. Наконец-то летим через пролив Лонга. Интересно: когда летишь над тундрой или даже над горами, совсем не думаешь о возможной катастрофе, а над чистой водой нет-нет да и вспомнишь. Хотя, казалось бы, какая в конечном итоге разница — расшибиться о земную твердь или ввергнуться в морскую пучину?.. И еще: когда мысль о неизбежной смерти посещает вас дома, например, ввечеру, в вашем кабинете, за чтением, вы принимаете ее с философским спокойствием, как нечто абстрактное, но когда предстает она в таком зирим, реальном и возможном близком варианте... нет, думаете вы, лучше пока не надо... Летчики, как я заметил, тоже не свободны от этого неприятного ощущения: перед вылетом нам было сделано предупреждение — в случае потери высоты срочно и безжалостно выбрасывать вещи. У меня их практически нет, но с нами летит экспедиция из МГУ — у них груза достаточно. Эти ребята — радиобиологи... Каких только специальностей теперь нет!..

Примерно на середине пролива начался битый лед, сверху похожий на пчелиные соты, только неправильной формы. Почему-то он коричневатого оттенка. В Уэлене зимой, если смотреть с сопки, лед напротив поселка тоже выглядел буроватым — от угольной копоти из множества труб. Может, этот лед отнесен от уэленского берега?.. И простили впереди залитые солнцем горы...

Где я? В какой стороне? И какой здесь народ обитает?
Остров ли это гористый, иль в море входящий высокий
Берег земли матерой, покровленной крутymi горами? —

могу вспомнить я строки из «Одиссеи». Но с высоты хорошо видно, что это — остров... Может быть, от чтения

приключенческих романов, но остров всегда производит более таинственное и романтическое впечатление, нежели «берег земли материей», тем более — такой остров!..

Но вот и единственный его поселочек — Ушаковский. Назван в честь первого начальника острова Г. А. Ушакова. По выходе из вертолета бросается в глаза столб из двух поставленных друг на друга железных бочек. На верхней бочке надпись: «Государственный заповедник «ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ». Охота, нахождение с оружием и собаками, движение вне дорог общего пользования — ЗАПРЕЩАЕТСЯ». Поселок аккуратный, чистый — белые домики в несколько рядов. По одну сторону — бухта Роджерса, свободная от льда, только посередине торчит стамуха. За дальней косой, отделяющей бухту от моря, сплошные льды. По другую сторону, в отдалении, — невысокие сопки... Встречает мэр — Петр Александрович Акуленков. Он здесь лет семнадцать. По дороге к гостинице сообщает, что в поселке около ста пятидесяти жителей. В единственном экземпляре имеется все, что положено поселку: сельсовет, школа, больница, клуб, почта, детский сад, магазин... Милиции нет... Домик, в котором меня поселяют, весьма уютен: на полу дорожки, на стенах коврики, на окнах занавесочки, цветы. Есть даже электросамовар. Наружная дверь — ярко-оранжевая, заметна издалека... Я, памятая магаданские наставления, иду на полярку давать РД в бухту Сомнительную, где обосновались леммингологи, — чтобы прислали вездеход.

Домики полярной станции стоят отдельно от поселка, под обрывом, на внутренней косе. Туда ведет крутая деревянная лестница с перилами. На обрыве, прямо из голой земли, вырастает множество пронзительно желтых полярных маков, и... бабочки летают — мать честная!..

Отыскав радиорубку, едва захожу и начинаю обычное: «Здравствуйте, извините, мне бы...» — как узнаю в радиостеке Васильевну, то есть Валерию Васильевну Клейменову, знакомую мне еще по Уэллену! Они с Петром Яковлевичем, оказывается, теперь здесь. А в Уэллене у меня их дети, Вера и Витя, учились... Сразу иной видится жизнь, когда в неизвестном месте встречаешь старых друзей!.. Вечером, как водится, посидели, повспоминали...

Клейменовы — полярники настоящие, убежденные. Петр Яковлевич мой земляк, москвич с Таганки. Девятнадцати лет ушел на фронт, был радистом, дошел до Праги. После войны сделался полярником, поехал на Новую Землю. «Помню, — говорит, — все настоящего ветра ждали.

Слышили ведь, что до 50—60 метров в секунду бывает. Когда начался, повыскакивали все на улицу, нас швыряло, падали, хохотали. Молодые были...» А Валерия Васильевна из Северо-Двинска, на Новую Землю попала после архангельского медучилища. Там они познакомились, поженились, там и Вера родилась. Васильевна к больным ездила на собаках... После Новой Земли зимовали на острове Врангеля, Клейменовой и здесь пришлось обязанности врача исполнять, местные до сих пор помнят, зовут — доктор... Потом — Певек, потом опять Врангель. Отсюда в Уэллен — это когда и я там работал. И опять: Певек, Амбарчик, Певек, а с 75-го снова на остров, уже в третий раз. Здесь серебряную свадьбу справили...

«Мне на днях 55 стукнуло, — говорит Яковлевич. — В будущем году — 30 лет, как в Арктике. Почетный полярник. Могу хоть сейчас на пенсию, да Васильевну подожду, ей через два года... Да и то боюсь: уедешь, а потом опять запросишься! Со сколькими так было...» Потом: «А я, что всю жизнь на Севере прожил, ничуть не жалею. Вот 55 лет, а веришь ли, бегать хочется! Север, что ли, так влияет?..»

Я смотрел на Клейменовых — четырнадцать лет прошло, как не виделись, а ничуть они, кажется, не изменились. И Яковлевич все такой же: полный, улыбающийся, добродушный... Интересно, что в Уэллене он всем нам, молодежи, казался старым, звали его — отец. А было ему, оказывается, едва за сорок...

Петр Яковлевич зовет прийти завтра, посмотреть полярку. Полярка замечательная, одна из старейших в Союзе, в позапрошлом году пятидесятилетие отметили. Считается с двадцать шестого года, с начала зимовки Ушакова. «Ну, условия, конечно, не сравнить! Еще когда мы с Васильевной в первый раз зимовали, электричества не было, керосин жгли. А сейчас дизельная какая!.. Есть мысль бассейн построить своими силами, с морской водой, море-то под боком... Любительскую радиостанцию имеем, Кренкель нам идею подал. «А почему бы, — говорит, — не сделать вам любительскую?» Радист Витя Кошелев уже больше чем с двумястами странами сработал...»

Я смотрю на часы: «Яковлевич, какое «завтра»? Уже четыре утра!» Он меня провожает. Из-за сопки — яркое солнце. По-ночному безлюдно. Доходим до деревянной лестницы на обрыве. «Сейчас покажу, где стоял домик Ушакова...» Поднимаемся наверх, здесь, влево по откосу, в ложбинке, еще сохранились три кирпичных столба от

фундамента. «Вот тут он и был! Вот тут! И точнее тебе никто не скажет!..» Дальше иду один, усиленно ориентируясь на экзотически оранжевую дверь. Еще нахожу в себе силы записать впечатления первого дня на острове и — спать!..

21 июля. С утра нам объявляют, что нас хочет видеть начальство заповедника. Контора рядом, в маленьком домике. У крыльца — опять бочка со знакомым предупреждением насчет охоты. Директор заповедника все еще в Магадане, ведет битву против оленей, — нас принимает его зам по науке Сазонов Александр Александрович. Сам он, оказывается, в заповеднике и на острове с конца апреля, — значит, всего-то два с половиной месяца. По образованию медик, вирусолог, кандидат наук. До этого работал в Москве, в институте вирусологии, ездил на Дальний Восток, в основном на Курилы и Камчатку, выявлял у морских животных и птиц вирусы гриппа. «Грипп после сердечно-сосудистых заболеваний — проблема номер два!» Выявил таковой даже у кита, что в науке, по его словам, произошло впервые. «И вот, произведя напоследок такой небольшой бум, уехал сюда», — с улыбкой смущения признался Александр Александрович. Теперь, в заповеднике, лично он хочет заняться изучением экологии всех островных видов животных, определить их взаимоотношения, — «но без оленя, — со значением подчеркивает Сазонов, — ибо олень чужероден!» Но пока что ни о каких исследованиях думать не приходится. Научных работников в заповеднике, кроме него и его жены, старшего научного сотрудника, до сих пор нет. Условий для научной работы тоже нет. И вообще — ничего здесь еще нет. Заповедник существует 2,5 года — чисто номинально! Техника практически отсутствует. Совхоз передал три вездехода, все сломаны. Из нескольких тракторов удалось собрать один. Еще машина, и та еле ходит. «Верите ли, — восклицает Сазонов, — за все время, что я здесь, ни разу не удалось выбраться из поселка, посмотреть остров! Приходится заниматься исключительно хозяйственными делами: ликвидировать в поселке помойки, снабжать его электроэнергией, водой — все это теперь на заповеднике... И рабочих некомплект: вот, поставить восемь столбов для электролинии — проблема!.. Столовую собираемся открыть — некому сложить печку! Я сам взялся изучать печное дело, сложил... Нам запланированы вездеходы, мотонарты типа «Буран», рации — тоже пока не завезли. Вот, может, в эту навигацию отгрузят... А помо-

гать никто не хочет. У полярников хорошая материальная база, они могли бы помочь, но они на нас в обиде, потому что мы запретили им охотиться, добывать песца... А здесь, по идее, никакой полярки теперь быть не должно. Необходимо стерилизовать остров! У полярников ощущение временностии жизни на Севере! Мы ходатайствуем в Москве...»

Тут я, вспомнив своих друзей Клейменовых да и других известных мне полярников, собираюсь возразить Александру Александровичу по поводу их «временности», но в этот момент приходят радиобиологи из МГУ. Пока они посвящают зама по науке в план своей работы в заповеднике, я разглядываю висящую на стене карту острова. Какие названия! Бухта Сомнительная, река Хищников, лагуна Предательская, мыс Блоссом, тundra Академии, горы Осминог, Гробница, Кит, мыс Уэлинг, лагуна Нанауна, названная в честь эскимоса, одного из первых поселенцев острова... История одних названий острова Врангеля, если ее написать, могла бы составить целую романтическую книгу...

Ребята из МГУ между прочим сообщают, что договорились с начальником местной товаро-заготовительной базы, он дает машину, которая сегодня же после обеда отвезет всех нас на Сомнительную. Мы уже знаем, что вездеход у магаданцев сломался, прийти за нами не может.

Я захожу в магазин, накупаю с собой на Сомнительную продуктов — банки с тушеною, с печеночным паштетом, зеленым горошком, охотничим салатом, чай в большом количестве, сахар, масло, крупу, галеты, несколько буханок хлеба — и иду укладываться.

22 июля. Вчера после обеда выехали из Ушаковского и за два с половиной часа, из которых полчаса чинились посреди дороги, добрались до Сомнительной. Здесь пятьдесят километров... Ездил по летней тундре на вездеходе, на тракторе, но в первый раз — на грузовике. Дорога твердая, укатанная, то и дело пересекается ручьями. Сопки справа от нас, море слева, между ними однообразная, чуть пологая к морю равнина тундры. Из живности за всю дорогу — кулички да стайка гаг, пролетевшая в отдалении. Зато раскидано множество бочек... Не знаю, как мои спутники, а я очень надеялся, что мне повезет и я сразу увижу овцебыка, поэтому сначала усердно вглядывался в каждое темное пятно, которое при ближайшем рассмотрении всякий раз оказывалось бочкой. Наконец устав от этого занятия, я констатировал с грустью, что теперь, если насто-

ящий овцевый все-таки покажется, на него можно спокойно не обратить внимания — принять за очередную бочку...

В бухте Сомнительной раньше был небольшой поселок — Звездный. От него, по обеим сторонам речки Сомнительной, осталось десятка два заброшенных домиков. В одном из них вот уж который год с мая и примерно по сентябрь живут эндокринологи из ИБПС. Дом стоит несколько обособленно, это здание бывшего аэропорта с характерной будочкой наверху. Штукатурка снаружи потемнела от непогоды, потрескалась, местами обвалилась, обнаружив дранку. Фасад украшают огромные, мощные рога врангелевского оленя. У крыльца, в куче плавника, заготовленного на дрова, валяется обломок бивня мамонта — тоже посеревший, растрескавшийся и похожий на обыкновенное кривое полено. Внутри дома стараниями магаданцев поддерживается порядок, сносный в условиях «поля», и даже уют. На стене висит стенгазета с комическими фотографиями и текстом, юмор которых, как это обычно бывает, полностью понятен только обитателям этого дома. Изображение «последнего лемминга острова Врангеля» — забинтованного, на костылях... Объявление, что за первого пойманного в сезоне лемминга назначается вознаграждение — банка конфитюра... На печке с шелушащейся побелкой кто-то по-пещерному грубыми и точными штрихами нарисовал углем целое лежбище моржей — явно не без знакомства с оригиналом... На маленьком столике у окна — микроскопы, весы, штативы с пробирками, журналы для наблюдений. В углу — библиотечка, транзистор... Я люблю подметать подобные мелочи, они о многом говорят. Так, если бы я попал в этот дом в отсутствие его хозяев, я бы уже заранее был к ним расположен... И еще вроде примечания на полях: можно, конечно, сколько угодно умиляться живописностью и оригинальностью вот таких временных пристанищ, во множестве разбросанных по Северу, — что я и делаю, — но!.. Ведь то и дело встречаешь в прессе извещения о том, что наконец-то сконструированы какие-то необыкновенные, легкие, теплые, прочные, сборные и разборные, со всеми удобствами, вплоть до душевой, домики для геологов, приисковиков, первостроителей и прочих «полевиков» — помещаются даже фотографии этих домиков, — а оказывается очередной раз в «поле» и видишь, что каждый до сих пор устраивается как может!..

...Вчера леммингологи в первые минуты выглядели явно растерянными, когда мы один за другим начали прыгать с грузовика, как какой-то десант, и эмгэушники

принялись метать на землю свой скарб: рюкзаки, баулы, спальные мешки, выочные ящики и т. д. Такого нашествия здесь еще не бывало. Сразу встала проблема, где нас поселить. Но постепенно распределились. Радиобиологи ушли за речку, в балок, принадлежащий провиденской гидробазе. Я облюбовал домик по соседству с магаданцами. Печь в нем, как в простоте говорится, не фурычит, напрочь завален дымоход, но есть койки и нашлись спальные мешки. А что еще надо? Кроме того, магаданцы любезно пригласили меня делить с ними трапезу, и я с чувством облегчения сдал им свои припасы... Отряд тут маленький — пять человек. Марина Алексеевна, начальник, ездит на Врангеля каждый сезон с 72-го года, еще Нэля Веденеевна, аспиранты Толя и Лена и вездеходчик Дима... Вчера же после ужина засиделись допоздна со знакомством, за чаем и разговорами. О, эти разговоры! Ну о чём, скажите мне, могут говорить совершенно незнакомые люди разных профессий, сошедшиеся черт-те где, за Полярным кругом, посреди Ледовитого океана? Мы, например, толковали о Микеланджело, о древних греках, о Достоевском...

Сегодня с утра туман, ветер с дождем и холода. И это — июль, разгар лета!.. После завтрака пришла делегация от радиобиологов. Им, оказывается, для их работы тоже нужны лемминги, но они их никогда допрежь не видели и посему просили магаданцев: 1) показать, как этот лемминг выглядит, и 2) посвятить в способы ловли... Магаданцы повели коллег в свой виварий. Виварий расположен у меня по соседству, за стенкой. Я в него уже заглядывал. Лемминги содержатся в просторных стеклянных ящиках, наподобие аквариумов, разумеется без воды, зато со встроенным колесом — совсем как в беличьих клетках. Интересно, что лемминг, посаженный в ящик, сразу вскакивает в колесо и начинает гнать в нем с таким привычным видом, будто у него в норе было точно такое же... А одна беременная лемминжиха, не в силах уже бегать в колесе, пристраивалась рядом и хоть лапой, но крутила... У них почти непрерывная потребность в еде и в связи с этим — в движении. В день лемминг в общей сложности пробегает около десяти километров. Об этом рассказала нам Лена...

Мне сказали, что в поселке есть постоянные жители: сторож, он же завхоз гидробазы Феликс Зелинский и чукча Ульвелькот с женой. Их дома на той стороне, за речкой. Я иду знакомиться.

Речка Сомнительная разделяется в этом месте на три мелких ручья, но по ее широкому, высохшему галечно-

песчаному руслу можно судить, как разливается она в половодье... Над речкой два дома — явно жилые. Определяю: возле одного много собак, и все на привязи; — значит, это дом Ульвелькота. Возле другого крутится всего один, непривязанный пес — здесь, следовательно, живет Зелинский. Для начала захожу к нему. Топится печка, тепло, хозяин пьет чай. Здороваюсь, представляюсь. Услыхав в моей фамилии некоторое созвучие со своей, Зелинский встает, подает руку и, широко улыбнувшись — в старину про такую улыбку, кажется, писали: осклабившись,— произносит:

— О, бардзо пшиемне! Феликс Адольфович... просто Феликс... Напие ще, пан, хербаты, то есть чаю? Проше пана...

Благодарю, скидываю мокрую штормовку, сажусь... Феликсу Адольдовичу я дал бы лет сорок пять, ну, может, немного больше. Он худощав, подборист, волосы у него русые, слегка вьющиеся, глаза зеленые, нос славянский, прямой, усы и шкиперская бородка рыжеватые, улыбка обворожительная. Из-под свежей черной рубашки виднеется уголок тельняшки. Чисто польская галантность органически соединяется в облике Феликса с корректностью моряка и дополняется еще простотой и открытостью бывшего северянина, — все это можно почувствовать, даже не зная его биографии. Но так оно и есть: Феликс — настоящий поляк, родился в местечке Бельско-Бяла, може пан ве, где то ест, Краковское воеводство... Ребенком переехал с родителями в Западную Украину. Хорошо помнит 1 сентября 1939 года — только пришли в школу, как директор пан Стачинский говорит: «Дети, вьшты до дому, разбегайтесь!» И — немецкие самолеты, девятъ самолетов, бомбы!.. Ну, а 17 сентября вошла Красная Армия... В 49-м году призвали в армию, служил на Тихоокеанском флоте, старшиной торпедного отделения, пять лет. Демобилизовался, поехал с другом на Чукотку. В октябре 54-го, — значит, скоро двадцать пять лет будет тому — на «Вячеславе Молотове» пришли в бухту Провидения... Кем только за эти годы не был — даже пекарем! Вот это печенье он сам делает, проще пана... Печенье правда изумительное... А в основном он — мастер-кожевенник, классный мастер. Иметь такую специальность на Севере, где все кругом друзья, шчезе мувём, — откровенно говоря, трудно... Но все это теперь, как выразился Феликс, — «глагол прошедшего времени». Теперь он на острове вот уже три года. Не скучно? Не-ет, что вы! На зиму из Провидения приезжают сотрудники

гидробазы, начинается работа: бурение со льда, лед в проливе до двух метров, промер морского дна... Сейчас он готовится к их приезду: уборка помещений, территории. Одних бочек надо перекатать сколько, очистить место для нового завоза. Эти бочки! В окружной газете прочел, что в Анадыре продаются бочкотара населению — по 10 рублей за штуку. Сюда бы кто приехал, он бы бесплатно отдал — только заберите! Если бы пароход какой специально по Северу прошел: столько пропадает металломому!.. Еще журнал наблюдений ведет. На связь два раза в день выходит с поляркой в Ушаковском, а через нее — с гидробазой... С весны магаданцы приезжают — мышей ловят. Разные другие ученые... О, дивно то есть, как это у них распределено: в одном сорок килограммов с ботинками, а в берлогу ныряет, медведя за ляжку — цоп! Укол ему, усыпляет, замеряет... А другой — два метра росту, рыжая бородища по грудь, и бабочек ловит! — хохочет Феликс... В прошлом году вздумали на вельботе на Блоссом пройти, там лежбище моржей, — а никто не мореходы. Льдом их затерло, вельбот в щепки, веслами на льдине к берегу гребли, еле спаслись. А у одного какая-то пена морская пропала, по берегу набрал, образцы. И надо же — ничего он так не жалел, как эту пену! Я ему: моли бога, жив остался, а ты — пена... Дивни люди!..

...Раньше, когда заповедника не было, охотились. Сейчас — строго! Всем «охотникам» — выкинштейн... Но я не понимаю, — продолжает Зелинский. — Сосед мой, Ульвелькот... Ладно, нашему запретить, белолицему брату, но ему?! Он не браконьер, они, чукчи, эскимосы, — никто не браконьеры! Вот у меня, к примеру, сто патронов, и у него сто патронов. Я буду стрелять, пока все не высажу, а он два потратит, и хватит. Он — для еды. Ему самому надо кормиться, собак кормить... Он моржа убил, у него ружье отняли и оштрафовали на 900 рублей. С пенсии высчитывают, а он даже не понимает, что это штраф, за что — штраф? Думает, пенсию понизили... А этот морж ведь на острове постоянно не живет. Он сегодня здесь, завтра в Беринговом проливе. Там охотиться можно. Выходит: что его здесь убьют, что там... Очень Ульвелькот переживает! Местным должны разрешить охотиться...

Феликс мне симпатичен, и оттого, что так горячо вступается за Ульвелькота, симпатичен еще более. Я спрашиваю, как по его мнению, — можно ли навестить сейчас его соседа? «Он дома, — отвечает Феликс, — только навряд ли можно... Наверное, нет. Я его утром без шапки видел.

Это первый признак: Ульвелькот без шапки — значит, бесполезняк к нему обращаться...» Я вспоминаю, что вчера с нами ехал друг Ульвелькота, эскимос из Ушаковского, вез ему продукты в портфеле. Вся провизия в портфель не вошла, пару бутылок с коньяком он положил прямо в кузов. Видимо, Феликс прав... Да, еще я спрашиваю его, не знает ли он Юру Иванова. Иванов — мой хороший друг, раньше был начальником станции при маяке, на мысе Дежнева, над самым Беринговым проливом. Какой-то журналист, побывав у него, свой очерк так и назвал: «Советский Союз начинается с Иванова». Потом маяк перевели на автоматический режим, а Иванов уехал в Прovidения... «Как же! Хорошо знаю! — восклицает Феликс.— Работает у нас начальником радиомастерской. Человек очень отличный!» Я прошу в очередной сеанс передать ему привет... Время к обеду, пора идти. Феликс вручает мне сверток с печеньем — то есть презент для милых пань! — и мы расстаемся совсем друзьями...

Туман, пока мы разговаривали, разогнал, но дождь и ветер усилились еще более. Однако я вижу, как цепочка радиобиологов, в длинных плащах с нахлобученными капюшонами, и у каждого ведро, движется вдоль речки в тундру — выживать бедных леммингов из их нор «способом затопления»...

Кстати, вчера же, когда ехали, один из радиобиологов — полный, в тонких очках, с интеллектуальной бородкой — все допытывался у меня, что такое «творческая командировка»? «Специально куда-то ехать, набирать так называемый «материал», потом писать... Не улавливаю... Не есть ли в этом нечто искусственное, противоречащее понятию творчества? Ведь элемент творчества, насколько я понимаю, должен быть имманентен, спонтанен...» — говорил он интеллигентно рокочущим баритоном и с некоторым превосходством представителя точной науки.

Я мог бы дать ему в союзники Пушкина, который написал: «*Искать вдохновения* всегда казалось мне смешной и нелепой причудою: вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта». Но Пушкин написал это в предисловии к «Путешествию в Арзрум», куда с этой мыслью все-таки и отправился. Тут можно было бы еще порассуждать о том, что внимание нынешних писателей к Сибири и Крайнему Северу есть прямое унаследование великих романтических традиций нашей литературы, обращавшейся некогда к Югу — Кавказу и Крыму, которые в наши дни уж более не вызывают возвышенных чувств, но

превратились почему-то в излюбленное место действия кинокомедий и юмористических рассказов с последней страничкой «Литературной газеты»... Но не об этом речь — речь о том, может ли поездка быть творческой... Я мог бы взять себе в союзники Гоголя, чьи «Мертвые души» есть прекрасное, вдохновенное, творческое путешествие, предпринятое автором откровенно для «сбора материала», где материал собирается в открытую, так сказать, на читательских глазах. И — «Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! — заучивали мы еще в школе, наизусть, бесцельково.— Сколько раз как погибающий и тонущий я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!..» «И я.. И во мне!..» — мог бы теперь следом воскликнуть я, да и не только, наверное, я... Кое-что мог бы я скромно прибавить и от себя к творческой характеристике дороги. Вот я сижу дома, за своим столом, размышляю над чем-то очень далеким от Севера, впечатления детства обступили меня... обступили, но и не более! Нейдет работа!.. Тогда я вдруг срываюсь, мчусь за тридевять земель, на Чукотку, живу там в палатке с оленеводами или охочусь с чукчами на кита, напрочь забываю обо всем, что меня мучило и не выговаривалось... Когда же возвращаюсь, постранствовав, — господи! Как ясно и просто становится все: и мысль, и выражение ее,— и повесть, брошенная на полуслове, на которую и смотреть-то было тошно, приобретает теперь будто обновленный смысл и дописывается как бы сама собой... Да уже по одному этому такую поездку можно считать творческой!.. Наконец, я ведь не езжу в незнакомые мне места. Я ведь не рвусь ни в Тюмень-Сургут, ни на Бам-Тынду — места, может быть, и самые великие сейчас по свершениям, и оттого особенно соблазнительные для литератора места,— но я там раньше никогда не бывал, не жил, не работал, никого и ничего не знаю, и вот там я бы действительно «собирал материал»! Я же давно и неизменно привержен своей Чукотке, которую люблю и которую знаю, по крайней мере, настолько, чтобы, приехав, разом оказываться внутри жизни, а не пребывать сторонним наблюдателем... Эх, все это и многое другое я мог бы объяснить нашему попутчику, но почему-то не стал. Отъехать от Москвы на шестнадцать тысяч километров, чтобы встретить московского интеллигента и где-то посреди врангелевской тундры вести с ним подобные разговоры?..

К вечеру утихают и ветер, и дождь. Солнце сейчас с северной стороны острова, за горами нам его не видно, но ясный и спокойный блеск ночного неба и тихая розовая полоска над морем обещают назавтра хорошую погоду. Уже поздно ночью, перед сном, гуляю за поселком, по берегу бухты. Пляж ровный, будто нарочно выглаженный. Посматриваю под ноги: мало ли что интересного попадется? Мелкие ракушки, пустые панцири крабиков, галька с круглым багровым наростом какой-то морской водоросли... Лед стоит от берега метров на двести, вернее, не стоит, а движется, потому что доносятся оттуда смутный немолчный шорох и временами всплеск. Нерпа нет-нет и выставится в разводье, да так близко иногда, что видны капли воды на коротких жестких усах, а в круглых темных, зеркально-влажных выпуклых глазах — сферическое отражение берега и неба... Далеко в море хриплые стоны перемежаются с прерывистыми, будто захлебывающимися, трубными кликами — это моржи идут на Блоссом. Говорят, в иное лето их там собирается до семидесяти тысяч... У меня бинокль, и, взобравшись на невысокий береговой обрыв, нашариваю наконец у горизонта, средь белого пространства льда, три темных пятна поодаль друг от друга — три небольших стада. Далеко — но в тишине эти звуки разносятся на всю округу... На острове вообще тихо, так тихо, что тише уж, кажется, быть не может, а белая ночь устанавливает еще свою, только ей присущую тишину. И тишина эта — вовсе не молчание, вот что всегда удивительно! Тишина ночи, соединенная с темнотою, и звуки в этой темноте, конечно, загадочны, но тишина и свет таинственны по-иному, еще более мучительны и непостижимы, ибо всё вроде бы на виду — вот чайка или какая другая птица... ее полет и крик... — но все равно не понять, не проникнуть... И вот — и только после этого сознаешь, что все время чего-то недоставало, — вдруг, разом, слаженно и протяжно, словно тоже ощущив невозможное, томительное действие этой тишины, взвыли собаки Ульвелькота, и светлая чукотская ночь приобрела эстетическое завершение свое...

23 июля. Дождя и ветра нет, но туман — такой неподвижный и плотный, что видишь только малое пространство вокруг себя. В таком тумане у меня всегда возникает ощущение, что стоит дойти до края видимого пространства, сделать шаг-другой сквозь туман, и откроется все до горизонта, но идешь, а замкнутый, ограниченный клочок

земли будто перемещается вместе с тобой. Если же глянуть вверх, там тоже бело и непрозрачно, но глаза щурятся от ослепительных рассеянных лучей невидимого солнца...

Сегодня воскресенье, но магаданцы, как обычно, отправляются в обход своих «охотничих угодий». Выходных в «поле» нет. Перед уходом Нэля Веденеевна раскидывает карты на лемминга, тут все определено: лемминг сибирский — валет пик, лемминг копытный — валет червовий, беременная самочка — дама червей в сочетании с червовой девяткой или десяткой. Было дело — по просьбе Володи Вовченко гадали даже на овцебыка, установив: Вовченко — король крестовый, овцебык — король пик. Но вместе они не выпали... Теперь Вовченко далеко, в казенном доме — в институте то есть, с тяжелыми думами на сердце — про овцебыка, конечно, но ждет его хорошее известие, потому что «король пик» бродит где-то тут, рядом, натурально, скучая по «королю треф»...

...Язываюсь сопровождать Нэлю Веденеевну — на случай, если лемминга будет столько, что одному не снести. Но это маловероятно. В этом сезоне их практически нет. «Леммингографический взрыв» был в позапрошлом, 76-м году... Кое-что мне приходилось раньше читать про этого зверька — особенно впечатляют рассказы натуралистов о резких увеличениях численности лемминга, случающихся периодически, раз в три—пять лет, и о столь же резких спадах. Причем в год «пика» в колониях лемминга наблюдается страшное волнение, суита, агрессивность, взаимная озлобленность и вражда... Здесь, кстати, для сравнения, так напрашиваются примеры из нашей с вами обыденной жизни, но это, разумеется, как и обратное сравнение, лженаучно, — я понимаю... Необъяснимая тревога и беспокойство зверьков наконец выливаются в их массовую миграцию, а проще — в повальное бегство куда глаза глядят. Стада леммингов бросают привычные места своего обитания, устремляются неведомо куда, по дороге переплывают речки, наводняют населенные пункты, очутившись на берегу моря, кидаются в его волны, тонут... Причины таких резких колебаний численности лемминга, равно как и биологический смысл его «великих исходов», учеными пока не выяснены. Предполагали все: от самых примитивных, «земных» воздействующих факторов, таких, как истощение кормовой базы, до космических — изменения солнечной активности, но ни одна из этих гипотез, ни в отдельности, ни в комплексе, научно еще не подтверждена.

Эндокринологи из ИБПС занимаются проверкой своей версии: что все эти катаклизмы в мире лемминга связаны у него с изменениями в деятельности желез внутренней секреции — гипофиза, гипоталамуса, надпочечников, щитовидки... Все это эндокринологи надеются определить, изучая под микроскопом «резы» интересующих их органов и пытаясь уловить в них возможные морфологические перемены... Разглядывал и я вчера какой-то «рез» — подсиненную капельку посреди стеклышка, — выгляделший очень красиво, словно битый морской лед с громадной высоты, в голубоватой туманной дымке... Дома, то есть в институте, магаданцы используют электронно-микроскопическую аппаратуру. В лабораторных условиях возможен еще и биохимический анализ... Но результата — ни положительного, ни отрицательного — пока нет, и маленький лемминг по-прежнему остается загадочным и, пожалуй, самым загадочным из животных Арктики. Достаточно сказать, что жизнь многих из них зависит от лемминга. В год обильного его размножения и у песцов появляется по десятку-полтора щенят. О леминговом «пике» непостижимо узнают и во множестве прилетают полярные совы, поморники, а с ними и черные казарки — маленькие изящные гуси, которых не интересуют лемминги сами по себе, но они гнездятся вокруг этих хищников, защищающих их от песцов... Не брезгует лемингом белый медведь. Даже травоядный олень туда же: учуяв под настом лемминга, он словно безумеет и принимается копытить снег, что некоторые ученые объясняют солевым голоданием... И только самого лемминга будто бы не волнуют грубые факторы материального бытия, он продолжает существовать, как бы погруженный в свою внутреннюю жизнь, и внешние ее проявления никак видимым образом не связаны с благотворными или неблаготворными воздействиями окружающей среды. В связи с этим специалисты вынуждены говорить о «тайне саморегуляции численности вида»...

...Возле каждой колонии, где установлены «живоловки» — продолговатые жестяные коробки с входными воротцами, которые захлопываются, когда лемминг туда попадает, — эндокринологи втыкают флагжи, чтобы легче отыскивать потом это место на плоскости тундры. Пока мы переходим от флагжа к флагжу — и переходим пока безрезультатно, — Нэля Веденеевна прибавляет к моим «общетеоретическим» сведениям о леммингах различные весьма любопытные подробности. Например, что в годы «пика»

мигрирует только норвежский лемминг, а врангелевский, можно считать, «домосед». Правда, наводняет тунду так, что, бывает, ступить некуда. В разные годы плотность его на острове колеблется от 0,5 лемминга до 600 на гектар... Еще: у лемминга, оказывается «громадная» печень — целых 2,5 грамма, что в соотношении с общим весом гораздо больше, чем у моржа и даже кита... И что в еде он прихотлив и столь же загадочен: то ест паррию, то в упор ее не замечает... Копытный, скажем, любит дриаду, а сибирский — пренебрегает... И каждый лемминг, если долго наблюдать за ним, обнаруживает свой характер: один флегматик, другой холерик. Но даже самый флегматичный лемминг в сравнении с любым другим животным необыкновенно реактивен, и в этом смысле является для исследователя «идеальной моделью». О, это я уже заметил! Каждый зоолог, работающий на острове, почему-то именует интересующий его вид «моделью». Когда-то Георгий Алексеевич Ушаков назвал остров Врангеля — «островом метелей». Ну, а теперь я бы сказал, что это «остров моделей». Не бог весть, конечно, какой каламбур, но что ж делать, если это действительно так? От орнитолога слышишь, что гусь — «модель», от териолога, что медведь — «модель»... Вот и лемминг — «идеальная модель»...

Бродим уже часа два — все бесполезно: «модель» сегодня отлавливаться не желает. Москвичам вчера тоже не повезло — вычерпали ведрами, наверное, целый суточный сток речки Сомнительной, но ни один лемминг из норы так и не вылез. А может, они заливали старую, нежилую колонию, их надо уметь различать... Нэля Веденеевна разведывает новые участки, чтобы переставить туда «живоловки». Вот так они и ходят каждый день, эндокринологи, по два раза — утром и вечером: пойманый лемминг не может долго без еды. А весной, по снегу, чтобы зверек не закоченел в металлической коробке, ловушку «усовершенствуют» — надставляют старой обувью: сапогом, валенком. Движется по тундре фигура, увшанная валенками... За день, говорит Нэля, так насмотрись на эти норы, что вечером, перед сном, только они в глазах и мелькают...

...За то время, что мы с Нэлей Веденеевной осматриваем лемминговые колонии, туман окончательно рассеивается, и мы обнаруживаем себя почти у самого подножия сопок — довольно далеко от домиков на берегу бухты. Возвращаемся как раз к обеду...

Когда мы выезжали из Ушаковского, зам по науке

Сазонов, напутствуя нас, очень настоятельно просил, чтобы мы без него, Сазонова, дальше Сомнительной — никуда. Он сам приедет через два дня на тракторе и свезет нас на гнездовье.

Обещанных два дня прошли, следовательно, завтра надо ожидать товарища Сазонова. А пока поглядываю на домик Ульвелькота, но дверь там по-прежнему плотно притворена, дымка из трубы нет, и сам он не показывается — ни в шапке, ни без шапки...

24 июля. Тихо и пасмурно, без дождя. Тучи, серые и плоские, лежат на вершинах сопок, скрывая их... С утра радиобиологи приходили с деловым предложением: они будут рвать корм для леммингов и таскать его в виварий, согласны исполнять и любую другую «черную» работу, а магаданцы пусть помогут им с отловом леммингов. Сами они поймали пока только одного. «А у вас техника, опыт...» Магаданцы обещали делиться добычей. Тем более что они работают в основном с копытным леммингом, москвичей же интересует сибирский...

Сегодня навестил Ульвелькота. «Ульвелькот», насколько достает мне знания чукотского, означает «вставший», но не в смысле «поднявшийся», а — «остановившийся». Ульвэл — это привал, отдых, неподвижность... Есть у него и русское имя: Иван Петрович... Когда-то я пытался изучать чукотский, пока не понял, что мне ни за что не осилить малейших оттенков произношения. Имеется, например, у чукчей слово «кан'олтын» — большая чайка, морской разбойник. Есть «канъольгын» — веточка шишки. И вдбавок еще «канайлгын», то есть бычок, рыба... Когда чукчи говорят, у них будто что-то мягко перекатывается, переливается в горле...

Ульвелькот посиживал возле своего дома. Его молчаливая жена, которую он отрекомендовал на русский манер — Клява, что-то варила тут же, на улице, в огромной запеченной кастрюле, подвешенной над костром. Ульвелькот — пенсионер, но он сухощав, строен, голову, остриженную, по обыкновению чукотских стариков, наголо, держит прямо. Родом он из Ванкарема — это на побережье, километрах в двухстах восточнее Шмидта. Я вспомнил, что ванкаремские чукчи на своих упряжках помогали вывозить челяускинцев со льдины, и спросил его, помнит ли он это. Но сам Ульвелькот был тогда подростком, как вывозили — помнит плохо, зато запомнил очень хорошо, что в тот год,

когда «Челюскин», как он выразился, «поломался», море долго выбрасывало много разных вещей: туки с одеждой, жестянные запаянные коробки с конфетами, фруктами, даже ламповое стекло — ящик. Они находили...

На острове Ульвелькот с 51-го года, то есть почти тридцать лет. «Тогда ничего не запретили, даже медведь не запретили, оружие давали новый — карабин, дробовик... Охотился, байдара была, моржа бил, лахтака, нерпу — в колхоз, собачкам, себе кушать, на приманку пescам... Потом сделали заказник, медведь запретили... Стал егерем, медвежат ловили, Москва отправляли: ма-аленький, меньше собака... Моржонка тоже ловили... А потом сделали вот этот... — не то сказал, не то спросил с недоумением Ульвелькот, — заповедник?..»

Разговаривая со мной, Иван Петрович время от времени подносит к глазам бинокль, привычно оглядывает морской лед. «Кричат, кричат... весь день кричат», — говорит он, имея в виду моржей. Помня, что рассказывал мне Феликс Зелинский, спрашиваю Ульвелькота, как ему живется сейчас. Не в обычве людей Севера жаловаться на жизнь — это все равно что жаловаться на самого себя, — но и хитрить, притворяться не в обычве, и потому ответ Ульвелькота сложен: «Ничего, хорошо живу... только немножко плохо...»

Кстати, «немножко плохо» — это даже не о себе, сам-то он пенсию получит, продуктов купит, но Ульвелькот думает о своих собаках. «У нас собачек шесть, а кормить только мукой... Варим, — кивает он на кастрюлю. — Мука, жир, немножко оленьей крови от прошлогоднего забоя... Другой район разрешают моржа бить, наш — нет...» А почему он с образованием заповедника не переселился, как многие, обратно в Ванкарем или на Шмидт? Он хотел... Он очень переживал, когда другие переселились, и тоже собирался, но потом раздумал. Они помоложе... У него в Ванкареме никого не осталось, отец, Анкалькот, тоже охотник был, давно умер... Дочь на Шмидте работает, письма пишет — очень народу много. Здесь лучше...

...Женщина все мешает в кастрюле длинной палкой. Собачки терпеливо полеживают в ожидании кормежки. А вынести бы им по добруму куску копальхена, перебродившей с осени в мясной яме моржатины, — как бы они повскакали! Как прыгали бы они, как опрокидывались бы натянувшейся цепью, как ловили бы на лету и проглатывали мгновенно, только раз-два тряхнув головой, как просительно посматривали бы затем, безостановочно виляя

хвостами,— не перепадет ли еще?.. Но выходит, что и копальхи теперь — дефицит...

Спрашиваю Ульвелькота, есть ли у него таа'койн'ын — трубка. Он идет в дом и выносит коротенькую трубочку. У меня с собой отличный табак, «Амфора», в красной упаковке, я делюсь с Иваном Петровичем, и мы закуриваем... От стариков чукчей, как я давно заметил — даже когда просто вот так, молча сидишь рядом с ними,— исходит и передается вам ощущение небывалого покоя... Я верю, что у всякого человека с годами на лице — иногда отчетливо и резко, иногда надо только присмотреться — помимо множества сменяющих друг друга обиходных выражений проступает и уже навсегда запечатлевается одно, главное, являющее теперь открыто и всем установленную суть этого человека. Так обнаруживаются и остаются преобладать в лицах изначальная доброта, неистребимая веселость, выработавшаяся сухость, победивший душу расчет... В лице Ульвелькота — гармония, лад с самим собой и окружающим его миром, в котором он прожил всю свою жизнь. Бряд ли точно будет сказать, что он жил и живет бок о бок с природой, на лоне природы и даже — наедине с ней; нет, он живет именно в лоне... или так: они вместе, он и природа, живут наедине с собой... Такое лицо еще принято называть мудрым, но эта мудрость не поучающая, не навязывающая себя, не изрекающая готовых рецептов, запоминай и пользуйся... — взять от нее можно только в меру собственной подготовленности, только с помощью самостоятельной душевной работы. Как от той же природы... Но я не обольщаюсь, что его мудрость универсальна, всеобъемлюща, я знаю, как этот человек растерялся бы, утратил свой гармонический покой в другой, непривычной ему обстановке — например, в моем городе. И я знаю также, что мне, чтобы жить в моей среде, требуется, пожалуй, побольше мужества, терпения, выносливости, стойкости, чем ему здесь, среди его природы, которая с ее пургами, морозами, снегами, штормами, с пустынными горами и тундрой все равно остается для него как бы стенами родного дома... Еще я размышляю о том, что Ульвелькот никогда не поймет идею заповедника, не прочувствует мысль об «охране» природы, и вот почему: ведь он ее и раньше, до того, как «запретили», не губил, не грабил — это было бы равнозначно тому, чтобы грабить себя,— и потому не настиг его комплекс вины перед нею...

К полудню со стороны пролива сквозь тучи прорвалось наконец солнце, облака сдвинулись с сопок, и склоны их

засверкали — каждый своим цветом. Ближние — чернозеленым: камень с травою. Чем дальше, тем больше прибавляется голубизны и синевы, самые отдаленные, я бы сказал,— какие-то угрожающие синие... В середине распадка, с правой его стороны, один склон — сплошная, от вершины до подножия, ровно ниспадающая осыпь, и вся она — веселого, жизнерадостного, золотистого цвета с пропадающими местами ярко-оранжевыми пятнами. Такое впечатление — оно сохраняется и в пасмурные дни,— что только на эту сопку и падает солнце... И вечер наступает — опять ясный, тихий, умиротворенный, и опять обещает хорошую погоду на завтра...

25 июля. Вчера Сазонов так и не приехал. Посему сегодня в 9 утра ходил к Феликсу, он в это время связывается с поляркой. В соседний балок, где у него рация, Феликс идет в пижаме и в тапочках на босу ногу. Хотя и лето, и тепло, и сухо, а все-таки забавно: по острову Брангеля — в таком одеянии... Полярники по моей просьбе звонят в контору заповедника, и зам по науке передает, что машина у него сломалась, трактор занят хозяйственными работами, но чтобы его тем не менее ждали — он обязательно приедет. «Не сегодня и не завтра, но — днями...» Оригинал он, видимо,— этот товарищ Сазонов! Тут каждый день, можно сказать, на счету, а он — «днями»! Хоть не обещал бы...

С утра ясное небо, яркое солнце и сильный юго-восточный ветер — с пролива. После завтрака я отправляюсь бродить, иду сначала вдоль речки, потом русло ее отклоняется вправо, в распадок, а я беру напрямик через тундру, к ближайшей сопке с черным каменным многозубчатым гребнем наверху. Тундра здесь удивительна, такой я никогда не видел!.. Прогалины совершенно обнаженной, рыжеватой, в сетке морозобойных трещин земли перемежаются полянками с густой ярко-зеленою травой и цветами. Обилие и многообразие цветов поражают прежде всего: желтые полярные маки, лютики, незабудки, разнообразные, от белых до лиловых, подушечки камнеломковых... Я жалею, что не знаю названий многих северных цветов, я могу лишь отмечать: похожие на колокольчики... похожие на сирень... на ирис, нарцисс... Но вот эти я уже умею отличать: сиренево-розовые, столбиками, производящие впечатление слегка растрепанных и вяловатых, роскошные для Арктики соцветия кастиллеи элегантной — реликта

древних эпох... И все это не «устилает живым ковром», не «захлестывает буйно» ваши ноги, но как можно теснее жмется к земле и как можно ближе друг к другу. Каждая ложбинка, ямка, впадинка хоть на сантиметр, да пониже общей равнины — оазис!.. Вот карликовая ива с темными гладкими листочками — толщина ее серого, много раз перекрученного, ползущего по земле ствола, толщина всего-то в палец, напоминает, однако, о том, что этой иве двести, а может, и триста лет... А вот другая — иной вид, с дымчато-сизыми листиками,— так вжалась в рыхлую почку, давшую ей приют, что снаружи осталась только листва, как будто растущая прямо из земли... Я ловлю себя на том, что, очутился я здесь лет пятнадцать назад, шел бы и шел безостановочно — как и ходил тогда, — глядя вперед и вверх, наметив себе целью вершину, а сейчас я иду медленно, смотрю все больше под ноги, останавливаюсь то и дело, стою подолгу возле этих полянок, вглядываюсь в маленькую и такую упорную, неистребимую жизнь. Наконец я не выдерживаю, прилагаю к фотоаппарату телевичок и во все ложусь на землю рядом с очередной полянкой — осторожно, сбоку, чтобы ничего не помять. И тут, распростершись на земле, я добавок ощущаю, как все эти цветы пахнут!.. Не настойчивый, не густой, не чрезмерно бьющий... но тонкий, на секунду пронзающий и как бы исчезающий сразу же после вдоха запах. И опять — с новым вдохом... А в центре этого пятнадцатка три стебелька мака, вырастающие из одного корня, — выгнулись под ветром и так застыли: настолько ровно, не ослабевая и без порывов дует он от пролива. Только лепестки трепещут... Рядом с маком — цветы нардосмии ледяной, арктической родственницы мать-и-мачехи, с резными, блестящими, темно-зелеными листьями у самой земли. Ее стебли, более толстые и жесткие, не гнутся, но и они вздрагивают... Вот этот ветер, это подрагивание и трепетание я и надеюсь запечатлеть...

...В юности мечтаешь, кем станешь, — размышляю я, идя далее, — а с возрастом начинаешь сожалеть, кем не стал. И, как правило, эти мечты и сожаления не совпадают. Мечтаешь, разумеется, сделаться летчиком, моряком, геологом... а жалеешь, что не стал, например, ботаником — знал бы сейчас все об этих цветах и травах. Или орнитологом — изучал бы себе птиц, вот этого пестренького, темного с коричневым, лапландского подорожника, что выскошил откуда-то при моем приближении и побежал суетливо, топорща крыльшки, почти стелясь по земле... И вдруг:

«Тундра, чем далее, тем становилась прекраснее», — приходит мне на ум!..

Ближе к подножию сопки — старый кораль, полярная сова обосновалась на одном из столбов его развалившейся загородки, подпустила меня метров на сто, не более, и снялась... Когда-то тут производился забой: олени рога раскиданы во множестве, и по отдельности, и целыми кучами. Груда оленевых рогов напоминает мне огромный костер — с тонкими, обесцвеченными на солнце, свивающимися языками пламени, только что вспыхнувшими, устремившимися вверх, да так и застывшими...

Примерно часа два затем, столь же неторопливо, поднимаюсь на сопку. Впереди меня — песец, по-летнему ободранный, тощий, в клочьях бурого и грязно-серого меха. Время от времени он оборачивается и, изогнувшись, надсадно, будто заматерелый курильщик, сипит в мою сторону: «х-х-ха... х-х-ха...» Потом исчезает за уступом террасы... Чем выше, тем, казалось бы, меньше должно быть растительности, цветов, но они не убывают. Здесь так же жарко, как и внизу, и стало, пожалуй, еще жарче, потому что ветер внезапно стих... Но вот все чаще начинают попадаться черные сланцевые осьпи и голые каменные выступы. Вот и снежник у вершины, видевшийся из поселка маленьким белым пятнышком, а тут — обширное снежное поле. Пересекаю его, оглядываюсь и вижу одинокую цепочку своих следов, от которых как-то сразу отчуждаешься в этом безмолвии и пустоте, и потому воспринимать их странно... На вершине некоторые глыбы усеяны щеточками кристаллов горного хрусталия. От зубчатого гребня, выглядевшего со склона пределом высоты, открывается другой пик этой же сопки, повыше, и теперь хочется подняться на него. Пробираюсь к нему по узкому хребту, как по тропинке. Вот уж здесь-то совершенно голо — это, как выражаются специалисты, зона горных арктических пустынь... Сланец на вершине горы выветрен и иссечен так, что разъединился на тонкие, частые, вертикально торчащие пластинки, — когда проводишь по ним рукой, они гнутся, как бумага. И по виду напоминают корешок сгоревшей книги... «А что... — начинаешь вдруг думать, настраиваясь на этой высоте соответственно на возвышенный лад, — что, если и в самом деле испепелилась здесь в незапамятные времена древняя Книга, заключавшая в себе все откровения и разгадки всех тайн нашего бытия, минувшего и будущего?! И мы теперь, все человечество, безуспешно пытаемся...» Но нет — не настраивается, как прежде... Да,

если бы прежде, я непременно отправился бы и на третью вершину, поднявшуюся еще выше этой, я постарался бы разглядеть оттуда северный берег и горизонт океана, а если бы не открылся он, пошел бы и далее, завороженный все новыми очертаниями новых вершин. Наконец я поднялся бы на самую высокую гору острова и стал бы там, с гордым удовлетворением озирая все вокруг, внизу и вдали. «Отселе я вижу... и т. д.». Но я увидел бы не только обозримое пространство, я представил бы у своих ног весь земной шар, расположил бы по разные стороны от себя все его материки и океаны. И я обязательно совместил бы эту высшую точку с высшей точкой своего собственного состояния, пометил бы ее на взлетевшей вдруг кривой, которую — я верю в это — неуклонно вычерчивает некий, постоянно бодрствующий в глубине нашей души самописец...

А сейчас меня уже не тянет идти дальше, и не потому, что я устал, — с отрадой отметил я, что могу ходить так же свободно, как прежде, — но меня почему-то не очаровывает большая прекрасная, величественная и холодная, замкнутая в себе жизнь вершин, не прельщает уединение в безмолвной и бесплодной высоте, и все свои возможные в этом одиночестве мысли я наперед знаю... Меня влечет та живая жизнь внизу, которую я только что наблюдал, и поэтому я возвращаюсь обратно, миную снова зубцы, спускаюсь ниже по склону, нахожу какой-то уютный, полукругом, каменный уступ и смиленно усаживаюсь в его тени.

Судя по тому, что солнце на западе, уже далеко за полдень... Сначала все тихо и пустынно кажется вокруг, но вот возникают звуки. Слева от меня, все еще довольно глубоко внизу, в распадке, мерно шелестит по камням речка. Справа, рядом, в траве, низвергается с горы, из-под снежника, ручей, глубина его гораздо больше, чем ширина, тут свои маленькие водопады, водовороты, прижимы, свои бездонные заводи... И звук его иной, чем у речки, — булькающий и гулкий... Налетел откуда-то с гудением большой яркий шмель, помотался перед моим лицом из стороны в сторону, словно на тугои, не отпускающей его резинке, и — оборвалась резинка, исчез... Потом прилетел куличок-тулес и начал печально рекомендоваться: «ту-у-лес... ту-у-лес...» Объявился снова песец, — наверное, где-то неподалеку у него был дом, — бежал, не видя меня, прямо ко мне и вдруг замер от неожиданности. Смотрел, смотрел, затем, желая, видимо, показать, что ничуть не испугался, присел и, выгнув облезлый хвост, помочился. Какое забавное сочетание труслисти и одновременно наглости в этой его позе!.. Вслед

за ним возникли, кружка, две маленькие чаечки, и они меня уже не покидали: одна продолжала летать, издавая редкие монотонные крики, другая опустилась и принялась расхаживать вокруг меня как бы дозором, появляясь то справа на кочке, то слева... Какое-то пронзающее и щемящее чувство умиления, жалости и любви к этой скучной жизни, которого никогда с такой особенной силой не ощущал я в себе прежде!.. «Может быть, и в глобальных масштабах все происходит так же, и идея охраны природы посещает человечество в определенном возрасте?» — думаю я...

Вернувшись мыслями к заповеднику, я вдруг не весь мир, но один этот остров с его сиюминутной жизнью воображаю себе очень хорошо. Прямо передо мной, в тундре копошатся и ждут своего «звездного часа» лемминги. На западе, на галечные пляжи мыса Блоссом вылезают все новые стада моржей. С противоположной, восточной, стороны острова, на карнизах скал мыса Уэлинг расселись разные морские птицы — там стоит немолчный гомон птичьего базара. У меня за спиной белые гуси вместе с выводками покинули гнезда и отправились пешком дальше на север, в Тундру Академии, за ними, словно выпасая их, движутся орнитологи, а вокруг шныряют обнаглевшие в своей безнаказанности песцы. Где-то там же, в глубоких распадках Центральных гор, невозмутимо пасутся потерявшиеся овцебыки. Из конца в конец острова, будто взбесившиеся, с тяжким топотом проносятся полчища свирепых врангелевских оленей, выискивая, чего бы им еще растоптать и уничтожить... И со всех сторон, с моря Чукотского и Восточно-Сибирского, кочуя с одного ледяного поля на другое, к острову медленно, но неотвратимо начинают стягиваться медведицы: ведь не так далеко и до сентября, первых метелей, самой поры для залегания в берлоги — не надо ни разгребать, ни копать, отыщи безошибочным чутьем место на склоне, где побольше наметает снегу, ложись, и берлога сама образуется вокруг тебя... А мне пора уезжать, и я ничего этого уже не увижу... «Да что я, не видел разве никогда этих гусей, моржей, медведей?! Какая разница: здесь ли... на побережье...» — утешаю я себя. И все-таки — жалко... Но к чему эта непременная спешка, эти материковские слова: пора, надо?.. Уверен ли ты, что доведется еще когда-нибудь побывать здесь, посидеть вот так, в тишине и покое? Так не торопись, по крайней мере, сейчас, заранее, — лучше посмотри, осознай и запомни...

Я достаю свою трубку, тщательно набиваю ее, раскуриваю, прижимая пальцем вспухающий табак, и долго еще

сижу — без всяких мыслей... Когда я ухожу, две чаечки летят надо мной с грустными взогласами почти до самого дома, как будто нет у них ни собственного гнезда, ни детей и единственная их обязанность — найти одинокого путника и проводить его в тундре... Возвращаюсь глубокой ночью, все спят.

26 июля. ...И все-таки уезжать пора... Опять с утра иду на связь, спрашиваю Клейменова, не пришел ли свой вездеход. «Вчера механик в нем ковырялся, не знаю, починил ли... Если на ходу — то будет», — отвечает Яковлевич... День проходит в ожидании и в ученых разговорах с магаданцами. Я все больше влезаю в лемминговую проблему: могу уже свободно оперировать такими терминами, как «функция надпочечников», «стрессировать», отличаю сибирского леммина от копытного и «проэструса» от «эструса»... Впрочем, если бы я всерьез занялся леммингами, я бы написал диссертацию о врожденном у них чувстве прекрасного: вчера я видел такие очаровательные норы!.. Возле одной по бокам вырастали два красноватых стебелька, кажется, кисличника — словно кипарисы... Вход в другую был весь увит и наполовину завешен листочками полярной ивы — совсем как веранда дома где-нибудь на берегу южного моря...

Вездеход не пришел, — значит, еще не починили. Может, завтра двинуть пешком — всего-то пятьдесят километров...

27 июля. Вышли с утра — я и Нэля Веденеевна, которой нужно в Магадан, Марина Алексеевна пошла нас провожать... У москвичей командировка тоже на исходе, но у них слишком много вещей, чтобы тащить их на себе. На прощание мы сфотографировались с магаданцами на завалинке их неказистого, но гостеприимного дома. Всего какая-то неделя прошла, а жаль расставаться с этими людьми, и нашими долгими разговорами по вечерам, и с тем нетопленым домиком, где я ночевал, со спальным мешком, в котором так отлично спалось, и с репродукцией портрета Анны Сергеевны Лермонтовой (кисти Григория Островского, 1776 г.), висевшей над моей койкой... Грустно покидать этот заброшенный поселок и его верных обитателей — Феликса и Ульелькота, а также бухту Сомнительную, речку Сомнительную и Сомнительные горы, обладающие, несмотря на

свои названия, — и я могу теперь это подтвердить! — такой же несомненной реальностью, как и мысли, посещавшие меня на их берегах, вершинах и склонах...

...А погода для прогулки наигнуснейшая: холод, туман, встречный ветер, и дождь — не дождь, но морось, несущаяся по ветру и мгновенно облепляющая лицо и одежду... Едва отходим километра четыре, как замечаем впереди, в тумане, наверху холма, какой-то темный предмет. Очередная бочка... «Только бочки с-под солярки попадаются одне...» Но он исчезает с вершины, виднеется теперь ниже линии холма и, следовательно, движется нам навстречу. Значит, или овцебык, или вездеход... Да, это вездеход с нарисованным белым медведем на борту, — конечно, Петр Яковлевич не подвел! Но мы уже разогрелись, вошли во вкус и ритм ходьбы. Договариваемся с полярниками так: мы двигаем дальше, они доезжают до Сомнительной, забирают москвичей и догоняют нас. Марина возвращается на вездеходе... Идем с Нэлей, придерживаясь наезженной колеи, чтобы вездеход не проскочил мимо нас в тумане, — идем час, другой, третий, не слишком торопясь, но и не прогулочным шагом, нормально, как только и надо ходить по тундре; Нэля рассказывает, как работала врачом в Проридения, как поехала однажды в командировку в Энмелен, это на мысе Беринга, и заблудилась там в пургу в самом поселке, между домами... Полярники тоже не спешат вслед за нами, остались, видимо, пообедать, и я их понимаю: обеды у магаданцев славные!.. Пора бы и нам перекусить, но где?! Тут, как нельзя кстати, видим сбоку от дороги какой-то странный лимузин, брошенный и навеки успокоившийся в тундре, — со снятым мотором, без руля, без стекол. Вот и кров! Усаживаемся в кабину, открываем банки, делаем бутерброды... Ох и видик, наверное, у нас, если взглянуть эдак со стороны...

Вездехода все нет — вперед!.. Путь нам преграждает река Хищников в несколько рукавов, последний довольно серьезный, приходится разуваться... Интересно, откуда такое название? Хищников на острове, правда, полно, но у меня с этим словом всегда почему-то ассоциируется исключительно семейство кошачьих: львы, тигры... На противоположном берегу подсученные штанины моих новых штормовых брюк не желают теперь спускаться — какой-то умник изобретатель решил снабдить их внизу не резинками, а, для верности, прочными, нерастягивающимися шнурками. Так и остался бы я, без сомнения, стоять посреди врангелевской тундры под дождем нелепой фигу-

рой — босиком и с засученными штанами,— но у Нэли в рюкзаке, к счастью, нашлись ножницы... И только трогаемся дальше, позади нас, за речкой, над обрывом нависает вездеход... Появясь он на несколько минут раньше — не пришлось бы нам разуваться... Но я доволен, что мы успели перейти речку, тут есть нюансы: дognал бы он нас на той стороне, можно было бы думать, что мы его дождались. И откровенно говоря, я немного жалею, что не удалось пройти пешком всей дороги: шутки шутками, а отшагали мы с Нэлей почти половину пути. Еще несколько километров, и ожидал бы нас домик на старом корале — там можно было бы и обогреться, и чаю напиться... К вечеру точно были бы в Ушаковском!.. Конечно, мне, как человеку, долгое время проводящему за письменным столом, необходимо иногда самоутверждаться — хотя бы таким простым, лошадиным способом. Но сейчас я благоразумно помалкиваю: во-первых, мои личные соображения выглядели бы в глазах людей сугубо северных чистым пижонством, а во-вторых — элементарной неблагодарностью...

Внутри вездехода тесно от обилия вещей и тепло. Ни тебе дождя, ни ветра.

— Ну и как, набрались чукотских впечатлений? — не без ехидства спрашивает знакомый радиобиолог.

— Нет еще. Далеко нет... Но зато позабыл кое-какие московские, — смириенно отвечаю я.

И в свою очередь осведомляюсь, как обстоят дела с леммингами. Оказывается десять штук — «с любезной помощью вот Нэли Веденеевны и ее коллег» — им все-таки удалось поймать.

— А сколько стоит командировка?

— На весь отряд — поболее четырех с половиной тысяч...

— Следовательно, — вслух подсчитываю я, — каждый лемминг с острова Врангеля вам обошелся в четыреста пятьдесят рублей. Это при условии, что все они уцелеют до Москвы. Не исключено, что и дороже станет...

После этого мой собеседник переходит на разговор исключительно о литературе. Как, например, отношусь я к творчеству Шукшина?..

Через час мы в поселке...

31 июля. Предыдущие три дня, как и сегодняшний, — в ожидании вертолета. Рано утром подымешь голову от подушки и первым делом — в окно: там, между домами,

плавает туман. Следовательно — отбой, и можно еще подремать. Но сегодня солнышко, все горы и море видны далеко; и, стало быть, есть надежда...

...Товарищ Сазонов, встретив меня по приезде из Сомнительной, удивился: «А почему вы пешком пошли?!» Кажется, я ответил не очень вежливо. «Вы, чувствуетесь, на нас немного обижены?» — нелепо вопросил он... Случайно узнал, что машина заповедника и не думала ломаться, бегала себе спокойно по поселку. Но я после Сомнительной и общения с природой настроен довольно мирно, и у меня нет никакого желания углубляться в разгадку тайных соображений и действий зама по науке. Директор еще не вернулся... Зато в эти дни вынужденного досуга я изучил объемистый том с тисненой надписью на обложке: «РСФСР. Главное управление охотниччьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР. Проект организации и развития государственного заповедника «Остров Врангеля», из которого узнал еще кое-какие подробности о заповеднике. Например, что в него, помимо острова Врангеля, входит также соседствующий с ним островок Геральд. На Геральде никто не живет, люди высаживались на него считанное число раз, и последний раз, кажется, в 30-х годах, поэтому его предполагается оставить в «абсолютной неприкосновенности, как эталон природы Арктики». Вот бы глянуть, вот бы побывать на «эталоне»!. Еще к заповеднику относится пятикилометровая охранная зона Восточно-Сибирского и Чукотского морей вокруг этих островов, которая «введена с целью сохранения биоценозов литорали и ряда видов животных из числа млекопитающих и птиц, связанных с этой зоной трофически или иным путем». Что ж, это совершенно справедливо... Если заповедник — остров, то, чтобы стать именно заповедным островом, а не просто участком суши, он должен быть окружен и заповедным морем... Вообще «Проект» — документ очень основательный: с перечислением и характеристиками видов животных и птиц, населяющих остров, с рекомендациями по сохранности и увеличению численности их популяций...

Срок становления заповедника — пять лет... Становление — это, я так понимаю, полная укомплектовка заповедника штатами, обеспечение жильем, техникой, научно-техническими средствами... и тот день, когда люди спокойно примутся за планомерные исследования, можно считать концом становления. В таком случае вряд ли этот срок реален! Из объявленных пяти — прошло два с половиной

года, а в заповеднике пока ничего нет, кроме конторы да нескольких сотрудников, которые, кстати, почему-то числятся здесь «лесниками». Видимо, специальное штатное расписание для арктических заповедников не создано...

Но вот еще очень интересные для меня строки. Среди общих принципов охраны природы заповедника выделены «специфические для острова Врангеля» и, между прочим, записано: «Местному населению (чукчам и эскимосам) разрешить добывку ластоногих (под контролем охраны заповедника) для удовлетворения традиционных хозяйственных нужд». Как говорится, черным по белому... Тогда — что за нелепая ситуация с Ульвелькотом?!. Я специально заложил это место и, возвращая сей официальный документ Сазонову, естественно, указал на него.

— Так как же все-таки с Ульвелькотом?

— Понимаете... — начал зам по науке, — ...если разрешить им охотиться, в поселке возникнет нездоровий ажиотаж. Шкуры нерпы... и прочее...

— Здесь же ясно написано: «...под контролем охраны заповедника! Значит, шкуры можно учитывать...

Сазонов промолчал.

— И с поляркой... — продолжал я. — Из протоколов ваших совещаний видно, что вы собираетесь отстреливать на острове песца, чтобы защитить гусей. Почему же, в таком случае, не разрешить охоту полярникам? Вы будете стрелять летом, когда песец ни на что не годится, и к тому же беспокоить гнездовье. А полярники будут ловить себе зимой, по снегу. Они и растительности тундры вреда не причинят, и государству польза!.. В «Положении о полярной станции» даже записано, что начальник должен организовать охоту, чтобы рациональнее использовать свободное время, чтобы люди выходили из домов на воздух, чтобы снималось психологическое воздействие полярной ночи...

— Ни о какой охоте в заповеднике речи быть не может, — жестко сказал Сазонов.

— Ну, хорошо, пусть даже и так. Но почему таким тоном? Сходите к ним, объясните вашу позицию, прочитайте лекцию или несколько — об охране природы, об экологической системе острова. Они будут только рады свежему человеку. Вы жалуетесь, помогать не хотят, — так подружитесь с ними! Никто никогда полярку отсюда не уберет, вам вместе жить и жить. И кстати, все полярные станции находятся в ведении Госкомитета СССР по гидрометеоро-

логии и контролю природной среды — так что вы еще и коллеги!..

— Да, конечно, лекцию можно организовать, — согласился Александр Александрович.

— И наконец, я все думаю: каковы ваши-то личные планы? Вот вы ученый, а занимаетесь помойками, прочими хозяйственными мелочами... Всех этих дел не переделаешь, они всегда будут... Не чувствуете ли вы, как уходит ваше собственное время?

Тут в голосе Сазонова снова появилась твердость.

— Да, я ученый, — сказал он, — и легче всего мне было бы заявить директору: я — зам по науке, и привет, моя хата с краю... Но я как человек... я как советский человек не могу не сознавать свою ответственность...

Эх, какой мог бы получиться сюжет: молодой ученый, кандидат наук, энтузиаст бросает институт в Москве, добровольно едет на Север, в глушь, сталкивается здесь с «невозможными условиями» для научной работы и вместо того, чтобы опустить руки, предаться унынию... и т. д. Но я уже видел, в каких условиях занимаются наукой магаданцы, представляю и как живут орнитологи в балке возле гнездовья — по полгода!.. А Ушаков, первый начальник острова, — тот вообще прибыл на пустое, неизведенное место, но уже на следующий день совершил полет над островом, а по первому снегу объехал его вокруг на собаках. И именно он, не имея «зама по науке» и сам не обладая специальными знаниями, именно он пятьдесят с лишним лет назад положил начало научному исследованию острова. А проблемы в первую зиму перед ним встали такие: например, как спасти от голодной смерти доверившихся ему эскимосов... Но напоминать все это моему собеседнику, мне кажется, бесполезно: он, видимо, твердо уверен в том, что до него здесь настоящей жизни и настоящего порядка не было и что с его приездом все только и началось... «Ничего, — говорю я себе, — этот человек на Севере всего два месяца и еще не разобрался ни в себе на новом месте, ни в обстановке. Не адаптировался... Отсюда и его настороженность, и недоверчивость, и обособленность... А со временем он или переменится, или... не приживется...» Случалось видеть таких людей...

...В ожидании вертолета брошу теперь по окрестностям поселка, которые сразу по приезде на остров не успел посмотреть. Примерно в километре, на плоском выступе мыса Пролетарский, — флаг, поднятый в 1924 году экспедицией Б. В. Давыдова. Говорят, что после его похода

Академия наук СССР собралась ходатайствовать, чтобы остров Врангеля переименовать в его честь, но Борис Владимирович не согласился, исходя из неписанного кодекса путешественников и ученых — не менять старых названий на картах...

Высокая деревянная мачта на тонких металлических растяжках — от врангелевских бурь,— со звездою наверху и железное полотнище флага с эмблемой серпа и молота... У подножия мачты маленькая бетонная пирамидка с надписью, что здесь в 1974 году в связи с пятидесятилетием подъема флага жителями поселка заложено письмо, которое надлежит вскрыть через следующие пятьдесят лет, в 2024-м... Неподалеку от флага — могила в оградке. «Непартийному большевику, погибшему от руки убийц в зимовку 1934—1935 гг. в борьбе за советские принципы освоения Арктики, д-ру Н. Л. Вульфсону от Главсевморпути и Политуправления». Были на острове и тяжелые времена...

Меня интересует, что написано в письме, и я захожу к мэру острова — Петру Александровичу Акуленкову, который, как я уже упоминал, живет здесь и состоит в этой должности семнадцать лет. То есть вся последняя треть истории острова Врангеля с момента его заселения прошла на его глазах... Кое-что Петр Александрович уже поведал мне о себе: на Севере с 51-го года, приехал молодой, двадцати лет, работал в Ванкареме, в тундре, заведующим красной ярангой. Чукчи не знали русского языка, а он чукотского, составил себе самодельный разговорник, учил и сам учился... А вообще-то скуп Петр Александрович на слова, отвечает, значительно помедлив, и это никак не свяжешь с врожденной его замкнутостью, молчаливостью, рассеянностью, погруженностью в себя и т. д. Напротив, взгляд его постоянно обращен вовне, на жизнь окружающую, ближайшую, и красноречиво свидетельствует о том, что все-то Петр Александрович видит, замечает, знает... И сейчас, когда я спрашиваю, о чем говорится в письме, он долго и загадочно улыбается и наконец говорит:

- А вы приезжайте в 2024 году и узнаете...
- Спасибо! Обязательно! — мгновенно принимаю я приглашение и прошу: — Ну, расскажите тогда, о чем там не говорится!

Опять Петр Александрович раздумывает, медлит, потом с тою же хитроватой улыбкой выдвигает ящик стола и молча вручает мне стопку газетных вырезок. Здесь кое-какие материалы по истории острова, печатавшиеся в районной

и окружной газетах в связи с его юбилеем. Почему-то, видимо случайно, попали сюда и вырезанные из центральной газеты призывы к трудящимся по поводу Международного праздника 8 Марта, а также предупреждение районной пожарной охраны об осторожном обращении населения с огнем... Все вырезки, замечаю я, изрядно пообтрепались, потерлись на сгибах,— видно, таким образом Петр Александрович «давал интервью» не одному заезжему корреспонденту... Но я все-таки не отступаю, уговариваю его встретиться после работы, *вечерком*, и в тот момент, когда Петр Александрович милостиво роняет: «Ну, хорошо...» — звонит с полярки Клейменов и говорит, что вертолет на подлете к острову, минут через двадцать будет... Вот так на Севере обычно и случается!.. Я иду в гостиницу за чемоданом. Вертолет уже виден...

8

...Должен признаться, что, улетев с острова, я о нем сразу забыл, зная по опыту, что бесполезно начинать сейчас же разбираться в своих впечатлениях и лучше всего делать это по прошествии некоторого времени. Кроме того, мне предстоял еще довольно долгий и сложный путь, и я поневоле погрузился в новые заботы... «Но чтобы не забыть итога наших странствий — от пальмовой лозы до ледяного мха...» Итак, возвращаясь теперь назад: едва я вышел из вертолета на Мысе Шмидта, как увидал знакомое лицо. Это был Володя Вовченко, он опять летел на остров — искать своих овцевых... Забегая вперед: спустя полтора месяца по пути домой я заехал в Магадан и пошел в институт — узнать, чем все это кончилось. «Короли пик» Вовченко и на этот раз не явились, но, как следовало из его отчета, теперь он обнаружил их следы и напал на места кормежки. А работники заповедника нашли «около 2 килограммов пухового подшерстка линьки этого года», и кому-то из них даже посчастливилось увидеть близ устья реки Тундровой самого овцевика — «самца довольно внушительных размеров». Из всего этого можно было предварительно заключить, что овцевики целы, только где-то бродят...

Забегая вперед еще далее: вернувшись в середине сентября в Москву, я почти сразу попал на совещание в Главохоте РСФСР, посвященное в основном одному вопросу — что же делать с врангелевскими оленями? Тут было много специалистов, знатоков острова, среди которых

я увидел и знакомого мне орнитолога Сыроечковского. Мнения выступавших были самые различные: и — всех уничтожить (это, конечно, Сыроечковский, болеющий за своих гусей), и, напротив, — всех сохранить, воспользоваться тем, что на острове заповедник, и развивать оленеводство на солидной научной основе (представитель Министерства сельского хозяйства РСФСР). Было и такое предложение: сократить поголовье до одной-полутура тысячи, оставшихся оленей «перевести в дикие», рассматривать как «объект природного биоценоза» и только в этом отношении, а не в хозяйственном — как предмет научного изучения... Большинство присутствующих склонились к тому, чтобы полностью все-таки не уничтожать, а сокращать. «Мы должны исходить не из «оленеемкости», а из «оленедопустимости» острова», как выразился кто-то... «В общем, — подводя итоги, сказал заместитель начальника Главохоты Анатолий Васильевич Нечаев, — видно, что вопрос этот острый и сложный. И надо признать, что у нас пока нет твердой позиции. Мы можем только гадать... Конечно, надо ориентироваться на то, чтобы сокращать... Но до каких пределов?! И сколько сейчас оленей на острове? Каков, в цифрах и фактах, ущерб, причиняемый ими заповеднику?.. Только когда все эти данные будут у нас в руках, мы сможем выступить с нашим предложением, и тогда, я думаю, хозяйственники области и местные органы власти согласятся с нами... Теперь определим сроки. Послать экспедицию для просчета стада мы можем ближайшей весной!»

После совещания я остался еще поговорить с Анатолием Васильевичем и узнал от него последние вести из заповедника. Директор, с которым я познакомился в Магадане, буквальным образом заболел от всех этих «оленевых» коллизий и просит его освободить от должности. Придется искать нового — уже третьего директора за столы небольшой срок... Кое-какая техника в навигацию пришла, но далеко не полностью... В заповеднике состоялось совещание, на котором мой знакомый Акуленков Петр Александрович показал, что он недаром здешний мэр и так долго живет на Чукотке. «Местное население острова, — заявил он, — очень тяжело пережило этот год без моржового и нерпичьего мяса. Необходимо разрешить охоту!..» Постановили: просить Охотскрыбвод выдать лицензию на отстрел 8 моржей и 10 нерп. А пока будут решать оленю проблему, забить 150—200 голов для нужд поселка. Так что я надеюсь, что Ульвельют и его собаки теперь с мясом...

И вот так: разом вернувшись к знакомым островным, а точнее, заповедным проблемам и к поспешному ритму московской жизни, я загорелся тут же и немедленно писать взволнованную статью, и непременно в какую-нибудь центральную газету, — о «положении дел» в заповеднике. «Как так? — недоумевал я, — ...охрана природы... такое святое дело, ради которого, казалось бы, все должны соединиться... а тут какие-то ведомственные интересы, да еще чьи-нибудь личные измышления, вроде как у товарища Сазонова насчет охоты!..» И я действительно сел за статью и... незаметно для себя стал вспоминать, заново представлять... и постепенно не заповедник, но остров овладел моим воображением.

Стремлюсь привычно мечтою
К студеным северным волнам.
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там.
Печальный остров — берег дикий
Усеян зимнею брусликой,
Увядшей тундрою покрыт...

Я вдруг представил, какие там сейчас, должно быть, снега, тишина, мерцание полярной ночи... Я вспомнил вновь эти вечные горы, пустынную тундру, обволакивающий все туман и речку Хицников, берущую начало словно прямо из тумана... И я уже знал, откуда это название, — я никогда заранее специально не читаю о том месте, куда еду, и нет у меня никаких рациональных этому объяснений: не читаю, и все... — но теперь, вернувшись, я уже знал из книги Б. В. Давыдова «В тисках льда», что лагерь канадских охотников-браконьеров, обнаруженный им между бухтами Роджерса и Сомнительной, он называл стоянкой хицников... Всех запомнил и увековечил остров: и благородных пернатых открывателей, и алчущих наживы промышленников, и первых отважных поселенцев... А я, читая о нем, разглядывая карты острова разных лет и припоминяя собственные впечатления, как бы вновь пустился в путешествие, и вместо статьи у меня получилась вот эта дорожная повесть...

Что же касается «проблем»... Ну, что — «проблемы»? — сказал я себе, дописывая ее. Насчет охоты для местных — уже решили... А оленей действительно раньше весны начать считать невозможно — пиши не пиши... Непоступившая техника?.. По мне, если уж говорить откровенно: чем меньше ее будет бегать по острову, тем лучше!.. Научная работа в заповеднике?.. Самое важное, что остров

стал заповедником, первым арктическим заповедником в нашей стране, уникальным в мире, и его зверье может считать себя в безопасности, а что заповедник еще не стал островом, то... остров потерпит... Если существовали эти моржи многие тысячи лет с неизученной биоакустикой — ныряли, плавали, ориентировались в морских пространствах, находили моллюсков на дне, разводя во льдах,— то какие-нибудь год-два точно еще протянут, без таблиц и расчетов...

Самому мне, к сожалению, удалось пройти только краешком острова — могу сказать, что заповедник в той мере, в какой он там существует, я видел, а остров — почти нет. Но я еще поеду туда, не намечая себе на этот раз никаких других пунктов, и — поеду не писателем. Попрошуясь, например, к орнитологам — считать яйца на гнездовые. Или к териологам — писать номера на боках медведей... Говорят, что это нужно успеть сделать за те минуты, пока обездвиженный медведь снова не пришел в себя. Ну, а я когда-то в юности работал маляром в вагонном депо и за два часа наловчился выкрашивать целиком большой, четырехосный вагон! А что такое медведь, пусть даже белый, в сравнении с железнодорожным вагоном? По белому и красить-то легче...

Июль, 1978

Гора и трасса

1

Это уже закон какой-то, что в дальней дороге, примерно к середине ее, первоначальное ваше идиллическое намерение неторопливо путешествовать, созерцать, «обстоятельно знакомиться» и т. д. сменяется ощущением, которое я обозначил бы словечком чукотских шоферов — «гнать». И это вовсе не означает, например, мчаться изо всех сил, спешить куда-то на полной скорости, что, кстати, на земных дорогах и невозможно. «Ну, погнали!» — помню, благодушно и со вкусом сказал мне один вездеходчик, и мы на долгие часы погрузились в монотонное и размеренное движение по тундре... «Гнать» — это попросту не стоять на месте, двигаться. И действительно: проделав первые пятнадцать — двадцать тысяч километров, потолкавшись в чукотских аэропортах, у касс и регистрационных стоек, послушав, как сквозь гул моторов одни рейсы отменяют, другие объявляют, понаблюдав, как народ прилетает, улетает, как пассажиры волнуются, нервничают, грустят и ликуют, сам невольно заражаясь этим всеобщим дорожным азартом, нетерпением, спешкой, сам, едва оказавшись в каком-нибудь месте, вместо того чтобы рассмотреть его как следует, кидаешься узнавать, скоро ли и на чем можно будет лететь, ехать, плыть да льше... Есть у Бодлера прекрасно переведенное Мариной Цветаевой стихотворение «Плаванье» — следующие строчки из него, по-моему, очень хорошо передают это состояние:

Но истые пловцы — те, что плывут без цели:
Плыvущие, чтоб плыть! Глотатели широт,
Что каждую зарю справляют новоселье
И даже в смертный час еще твердят: — Вперед!

Я люблю это стихотворение — и просто так, само по себе, и за то, что я, наверное, никогда не увижу помянутые в нем «лиловые моря в венце вечерней славы, морские города в тиаре из лучей», ни «кумиров с хоботами, с порфировых столпов взирающих на мир», ни «жен, выкрашенных

в хну — до ноготка ноги...» — не увижу... хотя бы потому, что меня не влекут эти экзотические края, я езжу на Север... Кроме того, я понимаю, что вышеописанное состояние «глотания широт» — ощущение весьма обманчивое, поверхностное, это, так сказать, праздничный наряд Большой дороги, острый привкус дальней поездки, во время которой я всегда помню, что цель у меня есть. Сейчас, например, — попасть в Иультин, посмотреть Гору...

В Анадыре — уже почти как дома. На другое утро я зашел к начальнику аэровокзала и объяснил, что мне надо в Залив Креста. Рейсы обещали после обеда.

В самолете мой сосед сказал, что ожидал этого рейса пять дней. Значит, везет!.. Через час мы приземлились в дальнем северном углу обширного Анадырского залива — в Заливе Креста. Некоторые сейчас полагают, что залив называется так потому, что в своем окончании, врезаясь в берега, делится на три бухты — крестообразно. Однако название заливу дал Витус Беринг в 1728 году — 1 августа, то есть в день церковного праздника Креста...

На небольшом здании аэропорта лозунг: «Варатынк'зам партия — ы'ннаны!» — что в переводе с чукотского означает «Народ и партия — едины!» В нескольких километрах, на берегу бухты — поселок Эгвекинот, административный центр Иультинского района, одного из самых крупных и экономически развитых районов Чукотки. Расстояние от Магадана — 1810 км. От Москвы — более двенадцати тысяч... По внешнему виду поселок очень напоминает другой, еще более отдаленный порт на этом же берегу — Провидения: та же зажатость между сопками и бухтой, та же вынужденная вытянутость — единственная и длинная главная улица и очень короткие боковые. Горы здесь, можно сказать, «теснят и нависают»: огромные, черные, с пропадающей местами слабой проazelенью мхов, с острыми, неслаженными вершинами. И на противоположной стороне бухты — такие же. Да и по-чукотски это место называлось Эрвыкынот — острая, жесткая земля... Ну а по сути, по истории происхождения, по назначению своему — быть исходной точкой продвижения в глубь материка, к открытому месторождению, — Эгвекинот схож с Магаданом, в меньших, конечно, масштабах. Город Магадан возник благодаря Колыме. А поселок Эгвекинот образовался из-за того, что летом 37-го года геолог В. Миляев в довольно мрачноватой долине, затерянной в глубине Чукотки, нашел у подножия горы большие кристаллы кассiterита и вольфрамита. Он обошел вокруг горы, под-

нимался на ее склон и повсюду, прямо на поверхности, натыкался на кристаллы. Так было открыто весьма перспективное Иультинское оловянно-вольфрамовое месторождение.

Значение его для страны, особенно в те годы, было очень велико — своего олова у нас тогда практически не было, приходилось покупать за границей, в частности, в Англии. И нет, видимо, нужды лишний раз напоминать читателю о роли олова и вольфрама во всех отраслях промышленности — от машиностроительной до пищевой. Вот почему уже в 39-м году у подножия Иультинской горы стояло три фанерных домика и велась добыча этих металлов... С началом войны потребность в них еще более возросла, тем более что морское сообщение с Англией было, как известно, блокировано фашистским флотом. В Иультине началось строительство рудника, а затем горно-рудного комбината. Но вывозить продукцию комбината было сложно — все по той же причине чукотского бездорожья. Так сама собой возникла необходимость в морском порте и трассе... С чего обычно в наши дни ведут свою историю многие далекие города и поселки? С первого кола, палатки, барака... В Эгвекиноте считают — с парохода. 16 июля 1946 года в Залив Креста вошел теплоход «Советская Латвия» с первопоселенцами этих мест на борту. Может, оттого и первые деревянные домики, наскоро слепленные на берегу, кто-то метко окрестил — «шхуны»... Именно в этот день в по-запрошлом году поселок праздновал свое тридцатилетие... Сейчас в райцентре примерно пять тысяч жителей. Из самых важных предприятий — соответственно морпорт и крупная автобаза, а в тридцати километрах от поселка — Эгвекинотская тепловая электростанция, о которой я подробннее скажу несколько позже...

По упомянутому принципу — «гнать» — мне не терпелось ехать в Иультин. В райкоме обещали отправить завтра с попутным рейсом по трассе, и весь оставшийся день я посвятил знакомству с поселком. Как человек, порядочно поездивший по дальним северным углам страны и сам поживший в таких углах, я давно лишен этого общего полуудивленного-полувосхищенного взгляда: «Надо же, и здесь живут люди!» — или: «И как они только здесь живут?!» — более того, знаю, что многие мои друзья-северяне с подобным встречным удивлением, и даже без оттенка восхищения, отзываются о материке. Поэтому меня всегда интересует, как и можно живут... Я походил по Эгвекиноту, отметил, что здесь имеется все, что положено иметь

уважающему себя современному райцентру: дом быта, две средних школы, одна из них с интернатом для детей оленеводов, детская музыкальная школа, спортшкола и стадион, Дворец культуры с хорошей библиотекой и читальней. Дворец культуры строился, видимо, давно, в характерном стиле 50-х годов — с массивными колоннами, с лепными украшениями на стенах. Заглянул я и в продовольственные магазины, найдя здесь в изобилии такой дефицит, как индийский, вьетнамский и даже китайский чай, и в двухэтажный универмаг. Мебель, одежда, разнообразная посуда, множество радиоприемников, телевизоры — телевидение в поселке есть, — пианино... А каких-нибудь десять с небольшим лет назад мы с женой жили на Чукотке в маленьком домике, где вся мебель была самодельная, из деревянных ящиков, немногая разнокалиберная посуда перешла к нам по наследству от наших предшественников, уехавших на материк, а «Спидолу» жена привезла, съездив в командировку в Магадан. Да и все наши друзья так жили...

Когда-то, побывав в Билибино, знаменитом теперь своей атомной электростанцией, я писал о том, что его многоэтажные блочные дома, придающие поселку такой современный, нарядный, такой «материковский» вид, плохо, однако, приспособлены для Севера: маленькие квартиры, тесные прихожие, низкие потолки, недостаточная вентиляция, мало тепла, света, что для северянина, вынужденного долгими зимами много времени проводить дома, немаловажно. Потом как-то прочел, что новые типы жилых домов для Крайнего Севера создаются, но встречать такие дома не доводилось. И вот сейчас, бродя по Эгвекиноту, на дальней его окраине, сразу от которой уходила вверх крутая сопка, на улице Рентыргина я увидел такой дом. Тип, называемый «Арктика», разработан в ЦНИИЭП жилища... Профессиональная любознательность не позволила мне удовлетвориться только созерцанием его внешнего вида, я зашел в подъезд, позвонил в первую же дверь, и у женщины, открывшей мне, просто попросил разрешения посмотреть квартиру. И так же просто, не выказывая никакого удивления, она сказала: «Посмотрите...» Просторный коридор и кухня, несколько больших стенных шкафов, удачная планировка комнат, высота потолка — 2,70, электропечь, водяное отопление... «Зимой не холодно?» — спросил я. «Нет», — ответила женщина, и, поблагодарив, я ушел. По соседству стоял такой же дом — значит, всего пока два, да еще два в этом же ряду строились...

А затем, возвращаясь опять к центру, в одной из улочек я наткнулся на настоящую оранжерею! Сквозь стеклянные ее стены проглядывала невиданная для Чукотки буйная растительность, алеи, голубели, золотились цветы, столь знакомые по материковским палисадникам. Конечно же я зашел. Внутри ярко горели мощные лампы, запах влажной земли соединялся с настоящим пряным запахом цветов, было отрадно тепло, светло и зелено. Хозяйка и создательница всего этого великолепия Тамара Викторовна Крот сама с Киевщины, по специальности — мастер-цветовод. Несколько лет назад, когда приехала сюда, на Север, думала, придется специальность менять. А тут обрадовалась: «А мы как раз оранжерею строим!» «Бальзамины, астры, левкои, гладиолусы, ромашка крупноцветная, бегонии, львиный зев... — называла она цветы. — У кого свадьба, день рождения или другое какое торжество — идут. Приятно все-таки: на Чукотке букет настоящих цветов...» Вот такие мелочи быта — на Севере большое дело. Исчезает ощущение временности жизни здесь, — напротив, возникает впечатление прочности, основательности и даже комфорта. То есть это не значит, что сейчас все, кто приезжают, приезжают надолго, а раньше были сезонники. И сейчас многие уезжают, и раньше были ветераны. Только раньше о быте как-то не думали, не принято было думать. Зайдешь к человеку: впечатление такое, будто он только вчера приехал или завтра уедет. А он уже лет десять так живет, и еще проживет лет пятнадцать...

Перед вечером еще наведался в райком — окончательно условиться насчет завтрашней поездки. Второй секретарь райкома, Виктор Васильевич Жиганов, оказывается, билибинский — начинал там горным инженером в 61-м году. Жиганов — дальневосточник коренной, родом из Комсомольска-на-Амуре, отец его из первых комсомольцев-строителей, там и живет. «Письма пишет, домой зовет, а я ему отвечаю: батя, у каждого свой Комсомольск должен быть...» Речь у нас с Виктором Васильевичем, естественно, зашла об Иультине, об интересующей меня Горе. Тут Жиганов, сам будучи горняком, знал все досконально.

— Месторождение, по сочетанию олова с вольфрамом, уникальное, — сказал он. — Легко обогатимая руда, то есть требует для получения продукции относительно малых затрат... И как вам, наверное, известно — для Чукотки довольно старое: Иультинский горно-рудный комбинат вступил в строй в пятьдесят девятом году, в октябре буду-

шего года отметит двадцать лет... А добыча металла началась и того раньше: в тридцать девятом году в Иультине был создан разведучасток, в сорок шестом разведучасток преобразован в рудник, приступили к строительству комбината. Сейчас Гора, можно считать, на доработке. Для комбината, с его мощностью, этого будет недостаточно. Вторая Гора, подобная этой, вряд ли будет, поэтому в большем объеме надо использовать россыпи. Рядом есть такое месторождение — «Светлый», запасов там на много лет и будут увеличиваться, геологи дают прирост. Возить оттуда в Иультин на фабрику — тридцать пять километров. Дороги нет, болото. А фабрику надо кормить регулярно. Мы, конечно, сыплем кое-что, но это не темпы. Плана нет... Вот с октября, по зимнику, начнем возить со «Светлого» и будем выполнять план. Уже несколько лет так: почти весь годовой план даем в последние месяцы!.. А была бы круглогодичная дорога...

— Но если это так важно для комбината, отчего же не построить эту самую дорогу? — удивился я.— Всего-то, говорите, тридцать пять километров...

— Строить начали. Отсыпано около трех километров. И это тоже не темпы. Реально такую дорогу в условиях Чукотки можно проложить года за два. Но, во-первых, техники нет... Во-вторых, дадут средства — нет рабочей силы. Чтобы привлечь рабочую силу, нужно жилье. А мы один тридцатидвухквартирный дом пять лет ставим, с трудом... Тут проблемы, тут какой-то «порочный круг» проблем!

— И все равно не понимаю, — сказал я.— То есть понимаю: одно с другим связано, одна проблема цепляется за другую. Но это и хорошо: если решить одну, вот хотя бы с жильем, то и другие последовательно решатся, и распадется «порочный круг»!

— Да, конечно, — ответил Виктор Васильевич.— У меня лично вот какая точка зрения... Комбинат подчинен Главсоюззолоту и Северовостокзолоту. Первая их забота — ясно какая... А нам соответственно внимания меньше, средств меньше. План-то мы в конце концов даем — чего ж еще? Но это, повторяю, мое, может быть, субъективное мнение. Я работал в золотом Билибино, могу сравнить... А если хотите посмотреть, как наши чукотские проблемы решаются в комплексе, обязательно побывайте в Озерном, на электростанции, — посоветовал Жиганов на прощание.

Большая кабина «Урала» — обычно здесь называют: «Уралец» — была обшита изнутри толстой кошмой, правая, «пассажирская», дверца заделана войлочной стеной наглухо, совсем, так что забираться в кабину можно было только с одной стороны. Я забрался, следом за мною влез шофер. «Ну что, погнали?!» — спросил я. «Поплыли», — согласился он, и мы действительно «поплыли» — со средней скоростью 10 км/час, неспешно и величаво. И не оттого, что дорога была плохая, просто нагружены были тяжело, под завязку: четырнадцать тонн крепежного леса лежали в кузове и на прицепе... К тому же трасса поднималась к перевалу. Сопки по сторонам стояли мрачные, голые, со снежниками или с каменными ручьями осыпей в складках — такие же, что и вокруг Эгвекинота. Навстречу нам склону дороги стремилась речка...

Я неожиданно вспомнил, как несколько лет назад в Билибино мне случалось ехать вот на таком же «Уральце» — к старателям за золотом. С заместителем начальника Билибинского карьера Зозулей у нас было назначено посмотреть в этот день карьер, и вдруг он позвонил с утра, что не может, — с ро ч н о надо к старателям. Я, естественно, захотел тоже. Мы устроились в кузове, в кабину села женщина из охраны. Ехали в основном по речке. По обоим берегам на невысоких обрывах просвечивал реденький чукотский лес: тонкие красноватые стволы даурских лиственниц, белые, словно вымазанные известью, побеги молодых чозений. Одолевали комары, на галечных отмелях, где шофер прибавлял скорость, вся стая отставала, потом наваливалась новая. Иногда, в какой-нибудь особенно глубокой яме, мы застревали, тогда мощный, как танк, «Уралец» разворачивался и перекрывал речку задом, вода по железному кузову ходила волнами, мы с Зозулей вставали на сиденья... И речка была своеобразная, ее будто кто-то разгородил посередине вдоль всего русла, и одна половина была чистая, прозрачная, ярко-синяя на солнце, а другая — мутная, коричневая от промывки, и неслись эти два потока бок о бок, не смешиваясь, граница между ними была четкая, резкая — не успевали смешаться при таком течении. Наконец часа через два мы, как в тесный переулок с широкой улицы, свернули в ручей — с той, с мутной стороны, ехали еще вверх по ручью, и этот был весь кофейный. Мне запомнилось его странное название — Уйна, потому что по-чукотски «уйна», вообще-то, означает

«нет»... У старателей пробыли всего ничего — приняли золото и назад, по тому же ручью, в ту же речку. Я спросил Зозулю, отчего такая спешка, — выяснилось, что в этот день подавали сводку о выполнении плана по комбинату, какого-то количества «металла» недоставало, связались по радио со старателями на Уйне, и у них это количество имелось. Теперь нам нужно было обязательно успеть сдать его в ЗПК — золотоприемную кассу — к моменту подачи сводки, чтобы попасть в план. Успели, конечно... И вот, пожалуй, именно тогда, во время сумасшедшей той поездки, я впервые понял, нагляднее, зримее всего ощутил, какая это суровая и жесткая вещь — «металл»... Ведь он фактически уже существовал, и весь необходимый, чтобы извлечь его из-под земли, труд был вложен... — да, существовал, а все равно как бы не считался! Нужна была еще наша шестичасовая гонка и последнее, завершающее, ничтожное в сравнении с работой старателей усилие в ЗПК, где этот «металл» высыпали в обыкновенный эмалированный таз и взвесили, — и вот теперь-то уж он окончательно стал, овеществился... «Еще пару таких рейсов, — сказал шофер, с хмурым видом обходя свой огромный «Уралец», — и становись на капремонт! А мне машину для зимника сберечь надо...»

...Сейчас, я уже сказал, только машина напомнила мне о той поездке: и дорога здесь была настоящая, добротная, отсыпанная на совесть, с высокими щебеночными откосами, и рейс обычновенный, регулярный, и в шоферере ощущалась неторопливость и основательность. «Иван Григорьевич Топор, — представился он и добродушно прибавил: — В общем — Топор...» Было ему лет за пятьдесят — коренастый, в коричневой кожаной куртке, в черном берете на гладко выбритой голове, с живым, общительным выражением круглого лица. Чувствовалось, что ездит он здесь давно, знает каждую кочку. Я не стал добиваться от Ивана Григорьевича рассказа про какой-нибудь «жуткий случай», спросил про заработок. Заработка у шофера на трассе выходит для Чукотки нормальный: семьсот — восемьсот рублей в месяц. Для этого в тот же месяц надо сделать рейсов десять — пятнадцать, то есть проехать 4 — 5 тысяч километров. Летом ездить неплохо, а зимой на рейс затрачиваешь пятнадцать — двадцать часов, но это все весьма условно, потому что бывает, едешь и сутки, и все трое... Постоянные метели, заносы... И это сейчас, летом, машины шуршут поодиночке, зимой же сбиваются в колонны: один не доедешь! То ты кого-нибудь тянешь, то тебя тянут...

Я вспомнил: мне рассказывали в Эгвекиноте, что самая первая в истории трассы колонна — она была тракторная, конечно, — пробивалась здесь в 1938 году. На дорогу от Эгвекинота до Иультиня ушло тогда два месяца, с середины марта по середину мая. А это еще и снега, и морозы, и пурги... Два месяца! То есть в среднем — шесть-семь километров в сутки! А случалось — и по одному километру... В нынешнем же ее виде трасса Эгвекинот — Иультин была сдана в 1951 году... До сих пор хранит эта дорога память о своих строителях. Это — возникающие время от времени по ее сторонам дома; каждый раз — два-три всего домика. Крыш, окон, дверей давно уже нет, только стены, сложенные из тесаного камня разной величины и формы и потому смотрящиеся какой-то монотонной мозаикой. А рядом в земле — обязательно одно-два продолговатых четырехугольных углубления, окаймленных по всему периметру дерновым валом. Здесь стояли палатки, здесь они, первые строители, жили, спали, тесно прижавшись друг к другу для тепла, по месяцам во время пург не могли выглянуть наружу... Все заросло сейчас травой, унылой северной осокой, и, может быть, когда-нибудь эти углубления и завалинки совсем сровняются с тундрой, но надежные стены из тесаного камня будут существовать еще долго — как египетские пирамиды. В Эгвекиноте пробовали разломать такой домик — не один отбойный молоток полетел... А еще — до сих пор любое место на трассе шоферы и вообще старожилы определяют меж собой порядковым числом километров, и, хотя есть вдоль трассы и поселки с собственными названиями, никто не говорит, например, — Озерный, но говорит — 13-й километр, не называют — Амгуэма, а называют — 91-й, и не переправа, а 174-й... Да и сам Эгвекинот именуют обычно «Первым»: «Куда?» — «На Первый...»

Сопки за первым перевалом постепенно разошлись, открылась широкая долина с большими и малыми озерами, сверкающими то вдали, то совсем близко, и новая речка покатилась по камням рядом с дорогой, теперь уже по пути с нами... Машины, попадавшиеся нам навстречу, если случалось это в узком месте дороги, замирали и дожидались нас, приткнувшись к обочине, по установленному раз и навсегда на трассе правилу: пропусти машину, идущую с Первого... Шофер встречной машины поднимал руку, и Топор ответствовал ему таким же поднятием руки... Ползли мы со своим лесом по-прежнему медленно, другие машины, груженные полегче или без прицепов, обгоняли

нас. Вначале меня удручила наша скорость — дело в том, что мне обещали, что отправят «первой же машиной», и вот отправили, а теперь получалось, что первая оказывалась последней, и у меня мелькнула даже мысль: пересесть к другому водителю,— мысль, которую я тотчас отверг, потому что какое-то чувство, сродни солидарности, уже не позволяло мне покинуть моего Ивана Григорьевича. Я смирился, то есть смирился по-настоящему, внутри себя, и предался созерцанию пустынной дороги. И никакая живность, как назло, не желала нарушать ее однообразия, лишь вездесущий евражка высакивал иногда на обочину и поднимался столбиком или бежал сбоку, забавно подкидывая толстый зад с торчащим вертикально хвостом, и кидался через дорогу перед самыми колесами — совсем как деревенская курица, только что без глупого, отчаянного ее кудахтанья... Ну, а Топор, как он мне рассказывал, за свои двенадцать лет езды по трассе навиделся всякого зверя — и огромных полярных волков, и белых медведей, и бурых... Кстати, вспомнив про медведей, Иван Григорьевич поведал быть не был, анекдот не анекдот, в общем — «случай», из того множества «случаев», действующим лицом которых всегда является «один знакомый шофер» и которые долго помнятся и рассказываются на трассе: «Как один старатель ехал в отпуск... Ну, попросился он вот так же в Иультине на попутку, едет на Первый. И вдруг — медведь... Бурый, небольшой такой, годовалый мишка... «Давай, — старатель шоферу предлагает, — поймаем медведя!» — «Лови», — шофер говорит... Остановились, снял старатель с себя пиджак, чтоб не голыми руками хватать, подобрался как-то и — накинул на медведя. А медведь вырвался и бежать — с пиджаком!.. А в пиджаке-то у старателя документы, удостоверение отпускное, аккредитивов пачка... — все, словом... Километров пять он за мишкой по тундре гонялся, пока тот пиджак не бросил... Вот так вот и поймал медведя!..» Я живо вообразил себе этого старателя, долгий сезон просидевшего безвылазно где-нибудь в глухом распадке и вот теперь выезжающего на материк, возбужденного в предвкушении нескольких месяцев отпуска, наверняка слегка принявшего по такому поводу, лихого, беспаханного... — что ж, очень могло быть...

В Транзитном, или, выражаясь языком трассы, на 123-м километре, остановились, победали, а точнее, поужинали, потому что время было позднее. Этот маленький поселочек из нескольких домиков, как и Погындео на знакомом мне зимнике Билибино — Зеленый Мыс, суще-

ствует специально для шоферов, работающих на трассе: тут можно поесть в любое время суток, обсушиться, обогреться, вымыться, отоспаться, что в дальней дороге и особенно зимой — вещь неоценимая... Вскоре за Транзитным совсем близко к трассе подошла Амгуэма — на Чукотке, буквально испещренной ручьями и речками, это одна из немногих настоящих, полноводных и широких рек; так и в переводе с чукотского она значится: «О'мваам» — «широкая река»... Быстрая, скачущая по камням, кипящая водоворотами горная речушка не удивляет, нрав ее прост, доступен; понятна и тихая, почти недвижная на плоской равнине; но вот такие большие, глубокие, выглядящие медлительными реки в окружении гор всегда казались мне загадочными, непостижимыми. Начиная с Ангары в моей жизни — с прежней, еще до строительства ГЭС, Ангары... И все время, что мы ехали вдоль Амгуэмы, я глядел на ее разлив, на многие плоские острова с низким кустарником, на словно застывшую, без волн и ряби, плавную гладь, посвечивающую теперЬ, с наступлением полярного вечера, холодным тускловатым блеском... Погода по трассе, с тех пор как мы выехали из Эгвекинота, менялась несколько раз: в Эгвекиноте было пасмурно и серо, облака закрывали вершины; за перевалом, в долине, безоблачно, припекало солнце; близ Амгуэмы поморосил дождичек, а к ночи стал наваливаться туман. Мост через реку мы переезжали с зажженными фарами, в белой мгле. Мост длинный, с полкилометра, и узкий — как раз пройти одной машине. Далеко внизу — река... Когда-то не было этого моста, хотя трасса уже была: машины переправляли на пароме. Однажды паром опрокинулся... С тех пор на иультинской стороне, слева от дороги, на вершине сопки стоит гранитный обелиск. Иван Григорьевич указал мне в ту сторону, но сейчас невозможно было его разглядеть, в таком тумане...

Наконец Иультинский перевал — тот самый, считавшийся ранее непропускным. Он и теперь — наиболее сложный и опасный участок на всей трассе. Дорога серпантином, крутые повороты, с одной стороны — стена, с другой — обрыв... Кавказ, хотя и в миниатюре, но не все ли вам в конечном счете равно, сколько раз успеет перевернуться ваша машина, прежде чем окончательно замрет: сто или десять? Сейчас лето, но ведь это Чукотка — что здесь творится зимой, в пургу или гололед, представить трудно... Туман остался внизу, на верху перевала по стеклам кабины застучала сухая снежная крупа. В начале августа в Заполярье ночами еще не темнеет, но слегка смеркается; когда

же смотришь с горы в долину, сумрак в ней кажется еще гуще, и в этом сумраке уже были видны огни Иультини. Нам оставалось только спуститься... В два часа ночи мы выехали в поселок и встали на окраине. Трасса кончилась — на 207-м километре. Зимой, по заснеженной тундре, она удлиняется еще на сто сорок километров, до Мыса Шмидта. Бывает, из-за ледовой обстановки корабли не успевают там разгрузиться, тогда грузы, предназначенные для Шмидтовского района, оставляют в Заливе Креста и начинают возить машинами, по трассе и зимнику. Дорога в триста пятьдесят километров соединяет здесь берега двух океанов — Тихого и Северного Ледовитого...

Первый же дом возле дороги, дом, с которого начинается Иультин, был опять шоферской гостиницей. Иван Григорьевич пошел на автобазу отмечаться у диспетчера, я простился с ним и, прежде чем зайти в гостиницу, еще постоял, разглядывая Гору. Я сразу отличил ее среди других, обступивших поселок гор, и не потому, что она выглядела выше и массивнее их, хотя это было и так, и даже не потому, что на склоне ее прилепились здания комбината и светлели полосы отвалов, — еще не видя ничего этого, я сразу обнаружил себя стоящим лицом именно к этой Горе. И весь поселок располагался в долине так, словно тоже был обращен лицом к Горе. «Наверное, это получилось естественно, само собой, — подумал я. — Как первые люди пришли, выбрали место и построили первый дом, глядя на Гору, так и целый поселок встал — глядя на Гору...» Сейчас оттуда посвечивали огоньки и доносился неясный, будто из-под земли — а может, он и был из-под земли, — шум...

3

Между поселком и Горой каждые полчаса курсирует все тот же «Урал-375» с большим утепленным фургоном вместо кузова. Здесь называют — «куба»... С утра я погрузился в «кубу» и отправился на комбинат. Смотреть в маленькие окошки бесполезно, опущаются лишь частые повороты да то, что ползет все время вверх. Через пятнадцать минут — конечная... Здание с вывеской «Иультинский горнорудный комбинат им. В. И. Ленина». Близко особенно заметно, что построено оно давно и с тех пор, видимо, не подновлялось. Мрачноватое, приземистое, штурмантурка местами побита... На Чукотке с ее климатом нельзя

белить — в противном случае надо белить то и дело. Лучше всего красить дома какими-нибудь нарядными, яркими, стойкими перед непогодой красками, об этом давно говорят, но пока я таких домов не видел... На трех этажах здания размещается все: администрация комбината и рудника, ИТР, столовая, раздевалки для горняков, отсюда же и выход, точнее, вход в Гору. Немного ниже рудника по склону — обогатительная фабрика, тоже под цвет Горы. Не сравнить, конечно, с Билибинской АЭС — та, в своих алюминиевых светлых панелях, выглядит посреди сопок как игрушка. Ну что ж, комбинат, можно сказать, — ветеран...

Его директор, Леонид Ксенофонтович Пивоваров, начал с того, что я, в общем-то, уже слышал от секретаря райкома Жиганова. Сейчас лето, бездорожье, поэтому плана, особенно по вольфраму, нет. Будущее теперь за «Светлым» и подобными ему месторождениями. Еще старатели очень выручают... Что касается Горы — здесь с каждым годом меняется структура минерально-сырьевой базы, в связи с чем перед комбинатом всякий раз возникают новые серьезные проблемы. Проще: раньше металл брали из малых объемов, сейчас они борются за большие объемы... Есть, например, в Горе так называемые «пологопадающие» рудные тела. Отрабатывать их очень сложно, а в них высокое содержание металлов. Вот проблема: усовершенствовать систему разработки пологопадающих жил. Чтобы можно было отрабатывать их скоростным методом... Когда-то геологи гарантировали: запасов — лет на семьдесят. Считали, что внизу, в глубине Горы, можно взять больше. А получается: если сама Гора книзу расширяется, то контуры жильного месторождения сужаются. Сейчас высказывают предположение, что после этого пережима снова будет расширяться. Как у песочных часов... Но это бурить надо, метров на 500, и что там, под гранитным куполом, еще неизвестно...

— Все это слишком специально для меня, Леонид Ксенофонтович, — сказал я. — Ну, а как здесь вообще... жизнь, быть?

— Отсюда — все... Проблемы жилья, транспорта, быта, культуры, — выражаясь математически, производные... В поселке свыше пяти тысяч жителей, побольше, чем в Эгвекиноте. Около двух тысяч работают у нас. Это значит, почти в каждой семье есть работник комбината, а то и двое. Комбинат и поселок — единый организм, причем комбинат в этом организме — и голова, и сердце, и руки, и плечи,

и становая жила... Да и смотря с чем сравнивать — жизнь, какую выбрать точку отсчета?! — перебил себя Пивоваров.— Если смотреть с самого начала...— Он достал из стола, полистал и подал мне раскрытую книгу.— Вот, прочитайте...

Книга была мне знакома. Это были «Очерки истории Чукотки с древнейших времен до наших дней», напечатанные не так давно, в 74-м году, в издательстве «Наука». Первый капитальный, сводный труд по истории Крайнего Северо-Востока, созданный коллективом ученых магаданского СВКНИИ,— от стоянок охотников на мамонтов до начала 9-й пятилетки, до 1972 года, когда Чукотский национальный округ был награжден орденом Дружбы народов... «В 1939 г. на Иультине создается Чукотский разведрайон. Условия труда и быта здесь были крайне тяжелыми. Появился поселок из трех фанерных домиков, мало приспособленных для жилья, и палаток. На коллектив в 73 чел. приходилось 150 м² жилья. Электростанция мощностью 4,5 квт и механическая мастерская размещались в палатах, обложеных снегом. В домиках и палатах всегда было холодно, на пятидневку выдавалось одно ведро угля. Выход рудного тела находился в километре от поселка, почти на вершине сопки. Для доставки к штоле оборудовали, горючего и питания приходилось с тяжелым грузом на плечах преодолевать 500-метровый подъем. Чтобы не совершать чрезвычайно утомительных ежедневных подъемов, особенно в пургу, горнорабочие жили в палатке, приткнутой к устью штолни на склоне горы...» — прочел я отчеркнутое на странице место.

— Да,— продолжил директор, когда я вернул ему книгу,— если сравнивать с тем временем, то теперь у нас — рай земной! Дома современные, водяное отопление, все удобства... Лечебно-оздоровительный профилакторий для горняков... Свое подсобное хозяйство, коровы, свежее молоко — прежде всего детям и горнякам, остальное продаем населению через магазины. Люди грядки завели — свежую зелень выращивают... Стадион, Дом культуры со зрительным залом на четыреста мест — больше, чем на Первом... А если учитывать сегодняшние требования — многое еще не сделано. Особенно в отношении жилья. Есть еще и бараки, и «шхуны», живут в них по-прежнему тесно, без удобств... Надо бы теплицы свои, чтобы у людей были свежие овощи,— на Чукотке это уже не в диковинку! Спортивный зал настоящий, каток крытый для ребятишек, потому что открытый то и дело заносит... Да мало ли!..

— Какую же систему отсчета вы предпочитаете, Леонид Ксенофонтович? — спросил я.

— Понимаю вас... Разумеется, ту, которая побуждает действовать, не стоять, так сказать, на месте, идти дальше... И мы делаем. Но все не так быстро, как хотелось бы... Средств пока нет, мало отпускают нам средств. Недавно нас критиковали на собрании партийно-хозяйственного актива района, но критиковали даже не за эти недостатки, о которых я вам тут говорил, а именно за нерешительность, за то, что недостаточно настойчиво требуем у высшестоящих организаций эти самые средства... Что ж, может быть, и справедливо нас критиковали, — вздохнул Леонид Ксенофонтович,— но ведь те, у кого мы требуем, тоже коммунисты, и тоже не робкого десятка... И мы, конечно, не требуем — просим... Ну, а что касается наших людей и «героики будней», то примеров героизма, самоотверженности, трудового энтузиазма у нас достаточно! — заключил директор.— Сами увидите...

Он позвонил по телефону, и скоро пришел человек лет пятидесяти, невысокого роста, худощавый, с несколько утомленным лицом.

— Александр Петрович Куклин, главный инженер рудника, ветеран труда, в Иультине с пятьдесят шестого года, комбинат еще строился,— представил Пивоваров. И попросил: — Александр Петрович, покажите товарищу Гору...

— А чего ее глядеть, Гору,— пробормотал как бы про себя Куклин, когда мы вышли.— Красивого там нет ничего... Место, где вкалывают!..

Потом я привык к этой его манере: помолчать-помолчать, да и выдать что-нибудь — трезво-ироническое, обескураживающее... Вобщем Александр Петрович — человек сдержанный, малоразговорчивый, и, чтобы сказать о нем хоть немного, я должен забежать вперед. Несколько дней спустя после нашей экскурсии в Гору я прогуливался по вечернему Иультину и возле Дома культуры увидел Куклина. Народ торопился мимо него в кино, все его знали, здоровались, а он посиживал себе, дышал воздухом. Уже на правах знакомого я подсел, завел разговор, сказал, что вид у поселка вполне городской.

— Лучше бы здесь настоящих деревенских изб понаставили, чем этих «современных» домов,— ответил Куклин.— Вон там, вдоль улицы, неказистые такие на вид дома, с маленькими окнами, строили в пятидесятых годах. У них стены — метровые, вот там — тепло!.. Потом пришла

кому-то в голову мощная рационализаторская идея: метровые ни к чему да и невыгодно, достаточно двадцати сантиметров. Теперь в новых электрообогреватели круглый год включены, а все равно холодно...

— А как вы пошли на Чукотку и вообще — стали горняком? — спросил я.

— Случайно, — сказал Александр Петрович. — Поступил во Владивостоке в Дальневосточный политехнический, закончил со специальностью горный инженер... А институты тогда, после войны, по призванию не выбирали, шли туда, где стипендия больше. Кроме гимнастерки, ведь ничего не было...

— Так вы воевали?

— На Дальнем Востоке только... Призвали из девятого класса. Служил на Амуре, на границе, старослужащие-то все были на западе... Потом полгода в снайперской школе подготовку проходил и на войне снайпером был...

— Расскажите, это интересно! — воскликнул я, имея в виду, разумеется, его военную специальность, потому что слышишь обычно от участника войны, что служил он артиллеристом, в пехоте или в танковых войсках, а вот снайпера встретишь не часто.

Но Куклин тут же меня подловил.

— Ничего интересного на войне вообще нет, — раздельно произнес он. — Да и рассказывать нечего: война то кончилась в три недели. Девятого августа мы пошли, а второго сентября они капитуляцию подписали... А эти стали свои бомбы кидать — ну для чего, спрашивается?!

И все-таки я высказался у Александра Петровича, что успел он заслужить в эту трехнедельную войну орден Славы — награду, которую просто так, скажем, «в ознаменование Победы», солдату не дают, а только за конкретный подвиг... В 50-м демобилизовался — не отпускали... Экстерном сдал экзамен за среднюю школу, снова пришлось — с 5-го по 10-й... Потом вот институт, потом сюда, в Иультин. Здесь уже более двадцати лет... Сейчас один, семью на материк отправил, пусть живут нормально. Чукотка, что там про нее ни говори, для нормальной жизни еще не приспособлена...

— А сами не собираетесь? — спросил я.

— Нет пока. Семью содержать надо, — просто ответил Куклин. — Своих кормить, другим помогать... Племянница Куклина пишет: дядя, хочу учиться, помоги... Сын сейчас заболел, осложнение тяжелое после гриппа, а уже на третьем курсе института...

Помолчали...

— Ну, а вы? — в свою очередь поинтересовался он. — Писать небось будете, восторгаться: ах, Чукотка, как все необычно!.. В аэропортах люди по месяцам живут!..

— Было дело, — признался я. — Описывал и аэропорты...

— Так это не романтика, а натуральный беспорядок! — язвительно заметил мой собеседник. — Едет горняк или другой какой северянин в отпуск, раз в два-три года, — ну, продай ты ему билет заранее, чтоб он не беспокоился! Нет, у него весь последний месяц на билет уходит, да посидит еще где-нибудь — в счет отпуска... Обратно едет, опять сидит, нервы мотает. Что за отдых?! Я сам как-то в Анадыре Новый год встречал. Человек четыреста собралось: мы, лаврентьевцы, беринговцы... Елки с собой везли — в порту и нарядили. Казалось бы — экзотика, прямо для рождественского рассказа, а разобраться — чистейший урон предприятию. Нас на работе ждут, а мы в аэропорту бездельничаем. Добро, погода нелетная, а бывает, что и погода отличная, а бортов нет. Вот где убытки-то!.. — заключил Александр Петрович свой выпад против чукотских авиаторов, потом сразу почти прибавил, что, однако, поздно уже, пора спать, простился и ушел...

Да, разговор этот состоялся после, когда я уже немного знал Куклина, слышал о нем, а знакомство наше началось с того, что он повел меня в Гору.

...У Александра Петровича был свой шкафчик в раздевалке ИТР, мне же выдали все новое: теплое нижнее белье, ватные брюки и куртку, шерстяной шлем, каску, рукавицы, кирзовые сапоги, портянки. В ламповой перепоясались ремнями с аккумулятором, от которого отходил толстый провод с фонарем, крепившимся на каске, получили по респиратору типа «Лепесток». При входе в штоллю, над глухими железными воротами, висел лозунг: «Рудник — твой дом родной! Будь его рачительным хозяином». Мы вошли в боковую железную дверь в воротах и двинулись по черному, довольно широкому тоннелю с горящими по сторонам лампочками, в свете которых поблескивали рельсы узкоколейки и тусклым желтым цветом отливалась над нашими головами медная линия троллея. Мне уже приходилось бывать в шахтах на билибинских приисках, но там они в большинстве были неглубокие, метров на двадцать — тридцать, так как золотоносные пески залегали близко к поверхности, и сами горняки называли свои шахты с оттенком пренебрежения — «погреба». А на такое вот со-

лидное горняцкое предприятие я попал впервые. Да и на шахту, в обычном понимании этого слова, оно не походило, ибо здесь «под землю» надо было подниматься... Куклин вел, поясняя на ходу в своей неторопливой манере, что Гору отрабатывают по горизонтам. Над нами, до вершины, около четырехсот метров. Вся Гора — метров шестьсот. Ниже нас — гранитный купол... Работы ведутся буро-взрывным методом: бурят шпуры, взрывают, грузят руду в вагонетки и электровозом — к приемным бункерам фабрики... А когда только начинали здесь работать, проходку вели вручную: один человек бур с коронкой наставляет, другой по нему кувалдой молотит... За эти годы Гора вся дырявая стала: одних разведочных выработок пройдено километров десять, рабочих путей проложено километров двадцать. Вечная мерзлота выруchaет, держит,— если бы не она, на каждом шагу пришлось бы крепить... Длинная, нескончаемая будто, штолня была безлюдна и тянулась долго, почти с километр, потом разветвлялась на штреки. Работали там. Мы шли пешком, ну, а в урочные часы, на смену и со смены, горняков, конечно, подвозят электровозом. А вот и сам он засверкал, загремел нам навстречу; мы стали в сторонку, пропуская вагонетки сrudой...

Ходили мы с Куклиным долго, до самого конца смены: побывали на верхних горизонтах, поднимались туда в клети, по стволу. Отбитая порода, продолжал рассказывать Александр Петрович, подается с верхних на нижний через рудоспуски, на каждом горизонте свой. Шахта рудоспуска внизу, на выходе, разделяется надвое, посему и именуется горняками — «штаны»... Спустились опять на 7-й, пошли в штреки. В одном месте двое бурильщиков углублялись в сторону от основной выработки, грохотали перфораторы. Я попросил подержать перфоратор, ощутил, как он трясет... «Из бригады Хонякина ребята,— сказал Куклин,— разведка, проходят квершлаг... По буру подается вода в шпур, орошает, чтоб пыли меньше глотать. До шестидесятого года бурили всухую, вот когда пылиши-то, вот когда силикоzu было... Перфоратор тоже, казалось бы, техника, облегчает, но от него бывает виброболезнь: разрушается кость, болят руки, немеют и мерзнут пальцы. Ничего против пока не придумали...» Наконец — видимо, с мыслью: «Хотел посмотреть Гору, так смотри!» — мой спутник потащил меня в блок. Метров тридцать мы поднимались по восстающему, по вертикальной выработке, лезли по узким крутым деревянным лестничкам до очистного пространства, потом еще метров пятнадцать по осыпающейся под

ногами отбитой породе — до самого конца, до той последней стены, которая называется «грудь забоя блока». Здесь уже приходилось сгибаться, ползти почти на четвереньках, высота до кровли была метр с небольшим. Усевшись на верху, Куклин посветил фонариком в стену, выхватывая из темноты нечто коричневато-белое, с темными вкраплениями. Это и была та самая «пологопадающая» жила, о которой упоминал директор Пивоваров. «Крутопадающие блока отрабатываются несложно,— сказал Александр Петрович,— а вот эти... Здесь и так, если изволили заметить, лазить не просто, а вообразите — с перфоратором... В нем, вместе с буром, сорок пять килограммов весу, а вместе с грязью — все пятьдесят... — Он поиском вокруг себя в куче породы, поднял и протянул мне неожиданно тяжелый для своей величины, черный, с матовым графитным блеском обломок.— А вот то, ради чего упираемся: вольфрамит. В руде, которую добываем, содержание самого металла обычно меньше одного процента. Сколько этой руды надо извести!.. А вольфрам в промышленности — основа основ, составная всех твердых сплавов. Золото продадут, алмазы, а вольфрам не продаст никто!.. Ну, пора, к электровозу как раз успеем», — по обыкновению, внезапно прервал себя Александр Петрович и полез из блока, потом опять вниз по лестницам. В последний момент мы подошли к «ожидалке», где горняки собирались к электровозу, втиснулись в один из низких вагончиков, и весь поезд, дребезжа и шатаясь, понесся прочь из Горы. «А вот и сам бригадир проходчиков Хонякин!» — прокричал Александр Петрович, указывая на сидевшего бок о бок со мною горняка. Мы с Хонякиным, знакомясь, пожали друг другу руки. Железные ворота автоматически раздвинулись, поезд вынес нас на поверхность и остановился против ламповой. Здесь, при свете дня, я обнаружил, что моя новенькая спецовка выглядит так, как будто я провел в Горе не несколько часов, а по меньшей мере с год. Посему и под горячий душ я встал вместе со всеми с законным удовольствием... Респиратором я не пользовался и оставил его себе на память. Я люблю собирать вот такие неожиданные вещи, они говорят мне больше, чем обычные, «узаконенные» сувениры: открытки, значки и проч. С Билибинской атомки у меня хранится маленький алюминиевый бочонок конденсатора. Из Мечигменской тундры — обломок оленьего рога, какие во множестве раскиданы в местах бывших пастушьих стоянок... С острова Брангеля — найденный на берегу череп моржонка... С уэленского берега — обыкновенная, серая,

в темно-зеленую круговую полоску галька... Кусочек гранита от подножия маяка-памятника Семену Дежневу в Накане — крайней северо-восточной точке материка. Есть и галька, поднятая там же — северо-восточнее уже быть не может,— на самой границе узкого пляжа под обрывом мыса Дежнева и воды, когда Берингов пролив тих, наката нет, и эта линия почти недвижна...

4

...На другой день я опять пошел в Гору, договорился с Хонякиным, он меня и пригласил: «Посмотришь, как бригада работает...» Вчера мы с ним после смены встретились, я подождал его у выхода из комбината, на остановке «кубы». Хонякин задержался немного, получал какие-то новые, экспериментальные буровые коронки, присланные из Свердловского НИИ,— пятнадцать штук на комбинат, и ему выдали две на бригаду для испытания. С ними в руках он и вышел, горняки тут же собрались возле него, рассматривая причудливую конфигурацию резцов, высказывая свои предположения,— кто-то сказал, что такими коронками вообще не забуришься, другой возразил, что, наоборот, забуриваться должны хорошо... «Ладно, увидим»,— сказал Хонякин и сунул коронки в карман. Теперь, на улице, можно было как следует разглядеть его: среднего роста, но крепкого, я бы даже сказал, мощного телосложения, с сильными плечами и широкой, выпуклой грудью, с крупной головой и энергичными чертами лица. Без намека на жир — да и откуда у проходчика жир? — за счет мышц и широкой кости весил Хонякин килограммов девяносто... «Первая задача — пообедать! Может, ко мне?» — предложил он. В «кубу» садиться не стали, спустились к поселку по тропинке, направляясь. День был по-материковски жаркий, градусов двадцать пять, палило солнчишко с безоблачного неба, и это благодатное тепло и яркий свет особенно ощущались, особенно радовали после холода и темноты Горы. Внизу, на берегу Иультинки, какой-то человек даже пытался загорать, резво отмахиваясь от комаров веточкой ивы... При переходе через деревянный мостик повстречались с миловидной темноволосой женщины.

— О! Валерий Анатольевич, наконец-то! Здравствуйте, — улыбаясь, сказала она.

— Сколько лет, сколько зим! — в тон женщине ответ-

ствовал Хонякин. И познакомил: — Вот, в кои-то веки с женой увиделся... Людмила Михайловна Хонякина, работает мастером на фабрике. Специальность — технолог обогатитель. Идет на смену...

— Вдвоем вы, значит, — комбинат в миниатюре? Рудник и фабрика... — сказал я.

— Да, — продолжал свое Хонякин, — у нас в Иультине так и шутят: «незнакомка» — это жена, с которой работаешь в разные смены. Я ухожу в шесть утра — она спит. Она в час ночи приходит — я сплю... Готов, Людмила Михайловна, выслушать надлежащие цэ́у...

Жил Хонякин в новом блочном доме на улице Набережной, названной, пожалуй, слишком громко, если видеть эту речку — Иультинку... Двухкомнатная квартира, небольшая, но обставлена с тем возможным на Чукотке и необходимым уютом, чтобы человеку чувствовать себя не в общаге и не вдали от «нормальной» жизни, не на «заработках», а дома.

— Да, здесь — дом, — подтвердил Хонякин, заметив мои невольные взгляды и правильно истолковав вопрос, который в них заключался.— На материк в гости едем, сюда — домой... Здесь женился, здесь дети родились, тут и растут. Коренные северяне! Две дочки, Жанна и Алена, эти помладше, а сын — Валерий, как и я, — тот сейчас на материке, в Саратове, учится в нефтяном техникуме... Поехали мы прошлый раз в отпуск, у меня в Саратове мать, я, конечно, на рыбалке пропал, а Валерка за это время учиться поступил. Никому ничего не сказал, сам этот техникум нашел, документы отнес и экзамены сдал — на «отлично»! Но я, понимаешь, доволен был тем, что мне не пришлось под дверями стоять, объяснять там — обратите, мол, внимание на моего сына, он с Севера, ему витаминов не хватало!.. Спросил его только: «Почему не как я, горняком почему не хочешь?» — «Нет, папа, — отвечает, — мне твоя Гора не нравится, я лучше сверху буду, у м о м...» Уел меня вроде... Хотя Гора тоже ума требует!.. Ну, это дед его в свою веру обратил, он по стопам деда пошел — мой-то отец нефтяником был. А я с ним пол-Сибири излазил — учебный год заканчиваю — и в партию, к отцу, на все лето. Усолье-Сибирское, Бурятия, Жигалово, Осетрово на Лене, Ангара... Я с этих Падунских порогов рыбу ловил, когда там про ГЭС и не думали!.. Потом постарше стал, помогать начал. Была на буровой такая «шибко квалифицированная» должность — верховой. Это на самом верху вышки трубы цеплять и отцеплять при подъеме и спуске снаряда.

Сейчас не знаю — есть ли... Не вышел из меня потомственный нефтяник!.. Да и чтобы горняком стать, на Чукотке к тому же, — тоже в мыслях не было...

Рассказывать Хонякин рассказывал, а потчевать не забывал, мы пообедали, тут пришли с гулянья дочери, он принял их кормить, мне же, чтоб не скучал, дал пока посмотреть свой «архив». Перемешалось в этой папке, как водится, все: семейные фотографии — и здешние, на рыбалке, в тундре, и под пальмами, на южных курортах, — и разные памятные открытки, и почетные грамоты, и дипломы, и орденские книжки, и приветственные адреса по слушаю юбилеев. Писались они, я бы сказал, не казенным слогом — приподнято и с душой. А трудовой путь Хонякина, как я посмотрел, был действительно славным. 68-й год — звание «Почетный горняк РСФСР». 71-й год — орден «Знак Почета». 73-й, 74-й — грамоты от Минцветмета СССР, как победителю в соцсоревновании. 74-й год — орден Ленина, 75-й — снова победитель в соцсоревновании. 76-й — знак «Шахтерская слава III степени». Звание ударника 9-й пятилетки... И все это при том, что «ветерану труда» было всего-то сорок лет...

Накормленные детишки опять исчезли на улицу, и тут Хонякин спросил:

— А ты вообще-то как... насчет того, чтоб за знакомство? Не возражаешь? И разговаривать веселее будет!..

Я не возражал. Тому было много оснований: во-первых, мы оказались сверстниками, и я на Падунских порогах стоял, когда там не было еще никакой ГЭС, а потом работал на Чукотке... да и вообще мой собеседник нравился мне своей открытостью, доверительной манерой общения, что и само по себе хорошо, а для меня хорошо вдвое, потому что я не терплю и не умею расспрашивать человека специально, «брать интервью»: вот просто так потолковать о жизни — другое дело!.. Валерий достал из-за форточки вялившуюся там распластанную рыбину, дал мне резать, сам сварил кофе, разлил кофейку — «За знакомство!..»

— Ну, а кем же ты хотел стать? — спросил я, возвращаясь к прерванному разговору.

— А я и хотел и был — футболистом! — сказал Хонякин. — Верши ли, ничего не желал больше знать, ни о чем не думал, кроме футбола!.. В Саратове — мы в пятьдесят шестом из Иркутска в Саратов переехали, я там и десятилетку закончил, — за «Нефтяник» играл. Данные были, семь с половиной литров выдыхал по спирометру, стометровку в футбольной форме бегал за одиннадцать и во-

семь, способности были, а главное — страсть! Бывало, вечером — ответственная встреча, а я с мальчишками во дворе целый день гоняю. Тренер как-то увидел, говорит: «Что ж ты делаешь?!» — «А, — говорю, — для меня это только разминка...» В армию призвали — и в армии играл. Потом травма: перелом обеих ног. Восемь месяцев провалился. Врачи сказали: с футболом всё. Отыгрался!.. И тут я задумался, впервые. Ведь не думал же раньше совсем, ни к чему больше себя не готовил — казалось, всю жизнь так будет: поле, ворота, мяч... Двадцать два года всего — чем заняться?.. А тут знакомый парень встретился, учились вместе, спрашивал: «Чего грустный?» — «Да вот», — отвечаю. А он как раз с Чукотки приехал — в отпуск. «Дай, — говорит, — со мной на Север, работы навалом, и место такое, что сразу про спорт свой забудешь!» Ну, я и поехал, и как попал сюда, в Иультин, так здесь и живу, вот уже семнадцать лет — не люблю с места на место прыгать!..

— И действительно забыл спорт?

— Почему? Поигрываю иногда, в футбол, в хоккей, но это уже не главное. Еще горными лыжами увлекся, здесь с апреля по июнь удивительно: солнце, снег, загорать можно! Как в Бакуриани...

— А горняком сразу стал?

— Ну, это как сказать? Если настоящим — не сразу, а в Гору пошел — сразу. Сходил первый раз, посмотреть, и — остался! Сначала учеником проходчика... Эх, и учитель у меня был, — воскликнул Валерий, — Антипов, дядя Гриша, сам с Урала! Двадцать пять лет отработал под землей — календарных! Это я к тому, что у нас тут год за полтора, вот у меня семнадцать, значит к ним еще восемь с половиной стажа, а он только календарных двадцать пять! Горняк был и северянин старого закала, кулак — величиной с голову, он этим кулаком гвоздь стопятидесяти миллиметровый в стол вгонял... О респираторе понятия не имел — чтоб пользоваться!.. Сына в армию отсюда провожал, их уже повезли, призывников, а дядя Гриша в Горе был. Вышел со смены, на машину и — вдогонку. А тогда моста не было, паром, и он уже на ту сторону ушел. Ну, ты Амгуэму видел — в нее руку сунешь, больше минуты не вытерпишь... Дядя Гриша разделялся, полбутылки спирта выпил, реку переплыл, сына обнял — и назад! Могучий мужик... Сейчас уж на пенсии, уехал... Я на него как на бога смотрел, он-то из меня проходчика и сделал!.. Не скажу, что он мне все тонкости горняцкого дела передал,

тут всегда что-то новое, сейчас особенно, но он мне основное правило вбил... Знаешь, как раньше в Сибири грузчики к себе в бригаду брали? Положат тебе вдвоем на плечо бревно: если переломишься сразу, бросишь, — значит, не потянешь. Если шатаешься, да тащишь — годишься. Вот и у него такая заповедь была, русская, сибирская, и я ее твердо усвоил: взвалил — тащи!..

— Ну, а техника-то? — спросил я.

— Техника — да... Сейчас в проходке, я бы сказал, так: пятьдесят процентов — дело техники, пятьдесят процентов — дело рук... Но я не это даже имею в виду, не физическую нагрузку, — стал объяснять Хонякин. — Тут важна моральная сторона. Уходит тот, у кого не мускулы — душа послабее. Как, наверное, и с Каховки уходили, и с ДнепроГЭСа, и с Братска... Но сам я такого человека из бригады никогда гнать не стану. Я отвечаю за него — и как бригадир, и как коммунист. Видим, не справляется, но если взяли — сами несем крест. Сколько бригада существует, никому никогда не было сказано: уйди, ты не тянешь! А если он сам признается честно: ребята, не могу, — я его тоже винить не стану. Что ж, не можешь, поищи другую работу, всякий труд, как говорится, почетен. Ну, а можешь — честь тебе и слава!.. Вот скажи, — неожиданно засмеялся Хонякин, — похож я на рыжего?

Я посмотрел: и волосы, и брови светлые, почти белые, можно было бы добавить — «будто выгоревшие на солнце», если бы возможно было такое на Чукотке, да еще на подземной работе. Обычно ребят с таким цветом волос зовут — Седыми...

— А меня мои мужики кличут Рыжим! За мое дикое везение, наверное. Есть же, говорят, такая примета: рыжим везет... Меня Гора один раз предупредила, в другой — поломала... Известно тебе, что такое — «попасть на отказ»? Не известно, и слава богу, но вот перед тобой человек, который однажды попал, и я тебе расскажу, хотя те, кто попадает на отказ, обычно уже не разговаривают — их хоронят... Ну, бурение шпуров, взрывные работы ты представляешь...

— Как-то даже помогал взрывнику на одном прииске, только под секретом, а то бы нагорело ему — за нарушение техники безопасности, — не удержался я.

— Так вот, было семнадцать шпуров, семнадцать зарядов и семнадцать взрывов, трое считали — сам взрывник, горный мастер, откатчик, — и у всех сошлось: семнадцать... Откатали, пошли бурить дальше. А часть взрывчатки в од-

ном шпуре, видимо, не сдетонировала — вот под моим-то буром она и сдетонировала!.. Взрыв был — в метре от глаз! Я целехонек — повезло идиоту, — бур на три части, одна часть в шпуре, другая в молотке, а средняя вылетела и парню, который рядом работал, ногу срезала, как ножницами, чисто!.. Ну, казалось бы, что после этого? Был тебе намек, так беги из Горы, уезжай куда подальше и устраивайся на пасеку, в шалаше спать, пчел сторожить... По принципу: «Один умирал, другой поглядел, сказал: не, я так не хочу!» Но я с таким принципом не соглашусь никогда!.. И ты пойми правильно, не прими это за громкие слова, я полное право имею так говорить, потому что я и во второй раз не ушел...

— А второй раз?

— Во второй раз я сам получил, сполна, честно. Работал на электровозе, под рудоспуском, породу грузил. Погрузил, полез в кабину и по неосторожности контроллер сдвинул. Электровоз поехал под люк, у меня в кабине только голова и плечи, остальное снаружи, а там, под люком, зазор всего пятнадцать сантиметров. И у меня еще аккумулятор сзади, на ремне... Этим аккумулятором мне сзади все разворотило — короче, таз раздавило ровно на четыре части. Четыре раза под рудоспуском перевернуло в одну сторону, и четыре раза, когда ребята меня вытаскивали, — в другую... В семьдесят втором году это было... У меня так получается: сколько живу, не знаю, что такая температура, насморк, — в больницу только приносят... Пролежал тогда месяц. Врач говорит: в гипс нельзя, сгниет... Соберись, говорит, с волей и лежи ровно месяц, без движения... Набили мне гвоздей в задницу, и я лежал. Потом встал, на костили. Еще два месяца в Саках долечивался и ровно через три месяца опять пошел — в Гору, на проходку!.. Никто не верил, смотреть приходили... Я бы спокойно мог не идти на проходку, подыскали бы какую-нибудь должность, но есть же ведь настоящая мужская работа, так?!

— Да, и после всех этих приключений я... как бы это выразиться... стал со случаем на «ты». Не представляю теперь другой работы, кроме горняцкой. Знаю ее всю, в подноготной, на «хорошо», ну а на «отлично» — один бог, наверное... Поступил было в ВЗПИ — Всесоюзный заочный политехнический, специальность — разработка рудных и нефтяных месторождений, до четвертого курса дотянул и забросил. Как раз вот эта больница, сессию пропустил... Но я не потому бросил, что отстал, я наверстал

бы,— а для чего, думаю. Как проходчик, я что-то соображаю, а как инженер — это еще неизвестно... Не всем же быть инженерами — кто-то и метры выдавать должен! И потом, наша работа — тоже творческая, можно сказать, единственная творческая работа в Горе — это проходка: порода, она ох как заставляет думать!.. Тем более что наша бригада на разведку работает, на прирост запасов рудника. Геологи дают, мы уточняем... Кто в блоках бурит, у них мягче порода, там кварц, готовая жила, а у нас граниты — основа основ. Есть же выражение — «грызть гранит науки», ну, а тут выходит наоборот: нужна наука, чтоб грызть гранит... Вот коронки новые прислали, будем испытывать. От системы вруба много зависит. Ведь тут не просто — навертел дырок и взрывай. Вруб... — Хонякин взял лист бумаги и начался рисовать, чтобы мне было понятней,— вруб — это, в общем, фигура, которая образуется совокупностью шпурков. Можно бурить, чтобы они расходились в стороны, — «веерный вруб». Или, наоборот, сходились — тогда «клиновидный». Врубов этих — от и до: «пирамида», «призма»... Мы пробуем так и так, потом другим выдаем паспорт: вот так лучше, эффективней. Здесь, на гранитах, применяем обычно «клиновидный с щелью». — Валерий начертит несколько сходящихся линий и еще одну, прямую, рассекающую их посередине. — А другой раз бывает: забуришься на два метра, а оторвет сантиметров сорок! Есть такой термин: КИШ — коэффициент использования шпурка. Чем он больше, тем, разумеется, лучше. Скажем, КИШ — 0,90. Это значит: пробурил метр, оторвало девяносто сантиметров. Лучше желать не надо. А тут — от двух метров всего сорок сантиметров! Обидно... Иной раз психанешь, взрывнику не доверяешь, сам патроны забиваешь — ну, оторвешь пятьдесят. Тоже не фонтан! Это горняки в таких случаях говорят, — «не к нам лежит порода»...

Сидели мы с Хонякиным еще долго — увлек он меня своими рассказами. Бывает же: мастер, как говорится, золотые руки, а двух слов связать не может. Или наоборот — только болтать... Тут был счастливый случай, когда человек и дело свое знал, и рассказать о нем умел, и, чувствовалось, любил, а для меня это первый признак: если человек вот так, интересно, с азартом, говорит о своей работе, значит, и работать ему интересно... Потом пришел еще Володя Чеглаков, из хонякинской бригады, — с горячими домашними пирогами: «Жена прислала, подкорми, говорит, бригадира, а то он неухоженный...» Володя с Донбасса — в Иультине вообще много донбассских, — и гор-

няцкий стаж тоже немалый: на материке девять лет и здесь, в Горе, семь... И не помню как, но речь у нас вдруг зашла об эстетике — получают ли они от своей работы «эстетическое» удовлетворение? Хонякин, вопреки моему ожиданию, поначалу отрицал: «Эстетика у нас одна: пришел, увидел, забурил!» Володя, такой же плечистый, здоровый, как и его бригадир, возражал с добродушной улыбкой, что эстетика есть — «надо только увидеть!». — «Да когда видеть, видеть-то некогда!» — «Если умно работать, «некогда» не бывает...» — «Но ты же сам говорил, что работа — творческая, значит, какое-то эстетическое чувство должно быть?» — доказывал и я. В конце концов сошлись, что, наверное, так: «Бывает же — посмотришь после отпала на свою работу, полюбувшись: хорошо оторвало — и приятно! Заколы оберешь, покуришь... Ощущение сделанной на совесть работы — оно, значит, и есть эстетическое...» Расстались мы поздно, договорившись, что завтра с утра я опять приду в Гору и ребята мне все покажут — «все циклы». Был одиннадцатый час вечера, солнце стояло с другой стороны Горы, и склон ее, обращенный к поселку, и весь комбинат, были в тени; и в этой холодной густой тени длинный светло-серый отвал переработанной породы, тянувшийся от фабрики, выглядел так, словно был присыпан первым сухим редким снегом. Вокруг моей гостиницы, как всегда по вечерам, стояли, приткнувшись, «Уралы», еще один приближался по трассе. Я остановился: подождать, посмотреть, не мой ли это знакомый — Топор, но это был не он... Ночью тоже подходили машины, сквозь сон я слышал их нарастающий издалека и разом смолкавший за стеной рев.

...Однако поглядеть на другой день «все циклы» не удалось, Хонякину дали совсем другое задание — стелить стрелку. «Работа нешибко умная, — как выразился Валерий, — но куда ж денешься, все равно нужная...» И приняться за нее он сразу не мог, нельзя было разбирать пути, пока не вывезли из штреков руду.

— Пойдем, — позвал меня Валерий, — пока суд да дело, покажу нашу штолнию.

Мы прошли уже знакомым мне тоннелем, свернули куда-то, и, чем дальше продвигались, тем толще и пущистее становился слой инея на кровле и стенах, снег лежал и под ногами.

— Вот она, наша родимая, девятнадцатая, — сказал Хонякин, — здесь все дырки наши, от первой и до последней, мы здесь рекорд скоростной проходки по Магаданской

области установили: 222 метра за месяц. До сих пор не побит... С рудником «Дукат» соревновались, это в Омскучане,— работали в четыре смены, по три человека. Ну, я тебе скажу, это работа на износ, так можно месяц продержаться, два, не больше. Железные плечи иметь надо!..

— Это что же выходит — вроде спорта? — спросил я.

— Да как тебе сказать? С одной стороны, если соревнуешься и хочешь быть первым, получается — вроде спорта. А с другой стороны — производственная необходимость.

Впереди блеснул отрадный для подземелья яркий солнечный свет; тут, у выхода на поверхность, снегу намело почти до самой кровли, он так и не растаял за лето, только заледенел, и, согнувшись, скользя и хватаясь за крепежные стойки, мы вылезли по этому сугробу наружу. Здесь был совсем другой мир: небо, сопки, теплынь... Поселка не было отсюда видно, мы прошли Гору насквозь. Под нами в распадке катился ручей. Из штолни выходили и после короткой насыпи повисали в воздухе рельсы, склон был усеян бурьями, рыжими острыми каменными обломками — выброшенной из Горы породой. Мы присели покурить на склоне.

— Задача была вот какая, — как бы продолжая отвечать на мой вопрос, сказал Хонякин, — подтвердить запасы одиннадцатой штолни, вот той, по которой руду на фабрику возят. Сбить девятнадцатую с одиннадцатой... Если бы мы изнутри проходку повели, загрузили бы откатку большой руды. А тут зима на носу, дилемма: или мы успеваем спрятаться под землю на двести — триста метров, затаскиваем внутрь оборудование и нормально работаем, или откладываем до следующего лета, а запасы комбинату, сам понимаешь, нужны срочно. Вот и возникла идея скоростной, словом, НОТ по принципу: Федя — надо!.. Но, главное, тут надо было зажечь бригаду: могём аль не могём?! Решили: попробуем!.. Дело это должно быть объявлено официально. Приходит специальная комиссия: начальник рудника, главный инженер, маркшнейдер, — замеряют, смотрят на часы и говорят: «Ребята, с этой секунды вы начали скоростную проходку». Ровно через месяц приходит та же комиссия: «Глушите молотки!» Конечно, все это не наобум, мы готовились, считали, Александр Петрович Куклин, главный инженер, нам циклограмму составил: время на бурение, время на взрывание, на проветривание... — там все было рассчитано по минутам!.. Петрович, ты его знаешь, он мужик своеобразный, он или молчит, или ворчит, а специалист редкий. На таких, как Куклин, если

не вся земля, то наша Гора точно держится! — воскликнул Хонякин со свойственной ему энергией в выражениях. — Да, так вот, при нормальной работе сейчас два человека за смену, за шесть часов, делают один проходческий цикл — убирают и бурят. А тогда делали два, звено Мажуги — был у меня звеньевым Валерий Мажуга, сейчас в СМУ перешел, — успевало даже по два с половиной цикла: бурить, катить, бурить, катать, и еще раз бурить... У меня напарником Володя Чеглаков был. Еще Кулик Павел, Роман Сулейманов — это до сих пор ядро бригады. Ребятам по тридцать — тридцать с небольшим лет, самый возраст, стаж на подземке не пенсионный, но и немалый. Тут ведь тоже, как в спорте, возрастной критерий, через который не прыгнешь... «Дукат» на десять дней впереди нас шел и на десять раньше кончил, их рекорд — двести два метра, ровно эти десять дней и продержался. Комиссия к нам пришла, замеряет: первая сотня, вторая сотня, двести двадцать два метра — «Ребята, рекорд ваш!». Но я и без них знал — когда нам еще недели две оставалось, я уже знал, что мы за двести выйдем спокойно. У меня дома график висел во всю стену, все было расчерчено по звеньям. Мы могли бы и двести пятьдесят дать, мы на это и били, но нас три дня тормознули, когда двигатель у компрессора полетел. У нас по десять — двенадцать метров в день отходило... Ну, тут все собрались, бригада «ура» кричала — могём, значит!.. Пионеры пришли с цветами, с оркестром, галстуки нам повязали. За этот рекорд мне и орден Ленина дали... Однако я считаю, что для Иультина не предел и триста метров. Есть у меня мыслишка, есть тут одна штоленка, на седьмом горизонте... Нас только техника сковывает, это плюсквамперфект, чем мы сейчас работаем, в сравнении, например, с угольщиками. И нам нужна малогабаритная, но эффективная техника. Скажем, основное торможение на проходке — это уборка породы. Нам бы погрузмашину кубиков на сто пятьдесят, а мы привязаны к пятидесяти. Убирать втрое быстрей — тогда бы был эффект!.. Опять же специализация должна быть поуже. Я, как горняк, умею все: и бурильщик, взрывник, машинист погрузмашин, электровоза, скреперной установки, крепильщик, электромеханик, сварщик... И так — каждый в моей бригаде. Но прежде всего — мы проходчики! Зачем, спрашивается, срывать бригаду на настил стрелки? Это все равно что лекальщика использовать как сантехника! Сейчас все твердят: освоение смежной профессии, взаимозаменяемость... Может быть, в тундре, у старателей, где каждый

человек на счету, и не обойтись без взаимозаменяемости. А на крупном предприятии, я считаю, она только во вред делу!..

Я смотрел на Валерия Хонякина, с жаром и, по обыкновению, категорично излагающего свои мысли, и, откровенно говоря, не слишком старался вникнуть в специальную, в деловую суть его соображений — это была его работа, — а для меня сейчас важно было уловить суть иную: передо мной сидел сильный, умный, знающий себе цену, уверенный в себе рабочий человек, и за этой уверенностью стояло многое — большой опыт, нелегкий труд, умение переломить и заставить прежде всего себя, талант увлечь других, способность творчески мыслить, ответственность вожака и тот особенный патриотизм, приверженность своему делу и своему месту, что бывают присущи северянину, ветерану... Как он сам вчера напоследок, когда мы поздно вечером расходились, выразился: «Давай за нашего мужика, который может пахать, знает, что может, — и пашет!»

Мы докурили и полезли обратно в Гору, через сугроб, наметенный в устье штолни. Навстречу нам, из-под земли, дул сильный ветер, как будто это не штолня была, а какая-то сквозная дыра в мироздании, и тянуло оттуда потусторонним холодом. Ну, а попросту: ПВС — пылевентиляционная служба работала...

5

Я уже подумывал о том, чтобы возвращаться на Первый и лететь оттуда дальше, в Лаврентия и Уэлен, — мысль о неуклонно подступающей осени, с дождями и туманами на побережье, с нелетной погодой, меня беспокоила, — но тут приехал из Эгвекинота инструктор райкома партии Николай Иванович Асоцкий и посоветовал обязательно съездить еще к старателям. Он и сам к ним собирался — с лекцией о международном положении. Договорились ехать вместе, после обеда... С утра я побывал на фабрике — я вдруг сообразил, что, увлекшись Горой, фабрику-то я еще не видел!.. Фабрика — в полном соответствии с тем, что рассказывали мне секретарь райкома Жиганов и директор Пивоваров о ритме работы комбината, — в эти часы стояла: видимо, ждала, пока наберется достаточное количество руды, чтобы переработать ее разом. Водила меня по фабрике ее главный инженер Вера Иосифовна Сумина — она приехала в Иультин в 62-м году по распределению из Иркутского политехнического института. Мы посмотрели

подготовительный корпус, по галерее перешли в обогатительный. В одном месте в стене фабрики зияла дыра, это были плоды еще одной в истории Иультине «мощной рационализаторской идеи» — выкладывать стены фабрики не в два блока, а в один. И дело было даже не в экономии — форсировали строительство комбината, торопились сдать, областная партийная организация поставила задачу ввести его в строй в 59-м году... Теперь стена сыпалась, кладка не выдерживала резких перепадов заполярного климата. Я вспомнил: Пивоваров говорил, что в будущем году Магадан обещал выделить алюминиевые панели, такие же, как на Билибинской АЭС, — тогда можно будет закрыть ими всю фабрику...

Вера Иосифовна сожалела, что не может показать мне рабочий процесс, оборудование фабрики в действии, но процесс, в общем, и так был хорошо понятен. Вся несложная его суть заключалась в том, чтобы из общей массы поступающей в приемные бункеры фабрики породы выделить тот самый, один-единственный процент полезного, смешанного оловянно-вольфрамового концентрата, а затем отделить вольфрам от олова. Для этого исходную руду сортировали — ту, что помельче, на грохотах, ту, что покрупнее, вручную, — пустая порода сразу шла в отвал, оставшуюся еще многократно дробили. 1-я дробильная цепочка, 2-я дробильная цепочка... Потом начиналось обогащение — в так называемых отсадочных машинах методом флотации, основанном на разности удельных весов концентрата и пустой породы и, следовательно, на разности скоростей их движения в восходящих потоках воды: тяжелый концентрат оседал, а пустая порода уходила в «хвосты»... Впрочем, не все было так просто: затем надо было избавиться от вредных сульфидных примесей, например, от мышьяка — «Мышьяк — бич для металлургов» — как выразилась Вера Иосифовна, — и для этого концентрат проходил еще через один специальный флотогравитационный процесс... Наконец в последнем, сушильно-дровяночном корпусе, он разделялся — с помощью электромагнита. Дело в том, что вольфрамит обладает магнитными свойствами, а кассiterит, то есть минерал, содержащий олово, — нет. Это их различие и использовалось в электромагнитном сепараторе: здесь очень сильное, в 17 тысяч эрстед, магнитное поле отделяло вольфрамовый концентрат от оловянного. «Сепаратор из Криворожья, там его изобрели, — сказала Сумина. — У нас — с семидесят первого года. Техника очень надежная, не жалуемся». Она включила его,

подняла крышку кожуха, и я увидел, как темные струйки вольфрамита упруго брызнули куда-то вбок, а более светлые крупинки кассiterита, равнодушные даже к 17 тысячам эрстед, посыпались вниз... «Ну, а затем концентрат насыпается... раньше в обычновенные бочки, теперь в специальные контейнеры. Отдельно — олово, отдельно — вольфрам. И всё, и на материк...»

Но рассказала мне Вера Иосифовна еще одну интересную вещь. Оказывается, в числе основных минералов, содержащих вольфрам, кроме вольфрамита имеется еще шеелит, названный так в честь открывшего его в XVIII веке шведского химика Карла Шееле. «Здесь, в Горе, шеелита нет. А на соседнем участке «Светлый» — есть. И он, в отличие от вольфрамита, немагнитный, — объяснила Сумина. — То есть в нашем сепараторе он теряется в олове. Когда фабрика начала перерабатывать руду со «Светлого», перед нами всталла проблема: как выделять шеелит? Долго над этим работали, наконец нашли — не электромагнитной, а электростатической сепарацией. Сделали проект, сепаратор такой уже заказан, в этом году должны получить. Это даст дополнительный процент извлечения вольфрама и ежегодную экономию — двести пятьдесят тысяч рублей!..» Я внимательно слушал Веру Иосифовну, она рассказывала живо, увлеченно, заинтересованно, и вдруг сильное досадное чувство охватило меня. Что же получалось?! — подумал я. Там, в глубине Горы, вкалывали, искали, как лучше бурить, взрывать, как повысить скорость проходки, как эффективнее отрабатывать эти самые «пологопадающие жилы», боролись за объемы; здесь, на фабрике, тоже думали, как лучше перерабатывать эти объемы, и находили, и бились за экономию; и на «Светлом» лежала и копилась уже добытая руда, бери да отвози на фабрику — словом, не сидел ведь сложа руки народ; и, однако, мы с главным инженером стояли сейчас посреди безлюдного, тихого цеха, и никакой производственный шум не мешал нам беседовать, не надо было, как обычно в таких местах, напрягаться, кричать, вслушиваться; фабрика молчала в ожидании руды, вместо того чтобы грохотать во всю положенную ей мощь и выдавать продукцию, — и это потому, что где-то, в Москве ли, в Магадане, «вышестоящая организация» не могла выделить средства на несчастные тридцать пять километров дороги!.. Еще я попытался представить, что начинает твориться на этой фабрике в последние месяцы года, когда станет зимник и примутся возить руду со «Светлого» и когда надо будет за эти три-четыре месяца

выдать почти весь годовой план комбината, — какая здесь идет тогда, наверное, денежная и нощная штурмовщина! Это ли, как принято выражаться в подобных случаях, государственный подход к делу?!

...Признаться, не очень-то я и хотел ехать к старателям, — из того немногого, что я вообще знал о них, сложилась в моем представлении примерно вот какая картина: несколько десятков расторопных мужиков, специалистов на все руки, злых на работу и азартных до больших денег, сбиваются в артель, добровольно на восемь месяцев в году ссылаются себя, куда и вертолет не залетает, живут там в насpx сколоченных «бунгалах», наказав себе терпеть все полагающиеся в таких условиях лишения, и горбатят по двенадцать часов в сутки, без выходных и праздников. Ну, а остальные двенадцать — спят... И если уж на комбинате был такой разрыв, такие «ножницы» между самоотверженностью и организацией труда, то что можно было ожидать увидеть у старателей? «НОТ по принципу: Федя — надо!» — как выразился Валера Хонякин... Но Асоцкий уговорил, пообещав познакомить с интересным человеком, кавалером ордена «Знак Почета» Петром Константиновичем Коротких — зачинателем старательского дела на Иультине. «Когда-то, — рассказал Асоцкий, — Коротких, сам горняк с Донбасса, организовал здесь и возглавил первую объединенную старательскую артель. Объединенной она называлась потому, что была многолюдна и состояла фактически из отдельных коллективов, работающих на разных участках. Впоследствии в интересах производства артель решили разделить на несколько самостоятельных — «Амгуэма», «Перспективная», «Арктика»... — и Петр Константинович остался председателем «Арктики». У него в артели работало 75 человек. Сейчас старатели давали ни много ни мало, а 27 % всей продукции комбината...»

В «Арктику» мы и направлялись. Асоцкий и Коротких уже ждали в гостинице. Директор Пивоваров выделил свой газик. Мы выехали за поселок, вброд перескочили мелкую Иультинку. Здесь дорога разделялась: направо уходили те самые, начальные, отсыпанные три километра пути на «Светлый», а мы, свернув влево, почти сразу полезли вверх по крутыму склону. Это была все та же Гора — артель «Арктика» стояла как раз с противоположной от поселка ее стороны. Я поинтересовался, какой длины дорога и кто строил — эти дорожные проблемы прочно теперь во мне засели. «Сами, кто ж нам построит? — сказал председатель. — Тут примерно километров двадцать. Два года дела-

ли». Двадцать, это значит, не намного меньше, чем на «Светлый», и дорога была настоящая, не просто вездеходный след в тундре, — прорезана и расчищена бульдозером. «У меня есть один старатель, — как бы откликаясь на мои мысли, продолжил Петр Константинович, — в поселке живет, так он тут на своем «Запорожце» проходит, да бывает, еще пятерых с собой прихватывает!» За перевалом, глубоко на дне узкого распадка, показались домики, взрытая бульдозерами земля, холмы отвалов возле промустановок. Когда спустились, Коротких выскочил из машины первым и шутливо пригласил: «Ну, не бойтесь, все комары у меня привязаны! — И тут же: — О черт, кто их спустил?»

По селектору председатель объявил, чтобы люди собирались в столовой, самом большом помещении, служившем одновременно и клубом. Инструктор райкома развесил на стене политическую карту мира и подготовился рассказывать о «горячих точках» на нашей планете, а я попросил Петра Константиновича показать тем временем свое хозяйство. Поскольку мы уже оказались в столовой, с нее и начали. Это был просторный зал, на столах белоснежные скатерти, вазы с тундровой зеленью. Может быть, где-то еще и имелись такие необычайно уютные и чистые столовые, но в московской системе общепита — точно нет... Артель работала в две смены, поэтому столовая была построена с таким расчетом, чтобы в ней сразу могла разместиться вся смена, то есть примерно сорок человек. А вообще-то никакого привычного горожанину расписания: завтрак, обед, ужин, никаких ограничивающих «часов работы» в этой столовой не существовало, в любой момент дня и ночи старатель мог прийти и поесть или просто выпить чаю. Повара, как и вся артель, тоже работали круглосуточно. «Кто там сколько раз пришел, мы не считаем, — сказал Коротких, — и отдельно ни за кем не записываем. Ну, съест он за двоих, значит, потребность такая, но за троих-то не съест! Это все мелочи... Продукты у нас свежие: картофель, лук, молоко, колбасы, хлеб регулярно завозим из Иультина. Свой холодильник в вечной мерзлоте выдолбили, можем хранить до пяти тонн мяса. Поросят откармливаем — ко Дню металлурга...» При выходе из столовой я заметил шкафчик, набитый аккуратными рядами сигаретных и папиросных пачек. «Курево тоже артельное: кому надо — берет». Посмотрели мы затем общежитие на сорок человек: в каждой комнате стояло не более четырех кроватей, имелись отдельные сушилки для рабочей

одежды, а главное — душ, куда горячая и холодная вода подавалась по центральной магистрали от собственной водонапорной башни... «А остальные где живут?» — спросил я. «В балках, — показал Коротких на десятка два балков ниже по склону. — Люди не все ведь захотели в общежитие, оно ведь не всякому по душе. У меня тут народ разный, с высшим образованием человек восемь. Даже свой корреспондент есть, Гена Бубнов, его хлебом не корми — дай ему писать. Недавно его статья была в «Горняке Заполярья» — о нашей артели... Он тоже в балке остался: «Мне, — говорит, — уединяться, бывает, надо, за машинкой посидеть, подумать!» Ну, у них в балках тоже неплохо: и тепло, и просторно, даже душевые себе наладили...»

Пока мы ходили и разговаривали, я присматривался к Петру Константиновичу, и все больше он мне нравился: коренастый, очень широкий, почти квадратный, лицо тоже широкое, старомодная, именуемая «полубокс» стрижка — с челкой на лбу, глубоко посаженные синие живые глаза, и сам весь живой, подвижный, бойкий, и такая же бойкая, четкая, деловая скороговорка. «Свой радиоузел есть, телефонная связь с поселком, сами тянули... почта регулярно. На будущий год парник построим на двести квадратных метров, землю для него специально завезем. Здесь, — он повел рукой, указывая на площадку перед общежитием, — траву посеем. Природу надо охранять — у нас семь водоотстойников, чтобы не загрязнять гидросеть. С последней дамбы воду пить можно...» Чувствовался в председателе хороший, крепкий, разумный хозяин, и видно было, что артелью своей он гордился. Тут, наверное, надо упомянуть, что старательская артель организуется на следующих началах: заключает с комбинатом договор на отработку определенного участка, получает от него необходимую технику, а далее, как говорится, привет: все остальное — дело ее рук, ее собственной инициативы. И исходя из этого, можно было понять гордость Петра Константиновича — в самом деле, за те несколько лет, что артель «Артика» работала в этом распадке, она обосновалась здесь, можно сказать, с комфортом... Но меня в связи с этим вот что интересовало: поскольку все это — и дорога, и новое общежитие, и столовая, и парник, и душ, и т. д. — делалось не за счет государственных, а за счет принадлежащих артели средств, ее же силами, охотно ли шли старатели на благоустройство своей заведомо временной жизни и как это отражалось на их окончательном заработке? Об этом я и спросил Коротких, хотя, в общем-то, предчувствовал ответ.

«Семь-восемь месяцев в году — не такая уж «временная» жизнь,— сказал он.— И нам на этом участке работы еще лет на восемь. Неужели все это время жить, как в берлоге?! Все делается с согласия общего собрания артели: проголосовали — закон! Современный старатель ведь не тот, что раньше,— это раньше такая поговорка была: «Манька, не мой ноги в этом ручье, из него старатель пил!» Спросите сейчас любого, каждый ответит: чем лучше условия быта, тем выше производительность труда. Те средства, что мы вкладываем в свой быт, мы с лихвой возмещаем на добыче металла. Теперь только середина сезона, а мы уже дали годовой план по олову и полтора годовых по вольфраму! А что касается заработка — по девять-девятнадцать «нераспечатанных» получат. Куда ж больше-то, а? — подмигнул Петр Константинович.— Больше — даже вредно...»

«Ну как, не жалеете, что побывали у Коротких?» — спросил Асоцкий, когда мы вернулись в гостиницу. Я не жалел. Напротив. Мне понравились и образцовая артель и ее энергичный председатель. Но более всего мне понравилось — Николай Иванович, наверное, удивился бы, если бы я сказал ему об этом,— более всего понравилось мне то, что Коротких за время нашего разговора ни разу не произнес слово «проблема»... Немало встречал я в своих поездках по Северу руководителей, которые именно с этого слова начинали, причем, как правило, в одном «жалующемся» тоне: дескать, у нашего предприятия имеются такие-то и такие-то проблемы, но если бы нам *разрешили, выделили, прислали* то-то и то-то, вот тогда бы мы... и т. д. То есть «проблема» перед таким руководителем возникает, как нечто сверхобъективное, постороннее, мешающее работе... И еще, как я заметил, эти руководители очень полюбили в последнее время слово «считать». (Кстати, Коротких его тоже ни разу не употребил.) Потому что все они, естественно, наслышаны об НТР, о связи науки с производством, и если НТР в своей настоящей сути действительно заставляет мыслить и предполагает соединение мысли и действия, то у некоторых понятие научно-технической революции трансформировалось довольно своеобразно. Зайдет ли речь о необходимости какого-нибудь начинания, они в принципе не против, но тут же говорят: «Это надо считать!» И обязательно добавят: «Целому институту!» А поскольку они точно не знают, что это за «институт» и есть ли вообще такой «институт», а если есть, то от их предприятия до него в три года, наверное, не доскачешь,— постольку идея на этом обычно и замирает. Зато руководи-

тель уверен, что мыслит современно... Разумеется, я не думал, что у Коротких и его артели не было никаких проблем и им не приходилось считать. Конечно, имелись и проблемы, и — ох как считали!.. Просто проблемы не возводились в ранг «мистических», разрешение которых произойдет откуда-то «сверху» — и вот тогда пойдет работа. Проблемы отождествлялись с работой — в процессе работы возникали, в процессе работы и решались. Нуждами производства диктовался и «счет». Можно было бы сколько угодно долго раздумывать, во что обойдется артель дорога, но она была необходима — ее и построили! Посчитали нужным улучшить быт — улучшили! «Парник построим... Траву посеем... Два плана дадим по олову, три по вольфраму», — вспомнил я четкую, уверенную скороговорочку Петра Константиновича.

— Деловой мужик Петр Константинович,— вслух повторил я свои размышления.

— А он не только деловой, он еще и романтик,— откликнулся Асоцкий.— Знаете, например, какая у него мечта? Чтобы на его участке, когда артель там отработает, открыли пионерский лагерь!

Для человека, который видел, что оставляют после себя в тундре горнодобывающие предприятия («рукотворную пустыню», как метко выразился сотрудник Магаданского института биологических проблем освоения Севера А. П. Васьковский), это действительно звучало, мягко говоря, романтично. Но, побывав у Коротких, я верил и в пионерлагерь.

6

На другой день я простился с Иультином, в последний раз оглянулся с вершины перевала на поселок, на Гору. Снова на перевале замелькали в воздухе сухие снежники, открылась жаркая, залитая солнцем долина Амгуэмь, снова пошли отсчитываться километры трассы, теперь в убывающем порядке, от двести седьмого до первого, и теперь уже мы уступали дорогу встречным машинам. Николай Иванович Асоцкий, бывший на сей раз моим спутником, вспоминал не без юмора, как приехал сюда в середине пятидесятых годов, с Запорожья. Было ему тогда всего восемнадцать лет, но уже имел специальность — наладчик кузнецких прессов. Никаких прессов здесь, конечно, в помине не было, и начал Николай Иванович свою трудовую деятельность рабочим вот как раз на этой переправе через

Амгуэму. Так что вся жизнь трассы, да и целого района, протекала и становилась на его глазах.

— Удивительно жили! Ни посуды, ни мебели — ничего... Комнатки были — еле втиснуться. Чай пили из консервных банок. Я еще застал, когда у шоферов на трассе имелись две пустые бутылки, на всех. Ну, едет он в рейс, особенно зимой, — чаю с собой наливать или просто воды. Были эти бутылки на строгом учете, всегда знали у кого. Попользовался, передай другому... Начальник стройкомбината — стройкомбината! — летел сюда с семьей и вез табуретку. Этому я сам свидетель!.. А все равно весело жили, молодые были, без забот...

Когда до Эгвекинота оставалось всего ничего, слева от трассы забелели домики поселка Озерный (13-й километр), поодаль виднелось массивное здание и высокие трубы ЭРЭС — Эгвекинотской районной электростанции. Николай Иванович предложил заехать. Резон в этом был. Морпорт, автобаза, трасса, комбинат, электростанция — все это были пункты общего плана промышленного освоения района, единый комплекс, и лишь электростанцию в этом комплексе я еще не видел. Да и секретарь райкома Жиганов, вспомнил я, советовал побывать в Озерном, уверяя, что все проблемы — производства, жилья, быта, культуры, — неразрешенные пока в масштабе района, увязываются и решаются здесь оптимально. И в самом деле, посмотреть на станции было что.

Историю свою Эгвекинотская электростанция ведет с конца 52-го года, когда она дала первый промышленный ток. В следующем году было закончено строительство ЛЭП, и электроэнергию стал получать Иультинский горнообогатительный комбинат. Использовались тогда на станции два американских дизеля «Чикаго-пневматик» мощностью по 1500 квт каждый, полученные нами в свое время по ленд-лизу. Они до сих пор стоят как резервные в небольшом здании на территории станции, которое так и именуется — ДЭС-1. И до сих пор, показывая американские дизели, старожилы вспоминают, что в приложенной к ним инструкции имелась якобы такая фраза: агрегат в обращении, мол, настолько прост, что обслуживать могут негры — и «даже русские»... Электростанцию в теперешнем ее виде начала сооружать вторая волна строителей. Я уже говорил, что Эгвекинот днем своего основания считает 16 июля 1946 года, когда теплоход «Советская Латвия» привез сюда первых поселенцев. А десять лет спустя, в 1956-м, ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ обратились к комсомольцам и молодежи

страны с призывом поехать на стройки Крайнего Севера. И в том же году Магадан встретил 7,5 тысяч комсомольцев, а еще немного спустя 600 из них прибыли в Залив Креста. Здесь разделились: кто остался строить Эгвекинот, кто поехал в Иультин, кто в Озерный на строительство электростанции. Многие из них и по сей день живут на Чукотке.

В котлотурбинном цехе ЭРЭС я познакомился с Петром Павловичем Шейбаком — вот уже более двадцати лет он хранит красную книжечку комсомольской путевки, в которой сказано: «Товарищ Шейбак Петр Павлович по призыву Коммунистической партии и Советского правительства добровольно изъявил желание самоотверженно трудиться на важнейших стройках и предприятиях в восточных и северных районах страны и направлен комсомольской организацией Ленинградского района гор. Москвы на строительство в Магаданской области». Он как раз тогда только демобилизовался из армии. Была невеста, Зоя, вместе решили поехать. От Находки пароходом «Иван Кулибин» — две недели. В Охотском море попали в 12-балльный шторм, все лежали пластом. В Залив Креста, точно помнит, вошли 13 августа, на рассвете. Холод, ветер, снег...

— Ну, нас и одели, — вспоминает Петр Павлович, — соответственно для Севера. Каждому вместе с путевкой вручили полушубок и валенки... Еще подарили фотоаппарат, запечатлевать, так сказать, красоты Севера, и ружье — на случай встречи с медведем, наверное... Здесь сразу принялись за сооружение главного корпуса ЭРЭС, вот этого, где находимся. К зиме надо было успеть поставить конструкции и стены, потому что здесь зимой ветра такие... До шестидесяти метров в секунду! Сейчас, кажется, и не бывает таких ветров. Крыши снимало, самолеты переворачивало... Один у нас щупленький, легонький такой был — кирпичай, бывало, в карманы наложит и так ходит, чтоб не унесло. А снегу!.. Приехали как-то артисты из Омска, поселили их, на другой день — концерт. А они звонят: не можем выйти... Бульдозер рыл, рыл, только через день и отрыл!.. Когда мы, строители, свое дело сделали, энергомонтаж прибыл, курсы организовали: турбинистов, машинистов котлов. Я пошел, сейчас старший машинист турбинного отделения... И семья здесь, трое детей, старший сын из армии осенью вернется. Для него здесь — уже родина. Мы начинали — по сто человек в бараке жили, снег в чайнике растапливали, а теперь квартиры со всеми удобствами: электропечи, ванные, телефоны, телевизоры... Свежее молоко, яйца, огурцы, помидоры — регулярно...

С главным инженером ЭРЭС Юрием Алексеевичем Злобиным мы прошли по электростанции, он пояснил, что оборудование ее — котлы и турбины — частично чехословацкое, частично наше, из Калуги и Белгорода. Общая мощность — 24 мегаватта. Сейчас разрабатывается проект 3-й очереди, с ее пуском мощность увеличится вдвое... Топливо на ЭРЭС используется местное, чукотское — анадырский и беринговский уголь. Отходы ЭРЭС тоже не пропадают, на их базе действует бетонный цех завода стройматериалов. Этот же завод станция снабжает технологическим паром. Так что дома в поселке строятся из своих блоков...

— Электростанция с поселком, — продолжал далее Юрий Алексеевич, — соединяется теплофикационным каналом, он же служит как подземный переход. Длина — около семисот метров. Имеет разветвления: в главный корпус, в тепломехзех, в ремстройзех... На лето мы его закрываем, а зимой работники станции пользуются. Наверху пурга, а человек идет себе в тишине, в тепле — на работу, с работы или, положим, в бассейн. В спорткомплекс тоже есть выход...

Мы посмотрели и спортивный комплекс, расположенный здесь же, на территории электростанции, — с большим спортивным залом, с бассейном и вышкой для ныряния, с отдельным, как водится, «лягушатником» для детей, с кварцевыми лампами для загара.

— Заметьте: единственный пока бассейн на Чукотке! — вставил Асоцкий.

Посмотрели и ряды теплиц, где зрели не только огурцы и помидоры, но, как мне сказали, в прошлом году «арбуз сняли — на 8 килограммов». Потом перешли в коровник, в птичник. Коровник был сейчас пуст, стадо паслось невдалеке, на берегу озера, а в птичнике толклось и гомонило около восьми тысяч кур и цыплят.

— Это уже наша порода, чукотская, морозоустойчивая, — сказал Злобин. — А вот коров регулярно приходится закупать на материке. Летом им здесь хорошо, а зимой стоят много, без движения. С сентября по май. Слабеют... Сено скоро им привезут, комбикорм. Одного сена — триста тонн... А птичник строим новый, там все механизировано: поение, кормление, уборка... На двадцать тысяч кур! С новым птичником мы не только Озерный, мы весь район яйцами обеспечим!.. Да, пчел еще не забыть заказать, четыре улья, они нам опыляют в теплицах, — озабоченно прибавил Юрий Алексеевич.

Николай Иванович вдруг засмеялся:

— Тебя послушать, Юрий Алексеевич, — как будто не с главным инженером крупного предприятия говоришь, а с председателем колхоза! А ведь был случай, — прибавил Асоцкий, обращаясь ко мне, — когда товарищ Злобин только приехал на электростанцию и не знал ничего о подсобном хозяйстве. Приходят к нему: «Подпишите наряд?» — «Какой наряд?» — «А на цепи». — «Какие цепи?» — «А для коров». — «Это каких таких еще коров? Вы что, меня разыгрываете?!» А сейчас, пожалуйста: пчелы им еще понадобились!..

— Да, складывается впечатление, будто пчелы — единственная ваша проблема, — поддержал я. — Вот такой «ведомственный оазис»!

— Что «ведомственный» — это верно, — согласился Злобин, возвращаясь к своему статусу энергетика. — Главные наши проблемы — в изолированности станции и в дорогоизнне электроэнергии, которую мы даем. Обе проблемы закольцованы. Ну, высокая себестоимость нашего киловатт-часа понятна — нам одно топливо во что обходится! Десять рублей за тонну угля уже считается для тепловых электростанций дорогого, а мы платим 128 за тонну... В цене киловатт-часа — шестьдесят процентов цены топлива. А также транспорт, рабочая сила, жилье, объекты бытового обслуживания. Так что цена установлена, исходя из местных условий. И чем больше имелось бы у нас потребителей, тем энергия становилась дешевле. А мы, по сути, обслуживаем из предприятий один комбинат. Есть многие разбросанные по тундре производственные участки Северо-востокзолота, работающие на своих дизелях. Точка зрения этого объединения — обойдемся собственной, «дешевой» энергией. Но это еще неизвестно, что дешевле, — протянуть один раз ЛЭП или же регулярно завозить горючее, строить емкости, содержать транспорт, рабочую силу. Тут посчитать бы, договориться, а нам ведомственные барьеры мешают, различных ведомств очень много... В итоге — работаем с половинной нагрузкой. Билинская АЭС — тоже не на полную мощность. А все потому, что нет разветвленной сети ЛЭП, нет единого на Чукотке энергетического кольца. Вот и выходят — «ведомственные оазисы»! — заключил Юрий Алексеевич.

Итак, даже здесь, на этом образцовом, без преувеличения можно сказать, прекрасном предприятии, много лет заслуженно носящем звание — предприятие коммунистического труда, сетовали, что кто-то где-то не хочет «посчи-

тать». И были правы. Ибо для понятия комплексного освоения какой-либо территории мало иметь в наличии необходимые составные этого комплекса (вот как, скажем, в Иультинском районе — горнодобывающее предприятие, электростанция, дороги и транспорт, жилые поселки и т. д.), но эти составные должны еще и развиваться гармонично, в связи и согласии друг с другом, и, может быть, управляемые одним хозяином, а не различными ведомствами. Эффективность же такого гармонического развития уже вычислена, и не где-нибудь, не за тридевять земель от Чукотки, а, например, в том же Магадане, в Северо-Восточном комплексном научно-исследовательском институте. В подтверждение сошлюсь на сборник статей «Экономические и исторические исследования на Северо-Востоке СССР», выпущенный этим институтом в 1976 году. Вот статья сотрудника института Б. Х. Краснопольского «Социально-экономические проблемы формирования инфраструктуры хозяйственных комплексов в районах Севера Дальнего Востока». Возникшая в последнее время ветвь экономической науки — региональная экономика — выделяет инфраструктуру производственную и социальную. К производственной инфраструктуре относятся отрасли народного хозяйства, обслуживающие непосредственно процесс производства, — транспорт, связь, материально-техническое снабжение и т. д. К социальной — такая группа отраслей, как жилищное строительство, торговля и общественное питание, здравоохранение, бытовое обслуживание населения, просвещение, культура... Автор статьи прослеживает различные связи — «прямые, обратные, непосредственные и опосредкованные» — инфраструктуры и общественного производства. Привожу лишь главные выводы. «Развитие народного хозяйства Магаданской области, — пишет Б. Х. Краснопольский, — подчинено решению задач, стоящих перед основной отраслью данного региона — горнодобывающей промышленностью, целью которой является добыча цветных металлов с минимальными затратами. Такое подчинение ставит в зависимость от достижения цели развитие инфраструктуры. На определенном этапе это может привести к сдерживанию или гипертрофированному изменению ее развития в ущерб основной цели — повышению благосостояния населения на этой территории, что в конечном итоге вызовет замедление темпов развития производительных сил области. В частности, ориентирование на добычу россыпных месторождений с кратким сроком отработки и завоз грузов автозимниками на

Чукотке сдерживает транспортное строительство, которое создает важные объекты производственно-социальной структуры, и приводят в конечном итоге к необеспеченности объектами культурно-бытового назначения, ибо после отработки месторождения элементы социальной инфраструктуры зачастую становятся ненужными. Однако отсутствие транспортной сети и сравнительно низкие условия быта горняков могут оказаться тормозом на пути повышения производительности их труда в настоящее время и в особенности в будущем, ибо инфраструктура — это плацдарм для освоения ресурсов».

Чтобы иллюстрировать и оживить это суховатое, но совершенно справедливое научное изложение, можно привести примеры из практики Иультинского района: объединение Северовостокзолото, в подчинении которого находится Иультинский комбинат, горится за «минимальными затратами», не строит круглогодичную дорогу на «Светлый», не тянет туда ЛЭП, ограничивает средства на жилищное и прочее строительство и в результате — не имеет плана на этом комбинате или имеет его с перебоями, ценой «самоотверженного труда» горняков.. Председатель старательской артели «Арктика» П. К. Коротких — не думаю, чтобы ему попадалась на глаза упомянутая статья! — вкладывает средства в «производственную и социальную инфраструктуру» и — дает несколько годовых планов!. Кстати, помимо производственного эффекта есть и другие аспекты, в которых можно рассматривать необходимость создания инфраструктуры, аспекты социального и даже морального характера, — например, привлечение и закрепление на Севере рабочей силы. На кого, на какое население могут рассчитывать так называемые «вахтенные поселки», каких еще немало на Чукотке и где люди по нескольку лет живут в палатках, без каких-либо элементарных культурно-бытовых условий? В основном на людей временных на Севере, готовых пренебречь этими условиями ради высокого заработка или попросту приехавших за «длинным рублем». И возникает что-то вроде негласной, официально нигде, конечно, не зафиксированной договоренности между руководителем и рабочим. Руководитель: «Я тебе — по девятьсот — тысяче рублей в месяц, а что бани нет или в столовой одни макароны, так уж ты — без претензий!» Рабочий: «Ладно, потерплю, зато на материк вернусь, машину куплю, дом отстрою...» Конечно, есть, может быть, и некая гипербола в подобном предположении, но длительность ситуации заставляет думать именно так.

А с другой стороны — такое предприятие, как Эгвекинотская электростанция. Тут все условия, чтобы привлечь, удержать и даже воспитать свои собственные, надежные, квалифицированные кадры. Тот же Петр Павлович Шейбак. Он эту станцию построил, специальность энергетика здесь получил, семьей обзавелся, детей вырастил, и дети его, можно быть уверенным, отсюда не уедут. Чтоб это уразуметь, не надо даже, мне думается, ни «считать», ни вводить понятие «инфраструктуры».

7

Простишись с Юрием Алексеевичем, мы еще сделали круг по небольшому, опрятному поселочку энергетиков, выехали опять на трассу и через несколько минут были в Эгвекиноте.

— Да! — расставаясь со мной возле гостиницы, вспомнил неугомонный Асоцкий. — Знаете, какая еще достопримечательность у этой станции? Она расположена точно на пересечении Полярного круга со сто восьмидесятым меридианом!

В другое время эта деталь, несомненно, произвела бы на меня впечатление, но сейчас я уже так был перенасыщен впечатлениями, что не мог более ничего воспринимать. Пора было готовиться к отъезду. Я уложил чемодан и сел у окна своего номера, глядя на серое, мрачноватое небо над Эгвекинотом, гадая, будет ли завтра летная погода. Прямо напротив, за домами, начинался узкий распадок, зажатый между двумя огромными сопками: одна голая и черная, как терракон, на другой все же имелась какая-то зелень. На черной сопке более светлыми камнями были выложены имена: Люда, Коля, Кузя... — и все их забивала своими размерами надпись: «Наташа + Сергей». И вдруг, читая эти надписи и созерцая улицу под окном с редкими прохожими, я ощущал себя не человеком, осуществившим желанный замысел — вернуться еще раз на Север, попутешествовать по Чукотке, — но просто командированным, чьи служебные дела закончились, и он вынужден коротать время до отъезда в поселке, где никого не знает и где все заняты своими житейскими делами. Видимо, резкий переход от поездок, встреч, знакомств, разговоров, вникания в «проблемы» вот к этому внезапному уединению и неподвижности так угнетающее на меня подействовало. Чтобы избавиться от этого грустного чувства, я пошел побродить, углубился далеко в этот распадок, оказавшийся довольно

живописным. Шумела там в тесном каменном русле чистейшая горная речка, нависали над нею скалы, остро пахло вечною сыростью земли и камня. Потом долина совершенно сузилась и привела к небольшому, метра три высотой, но внушительному в этом одиночестве водопаду: основной его поток низвергался спокойно и мощно, а сбоку, из-за камня, вылетала еще струя — снизу вверх, будто с трамплина. На середину круглой, выбитой водопадом чаши с берега была проложена доска — неужели кто-то окунался в эту ледяную купель?..

Двухчасовая прогулка меня взбодрила и одновременно как-то успокоила — я вернулся в гостиницу с намерением напиться чаю и лечь спать. Но тут позвонили и пришли в гости Виктор Васильевич Жиганов и Асоцкий, да вдобавок мы встретили еще Петра Константиновича Коротких, приехавшего в Эгвекинот по своим председательским делам. Пошли поужинать. В меню значились свежие помидоры — с Озерного. Зал был почти пуст, но оркестр добросовестно и на полную мощь исполнял всю свою программу. «Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и Молдаванка, и Пересыпь...» — В этом месте оркестр умолкал, и певец объявлял торжественно: — «...и Магадан, и Иультин, и Залив Креста — обожают Костю-моряка!»

— Ну что, Петр Константинович, дадите третий план? — спрашивал Жиганов.

— Дадим, — твердо отвечал Коротких.

— Да он у тебя уж, наверное, есть, припрятан где-нибудь в распадке! — смеялся Виктор Васильевич.

Кстати, как-то глубокой осенью, когда я уже вернулся в Москву, Петр Константинович неожиданно позвонил мне из Внукова — пролетом, ехал в отпуск на юг — и на мой вопрос об успехах артели сказал своей бойкой, деловой скороговорочкой: «А как же? Как и грозились: два годовых по олову, три — по вольфраму!»

На ночь сопку с именами заволокло сверху донизу не то облачностью, не то туманом, но к утру прояснилось совершенно, и я улетел в Анадырь. «Як-40», набирая высоту и разворачиваясь к выходу из залива, прошел над Озерным, над первыми километрами трассы, над Эгвекинотом, и я, наклонясь к иллюминатору, смотрел на все это с ощущением, что появился у меня еще один уголок Чукотки, делами, заботами и радостями которого я всегда отныне буду интересоваться, беспокоиться, жить.

Август, 1978

Прощание с Уэленом

1

Интересно, что когда-то, долгое время живя безвыездно в Уэлене, я не написал о нем ни строчки. Хотя, казалось бы, чего проще: вышел на крыльцо, посмотрел, как киты гуляют вдоль берега, и — запечатлел! Сходил к Берингову проливу, в старинное эскимосское селение Наукан, вернулся и — отобразил! Увидел, как старик Нутетегин исполняет сочиненный им танец Ворона, и — постарался описать! Уверен, что все это действительно заслуживало и заслуживает описания: и китов не с каждого крыльца увидишь, и Наукан — необыкновенное место, одно из самых, я считаю, замечательных мест на земле, и Нутетегин был великий мастер... Но, видимо, есть все же определенный смысл в древней восточной поговорке, гласящей, что книги — это не что иное, как всего лишь персты, указующие на ясный месяц. «А если ты видишь месяц, зачем тебе перст?» Следовательно, могу теперь полагать, что мне повезло и я смотрел тогда непосредственно на ясный месяц — что, в общем-то, для Уэлена, имея в виду его долгие полярные ночи, можно истолковывать и буквально...

Когда же я уехал с Чукотки, — думая наивно, что навсегда, — то первым желанием, которое я ощутил, было — опять туда вернуться. В подобном стремлении ничего нового, ничего оригинального нет — любой человек, хоть раз побывавший на Севере, подтвердит это. И, несмотря на то что многим оно знакомо, никто до сих пор этого странного влечения как следует толком не объяснил, разве что коротким загадочным словом — «тянет»... Причем меня тянуло не просто на Чукотку, а именно в Уэлен, что тоже понятно каждому северянину, ибо патриотов в о б щ е Чукотки нет, но есть приверженцы «своего» Певека, «своего» Билибино, Бухты Провидения, Иультини... Вот тут-то я и начал вспоминать и писать об Уэлене: и о китах, и о штормах, и о северных сияниях, о тундре за лагуной, о линии сопок на юге, о стариках чукчах и о своих учениках. Это была, выражаясь пушкинским слогом, вдруг открывшаяся

мне счастливая возможность «вновь посетить». Затем, в связи с писательской работой, такая возможность представилась и в действительности, я не раз ездил в Уэлен, хотя это не означает, что всякий раз добирался, — по причине для Чукотки весьма обычной и прозаической: или в Уэлене не было погоды, или в аэропорту, где я сидел, не было погоды, а дни, отведенные на поездку, между тем истекали. Путь от Москвы до Уэлена сам по себе не близкий, более двенадцати тысяч километров, так что, если сложить все эти пятизначные числа да помножить на неоднократные мои попытки, получится не только очень длинная, но еще и очень долгая, растянувшаяся на десяток лет дорога. На самолетах, вертолетах, на зверобойных шхунах, вельботах, вездеходах, в тракторных санях, на собаках, пешком и, повторяю, — в воспоминании... Зато по дороге в Уэлен — я подчеркиваю это — мне довелось побывать во многих других местах Чукотки, которых я прежде никогда не видел: вот сейчас на мысе Биллингса, острове Врангеля, в Заливе Креста, еще раньше — в Билибинском районе, в Бухте Провидения, в Мечигменской тундре... Конечно же я не мог не сравнивать новые для меня поселки, берега, косы, заливы, сопки и тундру с моим Уэленом, который я помнил, с его берегом, лагуной, сопками и тундрой, и пришел в результате к грустноватому для моих привычных патриотических чувств, но справедливо-му, наверное, выводу, что если бы мне с самого начала пришлось жить и работать в каком-нибудь из этих вновь узнанных мест, то и конечная цель моего путешествия называлась бы по-иному. Хотя это все равно было бы путешествие по Чукотке...

Но все-таки я жил и работал в Уэлене! И потому направлялся теперь в самый дальний конец Чукотского полуострова — «в свой угол». Пассажирский на Лаврентия уже ушел, но у диспетчера отдела перевозок я выведал, что готовится спецрейс по заказу Чукотторга, и договорился, чтобы меня взяли. Вдоль бортов «ИЛ-14», надежного, незаменимого на Севере работяги, стояли штабели ящиков с помидорами, в переднем углу оставалось два сиденья — как раз женщине, сопровождающей груз, и мне. Летели напрямик, без посадки в Провидения, долго. Самолет иногда потряхивало, пошатывались и поскрипывали ящики, женщина привычно дремала. Струились опять горные цепи с узором снежников: круги, овалы, вертикальные и горизонтальные штрихи, кривые... — узором, всегда вызывающим чувство, будто горы пытаются, все-таки надеются что-

то вам растолковать этим немым и загадочным, как пиктограмма, языком. Открывались равнины, испещренные таким количеством озер, что казалось, это не озера в тундре, но отдельные зеленовато-коричневые островки сушки плавают посреди единого пространства темной воды. Остались позади тесные величественные фьорды Залива Креста, Бухты Провидения, пошли характерные для этих мест широкие, открытые заливы с пологими берегами, плавно и постепенно возвышающиеся вокруг сопками. За несколько минут перелетели Мечигменскую лагуну, которую мне однажды, в сильнейший штурм, довелось переплыть на вельботе — в течение восьми часов. Прошли над селом Лорино, напротив него в море виднелись две «коробки». Стоял август — пора генгрузов...

В Лаврентия уже совершенно как дома. Среди встречающих самолет обязательно видишь лица многих старых знакомых и друзей. Через пять минут устроен, через полчаса знаешь все самые последние, самые разнообразные новости, и не только лаврентьевские, но и уэленские, да и всего района. Например, что такой неустойчивой погоды, как в это лето, не помнят даже чукотские старики. Что наконец-то на сопке над поселком начали копать котлован под фундамент для «Орбиты», к 80-му году обещают телевидение. Что в Инчоуне «пьяный пароход» уже разгрузился, а в Уэлене и Лаврентия еще нет. Что на уэленской косе закрыли «полосу», теперь «Аннушка» летом туда не ходит, только вертолет. А в Нуњамо никого не осталось, жители переселились — часть в Лорино, часть в Лаврентия. И что учебный год, можно сказать, на носу, а в уэленской школе до сих пор не отремонтирована отопительная система, потому что нет нужных труб, вот-вот должны забросить из Анадыря вертолетом... Да, а районного рыбинспектора недавно застигли на Мамке за браконьерством: ставил сети, потрошил кету и горбушу, заготавливал себе икру... Да мало ли чего не порасскажут вам тут же, при встрече, — в местах, где почти все друг друга знают и где жизнь можно наблюдать, «будто в пробирке», как выразился один знакомый журналист. И в этих первых сумбурных разговорах помимо прямого, непосредственного всегда таится еще один, скрытый, но очень важный и отрадный для вас смысл — эти разговоры как бы подтверждают, что и вас здесь знают и помнят и по-прежнему считают своим... Парадоксально, но выходит так: о местах незнакомых, увиденных впервые писать легче, потому что в таких случаях между узнанным и затем рассказани-

ем можно смело ставить знак тождества, самые общие вещи для вас вновь, и вы не колеблясь сообщаете о них читателю. Спокойно, например, мог я прежде написать, что Эгвекинот — административный центр Иультинского района, но сказать теперь, что Лаврентия — центр Чукотского района, для меня уже равносильно такому азбучному утверждению, как «Волга впадает в Каспийское море»... Можно было бы, конечно, не оглядываясь на предполагаемого несведущего читателя, просто сосредоточиться на том главном и новом, на тех переменах, которые произошли в этом уголке Чукотки за последние годы, однако так давно и близко знаю я эти места, так соединились они с моей жизнью, столько личного и дорогое связано у меня с этими местами, что очень трудно мне отличить здесь главное от второстепенного и любая мелочь, любая незначительная подробность кажется мне заслуживающими самого пристального рассмотрения.

Кстати, о переменах. Сам-то Лаврентия, или, пользуясь языком старожилов, «Лавра», принадлежит к тем небольшим окраинным поселкам, в обличье которых новые черты пропускают так медленно и постепенно, что они незаметны беглому взгляду. По дороге из аэропорта посмотрите: тот же Дом культуры в центре поселка, высокий и массивный в сравнении с окружающими домами, та же неподалеку котельная с горою угля возле закопченной стены, дощатые короба теплотрассы, рассекающие поселок во всех направлениях, мостики через них... Рядом с гостиницей все то же одноэтажное здание райкома и райисполкома, выкрашенное в неизменную зеленую краску, так его здесь и зовут: «Зеленый дом». От него начинается самая первая улица поселка с длинными, барабанного типа строениями, сохранившимися еще со времен кульбазы; на одном из них небольшая мемориальная доска: «Здесь в 1934 году жили челюскинцы». В конце улицы — больница... Все вроде как прежде — неброская, неспешная жизнь. Потом еще раз пройдешься по поселку, обнаружишь и перемены: не там столовая, попросторней разместилась почта, переехал книжный магазин. На окраине целый строй двухэтажных домов, которых не было раньше, новое прекрасное здание школы, детский сад, заканчивается строительство новой вместительной гостиницы... Всякая прогулка по поселку, стоящему у моря, разумеется, приводит в конце концов на берег. Я постоял, вдыхая запах именно этого моря или даже так: вдыхая запах моря именно в этом месте. Мне кажется, перенося меня с закрытыми глазами, ставь на

берегу, и я буду называть: это залив Лаврентия, это Берингов пролив, а это запах Чукотского моря в Уэлене... Дул ровный и сильный ветер с севера, было солнечно, ясно — при северном ветре в Лаврентия всегда ясно, — и все сверкало, переливаясь и слепя глаза, как бывает, когда в воздухе очень много влаги. По заливу, недалеко от берега, гоняя рыбу, взад-вперед ходили косатки. Их черные, металлически гладкие, лоснящиеся спины с острым зубцом плавника возникали на поверхности через равные промежутки времени и с удивительным согласием, словно не принадлежали отдельным существам, но были частями какого-то единого отлаженного, работающего под водой механизма... Любаясь, я оглянулся — видит ли кто еще? Неподалеку на высоком помосте лежала большая цилиндрическая емкость, рядом на холостом ходу поколачивал трактор с волокушей, уставленной бочками. Тракторист, местный парень, равнодушно повернувшись к заливу спиной, сливал из емкости горючее. И теперь я смотрел то на спины косаток, с прежней размеренностью возникавшие из воды, то на спину этого парня: так он и стоял, широко расставив ноги, на своих бочках, дожидался, пока наполнится одна, переносил конец шланга в другую... И вот эта невозумная脊ина меня, признаюсь, поразила! Я вспомнил, как много лет назад шел с эскимосами на вельботе по Беринговому проливу, и вдруг прямо перед нами, по ходу вельбота метрах в тридцати, всплыл кит. Надлежащего оружия — тогда китов стреляли из ПТР — у нас не было, да и не управились бы мы с китом на одном вельботе, а все равно один из эскимосов схватил и в азарте вскинул двухстволку. Нет, разумеется, он не выстрелил, его азарт настоящего охотника вовсе не отождествлялся с бессмыслицей, но он позволил себе... он не мог лишить себя удовольствия хотя бы прицелиться, хотя бы из дробовика... А этот потомок древних морзверобоев ни разу даже не обернулся... Я потому столь подробно описываю всю эту картину, что впоследствии — и приехав в Уэлен, и уехав оттуда — не раз вспоминал ее, и наконец она стала для меня символом многих, найденных в этом kraю перемен.

2

От Лаврентия до Уэлена всего-то восемьдесят километров, но эти поселки стоят на берегах разных океанов, и поэтому хорошая погода совпадает в них крайне редко.

При южном ветре в Лаврентия штурм, а в Уэлене, по ту сторону полуострова, море спокойно. Над Уэленом низкая облачность, а в Лавре солнышко и голубое небо. Все эти варианты в самых различных сочетаниях: солнце и ветер, ветер и дождь, туман и шторм и т. д. — могут чередоваться здесь, на кончике материка, месяцами. Я поспел в Лаврентия как раз к концу этого тягостного срока и ждал по чукотским меркам всего ничего: дня четыре. За это время пришел из Анадыря «МИ-6», тот самый, с трубами для уэленской школы. На нем я и улетел. В полу огромного, как вагон, вертолета зиял разверстый квадрат люка — там, несколькими метрами ниже, на подвеске плыли увязанные трубы. Совсем далеко внизу, в километре, пестрела по осеннему нарядная тундра: зеленые, золотистые, красноватые, фиолетовые пятна. Через какой-нибудь месяц-полтора все это разнообразие цвета исчезнет и залитая сентябрьскими дождями тундра станет блеклой, монотонно-бурой, унылой. Ну, а сейчас солнечный свет еще более оживлял, украшал ее, тундра отражала этот веселый свет, и снизу, через люк, он врывался в вертолет, прорезая полумрак салона...

А я вспоминал, как мне впервые наконец удалось попасть в Уэлен, — впервые за десять почти лет с тех пор, как я его покинул. Это было в апреле позапрошлого, 76-го года. В Лаврентия я прилетел из Анадыря поздно. Смеркалось, погода явно портилась, рейсов в Уэлен в тот день было много, и то, что летчики согласились сделать еще один, я воспринял как чудо, — впрочем, как чудо, достойно венчающее все мои предыдущие усилия... «Аннушка» на взлете перенеслась через залив и пошла невысоко над горами. Кроме меня пассажиров собралось всего двое — знакомые уэленцы: косторез Василий Емрыкан и мой бывший ученик Витя Ивитук, когда-то тоненький, худенький эскимосский мальчик, а теперь взрослый, здоровенный мужчина, тракторист в совхозе. Спутники мои сидели спокойно, я же то и дело переходил от борта к борту, смотрел то в одно окошко, то в другое. Прямо под нами медленно, сменяя друг друга, плыли сопки, такими доступными выглядевшие сверху, что, казалось, можно было просто перешагивать с вершины на вершину. Был вечер, солнце садилось там, где ему и положено было садиться в это время года, — на юго-западе, то есть позади нас, потому что мы летели на северо-восток. Уже в Лаврентия начинался ветер, а здесь по долинам вовсю мело, поднималась снежная мгла, и низкое солнце и сумерки, соединившись, окрашивали эту

непрозрачную мглу во множество тонов, от розового до темно-фиолетового... Был момент, когда я испугался, что мы все-таки повернули и возвращаемся, но нет — солнце оставалось по-прежнему сзади. Тогда пора было бы показываться замыкающему полуострову массиву Дежневского мыса и островам Диомида за ним, но, видно, нечего было и надеяться разглядеть их по такой погоде. Наконец мы очутились над последней невысокой грядой, дальше начиналась тундра и Ледовитый океан.

«Вон Уэлен», — сказал Емрыкайн, указывая вперед, но я уже и сам различил его: на заснеженном сумрачном горизонте еще более темную полоску. Я знал, что и нас сейчас можно заметить из поселка — маленькую черную точку посреди яркого закатного неба, — и уэленцы сообщают друг другу: «Самолет!» Через несколько минут мы сели на лед уэленской лагуны. Жители чукотских поселков любят встречать первые рейсы — с почтой, пассажирами, новостями, — к прочим же, обычно грузовым, теряют интерес. Поэтому я не удивился, что никто не подошел к нашему позднему самолету, да и сам он, тотчас развернувшись, уже удалялся — летчики спешили возвратиться в Лаврентия до окончательной темноты и непогоды. Попутчики мои разошлись, а я остался один стоять на лагуне, глядя на поселок и не торопясь входить в него, продлевая этот первый миг встречи, это ощущение, когда я вроде бы и приехал в Уэлен и еще не приехал окончательно, не сделал последнего шага. «Постой, постой, помедли, — говорил я себе, — будут встречи, друзья, радостные мгновения узнавания, долгие разговоры, а этот миг, наедине с целым поселком, больше не повторится...» И вот, пока я так стоял и смотрел, от ближнего дома все-таки отделилась и направилась ко мне какая-то фигура; судя по длинной камлайке и характерной для пожилых чукчанок слегка переваливающейся походке, — женская. Когда она подошла, я узнал ее, это была Люба Калякванау, работавшая когда-то у нас в школе уборщицей. Ее большие темные глаза сияли, широкое круглое лицо казалось еще круглее в обрамлении камлечного капюшона и еще шире — от веселой, простодушной улыбки, которую я мог бы приписать радости встречи со мною, если бы не был уверен, что Люба меня, конечно, не помнит, и если бы не знал, что это обычное, свойственное ее лицу выражение, ее всегдашний, неизменный привет — не чему-то в особенности, а разом всему бытию... И на Любу я смотрел с тем же двойственным чувством, что и на поселок: с волнением — оттого что вблизи, и спокойно —

потому что из страшного далека, с расстояния своего десятилетнего отсутствия. Она же, приблизившись и разглядев меня в сгустившихся сумерках, сказала, так знакомо на чукотский манер непередаваемо смягчая и приглушая согласные и ничуть не удивившись: «Етти, Васильевский! Здравствуй! Ты опять в школа будешь? Учитель?» Ее слова вывели меня из философски-воззвшенного, созерцательного оцепенения, я вдруг ощутил, что никакого «страшного далека» нет, и понял, что не «вновь я посетил», а попросту вернулся...

Нынешний мой приезд в Уэлен выглядел не так торжественно, как в прошлый раз. Едва вертолет опустился на косу километрах в восьми от поселка, как подошла грузовая машина, набитая уэленцами, жаждущими попасть в Лаврентия. Тут же вся толпа кинулась в вертолет, кого-то я в этой суматохе рассмотрел, кого-то не рассмотрел — должен был согнувшись отвернуться от песка, поднятого и гонимого винтами «МИ-6», а когда ветер и пыль улеглись, заметил, что на меня, молча улыбаясь, глядит из кабины уэленский старожил Коля Шкилев, точнее, Николай Митрофанович, большой теперь человек в ККП — комбинате коммунальных предприятий. Он довез меня до поселка и поместил во вверенную ему гостиницу, в номер люкс. Под гостиницу было оборудовано старое здание нашего школьного интерната, а в маленькой комнатке люкса я узнал бывшую воспитательскую.

3

...Я заснул под шум близкого прибоя, а наутро, проснувшись, в первые мгновения ощущал только, что я опять где-то на новом месте, и — забавно! — возникла привычная мысль: пойти отыскать для начала какого-нибудь старожила, расспросить его, как здесь жили раньше... И засмеялся, вспомнив: ведь это Уэлен, ведь это я — старожил и это у меня, у меня можно узнавать, как здесь жили раньше!... «Вот теперь, — сказал я себе, — ты действительно приблизился к самому концу своего путешествия, приехал к себе, и никуда не надо больше спешить, гнать, никого не надо разыскивать, ни о чем расспрашивать... Да и вообще: могу я наконец устроить себе отпуск?! Поброджу по уэленской косе, по сопкам и скалам, половлю рыбу на Пилгыне, схожу с чукчами в море на охоту...» И мне в самом деле удалось пожить в Уэлене с этой успокоительной мыслью, с этим

легким, беспечным ощущением, но — увы! — пожить недолго, первые день-два, пока я, как и собирался, гулял по берегу, по «своим» сопкам, смотрел сверху, со скал, на небольшой еще накат волн. С высоты, от маяка, хорошо было видно белую неровную ленту пены на многие километры вдоль берега, видно было, что волны бьют в берег не прямо, а стремятся под углом к нему, с северо-востока, и не ослабевают разом, на всем протяжении прибоя, но в любой момент в каком-то месте возникает свой девятый вал и выплескивается дальше всех на косу отдельным длинным языком... И все это было без перемен: коса, море, скалы, сопка... Ну, разве что надломился и упал в воду высокий камень, торчавший когда-то из моря в стороне, под скалами. Уэленская сопка в этом месте порезче выходит и обрывается к морю, и как раз под этим обрывом высился узкий отвесный каменный столб. У чукчей такие выступающие из моря рядом с берегом камни называются одним, но обстоятельным словом «энмытагныяраквын», то есть буквально — «отдельный камень конечной скалы». Видимо, не устоял наконец перед осенними уэленскими штормами...

Зато сам Уэлен, сам поселок переменился чрезвычайно. В прошлый мой приезд, два года назад, зимой, это почему-то не так бросалось в глаза — может быть, из-за обилия снега. Сейчас было лето, весь поселок был на виду, — к тому же я отдал дань воспоминаниям и трезво мог воспринимать его новый облик. *Самое первое* впечатление от нынешнего Уэлена: он весь похож на строительную площадку, а лучше сказать — на склад строительных материалов. Горы угля, штабели бревен и досок, груды кирпича и бетонных блоков, щебень и железные трубы лежат под открытым небом по всему поселку. Многое из этого перезимовало, конечно, под снегом и, судя по тому, что новый снег близко, будет зимовать еще... А пароходы подвозят все новые материалы, на подходе, говорят, «Туруханск» — тоже с лесом и железобетонными конструкциями. Уэлен строится, точнее, перестраивается. Что представлял собой поселок каких-нибудь пятнадцать лет назад? Одну очень ровную, прямую и чистую улицу вдоль косы длиною примерно в километр. По сторонам — по два ряда деревянных домиков из привозного бруса, иногда оштукатуренных, большей частью нет. В трех-четырех местах эти стройные ряды прорезались длинными, обитыми железом строениями — складами. Была в Уэлене и площадь, естественный центр: по углам ее находились школа, магазин, столовая, клуб. Здесь в пого-

жение летние вечера любили собираться старики, молодежь играла в волейбол, в сторонке стояли заряженные ружья. Из-за лагуны приближалась огромная, собравшаяся к перелету стая уток — все хватали ружья, палили, расходились подбирать добычу. И опять возобновлялись: у старииков — их беседы, у молодых — игра... С моря подходили охотники на вельботах с добычей, с моржами или китом, весть эта сразу распространялась по поселку, все, даже старухи и дети, высыпали на берег помогать вытаскивать вельботы, разделять зверей, просто смотреть. Все друг друга знали... Словом, обычный чукотский поселок с его обычной, общей для всех жизнью. От других поселков на побережье Уэлен отличался лишь своим географическим положением, своим статусом «самого северо-восточного поселка в стране», и, видимо, это особенно привлекало к нему многих корреспондентов, художников, фотографов. И все, что им было надо, они здесь находили — рисовали, снимали, описывали чукчей в кухлянках, собачьи упряжки, огромные столбы из китовых костей...

Наверное, это особенное положение и слава Уэлена привлекли к нему и внимание архитекторов. В 66-м году в поселке появилось первое двухэтажное здание — школа. Строили ее долго, несколько лет, наконец сдали. До того нам приходилось работать в старенькой, еще деревоизационной постройки, школе. Было в ней, конечно, тесно, классы маленькие, разгорожены фанерными стенками, голоса учителей во время объяснения мешались, заглушали друг друга. Отапливала школа, как и все дома в поселке, печками, к утру классы нагреваться не успевали, ученики и учителя сидели в пальто. Назначишь, бывало, по плану на первом уроке письменную работу, а чернила еще не оттали, на ходу перестраиваешься, рассказываешь что-нибудь, читаешь. Учительская была крохотная, наглядные пособия хранить негде, большая часть их так и лежала на холодном школьном складе вперемешку со снегом. Иногда вместо первых уроков все учителя и ученики постарше занимались тем, что откапывали школу — после вчерашней пурги... Да, а все-таки славное, как вспомнишь, было время!.. Новая школа в сравнении с прежней выглядела просто дворцом: просторные классы, большой спортзал, мастерские, своя котельная, водяное отопление. В том же году принялись строить в Уэлене также новый детский сад и ясли, и примерно в это же время замелькали в прессе фотографии «завтрашнего» Уэлена. Это был пока лишь макет, наглядное воплощение мысли магаданских архитекторов из Даль-

стройпроекта,— очень красивый, как и все макеты такого рода: на гладком темном оргстекле, обозначающем участок уэленской косы, аккуратный ряд белых пластмассовых прямоугольничиков, обозначающих дома. Здания вытянуты поперек косы; судя по количеству полосок, изображающих окна, они — четырехэтажные. Поселочек ладный, компактный, всего в шесть домов, между которыми, как раз посередине, еще одно П-образное здание, пониже прочих: в нем, видимо, должны были сосредоточиться учреждения административного, культурного, бытового назначений. И все дома, как это принято теперь в проектах северных городов и поселков, соединены насквозь единой, прямой, приподнятой на столбах до уровня второго этажа крытой галереей — на случай непогоды. Так и воображаешь себе пургу и мрак за темными большими окнами, а внутри этой галереи — яркий свет, вечнозеленые деревья в кадках!.. До сих пор у меня сохранился журнал «Магаданский оленевод» за 68-й год, в котором на одном из разворотов помещены рядом две большие фотографии. На одной — тогдашний, «живой», заснеженный одноэтажный Уэлен с новенькой школой на первом плане, на другой — описываемый макет. Тут же подпись: «Утвержден генеральный план постройки нового поселка на галечной косе. Это будут многоэтажные дома, выстроенные с учетом всех климатических условий Арктики. Генеральный план уже претворяется в жизнь. Началось строительство огромного детского комбината».

Прошло десять лет. Как же выглядит сейчас Уэлен? Повторю, он очень переменился. «Многоэтажных» домов в нем нет, но двухэтажных уже поболее десятка. Кроме школы появился новый прекрасный интернат на двести мест, взамен того старого и тесного, в котором я сейчас жил как в гостинице. Правда, старый был под боком у школы, а новый далеко, полпоселка приходится теперь ученикам пробегать — иногда в пургу, мороз или дождь... Длинное, как корабль, здание косторезки. В прежнем домике мастерской было всего две рабочих комнаты: в одной сидели резчики, в другой, совсем крохотной, ютились граверы. Сейчас и у резчиков несколько цехов, в том числе цех первичной обработки клыка, и у граверов свое просторное помещение, добавился швейный цех, а главное, большой зал отведен под красный уголок, где выставлен художественный фонд мастерской. Одна только беда: старая косторезка была деревянной, с сухим воздухом, а новая — из бетона, поэтому, когда переезжали в сырое, непрогрев-

шееся как следует здание, многие изделия из клыка не вынесли перемен температуры и влажности, полопались. До сих пор в красном уголке стоит огромная картонная коробка, полная обломков расписанных уэленскими мастерами клыков, и склеить эти клыки, вернуть им художественную их ценность, конечно, уже невозможно... Но я все отвлекаюсь — по причине, о которой предупреждал: любая мелочь, относящаяся к Уэлену, кажется мне важной. Вернемся к его облику. Прочие двухэтажки — жилые. Стоят они не в таком уж строгом ряду, как было обещано на макете,— разбросаны по поселку по два, по три, повернуты так и эдак. Никакой северной специфики, никакого учета «всех климатических условий Арктики» в них нет: тот же деревянный брус, штукатурка... Стеклянной пешеходной галереи, соединяющей эти домики, разумеется, тоже нет, да и немало изумились бы ей уэленцы, привыкшие не обращать никакого внимания на погоду, которая переменяется здесь по десять раз на дню... Примерно половина поселка сохранилась в прежнем одноэтажном виде.

Но что сделалось с идеально прямой, гладкой, присматривавшейся когда-то насквозь уэленской улицей?! Ну, естественно, что возросшее количество техники: грузовиков, тракторов, водовозок, вездеходов — подразбило эту единственную и короткую дорогу, бегая по ней из конца в конец, понадело на ней ухабов. Хотя можно было бы, конечно, устроить кое-где и боковые проезды, по сторонам поселка, вдоль лагуны и моря... Но главное, что улица уже и не прямая, и не просматривается насквозь, как бывало, и местами ее можно сравнить с каким-нибудь старым, тесным, кривым арбатским переулком... Известно, что в маленьком поселке каждый человек и дело его на виду, и ясны первопричины всех следствий. Спросите сейчас любого уэленского старожила: «Кто испортил уэленскую улицу?» — и всякий вам ответит: «Спичак». Был когда-то такой прораб в Уэлене, он, по слухам, и теперь работает в каком-то из поселков на юге Чукотки. Он-то и начал перестраивать Уэлен, построил ту самую двухэтажную школу, стены которой, кстати, скоро дали трещины, и ее пришлось капитально ремонтировать посередине учебного года, а дети в это время вынуждены были заниматься в интернате. Потом Спичак принял за «огромный», как написано в «Магаданском оленеводе», детский комбинат. Это были два одноэтажных, но широких дома — детский сад и ясли,— и разместить их почему-то решили на уэленской площади, о которой я уже говорил. Коса узкая: чтобы

детский комбинат встал в шеренгу с прочими домами, надо было предварительно сделать отсыпку на лагуне — навозить щебенки или того же галечника, имеющегося здесь в изобилии. Но то ли Сничак поленился, то ли хотел сделать побыстрее, то ли внес рапределожение с «экономическим эффектом», а в итоге детский сад и ясли загромоздили собой всю площадь да еще перегородили совершенно улицу. После этого Сничак уехал в долгий отпуск и в Уэлен более не возвращался... Когда же напротив детского комбината начали возводить новую косторезку, строителям, чтобы оставить все-таки какой-то проезд, пришлось сдвинуться дальше намеченного к морю, а котельная за косторезкой оказалась и вовсе на черте прибоя. И чтобы морские волны — а они в Уэлене бывают с трехэтажным домом — не размывали и не уносили в океан гору угля возле котельной, между нею и морем создали невиданное раньше в Уэлене сооружение — бетонную стену. Эту стену тем не менее Чукотское море во время осенних штормов методически и с удовольствием крушил, берег усеян бетонными обломками, и уголь, натурально, уносится по-прежнему...

Словом, Уэлен нынешний далек от того «завтрашнего», который был представлен архитекторами на оргстекле, и вряд ли когда-нибудь таким станет, потому что для этого в поселке понадобилось бы сломать все, в том числе и только что выстроенное, и начать опять строить заново. Далек он и от прежнего, простого и скромного, но гармонического своего облика: узкая коса заставлена двухэтажными, громоздкими на этом пространстве коробками, площадь исчезла, улица исковеркана. А когда в поселке и площадь, и улица — единственные, все эти превращения, согласились, печальны... В свое время мне довелось прочесть в альманахе «На севере дальнем»дельную статью магаданских специалистов В. Платонова, М. Этлиса и В. Яновского «Север — город — человек». Один из этих авторов архитектор, другой — врач, психогигиенист, третий — социолог, демограф. Сейчас, размышляя о том, целесообразно ли реконструировать Уэлен, я вспомнил эту статью, извлек ее из своего архива и сразу нашел нужную мысль: «Архитектор всегда принимает во внимание то, что его практика, его участие в строительстве — есть творческое, доверенное ему людьми создание основной части «жизненных условий», той самой архитектурной среды, которая должна свести до минимума неравенство в жизненных условиях людей, связанное с неблагоприятной географической сре-

вой, и сохранить и подчеркнуть областные, местные, неповторимо притягательные особенности этой среды, обеспечить (далее у авторов следует курсив) *единство человека с природой и обществом через архитектурные формы*. Так вот, если исходить из этого совершенно справедливого утверждения, то Уэлен не следовало ни проектировать многоэтажным, ни строить его в теперешнем двухэтажном виде. Ибо не надо даже быть специалистом-градостроителем, не надо ничего знать о гармонии архитектурных форм с окружающим природным ландшафтом, чтобы, очутившись в Уэлене, сразу уразуметь: здесь диктует коса. Узкая, шириной всего метров в двести, галечная коса, сопка с одной стороны, и кругом — море, лагуна, тундра, в отдалении горы. Вот этот простор воды, земли и неба и был природным фоном, на котором всегда существовал поселок, этот простор уэленец от рождения привыкал созерцать отовсюду: из окна, с крыльца, из любой точки поселка. А сейчас в Уэлене образовались закоулки, попав в которые, ощущаешь себя как в замкнутом городском дворе, ничего не видишь вокруг, кроме стен... Уэлен надо было оставить одноэтажным! Подобно тому, как сама форма узкого и длинного моржового клыка задает мастерам-граверам основной принцип композиции и размеры рисунка, так и похожая на такой же клык уэленская коса должна была подсказать строителям свою единственную идею. Никакой гравер, обладая чувством меры, не станет забивать пространство клыка обилием изображений, не следовало забивать и косу громоздкими и безликими сооружениями. Что же касается «сохранения местных, неповторимо притягательных особенностей»... Ну вот, стояли когда-то в Уэлене столбы из огромных костей гренландских китов, поставленные, может быть, прадедами нынешних чукчей, может быть, дедами прадедов. Непременная принадлежность каждого чукотского поселка, где живут морзвербои, могла бы быть деталью герба, если бы существовали у чукчей гербы поселков. Ставили такие столбы не для украшений — для хозяйственных надобностей: на них растягивались ремни из моржовых и лахтачих шкур, сушились сами шкуры, укладывались на зиму байдары. Я даже помню, где в Уэлене еще сохранялись такие столбы — в основном в старой части поселка, поближе к сопке: два между домом Таната и учительским домом, столба два-три напротив новой школы да еще несколько — поближе к морю. Разумеется, сейчас хозяйственная нужда в них отпала, но кому они мешали?! Я представляю: собрался

исполком сельсовета с повесткой — «благообразить» поселок. Постановили, сделали: подъехал бульдозер и сковорнулся. Я специально прошел по Уэлену и поглядел — ни одного китового столба. Возле школы, правда, еще лежат остатки гигантского китового черепа, но и до них, я думаю, дойдут руки. А ведь такую «неповторимую особенность» нигде в мире больше не увидишь...

Далее. Могут возразить, что, ратуя за одноэтажный поселок, я забываю об улучшении жилищных, бытовых и прочих условий. Да, конечно, сейчас уэленцы в двухэтажных домах живут в некотором смысле получше. Двухтрехкомнатные «городского» вида квартиры, в которых можно и настоящую «городскую» мебель поставить, а не прежнюю, из ящиков. По утрам не надо собирать в кулак всю волю, чтобы выпрыгнуть из-под одеяла, а потом, срочно натянув меховые брюки, утны, два свитера и полуушубок, бежать на кухню и растапливать печку. Центральное отопление, всегда тепло. Туалет — в квартире... Водопровода, правда, нет, но с водоснабжением гораздо, гораздо лучше: никто из уэленцев уже не ходит летом с ведрами к ручью, не пилит зимой снег на сопке, не ездит сам на речку колоть лед. Летом только выставь бочку к подъезду, ее наполнит водовозка, зимой долбят и развозят по домам лед рабочие комбината коммунальных предприятий. «Руб-куб», как говорят в Уэлене... И все-таки вот эти дома — соответствуют ли они современным, обоснованным специалистами представлениям о жилищном строительстве на Севере? Ибо, как утверждают специалисты, жилье для северянина должно быть нестандартно, площадь квартир и высота потолков в сравнении с домами в центральных районах увеличена, предусмотрены более просторные подсобные помещения: прихожие, кухни, кладовые, встроенные шкафы. Даже принудительная вентиляция должна быть, потому что жителю Севера приходится, особенно зимой, много времени проводить в помещении. Наконец, психогигиенисты, изучившие условия жизни людей в малых, ведущих сравнительно замкнутое существование поселках, утверждают, что жилье должно предоставить возможность северянину уединиться, передохнуть от вынужденного постоянного общения с одними и теми же лицами... Конечно же в этих, придуманных несколько десятилетий назад двухэтажках таких условий нет: и квартиры тесные, и озвучены они идеально. Особенно сейчас, когда громкоговорящей техники у каждого вдоволь: приемники, проигрыватели, магнитофоны. А новая запись, привезенная из отпуска

с материка, моментально переписывается, расходится по поселку и становится достоянием всех. Так что, к примеру, в выходной с утра: справа за стеной начинает звучать «Яблони в цвету — весны круженье», и слева за стеной — то же самое, справа «Я хочу, чтоб жили лебеди», и слова в унисон желают того же. Какое уж тут уединение! Сплошная дискомфортность, как выражаются психологи...

И наконец, если уж до конца рассматривать эту проблему, необходимо вспомнить еще один довод сторонников «многоэтажного» Уэлена: относительная дешевизна проекта. Собрать жителей в несколько больших домов, ужать растянувшийся поселок — следовательно, сократить до минимума коммуникации, в частности, линию теплотрассы, строительство и содержание которой обходится на Севере очень дорого, едва ли не дороже самих домов. Тогда это звучало убедительно, сейчас против этого можно возразить. Во-первых, поселок на косе не ужался, не сократился, остался в прежних пределах — длиною в километр-полтора. Двухэтажки не встали компактно, а разбросаны по поселку, и короба теплотрассы все-таки растянулись вдоль улицы. Мало того — ответвления от нее отходят и ко многим старым одноэтажным домикам, стало быть, она сделалась еще длиннее, чем можно было предполагать. А в одноэтажном поселке эту проблему можно было решить принципиально по-иному. Ведь никто же не говорит, что, реконструируя Уэлен, надо было оставлять старые дома! В наше время разработаны и опробованы варианты одноэтажных жилищ для Севера, представляющие квартиры со всеми удобствами, сборные, удобные для перевозки, теплые, с усовершенствованными автономными системами отопления. И что проще, быстрее, экономичнее: разом, в одну навигацию привезти и поставить необходимое количество таких домов или же завозить по отдельности кирпичи, доски, известняк, цемент, гвозди, краску и прочие строительные материалы, причем, как правило, не согласованно, а в разные сроки, и строительство из-за этого задерживается, материалы гниют, ржавеют... А еще надо привезти и содержать специальный отряд строителей, платить им высокие северные заработки... К тому же мы то и дело читаем сейчас в газетах статьи на тему «Каким быть селу?», авторы которых давно пришли к единодушному мнению, что оптимальным вариантом для современного села все-таки является отдельный дом для одной семьи. А Уэлен — село. Правда, приусадебный участок чукче или эскимосу не нужен, грядок на галечнике не разведешь, но

специальные подсобные помещения нужны. Раньше у охотника в яранге, а потом в его отдельном деревянном доме были холодные помещения, где хранилась меховая одежда, охотничье снаряжение, рядом с домом — мясная яма, настил, где содержалась на привязи собачья упряжка. В теперешней квартире все это не устроишь и добытую нерпу не станешь разделять на чистом полу. В итоге рядом с каждой двухэтажкой в Уэлене теперь стоит длинный самодельный сарай, поделенный на индивидуальные клетушки, по числу квартир. Такая клетушка — разумеется, не выход... Вот, слышно, в Средней Азии признали, что наилучший тип жилища для чабанов, живущих в горах, — традиционная юрта, усовершенствовали ее в соответствии с современными требованиями и наладили промышленное производство таких юрт. Почему же, задавшись прекрасной целью — создать образцовый чукотский поселок, почему было не учесть местных особенностей?! Сконструировать, например, и поставить рядом с коттеджами европейского типа дома, стилизованные под яранги — округлые, обтекаемые, куполообразные? Чтобы эти дома удовлетворяли и новым запросам, и традиционным нуждам чукчей и эскимосов? Не думаю, чтобы при уровне развития современной инженерной мысли, при изобилии разнообразных и дешевых строительных материалов было сложно и дорого спроектировать и построить такие дома... И для пастухов в тундре они, наверное, сгодились бы, а то до сих пор стоит проблема, как улучшить быт пастухов в тундре. Такие дома-яранги не надо бы даже разбирать и перевозить при перекочевках: пастбища определены, маршруты известны, — поставить требуемое количество в разных местах тундры, и пусть служат как стационарные базы...

4

Теперь, конечно, чтобы дать читателю передохнуть от этих специальных вопросов, мне следовало бы привести здесь, например, какую-нибудь старинную чукотскую сказку, одну из тех удивительных по фантастичности сказок, которые рассказывала мне моя старая знакомая художница Елена Янку, попутно изображая ее героев на моржовом клыке... Или описать, как в один из вечеров китобоец «Звездный» пришел с китом и длинная его туша, опущенная стальным тросом, всю ночь лежала на берегу, а наутро чукчи принялись разделять ее острыми изогнутыми

ножами на длинных древках, напоминающими алебарды; а предварительно каждый вырезал себе и пожевал кусочек черной гладкой китовой кожи. Некоторые бесполезные внутренности чушки железными крюками стащили в воду, море приняло их, потихоньку стало относить от берега, и на эти колыхающиеся белые и розоватые острова тотчас с производительными криками слетелись чайки, клюя, взмахивая в тесноте и толкая друг друга крыльями. К вечеру от кита остался лишь остов, и трактор поволок этот остов за лагуну, к звероферме... Или рассказать, что уэленские старики — Сейгутегин, Армоль, Татро и другие — с тех пор, как застроили площадь, полюбили собираться в другом месте, возле дома Васи Еореле, в одноэтажной части Уэлена, где еще сохранился обзор, потому что старикам, по их неистребимой охотничьей привычке, нужно, чтобы далеко было видно вокруг... Однако в свое время я достаточно все это описывал: и работу косторезов, и труд морских охотников, и неподвижно сидящих на берегу старииков, — описывали все это и многие другие. Посему вернемся все-таки к и о в о м у Уэлену, к насущным его проблемам.

Итак, Уэлен — надлежащим ли образом, нет ли, — но строится, благоустраивается, разрастается и предполагает разрастаться и впредь. А жилья в нем уже не хватает. Я говорю «уже», а не «еще», так как раньше жилищной проблемы в поселке не существовало. Помню, лет пятнадцать назад председатель уэленского колхоза Ивакин шутя, но не без основания утверждал, что по количеству жилплощади на душу населения Уэлен, наверное, занимает в стране первое место. Действительно, в поселке в те годы, как правило, всегда пустовал какой-то дом-два. Кто-то уезжал в долгий отпуск или на совсем, дом не занимали. Приезжал с материка новый работник, его спокойно поселяли. О гостинице в ту пору в Уэлене не помышляли, но и для приезжающих в командировку всегда находилось жилье... А теперь нынешний мэр поселка Артем Федорович Михайлюк жаловался мне, что даже местных, коренных уэленских жителей селить негде. С Артемом Федоровичем я познакомился еще в прошлый зимний приезд. Это старый работник Чукотского района, бывший боевой офицер, ветеран войны, прошедший ее насквозь, от первого дня до последнего. Награжден многими боевыми орденами и медалями, но в обычные дни носит на пиджаке только неизменный значок парашютиста-десантника: силуэт парашюта и число «100» на синем эмалевом фоне. А снизу к парашюту подвешен еще маленький металлический тре-

угольничек с выбитым на нем числом «50»... Глаза у Михайлюка ярко-голубые, седой чуб на круглой голове и роскошные усы — кажется, именно такие усы в давние времена принято было называть «чумакими». «Каждый день идут, со слезами, жалобами, упреками,— сетовал Артем Федорович.— Вот приехала только что одна, без мужа, с тремя детьми. Обязаны, говорит, поселить! А куда я ее дену? Ты, говорю, когда ехала, думала?! И на демографию влияет,— добавил Михайлюк, желая подчеркнуть важность проблемы,— отсутствие жилья сдерживает рождаемость. Вон у Калячей — целый взвод хлопцов, здоровые, а холостякуют, потому жинку привести некуда...»

Не знаю, каким именно образом в Уэлене нехватка жилья влияет на «демографию», только *второе*, бросающееся в глаза впечатление от поселка — это невиданное в нем прежде обилие народа, и в основном народу приезжего. Немногие оставшиеся в Уэлене старожилы — тоже из приезжих, но прожившие здесь лет по пятнадцать — двадцать, родившие и вырастившие здесь детей и не думающие никуда уезжать, настоящие уэленцы по сути,— даже уверяли меня, что в поселке теперь не все друг друга и знают! И это тоже неслыханная раньше для Уэлена была вещь, чтобы кто-то кого-то не знал! В самом деле, бежишь, бывало, по Уэлену, мороз, да еще северячок прихватывает, и кто бы навстречу ни попался — обязательно хоть два-три слова: «Етти! О, етти! Привет, как дела? Да вот, говорят, борт обещают! Да-да, обещают!» — а то и просто рукой помашешь, улыбнешься и — дальше. «А сейчас,— как с грустью резюмировал один из «старых», — народу полно, а поздороваться не с кем!» Но отвлечемся пока от эмоциональной стороны этого вопроса, хотя и она очень важна для маленького поселка, — обратимся к числам. Засев в кабинете Михайлюка и обложившись домовыми книгами, мы с ним подсчитали, что в Уэлене на 15 августа 1978 года проживают 862 человека, из них 535 местных, то есть чукчей и эскимосов, и 327 — приезжих с материка. Надо еще заметить, что всех приезжих, независимо от национальности, на Чукотке обычно называют «русскими», хотя, например, в Уэлене сейчас очень много украинцев... Со свойственной ему обстоятельностью Артем Федорович даже количество детей выделил из этого числа: соответственно детей приезжих, чукчей и эскимосов — и выдал мне обо всем этом заверенную по всей форме справку. Сам я приблизительно помнил, но, вернувшись в Москву, спрашивался точно, как обстояло дело с численностью и составом

населения в Уэлене в 60-х годах. Эти данные приведены в монографии магаданского писателя и ученого-этнографа Владилена Вячеславовича Леонтьева «Хозяйство и культура народов Чукотки (1958 — 1970 гг.)», вышедшей в Новосибирске в издательстве «Наука» в 1973 году. На 1 января 1966 года в Уэлене проживало 533 человека, из них 444 местных и 89 «русских». Легко сосчитать, что за эти годы население поселка увеличилось на 329 жителей, причем за счет местных — на 91 человека и за счет приезжих — на 238. От прежних 16 % от общего числа уэленцев «танных» — приезжие стали близиться к 40 %!.. Детей в семьях приезжих по справке Артема Федоровича — 107. Я уже упоминал, что по-настоящему обосновавшихся в Уэлене русских старожилов — считанное количество, да и всех их детей я учил и могу перечесть по пальцам,— никак, при всем желании, эти несколько семей не могли дать такого всплеска рождаемости. Следовательно, принимая еще во внимание частично обновившийся в сравнении с прежним состав «старых приезжих», вся эта масса, около трехсот человек — огромное число для маленького поселка! — действительно, приехала в Уэлен за последние годы. «Но чем же в таком случае заняты все эти люди?!» — спросил я себя.

Единственное производство в Уэлене — совхоз. Я отправился в контору совхоза. Прежний его «новый» директор, с которым я познакомился два года назад, уже здесь не работал, новый «новый», как мне сказали, уехал в тундре, в пастушки бригады. Оставшийся за него главный инженер Югевич, человек в Уэлене тоже недавний, начал жаловаться, что хозяйство нерентабельное, что нет почти техники, а та, что есть, изношенная, и запчастей нема, вот-вот мясорубка на Инчоунской звероферме встанет, ножи к ней треба. Несколько месяцев назад они даже отбили телеграмму в Днепропетровск, где находится завод-поставщик таких ножей,— до сих пор без ответа... И Югевич принялся рыться в папке с документами, чтобы тут же отыскать и предъявить мне копию той телеграммы. Копия его мне, естественно, была не нужна, а на вопрос, с которым я пришел, он ответить затруднялся. «Как-то, понимаете, не думал за это...» Тогда я пошел к совхозным экономистам и попросил показать мне «какие-нибудь документы» — не очень-то я, признаюсь, разбирался, как могут называться такие документы, — «ну, словом, отчеты, по которым была бы видна работа совхоза за последние десять лет». Мне вручили несколько папок, и я углубился в протоколы сове-

щаний, в выписки из постановлений заседаний бюро райкома и райисполкома, в «Экономический анализ производственной деятельности совхоза «Герой труда» за такой-то год», в «Итоги производственно-финансовой деятельности за такой-то год»... Попадались тут интересные для сравнения вещи. Например, причины потерь в оленеводстве объяснялись в 69-м году так: «В результате бесконтрольности и непринятия должных мер воздействия со стороны руководства совхоза пастухи и бригады часто и на длительное время без надобности выезжали на центральную усадьбу, оставляя стада без окарауливания... Какая-нибудь целенаправленная, планомерная зооветеринарная работа в оленеводстве отсутствует. Использование пастбищ и маршруты движения происходят стихийно...» Такие формулировки по отдельности выглядят всегда очень солидно, внушают уважение и надежду: «Ну вот, причины, слава богу, выяснены, и теперь все, конечно, пойдет по-другому». А в документах, к примеру, за 77-й год, то есть восемь лет спустя, натыкаешься опять на то же самое: «Потери во время летовки ничем другим нельзя объяснить, кроме плохого окарауливания стад и слабого контроля за работой бригад зооветспециалистами...» Кроме того, будучи уже сейчас, вот только что в Лаврентия и просматривая местную «Зарю коммунизма», я читал доклад второго секретаря Чукотского райкома И. А. Шафоростова на недавнем пленуме. В нем тоже ставились в упрек оленеводам низкая дисциплина да плохая зооветработка. Но об этом, пожалуй, еще впереди... Да, а пока я сидел и выискивал разные данные — по оленеводству, звероводству, морзвербайному промыслу, по капиталовложениям, — сравнивал их по годам, имея одну только определенную цель: я искал прямую зависимость, связь между необычным притоком в Уэлен рабочей силы и бурным расширением совхозного производства, или, точнее, наоборот — между бурным расширением и необычным притоком... Господи, вот уж чегочего, а менее всего мог я предполагать, что, приехав в Уэлен, буду вникать во всю эту статистику! Тем более что и опыта подобной ревизорской деятельности у меня никакого не было, и цифры эти мне не давались, не сводились, не выстраивались.

И вдруг мне повезло: кто-то, оказывается, эту работу уже проделал, и в ворохе толстых отчетов я обнаружил отдельный скромный листок с надписью: «Показатели развития совхоза «Герой труда» за 10 лет». И годы были как раз те, которые меня интересовали: 1968 — 1977-й. Для

солидности следовало бы перечертить здесь всю эту табличку целиком, но приведу только отдельные, наиболее характерные данные. Выходное поголовье олений сократилось за это время с 8135 до 4012 голов, то есть примерно вдвое. Соответственно выручка от оленеводства уменьшилась от 215 до 57 тысяч рублей. Поголовье пушных зверей увеличилось с 613 до 2142 — потом мне объяснили, что это в основном за счет объединения с Инчоунской зверофермой, — и доход от продажи шкурок государству вырос с 29 до 127 тысяч рублей. Добыча морзверя возросла не намного: с 7602 центнеров до 8383. Причем я знал уже, что добыча эта велась теперь не столько силами самого совхоза, сколько китобойца «Звездный» из флотилии «Слава», количество же собственных охотничих бригад сократилось в совхозе за эти годы с девяти до двух. Вылов рыбы упал с 3072 центнеров до 49. Техническая оснащенность хозяйства характеризовалась так: в 68-м году оно имело пять тракторов «Т-100», в 77-м — всего два. Десять лет назад был один трактор «ДТ-75», теперь — три. Но заметим, что «ДТ-75» почти бесполезен в чукотском поселке: такой трактор и кита не вытащит на берег, и с санями завязнет в тундре... Автомашин было три, сейчас одна. Бездедов также было три, ныне — ни одного. И вот главное, что меня интересовало: среднегодовое количество работников в совхозе сократилось за десять лет с 280 человек до 161. Правда, уровень зарплаты на одного работника в год возрос втрое — с 1122 рублей до 3635... Я сам не заметил, как увлекся анализом этого нового, непривычного для меня, но красноречивого языка цифр. Предположить, что количество работающих в совхозе уменьшилось в связи с ростом технической вооруженности производства и повышением производительности труда исходя из данной таблицы никак было нельзя. Утверждать, что производство в целом расширилось, тоже было невозможно, более того, оно по всем приметам сокращалось, и о причинах этого тоже придется говорить несколько позже. Пока можно было только сделать вывод, что подавляющее большинство уэленского населения работает не в совхозе. Но где?!

Я вернулся в сельсовет к Артему Федоровичу и попросил его заняться вместе со мной составлением еще одной таблицы. Мы переписали все предприятия, организации и учреждения в Уэлене, подсчитали число работающих в них и в каждом случае выделили приезжих и местных. Получилась любопытная картина. В совхозе трудились в основном коренные жители Уэлена, а из приезжих —

всего 13 человек. Много, около пятидесяти человек местных было занято также в косторезной мастерской, но увеличилось и количество приезжих работников косторезки — до 10. Прежде, то есть десять — пятнадцать лет назад, их насчитывалось три-четыре... Несколько возросло число работающих в школе-интернате, в детском саду, в больнице. Это понятно: в школе прибавились классы, из восьмилетней она превратилась в десятилетку, расширились интернат, детский сад, и больница, которая раньше, по сути, была поликлиникой, обзавелась теперь стационаром. И в больнице, и в детсаду приезжих и местных работало примерно поровну. Оставим в стороне полярную станцию, укомплектованную только приезжими: полярка существовала в Уэлене издавна, и специалистов для нее — радиотов, аэрологов, гидрометеорологов, — как и для других полярных станций, поставлял по традиции Ленинград, ЛАУ — Ленинградское арктическое училище. Не будем также брать в расчет такие учреждения, как Дом культуры, библиотека, сберкасса и т. п., где работающих всегда числилось по одному, по два человека... Но что бросалось в глаза: за эти годы в поселке образовались предприятия, занятые исключительно обслуживанием населения — дом быта, комбинат коммунальных предприятий, ЭТС — электротеплосеть, — и чрезвычайно увеличился штат ТЗБ — товаро-заготовительной базы. Здесь в основном и работают приезжие — более восьмидесяти человек, то есть столько, сколько, как я уже упоминал, десяток лет назад *всего* было приезжих в Уэлене!

Но что же, например, так уж расширилась сеть магазинов в поселке? Нет, как были два — продовольственный и промтоварный, — так и остались, только раньше они находились в одном здании, а теперь разъехались, разместились попросторнее, и соответственно появилась возможность насадить в них побольше продавцов. Раньше в обоих магазинах посменно работали по два продавца и спокойно обслуживали все население Уэлена. Сейчас в продовольственном сидят пять-шесть женщин в белых халатах да еще кассир у выхода, потому что в магазине — самообслуживание, да столько же примерно их коллег скучают в промтоварном. А надо сказать, что в промтоварный магазин уэленец активно ходит считанное число раз в году, когда «выбрасывают» новые товары, завезенные с генергозом, во все же остальные дни покупателей почти нет и продавцам фактически делать нечего... Или взять поселковую столовую. Она как была, так и осталась одна,

и прежде в ней бессменно управлялся един во всех лицах Коля Донов — тоже из немногих уэленских старожилов, к несчастью так нелепо погибший на охоте несколько лет назад... Коля и сам печь топил, и оленьи туши рубил, и готовил, и борщ наливал, и деньги принимал, а если бывало некогда, очередь стояла, махал рукой и говорил: «Ладно, старик, потом сочтемся...» А как готовил! То какие-нибудь олени отбивные изобретал, то бифштексы из китового мяса — величиной с тарелку. Уэленская столовая славилась в те времена по всей Чукотке, да и по Союзу, сказал бы я, потому что знали ее и нахваливали и геологи из Магадана, и журналисты из Москвы, и археологи из Ленинграда... Ныне в той же столовой заняты поочередно две смены, я не интересовался, сколько точно в смене, но видно, что несколько человек у плиты, двое на раздаче, на мойке и, конечно, кассирша. Кассовый аппарат у нее, правда, не работает, но чеки ради важности она все равно выдает — пишет от руки, на клочке бумажки. Кормят при этом не в пример хуже, и не дай бог задержаться, прийти, скажем, перед закрытием, — по всем правилам общепита наскребут вам со дна котла холодных макарон с тушенкой... А ведь всем им надо начислять зарплату — «зряплату», как выражаются теперь остряки в Уэлене, — следовательно, увеличивается и штат бухгалтерии. В косторезной мастерской, например, раньше даже своего бухгалтера не водилось — приходила из ТЗБ раз в месяц Майя Ивановна и по совместительству разделялась со всеми ее счетами и ведомостями, а ныне косторезка имеет собственную бухгалтерию из пяти-шести человек... «Что делать? — отвечали обычно мне по поводу всех этих сравнений. — Население в поселке растет, необходимо его обслуживать». Но ведь, как мы уже видели, на основном-то производстве, в совхозе, количество работающих не растет, там оно сокращается, а растет население за счет приехавших работать в сферу обслуживания, так что выходит, большинство этих людей приехало обслуживать самих же себя?!. Известно, что на Чукотке за годы Советской власти налажена подготовка собственных национальных кадров. Анадырское педучилище готовит учителей, Анадырский сельхозтехникум выпускает зоотехников для оленеводства, охотоведов-звероводов, бухгалтеров-экономистов. В Магаданском медицинском техникуме обучаются медработники: фельдшеры, акушеры. Из Провиденского строительного училища выходят строители, механизаторы. Чукотские учителя, врачи, работники культуры получают высшее образование в Ле-

нинградском пединституте имени А. И. Герцена, в институтах Магадана, Хабаровска, Владивостока. Появились у чукчей и эскимосов свои писатели и поэты. Почему же в таком случае, не понимаю, надо везти с Украины, Ставрополья или из Краснодарского края — ибо едут в основном оттуда, — почему с противоположного конца страны надо везти в маленький береговой поселок на Чукотке шофера, кочегара-истопника, продавщицу, кассиршу, дежурную по гостинице, а то и просто разнорабочего? Думается, что и на эти должности нашлись бы люди на месте. Однако пожалуйста: в том же Уэлене, на комбинате коммунальных предприятий из 17 работающих — 14 приезжих, а в электротеплосети из 30 — целых 28... И такое положение не только в Уэлене. Впоследствии, когда я вернулся в Магадан, Валентин Алфеевич Ивакин — человек, отлично знающий Чукотку, сам много лет работавший в Уэлене и затем в Лаврентия секретарем райкома партии, а ныне заместитель начальника областного управления сельского хозяйства по кадрам,— да, когда я пришел к нему со своими уэленскими впечатлениями, Ивакин сказал, что такая же ситуация во всех поселках Чукотского района.

Ну и, казалось бы, ничего особенного, не с чего волноваться,— напротив, все естественно, и если увеличивается население во всей стране, почему бы ему не увеличиваться и в Уэлене. Пусть живут себе люди и работают... Но во-первых, для Уэлена это не естественно: численность населения в нем увеличивается не столько за счет естественного прироста, сколько за счет притока со стороны, и интенсивность этого притока со стороны никак не оправдана местными хозяйственными нуждами. Во-вторых, грубо, по-трамвайному говоря,— поселок-то не резиновый! И уэленская коса не беспредельна. Как нельзя забывать ее до бесконечности двухэтажками, так и численность населения в маленьком поселке на косе должна иметь какие-то разумные границы — границы, диктуемые собственным, органическим развитием поселка, а не миграцией в стране рабочей силы. И наконец — что, пожалуй, самое важное — Уэлен — это поселок *национальный, чукотско-эскимосский*, и, если хотите, древний. Это поселок, где живут исконные морзверобои, потомки охотников, создавших две тысячи лет назад на этих берегах высокоразвитую и своеобразную культуру, сохранившуюся в каких-то чертах и до наших дней. Эта культура осталась в местных сказаниях и мифах, в национальном танце, в искусстве резьбы по моржовой кости, в некоторых деталях современного быта

эскимосов и чукчей. И в этом смысле Уэлен — поселок в стране уникальный! Но скажите: если в 1959 году приезжих в Уэлене было всего 9,5 % в 66-м — 16 %, в 78-м — около 40 %, а еще лет через пять, судя по этим темпам, их окажется вдруг две трети или три четверти,— можно ли будет тогда называть поселок чукотско-эскимосским?.. Ибо нынешний приезжий уж не тот, что был раньше, например в конце 20-х годов, во времена Тихона Семушкина. Тот был энтузиаст, интеллигент-подвижник, просветитель по натуре, он, прежде чем отправиться в путь, просиживал по полгода в библиотеке, выискивая все, что было написано о Чукотке, затем год добирался к месту назначения, поселялся с чукчами и эскимосами в их ярангах и землянках, своими руками строил школу, собирая в нее детей, учился говорить с ними на их языке. А теперь даже учителя, приезжающие с материка в чукотскую школу, не имеют представления ни о Чукотке, ни о ее истории, ни о культуре народов, ее населяющих, ни об особенностях мышления, восприятия, духовного склада этих людей. Чего уж тогда спрашивать с работников торговли, с совхозных специалистов?.. И хорошо, если человек, волею случая оказавшийся на Чукотке, начнет все-таки вникать во все это, интересоваться, как здесь жили раньше, как живут теперь ее коренные обитатели, пытаться проследить связь времен, постичь глубокий смысл местных обычаяев, и если не проникнуть в философию маленького народа, то все равно уважить ее как нечто самостоятельное и ценное. Но большинству «приезжих» это вовсе не любопытно, они остаются при своих, вывезенных с материка обычаях, понятиях о жизни, привносят в маленький поселок привычную им отчужденность большого города, тут же создают себе подходящую для существования «микросреду» — в Уэлене, например, в нынешний приезд я насчитал несколько таких «замкнутых кругов»: полярники, учителя, работники ТЗБ, совхозный аппарат...

В самом деле выходит: «Народу полно, а поздороваться не с кем»!.. По истечении срока договора и по накоплении достаточной суммы денег эти люди возвращаются на материк, и их представление о Севере ограничивается вот таким замкнутым существованием в поселке, еще склоном ближайшей сопки, куда они в хорошую погоду выбирались на пикник, да аэропортами, где они насидались в ожидании самолетов. Да, Север не оставляет в них могучего, на всю жизнь следа, и это бы ладно, но сами-то они свой след на Севере оставляют — вроде того пресловутого вездеходного,

который долго потом не застает в тундре. Конечно же, временное приезжее население, пусть и не заботясь о том, влияет на местное, и, чем его, приезжего населения, больше, тем сильнее влияет. Я напоминаю: я говорю сейчас о том влиянии, которое нежелательно, о влиянии случайных, равнодушных к Северу людей. А их пока, принимая на работу, никто на предмет любви или равнодушия к Северу не экзаменует.

Здесь, кстати, по поводу влияния — и нежелательного, и благотворного — можно привести несколько частных, но характерных фактов: из истории работы Уэленской косторезной мастерской. В начале 30-х годов на Чукотку в качестве консультанта по художественным промыслам был направлен профессиональный художник А. Л. Горбунков. Целых два года перед поездкой он работал в кабинете по изучению народностей дальневосточного Севера в Дальневосточном филиале АН СССР. Затем по результатам своей подготовительной работы сделал доклад перед учеными, специалистами по народному искусству: «О художественных кустарных промыслах Советской Чукотки и о мероприятиях содействия развитию их». В резолюции, принятой по докладу, были подтверждены основные соображения Горбункова о предварительном и всестороннем изучении особенностей чукотской культуры — начиная с повседневного быта и кончая формами искусства и спецификой художественного мышления. «Мы полагаем, — было записано в резолюции, — что привносить новые художественные формы в чукотское искусство, в его стиль без осуществления всестороннего обследования данного искусства нецелесообразно». Этим единственным разумным принципом Горбунков и руководствовался в своей работе с чукотскими мастерами. Он хорошо понимал, что в искусстве древнее — это не значит окостеневшее, окаменевшее и что подчас, чем самобытнее, первозданнее творчество, тем оно и уязвимее для чуждых влияний. Это его понимание было тем более ценно, что в те годы уэленская косторезная мастерская только формировалась, и не просто организовалась как коллектив прежде отдельных, самостоятельно работавших мастеров, но создавалась как творческая лаборатория... Горбунков проработал на Чукотке несколько лет. В те и последующие годы в атмосфере творческого поиска окончательно сформировались, утвердились в своей индивидуальной манере такие выдающиеся мастера-косторезы, как заслуженные художники РСФСР Вуквутагин, Хухутан, Туктай, женщины-граверы Эмкуль, Янку, Тынатваль.

Со многими из них мне посчастливилось познакомиться впоследствии, в 60-е годы...

Но вот в те же 60-е годы в областном управлении торговли в чью-то умную голову зашла плодотворная идея: «усилить» коллектив уэленцев косторезами из Холмогор. В уэленскую мастерскую приехал из Архангельской области новый руководитель А. Тышов и с ним несколько молодых мастеров, как пишется теперь в некоторых искусствоведческих работах, «далеко не лучших представителей искусства Холмогор». Но, по-моему, беда была не в том, что эти мастера оказались не лучшими представителями именно «искусства Холмогор», но в том, что они совершенно не знали и не попытались вникнуть в специфику чукотско-эскимосского искусства! Уэленцы гравировали клики дарезали в основном скульптуры северных животных в своей исконной монументальной, спокойной, строгой, лаконичной манере. В Холмогорах издавна совершенствовались в тончайшей, сквозной, узорчатой резьбе, выделывали шкатулки, вазы, кубки. И видимо, холмогорцы прибыли не иначе как с горделивым намерением — «поучить». Чему же научил неторопливого чучку расторопный «холмогорский мужик»? В своей работе «Чукотско-эскимосский промысел резной кости и пути его развития» магаданский искусствовед Л. Е. Тимашева, вспоминая о том периоде, вначале в одной строке отговаривается, что «с одной стороны, подобное содружество представителей двух очагов искусства резьбы по кости принесло некоторую пользу, так как холмогорцы ознакомили уэленцев с новыми механическими приемами обработки...», а затем на целой странице перечисляет «вред». А на мой, может быть дилетантский, взгляд, и «некоторой пользы» не было. Потому что можно еще спорить, а нужны ли были уэленцам «новые механические приемы обработки», ведь приемы рождаются в процессе творчества и обусловлены конечными его задачами, а не наоборот. Если чукча трудился над круглой, гладкой, почти окатанной, как валун, скульптурой моржа, он в нескольких всего простых линиях находил и передавал пластичность этой фигуры; одно движение грубого напильника, и она ожиала — ожиала, но оставалась первозданной, и зачем в таком случае все те приемы, с помощью которых холмогорцы прорезывали свои хитросплетения ветвей и жар-птиц? Конечно, вооружившись той же бормашиной, фигурку оленя можно выточить гораздо тоньше, изящнее, технически совершеннее, но вот парадокс: в какой-то момент «совершенства» исчезал настоящий чукот-

ский мохнатый, приземистый олень и возникал олень во об ще, ширпотребовский, словно бы из пласти массы. Видимо, каждый материал — камень, дерево, кость, — употребляемый художником с определенной целью, имеет и свой определенный, разумный предел «механической» обработки... Но «мастера-уэленцы попали под влияние холмогорцев,— признает Л. Е. Тимашева,— и многие их работы стали эклектичными. Характерная для чукотско-эскимосской резьбы лаконичная и обобщенная манера стала заменяться мелочной детализацией, реалистическое восприятие действительности — надуманностью, строгость, ясность и четкость композиции — поисками эффектной постановки...». К счастью, как я уже говорил, в то время еще живы были многие старые, сложившиеся мастера, которые устояли перед новым влиянием... А еще приезжие резчики научили уэленцев ремесленничеству! Ведь раньше как было: чукотский мастер думал-думал, например, над скульптурой медведя, вкладывая в эти раздумья весь свой опыт, и не только охотника, ибо охотники рассеяны повсюду, но жителя именно этого побережья, где охота, искусство, философия и жизнь по-древнему еще неразделимы, и наконец создавал этого медведя — единственного и не-повторимого. «Ну, чтоб так сделать медведя, это самому надо быть медведем!» — помню, хорошо сказал кто-то, глядя вот на такую старую работу, на выставке чукотско-эскимосской резной кости, состоявшейся несколько лет назад в Москве... Да, такие скульптуры, такие гравированные клыки были уникальны, это были настоящие произведения искусства, повторить их нельзя было, да и никто не стремился их повторить. Тиражирование работ еще при Горбункове было ограничено, чтобы не скатиться к шаблонам, чтобы поддержать творческие устремления мастеров. Однако такие вещи требовали долгих предварительных раздумий и кропотливого труда. А у косторезной мастерской помимо всего был еще и план. Поэтому, решил новый руководитель, не проще ли из того же количества клыка и на ту же сумму понаделать чернильных приборов, стаканов для карандашей, ручек для перьев, шпилек, заколок и т. д. И все это, требующее не мастерства, но умелого и скорого резания, появилось в ассортименте уэленской мастерской. Чем быстрее работаешь, тем больше делаешь, чем больше делаешь, тем выше заработка... Письменность у чукчей появилась только с приходом Советской власти. Надо ли объяснять, традиционен ли для их искусства чернильный прибор?.. К концу 60-х годов завезенные

в Уэлен холмогорцы постепенно исчезли, не акклиматизировались на Чукотке, а с последствиями их «науки» приходится сталкиваться и до сих пор, тем более что работали после них в мастерской и другие приезжие «художники».

Сейчас, я бы сказал, уэленская косторезка не то чтобы вновь переживает пору расцвета, но, по крайней мере, теперь в ней созданы необходимые условия для возможности такого расцвета в будущем. В мастерскую пришло много художественно одаренной чукотской молодежи, причем большинство молодых могут уже считать себя потомственными профессиональными резчиками,— подчеркиваю, профессиональными, так как просто потомственными могут считать себя все, ибо раньше на Чукотке резьбой или гравировкой по клыку занимался практически каждый. Гравер Елена Илькей — дочь известного мастера Туккая. Гравер, член Союза художников Лиза Теютина — дочь резчика Теютина и гравировщицы, заслуженной художницы РСФСР Эмкуль. В мастерской же работает ее брат, талантливый косторез Виктор Теютин. В цехе граверов, рядом с матерью Майей Гемауге сидит Зоя Гемауге, она же внучка старика Гемауге, участника многих крупных отечественных и зарубежных выставок... Кроме них в мастерской работает еще много молодых и зрелых художников: Иван Сейгутегин, Елена Янку, Галина Тынатваль, Василий Емрыкайн, Толя Тымнетагин, Гриша Татро, Гаяля Иргутегина... Их работы читатель также мог видеть в Москве года два назад на выставке — первой, по существу, специальной выставке чукотско-эскимосской резной кости, к организации которой так много сил приложили сотрудники Московского научно-исследовательского института художественной промышленности. Эту выставку они по праву могли считать и каким-то итогом своей работы. С уэленскими косторезами институт начал работать в конце 60-х годов, когда мастерская была передана в ведение областного управления местной промышленности. Сотрудники института, сами будучи специалистами, искусствоведами и художниками, начали с того же, что когда-то и Горбунков, — с изучения этого народно-художественного промысла как искусства; с исследования его корней, его местных особенностей. И только после этого предложили свою рабочую программу, суть которой состояла в том, чтобы изучать традиции, сохранять их и развивать чукотско-эскимосское искусство далее на основе этих традиций и с учетом всего лучшего, чего оно достигло за последние

десятилетия. Были составлены и привезены в Уэлен многочисленные фотоальбомы с фотографиями хранящихся в музеях Москвы и Ленинграда древних изделий из кости, найденных при раскопках на Чукотке, с образцами старинных орнаментов, скульптур и гравированных кликов XIX — начала XX века, был привлечен обильный фольклорный материал — чукотские и эскимосские предания и сказки, — материалы старой и новой истории Чукотки, показаны также разработка изделий эскимосов Аляски и Канады. И все это развернулось перед уэленцами отнюдь не в директивной форме: вот так, мол, надо! — все это было представлено, с тем чтобы пробудить у местных художников собственные воспоминания, ассоциации, размышлений... Зимой 76-го года мне самому довелось наблюдать в уэленской мастерской за работой сотрудников института Ирины Львовны Каракан и Людмилы Ивановны Чубаровой: как осторожно, бережно, тактично разговаривали они с мастерами, как прислушивались прежде всего к их мнению, и ни разу ни одной прямой, лобовой подсказки — в крайнем случае наводящий вопрос... А главное — как все они, работники института, побывавшие в Уэлене, любят этот Уэлен, как вспоминают о нем с восторгом, мечтают поехать еще, переписываются с мастерами. И уэленцы, бывая теперь в Москве, идут прежде всего в маленькое старое здание на улице Воровского, в НИИХП. Когда ни зайдешь в этот институт, там всегда в курсе всех уэленских новостей...

Такое взаимодействие конечно же сказалось должным образом: в 70-е годы уэленские косторезы создали много новых интересных работ, о которых долго можно говорить, но, повторяю, не моя это задача. Я позволил себе это отступление об уэленской косторезной мастерской, чтобы показать, как восприимчиво местное население к влиянию приезжих и как тщательно надо поэтому учитывать возможные последствия такого влияния. Кстати, сотрудники НИИХП, помня печальный опыт с холмогорцами, учили — в перечне предложенных ими мероприятий по уэленской мастерской, утвержденном управлением местной промышленности РСФСР, есть и такой пункт: «В связи с отрицательным влиянием работающих в Уэленской мастерской приезжих мастеров на резчиков местной национальности впредь не принимать на работу в Уэленскую мастерскую приезжих, а работающим не продлевать договора». Действительно, сейчас количество приезжих в штате косторезки хотя и увеличилось в сравнении с предыдущими

годами, но это — бухгалтерия, технический персонал: слесари, механики и т. д. Однако мастерская — не изолированный остров, и мастера не уединились в башнях из моржовой кости. Они живут в поселке, а поселок наводнен теми же приезжими, и отрицательно влиять можно ведь не только на стиль национального искусства или на «приемы резьбы», можно влиять и на быт, и на весь образ жизни поселка. Сейчас Уэлен во многом уже потерял свой прежний национальный, своеобразный вид: выше я говорил о его теперешней архитектуре, о том, что кому-то понадобилось снести китовые столбы... Сейчас редко увидишь чукчу в его традиционной одежде: в меховой кухлянке, в нерпичьих штанах, в торбасах, — он ходит в пальто и в шапке, приобретенных в магазине. Меньше стало охотников, не осталось почти собачьих упряжек — беспризорных собак полно, а настоящих собачьих упряженок на весь поселок одна-две. Раньше вы приезжали в Уэлен и тотчас чувствовали: да, это настоящий поселок мораверобоев, — это ощущение словно разливалось в воздухе, напоенном запахами моря, близость которого пронизывала все; море, если можно так выразиться, было душою Уэлена, и Уэлен всегда был обращен лицом к морю. Здесь мне почему-то вспомнился Толстой, и именно то место из «Казаков», где Оленин подъезжает к Кавказу и вдруг впервые видит горы, и с этой минуты они уже не отпускают его. «Взглянет на небо — и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ваньюшу — и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами; а горы... За Тереком виден дым в ауле; а горы...» Вот так же было в Уэлене с морем: идешь по поселку, а море... Ведешь урок в классе и нет-нет да взглянешь в окно, да и ученики тянут шеи, поглядывают: там море... Удалаясь от него, уходишь на охоту в тундру, а все равно чувствуешь спиной — море... Лежишь ночью в темноте и слышишь — море... И странно: ведь не ушло оно, не уменьшилось, не отодвинулось с тех пор, но теперь почему-то присутствие его не ощущается с такой силой, море превратилось в деталь, в подробность ландшафта — мелькнет иногда меж домами... И даже прежние запахи, неотъемлемые, казалось, запахи берегового поселка охотников, как будто исчезли, сохранились лишь в одном месте, на разделочной площадке, и я специально ходил, стоял возле у жиротопки, вдыхал, вспоминал... — честное слово!

Помню, давно, в школе, еще в младших классах, учителя задавали нам на лето работу: собирать гербарии, вести календарь погоды. И добросовестно рисовали мы в клеточках то солнышко, то тучку, то — через диагональ — солнышко и дождик... Обременять таким заданием чукотского школьника бесполезно: чтобы обозначить в клеточке все дневные перемены погоды, ни места у него не хватит, ни условных значков. С утра был легкий северяк с туманом и моросями. К обеду туман рассеялся, ветер стих, засияло высокое солнце над ослепительными облаками, и — тихонько, словно пробуя, потянул южак. Под его все крепнущим напором взволновалась лагуна, пошла полосами: вблизи, у берега, где мелко, стала мутно-коричневой, подальше — молочно-зеленою и совсем вдали, на глубине, осталась сверкать на солнце ярко-синей с белыми гребнями пены волной. И настолько убедительным все это выглядит: перемешавшиеся воды лагуны, рвущийся над ними ветер, — настолько серьезными кажутся его намерения, что даже уэленские старожилы говорят: «Ну, теперь надолго!» Но видимо, где-то совсем недалеко за морским горизонтом та незримая стена, о которую ударяется ветер, чтобы повернуть вспять, и вот к вечеру утихает лагуна и начинает в свою очередь раскачиваться море... Ночью я слышу с отрадой, как мерно стихающий и нарастающий его шум превращается в удары все более тяжкие, и утром иду посмотреть шторм. Море — не река, но начало и конец у него все-таки есть, по крайней мере, мне так кажется. При южаке, когда оно спокойно и длинная пологая волна старается как бы отойти от берега, мне всегда чудилось, что начало моря здесь, у этой черты, а конец где-то там, на противоположной стороне. При северном ветре и шторме все переменяется, и, стоя на берегу и глядя, как морские валы один за другим стараются выхлестнуть как можно дальше на сушу, ясно чувствуешь, что конец моря и предел, к которому оно стремится бесконечно, теперь здесь... Разумеется, это пока не такой шторм и не такие валы, что обрушатся на уэленскую косу немного позже, осенью, в сентябре, в октябре, это пока только намек, напоминание, первая проба сил... и все-таки это шторм — шторм в Уэлене! Я иду вдоль пустынного берега, в сторону от поселка, под скалы, где еще сильнее можно ощутить его: там волны уже захлестывают отдельные, выступающие посреди галечного пляжа черные камни, там, между чертой прибоя

и близкой темной стеной скал, клубится серая, непрозрачная мгла водяной пыли, брызги и тумана, там звуку некуда рассеяться и улететь, шум разбивающейся волнами сваливается на тебя, кажется, сверху, с каменных стен, и вдруг шарахаешься от неожиданности поближе к скалам, как бы уже подхваченный ледяным бушующим морем... И вот обыкновенная, бесприютная, никому не нужная странница северных морей и тундр — пустая железная бочка. Минувшим штормом перенесло ее откуда-то и выбросило теперь сюда, и она лежит одиноко на границе прошлого наката, обозначенной высоким накиданным галечным гребнем. Я вижу, как волна подбирается и размывает постепенно этот гребень, выбирает раз за разом галечник из-под бочки, и наконец она, покачнувшись, начинает медленно и неуверенно катиться вслед за отступающей полосой пены. Ей не удается достичь той черты, где, вбирая, закручивая в себя все: гальку, поднятую муть, водоросли, остатки разбившейся волны, подошедшую новую, — свертывается очередной вал; рухнувшая кипящая масса воды опережает, ударяет в нее, захлестывает, выталкивает легко и опять относит к прежней границе, оставляя там, и вновь бочка, словно упрашивая не покидать ее, взять с собой, тяжело катится к морю, и по ржавым ее бокам струятся остатки пены. И опять волна, летящая на берег, перехватывает ее на попутни, отсылая обратно... Море отвергает чуждый ему предмет, и так будет и впредь: каждый новый, все более сильный шторм станет отбрасывать эту бочку все дальше к скалам, пока не придут самые страшные, последние, с обломками льда, сомнут и распилют бочку чудовищными ударами о камни, загонят в какой-нибудь выбитый волнами грот и забьют, заколотят в дальнюю щель в скале, да так, что изуродованный кусок железа словно впишется, примет форму этой тесной извилистой щели и долгие годы после, в полумраке и сырости, станет сочиться бурой окисью, будто и впрямь изначальная рудная жила... Ну, а пока возможность для классического сравнения мечется передо мной на поверхности, и я позволяю себе его: я так же, как эта бочка, не могу соединиться со стихией, бездумно и безоглядно погрузиться в созерцание шторма... Я швыряю мокрую увесистую гальку, чтобы посмотреть, как она канет в пышной, взбитой пене — без всплеска и звука. Я все замечаю: несчастную бочку, полетывающих возле скал невозмутимых бакланов, слышу звон тонкого ручья, падающего за моей спиной с каменного обрыва, замечаю, как заглушается он гулом очередного

разбившегося вала и возобновляется ненадолго, когда волна отходит. Я словно разлагаю шторм на его составные части, и нет того магического кристалла, чтобы вновь сбрить его воедино и встать, как прежде, как лет пятнадцать назад, глядя на мятущееся море, безмолвно и неподвижно, цепенея от ощущения неясного, невыраженного, но безусловно высокого чувства... Да, сколько раз за эти долгие годы я мечтал вернуться и постоять вот так хоть немного в шторм, на уэленском берегу, собраться, помыслить — без помощи мысли, сосредоточиться, успокоиться, а сейчас могу лишь напомнить себе, перефразировать древнююironическую поговорку: «Вот тебе шторм, здесь и стой!» Но и в самом шторме, в беспрестанном чередовании его устремляющихся на берег валов, в этой однообразной смене грохота воды и шипения пены мне тоже чудится теперь какая-то неудовлетворенность, незавершенность... И, стоя здесь, на берегу, я уже почему-то знал, видел, как буду улетать из Уэлена. Пройдут еще недели две или три — в непогоде с севера и юга, в исчерпавших себя встречах и разговорах, в передуманных мыслях, в томительном безделье и ожидании «просвета». И вот блеснет наконец этот просвет, налетит вертолет, будут выкидывать мешки с почтой, будут грузить мешки с почтой. Все соберутся возле вертолета, и я — с ощущением нетерпения, которое давно можно было определить: «Уж не чаешь, как и улететь...» Летчики, по всегдашней своей привычке, станут торопить, и напоследок наскоро я пройдусь взглядом по всему кругу — от ближайших домов, вдоль поселка на косе, по морю и до Инчунского мыса, а от него к линии гор на юге и через дежневскую тундру опять к уэленским сопкам. И пока глаза мои будут обегать этот, километров двести в диаметре круг, воображению представится иной круг — возможных долгих лет до нового возвращения и встречи. И, еще не улетев, я уже как бы улечу, и мысленно уже проживу эти годы, и начну вспоминать, и тоска моя по оставленному Уэлену, описав весь будущий круг, вернется сюда, к самому началу, когда я еще не оставил его, а только стою возле вертолета. И тут же я захочу — нет, не остаться! — я по-прежнему буду стремиться улететь, но мое нетерпение улететь уже здесь, уже сейчас соединится с жаждой вернуться! А грусть ли предстоящего воспоминания, грусть ли сиюминутного расставания... И кто-нибудь из старых друзей, поглядев проникновенно, спросит: «Что, Василевский, жаль опять расставаться с Уэленом?!» — на что я просто и молча кивну: «Конечно...» А когда вертолет — не прямо,

но как-то боком, относясь в сторону по кривой от нависающей сопки, словно мы и впрямь начали описывать представившийся мне круг,— пойдет над лагуной, я прильну к окошку и почувствую, как желание улететь исчезает, исчезает и исчезнет совсем, а остается только и начинает обостряться желание вернуться. И тотчас поселок внизу, и уэленская коса, и сопка, и шторм, и сам я, оставшийся там, на берегу, вот только что существовавшие как-то обособленно, каждый сам по себе,— все мы вдруг соединимся и вновь обретем мечтавшуюся мне гармоническую цельность.

...Ну, а пока я еще здесь, в Уэлене; примиряющий и просветляющий механизм воспоминания бездействует, и поселок удручет меня своими безликими коробками-домами, раздражает неоправданным многолюдством или, можно даже сказать, *чужелюдством*, и тревожит своим неопределенным положением, которое я условно, для себя называю «противоречивым». В чем же эта противоречивость? Начнем с того, что выше, исследуя проблему занятости уэленского населения, я обещал рассказать о том, почему в совхозе «Герой труда» в последние годы сокращается производство. Кстати, не только в «Герое труда», так же обстоят дела и в остальных двух совхозах Чукотского района: имени Ленина и имени 50-летия Великого Октября. Еще по дороге в Уэлен, сидя в Лаврентии, я встречался и разговаривал с первым и вторым секретарями райкома партии Н. Р. Макотриком, И. А. Шафоростовым, с председателем райисполкома Л. К. Комлевым — они сетовали, что вот уже семь лет подряд совхозы района являются хозяйствами «планово-убыточными» (имеется, оказывается, и такой термин), то есть ежегодно получают от государства дотацию не менее 700—800 тысяч рублей. Причем особое беспокойство вызывает оленеводство, которое в районе, как и по всей Чукотке, издавна считалось ведущей и наиболее прибыльной сельскохозяйственной отраслью. Руководители района называли внушительные цифры потерь: за годы девятой пятилетки общее количество оленей в совхозах сократилось примерно на 10 тысяч голов — это около 20 % всего стада. А за прошедшие два с половиной года десятой пятилетки непроизводительные отходы в оленеводстве составили более 31 тысячи голов — в три раза больше, чем за это же время было забито на мясо... Есть не только численные показатели, но, например, и такой качественный критерий в оленеводстве, как производство мяса на 100 январских оленей. На несколько килограммов в каж-

дом совхозе снизился и он, а в итоге эти несколько килограммов сложились за истекшие годы по району в тысячи тонн убытка. Выше я уже приводил выписки из протоколов различных совещаний, из постановлений бюро райкома и райисполкома в разные годы, в которых точно указывались причины такого упадка в оленеводстве: безответственность, бесконтрольность, плохая организация труда, низкий уровень профилактической и лечебной работы, недостаток в кадрах и т. д. Эти же причины назывались и теперь. Однако не могли руководители обойти и объективные обстоятельства: жесточайшие пурги, морозы и гололеды, случавшиеся, как назло, из зимы в зиму как раз все эти последние годы. В одну только зиму 1972—1973 гг., когда олени из-за мощного гололеда не могли достать себе корм, район потерял 12,5 тысяч животных. В 77-м году пурга ударила именно во время отела и за неделю погубила 7 тысяч новорожденных телят!.. Конечно, всякий честный специалист и честный руководитель посчитает недобросовестным списывать свои неудачи прежде всего на неблагоприятные объективные условия и сошлется сначала на собственную недоработку, а уж потом на климат, погоду и т. д., но мне кажется, что в данном случае, в данном месте и в данной ситуации надо все-таки наоборот. Ибо я высажу сейчас, может быть, неофициальную мысль и даже, может быть, крамольную для руководителей сельского хозяйства округа и области, но Чукотский район, этот самый отдаленный уголок чукотской земли, зажатый на кончике полуострова между тесно сходящимися морями, никогда не был раньше, как теперь, оленеводческим, то есть преимущественно оленеводческим районом!

Взглянем на его прежде многочисленные стойбища, а теперь — вследствие слияния и укрупнения — немногие поселки: Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен, Лорино... Все они расположены на берегу, на длинных галечных косах или на высоких склонах далеко выдающихся в море мысов. В них жили эскимосы и береговые оседлые чукчи — «анкальыт», исконные морзвербои, круглый год промышлявшие нерпу, лахтака, моржа, гренландского и серого кита. Оленеводами они не были, необходимые им продукты оленеводства: шкуры для одежд, постелей и пологов, мясо и т. д. — они получали прежде, меняясь продуктами своего промысла с кочевыми, оленными, чукчами — «чавчыват». Крупнотабунное оленеводство, сложившееся на Чукотке окончательно в XIX веке, сосредоточилось не здесь, на крайнем северо-востоке полуострова, а южнее, западнее

и восточнее, то есть ближе к континентальной части Чукотки, где был посуше, поустойчивей климат, меньше грозила опасность гололеда, имелись богатые пастбища с разнообразными кормами. А в районе мыса Дежнева, от бухты Поутен до реки Чегитун, кочевало в начале нашего века всего четыре стада, не более 1000 голов в каждом. Владельцы этих стад — четыре брата — и поддерживали хозяйствственные отношения с приморскими чукчами и эскимосами... С приходом на Чукотку Советской власти и началом коллективизации в 30-х годах кооперирование происходило, так сказать, «по специализации»: образовывались товарищества по совместной добыче морзверя, охотничьи и рыболовецкие артели, оленеводческие товарищества. Только в Чукотском районе их было создано около тридцати, и в основном, естественно, морзверобойных... Ко второй половине 40-х годов начала сказываться крайняя неравномерность в экономическом развитии хозяйств Чукотки. Вот как говорится об этом в «Очерках истории Чукотки с древнейших времен до наших дней» (издательство «Наука», Сибирское отделение, Новосибирск, 1974) на странице 279: «Оленеводческие колхозы Чукотки были экономически крепче, чем колхозы, занимавшиеся морским, зверобойным и рыбным промыслом. Денежные доходы оленеводческих колхозов были в 5 раз выше, чем в морзверобойных, а следовательно, и материальное положение колхозников в них было лучше... Оленеводство на Чукотке осталось самой доходной отраслью сельскохозяйственного производства. Потому все рыболовецкие и морзверобойные колхозы с помощью государственных кредитов стали приобретать оленей и развивать оленеводство, что значительно укрепило их экономику, сделало ее более устойчивой. Если в 1947 г. только в 6 колхозах Чукотского района развивалось оленеводство, то в 1949 г. стада оленей приобрели уже 19 колхозов. Это изменило хозяйственное направление колхозов, оленеводство стало занимать первое место по доходам, обеспечивая повышение материального положения колхозников». Разумеется, одновременно с этим были приняты и меры по укреплению и развитию морзверобойного промысла, морские охотники получили шхуны, вельботы, моторы к ним, винтовки и карабины, боеприпасы. И морзверобойный промысел начал давать прибыль. Было проведено и укрупнение колхозов. В одном Чукотском районе к началу 60-х годов их стало всего пять, к концу 60-х они были преобразованы в три совхоза...

Но это уже пошли подробности развития сельского

хозяйства на Чукотке, я же хотел лишь пояснить читателю, каким образом традиционно морзверобойные хозяйства в районе мыса Дежнева, в том числе и в Уэлене, превратились в преимущественно оленеводческие. Более того, они стали комплексными: прибавилось клеточное звероводство, в отдельных хозяйствах, где позволяли условия, — птицеводство, молочное животноводство. Все это было естественно, закономерно: мы уже видели, что и оленевод, и морской охотник издавна не довольствовались только продуктами своего хозяйства, своего промысла и вынуждены были обмениваться этими продуктами... Стада в колхозах образовались большие: в уэленском «Герое труда» в 67-м году насчитывалось около 10 тысяч голов, в лоринском имени В. И. Ленина, чьи угодья были расположены южнее, вокруг Мечигменского залива, — около 20 тысяч. И поныне установка в районе, как я понял, — иметь около 40 тысяч оленей, причем некоторые утверждают, что пастбища района позволяют увеличить это число примерно до 47 тысяч. Но вот еще один солидный труд, созданный коллективом научных работников СВКНИИ, выпущенный издательством «Наука» в Москве в 1970 году, — «Север Дальнего Востока». В статье «Развитие товарного оленеводства» на странице 443 приведена схема сезонных пастбищ Магаданской области, составленная по материалам Магаданской и Чукотской землеустроительных экспедиций МСХ РСФСР 1949—1959 гг. И по этой схеме выходит, что в том уголке Чукотского полуострова, на который как раз приходится территория нашего района, есть пастбища летние, есть весенние, есть осенние и почти совсем отсутствуют зимние, а та немногая их площадь, которая все-таки имеется, принадлежит в основном совхозу имени В. И. Ленина, то есть именно хозяйству, всегда славившемуся наибольшим поголовьем оленей в районе. У ненецкого совхоза имени 50-летия Великого Октября и уэленского «Героя труда» специфически зимних пастбищ практически нет, зато на их долю, как правило, и выпадают самые большие потери в оленеводстве. И в самом деле: может быть, и возможно в теплое, бесснежное время выпасать и кормить на территории района стадо в несколько десятков тысяч голов, но куда ж это стадо деть, увести и спрятать на долгую зиму, от гололедов и шург, на этом узеньком, то и дело продуваемом насквозь, от моря до моря, клочке земли, где нет ни леса, ни высокой, защитившей бы горной цепи, и весь он, от вершин небольших сопок до речных долин, покрывается единой ледяной коркой, непро-

биваемой, как броня! Олень — не корова, ему хлев не построишь... Зимой 76-го года бывший директор «Героя труда» А. П. Волгарев говорил мне, что в совхозе осталось 4 тысячи оленей, но к 79-му году совхоз по плану собирается увеличить стадо до 4600 голов. А в этот летний приезд специалисты совхоза выдали прогноз на 79-й — всего 2600 голов... Соответственно, по-видимому, корректируются и планы всего района.

Не однажды в беседах с авторитетными и давними знатоками сельского хозяйства Чукотки, и, в частности, ситуации с оленеводством в Чукотском районе, приходилось мне слышать, что основная причина потерь здесь все-таки объективная, а именно та, что оленеемкость зимних пастбищ района уменьшается по сравнению с летними в несколько раз. Могут спросить: но отчего же раньше, всего лет десять — пятнадцать назад, стада в колхозах этого же района были стабильны по численности поголовья, держались на многотысячном уровне? На тех же пастбищах, в тех же метеоусловиях? Но я с того и начал, что оленеводство в Чукотском районе как отрасль сельского хозяйства начала развиваться не так давно, окончательно район как оленеводческий сложился в конце 50-х — начале 60-х годов, немногие его угодья были еще свежи, корма нетронуты, а они, как известно, имеют обыкновение истощаться и в чукотских условиях подолгу не восстанавливаться. Например, автор цитируемой выше статьи об оленеводстве указывает, что «кормовые лишайники требуют для полного восстановления 9—12 лет» (с. 446). А заметим, что кормовые лишайники и есть в основном эти самые зимние корма. На обширных пастбищах можно выбирать из года в год и разнообразить маршруты стад — так называемый «пастбищеоборот», — а в Чукотском районе, повторяю, это сложно, тут вынуждены кочевать подолгу по одним и тем же маршрутам. Животные не успевают набраться достаточно сил для длительной и суровой зимовки, истощенные матки дают слабое потомство, оно гибнет... Одним из способов сохранения и восстановления жизнеспособности оленевого стада является регулярная его выбраковка. Однако поскольку непроизводительные потери и так уменьшают поголовье стада, то, чтобы хоть в какой-то мере его сохранить, приходится оставлять в нем и слабых оленей, и старых оленематок. Повышается яловость, в очередную зимовку опять увеличиваются отходы — словом, получается какой-то замкнутый круг. Из нынешнего разговора с секретарями Чукотского райкома партии Н. Р. Ма-

котриком и А. И. Шафоростовым я понял, что они все-таки собираются ставить вопрос перед руководством округа и области именно о жесткой выбраковке оленевого стада, пусть даже в ущерб выходному поголовью. И действительно, все эти ежегодные в течение последних десяти лет потери в оленеводстве не говорят ли о том, что это уже не случайность, не просто результат неблагоприятных климатических условий в Чукотском районе, но закономерность, естественная реакция разросшегося оленевого стада на обедневшие пастбища, на недостаток кормов? Не лучше ли поэтому сократить стадо в Чукотском районе до оптимальных размеров, чтобы оно могло спокойно прокормиться — и летом, и зимой — на районных пастбищах? Пусть оленеводческая отрасль не будет давать здесь какое-то время возможную прибыль, но уж точно она не будет приносить государству «планируемых убытков»!..

Надо еще сказать, что в последние годы в Чукотском районе в соответствии с принятым в июне 1974 года решением окружкома партии и окрисполкома проводятся меры по специализации и концентрации сельского хозяйства. Окончательной картины, в которую все это сложится, здесь пока нет, но предварительные соображения и первые результаты уже есть. Я поминал, что сейчас в районе три совхоза и шесть, вместе с райцентром Лаврентия, поселков. До недавнего времени было семь... Теперь предполагается образовать на территории района всего два совхоза и оставить четыре, а в дальнейшем и вовсе три поселка. Один совхоз — имени В. И. Ленина — сохранить, как и был, с центральной усадьбой в поселке Лорино, но со специализацией — звероводство. Два других — нешканский имени 50-летия Великого Октября и уэленский «Герой труда» — объединить в один, с центральной усадьбой в самом Лаврентии и со специализацией — оленеводство. До какой-то поры в Нешкане и Уэлене останутся отделения совхоза, а впоследствии отделение будет только одно — в Уэлене. Итак, большая часть поселков района: Нешкан, Энурмино, Инчоун, Нунымо (последний уже переселен) — признаны, как сейчас принято выражаться, «неперспективными», и жизнь в них станет постепенно замирать, население уменьшаться, переезжать в другие поселки. «Люди там не заняты производством, — как сказали мне в райкоме партии, — и держать их там и экономически, и морально — нецелесообразно!» Кстати, под эту оценку подпал бы и Уэлен и тоже был бы признан «неперспективным», но все же он остается, и вот это-то его положение я и называл

в начале главы «противоречивым», однако об Уэлене — опять немного дальше... В самом деле, сельскохозяйственное производство в этих совхозах, как мы видели, по разным причинам сокращается; средства на его восстановление и расширение управление сельского хозяйства окрисполкома в связи с политикой укрупнения выделять перестало; сами поселки, особенно Нешкан и Энурмино, от райцентра очень далеко, сообщаться с ними трудно, единственный вид транспортной связи — вертолетный, но и он, даже летом, не всегда возможен. Это — с одной стороны. С другой стороны, руководство райкома и райисполкома понимает невозможность сейчас же, скорым образом претворить намеченный план — объединить совхозы, «закрыть» поселки — для этого нужно хотя бы развернутое жилищное строительство на центральных усадьбах, в Лаврентии и Лорино, а оно ведется очень медленно, и поэтому Чукотский райком и райисполком упрекают руководителей сельского хозяйства округа в поспешности, с которой в «неперспективных» поселках сокращаются объемы производства, перестает вестись всякое строительство. Вот эта, последняя, точка зрения местных властей, на мой взгляд, очень справедлива; в подтверждение сошлюсь еще на мнение В. В. Леонтьева в его уже упоминавшейся здесь работе «Хозяйство и культура народов Чукотки». «В основу преобразований культуры, быта и хозяйства народов Севера Чукотки, — пишет автор, — в последнее десятилетие была положена экономическая целесообразность: укрупнение хозяйств, концентрация населения и т. д. Это является решающим фактором. Однако без учета этнографических и исторически сложившихся особенностей экономическая целесообразность не всегда себя оправдывает» (курсив мой. — Б. В.). Эти слова относятся к периоду 60-х годов, но и теперь, к концу 70-х, помянутые В. Леонтьевым «этнографически и исторически сложившиеся особенности» в жизни эскимосов и чукчей во многом сохранились. Конечно, государству было бы выгоднее объединить несколько оставшихся поселков в Чукотском районе в один или два и завозить ежегодный генгуж в один или два, а не в шесть-семь пунктов, разбросанных по отдаленному побережью. Прекратились бы томительные сидения в Лаврентьевском аэропорту жителей дальних поселков, отпали бы необходимость и риск срочных санрейсов, упростилось бы руководство производством, расширились бы возможности улучшения культурно-бытовых условий... И оленевым стадам, стесненным сейчас границами совхозных угодий, пошло бы

на пользу, если бы они принадлежали одному совхозу и могли передвигаться по всей территории района... Да мало ли сколько «практически целесообразных выгод» можно было бы тут насчитать! Но стоит ли?.. Ведь что такое эти немногие, редкие, возникающие на сто, на двести километров друг от друга и как бы стягивающиеся к окончанию Чукотского полуострова поселки? Тут не надо быть ни археологом, ни историком, ни этнографом, тут достаточно только взглянуть на географическую карту, на неспешный, но упорный ритм этих кружочков на берегу, чтобы тут же почувствовать, что это великая древность, что это многотысячелетний путь самого человека в его проникновении все дальше на Север в тех лишениях, в тех трудностях и с теми поражениями и победами, о которых мы, цивилизованные люди, и подозревать-то теперь никогда не сумеем! Почему же опустевшую сибирскую деревню, никак не старше трехсот — четырехсот лет, тоже стоявшую на этом едином пути, нам жалко, а двухтысячелетний чукотский поселок, еще живой, вроде бы и неинтересен?..

Здесь, в заключение этой главы, еще один голос, дошедший до нас из начала нашего столетия. Любопытная для постижения духа того времени цитата, поэтому привожу ее по возможности полнее: «Было бы очень неосмотрительно начать коренную ломку всей чукотской жизни, — ломку, на которую отдаленные новаторы нередко бывают способны. В течение многих столетий чукчи выработали себе известный образ жизни, великолепно приспособленный к местным условиям. Требовать от некультурного народа гибкости — быстрой приспособляемости к новым условиям — нельзя. С трудом управляясь и теперь с тяжелыми жизненными условиями, чукчи, в случае новых влияний, не сумели бы к ним приспособиться и ответили бы, конечно, тем, чем ответили десятки диких племен земного шара — вымиранием, которого в настоящее время у них не наблюдается, или же выселением в Америку, которая их к себе с удовольствием пустит. И то и другое, прежде всего, плохо для самой России. Без чукчей все побережье Ледовитого океана на занимающем нас пространстве было бы самой печальной пустыней... Поэтому, какое бы будущее ни получил Чукотский полуостров, что бы его ни ждало, чукчей необходимо беречь, и к этому сбережению их и должны быть направлены все мероприятия. Беречь их необходимо не из одного только чувства гуманности, совершиенно естественного по отношению к народу, заработавшему себе полное сочувствие многовековою

борьбою с исключительно тяжелыми географическими условиями, но даже просто из утилитарных соображений, чтобы сохранить на далекой окраине население и не дать ей обратиться в пустыню, с которой всегда мудрено что-нибудь сделать. Единственным способом поддержки этого населения является только устройство правильных морских плаваний вдоль побережья и доставка товаров не только на мыс Дежнева, но и многое западнее...»

Эти строки взяты из книги И. П. Толмачева «По чукотскому побережью Ледовитого океана», вышедшей в Петербурге в 1911 году с подзаголовком: «Предварительный отчет начальника экспедиции по исследованию побережья Ледовитого океана от устья Колымы до Берингова пролива, снаряженной в 1909 году Отделом торгового мореплавания Министерства Торговли и Промышленности». Вывод, к которому пришел И. П. Толмачев, позволяет, даже не зная ничего больше о нем, судить, что это не только добросовестный специалист, но и человек просвещенный, с гуманными чувствами и для своего времени мыслящий достаточно широко. Чисто человеческие соображения относительно участия маленького народа сочетаются в нем с требованиями здравого смысла, но можно предположить, что автор «Отчета» намеренно лишний раз подчеркивает все эти «утилитарные соображения», обращает внимание на практическую пользу «для самой России», доказывая, что «чукчей необходимо беречь». И как мало надо для этого сделать, убеждает И. П. Толмачев свое министерство, надо только наладить «морские плаванья вдоль побережья и доставку товаров...». Разумеется, теперь, по прошествии семидесяти лет, когда так много перемен произошло на Чукотском полуострове, можно по-иному, ретроспективно прочесть эту выдержку из книги И. П. Толмачева — повторяю, отчасти для того я и привел ее так полно, — подчеркнуть в ней со знаком вопроса слова «некультурный народ», «вымирание», «единственный способ поддержки» и т. д. Оправдывать все это и заново комментировать с поправкой на сегодняшнюю жизнь Чукотки, я думаю, нет нужды. И лишь одна фраза у Толмачева начинает звучать для нашего времени каким-то парадоксальным прогнозом: «Без чукчей все побережье Ледовитого океана... было бы самой печальной пустыней». Парадоксальным оттого, что не только ведь морские плаванья «устроены», но и авиалинии проложены, и регулярная доставка товаров налажена, и школы, и больницы, и клубы выстроены, и библиотеки открыты, и национальные кадры выращены, и жилье благо-

устроено... — а поселения вдоль побережья исчезают! «Это — историческая закономерность. — Так ответил мне впоследствии в Магадане Ивакин. — Процесс слияния и укрупнения чукотских поселков необратим. Когда я начинал в 40-х годах работать на Чукотке, в одном Чукотском районе было около тридцати поселков и стойбищ. Сейчас — шесть. А будет, говоришь, три...» — «А в перспективе, если логически рассуждать, — один! Вот такой большой, красивый чукотско-эскимосский «город»!» — сказал я. «Может быть, и так», — спокойно согласился он... Когда мне говорят про историческую закономерность и необратимый процесс, я ничего не умею возразить. Я твердо знаю, что все это — вещи заведомо неопровергимые. Но и унылые зрелища брошенных селений, и печальный вид пустынных, оставленных побережий — тоже факт!..

6

Теперь возвратимся в Уэлен, и возвратимся окончательно. Если исходить из принципа «экономической целесообразности», Уэлен тоже должен был бы попасть в число «неперспективных» и разделить участь прочих, отдаленных от райцентра поселков района. Но вот уж исчезновение этого поселка выглядело бы совершенно невероятно! Ведь что такое Уэлен, кроме как «самый северо-восточный населенный пункт нашей страны»? Чтобы понять это, ограничимся простым и небольшим перечнем событий от древнейших времен до наших дней. Не так давно, в 60-х годах нашего века, магаданские и ленинградские археологи обнаружили на уэленской сопке остатки человеческих жилищ и захоронения, датируемые 1-м тысячелетием до новой эры. Найденные здесь предметы: охотничьи гарпуны, наконечники стрел, домашняя утварь, украшения — олицетворяют собой все разнообразие существовавших в былое время эскимосских культур: древнеберингоморской, бирниркской, пунукской, а сам Уэлен дал название одной из них — уэлено-оквикской. Именно через окончность этого полуострова пролегал один из главных путей расселения человека и распространения этих культур из Сибири на Аляску и далее, в циркумполлярные районы Канады, в Гренландию. Так что Уэлен — это, можно сказать, последний зрямый, сохранившийся до наших дней след, оставленный человеком, прежде чем шагнуть ему вниз, в долину, залитую теперь водами двух океанов и именуе-

мую Беринговым проливом... И о том, что такой пролив образовался и существует, тот самый первый землепроходец знал, конечно, давно, задолго до середины XVII века, когда этими водами прошел Семен Дежнев «со товарищи» и проплыли его кочи неизбежно мимо Уэлена... С тех пор Уэлен видел много кораблей под командованием прославленных путешественников. В 1728 году прошел здесь снаряженный в Нижнекамчатске бот «Святой Гавриил», капитаном которого был Витус Беринг. «Земля более к северу не простирается, а к Чукоцкому или к Восточному углу земли никакой не подошло», — заключил он. 18 июля 1879 года проплыл на «Веге» известный шведский полярный исследователь Норденшельд, и, кстати, это он первый назвал мыс Восточный мысом Дежнева... В 1911 году в Уэлен заходили русские ледокольные суда «Таймыр» и «Вайгач», занимавшиеся гидрографической съемкой. Сохранилась фотография Уэлена того времени, сделанная участником этой экспедиции, доктором Л. М. Старокадомским: на первом плане маленький дощатый домик, в отдалении — яранги... 21 июля 1920 года после двухлетнего плавания по Северному Ледовитому океану мыс Дежнева обогнул Руаль Амундсен на шхуне «Мод». За ним, в 1932 году, прошел советский ледокол «Сибиряков», первым в истории преодолевший весь путь от Архангельска до Берингова пролива за одну навигацию. А еще через год продрейфовал в сторону пролива и потом обратно на север зажатый льдами «Челюскин». И самые первые челюскинцы, снятые летчиком Ляпидевским со льдины — десять женщин и двое детей, — были доставлены в Уэлен... Затем наступили годы освоения воздушных путей Севера, годы рекордных дальних перелетов на отечественных машинах, и тут Уэлен обязательно был конечным, начальным или промежуточным пунктом большинства маршрутов. В 1935 году здесь приземлился Молоков, вылетев из Красноярска. В следующем году он же начал из Уэлена свой полет и прошел над побережьем Северного Ледовитого океана вплоть до Архангельска. В том же, 1936 году, перелетев в густом тумане через Берингов пролив, на воды уэленской лагуны опустился самолет Леваневского по пути из Лос-Анжелеса в Москву. Два года спустя сюда прилетали известные летчики Г. Орлов и П. Головин, проделав около тридцати тысяч километров по маршруту Москва — Уэлен — Москва. Однако не следует думать, что маленький чукотский поселок в эти годы был простым свидетелем, что ему, так сказать, повезло, случайно выпало стать очевидцем

творящейся Большой Истории,— Уэлен и сам был в ней активным действующим лицом. Взять хотя бы историю становления на Чукотке Советской власти. В 1920 году в Уэлен прибыл первый ее уполномоченный — А. М. Бычков. В 23-м году здесь создаются отряды по борьбе с контрреволюцией на Чукотке, в которые входят около двухсот чукчей и эскимосов. Тогда же образуется уэленская волость, и волревком заседал, между прочим, в том самом, до сих пор сохранившемся здании, где впоследствии размещался наш школьный интернат, а сейчас находится гостиница... 24 августа 1926 года именно в Уэлене состоялось первое партийное собрание и была создана кандидатская группа, положившая начало Чукотской районной партийной организации. В том же году в поселке образовался один из первых на Чукотке потребительских кооперативов. А 20 сентября 1928 года была утверждена уэленская ячейка ВЛКСМ — опять самая первая на Чукотке и самая северная в стране... Одна из первых производственных артелей... Одна из первых школ... Наконец косторезная мастерская, организованная в 1931 году, а в 37-м в Третьяковской галерее уже экспонировались изделия уэленских мастеров...

Словом, Уэлен — это Уэлен. Представить Чукотку, как прежнюю, как нынешнюю, так и будущую, без этого поселка невозможно. И вот почему, несмотря на то что Уэлен признан хозяйственниками «неперспективным», никто не ставит вопрос о его «закрытии», — наоборот, как мы видели, поселок продолжает застраиваться и населяться. Рост Уэлена без расширения в нем производства, кажется мне, объясняется еще вот чем. В конце 60-х годов возникла мысль превратить Уэлен в образцовый, наисовременнейший чукотский поселок и даже «запустить в него интуриста», то есть эскимосов с той стороны пролива. Тогда же появился и вышеупомянутый проект его застройки. Затем эта идея как-то сама собой заглохла, но не наовсем, и то, что в Уэлене вместо шести оригинальных многоэтажных зданий выстроили и продолжают строить обыкновенные двухэтажки, есть, как мне думается, некая инерция, какой-то отзвук, весьма приблизительное и слабое, но все-таки воплощение той идеи... Сейчас будущее Уэлена пока неопределено. Я говорил, что его хотят сохранить, разместив в нем отделение объединенного совхоза. Кроме того, ходят слухи, что собираются вернуться к прежнему проекту — образцового чукотского поселка. Вот это, конечно, было бы справедливо, особенно сейчас. Действительно, если уж так

исторически необходимо, чтобы исчезли старые чукотские поселки Нешкан, Энурмино и Инчоун, то пусть хоть Уэлен останется являть собой образец настоящего, чукотско-эскимосского национального поселка. Что для этого следует предпринять? В те дни, живя на уэленском берегу, и потом, вернувшись в Москву, я основательно размышлял об этом, и мне представился соблазнительный вариант «завтрашнего» Уэлена. Прежде всего, здесь надо, по-моему, исходить из того, что этот поселок всегда был, как мы видели, и остается своеобразным символом чукотско-эскимосской истории и культуры, а кроме того, центром традиционного национального искусства резьбы по кости. И этот статус Уэлена необходимо сохранять, поддерживать, укреплять и развивать в дальнейшем. Поле деятельности тут обширное. Например, в поселке до сих пор нет никакого музея. Имеется, правда, небольшая экспозиция в школе, была попытка создать уголок этнографии при косторезке, но все это слишком скучно, разрозненно, бессистемно. Такого ли свидетельства своего прошлого и настоящего заслуживает Уэлен! И этот музей если создавать, то надо создавать не откладывая, пока сохранились еще у жителей поселка удивительные старинные вещи, традиционная одежда, утварь, пока не вытеснено все это окончательно привозными магазинными товарами...

Главная же надежда Уэлена, как мне кажется, — косторезная мастерская. Ибо, скажем, оленеводство, которое доставляет здесь столько хлопот, с успехом развивается и в других районах Чукотки, а уэленская косторезка — уникальна. Сейчас в мастерской работают около сорока местных резчиков, граверов, швей, но ведь можно привлечь и гораздо больше, потому что это искусство у эскимосов и береговых чукчей — в крови, они все прирожденные художники. Можно отыскать талантливых косторезов и в других «неперспективных» поселках и собрать их в Уэлене. Наконец, мастерская существует уже почти пятьдесят лет, но и по сей день при ней не создано специальной школы, где с детских лет могли бы обучаться будущие мастера. Пока чукотская молодежь приобщается к искусству резьбы по кости так: кончают среднюю школу, приходят работать в косторезку, начинают учениками. Серьезно осваивать косторезное дело можно и нужно гораздо раньше, а дети знакомятся с ним пока на уровне школьного кружка. Если по-настоящему заботиться о сохранении и развитии этого редкого национального художественного промысла, то такая профессиональная школа, по-моему, просто необходима.

ма и открывать ее надо на месте, в Уэлене... Разумеется, я вовсе не мечтаю, чтоб Уэлен превратился в некую «башню из моржовой кости», в поселок, где все кругом только и занимались бы, что резали и гравировали моржовые клыки. Да это и невозможно. Подобно всяческому искусству, чукотско-эскимосская резьба по кости не может быть оторвана от жизни как в современных, так и в традиционных ее проявлениях. Однако беспокоит то, что «современных проявлений», как посмотришь, в Уэлене, равно и в других чукотских поселках, полно, а традиционные, корневые — куда-то, и причем довольно быстро, исчезают. Что определяло первым делом жизнь обитателей этого берега — с незапамятных времен и до самого недавнего прошлого? Охота на морского зверя: кита, моржа, лахтака, нерпу. И не надо, думаю, объяснять, что охота здесь никогда не была просто убийством, ради того чтобы прокормиться и выжить, — она формировала мировоззрение, мораль, обычай, питала мифологию, фольклор и, наконец, оборачивалась высоким искусством в национальном танце и резьбе по кости. Все прославленные мастера, танцоры и косторезы, которых мне посчастливилось знать: Нутетегин, Умка, Вуквутагин, Хухутан и многие другие, были и превосходными охотниками.

Сейчас, буквально за последние десять лет, можно видеть, как резко сокращается морзверобойный промысел, вернее, если исчислять центнерами добывого мяса, он держится примерно на одном уровне, но главное, сокращается занятость местного населения в этом промысле. Началось с того, что в начале 70-х годов было решено, что китов для хозяйств Чукотского района будет поставлять китобоец «Звездный». С тех пор это делается так: китобоец принимает по рации заказ от совхоза на одного кита или двух, идет в «огород» — так моряки-китобои именуют меж собой места скопления планктона и соответственно китов, — отстреливает требуемое количество, подвозит поближе к берегу, местные охотники выходят навстречу на вельботах, принимают добычу и... на их долю остается только разделка. Конечно, с точки зрения экономической целесообразности, может быть, и разумно, что один всего китобоец заменил множество охотничьих бригад; ему, с его специальным вооружением, с его скоростью, почти втрое превышающей самую высокую скорость плывущего серого кита, очень легко настичь и убить животное; заодно исчез риск охоты на вельботе и т. д. А вместе с тем одна из главнейших нитей, издревле связующая берегового охотника с окружа-

ющей его природой, пресеклась... Правда, чукчам и эскимосам осталась еще охота на моржа и нерпу, но, повторяю, количество самих охотников чрезвычайно уменьшилось, в Уэлене работают только две бригады, это десять — пятнадцать человек на весь поселок. Оставшиеся не у дел охотники разошлись кто куда: кто в оленеводство, кто в звероводство, кто в сферу обслуживания — например, грузчиком в ТЗБ. Помню, в 72-м году в Лорино мне пришло разговаривать с одним пожилым чукчей, бывшим морзверобоем. «Я теперь оленевод, — с грустным юмором сказал он. — Какой из меня оленевод? Только олениед. В тундре — надо родиться...» Вот так морзверобойный промысел, бывший когда-то единственным на побережье, уступил сначала первое место оленеводству, а сейчас и во все отошел на задний план: как основные отрасли будущих укрупненных специализированных хозяйств в районе называются оленеводство и клеточное звероводство, а охота на морзверя не поминается вовсе. Понять хозяйственников легко: эта отрасль оказалась наименее доходной. Разумеется, в каком-то объеме морской промысел так или иначе сохранится, хотя бы потому, что без него не смогут существовать зверофермы. И все-таки, мне кажется, к нему надо относиться не только как к одной из отраслей чукотского сельского хозяйства, но и как к устойчивой, давно сложившейся форме бытия береговых чукчей и эскимосов; этот промысел следует возродить и поддерживать в той мере, чтобы не исчезли многие местные традиции. К примеру, если вернуться к нашим косторезам: каким путем, скажите, сможет молодой, начинающий резчик превратиться в самостоятельного мастера, исполнить свою, оригинальную работу, если он и в море ни разу не выходил, и моржа или кита наблюдал только в виде выволоченной на берег застывшей бесформенной туши? Он станет просто подражателем, начнет копировать изделия старых мастеров, что, кстати, нередко уже практикуется.

О внешнем облике будущего Уэлена, каким он мне видится, я писал в одной из предыдущих глав. О его теперешней перенаселенности за счет приезжих... Я думаю, что со временем, когда начнет вплотную осуществляться проект укрупнения хозяйств, эта проблема должна исчезнуть сама собой, потому что часть приезжих совхозных специалистов и работников сферы обслуживания будет иметь все основания перебраться на центральные усадьбы, в Лорино или в Лаврентия. Кое-кто вернется на материк, заработав намеченную сумму денег... И во всяком случае, можно

надеяться, что теперь-то, в связи с этим проектом, перестанут привлекать в Уэлен и в другие «неперспективные» чукотские поселки рабочую силу со стороны. Ведь если, как сказали в райкоме, держать людей в таких поселках «экономически и морально нецелесообразно», то еще нецелесообразнее, следовательно, увеличивать в них население.

Вот мое мнение относительно «завтрашнего» Уэлена. Допускаю, что это мнение, может быть, спорное, мнение неспециалиста (да и существуют ли такие специалисты — «по образцовым национальным поселкам»?!), и все-таки это правомерная точка зрения человека, жившего в Уэлене, долгое время наблюдающего за ним и очень неравнодушного к его судьбе. Почему-то я уверен, что так в конце концов и сбудется: Уэлен сохранится и еще более расцветет как центр чукотско-эскимосской культуры и искусства. Вопрос только, когда все это решится? Через сколько лет?

7

...Завершал я свое путешествие достойно, как и подобает путнику, — пешком. Стоял самый конец августа. Уэлен уже третью неделю продолжал соревноваться с Лаврентия в непогоде, вертолета все не было, а в один из дней над поселком, в пасмурном, туманном, размытом небе, невидимый, прошел первый клин журавлей. Крик их приблизился откуда-то с севера, медленно проплыл вдоль косы и удалился в сторону пролива, к Наукану, а вслед ему — или это только так показалось — с моря на мгновение повеяло не сыростью, не осенней прохладой, но серьезным полярным холодом... И может быть, именно тогда возникла мысль сходить напоследок в Наукан. К тому же накануне я заглянул в поселковую библиотеку, прошелся меж стеллажами, извлек томик Ахматовой, раскрыл наугад и прочел:

И мчится: голос человека
Здесь никогда не прозвучит,
Лишь ветер каменного века
В ворота черные стучит.

И это было словно прямо о Наукане. Удивительно: я не собирался заранее в это давно оставленное эскимосское селение и целых полмесяца прожил в соседстве с ним, не вспоминая о нем, и рвался улететь, — возможно, мысль о Наукане, зная свою неизбежность, просто тихо ждала определенного часа, — и теперь я поражался не тому даже,

как мог уехать, не повидав Наукана, но тому, как мог не предвидеть этой мысли...

Я собрал рюкзачок, предупредил товарищей, что беспокоиться обо мне можно начинать через три дня. Был ветер с юга и туман с дождем. Много лет назад, живя здесь, я бы не подвигся выйти в Наукан в такую погоду, но тогда у меня была возможность сделать это через неделю, и через месяц, и через полгода, а сейчас я не мог быть уверен, что мне еще представится когда-либо такая возможность... Бессмысленно было идти через вершины сопок, они до середины склонов закрывались облачностью. Часа примерно полтора я брел по тундре, затем стал забирать слегка наверх, наискосок по склону, чтобы немного срезать дорогу к распадку, ведущему в Наукан. Все это время ветер дул мне навстречу, но от ходьбы я постепенно разогрелся, и странно было чувствовать холодный дождь на разгорячившемся лице; эти два ощущения — внутреннего тепла и наружного холода, — как бы не смешивались, воспринимались раздельно: не остужалось лицо, и капли дождя, облепляющие его, не согревались, не успевали согреться... У входа в распадок я всегда делал первый привал и сейчас остановился тоже. Здесь, на обращенной к югу стороне холма, обильно, отдельными полянками росла морошка; ее твердые, еще не вызревшие ягоды краснели и розовели среди мха и травы. Отсюда начинался не крутой, но долгий подъем к перевалу. В распадке стало потише, да и дождь прекратился, но туман оставался висеть: я видел лишь небольшой отрезок речки, скатывающейся навстречу мне по каменистому ложу, по сторонам — начало уходящих вверх склонов, и впереди, по мере того как я шел, возникали одна за другой башенки из камня, предусмотрительно, на случай вот такой непогоды, сложенные теми, кто некогда ходил здесь. Ходьба всегда странным образом сосредоточивает, а ходьба в тумане — тем более: не отвлекаешься на обозревание невидимых окрестностей, идешь, глядя под ноги, машинально выбирая, куда лучше наступить, в голове никакой определенной мысли, ощущаешь только какое-то необъяснимое упоение этим неспешным движением и еще тихую благодарность кому-то за то, что существуют на свете такие вещи, как *удединение и дорога*. Хотя опять же странно: ведь никто не заставлял, не уговаривал тебя отправляться в путь, ты, кажется, сам надумал, и если быть сейчас благодарным, то прежде всего себе, а все равно — не себе, к о м у - т о... Иногда дорогу преграждали обширные каменные развалы, и тут уже приходилось сосредоточи-

ваться буквально, чтобы, перепрыгивая с глыбы на глыбу, не свернуть себе шею, не поломать ребра.

Еще два часа подъема — и перевал. Путь к нему еще потому кажется долгим, что в какой-то момент начинает мерещиться, будто вершина недалеко, и настраиваешься на скорый отдых, но достигаешь этой черты и видишь, что за ней лишь небольшой перепад, а до настоящей вершины еще порядочно... По ту сторону перевала, немного ниже в долину, — первый обогреватель... Я ловлю себя на том, что воспроизвожу эту дорогу, совсем как когда-то мои ученики. Однажды я, молодой учитель, ходил с ними в Наукан, а потом, как водится, попросил написать об этом походе. Путешествие наше не обошлось без приключений: в тот год рано, в сентябре, выпал снег, тундра под ним еще не промерзла, мы шли, проваливаясь. Здесь, в долине, началась поземка, а на другой день на обратном пути и вовсе застала нас пурга. Но ребята мои были довольны, и я ожидал найти в их сочинениях если не прямой взрыв чувств, то хотя бы отзвук каких-то переживаний. Однако получил спокойный скрупулезный отчет: сколько ручьев перешли, в какой по счету распадок свернули, сколько раз чередовались подъем и спуск, где отдыхали. Поначалу я недоумевал, потом понял: они, дети тундры, описали самое интересное и извечно важное для себя — приметы пути... Но вот и обогреватель. В нем мы как раз и отдыхали... Он приземист и тесен, невысокие стены его сложены, как у старых эскимосских жилищ в Наукане, из камня вперемежку с дерном. Раньше внутри имелась железная печка, ящик с углем, две узенькие скамеечки вдоль стен. Сейчас печка лежала на боку, с отвалившейся дверцей, трубы не было, в плоской крыше зияли дыры. Видно, давно уже не ходил никто этой дорогой...

Долина передо мной вся была сплошь заполнена туманом. Каменные ориентиры, до сих пор верно служившие мне, в ней совершенно терялись. Я помнил, что их цепочка сворачивает отсюда резко вправо, пересекая долину, огибая глубокий, вклинившийся в нее со стороны пролива распадок и поднимаясь к следующему перевалу. Однако отыскать их в этом молоке можно было бесконечно. И неизвестно, как там на перевале... Я решил пройти еще вперед, краем долины; здесь, на высоте, туман был пореже. Где-то, чуть правее, должен был находиться тот самый распадок, уводящий к проливу. Если я наткнусь на него, это тоже будет надежный ориентир. Я жалел, что и долина, и окружающие ее сопки закрыты, — это место всегда особенно

поражало меня, может быть, потому, что с детства я привык к иным местам: к полям, перелескам, овражкам, речке в ольхе и прибрежной осоке, в которую, трепеща и ударяясь друг о друга крыльями, сваливались с жестяным звуком сцепившиеся стрекозы. И все было мирно, кротко, все говорило тебе о вечном с тобой единении и ласковом родстве... Но нигде, как здесь, среди этих каменных, мрачноватых для взора громад, в абсолютном безмолвии, только усугублявшемся от каждого одинокого и робкого звука, не ощущал я так остро самостоятельное, замкнутое в себе, прекрасное и недоступное бытие природы, созерцая которое, человек начинает задумываться, а точно ли он — творец и преобразователь, и вдруг будто уменьшается в росте, умаляется в горделивом самосознании и смиренно отступает на указанное ему место, — напоминание не первое, но всякий раз, я считаю, поучительное... Да, и однако не столько отвлеченные размышления, сколько конкретная дорога занимала меня. Внезапно я почувствовал, что нужный мне распадок где-то рядом — стремительность многих ручьев, с бульканьем и звоном низвергающихся с горы, подтверждала это, — и, уже не колеблясь, сошел в туман. Действительно, вскоре я стоял на краю крутого обрыва, далеко внизу шумела речка. Противоположного склона не было видно. Скользя, временами почти съезжая по мелкому щебню, я спустился на дно распадка. Движение воды увлекало за собой клочья тумана, они неслись над потоком. Я знал, что речка обрывается в пролив водопадом, и представил, как клубится в том месте белая мгла, вылетая из тесного ущелья. Теперь я не опасался заблудиться, от Наукана меня отделяла только одна, огромная, правда, гора Кегнектук, но я легко мог сориентироваться на ее склонах.

...И Наукан был завешен туманом. Я все-таки немного сбился, придерживаясь своей горы, вышел левее станции, к скалистому обрыву, на котором белела выбитая каменистая тропа, ведущая к птичьему базару. Совсем по-иному, не похоже на ветер в тундре, на речки в распадках, как-то успокоительно шумел в проливе прибой. Я пошел вдоль пропасти и, хотя прилежно всматривался и ждал, тем не менее вздрогнул — таким невероятно громадным смутным призраком нависла вдруг надо мной башня маяка... Через несколько минут я входил в станционный домик. Мне рассказывали, что в нем уже несколько лет никто не живет — маяк в урочные часы зажигается и гаснет автоматически, — однако я не ожидал найти дом в таком плачевном состоянии. Не удивительны были сырость и затхлый запах,

они поселяются здесь и через неделю, если не топить, — но какой-то хлам и сор в комнатах, разломанная мебель... Подвал, где помещалась котельная, был, как бассейн, до краев заполнен темной неподвижной водой. В ванной комнате — обломанные, покривившиеся трубы. В коридорчике, под дверью притолокой, сохранилась железная перекладина — она служила турником, и на нее же вешали небольшой экран, когда крутили фильмы... И на стеклянных створчатых дверях кают-компании еще лепилась одна единственная бумажная снежинка — должно быть, от последней здесь встречи Нового года... Я поразился малым размерам кают-компании, мне помнилось, что она гораздо просторнее. Вон там, в углу, находился шкаф с журналами и книгами, имелась, кажется, даже монография о постимпрессионизме... На окошке, выходящем на пролив — оно тоже почему-то вспоминалось очень широким и светлым, — каждым летом начинали вызревать огурцы. Посередине стоял длинный стол, мы сидели за столом... Негромко звучала музыка, и весь уют и тепло этого дома, и гостеприимство немногих его обитателей ощущались с тем большей силой, что за окнами в это время была темень ненастной осенней ночи, снизу, с пролива, доносился грохот волн. Или над Науканом висела огромная, низкая, по-зимнему чрезмерно яркая луна, у берега голубели торосы, искрились наметенные вровень с домом сугробы, ледяной коркой отливали склоны сопок, и прямо физически воспринималось, когда выходил постоять на крыльце, очень здимо представлялось в этой тишине, какое великое, стылое и безжизненное пространство отделяет тебя от иного мира... Но как уже было сказано: «Где вы, снега былых времен?!» Я скинул рюкзак и мысленно поприветствовал тех, кто некогда встречал меня в этом доме.

До наступления темноты мне следовало позаботиться об ужине и ночлеге. Кают-компания более других комнат подходила для того, чтоб в ней расположиться. Кто-то притащил сюда маленькую железную печечку, кроме того, здесь имелись две койки, по-барачному водруженные одна на другую, пара ватных матрацев и одинокий табурет. Тут же обнаружил я ведро, чайник, алюминиевую сковородку, а на подоконнике — несколько порядочных огарков свечей. Чего еще оставалось желать? Я сходил в угольник, наскреб угли, ножом нашепал дерева для растопки. Затем, когда в печке окончательно разгорелось, принес из ручья воды, поставил чайник. Я отметил, что начинаю вслух руководить своими нехитрыми действиями — вещь нередкая в

одиночестве. «Так,— сказал я,— теперь сушиться». В бывшей радиорубке нашелся моток провода, я протянул его вблизи печки, развесил мокрую одежду, порадовался, что догадался захватить запасные брюки и свитер. В ожидании, пока закипит вода, постоял на крыльце. Туман над проливом был не такой густой, как в сопках, в отдалении я разглядел фонтанчики двух китов. Поближе к берегу на воде сидела большая стая гаг. Утки расположились длинной, слегка вогнутой цепочкой и казались поплавками одной, умело поставленной рыбачьей сети. И ныряли они разом, словно связанные воедино, словно кто-то подергивал их, всех одновременно, снизу за лапки. Кормились... Когда я вернулся в дом, печка моя чадила со страшной силой и комната была заполнена дымом. Ветер за это время успел перемениться с южного на юго-восточный и задувал теперь прямо в выставленную в форточку трубу. Примерно с час я экспериментировал, пытаясь так и эдак развернуть колено трубы, потом сообразил просто перетащить печку к другому окну — на пролив. Пока я с нею возился, пока пропаривал комнату, стемнело, так что ужинал я при свечах... Перед сном — еще раз на крыльце, посидеть, покурить. Юго-восточный ветер отогнал туман поглубже в сопки, в небе над Науканом простили редкие звезды, обозначились линии окрестных вершин. Невидимый мне из-за крутизны уходящего вверх склона, светился маяк. Внизу, во мраке, нельзя было различить ни берега, ни волн — только вскипающую и опадающую полосу пены. Было 30 августа. Именно в этот день и примерно в это же время, ровно четырнадцать лет назад, мы прошли где-то тут вдоль берега на вельботе. Я тогда впервые ехал в Уэлен и вообще — на Чукотку. Была такая же непроглядная ночь, ветер и дождь, крупная волна. «Наукан!» — сказал сидевший на руле эскимос. Я высунул голову из-под брезента и ничего не увидел, кроме слепящего огня маяка, вознесенного над нами, казалось, на чудовищную высоту... А сейчас я сам смотрел в море с этой высоты. Здесь был предел, конечная земля, дальше идти было некуда. Круг замкнулся. Мне нечем было отметить это событие, кроме как получше набить трубку... Потом я отправился спать. В комнате стало сухо и тепло. Малиновым пятном отсвечивал в темноте раскалившийся бок печки. Я подбросил еще угли, забрался, как на полати, на верхнюю койку и вытянулся с блаженным чувством. Накат, судя по нарастающему гулу, усиливался...

Что еще?.. Наукаан в эти дни словно отгородился от всего мира. Не показывались острова Диомида, ни тем более Аляска, открыты были только склоны гор, подступающих к селению с трех сторон, ближние береговые утесы да небольшой кусочек Берингова пролива. А дальше — сплошная облачность, мгла. Однажды с вертолета мне привелось наблюдать, как это выглядит сверху: все пространство моря и тундры, от Мечигмена до Уэлена, было залито солнцем, и лишь Дежневский массив окутывали плотные, недвижные, наколотые на вершины облака... Ветер к утру повернулся снова. Волны, разыгравшиеся за ночь, успокаивались, катились с юго-востока длинными пологими валами. И, не дожидалась, пока они утихнут окончательно, наперевес им, с северо-востока, слабой линией уже обозначалась новая волна, и пролив казался заштрихованным крест-накрест, в косую клетку. Вчерашние киты не ушли, все так же ходили вдоль берега... С утра я бродил по окрестностям. Поднялся сначала к маяку, постоял там, возле бронзового Семена Дежнева. Затем навестил Наукаан. С тех пор как я видел его последний раз, более десятка лет назад, он не изменился. Разбросанные по склону жилища, обвалившиеся мясные ямы, потрескавшиеся, выщербленные китовые столбы над обрывом. Вся округа заросла высокой, по колено, травой. Жилища стояли раскрытые — одни стены; крыши из моржовых шкур люди, переселяясь, увезли с собой. Стены, особенно в основании, были выложены из огромных камней, — не в одиночку ворочал человек такие глыбы. Я заходил внутрь этих круглых каменных оград, всякое опустевшее жилье, брошенная за ненадобностью рухлядь вызывают грустное чувство. На что только не натыкался взор: старое деревянное прямоугольное блюдо, длинная костяная игла, изогнутая веточка оленевого рога для выбивания снега из меховой одежды. И тут же механизм будильника, жестянная с двойной крышкой коробочка из-под чая, позеленевший винчестерный патрон, облупившийся эмалированный таз, колесо швейной машины. И опять — древний каменный жирник, «наник» по-эскимоски... Бедно все это теперь, убого. А ведь и здесь много веков жили сильные, бесстрашные и мудрые люди, — жили в ладу с неприветливым морем, мрачными скалами, умели обороńиться от врагов, любили друг друга, слагали песни... И кто-то, было дело, трудился над этим увесистым каменным светильником: выскребал и шлифовал овальное углуб-

ление, оставлял специальную перегородочку, чтобы отделять жир от мха, продалбливал в ней отверстие. Сколько времени затратил мастер, сколько времени годился бы еще этот жирник?.. И вдруг, стоя посреди этого запустения, осознаешь, что раздумывать здесь о времени уже поздно, времени подвластна жизнь, а Наукаан принадлежит теперь одной вечности, и эти стены будут существовать столько же, сколько эти горы...

Но отчего, спрашивал я себя, я так люблю это беспринятное место, полюбил не постепенно, с годами, но сразу, с первого взгляда, как увидел его? Природа? Одиночество? Покой? Ощущение этой вечности? Гармония умиротворенных чувств и неторопливых, неведомо откуда берущихся в тебе мыслей?.. Например, я думал, что, наверное, в жизни каждого человека наступает такой момент, когда он неизбежно задумывается о смерти, и не о смерти вообще, а о своей собственной, личной, и не о своей личной смерти вообще, а о конкретной ее возможности — как, когда, где, в каком облике предстанет она? И то, что человек пытается без страха, и я бы сказал, по-деловому нарисовать себе образ грядущей смерти, и то, что ему не все равно, как она будет выглядеть, не говорит ли лишний раз, что смерть не есть нечто совершенно противоположное жизни, нечто, равнодушно сметающее ее, но каждая жизнь ищет для себя достойный вид смерти и, следовательно, стремится как бы продолжиться, оставаться верной себе в этом виде смерти. Иначе человеку было бы безразлично, где и как умереть... Так вот: если бы нам в самом деле дарован был выбор, я думал, что хотел бы оказаться в этот миг именно здесь, в Наукаане, и умереть как-нибудь просто, естественно и быстро, как скатывается с горы оторвавшийся камень, и так же, как камень, лечь среди множества других безымянных камней и разом приобщиться к молчаливому бессмертию принявшей тебя природы... Еще я думал, что самая непреходящая, первая и последняя привязанность человека — это природа. Все исчезает и прощается с ним: уходит великая любовь, притупляется воспоминание о ее восторгах и боли, не возобновляется прелесть дружбы, смиряется былое волнение перед немеркнущими, казалось, шедеврами искусства, утихают прочие страсти, — а природа остается, в человеке и вокруг человека, и никогда, от рождения до смерти, не устанет он изумляться, потрясаться, возвращаться к ней и приникать с благодарностью и отрадой... Да, мысли мои были все те же, веками не переменяющиеся наши мысли — о жизни и смерти, о бренности

и бессмертии,— и суть их, важность их заключаются вовсе не в том, что всякий раз эти мысли открывают вам более высокую, дотоле неизвестную истину, а в том, что они, как бы вы ни забывали про них, иногда все-таки приходят. И это, может быть, означает, что миновала какая-то полоса в вашей жизни и начинается новая, когда опять забудутся эти мысли, но пройдет еще время, и они вновь вернутся — все в той же первоначальной непреложности и поражающей простоте...

Под вечер опять сменился ветер, он словно перемещался равномерно по кругу — подул теперь с севера, опять нагнал из распадков туман с сильным дождем. Снова я кочегарил печку, готовил себе ужин, курил на крыльце, и слушал перед сном пролив, и снова засыпал с ощущением счастья... На другой день я покидал Наукан — перевалил гору, не потерялся в долине, спустился по узленскому распадку в тундру. И вот, когда я выходил из распадка, то оглянулся напоследок и увидел позади себя свет. Вокруг меня по-осеннему быстро смеркалось, густая тьма надвигалась с моря и тундры и закрывала склоны ближайших сопок, а там, над перевалом, сквозь плотную сизую мглу сумерек и тумана пробивался этот необыкновенный, никогда не виданный мной прежде свет! Его никак нельзя было связать с закатным — солнце не проглядывало все это время,— и не было в нем этих привычных, горячих, прощальных красок уходящего дня; бесцветный, белесый, но очень яркий и живой, он будто самозародился в глубине гор и разрастался, клубясь, и набирал силу, как бы вопреки подступающей ночи. Что этот дивный, неожиданный свет из Наукана значил? Был он сам по себе или таился в нем некий смысл?.. Идти мне предстояло еще порядочно, а я все не двигался, глядел и напрягался постичь, добрый ли это знак, грозное ли предостережение, или просто последний привет.

Август — сентябрь, 1978

Снега былых времен

1

Самолет заходил на Магадан со стороны Батагая. Лёту оставалось час с небольшим, когда было объявлено, что сейчас начнется распродажа «сувениров из ГУМа». Стюардессы покатили меж кресел столики. И все, что пестреет нетронуто в витринах и на полках столичного магазина, вызывая в уме лишь короткое определение «ширпотреб», здесь, на удалении от Москвы в несколько тысяч километров, породило вдруг необыкновенное оживление и спрос. Женщины расхватывали полиэтиленовые сумки и искусственные цветы. Сидевшая в конце салона, а стало быть, и в конце очереди худая рыжая женщина все оглядывалась с нетерпением на эти цветы. Однако последние три нарцисса — издалека их действительно можно было принять за настоящие — достались помещавшейся перед ней черноволосой толстухе. Тогда рыжая вскочила, сняла с полки и развернула бумажный сверток, в котором обнаружился большой и яркий букет кремовых роз. Розы тоже очень походили на настоящие. Женщина тряхнула букетом и победно прищуренными зелеными глазами обвела салон. И тут все пассажирки начали извлекать и демонстрировать друг другу закупленные в отпуске вещи. Может быть, им хотелось продлить ощущение материка. Огромная машина «ИЛ-62» неслась со скоростью восемьсот пятьдесят километров в час. Далеко внизу еле различались заснеженные, вечные и бесконечные горы. С высоты их рисунок напоминал измятую накрахмаленную скатерть. А тут, на высоте в десять тысяч метров, трясли шальми, разноцветными платками, кофточками, катали по полу в проходе миниатюрные автомобильчики. «А таперича, граждане, открываем дамский магазин!» — так, кажется, провозгласил у Булгакова любезный Фагот. Но так ли прежде ехали на Север? Не говоря уж о том времени, когда «вставал на пути Магадан», — еще каких-нибудь лет пять назад курсировавший здесь «ИЛ-18» выглядел, точнее, теперь выглядел бы неспешным, и горы казались ближе, и за двенадцать часов

дороги с посадкой в Красноярске человек успевал все-таки поотвлечься от материковской сути, сосредоточиться и, подлетая к Магадану, оставлял сон, чтение или разговор с соседом, приникал к круглому окошечку и становился внутренне тих, разглядывая надвигающиеся, вырастающие снизу навстречу самолету сопки пятьдесят седьмого километра. Теперь же ровно семь часов сорок минут будто внутри выстреленного снаряда и — нет ощущения Магадана!.. Однако в магаданском аэропорту тебя встречает давний и хороший товарищ, а другие, здешние его друзья — надо же так совпаст! — в этот момент провожают кого-то. И в итоге, едва сойдя с самолета, оказываешься в гостях, тут же, на Соколе, у незнакомых, а вроде бы и очень знакомых по Северу людей. На стенах медвежьи шкуры и олены рога, на столе белоснежная, посыпанная зеленым луком строганина из чира, крупные ломти соленого кижуча с инем от заморозки на кроваво-красных срезах, вареная дымящаяся оленина, брусками, кругом тебя крепкие, уверенные мужики, говорят о своих делах, о рыбалке, охоте, спрашивают, что новенького в Москве. «Слава богу, — думаешь вдруг, расслабившись, отойдя от однообразного напряжения дороги, — повезло, и, кажется, все по-прежнему, и сразу будто бы дома». Вот так, в новом, настораживающем и в своем добром старом обличье, начался на этот раз Север.

Поздним вечером — в город. Последний раз я был в нем пять с лишним лет назад, летом 78-го. Сейчас зима, но в темноте не видно окрестных сопок, покрывающих их снегов, вспучившейся зеленоватой наледи на речке Дукча. Фары машины выхватывают лишь частокол серых лиственниц сбоку белой гладкой дороги. Перевал «Подумай». Стела с указанием «Магадан» и датой, когда он стал городом, — 1939. В этом месте, рассказывает мой спутник, собираются соорудить памятник первопроходцу Колымы, только не решат пока, какую же фигуру тут поставить... По россыпи огней видно, как далеко ушел город влево, в сторону бухты Веселой. А прямо, как всегда, две параллельные линии желтых огней проспекта Ленина, которые затем сменяются красными, сближаясь, устремляются к небу и там сливаются, словно это и есть та самая предсказанная бесконечность. Там наверху, в конце проспекта, — телебашня. В гостинице «Центральной» номер 25-а, тоже хорошо знакомый, сколько раз жил здесь — стол, кровать, шкаф с приделанным к нему стулом, чтоб не распахивались сами собой дверцы, на полу потертый коврик, а теперь,

кроме всего, втиснуты еще телевизор и холодильник. Существует простой, выверенный рецепт привыкания к разнице во времени: перетерпеть и лечь спать одновременно с магаданцами. Но и этот момент был упущен. Какое-то время я пытался уснуть, лежал в темноте, с регулярностью механизма включал ночник, глядел на часы, машинально высчитывал: «Три часа ночи. В Москве семь вечера... Четыре часа. А в Москве...» И еще непривычно тихо было, в Москве даже в самые глухиеочные часы все равно сохраняется какой-то хоть слабый, но постоянный шумовой фон или одинокая машина промчится, а тут ни машины, ни фона — мертвая, просто угнетающая тишина. Поначалу лишь пустой холодильник принимался внезапно урчать, как испорченный желудок, пока я не догадался отключить его. Ночные мысли смятены: сомнения, казалось бы давно разрешенные, вновь откуда-то возникают, вопросы самому себе откровенное вопросов, заданных днем, и ответы тоже прямее дневных. «Зачем я опять сюда приехал? — думал я. — Написать очередную книгу о Чукотке? Книга — не цель и никогда не была целью. Новый романтический порыв на Север? Нет, пожалуй. Исчезло давно то волнение, с которым разглядывал в газетах фотографии заметенных сугробами полярных станций, вездеходов в тундре, «Уралов» на зимниках, вертолетов сквозь чащу оленевых рогов, прочитывал, вырезал и складывал в специальную папку любую, пусть самую короткую информацию о местах, где бывал когда-то. Уэлен, Билибино, остров Врангеля, Залив Креста... Прошло все это. Так зачем же я сюда приехал?!»

На глаза мне попался телефонный справочник Магадана. Грустное это оказалось дело: очутившись вот так, за полночь, в небольшом, в общем-то, городе, листать в ночном гостиничном одиночестве его телефонный справочник. То и дело натыкаешься на знакомые фамилии, лет десять назад обязательно позвонил бы, например, вот этому человеку, прямо сейчас, разбудил бы и тут же бы встретились, подняли бы еще кого-то и сидели бы до утра, а потом до нового вечера — с разговорами, с воспоминаниями. Но теперь звонить не станешь, и сложно объяснить почему, много на это есть причин. Так что вспоминать мне пришлось одному, и получалась целая повесть. А вот этого, чуть ли не главного ее героя уже нет в списках — справочник сравнительно недавний, за 80-й год, а он годом раньше вышел на пенсию, уехал на материк, купил дом в деревне на Тамбовщине. И вот, отдав Чукотке тридцать лет жизни, по сути весь ее самый деятельный, творческий

период, теперь сомневается сам с собой, а то ли он делал, что этой самой Чукотке надобно было, и вообще нужен ли был там со своими идеями. И признается теперь в письмах, что понял: что самое, мол, реальное в жизни, обладающее несомненной достоверностью — это, к примеру, выйти летним утром в огород, сорвать выращенный тобою огурец, «вытереть об штаны и съесть». А все остальное — зыбко, неопределенно, ничего там не понять... Но я думал, что в подобных категорических его утверждениях заключался, скорее всего, вопрос, вызов, адресованный опять же самому себе. Наступает момент, когда у человека начинается разговор с самим собой, непонятный окружающим, открывается иной счет, не связанный ни с принесенной обществу пользой, ни с общественным признанием этой пользы. Я вспомнил свою любимую учительницу литературы, вернее, нашу, потому что много нас тогда вокруг нее сплотилось, в девятом, в десятом классе. Это была настоящая учительница, не «от сих до сих», сильный, умный, красивый человек, и больше всего мы любили приходить вечерами к ней домой, в ее тесную комнатку в коммуналке на Николо-Щеповском. Навещали и после, расставшись со школой, пройдя университеты, поглядев на жизнь, — все время, пока была она жива. А она, вот так же выйдя на пенсию, быстро старела и уже повторялась, произносила знакомые, столь ценные нами когда-то остроты, высказывала давние, тоже будоражившие в свое время истины, и на вопросы ее о нашей теперешней жизни как-то вдруг не хотелось объяснять ей новую, открывшуюся тебе сложность. И она говорила, все понимая и сокрушаясь: «Я чувствую, что произношу теперь только общие, избитые фразы... чувствую и — не могу остановиться. Так это въелось...» И еще говорила, задыхаясь, профессиональная болезнь горла ее одолевала: «Я всю жизнь отдала школе... а сейчас думаю: не зря ли это?» Я смотрел на Елизавету Андреевну и ничего не отвечал, то есть многое тут можно было бы ей ответить: и про самоотверженность и благородство ее труда, и про «столько поколений учеников, которым она... для которых она... и т. д.», да и хотя бы про себя лично, наконец, про свою обязанность ей во всей предстоящей мне жизни, и все это было бы истиной, но дело в том, понимал я, что она и без меня это прекрасно знает и в семенах, зароненных в наши души, тоже не сомневается, — и вот я молчал, не отвечая ничего, но напрягался постичь, перед чем же таким, мне пока недоступным, моя учительница предстала и о чем же она сожалеет со своим «не зря

ли?» А теперь, много лет спустя, я и сам, вырвавшись из привычного московского ритма и перенесясь мгновенно за десять тысяч километров, но еще не приехав, потому что приезд — это первые встречи, впечатления, разговоры, дела, начало работы, — словом, оказался будто в каком-то межвремене и тоже мучился в ту первую магаданскую ночь вопросом, вернее, не вопросом, а смутным, но вместе с тем убедительным ощущением, что зря... Зря затеял эту поездку, зря... — да мало ли какие, неопровергимые в своей безнадежности мысли посещают нас во время бессонницы...

Шесть утра, в Москве десять вечера. Когда за окном стало брезжить, я понял окончательно, что не засну. Встал, принял душ, оделся, вскипятил воду в кружке специально захваченным кипятильником, сварил кофе покрепче и сел выписывать из того же справочника телефоны, которые мне могли понадобиться. Институт биологических проблем Севера. Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт. Обком. Красноярскгипросовхозстрой, магаданский филиал... Это можно было считать началом работы. Ибо сомнения сомнениями, а план у меня и на сей раз имелся вполне конкретный: побывать в Билибинском и Беринговском районах. На все путешествие я отводил себе два месяца — итак, по месяцу в каждом. Примерно, конечно: с неизбежными поправками на погоду, дорогу, на ожидания в аэропортах. И «погода» не замедлила: целую неделю на Магадан низвергалась пурга. Никогда прежде не видал я пурги в Магадане, да и сами магаданцы об эту пору, в начале февраля, ее не ожидали. «Магаданская правда» в эти дни в статье «Испытание штормом» сообщала: «Были отменены все вылеты из аэропорта местных авиалиний, вышли на время из строя котельные, были повреждены антенны радиосвязи такси и линии электропередачи в разных микрорайонах города. Штормовой ветер вырвал плиты перекрытия на базе снабжения Индигирзолота, где хранилось 840 тонн картошки, повредил емкости на базе объединения Магаданпродтовары, открыв доступ для февральского мороза к 3,5 тысячи тонн картошки и большому количеству консервов...» А выглядело так: с утра задуло сверху, вдоль проспекта, замело, начало подгонять прохожих на улицах, кружить их на перекрестках. Ветер был ледяной. Чугунные фигуры на здании Магаданского драмтеатра: солдаты, горняк с отбойным молотком — эти-то понятны, а вот женщина со споном зачем сюда попала? — стыли в вышине на этом ветру и вызывали еще большее ощущение холода. Две дамы, закутанные в меха, выходили

из театра, наклоняясь и поддерживая друг друга. Я услышал звучное, слегка хрипловатое контральто: «Уже одно то, что мы живем здесь, — подвиг! Подвиг! А мы еще и работаем!» Вечером по телевизору объявили: двадцать пять — тридцать метров в секунду. Ожидали все сорок. Занятия детей в школах с первого по пятый классы отменялись. Пожарные предупреждали об участившихся в связи с ураганом пожарах... Ночью город гремел, дребезжало отрывающееся железо, бились и сыпались стекла. В номере моем свистело, как в тундре, даже плафоны на люстре брякали. Лет десять назад я приезжал в Магадан изучать проблему адаптации человека к Северу. Теперь я подумал, что человек к нему, к Северу то есть, уж настолько адаптировался, что махнул на него рукой: окна на зиму не только не заклеивает, но даже и не закрывает как следует. Батареи тоже были холодные. Я пошел и попросил у дежурной по этажу, у младшей Нины Федоровны, еще одно одеяло. К утру на подоконнике лежал — нет, не снег — толстый слой коричневой угольной пыли. И вообще пурга в Магадане обладала всеми дурными признаками цивилизации. В Уэлене, бывало, ветер если уж дул, так дул — честно, прямо, не переменился, из тундры в море, приносил с собой много снегу, поселок после пурги становился бел, чист, наряден, вырастали огромные диковинные сугробы. А здесь, в городе, между домами он метался, не понять было, откуда налетит, в грудь tolknit или в спину, швырял в лицо не снегом, но песком, тротуары были усеяны осколками стекол,битым шифером, указатели автобусных остановок повалились, урны для мусора опрокинулись, газоны обнажились, простила голая рыжая земля с чахлой травою, окрестные сопки тоже запестрели черными и бурьими проплешинами. Поэтому когда спустя неделю я летел в Билибино и на первой стоянке в Сеймчане вышел из самолета, то вздохнул полной грудью и с наслаждением: было так тихо, что, несмотря на мороз за тридцать, казалось тепло, белейший снег искрился и скрипел под ногою на всю свою гулкую, упругую, полутораметровую глубину — начинался привычный Север.

2

В самолете я просматривал свои записи — что успел узнать в Магадане за эту неделю. Скажу сразу: узкого, направленного интереса у меня не было, интересовало меня все. Как бы объяснить? Ну вот, к примеру, есть у вас друг,

с которым когда-то вместе работали, многое было связано, потом расстались, какое-то время не виделись и вдруг опять встретились, — разумеется, все, что произошло за эти годы с вашим другом, будет вам интересно. Так и у меня с Чукоткой. Поэтому и в Магадане, и в дальнейшей поездке на традиционный вопрос различных ответственных товарищ, с которыми доводилось разговаривать: «А что вас, собственно, интересует?» — я так и отвечал: «Да всё!» Еще в Москве я выписал себе пункты принятого в феврале 1980 года постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему экономическому и социальному развитию районов проживания народностей Севера». Намечен был в постановлении подробный план мероприятий для этих районов. Комплексное развитие экономики. Улучшение руководства хозяйственным и культурным строительством. Дальнейшее развитие отраслей промышленности, национальных художественных промыслов, оленеводческо-промышленных хозяйств, клеточного звероводства и прочих возможных на Севере отраслей сельского хозяйства, вплоть до тепличного овощеводства. Предлагалась комплексная застройка населенных пунктов, улучшение торгового, культурно-просветительного, медицинского обслуживания и многое другое. Назывались в постановлении конкретные исполнители: Совет Министров РСФСР, различные союзные министерства, Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, Академия медицинских наук СССР, Государственный комитет СССР по науке и технике и т. д. Определялись конкретные задания. Например: «Совету Министров РСФСР поручено разработать и осуществить мероприятия по завершению перевода кочевых семей в северных районах на оседлый образ жизни, предусмотреть их профессиональное обучение с учетом народных традиций». Или: «Министерству легкой промышленности СССР предложено расширить производственные мощности по изготовлению унтов и сапог с вшитым мехом, улучшить обеспечение специальной одеждой и обувью оленеводов, охотников и рыбаков районов Крайнего Севера». Указывались сроки: «Государственному комитету по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР совместно с Советом Министров РСФСР рекомендовано завершить в 1980 году разработку новых типовых проектов передвижных жилых домов с автономным отоплением и освещением, с учетом бытовых традиций и уклада жизни народностей Севера... Министерству автомобильной промышленности

поручено обеспечить в 1985 г. серийное производство снегоболотоходов грузоподъемностью 8 т для работы в условиях низких температур». Ну а весь комплекс мероприятий, перечисленных в постановлении, рассчитывался на десятилетие — до 1990 года...

Для чего, собираясь на Чукотку, я все это переписал? Пусть не поймет читатель, что я задался целью осуществить некую ревизию — что, мол, сделано, чего не сделано за истекшие четыре года. Не писательское это занятие, да и вообще не под силу одному человеку. Тут, я думаю, и цепкий институт вряд ли справился бы, если бы существовал такой специальный комплексный проверяющий институт. И есть всегда нечто сокровенное, глубоко личное в так называемых «творческих командировках». Восемь лет назад, вот так же зимой, я жил неделю на прииске Дальнем, это от Билибино еще примерно час вертолетом. Там, на самом краю отвесного высоченного обрыва, над речкой Тополевкой стоял теплик бригадира горняков Леонида Мельника — «бунгал» на местном речении. Так его и называли: бунгал Мельника. Бригадир был здоровый детина с прямым, устремленным на собеседника взглядом темных диковатых глаз, с прямыми и откровенными суждениями о жизни. Его гостеприимством я и пользовался. По вечерам мы возвращались из шахты, кочегарили железную печку, ужинали на холостяцкий манер — банка тушенки, чай крепчайший, галеты с маслом, — заваливались на койки и разговаривали. За свои сорок два года — до сих пор один, без семьи — Мельник чего только не повидал. Начинал еще на Воркутинских шахтах. Тридцать пять лет горняцкого стажа. На Чукотке с шестьдесят второго. На Встречном с первого кола и здесь, на Дальнем, — с первого. Был случай, уже тут, на Дальнем, — работал он на электробульдозере, свалился к нему в рычаги закол, бульдозер перекорежило, Мельнику в нем зажало намертво. Ровно час и двадцать четыре минуты сидел Мельник со сломанной ногой, пока ребята высвобождали его, высекали из металла с помощью автогена... Тогда, в 76-м, соперничали меж собой на Дальнем две прославленные бригады: кавалера ордена Ленина Николая Сергеевича Чуева и Владимира Васильевича Затуливетрова — через год ему присвоили звание Героя Социалистического Труда. Я ходил в бригаду Чуева. Мельника это не задевало. «Я тебя понимаю, — говорил он. — Чуев — «маяк», а мы — так... Хотя вкалываем не хуже. Но у Чуева — цель, и я его уважаю. А я вот в партию так и не вступил. Потому что партия, я так думаю, она как

кристалл — меня там с моей рожей еще не хватало!.. Мне недавно один мой работяга сказал: «Тебе шорты, пробковый шлем и плетку — так ты нас гоняешь». Я ему: «Очумел, что ли? Мороз — пятьдесят градусов, а ты — «шорты»!» Но вообще-то правильно: нервничаю, когда плохо работают... И достал он меня почему-то с этими «шортами». «Я, — говорю, — даже в отпуске, в Сочи, их не ношу». Законно: приехал в отпуск — покажи, что и ты умеешь иногда выглядеть как человек. Костюм, галстук там, шляпа... — Мельник глядел выразительно в угол, где громоздились его неизменные кирзовые сапоги, ватник, крытый брезентом, зимняя шапка с прикипевшей навсегда горняцкой каской. — Меньше восьми тысяч с собой не беру. А все равно не хватает. Но не потому, Борис, что пьянка, нет — езда! Где я только не был! Однако на автобусе я, что ли, буду ездить, на вокзалах ночевать?!. И так вся жизнь: работа — отпуск, работа — отпуск. Через три года можно на пенсию. Дальше что?!» — «Возвращайся в свою Белоруссию, купи дом, женись наконец, обзаведись хозяйством», — советовал я. Мельник даже приподымался на своей койке и смотрел испытующе: серьезно ли я?.. Печка раскалялась, железные ее бока светились, казалось, сейчас поленяя будет видно. Мельник отпускал шнурок, привязанный одним концом к дверной ручке, другим к койке, чтоб не вставать. Это он называл «приоткрыть жалюзи». И тотчас в образовавшуюся щель начинали врываться плотные сизые клубы, словно в тамбуре давно уже бушевало, дожидаясь, безмолвное ледяное пламя. Через минуту снова надо было тянуть шнурок. Против моего изголовья к стене был прибит лист фанеры, чтоб не сквозило. Однако с вечера я клал рядом с собою шапку и под утро надевал. Просыпался я в одиночестве, Мельник часто среди ночи уходил — посмотреть, как там на шахте. Вокруг дома лепились по обрыву невысокие северные лиственницы с наколотыми на сучья комьями снега и, неотличимые от этих комьев, сидели на ветвях белые куропатки... И вот теперь я очень хотел побывать вновь на Дальнем, отыскать там домик Мельника, вдохнуть свежий смолистый запах, который источали его стены. Надеть каску, спуститься в шахту, повидать, если повезет, самого Мельника, о котором я так тогда и не написал, и многих других, о ком написал. Поглядеть на тех куропаток... Но ведь долго и довольно трудно было все это каждый раз объяснять — про «бунгал», «жалюзи», куропаток, северное сияние над Дальним в конце марта, — да и несерьезно выглядело бы

в деловом разговоре. Поэтому на вопрос: «Какова цель вашей командировки?» — я начинал: «В восьмидесятом году было принято известное постановление по районам Севера. Прошло четыре года. Читателю интересно...» И все, таким образом, становилось понятно.

Я, вполне естественно, ожидал, что по данному постановлению, географически охватывающему и Ямал, и Таймыр, и Якутию, и Камчатку, и Сахалин, в Магаданской области будет подготовлено свое, еще более конкретное, применительное к нуждам именно Чукотки. И действительно, оно было, принятое в июле 80-го года постановление бюро Магаданского обкома КПСС и исполкома областного Совета народных депутатов «О мероприятиях по выполнению постановления...» и т. д. Было затем соответствующее постановление бюро Чукотского окружкома партии и окрисполкома, а вслед за ним, как водится, — постановления райкомов и райисполкомов. Однако тут, в Магадане, узнал я, что существует еще один документ: постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 января 1982 года «О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1981—1985 годах и на период до 1990 года производительных сил Магаданской области». Вот о нем мне рассказали в обкоме партии, что оно вовсе не дублирует постановление 80-го года. «Мы знали, конечно, что такой документ, по народностям Севера, готовится, и предвидели, что всех насущных вопросов нашей области он не охватит, — объяснил заведующий отделом пропаганды и агитации Валентин Федорович Куляс. — Поэтому начали разрабатывать свою программу, где впервые и на научной основе был осуществлен комплексный подход к развитию хозяйства всей области. Это ведь не только Чукотка, но и обширные, весьма важные в хозяйственном отношении районы Колымы. Первостепенный вопрос: что будет давать область государству? Геологи, горняки, энергетики, строители должны знать перспективу, иметь долгосрочную программу действия. Привлекли для ее обоснования своих ученых, главным образом Северо-Восточный научно-исследовательский институт. Постановление по Магаданской области могло бы по срокам выйти даже раньше постановления 80-го года. Но в 79-м году нам нашу программу вернули на доработку. Ряд министерств, в частности Минцветмет и Минэнерго, не желали видеть эту перспективу. Пришлось их «дожимать» при поддержке ЦК и Совмина. Поэтому постановление по области было принято двумя годами позже. Но мы в это время не сидели сложа руки, — зная

основные направления нашей программы, мы уже работали по ее осуществлению. А когда была она утверждена, тогда и образовался как бы «тандем» двух постановлений — вот так выразился в заключение Валентин Федорович. Я это постановление по Магаданской области видел, читал в «Магаданской правде» посвященный ему доклад первого секретаря обкома партии Н. И. Малькова под названием «Комплексная программа созидания». Не стану пока на этом останавливаться, мне, наверное, не раз придется возвращаться к этому документу. Скажу только, что расписано там было все весьма обстоятельно. Не просто, например, указан объем капиталовложений в миллионах рублей, которые Минцветмет СССР должен выделить в 1981—1985 годах объединению Северовостокзолото, но и расчислено по годам, сколько и какой техники и оборудования должны получить за это время горнопромышленные предприятия. Бульдозеров — в 83-м году... в 84-м году... в 85-м... Комбайнов проходческих... Самосвалов «БЕЛАЗ-540»... Аналогично по сельскому хозяйству: столько-то тракторов для совхозов области, столько-то грузовых автомобилей, дизельных электростанций, деревянных домиков в заводском исполнении... Но я все-таки должен был хоть кратко упомянуть про все эти постановления, чтобы сказать: к Северу стали относиться по-иному. Стали считать, смотреть глубже, заглядывать вперед. Наблюдение, конечно, не акти какое новое — ведь то и дело и давно уже читаем мы в газетах статьи под рубрикой «Восточным районам — комплексное развитие». Однако вот что, мне во всяком случае, показалось ново: Север и сам стал относиться к себе по-иному. Я бы определил так: прежде в действиях северянина — я имею в виду приехавшего с материка, — в любых его, пусть самых героических, трудовых свершениях всегда наличествовала некая доля бесшабашности, безоглядности. Была абсолютная уверенность в завтрашнем дне, основанная не столько на подсчете, сколько наоборот — на несosчитанности богатств. Лежали эти богатства почти на виду, кругом, везде: в тайге, в речке, в земле, только копни, прямо под ногами. И брались без особых материальных затрат. «В основе механизации — лом», как выразился один знакомый работяга. А о последавтрашнем дне никто и не заговаривал... Теперь же все, с кем ни доводилось общаться, — скажем, с руководителем горнообогатительного комбината или с рядовым горняком на прииске, с директором оленеводческого совхоза или с пастухом из дальней бригады, — все, оказывается, научились мыслить

одинаково свободно в любом масштабе: предприятия своей отрасли, смежной отрасли, области, страны, планеты, космоса. Прогнозировали — самое меньшее на десятилетие. А главное, каждый на своем рабочем месте заделался скрупулезным экономистом, каждый сам умел считать и знал, сколько он сделал и сколько сделал бы еще, если бы не такие-то и такие-то тормозящие обстоятельства, а среди «тормозящих обстоятельств» мог назвать не только застрявший где-нибудь бульдозер, но, к примеру, узковедомственную политику целого министерства, а то и международную обстановку. Вот такая образовавшаяся у северянина в массе широта понимания, трезвость оценки ситуации особенно остро стала ощущаться, каких-нибудь лет десять назад этого еще не было.

И еще одно новое ощущение возникало, с только что помянутым тесно связанные. В обкоме говорили о научном обосновании Магаданской программы — назовем ее так для краткости. Указывали на ведущую роль СВКНИИ в этом деле. Подчеркивали, что осуществляется, таким образом, принцип, выдвинутый на XXVI съезде КПСС в основополагающем докладе: «Страна крайне нуждается в том, чтобы усилия «большой науки», наряду с разработкой теоретических проблем... были сосредоточены на решении ключевых народнохозяйственных вопросов...» Я созвонился с первым заместителем директора СВКНИИ Владиславом Ивановичем Гончаровым, чтобы встретиться и поподробнее поговорить об этом. Директором СВКНИИ по-прежнему был академик Николай Алексеевич Шило, но он занимал еще пост председателя президиума ДВНЦ — Дальневосточного научного центра АН СССР — и жил во Владивостоке. Так что Владислав Иванович, как я понял, здесь, в Магадане, фактически исполнял обязанности директора. Ему лет сорок пять, из них на Севере — более двадцати. После окончания горно-металлургического института работал в геологической экспедиции на Хасыне. В СВКНИИ начинал с «мэнээса». Сейчас — доктор геолого-минералогических наук, занимается вопросами рудообразования. Я заранее предупредил его о теме нашего разговора, и Гончаров четко перечислил мне основные направления научных исследований института, связанные с хозяйственными нуждами области:

— Мерзлотоведение. Более половины территории страны находится в зоне вечной или островной мерзлоты. А Северо-Восток — весь в этой зоне. Строительство промышленных объектов, жилья, дорог, аэропортов, возведе-

ние дамб, плотин, водоснабжение арктических поселков, даже вопросы охраны природы — все это упирается в проблемы изучения мерзлоты. Институтом разработаны и внедрены инженерные методы управления мерзлотными процессами... К этому же направлению можно отнести весьма перспективную идею использования тундровых озер. Если спустить из них воду, на осушеннем днище через год-другой образуются прекрасные луга. Так называемые «мамонтовые травы». Это кормовая база для развития мясомолочного животноводства на Севере. Идея хорошая, надо довести ее до ума. Занимается всем этим лаборатория мерзлотоведения под руководством доктора географических наук Савелия Владимировича Томирдиаро.

Я сказал, что читал вышедшую еще в начале 70-х годов в Магадане книгу Савелия Владимировича «Вечная мерзлота и освоение горных стран и низменностей». В ней действительно утверждалась мысль, что наши арктические тундры на всем их протяжении, от Урала до Чукотки, могут быть превращены в зону интенсивного луговодства даже при ныне существующих климатических условиях.

— Да. И теперь уже есть практические результаты. Совхоз «Северный» под Анадырем, следуя рекомендациям СВКНИИ, полностью обеспечивает себя местными кормами, без завоза с материка. Экономический эффект этого эксперимента — более семи миллионов рублей. Можно считать, таким образом, что эта работа института способствует разрешению задач, поставленных Продовольственной программой... Если продолжать о строительстве, то здесь также важны наши сейсмические исследования. В области создана целая сеть сейсмостанций. Прикладное значение этого направления — в обосновании сейсмостойкого строительства на Северо-Востоке... Одна из ключевых проблем, в решении которой мы принимаем участие, — топливно-энергетическая. Тут три слагаемых: гидроресурсы, уголь, нефтегаз. Сооружение Колымской ГЭС практически завершается. На очереди Среднеканская, затем Амгуэмская, первая на Чукотке. Надо доказать целесообразность их строительства... В течение семидесятих годов недалеко от Магадана разведано, в восьмидесятом защищено Ланковское месторождение бурого угля. Запасы — примерно три с половиной миллиарда тонн. Предполагается построить там разрез и Ланковскую ГРЭС, кроме того, перевести на сжигание ланковских углей ТЭЦ в Магадане. Все это тоже

требует научного обоснования. Целесообразность строительства новых и расширения уже существующих энергетических объектов определяется не только и даже не столько наличием необходимых ресурсов, но, главным образом, перспективами развития территориально-промышленных комплексов и промышленных узлов, на которые делится область. Методологию регионального планирования применительно к районам Севера исследует в институте лаборатория экономики и организации промышленного производства. Ею руководит кандидат экономических наук Борис Хананович Краснопольский... Есть лаборатория археологии, истории и этнографии. Ее работа вроде бы непосредственно с текущими экономическими проблемами не связана. Но вот сейчас по требованию МКК — Международной Китобайной Комиссии — нам надо представить в Подкомитет по аборигенному промыслу материалы, определяющие потребность наших чукотских поселков в добыче серого кита. Обосновать квоту. Учитывать при этом нужно не одни только пищевые потребности, но и многие другие факторы: быт, традиционный уклад жизни чукчей и эскимосов, исторически сложившиеся понятия о культурных и общественных ценностях, даже связь промысла с национальными видами искусства. А в итоге — опять выходим на хозяйствственные нужды. Занимается этим вопросом сотрудник лаборатории Тасян Сергеевич Тein...

Но самое важное направление исследований института, — продолжал между тем Владислав Иванович, — это геологическая оценка территории, укрепление минерально-сырьевой базы. С этого следовало бы начинать разговор, но я специально оставил напоследок, чтобы сказать по подробнее. Сейчас, в соответствии с решением Госплана СССР, подготавливается целевая комплексная территориальная программа «Дальний Восток». Можно сказать, суперпрограмма. СВКНИИ в этой программе является головным разработчиком как раз по разделам «Минерально-сырьевые ресурсы» и «Цветная металлургия Дальнего Востока и Магаданской области». Интересуют нас при этом не только традиционные полезные ископаемые, на добыче которых до сих пор специализировалась область: золото, олово, вольфрам и т. д., но и те, которые могли бы послужить базой для развития собственной стройиндустрии. Строительный камень, керамзит, известняки, гипсы. Есть, например, в Якутии, недалеко от границы с Магаданской областью, крупнейшее месторождение гипса, открыли его еще в начале сороковых годов, а потом забыли, так что

и якутские геологи о нем не знали. Там только на поверхности лежит пятьсот — шестьсот миллионов тонн, а всего запасов полтора-два миллиарда. Этого для всей Сибири и Дальнего Востока хватит. Но ни Якутии, ни Магаданской области это месторождение не освоить, это под силу экономике всей страны, да и то в следующей пятилетке... По просьбе объединения Северовостокзолото работаем над темой «Перспективы золоторудной базы района Северной Колымы». Исключительная по своему значению тема как в теоретическом отношении, так и в прикладном. В чем здесь суть? Мингео и Минцветмет, говоря сейчас о золоте Северо-Востока, по-прежнему имеют в виду россыпи. Легче и дешевле взять. Но это вряд ли надолго. И никакие счастливые случайности тут не спасут. Вопрос: что будет профилировать в хозяйстве области? Будет, конечно, вестись добыча рудного золота. Несомненно, коренные месторождения есть. Однако по причине привычной ориентировки горнопромышленников на россыпи изучены они слабо. Посему возникает опасение, что к тому времени, когда россыпи отработаются, соответствующая рудная база не будет создана. Существующие ныне планы увеличения добычи рудного золота — это капля в море. Снова тот же вопрос: так что же будет давать область? Серебряная надежда на нефтегаз. Районы: Марковская депрессия, Анадырская депрессия, Хатырский прогиб. То, что выявлено пока на Анадырской низменности, невелико, но вполне может удовлетворить местные нужды, избавить Чукотку от необходимости регулярного завоза жидкого топлива. Но есть прогнозы. В случае их подтверждения... Чукотку можно будет сравнить с Западной Сибирью. Впрочем, говорить об этом пока рано, — заключил Владислав Иванович.

— Вы упомянули программу «Дальний Восток». Существует аналогичная программа «Сибирь». Может быть, есть смысл разработать специальную программу и для Северо-Востока? — спросил я.

— Конечно. Сейчас в программу «Дальний Восток», наряду с подпрограммами «Приморский край», «Хабаровский край», «Амурская область» и т. д., входит подпрограмма «Магаданская область». Но у Северо-Востока — своя специфика в сравнении с Дальним Востоком и Сибирью. Целесообразно рассматривать его как самостоятельный экономический регион. Однако это будет зависеть от степени заинтересованности государства в развитии Северо-Востока. Есть пока другие районы, более важные в экономическом отношении, чем наш. Вот если найдем опять

же нефть!.. Это все изменит. Это будет революция в экономике...

На этом официальная, так сказать, часть нашей беседы закончилась, поговорили об институтском житье-бытье.

— СВКНИИ уже более двадцати лет. Один из крупнейших в системе ДВНЦ и наиболее оснащенный. Уникальное оборудование, вычислительный центр, библиотека самая обширная на Северо-Востоке — около трехсот тысяч томов. Восемь докторов, семьдесят восемь кандидатов наук. В этом году запланированы еще три докторских и пять кандидатских. Но — институт стареет. В том смысле, что нет притока свежих сил. Причины самые элементарные: зарплата, жилье, соцбыт. Заработка научного работника почти не отличается от материловского. Оклад плюс семьдесят процентов. А траты — гораздо больше. Одежда, питание. Фрукты на рынке в шесть-семь раз дороже. Жилья институт не предоставляет, общежития нет. Снять комнаташку в Магадане — это сто пятьдесят — двести рублей в месяц. До семидесяти шестого года мы имели право самостоятельной застройки, сдавали дом в год. Шило уехал, стало сложнее. Очередь на квартиры — сто тридцать — сто сорок человек, и практически не уменьшается. Из того, что нам положено, с трудом получаем в год одну однокомнатную. Горисполком нам должен, но когда вернет? В этой пятилетке все строительство нацелено на ликвидацию бараков. Кто там живет, в этих бараках? А им все равно — в первую очередь... В общем, институту сложно привлечь, а еще сложней удержать специалистов...

Когда я собрался откланяться, Владислав Иванович вспомнил какую-то мою старую книжку о Чукотке. Описывались там, как водится, штормы, пурги, киты, охота, прочая экзотика. Осведомился, в свою очередь, чего ради теперь я вникаю во все эти проблемы.

— В основном, учитывая читательские интересы, — сказал я. — Прежде, когда воспевал я экзотику, читатель задавал мне два вопроса: сколько на этом Севере можно заработать и как туда попасть? Потом, когда начал писать так называемые «деловые» очерки, первый вопрос отпал. Остался только — как устроиться? Например, после «Горы и трассы» один все звонил, просил порекомендовать его в старательскую артель...

Да, все эти житейские сложности, о которых поведал заместитель директора СВКНИИ, были, к сожалению, не новы. Были они всегда и испытывались не только институтом. Перед отъездом из Москвы я заново просматривал

накопившиеся у меня за последние годы различные публикации о Севере. Нашлась среди них как раз статья самого директора института, академика Н. Шило «Тихоокеанский фасад Отчизны», напечатанная 8 августа 1979 года в «Правде» под знакомой рубрикой «Восточным районам — комплексное развитие». «Дальний Восток — пока что слабо заселенная часть Российской Федерации, — писал Николай Алексеевич. — Между тем развитие его производительных сил зависит от роста населения и трудовых ресурсов. Это требует обдуманного решения ряда социально-экономических проблем. Однако принимаемые меры оказываются не во всем эффективными. Дело в том, что экономисты по сей день не изучили сложные процессы во вновь формируемых территориально-производственных комплексах. И потому вопросы социально-экономического порядка решаются не всегда рационально. Начнем хотя бы с того, что людям не всегда создаются нормальные материальные, жилищные и культурно-бытовые условия. Дорого? Но расходы, связанные с текущестью населения, во много раз превышают затраты на благоустройство в этих районах, укрепление материального обеспечения работников. Об этом знают госкомитеты СССР по труду и социальным вопросам, по ценам, Министерство финансов и Госплан СССР. Тем не менее проблема в течение длительного времени остается неизученной». Совершенно справедливо в том, что касается ненормальных материальных, жилищных и культурно-бытовых условий, но вот что в этом отрывке может вызвать недоумение читателя, неискушенного в тонкостях экономики. «Экономисты по сей день не изучили... — говорит автор, но тут же продолжает: — Расходы, связанные с текущостью населения, во много раз превышают затраты на благоустройство...» Стало быть, кто-то уже посчитал, стало быть, на том необходимом уровне, на котором можно начать решать эту проблему, уже изучили?!.. Вот другая статья — доктора экономических наук, профессора Л. Рыбаковского «Качели миграции», опубликованная также в «Правде» два года спустя, 11 сентября 1981 года. В ней говорится, что в Якутии, Тюменской, Магаданской, Амурской областях, Туве, Красноярском крае и т. д. интенсивность миграции городского населения — а это в данном случае надо понимать, что не коренного, но приезжего, живущего в основном в рабочих поселках, — превышает средний республиканский уровень. Причины уже известные — недостаточное развитие отраслей социальной инфраструктуры. «Требуется, в частности,

улучшить коммунально-бытовое обслуживание, бесперебойно снабжать население широким ассортиментом потребительских товаров, а в конечном счете — создать благоприятный, привлекающий человека комплекс жизненных условий,— пишет автор и далее сообщает: — Еще в начале шестидесятых годов ученые Сибири и Дальнего Востока разработали программу реализации многих из только что упомянутых требований. И эта программа достаточно последовательно выполняется. Однако сегодня темпы ее реализации нужно было бы повысить». Подобное предложение содержится и в социально-экономическом обозрении А. Скрыпника «Северное притяжение»: «Ученые Кольского, Карельского, Коми АССР филиалов Академии наук СССР, Якутска, Магадана, Норильска, других научных центров страны ведут исследования, предполагающие совместить производительный труд, творчество и здоровье человека в условиях Севера в едином русле развития. Плановым органам надо бы более четко координировать и увереннее ставить на службу производству достигнутое ими» («Правда», 11 января, 1982). Итак, не столь уж не изучен этот вопрос, и соответствующая программа, как следует из статьи профессора Л. Рыбаковского, была разработана «еще в начале шестидесятых». Но вот что в таком случае удивительно: исследования ведутся, научные рекомендации есть, серьезные люди то и дело выступают в печати, все понимают, что затраты на благоустройство не роскошь, а, напротив, таким способом можно сэкономить гораздо большие государственные средства, поглощаемые сейчас миграцией. И госкомитеты это «знают» и Госплан «знает», однако ситуация в течение многих лет остается прежней! Нет, она, конечно, меняется, и меняется в лучшую сторону, однако проистекает это столь замедленно, что ситуация практически видится неизменной.

...Что же касается связи научных исследований СВКНИИ с экономическими задачами области, о чем рассказал Гончаров, то здесь подтверждалось уже упомянутое мной наблюдение, что все на Севере принялись считать. Не только хозяйственники, практики, но и ученые могли указать на приносимую ими конкретную, здравую, учитываемую в рублях пользу. А еще из нашей беседы я тогда вывел... нет, это была пока не мысль, скорее, на уровне ощущения: мне показалось, что Магаданская область примерялась, готовилась стать как в с. Промелькнуло это в обкоме, когда знакомился с программой комплексного развития, говорил с В. Ф. Кулясом. Уж слишком совпадали

поставленные и там, и тут вопросы: «Что будет давать область государству?», «Что будет профицировать в хозяйстве области?». Непривычные, прямо скажем, это были вопросы, и не только своим смыслом — одним фактом возникновения. Прежде любой северянин лишь изумился бы: «Как это «что»? Известно — «валютный цех страны»!» Далеко отстоящий легендарный этот цех был загадочен уже в силу одной своей специфики, одни только названия: Магадан, Колыма, «Дальстрой» — будоражили воображение, подразумевалось, что наибольшее внимание, все привилегии — именно ему, «валютному цеху», и так будет всегда. И вот тебе, пожалуйста: «...есть районы более важные в экономическом отношении, чем наш». Не потому ли и считать-то взялись, и комплексное развитие планировать?..

Были и другие интересные встречи в эту пуржливую неделю в Магадане, о них — при случае. Сейчас я смотрел вниз, на горы, в круглое самолетное окошечко — никогда не мог я запомнить, как оно называется... блистер? Остались далеко на юге пегие магаданские сопки — здешние были сплошь белы, от подножий до остроконечных пиков. Полярный круг мы еще не пересекли, так что солнце стояло довольно высоко, и рисунок гор, и без того заполнявший все пространство до горизонта, еще удваивался: очертания каждой вершины воспроизводились темным силуэтом на соседнем блистающем склоне. Рядом со мной сидел молодой эвен с маленьким сыном, тот азартно вгрызался в грейпфрут, посверкивая глазом, острым и угольно-черным, как подсолнуховое семечко. В Омолоне они вышли. Мне тоже нужно было в Омолон, это уже начался Билибинский район, но я рассчитывал остановиться здесь на обратном пути. За Омолоном, минутах в двадцати лёту, горы резко оборвались, нависли последней стеной над долиной невидимой сейчас реки. Я помнил это место и этот внезапный обрыв, тут всегда возникает ощущение прыжка с трамплина. Не эту ли стену видел когда-то романтический Виктор Николаевич Болдырев, кочуя с оленями в верховьях Олойчана, не этот ли хребет называл он в своей книге Синим?.. Перелетели долину, и опять горы, последнее на пути в Билибино. Глядя на них, хочется обратиться к слогу старинному, торжественному. Например: «Вообще Чукоция есть страна возвышенная, и часто попадались нам горы удивительной вышины, инде имели мы такие пред своими глазами виды, которые вперяли в мысль нашу восторг и заставляли нас взирать на те предметы не иначе как

с глубочайшим благоговением». Вот ритм, вот интонация, вот слова для этих гор!. И вдруг я подумал, что для начала прошлого века это ведь был обыкновенный, чуть ли не казенный отчет об экспедиции, предпринятой к тому же «по указу», о командировке то есть, и составил его даже не писатель, но гидрограф по специальности, капитан Гавриил Сарычев, и вполне возможно, что по тогдашним понятиям слог его был довольно неуклюж. Что же такое необыкновенное совершает здесь время, отчего слова эти кажутся теперь исполненными поэзии? И будет ли это время столь же милостиво к нам, будут ли когда-нибудь с таким же чувством читать сегодняшние наши сугубо деловые записки, пестрящие «комплексами», «проблемами», «программами», «постановлениями»?..

3

В Билибино — я вдруг с удивлением осознал это — я не был целых восемь лет! А казалось, что с той зимы 76-го прошло всего года два-три. Потому что, побывав на Чукотке, какое-то время живешь спокойно и даже забываешь о ней, отвлекшись на другие жизненные впечатления, но вот вновь подступает «белый период», и говоришь себе, что пора ехать, однако сразу не получается, откладываясь на следующий год, потом еще на следующий и еще, и вот так все это время, что не можешь вырваться из Москвы, превращается в один большой, непрерывный «следующий» год...

Опять был вечер, заполярная темень, опять ничего невозможного было разглядеть по дороге из аэропорта, да и среди бела дня не удалось бы разглядеть, потому что слой инея, намерзшего на автобусные стекла, был раза в три толще самого стекла. Пассажиры разместились, водитель выключил свет в салоне, врубил встроенную, «свою» музеку, раздалось: «А-а, лучше поздно, чем никогда... А-а, лучше поздно, чем никогда...» — поехали. Судя по тому, что пассажирский автобус тут курсировал, дорогу из аэропорта в поселок, с которой столько мучились, освоили теперь прочно. Было время, когда полоса в Кэпервееме уже принимала большие самолеты, а люди и грузы перелетали оставшиеся до Билибино тридцать километров на «Аннушке»... Через час я сошел возле гостиницы «Северянка». Здесь все выглядело по-старому: недлинная, но и неподвижная очередь у окошка администратора, надписи на деревянном прилавке камеры хранения — кто, с какого

прииска и когда томился в этой очереди, — чукча, спящий в коридоре на диване, под репродукцией картины «Вечерний звон», тот же «Вечерний звон» в номере, меж оконными рамами промерзший чир с обструганной спиной. В отличие от Магадана, тепло было в гостинице необыкновенно: «атомка» кочегарила от души. В Билибино прибавился еще час разницы с Москвой. Обосновавшись, я взглянул на часы: одиннадцать по-местному, еще не поздно, чтобы позвонить Деду. Позвонил и услышал: «Когда приехал? Сейчас? Так приходи чай пить!» Через пять минут я у Григория Сергеевича. Живет он в том же крайнем трехэтажном доме на Мандрикова, только с первого этажа перебрался на третий. «Магазин-то рядом, напротив. То и дело бичи стучали в окно: «Дед, дай стакан, будь человеком!» Надоели...» Я озираюсь: все точно так же в этой небольшой квартирке, на тех же местах нехитрая мебель, то же обилие книг, и еще поприбавилось, конечно, и так же не хватает для работы пространства письменного стола — папки, книги с многочисленными закладками, подшивки старых газет, исписанные листы разложены на стульях и на полу, вплоть до прихожей. Впечатление такое, будто бы ту прежнюю квартиру вырезали, вынули каким-то образом из первого этажа и перенесли осторожно на новое место. На кухне тоже видимый беспорядок, но беспорядок типично холостяцкий, мужской, когда хозяину точно известно, где у него что, и все под рукой. Дед сразу принимается почевать, открывает какие-то банки, греет лапшу с олениной, извлекает ради встречи бутылочку «Златых писцов». Я не отказываюсь, я хорошо помню, как пришел однажды к нему в гости вот так же поздно вечером и Григорий Сергеевич водрузил на стол огромный эмалированный противень с холодцом из сохатины. «А врачи вроде бы говорят, что спать надо ложиться голодным», — сказал я. Дед поглядел на меня лукаво, характерным жестом разделяя надвое могучую свою бороду: «В гробу я видел тех врачей, которые говорят, что надо ложиться спать голодным. Я десять лет ложился спать голодным!..» И так это убедительно он произнес — а насчет врачей было, конечно, пообразнее, — что мы весь этот холодец под рюмочку-другую уговорили... Сейчас Григорий Сергеевич даже не пригибается, те же врачи запугали: «Диабет — на грани, и на «мысе Сердце-Камень», — он прикладывает руку к груди, — рубчик». Слышать это грустно, никогда раньше Дед о недугах разговоров не заводил. Из гидрогеологии он ушел, тяжеловато стало, но в экспедиции продолжает работать, теперь стар-

шим инженером по охране природы. И по-прежнему, вот уже более десятка лет, Григорий Сергеевич — директор основанного им краеведческого музея. «Готовлю сейчас выставку к пятидесятилетию районной партийной организации.— Дед кивает на разбросанный по комнате свой архив.— Приходится специализироваться на юбилеях: то двадцатипятилетие поселка, то тридцатилетие области... Заделался справочником, никто ничего не знает, чуть что — ко мне. А систематизировать, свести воедино всю историю района — некогда! Времени не хватает, сил. Уставать стал, ничего не успеваю. Пионеры вот шефство надо мной взяли, приходят тут трое...»

Хотя и давно я не был в Билибино, но Деда вижу часто, каждый год он приезжает в отпуск. И вот теперь я гляжу на него и замечаю, как он сдал даже в сравнении с прошлым годом. И вдруг соображаю, что скоро ему семьдесят пять и из них на Севере он без малого сорок лет! С 45-го года... Какая судьба! Родом из Вятки. Учился в Уржумском педтехникуме, преподавала ему Елизавета Мироновна Кострикова, сестра Кирова. Потом закончил пединститут в Вятке, не переименованной еще в Киров. Затем — аспирантуру в МГУ при почвенно-геологическом-географическом факультете. В 36-ом стал работать в Москве, в Аэропроекте, был начальником отдела по строительству аэродромов. Ездил по всей стране, вплоть до Дальнего Востока. Война застала во Львове. Служил в авиации, продолжал строить аэродромы, только теперь фронтовые. Воевал в Крыму, на Северном Кавказе. Попал в плен, спустя два месяца бежал, вернулся в строй. Летчики перебазировались часто, особенно когда началось наступление, за два-три дня надо было оборудовать новый аэродром, подъездные пути, маскировку. Использовали в основном выгоны для скота. Так дошел Григорий Сергеевич до Болгарии... Эти чувства, о которых мы, невоевавшие, сейчас можем лишь догадываться, глядя на документальные кадры тех лет: всеобщий подъем, свобода, опьянение близкой победой. Случилось Деду — правда, звался он тогда не Дедом, а Батей, потому что борода у него уже была, — случилось ему пошутить в шумном и веселом собрании друзей-офицеров. Для того времени, по-видимому, прозвучало несколько вольно. «Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил,— как объяснял Воланд Маргарите.— И рыцарю пришлось после этого прошутить немногого больше и дольше, нежели он предполагал». И, так и не довоевав самую малость, Дед очутился сначала в Сибири, потом на Колыме. На середину 50-х годов, когда Григорий

Сергеевич, по выражению того же Воланда, «свой счет оплатил и закрыл», пришлося открытие чукотского золота. К этому времени Дед уже работал в Сеймчанском РайГРУ. Со своими высшими образованиями — рабочим, младшим техником, коллектором... Двигались с Колымы на север, на Омолон, потом сюда, на Карабль, на место будущего Билибино. «От Дальстроя до Аниjsкого РайГРУ шли мы долго через горы и тайгу», — поют билибинские геологи. В 60-м году Деда реабилитировали, как говорится, «за отсутствием состава...», восстановили в партии. Секретарь райкома, рассказывал Григорий Сергеевич, вручая ему партбилет, «за живот хватался и со стула падал от смеха» — не от давнишней Дедовой шутки, конечно, а от того, чем она для него обернулась. Действительно... И что выглядело бы тут вполне естественным? Срываешься отсюда, ехать на материк, домой — хватит, наломался, намерася! Как сам он говорил: «От вод голубого Дуная до Тихого океана...» Но Дед, этот неисправимый российский интеллигент, остался. В 72-м году, когда мы с Григорием Сергеевичем познакомились и я услышал его историю, он был уже заслуженным человеком, возглавлял отряд гидрогеологии в Аниjsкой геологоразведочной экспедиции, базировавшейся в Билибино, награжден был знаком «Ветеран труда Магаданской области», которыйдается не просто за два с лишним десятка лет, отработанных на Севере, но за особые заслуги в его освоении. Одной из таких особенных заслуг я, безусловно, считаю устройство Билибинского краеведческого музея. Идея его создания принадлежала кучке энтузиастов во главе с Григорием Сергеевичем. Они же эту идею и осуществили. В 72-м году я застал самое его начало, а скоро музею исполнится пятнадцать лет. Обычно как главную достопримечательность Билибино называют «атомку», но, по-моему, музей в своем роде достопримечательность не меньшая. Смело могу сказать, что подобного музея на Чукотке больше нет, нет, пожалуй, и во всей Магаданской области. Я знаю, они есть — в Магадане, в Анадыре, при некоторых чукотских школах, — но такого нет.

Тогда, после поездки 72-го года, я написал и о музее, и о самом Григории Сергеевиче, о его неиссякаемой энергии, а вот о судьбе умолчал. Помянул вскользь, что «нелегкая». Не помню почему. Может, показалось мне, что это выходит за рамки темы. Потом-то я понял: ничего в этой жизни «за рамки темы» не выходит. Я в то время только начинал как журналист и не подозревал о некоторых своих возможностях, но, сам того не сознавая, добroе дело все-

таки сделал. Очерк о Билибино с фотографиями, среди которых была и фотография Деда, напечатан был в «Вокруг света», и вскоре он написал мне, что, благодаря моей статье, его разыскали «многие фронтовые и нефронтовыे друзья». Не подозревая также, что это будет начальом и нашей дружбы. Потом Дед вообще сделался знаменит, фотопортаж о нем и его музее поместила «Правда». Осенью прошлого года Билибино отпраздновал свое двадцатипятилетие, у меня есть газета «Золотая Чукотка» с заметкой об этом торжественном событии. «Радушно было встречено выступление старожила поселка, геолога, директора Билибинского краеведческого музея Г. С. Глазырина. Решением исполкома Билибинского поссовета ветерану Севера Г. С. Глазырину присвоено звание Почетного гражданина п. Билибино. Ему была повязана алая лента и вручено соответствующее удостоверение». В поселке с пятнадцати тысячным населением все его знают, уважают. Только зовут уже не Дедом, а Дедусей — ласково так: «Наш Дедуся». А одна молоденькая, восторженная северянка мне говорила: «Когда я его встречаю, то всегда думаю: «Вот идет хозяин Чукотки! Такой он крепкий, уверенный. Настоящий хозяин Чукотки!» Словом, личность он уже легендарная, многие билибинцы, например, уверены, что Григорий Сергеевич был сподвижником самого Юрия Александровича Билибина, участвовал в его экспедициях «здесь, на Чукотке». Тогда мне приходится объяснять, что это не так, что Билибин работал на Колыме и совсем в другие годы, а на Чукотке никогда не бывал. Так что встретиться они никак не могли. Вот жену Билибина, Татьяну Васильевну, Глазырин знает, но это уже по музейным делам. «Тогда почему же поселок — Билибино?» — «Просто в честь...» Так я принимаю посильное участие в Дедовой просветительской деятельности... Но не все, однако, от него в восторге, потому что в иных ситуациях, особенно когда речь идет об охране природы, Григорий Сергеевич беспощаден и непримирим. Сыскался, скажем, один предприимчивый товарищ, председатель районного спортивного комитета. Поселился он на отшибе, в парке, в домике при стадионе, и тут же начал тянуть от ближайшей теплотрассы ответвление к себе — через парк. Не дотянул — Дед, член президиума районного общества охраны природы, заметил и поднял шум. Парк этот не искусственный, не насажденный — просто уцелевший клочок столь уязвимой от соседства с поселком тайги. Расчистили там дорожки, оборудовали стадион, устраивают соревнования, празднич-

ные гуляния. Григорий Сергеевич добровольно взял его под свою личную опеку. Крови из-за него он и себе и другим попортил немало. То строители для каких-то своих нужд перекроют ручей, протекающий по территории парка, — Дед опять шумит, бежит в посовет; то ребята костер разведут, дерево спалят — в школу надо идти, выступать там, растолковывать... В общем, я этот парк для себя называю «парком культуры и отдыха имени Г. С. Глазырина».

Назавтра с утра Григорий Сергеевич приглашает в музей. Завтра — это суббота, нужных мне должностных лиц я не увижу. Но если бы даже и будний день, я все равно не отказался бы, потому что это уже традиция: каждый приезд в Билибино начинается с визита к Деду и в его музей. Этот длинный одноэтажный дом, бывший барак, я не однажды описывал, заставая всякий раз музей в новой стадии: сначала это была единственная комната с торца, затем полдома, в конце концов Дед отвоевал барак во всю его длину. Обнес оградой. Тем не менее приехавшая несколько лет назад телесъемка внешним видом музея осталась недовольна. Распорядились так: на время съемки сняли вывеску кафе «Золотинка» и на ее место водрузили вывеску музея. Кафе «Золотинка», безусловно, выглядело попротивнее, посовременнее. Директора музея телевизионщики, давая столпившимся билибинцам пищу для злословия и мало о том заботясь, отсыпали на фоне кафе. После чего вывески, разумеется, вернулись на свои места. Сам Дед отнесся к этому с юмором. «Вот трёкач! Гады на лапах!» — говорил он, что звучало в его устах почти благодушно. И в самом деле, чем телевизионщики-то виноваты? Им хочется, как «красивше». А это уж пусть районное начальство на ус мотает... Начальство обещает. В перспективе развития поселка до 1990 года намечено строительство нового микрорайона. Будет там школа искусств. Под крышей школы предполагается и для музея отыскать подобающее помещение. Ну, а в ожидании этого музея все равно свое дело делает. Побывало в нем уже 75 тысяч посетителей. Легко сосчитать: каждый житель этого огромного района, в полтора раза больше Болгарии, был в музее минимум трижды. Есть в нем теперь экскурсоводы, но Григорий Сергеевич ведет меня сам, в продуманной им последовательности, от начальной, как бы предваряющей экспозиции «Прошлое и будущее района» через залы: «Минерально-сырьевая база», «Природа», «Палеонтология», «Революционные события и этапы советского строительства на Северо-Востоке СССР», «Оленеводство», «Первопроходцы-гео-

логи», «Искусство»... Громко, конечно, сказано: «залы» — небольшие комнатки. Но сколько тут всего! Да, я не раз тут был и описывал, но хочется вновь и вновь разглядывать и упоминать все эти камни, керны, гербарии, чучела, бивни, позвонок кита, череп двуорогого носорога — «В Магадане нет, а у нас есть!», — старые фотографии, пожелтевшие газеты, геологические карты. Потому что все это не омертвевшее, не абстрактное, но до сих пор живое, конкретное. Известно, где найдено, кем принесено, подарено. И возле каждого экспоната Григорий Сергеевич может стоять и часами рассказывать, называть цифры, факты, фамилии. Память у него обширнейшая. Близко сравнение, но, как зоолог по единственной кости может представить целиком животное, так Глазырин, начав с маленькой выцветшей любительской фотографии, может рассказать всю историю района. Даже я могу уже кое-что поведать о некоторых экспонатах. В зале «Ю. А. Билибину посвящается» я не вижу запомнившихся мне значков. Характерных, массивных старых значков — «Стахановцу золотоплатиновой промышленности» (№ 980) и «Отличник соцсоревнования. Наркомцветметалла» (№ 3603), которыми был награжден Юрий Александрович. Как-то, прилетев в очередной отпуск в Москву, Дед самолично ездил в Ленинград к его жене и испросил их для музея. «Сперли! — говорит он в сердцах. — И орден Ленина. Еще кремневое ружье восемнадцатого века, времен казацких походов. Сперли, сволочи!» Горечь и негодование, с которыми он это произносит, я хорошо понимаю. И других слов тут не подберешь — именно «сперли». И именно «сволочи!». Что значит? Это ведь не деньги, не шмотки. Следовательно, понадобились они не какому-то сермяжному жулику, но «любителю», коллекционеру «с понятием», у которого, видать, «хобби». Поди найди его теперь в большом поселке. А Дед ведь начинал тут с первого кола, первых палаток, домов, когда все друг друга знали, дверей не запирали, все лежало на виду и никто ничего не «пер». Поэтому наблюдать такую трансформацию северянина ему особенно обидно. Не говоря уж о пропажах, которые невосполнимы. Меня все это беспокоит не на шутку.

— Присматривать надо получше, Григорий Сергеевич. Есть же в музее сотрудники. И каталог хотя бы составить — всего, что собрано.

— Некогда, — как и давеча, повторяет он. — Превратился в паршивого завхоза! То нужно, это нужно...

Мы приходим к противоположному концу коридора,

Григорий Сергеевич открывает дверь, за ней — темный холодный тамбур, которого я раньше не видел. Он зажигает свет. Вдоль стен — огромные, разрозненные кости, могучие бивни, облагороженного тысячелетиями, кофейно-золотистого цвета череп. Я догадываюсь, что это тот самый «мамонт», о котором Дед толковал в мой прошлый приезд. Тогда до целого скелета кой-чего не хватало.

— Неужто собрали, Григорий Сергеевич?

— Собрали. И была бы настоящая, высокая пристройка — стоял бы мамонт, тринадцатый в Союзе. В Магадане нет, а у нас стоял бы! А мы вот эту кладовку осилили с трудом! Никому ничего не надо. По принципу «ХС»!..

— Что за «ХС»?

— «Хрен с ним!» — вдруг, к моему удовольствию, разряжается Дед в знакомом смехе.

Такие сетования, что «никому ничего не надо», я слышу от Глазырина каждый раз, и каждый раз, приезжая, все-таки нахожу в музее перемены. Перемены медленные, как, впрочем, и во всем на Севере. Но в своем нетерпении поскорей довести до ума любимое дело Дед, безусловно, прав...

Мы обедаем с ним в «Яраре», и Григорий Сергеевич отправляется к себе. Надо выспаться, потому что, с изумлением слышу я, ему сегодня ночью дежурить. В ДНД. Я гляжу ему вслед. Он идет, по привычке втянув подогнутые кисти рук в рукава пальто. Никаких рукавиц даже в эти сорокаградусные морозы Дед не признает.

4

Рассказывать о хорошо знакомых местах — я давно это заметил — трудно. Обилие прошлой информации давит. То и дело хочется сравнивать: «Теперь... а вот раньше... Раньше... а вот теперь...» И начисто исчезает критерий — что важно, что не важно. Все вроде бы взаимосвязано, одноцепляется за другое... Расставшись с Григорием Сергеевичем, я решаю побродить по поселку. Бродить, правда, приходится в несколько ускоренном темпе, не очень-то пофланируешь при таком морозе. Пивбар. Раньше его не было, как не было и пива. Авоськами, канистрами везли из Магадана. Доска объявлений. Продается пианино. Стереоаппаратура «Максвелл». Продается полдома в Билибино с двумя теплицами. Продается дом в Курской области с сараем, погребом, садом. Ориентировочная цена — 10 тысяч. Это для тех, кто собрался отсюда насовсем... Обмены.

Прежде северянин, уезжая «с концами», бросал свою хибару раскрытой настежь — вместе с нехитрой посудой, с самодельной мебелью, — жильцы сами найдутся. Теперь есть что продавать, менять. Двухкомнатные, трехкомнатные... На Ворошиловград, на Новгород. Билибино на Билибино — «по договоренности»... Афиши предлагают: в кинотеатре «Искра» — «Строгую мужскую жизнь», в Доме культуры — «Колыбельную для мужчин». Цирк из Новосибирска... Маргарита Терехова, говорят, тут недавно выступала...

В книжном магазине, в разделе художественной литературы, — шаром покати. Ушли, ушли безвозвратно те времена, когда, например, в Уэлене, в крохотной комнатке почты, рядом с открытками и цветными бланками поздравительных телеграмм спокойно стояла трилогия Фолкнера, Фицджеральд, Стейнбек. А теперь все поголовно — «книголюбы». М-да... Шли по лесу лесорубы, оказались — «книголюбы»... В продовольственном магазине обилие банок, которые редко увидишь в магазинах московских: кабачковая икра, зеленый горошек, всякий консервированный овощ. Зато исчез напрочь с прилавков индийский чай, единственный чай, который раньше на Севере признавался. Из мяса — баранина, свинина. Но нет оленины. Не видно и тушенки, а встарь было — завались. Свиная, говяжья, мясо в белом соусе, гуляши, языки консервированные, паштет печеночный, печень трески, крабы... — все это приедалось...

Вот тут, признаться, мне было трудно сравнивать. В кратком статистическом сборнике «Народное хозяйство Магаданской области», выпущенном в прошлом году в Магадане в честь 30-летия области, приводятся такие данные. В 1965 году область производила мяса в убойном весе 9,2 тысячи тонн. В 1982 году почти вдвое больше — 18,2 тысячи тонн. За эти же годы производство молока увеличилось в два с половиной раза — от 23 до 57,7 тысячи тонн. Яиц — более чем в пять раз: от 32,2 до 181,2 миллиона штук. Население же области за эти годы выросло примерно в полуторном всего размере — от 306,8 тысячи человек в 1966 году до 509,7 тысячи в 1983-м. Сплошное, следовательно, увеличение «на душу»... Теперь по собственным воспоминаниям. В тех же 60-х годах опять же в Уэлене каждый с зарплаты набирал рюкзак продуктов — в основном помянутые банки, — чтоб реже ходить. В пристройке к магазину громоздились промерзшие до твердости камня оленьи туши: хочешь, бери целиком олена «в убойном

весе», килограммов на семьдесят; хочешь, отруби любую часть. Продавщица сама туда не ходила, вручала покупателю топор и ключ от пристройки, и тот рубил под пристальным наблюдением сбежавшихся к отворенной двери уэленских собак. На какое время хватало этого мешка продуктов и этой туши, никто не высчитывал. Зато можно точно сказать, что не было у нас баранины и свинины, не было «в том числе птицы», кроме добытой на охоте, и свежего молока — только в порошке и сгущенка, в неограниченном, правда количестве. Но сколько возможно было ее выносить, эту сгущенку, изо дня в день, сколько уходило ее на месяц? Опять не считали, но не так уж и много. Яиц не видали вовсе, здоровенные жестяные банки с яичным порошком никто, по-моему, и не покупал. Овощи, если продолжать о снабжении: морковь, лук, картошка, предлагались, главным образом, в сушеном виде. Свежий лук и капусту не завозили совсем, картошку японскую один раз в год, осенью, много ее не возьмешь, потому что держать негде, вянет быстро. Яблоки корейские тоже раз в год и тоже не хранились долго, полежат с неделю — и как трава на вкус, апельсины, помню, доставили «Аннушкой» среди зимы — единожды за три года. Давали по килограмму, у кого маленькие дети — по два... Сейчас все это на Севере не в диковинку, завозят регулярно, случается, что и виноград, и арбузы, и нынешний северянин к этому привык, принимает как должное. Видел я, как один парень тащил картошку в авоське, посколькулся, рассыпал, так даже не потрудился всю собрать. А будь это лет двадцать — пятнадцать назад и раскатись его картошка по всему Билибино, так все Билибино и использовал бы, подбирая... Вот с олениной — да, куда денешься, хуже. Еще в 76-м году, когда очутился я вновь в своем Уэлене и интересовался положением дел, мне сказали: «Забудь, Александрович, то время, когда мог ты купить оленью тушу!» Поголовье оленей в области резко сократилось. Производство оленины с 1965 по 1982 годы, на фоне увеличения производства мяса вообще, упало с 8,1 до 5,5 тысячи тонн — на третью. Сейчас оленье мясо поступает, главным образом, в общепит. А надо сказать, что северянин, особенно житель рабочего поселка вроде Билибино, бегать и торопиться научился не хуже, чем это делают в Москве, и есть ради экономии времени предпочитает в столовых. Целыми семьями, только поврозь: муж забегает со своей работы, жена со своей работы, дети после школы. Дома собираются разве что за ужином. Вот неучтенная, но ощущимая прибавка к той магазинной норме. Появились за

это время во множестве личные подсобные хозяйства. По данным того же статистического сборника, в 1982 году из 57,3 тысячи свиней, выращенных в области, немногим менее половины, 25,6 тысячи, содержались в личных хозяйствах. Образовался рынок. Килограмм свинины на рынке — 7 рублей, но и зарплата двойная, а проработал на Севере пять лет — тройная. Своя ли свинина, рыночная — еще прибавка. Так что, повторяю, трудно сейчас сопоставить впрямую сегодняшнее снабжение Севера продуктами с прежним, тем более что прежде мы вообще о нем не задумывались, как не задумывались и над тем, «что будет давать область государству?..».

5

Сам поселок за эти годы благоустроился заметно, здраво. Двенадцать лет назад вдоль улицы Курчатова стояли три пятиэтажных дома, как бы обозначая границу будущего нового квартала. Называли его тогда по-разному: «Поселок БАЭС», указывая тем самым на главного строителя, атомную электростанцию; журналисты из «Магаданского комсомольца» именовали торжественно — «Атомоград». Теперь, когда новый квартал построили, прижилось будничное и повсеместное — «микрорайон». Есть здесь Дом культуры, спорткомплекс с бассейном, торговый комплекс и центральная библиотека, школа-интернат — словом, многое из того, о чем тогда, в 72-м, говорили «будет». Жилые дома в новом микрорайоне как на подбор, пятиэтажные, бетоноблочные или крупнопанельные типа «Арктика». Давно уже утверждали билибинцы, что их поселок больше похож на город, чем «узаконенные» чукотские города Певек и Анадырь. Ну, а теперь Билибино, хотя и остается по-прежнему поселком, выглядит, особенно в новой своей части, совершенно как город, даже по материковским понятиям. Однако в подобных сравнениях с материком содержится известного рода инерция. Если уж на Севере, «как на материке», — следовательно, полный ажур на Севере!.. Но есть среди моих магаданских друзей и знакомых люди, которых я про себя называю «магаданскими мечтателями». По специальности они архитекторы, демографы, социологи, медико-географы, психологи, гигиенисты. Это они разрабатывают проекты новых, специфически северных городов и поселков, участвуют в составлении комплексных программ развития производительных сил, прогнозируют потребность в трудовых ресурсах, предсказывают

демографическую ситуацию, исследуют процесс адаптации человека к Северу, указывают на причины повышенной миграции и т. д. Афоризмы, которые выдают они в своих работах, звучат неординарно, их преднамеренная полемическая заостренность очевидна. «Гуманизм — понятие экономическое». «Здоровье человека имеет не только социальное, но и вполне экономическое содержание». «Чем ниже капитальные вложения в спортивные и лечебно-оздоровительные комплексы, тем выше в больничные». «Плавательный бассейн не роскошь, но средство повышения производительности труда». Обоснования их по-научному точны, экономически конкретны. Например: «Расчеты показывают, что только за счет сокращения заболеваемости граждан нашего города (т. е. Магадана.— Б. В.) на тридцать процентов весь спортивный комплекс окупается за восемь — десять лет». Я об этих людях писал неоднократно, не могу не сослаться на них и сейчас, в рассказе о Билибино. Последнюю цитату я взял из книги «Человек и Север», написанной специалистом по проблемам народонаселения и трудовых ресурсов Севера В. В. Яновским. Десять лет назад я виделся и разговаривал с ним в Магадане, он заведовал тогда лабораторией в СВКНИИ, теперь, по слухам, работает где-то на Дальнем Востоке. Книга умная, горячая, другой такой в этом же роде я до сих пор не встречал и нередко в нее заглядываю, когда пытаюсь разобраться в северной ситуации. Хотя вышла эта книга в 69-м году, но и теперь актуальна и, по-видимому, останется актуальной еще на долгие годы. К сожалению, конечно... Билибино упоминается в ней часто, а в разделе «Город на Севере» следующим образом: «И везде — в Мурманске, Певеке, Мирном, Билибино, Сургуте — нарушена первая заповедь освоения Севера, его заселения: район освоения, земля, на которой ставится или развивается город, должны быть предварительно детально изучены, оценены на длительную перспективу и по ресурсам, и по условиям жизни, и по численности и составу населения, и характеру его расселения, и по возможности дальнейшего развития города». Не бывал в Мурманске, Мирном, Сургуте, но в отношении Билибино могу подтвердить: никакого «предварительного детального изучения» тут не было, никаких «длительных перспектив» не предусматривалось. И сейчас, если начинать знакомиться с Билибино со стороны старого аэроп

порта, можно видеть маленькие стеснившиеся домики, бараки первоначального поселка, затем ряды двухэтажек, трехэтажек и, наконец, теперешний современный квартал. Все это этапы строительства, а точнее в них и жденоного постепенного расширения поселка. Потому что в середине 50-х, когда «пошло золото» на Карабаевэме, предполагали, что будет здесь недолговременный прииск и небольшой поселочек горняков на две — две с половиной тысячи жителей. Затем геологи стали выдавать все более и более оптимистические прогнозы. Пришлось устраиваться поосновательнее. Во второй половине 60-х решили строить здесь «атомку», первую в чукотском Заполярье. Объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Хлынули строители — с комсомольскими путевками и без. Начали собираться энергетики-эксплуатационники. Средний возраст — около тридцати, следовательно, у многих семьи, дети. Жилья натурально не хватало, кочевали из квартиры в квартиру. Существует на Севере такое обиходное, понятное всем выражение «жить на подселении», то есть в квартирах или комнатах тех, кто уехал в долгий отпуск...

Сейчас, разумеется, в Билибино строят больше, лучше, быстрее. В 68-м году жилья было сдано 2 тысячи квадратных метров. Теперь в год сдают по 12 тысяч. Есть свой завод стройматериалов, где изготавливаются бетонные блоки, панели, деревянные детали. Сейчас завод реконструируется, мощность его увеличивается в полтора раза, но цемент и металл по-прежнему приходится завозить. В районе называли цифры: за последние шесть лет введено в эксплуатацию около 70 тысяч квадратных метров жилья. Все эти «тысячи» сами по себе обычно впечатляют. Но что такое они в реальности? В той же книге В. В. Яновского приводится пример реального подхода к цифрам. На страницах, посвященных быту северян, он пишет: «В статистических сводках бытовое обслуживание населения северных районов на первый взгляд кажется относительно высоким. Например, в 1967 году каждый городской житель (в Магаданской области) получил услуг на двадцать шесть рублей сорок девять копеек, тогда как каждый москвич — на двадцать девять рублей пятьдесят копеек. Но тарифы на услуги в Магаданской области в полтора раза выше, чем в Москве, и если, исходя из этого, пересчитать объем указанных услуг, то этот высокий на первый взгляд показатель снизится до семнадцати рублей. И к тому же потребность населения в бытовых услугах на Севере выше: занятость

населения в общественном производстве здесь выше, моложе состав населения, больше мужчин-одиночек. Памятую этот пример, и я не удовлетворился «тысячами», но спросил, сколько жилья приходится на каждого билибинца. В 72-м году, в разгар строительства «атомки», было 3 квадратных метра. Сейчас, спустя двенадцать лет, — 6. «Шесть квадратных метров благоустроенного жилья на человека, — как сказала мне председатель районной плановой комиссии Любовь Ефимовна Задорожная. — Против общесоюзной нормы двенадцать квадратных метров это вдвое меньше. А если отбросить благоустроенные бараки, то еще меньше». В то же время магаданские специалисты считают, что не только нормативы сферы обслуживания, но и нормативы жилищные для северянина должны быть выше, чем общесоюзные. Это и понятно: из-за экстремальных климатических условий житель Севера вынужден гораздо больше времени проводить в стенах своего дома, чем, скажем, житель Крыма. Стало быть, если учсть еще и эти рекомендации, то сейчас билибинец имеет жилья намного меньше, чем ему полагалось бы, и, судя по темпам строительства, положение тут в обозримом будущем резко не улучшится. «Поселок растет в арифметической прогрессии, население — в геометрической», — услышал я много лет назад фразу от одного руководителя. Верно это и по сию пору. Вот начал строиться, как я поминал, еще один жилой массив. По идеи он должен смыкаться территориально с уже отстроенным. Но тут вклинилось антеннное поле. Теперь придется его переносить. Все намеченные сроки прошли. Очередной срок — 85-й год. Вынос поля мало того что задерживает строителей, но еще и обойдется в полтора миллиона рублей. Это, кстати, одно из многих и ощутимых последствий того, что не было в свое время единого плана развития поселка, что не хотели или не умели — а чаще всего это совпадает — видеть перспективу. И то: поселок официально существует с 59-го года, а план его генеральной застройки был утвержден почти двадцать лет спустя — в 77-м. Скупой платит дважды — эта поговорка и в настоящем своем виде применима к теперешней тактике освоения Севера, ну а для данного случая можно слегка изменить: непредусмотрительный платит дважды... Так вот, пока что первые дома строящегося микрорайона стоят поодаль от Билибино, за антенным полем. Вроде хутора. Рассчитан этот микрорайон на 14 тысяч жителей. Всех ныне проживающих на своих шести «благоустроенных» метрах билибинцев можно было бы расселить в соответствии пускай не

с северными, идеальными, но хотя бы с общесоюзными нормами. Однако опять намечается в скором времени в Билибино развертывание двух крупных строек: 2-й очереди АЭС и рудника Карапльвээм. Это предусмотрено в программе комплексного развития производительных сил области. Опять, следовательно, как и во времена строительства «атомки», резко увеличится население поселка за счет строителей с семьями. Предполагают, что до двадцати пяти тысяч. Но, как правило, фактически народу всегда приезжает почему-то больше, чем ожидают. Темпы же сдачи жилья таковы. БАЭС в 11-й пятилетке должна построить 26 тысяч квадратных метров, из них за три года сдала пока только 11 тысяч. Задание билибинскому горнообогатительному комбинату на пятилетку (БАЭС и БГОК — это основные застройщики) — 20,1 тысячи квадратных метров. Из них за те же три года он ввел 5,4 тысячи. «Опять не будет жилья. Опять пойдут бараки», — предсказывают дальновидные люди.

Да, дело в том, что последние два года Магаданская область занимается сносом бараков. В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 января 1982 года записано так: «Министерствам и ведомствам СССР и Совету Министров РСФСР обеспечить в 1982—1983 гг. ликвидацию бараков в Магаданской области». «По неблагоустроенноти жилья, по баракам область вторая от конца, после Сахалина», — сказали мне в обкоме. Бараков насчитали поболее 230 тысяч квадратных метров. Из них по одной-полторы, по две тысячи на балансе предприятий Минэнерго, Минрыбхоза, Минморфлота, Министерства гражданской авиации и т. д. Примерно треть числится за Совмином РСФСР. И львиная доля, больше половины, 130 тысяч, принадлежит Минцветмету СССР, конкретно — объединению Северовостокзолото. Зато и срок сноса бараков Минцветмет выговорил себе в сравнении с другими льготный — до 1985 года. Все эти сроки, в том числе и 85-й год, представляются нереальными. Простой подсчет: Госплану СССР предписано выделять в 1983—1985 годах Минцветмету для Северовостокзолота сборно-разборные здания — по 25 тысяч квадратных метров ежегодно. За три года, следовательно, 75 тысяч. Это может компенсировать лишь немногим более половины всей площади бараков, подлежащих сносу в объединении. И что такое эти «сборно-разборные здания»? Те, что уже получили в обиходе название «сборно-щелевые»? Но и таких пока нет. «О домиках слышали, но в глаза их не видели, — сказал в Билибино

директор БГОКа Болеслав Иосифович Василяускас. — Северовостокзолото нам не поставляет. Сами делаем только тепляки...» Лепить вместо одних времянок другие, поновее, это не означает ликвидировать бараки. Тут строить надо капитально. А какими темпами строит Билибинский ГОК, я уже говорил... Есть и еще всякие осложняющие нюансы в этом деле. Чтобы сносить, надо ведь определить сначала, что именно сносить? То есть что такое «барак», каков тут критерий? Я даже полез в различные толковые словари, чтобы хоть для себя конкретизировать это, казавшееся столь простым понятие, и с удивлением открыл, что пришло оно, оказывается, из французского языка. А так прижилось, распространялось на нашей почве, так по-азиатски смаочно звучит: «базар», «барак»!.. У французов слово это означает «лачуга», «домишко» и даже «торговая палатка». Не иначе однокоренное со словом «бар». У нас, начиная с Даля, объясняется как «временное, легкое строение для размещения войск или рабочих», «временная деревянная казарма» и т. п. На практике же «временное» оборачивается самым что ни на есть «долгосрочным». Возникло даже, проскользнуло в разговоре с заместителем председателя Билинского райисполкома Л. Е. Задорожной выражение «благоустроенный барак». Это значит, что подведены к такому бараку вода, центральное отопление, и он числится «благоустроенным жильем», тем самым, которого в Билибино приходится 6 квадратных метров на человека. Сносить такой барак или не сносить? Недели три спустя, когда прилетел я на Дальний, тамошний председатель поссовета Николай Григорьевич Триц сетовал: «Вот записали нам на этот год согласно постановлению снести два барака. Считаю, неправильно! Это же не такие бараки! В них тепло, удобно, нигде не течет. Пять-шесть лет, как поставили, и уже валить?!» Что ж — пожалуй, можно было понять недоумение Николая Григорьевича. Для приска Дальний, где последнюю палатку снесли только в 79-м году, барак, в котором «тепло и удобно», — это не так уж плохо. Это, можно считать, — новостройка. Но кампания есть кампания. Ликвидировать так ликвидировать — по всей области, начиная с Магадана. Однако и сам Магадан далеко не образец в этом отношении. Идешь по его центральным улицам, и вдруг за фасадами, в просвете, в окружении высоких каменных домов мелькнет такая лачужка! Толь, фанера, дымок из печной трубы, детская колясочка возле двери. Живут... А целый поселок вокруг бухты Нагаева? Этим хибарам не пять-шесть, а все три-

дцать пять—сорок лет. И определение архитектурного своеобразия таких поселков подобралось уже давно и привилось повсеместно — «Шанхай». Домишкы лепятся тесно один над другим по склону сопки, как ласточкины гнезда, и кажется, тронь один, и все остальные посыплются. «А в нем живет какой-нибудь... «трижды реабилитированный». Попробуй его снеси. Он тебе снесет!» — как сказал мне один магаданский приятель. А другой знакомый, старый партийный работник и северянин, следующим образом отозвался: «Это как в аэропорту. Знают, что закрылись на сутки, а рейсы откладывают на два часа. Потом опять — на два. Так и со сроками ликвидации будем откладывать. А за это время появятся новые бараки...»

Этот способ обживания Севера, при котором уповают на временное, но скорое строительство, «магаданские мечтатели» называют «стратегией двойных затрат». Может быть, и не двойных, может быть, затраты выходят во много раз больше — сосчитать тут трудно, потому что не с чем сравнивать, потому что нет пока примера затрат одинарных. В. В. Яновский еще десять лет назад объяснял мне, как родилась подобная стратегия: «Когда-то, на заре освоения края, надо было выиграть время, выиграть в завтрашнем дне. Но, выигрывая лишь в завтрашнем дне, мы неизбежно проигрываем в послезавтрашнем...» И тогда, десять лет назад, я все это, эту необходимость скорого выигрыша понимал, но вот что не понимаю теперь. Ведь тот день, что тогда, «на заре», виделся завтрашим, стал минувшим. А день послезавтраший обратился в сегодняшний, и предсказанный в нем проигрыш подтвердился — свидетельство тому хотя бы не уменьшающейся, а в иных местах по Северу возросшая миграция населения. И мы теперь, наученные опытом, должны бы думать не только о новом завтрашнем, но и новом послезавтрашнем дне. Умеем ли мы сейчас рассчитывать наперед, обосновывать, предвидеть? Осенью прошлого года мне привелось быть в командировке в Монголии, в молодом городе монгольских шахтеров Багануре. В середине семидесятых годов разведали там, посреди чистой степи, месторождение угля. По нашим союзным меркам не очень и крупное, но для развивающейся промышленности Монголии перспективное: угольный разрез, который там строят, монголы называют «флагманом» своей топливной индустрии. Возле разреза всего за пять лет вырос город. По сути, один пока небольшой квартал — вроде нового микрорайона в Билибино. Но не увидел я вокруг этого ладного, компактного города-

квартала ни одного барака, ни одной времянки! Хотя строительство продолжается и народ прибывает. Однако темпы ввода жилья в Багануре опережают темпы притока рабочей силы. Что при этом характерно — нет общежитий. И семейным и холостым предоставляются отдельные квартиры. Население — в основном молодежь, много молодых семей, детей. Но нет проблемы ни с детскими садами, ни со школами. Оптимально налажено торговое, культурно-бытовое обслуживание. То есть проектировщики Баганура учли все, что принято теперь объединять в понятии производственно-социальной инфраструктуры. Учли они и дальнейшее развитие города, предусмотрели, каким образом и в какую сторону ему расширяться, чтобы не стал он беспорядочно разбросанным, не утерял архитектурную цельность. Поставили его так, чтобы господствующий ветер не наносил из карьера угольную пыль. А это значит, что в разработке проекта принимали участие медико-географы, гигиенисты. Запланировано в Багануре помимо угольной развитие таких видов промышленности, в которых можно было бы занять женские руки — проблема, например, до сих пор очень острая на нашем Севере... Словом, тот самый случай, когда «район освоения предварительно детально изучен, оценен на длительную перспективу...», и не раз за время знакомства с молодым монгольским городом вспоминала я с понятной грустью наши северные города и рабочие поселки. Но что более всего меня поразило, так это то, что проектировали, возводили Баганур и сдавали его монгольским товарищам «под ключ» мы, то есть наши, советские специалисты и строители! В кабинете директора разреза Д. Дондова в списке генпоставщиков и генподрядчиков я нашел тот же Минуглепром СССР, Минтранстрой, Минэнерго... Следовательно, умеем, можем?!

Однако таких образцовых, гармонически развивающихся предприятий и поселков на нашем Севере по сию пору нет. Хотя проекты имелись не хуже, например, гремевший когда-то, в конце 60-х годов, проект Анадыря-2, созданный архитекторами магаданского института Дальстройпроект. Рассказывать о нем подробно невозможно в моем небольшом очерке. Скажу только, что проект отвечал всем самым последним, самым современным требованиям, предъявляемым градостроению на Севере. Это и компактная полузакрытая композиционная схема, и оптимальное соотношение наружных внутригородских связей с закрытыми, и надежная снего- и ветрозащита, и солнечная ориентация зданий, и инсолируемые дворики, и гармония с окружаю-

щим ландшафтом, и совмещение «модели жилого фонда города с его демографической структурой» и многое-многое другое, что позволило авторам одной из статей назвать проект Анадыря-2 «произведением архитектуры как искусства». В этой же статье сказано, что данный проект получил «высокую оценку Государственного комитета по строительству». С тех пор прошло более пятнадцати лет. Новый Анадырь так и не был построен. Почему? Из соображений дороживши? Нет. Авторы проекта подсчитали, что «квадратный метр жилой площади в Анадыре-2... не будет стоить дороже, чем он обходится сегодня в поселках Чукотки». Тогда почему? Трудно сказать. Лишь новая четырехэтажная гостиница при анадырском аэропорте высится одиноко посреди тундры печальным памятником неосуществившемуся и забытому проекту... Не воплотился в жизнь и оригинальный проект нового Уэлена, созданный в те же годы. Взамен на уэленской косе вразброс встали типовые двухэтажки... Интересно, сохранился ли хотя бы где-нибудь на шкафах в Дальстройпроекте запылившийся от времени макет поселка Усть-Нера? Проект был разработан для Якутии под руководством тогдашнего главного архитектора отдела гражданского строительства В. А. Платонова. Учтены в нем были все те же достижения передовой архитектурной мысли, что и в проекте Анадыря-2. С Вадимом Платоновым я общался в Магадане в 73-м году. Сам из Москвы, он к этому времени проработал в Дальстройпроекте уже четырнадцать лет. В те дни он собирался в Москву на конференцию, организованную при МГУ. Не помню сейчас, какова была тема конференции, но, видимо, связывалась как-то с градостроением, потому что Вадим готовил доклад «Климат, город, человек». Излагал он в нем заветные идеи «магаданских мечтателей», к коим сам принадлежал. Что архитектура — это здоровье народа. Что полностью изолировать человека средствами архитектуры от суровой северной природы — неразумно и даже вредно. Что «большая гостиница», пусть даже с максимальным комфортом, лишь подчеркнет оторванность человека, приехавшего на Север, от привычной ему жизни. Что города и поселки на Севере должны быть «полузакрытого» типа, то есть решены в содружестве архитектуры и природы, чтобы помочь их обитателям быстрее и лучше приспособиться к окружающей среде, и т. д. Но уже понятно было тогда, что ни Анадырь-2, ни новый Уэлен, ни Усть-Нера, ни другие поселки в том виде, как представил их Дальстройпроект, строиться не будут, и Платонов говорил с горечью:

«Архитекторов используют, чтобы только привязать к месту типовые проекты. А специфически северный город или поселок со своим индивидуальным обликом никому не нужен. Вот попробую еще с одним проектом... Если опять взамен наставят бараков — уеду из Магадана. Надоело работать вхолостую! Уехал... К сожалению, не пристрастен я, рассказывая о заключениях всех этих проектов, и Магаданская область не одинока в своей строительной практике. Вот еще свидетельство из Якутии — статья В. Бровкина в «Правде» за 10 апреля 81-го года «Будет ли красивым Нерюнгри?»: «Строится город. Нерюнгринцы с гордостью говорят: «Он будет самым красивым на Севере». Видимо, так должно и быть. Где же, как не в этом живописном месте, не обремененном старой застройкой, развернуться ландшафтникам, архитекторам, строителям? Но вот разрастаются кварталы, а своеобразные, незабываемые черты в лице города пока не появились. Поднимаются в основном двухэтажные дома из бруса, деревянных панелей...» (рубрика «Восточным районам — комплексное развитие»). И тут вот еще какой возникает глубоко личный, обращенный к себе, застарелый вопрос: не сотрясаем ли мы воздух этой своей писаниной?!

Да, так что если после всех этих экскурсов вернуться к нашему Билибино, то можно понять, что судить о нем как о поселке однозначно невозможно. Слишком много для этого различных критериев, и существуют они одновременно даже во мне, пишущем эти строки. Если вспомнить, например, начало прииска и «ситцевый городок», существовавший здесь в середине 50-х годов, то теперешний Билибино — город, о котором тогда можно было только мечтать. Благоустроенные теплые квартиры с улучшенной планировкой, ванные, горячая вода — а было время, когда и холодная подавалась по расписанию, два раза в сутки, — телевидение, плавательный бассейн... Если же посмотреть с точки зрения помянутых мной магаданских специалистов, то Билибино и сейчас далеко не идеал. Мало быть городом на Севере, утверждают они, надо быть городом для Севера. А тот же плавательный бассейн следовало построить двадцатью годами раньше, именно тогда, когда тут был небольшой поселочек на тысячу человек... Если же сравнивать с другими, ныне существующими поселками на Чукотке, то Билибино опять выйдет один из самых лучших, самых современных. Подобную относительность можно проследить до бесконечности. Несколько месяцев спустя, когда я уже вернулся в Москву, сидел дома и писал

этот очерк, как раз вот эту главу, гостил у меня мой старый знакомый, научанский эскимос Яша Тагье. Был в отпуске в Адлере и возвращался к себе в Уэлен. Обсуждали мы с ним различные северные проблемы, в том числе и эти, жилищные, и вспомнили вдруг свои походы из Уэлена в Наукан. Стояли когда-то на том пути, километрах в восемь — десяти друг от друга, три обогревателя, крохотные хижинки, сложенные на эскимосский манер: камень, переложенный дерном. Ни выпрямиться, ни лечь, вытянувшись во весь рост, усталому путнику в них нельзя было — только посидеть на узенькой скамеечке.

— И вот бредешь пару часов по сопкам, — говорил я. — Ветер с дождем и туманом, а то и со снегом мокрым... Дотопаешь до такого обогревателя, внутрь зайдешь, дверь за собой прикроешь. А там печечка железная, ящик с углем, лучина для растопки...

Темные Яшины глаза загорелись огнем понимания.

— И ничего больше не надо! — воскликнул он.

6

Всякий раз, приступая к очередному «деловому» очерку, я верю, что мне удастся наконец соединить в нем то, что до сих пор соединить не удавалось. И что это, в общем-то, не так уж сложно. Ведь человек, думаю я, хотя бы и писатель, путешествующий с заданной целью, все-таки не ЭВМ, не машина, без устали собирающая и обрабатывающая информацию. И однажды ночью, пусть в номере той же билибинской гостиницы, ему может привидеться его недавняя жизнь, те, кого он в ней оставил, то, что недоделал, о чем недоговорил... А поутру, сквозь сон, сначала на слух: звук льющейся воды за стеной, жужжание электробритв, хлопанье дверей, топанье ног по коридору — это дисциплинированные командированные торопятся позавтракать в кафе на первом этаже и — на работу. Потом зрительно: казенный номер, который не делается уютнее от дежурного коврика на стене, сумеречный заполярный свет сквозь заледенелое окно, унты, втиснутые с вечера в узкое пространство между подоконником и батареей, телефон на столе и блокнот рядом с ним, раскрытый на странице с расписанием на сегодня. И телефон скоро зазвонит... Но так не хочется никуда ехать, ни с кем говорить, задавать «умные» вопросы, хочется продлить в себе вот ту, только что напомнившую о себе жизнь, побывать с ней наедине, а если видеться и говорить с кем-то, то с очень близким, кто бы

сидел тихо напротив, смотрел бы понимающим и сочувственным взором, — и опять же о ней, о той жизни. Но... — звонит телефон! И постепенно забываешься, разрабатываясь, входишь в привычный ритм, увлекаешься «сложностью проблемы», только вдруг среди дня неожиданно, в разгар деловой беседы будто проваливаешься вновь в то предутреннее состояние, так что приходится переспрашивать: «Простите... Так каковы, вы сказали, дальнейшие перспективы?..» И обещаешь себе: «Ладно. Напишу потом. Не так, как раньше. По-новому напишу, соединю, как есть: и про «то», и про «это»...» Однако садишься писать и видашь, что «по-новому» опять не выходит: опять идет или «чистая» литература, или получается сплошной «очерк». Уж слишком разнятся здесь слова... Один современный французский философ утверждает, что когда-то, на заре своего существования, язык был «вполне определенным знаком вещей, так как походил на них. Имена были связанны с теми вещами, которые они обозначали, как сила вписана в тело льва, власть — во взгляд орла, как влияние планет отмечено на лицо людей...» В дальнейшем же и тем более в наше время, продолжает философ, «глубокая сопричастность языка и мира оказывается разрушенной. Примат письма ставится под сомнение. Таким образом, исчезает этот однородный слой, в котором увиденное и прочитанное, видимое и высказываемое бесконечно перекрецивались между собой. Вещи и слова отныне разделены. Глазу предназначено видеть, и только видеть, уху — только слышать. Задачей речи становится высказывание того, что есть, но она уже не является ничем сверх того, что она говорит». Язык делается «невидимым или почти невидимым». Это замечательно верное, по-моему, и глубокое суждение о трансформации языка во времени я использовал бы для сравнения наших жанров. Язык так называемой «художественной литературы» действительно стал как бы прозрачен, невесом. И писатели — я имею в виду тех, кто пытается высказать свое отношение к миру посредством не одного только сюжета, — это почувствовали. Уже Бунин спрашивал: «А зачем выдумывать? Зачем героями и герой? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным...» А теперь я знаю сразу нескольких писателей, которые почти одновременно, не сговариваясь и не заимствуя друг у друга, поставили эти бунинские слова эпиграфом к своим романам. Хотя, к сожалению, романы их не сделались от этого менее «книжными»... Но я хочу сказать, что очерк — это

тот дарованный нам жанр, в котором слова еще сохраняют, могут сохранять свою изначальную вещественность, плотность. Оттого и не соединяются в одно органическое целое жанры, слова «прозрачные» остаются поверх слов «видимых», не смешиваясь с ними, как дождевая вода, налившаяся в бочку с солидолом. Может быть, еще хочу сказать я, потому и оставляешь недописанными свои романы и повести с их «завязками и развязками» и вновь возвращаешься к очерку? Это тоска по конкретному, зрячому слову, это потребность того, чтобы, например, слово «город» обозначало не нечто абстрактное, но реальный город Магадан, чтобы слова «шестидесятиградусный мороз» — вне зависимости от удачности сопутствующего образа и даже вопреки всякой образности — воспринимались читателем не как слова, но как факт, чтобы за словом «Дед» стоял непридуманный, действительно существующий, живой Дед со своей бородицей, со скрюченными пальцами, втянутыми в рукава пальто. Это желание, как выразился тот же философ, «вновь обратить слова к тому, что говорится сквозь них и вопреки им». А посему оставим опять «на потом» мечту о новом, синтезированном жанре и сосредоточимся исключительно на словах значимых. К примеру: о чем писалось в эти дни в местных газетах?

Областная «Магаданская правда» за 8 января 1984 года, статья кандидата географических наук В. Купецкого «Азональные ландшафты»: «...утеплять климат Арктики и Северо-Востока страны не следует. Достаточно напомнить, что в отдельные излишне теплые летние сезоны, когда температура воздуха в тундре повышается до плюс 30 градусов, происходит настояще стихийное бедствие: тает мерзлота, «плывут» дороги, разрушаются строения, горят мхи, кустарники и леса, из-за дыма не летают самолеты, иссыхают водотоки, чудовищно размножаются комары и разные кровососущие, которые наносят неисчислимый урон оленям стадам. Такое происходило на севере Магаданской области в 1964 и 1977 годах...» А в 1972-м? Тоже жара стояла за тридцать, тоже все горело... И автор наверняка из них, из «мечтателей». Тут бараки никак не снесут, а он тревожится: нет, «не следует» утеплять климат Арктики... Окружная «Советская Чукотка» за 1 февраля 1984 года. Итоги выполнения государственного плана экономического и социального развития округа в 1983 году... 8 февраля. Социалистические обязательства трудящихся Чукотского автономного округа на 1984 год... 17 февраля. «50 новых творческих работ на сумму 18 тысяч рублей

представили мастера Уэленской косторезной мастерской «Северные сувениры». Среди граверов интересно работают лауреат премии Ленинского комсомола Татьяна Печетегина (ее новые работы — «Первые учителя Чукотки», «Удача с Иттиром»), Лидия Теютина, Галина Иргутегина, Зоя Гемауге...» — это уэленцы, это все знакомые, больше чем знакомые — со мной, а Таня Печетегина училась у меня в седьмом классе... Районная «Золотая Чукотка», 28 января 1984 года, из обзора прокурора Билибинского района В. Гарагули «Искушение и... преступление»: «В декабре 1983 года бывший директор совхоза «Турваургин» О. А. Пантин организовал охоту на снежных баранов с привлечением вертолета. Каждому известно, что снежный баран занесен в Красную книгу и, следовательно, охота на него запрещена. Но браконьеры все-таки отстреляли 4 животных, причинив ущерб на сумму 1600 рублей. Мясо баранов было съедено. Вот так просто несколько любителей поживиться за счет государства потешились и развлеклись...». «Летчики — это патентованные браконьеры!» — вспоминаю я резкое суждение Деда... Если центральную газету сравнить с телескопом или подзорной трубой, то местная газета — это микроскоп, лупа. Когда приезжаешь в хорошо знакомое место, подшивка «районки» незаменима: разом вводит в текущую действительность, выдает разнообразнейшую информацию, освобождает от ненужных расспросов. Скажем, «Отчитывается директор». «На основании Закона о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями...» — сообщала «Золотая Чукотка», — в начале 1984 года на собрании представителей всех подразделений предприятия был заслушан отчет директора атомной станции Г. Е. Солдатова. «Наш коллектив, — сказал Герман Ефимович, — год своего десятилетия закончил успешно. Так, государственный план по выработке электроэнергии выполнен на 101,3 процента, производительность труда превысила плановую... В декабре прошлого года, накануне Дня энергетика, Билибинской атомной было присвоено звание коллектива коммунистического труда...» «Так, — говорю я себе. — Значит, Герман Солдатов уже директор». БАЭС, безусловно, в моих планах. Я и попал-то впервые в Билибино, летом 69-го, из-за «атомки».

Я тогда два года как расстался с Чукоткой, сидел в Москве, в тонком, весьма узковедомственном журнальчике, тосковал по Уэлену и начал даже писать о нем рассказы. И вдруг прочел в газете про атомную станцию в Билибино,

«первую в Заполярье». Впечатление, помнится, было такое, что все там уже готово, осталось «нажать кнопку». Меня как осенило. Я тут же пошел к главному и убедил его, что нам тоже необходимо дать материал об этой «важнейшей стройке пятилетки», упомянув, разумеется, что там предусмотрено по нашему ведомству. В маршрут командировки Москва — Магадан — Билибино вписал я и Уэлен. «Где это — Уэлен?» — спросил главный. «Так... Пригород Магадана», — сказал я... В Билибино стояло дождливое, похожее на позднюю осень лето. Улицы не были тогда забетонированы, озера грязи тяжело волновались под колесами проезжающих машин. Ходить лучше всего было по деревянным коробам теплотрассы, рассекающим поселок во всех направлениях. Место стройки тоже выглядело уныло. Сразу становилось ясно, что до «кнопки» еще очень далеко: пологий склон сопки зиял несколькими котлованами, там и сям разбросаны были знакомые «временные строения» — вот, пожалуй, и все. Меня познакомили с молодым инженером из управления строительства. Фамилии его у меня не сохранилось, — кажется, это был начальник ПТО, — запомнилось только, что был он худенький, невысокого росточка и весь какой-то дерганый, нервный. Услышав, что я из журнала, он не захотел и разговаривать. Я объяснил, что журнал представляю технический, восторженных репортажей не пишу, по интересующему нас вопросу здесь пока ничего нет и, наверное, долго не будет, но раз уж я приехал, мне самому интересно... и т. д. Тогда он повел меня по сопке, объяснил, что будет на месте ям, показал, где встанет главный корпус, и рассказал, как получилось, что строительство разворачивается так медленно. С его слов я понял, что в проектировании «атомки» соперничали несколько проектных организаций. Победил «Уралтэп», его проект оказался самый дешевый — около 67 миллионов рублей. Но это только на чисто промышленное строительство, а с различными временными сооружениями, с жильем выходило 72 миллиона. Северовосточный совнархоз обещал эти пять миллионов взять на себя и обеспечить стройку временными сооружениями. Итак, в октябре 66-го была утверждена смета в 67 миллионов. А затем совнархоз ликвидировали, и взятки с него гладки.

— Финансирование идет тяжело. На жилье денег вообще не дают, поскольку в смете-то не предусмотрено! Сейчас вот подходит, что главный корпус возводить надо, а жить рабочим негде. Самим теперь приходится строить временные сооружения, создавать стройбазу, которая, если

по уму, должна быть создана заранее. Оттого и медленно! —sarкастически заключил мой провожатый. И спросил: — Вот вы ехали из поселка на стройку. Тут семь километров. Как думаете, сколько времени делали дорогу?

— Ну... месяца два-три? — предположил я.

— Два года!..

Во второй раз я приехал в Билибино летом 72-го, было сухо, жарко, даже чересчур, лишь белыми ночами становилось попрохладнее. В квартире, где меня поселили, я с утра наполнял ванну ледяной, из артезианских скважин, водой — горячей не было, — отправлялся на стройку или на присиск, и, когда к вечеру возвращался, вода приобретала уже довольно сносную температуру и можно было смыть дневную пыль. И стройка смотрелась веселее, сталаходить на настоящую стройку, как мы ее себе обычно представляем: движение машин, вспышки электросварки, мелькание людей, шум. А главное, уже стоял основной корпус «атомки», домина длиной метров в сто, высотой — около тридцати. И все тутказалось необычным — стены, например, были не бетонные, не кирпичные, но из тонких алюминиевых панелей. Я поднимался на крышу — она была плоская, ровная, как билльярдный стол. «Крыша не простая, — объяснили мне, — «слоеная». Слой рубероида на битуме, потом стяжка цементная — для выравнивания, опять рубероид — для пароизоляции, пенополистирол — для теплоизоляции, и поверху еще ковер из рубероида в несколько слоев — для гидроизоляции». Настилали этот ковер ребята из Обнинского физико-энергетического института, работали до пояса голые, загорелые, черные от чукотского солнца... Видел я «атомку» и в 76-м, когда уже действовали три ее реактора, три блока, на станции в те дни готовились к загрузке последнего, четвертого, реактора. Знакомился я теперь не со строителями, а с физиками, среди них и с Солдатовым, он был тогда начальником цеха ТАИ — тепловой автоматики и измерения. Моих познаний в физике в объеме десятилетки кой-как еще хватило, чтобы понять приблизительно устройство реактора, назначение рабочих каналов и каналов СУЗ — стержней управления и защиты — и как энергия распадающегося урана в конце концов преобразуется в электрическую. И о реакторно-турбинном цехе, о реакторном зале, «сердце атомки», я в основном и писал. Герман Ефимович тоже очень подробно рассказывал о своем цехе, и мне даже казалось, что я опять понимаю — «система внутриреакторного контро-

ля», «система контроля энерговыделения» и т. д., — однако, когда стал впоследствии разбираться в своих записях, оказалось, что ничего не понимаю. Так что о цехе ТАИ пришлось умолчать. Хотя мог бы додуматься, как теперь вижу, до такой, например, фразы: «Если реактор — «сердце атомки», то цех ТАИ — ее «мозг». Впрочем, все это издержки увлечения технической стороной дела, чего очеркисту вовсе не надобно...

Я созвонился с Солдатовым и поехал на станцию. Глядя на счетверенную нитку теплотрассы, тянущуюся вдоль дороги, я вспомнил, как Владимир Кузьмич Абалакин — тогда, в 76-м, зам главного инженера БАЭС — рисовал мне ее схему: три замкнутых, изолированных друг от друга контура, сцепляющиеся наподобие колец. Вот так, для пущей безопасности не напрямую, подается горячая вода из бойлеров «атомки» в поселок. Какова первая, бросающаяся в глаза достопримечательность поселка на Севере, непременная, так сказать, деталь его пейзажа? Одна, две, а то и с десяток чадящих труб. «ДЭСка» молотит, извергаются из труб и вытягиваются по ветру, как длинные средневековые флаги, шлейфы дыма. Снег черный. Билибино встал в котловине, и было, разумеется, не до «розы ветров» — висело постоянно над поселком облако смога. Теперь, с вводом теплотрассы, в Билибино — ни одной котельной. Тихо, чисто... В одном месте вправо от теплотрассы отходило ответвление, пересекало долину, вело к видневшемуся на склоне сопки среди деревьев одинокому строению. «Профилакторий будет. Для энергетиков», — сказал шофер. Слева от дороги, недалеко от БАЭС, стынившая незаконченная бетонная коробка. «Тепличный комплекс будет», — снова комментировал шофер. Вот уж действительно — «будет». Слово это, пожалуй, чаще всего и слышишь. Еще в 72-м году, в 9-й пятилетке, мне говорили: «Парник планируем. Огурцы, помидоры, лук... Птичник на 1600 кур-несушек. Коровник на 100 голов...» И добросовестно я записывал и столь же добросовестно тогда же, в 72-м, передавал читателю: «Запроектированы парники, которые будут обогреваться теплом «атомки», и птицеферма, и коровник. Появится у билибинцев свое подсобное хозяйство...» Спустя еще четыре года окружная «Советская Чукотка», сообщая про обращение, принятое коллективом Билибинского горно-обогатительного комбината ко всем трудящимся области «с призывом ознаменовать стартовый год десятой пятилетки ударным трудом», писала: «Так, запланировано... построить тепличный комплекс с общей

производственной площадью в 20 гектаров». В мае 78-го года мелькнула и в «Правде» коротенькая заметочка — «Огород в тундре». «В Чукотской тундре вблизи поселка Билибино начались подготовительные работы для постройки тепличного комбината площадью три гектара. Ежегодно он будет поставлять к столу горняков, оленеводов, охотников и геологов 1200 тонн огурцов, помидоров, редиса, лука. Свет и тепло теплицам даст Билибинская атомная электростанция». Для района с населением в 25 тысяч человек 1200 тонн — это в северных условиях немало. Это почти пятьдесят килограммов свежих овощей на душу. Только опять — «будет». Но когда?! В десятой пятилетке «огород в тундре» осилить тоже не удалось. Мало того — прошло три года одиннадцатой. Овощи к столу северян поставляет до сих пор материк и сами северяне, из своих личных подсобных хозяйств. Помидоры на рынке — семь рублей «кэ-гэ»... Теперь обещают вроде бы точно: в этом, то есть в 84-м, теплицы сдадут. Но я, наученный предыдущим опытом, уже не рискую со своей стороны заверять в этом читателя. Так и напишу: обещают... О «причинах» тоже могу сказать, как мне тут объяснили. Ничего нового в этих причинах нет, — как обычно, ведомственность, несогласованность, «невыделение средств». Дело в том, что тепличный комплекс решено было строить как бы на паях — Билибинской атомной электростанцией и горно-обогатительным комбинатом. Общая его стоимость — 26 миллионов рублей, итого по 13 миллионов на брата. БАЭС свои средства вкладывает с регулярностью, а БГОК — тот самый, что принял обращение, — как в простоте говорят здесь, «не телится». Вот и весь «бином Ньютона». И хотя эта причина еще не объяснение, но и она не на виду, она ведь, к примеру, массово-му читателю той же газеты «Правда» неизвестна. А на виду — три пятилетки обещаний. Так не лучше ли извлечь из этого урок, и не педагогичнее ли, обещая в другой раз, говорить, допустим, так: «Да, будет. Но — не скоро...» Так я размышлял в эти короткие минуты дороги, а когда завиделись впереди знакомые бетонные буквы «БАЭС», вдруг сказал себе: «Чего пристал к людям?! Не будь у них этой замечательной черты: заглянуть далеко вперед, а заглянув, помыслить увиденное там как сбывшееся или почти сбывшееся, — да, не будь у них этого оптимистического свойства, разве побывал бы ты в Билибино в 69-м? Застал бы начало стройки? Может, и побывал бы, только лет пять спустя, когда действительно «нажали кнопку». И сколько бы не узнал, не увидел...»

Незадолго до моего приезда, с месяц назад, станция отметила свое десятилетие. Срок этот считается от 12 января 1974 года, когда был осуществлен энергетический пуск 1-го блока. Как старому знакомому, Солдатов презентовал мне отлитую к этой дате тяжелую памятную медаль и красочный проспект, выпущенный АтомэнергоЭкспортом. На обложке — вид на «атомку» среди чукотского редколесья. Фиолетовое небо, синий снег, зеркальный блеск алюминиевого фасада, ямки заячьих следов на переднем плане... Герман Ефимович стал называть цифры.

— Две трети завозимого на Чукотку топлива идет на теплоснабжение, треть — на выработку электроэнергии. Если бы не АЭС, в Билибинский район за эти десять лет пришлось бы завезти дополнительно свыше одного с половиной миллиона тонн угля. Подсчитать одну только стоимость этого завоза — получится, что «атомка» себя практически оправдала. Себестоимость нашего киловатт-часа процентов на двадцать ниже, чем на ТЭЦ, работающей на органическом топливе. Работают на станции около шестисот человек. Миграция фактически отсутствует, текучесть кадров сведена до минимума: процентов два с половиной в год. Дело в условиях — труда, быта. При создании таких объектов, как наш, условия резко улучшаются. Север, как выражаются, становится «ближе». Меньше чувствуется экстремальность. Будущее в освоении края, я считаю, за такими очагами, как БАЭС...

Эту мысль директора я очень хорошо понимал. Мы сидели в огромном, по всем современным требованиям обставленном кабинете. За окнами во всю стену разворачивался тот же пейзаж, что на обложке проспекта. Так же голубел снег, в отдалении над сопкой кружил нарядный красный вертолет. Там, снаружи, было минус сорок, а в кабинете батареи источали мощное тепло, напоминая о близком соседстве реакторов. На стене висел портрет академика Курчатова с тремя Звездами Героя, на столе стоял телефон прямой связи с Москвой. Экстремальность действительно не ощущалась. Так что мысль о подобных очагах, «оазисах», была даже не то чтобы хорошо понятна, но получала, так сказать, наглядное подтверждение. Однако «оазис» он и остается «оазисом». Что же касается территории в целом... В докладе первого секретаря обкома Н. И. Малькова на пленуме областного комитета партии в марте 82-го года, посвященном комплексному развитию производительных сил области, говорилось: «Энерговооруженность народного хозяйства низка. Энергосистема области не имеет доста-

точного резерва мощности». А выступавший в прениях по докладу бригадир с прииска имени Билибина, Герой Социалистического Труда В. В. Затуливетров так, в частности, охарактеризовал ситуацию в Билибинском районе: «У нас в районе работает атомная электростанция. Сейчас решается вопрос о ее расширении. Используют же ее энергию лишь три прииска, а на остальных трех, в четырех совхозах и поныне работают маломощные дизельные электростанции. Билибинский комбинат из-за этого теряет ежегодно около десяти миллионов рублей и расходует почти тридцать тысяч тонн нефтепродуктов. Видимо, пора уже спросить с кого следует, почему до сих пор не построены линии электропередачи от атомной станции ко всем предприятиям и поселкам района. По этому поводу принимались постановления на различных уровнях, но практических дел мы пока не видим». За прошедшие со времени пленума два года положение в районе, конечно, не изменилось. Построить разветвленную сеть ЛЭП в условиях Чукотки оказалось сложнее, чем «первенца атомной энергетики». Сейчас БАЭС закольцована с соседними электростанциями: в Якутии и в Певеке. Но эти линии существовали еще до «атомки», когда электростанция в Билибино была дизельная. Есть ЛЭП и в самом районе — к поселкам и приискам, что поближе. Отдаленные, вроде Анюйска, Мандриково, Дальнего, Стадухино, — по-прежнему на своих дизелях. Технико-экономические обоснования на строительство этих линий имелись, но где-то, где вопрос решается окончательно, посчитали — нецелесообразно. Считали, как объяснили мне сведущие люди, так: «Запасов там на два, на три, на четыре года, поэтому стоит ли тянуть ЛЭП?..» Трудно теперь судить: для сегодняшнего дня это, может быть, и резонно, но ведь и прииски не вчера образовались. Например, самому молодому, Дальнему, уже десять лет. Как и «атомке». Причем обоснование линии электропередачи «Зеленый Мыс — Дальний» было подготовлено институтом Дальстройпроект по заказу Северовостокзолота еще в 76-м году, когда, можно сказать, был расцвет Дальнего, когда вопрос о «двуух-трех годах» не стоял. Сколько топлива перевезли туда за эти годы — круглогодичной дороги тоже нет, только 'по зимнику', — вообразить невозможно!.. А если взять поселки оленеводов, никакого отношения к «запасам» не имеющие, скажем, такой далекий поселок, как Омолон, — ему, исходя из этого, рассчитывать на тепло и свет «атомки» вообще не приходится. Поэтому сейчас, когда заходит речь об эффективности БАЭС, не-

редко слышишь от билибинцев: «Отапливает сама себя...» И, судя по настойчивости, с которой Герман Ефимович сосредоточивался на достоинствах станции, он эту ситуацию, разумеется, не хуже моего знал, и, как руководителя производства — производства,ющего дать больше, чем дает теперь,— она его, чувствовалось, задевала. Мельком проскользнуло: «Некоторые мыслят по стариинке: существовали эти прииски на дизелях — и просуществуют...» Посему я не стал лишний раз «сыпать соль», спросил о перспективах. В перспективе намечалось, как я уж говорил, сооружение 2-й очереди БАЭС, увеличение ее мощности втрое.

— Вторая очередь — в перечне важнейших строек Госплана на восемьдесят третий — восемьдесят пятый годы. Министерству энергетики и электрификации поручено в восемьдесят втором — восемьдесят третьем годах обеспечить разработку проекта на расширение БАЭС. Материалы, обосновывающие целесообразность расширения, утверждены. Однако необходимой проектной документации до сих пор нет. Не готовится и надлежащая база для строительства по причине недостатка денег. Например, на жилье вместо восьми-девяти миллионов рублей в год Минэнерго выделяет нам вдвое меньше. Так что в сроки, указанные в постановлении, мы опять не укладываемся, — сказал Солдатов.

Я думал: если «атомка» и сейчас не использует полностью своих возможностей, то какой смысл ее расширять? Создать тот «резерв мощности», о котором говорилось в докладе Н. И. Малькова? Но в итоге опять все упрется в строительство ЛЭП. Перспектива тут, правда, намечалась. В программе комплексного развития производительных сил Магаданской области предусматривалось протянуть одну линию электропередачи от БАЭС к Полярному в Шмидтовском районе и другую — от Полярного к Эгвекинотской ГРЭС. На этой ГРЭС я был летом 78-го года. Станция для Чукотки старая, первый ток дала более тридцати лет назад. Обжилась за это время основательно: благоустроенный поселок, подсобное хозяйство на широкую ногу, с птичником, коровником, теплицами, плавательный бассейн. Даже подземный переход между поселком и станцией. Тоже, как и БАЭС, — «оазис». (Я бы сказал, что такие предприятия создают для себя свою замкнутую «микросоциоАнфраструктуру».) И тоже главный инженер жаловался на близорукость Северовостокзолота, на отсутствие разветвленной сети ЛЭП, на то, что работать прихо-

дится «с половиной нагрузкой». Теперь предполагалось, что эти два «оазиса», принадлежащие одному ведомству, закольцаются. От Билибино до Полярного по прямой примерно пятьсот километров, и от Полярного до Озерного, где ЭРЭС, более трехсот. Итого, свыше восьмисот километров по сопкам и тундре. Так что реальные сроки, когда это произойдет, назвать трудно. Кроме того, опять останутся при своих дизелях многочисленные, разбросанные по тайге и тундре и далеко не столь благоустроенные «оазисы» прочих ведомств. Линий электропередач к ним не предусмотрено. На пленуме обкома КПСС, о котором я упоминал чуть выше, управляющий «Магаданэнерго» С. В. Семенов приводил такие данные: «Действует свыше 1200 мелких дизельных электростанций, принадлежащих различным министерствам и ведомствам, на которые приходится 30 процентов всей установленной электрической мощности... На это ежегодно расходуется более 250 тысяч тонн привозного жидкого топлива... В то же время капитальные вложения на строительство ЛЭП с каждым годом уменьшаются...» Не намечается пока в Магаданской области и сооружение новых атомных электростанций, призванных, как сказал Герман Ефимович, сыграть ведущую роль в освоении Севера. Так что Билибинская АЭС в обозримом будущем останется не только «первой», но и единственной «атомкой» на Чукотке...

С начальником отдела охраны труда Геннадием Владимировичем Соковым прошли мы по станции. Так же как и Солдатов, давно в Билибино — с 72-го года. Я расспрашивал его о старых знакомых и с огорчением узнал, что Абалакин погиб. Несчастный случай. Дежурил, понадобилось ему для чего-то на крышу, и вот с этой плоской крыши, по которой мы с ним когда-то ходили, упал. Георгий Букин три года как уехал. В реакторном зале встретил я Николая Ботина, чья бригада в 71-м году закрывала главный корпус алюминиевыми панелями. Тоже уезжал, но вернулся, опять работает монтажником... В реакторном зале все выглядело без особых перемен — по крайней мере, для непосвященного взора. Так же тихи и загадочны были круглые, закрытые люками колодцы с реакторами, так же висели вдоль стены рабочие каналы и СУЗ, действительно похожие на стержни для гигантской шариковой ручки. Струился свет сквозь сдвоенный ряд узких окон. «Вообще-то, если по уму, реакторный зал не должен иметь окон, — заметил Соков. — Мало ли, аварийная ситуация. Должно быть герметизировано... А так — наиболее «чистая» стан-

ция. Тыфу, тыфу, тыфу!..» Реакторы были «перегружены». В данной терминологии это означает лишь то, что рабочие каналы были заменены новыми, а отработанные помещены в бассейн выдержки. «Бассейн мы реконструировали, — сказал Геннадий Владимирович. — Вместо восьмисот каналов можем теперь хранить более двух тысяч». Да, насколько я понял, сейчас на станции кроме эксплуатации занимались еще и реконструкцией, доводили ее до этого самого «ума». Ведь для Уралтэп Билибинская «атомка» была первой, все предусмотреть оказалось невозможно. Например, в машинном зале, куда мы потом перешли, даже в эти морозные дни держалась невозможная жара, а летом поднималась до сорока градусов и выше. В воздухе стоял густой запах разогретого машинного масла. Старший инженер-механик реакторно-турбинного цеха Василий Николаевич Лошаков пояснил, что работать в таких условиях людям тяжело. Отсутствие вентиляции — недостаток проекта. Сейчас в цехе ломают голову, как устроить принудительную вентиляцию, однако это не так просто, возникают тут всякие осложнения... «Еще не хватает ремонтных площадей, — добавил Соков. — Оборудование вынуждены увозить на ремонт. Малы стали лаборатории, санпропускники. Ведь в проекте численность работников станции планировалась всего в сто восемьдесят человек. А теперь только в «грязной» зоне занято четыреста. В плане реконструкции намечаем увеличивать площади...» Появилась на «атомке» и своя служба ЭВМ. Пока — «мини». Колдовал тут Михаил Александрович Марищев, инженер-программист. «Сейчас ребята на БЩУ дежурят: ни рук, ни глаз не хватает, — сказал он. — Нужна такая машина, чтобы вся необходимая информация выводилась на нее. Для концентрации внимания. Но это — в отдаленной перспективе. Это надо с ИНЭУМ связываться, с институтом электронно-управляющих машин. А пока расчеты делаем — для лабораторий, для научно-исследовательского отдела...» Я еще походил по станции, заглянул, разумеется, и на БЩУ — блочный щит управления, где «ребятам ни рук, ни глаз не хватает». Подобные фотографии с «атомок» со множеством приборов, перед которыми сидят люди в белых одеждах, читатель, должно быть, не раз уже видел. Один из «ребят», «дэн», то есть дежурный электроприборист Василий Дмитриевич Ситый, увидав в руках у меня блокнот, понятливо воскликнул: «Так, самый интересный случай, да? Ну, вот... Бежали мы как-то на Зеленый Мыс. Обратно — автобусом. В Погынде остановились, отдохнули, поехали дальше.

Приезжаем: вместо Билибино — снова Зеленый Мыс! Шофер перепутал. Еще, значит, триста километров пилить... Вот, пожалуй, самый удивительный случай!.. А вообще — он кивнул на щит, — нам бы КИПы поновей. Многие приборы сняты с производства, а мы их еще монтируем...» Конечно же, думал я, какая-то перемена за эти годы на станции произошла. Помимо технических нововведений. Я имел в виду отношение к самой «атомке». Меньше, я бы сказал, стало первоначальной «торжественности», больше простоты, будничности. Как это, кажется, физик Гусев, герой фильма «Девять дней одного года», говорил про свою установку: «Пойдем посмотрим мою кастрюлю?» Вот в этом смысле. И даже билибинцы, не имеющие прямого отношения к «атомке», привыкли, что она стоит и работает у них под боком, как привыкает домохозяйка, ну, скажем, не к «кастрюле», а к шипящей у нее на кухне сковородке.

7

Из газеты «Золотая Чукотка» 14 января 1984 года. «Заботы северного села. День открытого письма в Омолоне»: «Многих омолонцев интересовали перспективы строительства жилья, водонапорной башни, Дома быта, больницы. Проблем действительно много. На сегодня ряд семей коренной национальности не имеют благоустроенного жилья. В четырех жилых домах, введенных в эксплуатацию, нет канализации. В 1984 году начнется строительство водонапорной башни. Будет сделан ремонт Дома быта, составлена уже смета на 3,5 тысячи рублей. Дело только за стройматериалами...» 26 января 1984 года. Из доклада первого секретаря Билибинского райкома партии Т. М. Малиновской на 2-м пленуме Билибинского райкома КПСС: «Серьезной критики заслуживает работа хозяйственных руководителей совхозов «Омолон» и «Турваургин», которые безответственно отнеслись к обеспечению выполнения планов 1983 года по продаже мяса государству». 4 февраля. Погода: «4—5 февраля в районе ожидается малооблачная погода, в поселках морозная дымка. Температура 45—50 градусов мороза, в Омолоне, Кэпервееме, Илирнее, Островном — до 53 градусов». 9 февраля. Сердитое письмо — «Палатка, рюкзак и книга»: «О снабжении оленеводческих бригад пишется и говорится немало. Но мы, тундровики, что-то не видим заметных перемен к лучшему.

Возьмем, к примеру, палатки. Нам выдают их на два года, а выбрасывать приходится уже через год, а то и раньше, потому что палатки промокают, продеваются всеми ветрами и быстро приходят в негодность... Нет у нас и удобных для тундровой жизни осветительных приборов. Мы по-прежнему пользуемся свечками, и то они не всегда подходящие — бывают короткие толстые, которые и горят плохо, и светят слабо. И еще об одном. Как нам рассказывают старики, с первых дней Советской власти на Чукотке тундровиков особенно внимательно, хорошо обеспечивали литературой, как периодической, так и художественной. А вот в последние годы книжной торговли в тундре не стало... Г. Ходяло, паствуя бригады № 7 совхоза «Омолон». 11 февраля. Из статьи бригадира оленеводов совхоза «Омолон» Д. Ходяло «Уhabы на оленьих маршрутах»: «Прощедший год был для нашей бригады напряженным, так как мы в числе инициаторов районного социалистического соревнования за успешное проведение летовки брали повышенные обязательства: сохранить взрослое поголовье оленей на 98,5 процента и получить по 85 телят от каждого стаянварских оленематок. Как же мы достигли успехов? Прежде всего, отел прошел хорошо, с минимальными потерями телят, так что к концу мая их деловой выход составлял 92,3 процента. И летом мы старались не потерять ни одного оленя. При вспышке некробактериоза всех заболевших оленей спасали лечением. Иногда по два раза в день во время жары опрыскивали стадо, чтобы олени спокойно кормились и отдыхали. Мы не топтались долго на одном месте, а часто меняли пастища, перекочевывали, не возвращая стадо на выбитые кормовища, а стараясь все время идти по свежему маршруту... Может сложиться впечатление, что у нас все идет легко и просто, успехи даются без особых трудностей и усилий, а жизнь и работа оленевода в тундре обходится без каких-либо проблем. Но это не так...»

Первоначальный мой план был — лететь на Дальний, а на обратном пути, возвращаясь из Билибино в Магадан, остановиться в Омолоне. А пока что я отмечал себе в газетах: что там, у омолонцев? Однако выяснилось, что вскоре в Билибино должен был состояться традиционный районный слет оленеводов, и выходило по моему расписанию, что я окажусь в Омолоне как раз в те дни, когда оленеводы собираются здесь, в райцентре. Мне же натурально хотелось застать их у себя, в тундре. «К'элюкъым мин'кыри», как говорят чукчи, что ж делать — пришлось повременить

с Дальним. Глазырин, напутствуя, просил передать привет омолонскому старожилу Саяпину, разыскал в своем архиве и вручил мне давний номер «районки» с собственной статьей «Летопись совхоза «Омолон» и прибавил со значением: «Да поинтересуйтесь у них при случае, кто им воду нашел!» Кто нашел? Водоснабжение поселков — дело гидрогеологии. Так что вы и нашли, Григорий Сергеевич... Самолет на Омолон уходил вечером. Летели в полной темноте, и не видно было внизу знакомых гор. Лишь иногда, раз или два за всю дорогу, промелькивал там, на земле, огонек, такой одинокий, пойманный тьмою, будто отражение одной единственной звезды, попавшее в глубокий мрачный колодец. И всякий раз в таких случаях представлялось вокруг все это дикое пространство, и приходила одна и та же, но всегда заново действующая на воображение мысль: «Ведь там никого — на сотни верст! Чем жив этот огонек? Кто и почему собрался возле него?..» В местах, куда я направлялся, я еще практически не бывал. Только пролетом. Но знал, что для западной Чукотки это самая глухомань. А если учесть, что даже наиболее удаленная северо-восточная оконечность и то доступнее, известнее, то можно было считать, что самая глухомань для всей Чукотки. Несколько лет назад в сборнике «Экономические и исторические исследования на Северо-Востоке СССР», вышедшем в Магадане к 250-летию Академии наук СССР, я наткнулся на статью магаданского этнографа У. Г. Поповой «Рассохинская группа эвенов», в которой сообщалось, что «уже более 15 лет рассохинские оленеводы живут и работают по советским нормам жизни». А сборник был издан в 1976 году. Это крайне любопытная статья для всех, кто заинтересуется подробностями совсем еще недавнего «дуально-фратриального» существования рассохинцев, — рассказывается в ней о культурах семейно-родовых святынь и семейно-родовых предков, о духе огня-очага, о шаманах, о ритуальной разделке убитого медведя и т. п. Я же приведу лишь несколько выдержек. «В годы советского строительства, а особенно в период начального этапа кооперативно-колхозного переустройства хозяйства и быта эвенов, «наследники» дореволюционного старостата и таежные богатеи Хабаровы и Болдухиновы активно выступали против многих мероприятий Советской власти в Северо-Эвенском районе. Именно поэтому они постарались в 1932 году увести «своих людей» подальше в тайгу. С того времени в архивных документах «Хабаров род» и «Болдухины люди» больше не упоминались. Они «исчез-

ли»... Впоследствии общественность области узнала о «Хабаровом роде» и «Болдухиновых людях» только из этнографической литературы 50-х годов». Ушли эти люди с Охотского побережья как раз сюда, на среднюю Колыму, с ее притоками Омолон, Коркодон, Березовка. «Среди них выросла молодежь, которая до конца 50-х годов ничего не слышала о жизни за пределами тайги и своих стойбищ, не знала о родине своих отцов и дедов — Охотском побережье, не слышала слов «Совет», «школа», «колхоз» и др., ставших родными, привычными в быту большинства эвенов. Молодые люди тайги не имели понятия о грамоте, книге, радио, кино и т. д. Таежным эвенам шаманство прививало неприязнь ко всему чужому, даже к своему эвенскому народу за то, что он пошел по пути социализма, отказавшись от старой кочевой полуголодной и убогой жизни». Но, как пишет далее У. Г. Попова, «в борьбе с шаманским сопротивлением мероприятиям Советской власти культурные и советские работники постепенно одерживали победу, чему способствовала сама советская действительность, ворвавшаяся в жизнь кочевников». В конце 50-х годов появилась на Рассохе фактория, приехали эвены-комсомольцы, работники красной яранги. Возникла идея создать здесь свой Совет, начальную школу-интернат для детей. Тогда-то, в 1958 году, состоялся второй «исход» части рассохинских эвенов, так называемой «березовской группы». «Накануне выборов в Совет давнишний противник советских порядков П. Хабаровский-Намнадян увел березовскую группу в Якутию, в безлюдные места долины р. Березовки. Его люди не посмели ослушаться и покорно последовали за ним... Рассохинцы не пожелали оставить свои обжитые места. Позднее кульработники узнали, что Павел Намнадян, уходя в Якутию со своей группой, разгневался на стариков рассохинцев, обвинял их в отступничестве от обычаем предков». Тут мне представился соблазнительный сюжет: молодой эвен из «березовцев» уходит, не смея ослушаться, со своими сородичами, обрекает себя на новые скитания в тайге, а там, среди рассохинцев, у него остается любимая девушка, «прекрасная...» — как там ее? — остается встревожившая своей необычностью жизнь: «кино», «газета», «школа»... Вообразил я и главаря: маленького, тщедушного старика, но со страшной, темной и беспощадной волей. Потом, испытав множество превратностей, влюбленные, разумеется, находят друг друга. И все это густо замешено на этнографии, на фольклоре. Эх!.. Однако, вспомнил я, ведь что-то в этом роде у Болды-

рева в его «Гибели Синего орла» как раз и было. Только, кажется, наоборот: юноша был цивилизовавшийся, а девушка — дикая... Ну, значит, не дано... Для оставшихся эвенов на базе ближайшего к ним оленеводческого совхоза «Омолон» было создано отделение. «В этом отделении с 1962 г. бывшие единоличники стали работать в качестве оленеводов-пастухов» — так завершает автор свой рассказ о рассохинской группе. Рассохинское отделение территориально относилось к соседнему с Билибинским Среднеканском району, и, видимо, поэтому позже его преобразовали в самостоятельный совхоз. Об ушедших «березовских дикарях» тоже известно: впоследствии они сделались рабочими якутского совхоза «Среднеколымский»...

Я припомнил здесь эту статью для того, чтобы читатель смог получше представить себе своеобразие этих мест. Ведь между поселками Омолон и Рассоха по прямой — около ста всего километров. Кроме того, еще раз о рассохинцах я услышал совсем недавно в Магадане от своего друга, сотрудника Института биопроблем Севера Мирона Марковича Этлиса, я рассказывал о нем в одной из предыдущих книг. Тоже из «мечтателей», самый первый «магаданский мечтатель», с которым я познакомился десять лет назад. И вот как раз сейчас, незадолго до моего приезда в Магадан, он вернулся из Рассохи, где вместе с Виталием Игнатьевичем Задориным был в командировке, и показывал мне только что взятый с машинки совместный отчет «О развитии социальной инфраструктуры совхоза «Рассохинский» в связи с перспективой объединения оленеводческих хозяйств бассейна реки Омолон». Задорин, сотрудник Магаданского зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства (МЗНИИСХ), занимался в Рассохе вопросами производственными, Мирон, как всегда, — своей «психогигиеной». Влезал во все: в демографическую ситуацию, в обеспеченность жильем, не «в среднем», а посемейно (доходило до 2,5 квадратных метра на человека!), в вопросы снабжения, вплоть до ассортимента завозимых товаров. Потом по годам сопоставили с задоринскими данными по оленеводству в совхозе. Тут не ставилось задачи подтвердить роль социальной инфраструктуры в развитии экономики — что доказывать уже многократно доказанное? — но были выданы практические рекомендации конкретно по Рассохе. То есть за эти годы Мирон себе не изменил... Я отправился в ИБПС в первое же утро, как очутился в Магадане, — как в Билибино я всегда начинаю

с Деда и его музея, так в Магадане — с Мирона и Института биопроблем. Бедно, конечно, и неказисто смотрится этот институт в сравнении со своим блестательным, отстроенным в современном стиле соседом — СВКНИИ: здесь старое, не оборудованное специально для институтских нужд здание, и без того тесные комнаты загромождены аппаратурой и книжными шкафами, и запах какой-нибудь лаборатории, ставящей опыт с помощью химреактивов, становится запахом всего института. Здесь не надо заказывать пропуск, вахтерша только глянет, что там за человек пришел, и иди себе, а если и признает постороннего и спросит: «Вы к кому?» — можно назвать любую фамилию, хотя бы директора, — сознаваться и перепроверять она не будет. Тут же бродит, высунув ярко-красный язык, огромный черный ньюфаундленд, принадлежащий завлабу экологической генетики Соловенчуку. Как ребенок, которого дома оставить не с кем, приходит с матерью на работу и быстро привыкает, осваивается там и начинает играть, так и добродушная эта собака чувствует себя здесь среди своих, всякий проходящий что-то скажет, потреплет по лохматой башке. Ньюфаундленд шумно вздохнет и пойдет в лабораторию — посмотреть, как там дела у хозяина. Я люблю этот институт — может быть, вследствие консерватизма своей натуры, ибо это первый из магаданских институтов, с которым я познакомился, может быть, еще за то, что проблемы, которыми он занимается, мне близки, и за то, что несколько лет назад делил кров и стол с его сотрудниками в необыкновенном месте, в бухте Сомнительной на острове Врангеля, и вот за то хотя бы, что тут по-домашнему может расхаживать и путаться в ногах у людей здоровенная псина, чего, например, никак не представишь в торжественных, официальных холлах и коридорах СВКНИИ.

В этот приезд я застал институт в состоянии некоторой растерянности, подавленности. Начал я это ощущать уже по невеселой шутке, которую с тщательностью отшлифовывали в лаборатории экологической генетики в тот момент, когда я вошел.

— ...Крыса, обладающая экологической пластичностью, бежит с тонущего корабля, — говорил кто-то, мне незнакомый.

— Неплохо: год крысы, бегущей с тонущего корабля?

— Для кого год крысы, для кого — год тонущего корабля! — завершил Мирон.

Оказывается, институт уже третий месяц проверяли —

по линии обкома, точнее, отдела науки. Проверка была комплексная, комиссия, возглавляемая, кстати, заместителем директора СВКНИИ В. И. Гончаровым, вникала во все, но главный пункт, насколько я понял, был следующий: какую конкретную пользу приносит научная деятельность института экономике области? И от этого пункта немудрено было впасть в уныние. В самом деле: если, например, Гончаров в нашей с ним беседе четко перечислил все, что делает в этом направлении СВКНИИ, называл в рублях, каков экономический эффект от внедрения той или иной научной рекомендации его института, и суммы были внушительные, убеждали, то на что в аналогичном смысле мог бы указать ИБПС? Скажем, в плане работ той же лаборатории экологической генетики значилась такая тема: «Изменение показателей мочевыделительной системы у пришлого населения после острого переохлаждения в воде». Другая звучала тоже несколько странновато: «Особенности воспроизводства у народов Севера». Сам заведующий лабораторией, кандидат медицинских наук Леонтьевич Соловенчук опубликовал недавно в сборнике АН СССР статью под названием «Биохимические полиморфные системы в популяции пришлых жителей Северо-Востока СССР». Что, скажите, можно было из этого немедленно внедрить в народное хозяйство, чтобы тут же, сиюминутно получить этот самый «экономический эффект»?.. Лаборатории зоологии позвоночных и нейроэндокринных регуляций завершили свои совместные многолетние исследования лемминга. Их руководители Феликс Борисович Чернявский и Анатолий Владимирович Ткачев выпустили в издательстве «Наука» фундаментальный труд — «Популяционные циклы леммингов в Арктике. Экологические и эндокринные аспекты». Ну, тут, если очень изощриться, можно выстроить следующую цепь. Лемминг — основная пища песца. Много лемминга в тундре — много песца. Изучая цикличность популяции лемминга, возможно, допустим, предсказывать особенно удачные промысловые сезоны для добытчиков «мягкого золота»... Но это, повторяю, если уж очень напрячь ум. К тому же охотники-промысловики сами, без науки и получше ее научились угадывать, когда будет «пик» у лемминга, и не надо особой наблюдательности, чтоб подметить, что тут же следует увеличение численности песца... «Да, мало, мало даем экономического эффекта», — вздохнул Феликс, надписывая мне свою книгу. Есть еще в институте лаборатория ландшафтovedения и охраны природы — от той народному

хозяйству не только никакой пользы, но пока что сплошные убытки. Так и сказал мне директор института, доктор биологических наук Георгий Петрович Краснощеков: «Большинство наших рекомендаций — просто убыточны!» Да я и сам это знал. Допустим, рекультивация отвалов на приисках, всей этой взорванной, взрытой, многократно оттуюженной бульдозерами земли. Или устройство отстойников, чтобы вода с промывочных приборов не попадала сразу в ручей, в речку, не загрязняла водоемы... Но ведь это все сразу ляжет на себестоимость «грамма»! «Это дешевле будет золото на «черном» рынке покупать», как сказал некогда один горняк... Сам Георгий Петрович, по специальности гельминтолог, занимается экологией гельминтов. Тоже сложновато представить, какая от этого может быть выгода, скажем, тому же Билибинскому горно-обогатительному комбинату...

Тут, чтобы прояснить ситуацию с ИБПС, как я ее понимаю, надо бы вспомнить, что институт образовался двенадцать лет назад — это был разгар всеобщего радения в защиту природы: постановления, Красная книга, запреты, астрономические штрафы. У меня сохранился плакатик, выпущенный Охотскрыбводом в 1969 году,— вон он передо мной висит, на стене переделкинской комнаты, в момент, когда пишу я эти строки. Симпатичная моржиха с моржонком, и крупно набрано: «ТОВАРИЩИ ЗВЕРОБОЙ!» Коротко разъясняется, что надо сохранить поголовье этого ценного зверя, а в заключение говорится: «За незаконно добытого моржа частные лица и организации подвергаются штрафу от 10 до 50 рублей». Это в 69-м. А спустя всего несколько лет мой знакомый чукча Ульвелькот, последний обитатель бухты Сомнительной на острове Врангеля, и не подозревавший даже, что он стал «частным лицом», выплачивал из своей пенсии за моржа, убитого им, чтобы прокормить собак, уже девятьсот рублей!.. Но не только меры карательные — еще большая пропагандистская, воспитательная работа. Подключились пресса, искусство, литература. Пошли многочисленные фильмы, песни, «Я хочу, чтоб жили лебеди!», статьи, фельетоны, «тревожные сигналы», рассказы, повести, целые книги — и все о ней, о претерпевающей природе. Писатель наконец осознал в массе — потому что чудаки-одиночки и раньше были, до кампании,— что открылась «чистая» тема, что тут можно потолковать об «извечных ценностях», вовсю дать волю гражданскому негодованию. Прониклись важностью задачи и на Севере, более того — определилось,

что здесь-то природа уникальнее, неповторимее, а также беззащитней и уязвимее, чем где бы то ни было. Магаданский писатель поначалу, правда, подрастерялся: у него уже сложился в ту пору выверенный и любимый тип главного героя — джеклондонско-хемингуэевский вариант с примесью Ремарка,— бороздившего Чукотку во всех направлениях, на собаках, на вездеходах, пешком, и непременно с карабином за плечами и с грузом прошлых душевых невзгод. Интеллект, мускулы, зоркий глаз, твердая рука, апофеоз мужской дружбы... Однако выход скоро нашелся: поскольку без карабина, этого атрибута мужского достоинства, никак было нельзя, карабин был сохранен, но опускался в самый последний миг перед выстрелом — что-то вдруг переворачивалось в душе героя, и просветленным взором он провожал величественно удалявшегося медведя... Впрочем, грешу немного против магаданской литературы, к коей и сам некогда принадлежал, в ином, правда, плане — писал свои мирные учительские рассказики. Прозвучали и конкретные выступления. Например, писатель В. Христофоров, работавший когда-то охотоведом на Чукотке, в содружестве с охотоведом Н. Железновым написал и опубликовал в 78-м году в «Литературной газете» статью «Выстрелы с неба» — о все более распространяющемся браконьерстве с вертолетов. «Кто же хищнически истребляет редких животных на Чукотке? Кто эти люди, пользующиеся вертолетами «МИ-4», «МИ-8»? Ответ горек: чаще всего — должностные лица. Кому же еще доступен вертолет? Должностным лицам и пилотам, которым эти машины вверены...» В том же году, проездом на Чукотку, я был в Магадане, зашел по своим делам в УГА, поинтересовался, кстати, какова была реакция на статью. Реакция-то, конечно, была: кого-то наказали, кого-то — руки оказались коротки. А «выстрелы с неба», как следует из цитированной мной выше газеты «Золотая Чукотка», и сейчас продолжают греметь... Но, короче, в обстановке вот такой всеобщей решительной настроенности умов и сердец и был создан Институт биопроблем Севера. Охрану окружающей среды он почел одной из своих главных задач. На соседней Аляске к тому времени уже существовало несколько заповедных зон: Арктический национальный заповедник, национальный парк «Ворота в Арктику», национальный заповедник «Мыс Круzenштерна» и т. д. В Магаданской области не было еще ни одной. Стараниями института в 76-м году учредился заповедник на острове Врангеля, затем, совсем недавно, Магаданский заповедник, несколько

заказников областного значения. Но с самого начала в институте на понятие «охрана окружающей среды» посмотрели шире и глубже, нежели на мероприятия простого директивного толка. Заказать, заповедать, браконьеров штрафовать, судить — и дело с концом! А остальные 95,7 % территории области? И что самое главное — а человек?.. Осенью 73-го года — институту исполнился тогда год с небольшим — Мирон Этлис развертывал передо мной во всю ширь и во всю даль перспективы, открывающиеся перед ИБПС. Тут речь шла о человеке, об изучении процессов адаптации человека к Северу в аспекте не только личностном, не столько даже личностном, сколько групповым. «Нас уже не интересует одиночка-первопроходец, замкнутые мирки полярных станций, нам важны большие производственные коллективы, что характерно для теплешнего уровня освоения Севера,— увлеченно говорил Мирон.— Но понятие адаптации немыслимо вне понятия об экологии. Человек и среда — неразделимы. «Преобразование» природы — идея маразматическая! Преобразование — это насилие! Надо подводить к идее единства, к истинно экологическому сознанию. То есть чтобы каждый конкретный человек, начиная от охотника с побережья и кончая руководителем Северовостокзолота, представлял свое место в природе как человек!.. Поселок также должен рассматриваться не как промышленный или жилой комплекс, но как цельный элемент социально организованной среды. Я понятно выражаюсь?.. Отсюда — пути оптимизации АЧ: максимальная урбанизация и комфортность поселения. Борьба со всеми материальными и моральными проявлениями его относительной изолированности — как от окружающей природы, так и от других поселений в зоне Севера, а также от центральных районов страны. Последовательное воплощение принципа оптимального разнообразия культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных мероприятий. В вопросе обеспечения жильем... — понятие «общежитие» в перспективе должно быть на Крайнем Севере исключено!.. Практические последствия из всего этого для развития экономики трудно переоценить. Сама собой снимется, например, проблема миграции. Исчезнет бездумно потребительское отношение к природе...»

В общем, много чего прекрасного еще говорил мой друг. Тогда в институте была крохотная лаборатория АЧ, единственным сотрудником которой он и являлся. Впоследствии на ее основе была создана лаборатория экологиче-

ских проблем народонаселения Севера с привлечением специалистов различных профилей — общественники, естественники, — со многими направлениями исследований. А между тем в обществе этот природоохранительный бум потихоньку спал. Иссяк поток выступлений, статей и особенно произведений «художественных». Писатели — из тех, кто свел все дело к умилению цветком и гражданским слезам по убитому лебедю, — сочли, что тема во всех вариантах ими исчерпана. Те, кто выступал конкретно, по-деловому, публицистически, начали говорить уже не столько о самой природе, сколько о том, почему ничего не изменяется после их выступлений. Словом, речи дилетантов закончились, осталась работа — для тех, кто занимается ею профессионально. Вот, в частности, для сотрудников Института биопроблем, для архитекторов из Дальстройпроекта, о которых я уже рассказывал. Все, что должно, они делают. Допустим, та тема, которую я упоминал, — «Об изменениях в мочевыделительной системе у пришлого населения после переохлаждения в воде», — разве она не в рамках АЧ? Или последняя милюновская записка по Рассохе, разве это не борьба с «материалными и моральными последствиями» изолированности этого поселка?.. Проекты современных, специфически северных городов, демографо-социологические обоснования сети культурно-бытового обслуживания для рабочих поселков, расчет модели бюджета времени северянина и т. д. — все это никак не уводит от основной проблемы, все это работает на одно: человек и среда должны быть в гармоническом единении. Лично я давно считаю понятие «окружающая среда» исказяющим суть дела, отсюда все недоразумения. Простенько, конечно, сравнение: ведь человек, плывущий в воде, не полагает себя «в окружении воды», он просто ощущает себя в воде. И никакому пловцу не взбредет в голову тут же, по ходу, отравлять воду, в которой он плывет. Так и со средой. Разумный человек, почувствовавший себя не «в окружении», а именно «в среде», поостережется истреблять эту среду. Отпадет тем самым вопрос и о ее охране... Но это — не технология осушения тундрового озера, это уже на уровне мировоззрения. Так каким же образом это мировоззрение побыстрей «внедрить», да еще с выраженным в рублях «экономическим эффектом»?.. Вот поэтому Георгий Петрович Краснощеков, человек с мягким, грустно-интеллигентным взглядом, сидя за своим столом, заваленным справками, отчетами и прочими бумагами для комиссии, говорил мне: «Закончился первый этап

в деятельности института, этап ресурсоведческий, описательный. Второй этап, точнее, вопрос: как сохранять это в условиях антропогенного пресса? Пока что наши рекомендации убыточны! Вот, скажем, национальные парки. На Западе это доходная отрасль. Там строятся дороги, мотели, выкачиваются деньги из туриста. У нас — просто изымается из народнохозяйственного пользования некая территория... Нет цен на ресурсы. Сколько стоит, например, гектар леса? Сейчас ввели цену на воду, но это берется чистая вода, без учета продуктивности водного ценоза...»

Вечером я пошел к Мирону. Из «эмэнэса» он стал за это время к своим пятидесяти пяти годам «старшим», только по-прежнему, как он выражался, «без лычек». И то: пришлось когда-то поотвлечься лет на десять от науки. А в остальном застал я его почти в той же ситуации, что и шесть лет назад. Жена Зоя опять была в больнице, Мирон в обеденный перерыв бегал домой, разогревал приготовленный с вечера обед, кормил дочь. Собака Берта сдохла. На столе лежала записка: «Я очень хочу собачку я понимаю что это невозможно но мне даже не принесут какого-нибудь зверька. Мира. Только пожалуйста не пиши ответ это я просто так». Мы выходили курить на лестничную площадку. Обитал Мирон на последнем этаже длинного дома, который поставлен был как «ветрозащитный». По одну сторону уходил вниз проспект Ленина, по другую — начинался спуск к бухте Нагаева. Именно в тот день задула пурга, и дом принимал на себя весь ветер с моря. Чердачный люк был открыт, прямо над нашими головами гремела крыша. Мирон продевал руки сквозь железные прутья отвесной, ведущей на чердак лестницы, будто распинался на ней, и курил, поджигая одну сигарету от другой. Начал он, как всегда, с проблем глобальных.

— Нет четкой демаркации между программами «Сибирь» и «Дальний Восток»... Нет твердых понятий о комплексности... Нет кадров, потому что долгие годы ни хрена не вкладывали в соцбыт... Если разведаем нефть, сами не потянем... Институты были предоставлены сами себе, тяготели к своим научным центрам. Теперь стали привлекать науку...

Время от времени Мирон прерывался, заглядывал в дверь и кричал:

— Мирочка, накройся одеялом! Нет, я не курю!

Потом снова вдевался в свою лестницу, тут же засмаливал следующую сигарету и продолжал:

— ... С СВКНИИ — ясно! Как привлечь нас? Никто не

знает. Я знаю! В институте создана лаборатория генетики рыб. Ростислав Михайлович Викторовский предлагает рекомендации по лососевым. Как организовать промысел с сохранением популяционной структуры стад. Как наладить воспроизводство на рыбоводных заводах. Это тема ГКНТ. Вот такие работы — фундамент. Вот что убедит обком! Не лемминги, не «яйцебыки»... Надо быть ближе к сельскому хозяйству, работать на область. Создать стационары от института по всему Северу...

Да, чувствовалось, что и Мирон подхвачен этой ситуацией. Мне вспомнился Яновский, утверждавший, что, желая поскорей выиграть в сегодняшнем дне, мы неизбежно проигрываем в завтрашнем. Он имел в виду практику хозяйствования. Теперь вроде бы повторялось то же самое, только в отношении науки и с той разницей, что понятие «завтрашнего дня» в науке оборачивалось для практики не ближе чем днем «послезавтрашним». Таким образом, привлекая сейчас науку для скорой пользы сегодняшнего дня, можно было не сомневаться в проигрыше и завтрашнем и послезавтрашнем. Сама же наука в таком случае, если отвлечься от этой образности и перейти на обычный хронометраж, проигрывала, наверное, в следующем веке... И почему это именно ИБПС, благородную научную задачу которого сам же Мирон мне когда-то вдохновенно обрисовал, должен быть теперь «ближе к сельскому хозяйству»?! Есть для этого в том же Магадане МЭНИИСХ!.. Но я не стал высказывать все это Мирону. Во-первых, потому что он и сам понимал это еще лучше меня, а во-вторых, он вдруг замолк, потом спросил неожиданно:

— Скажи честно, как ты находишь: я очень амортизировался?

По специальности Мирон был врач-психиатр. Поэтому я сказал:

— Есть немножко. В пределах нормы. Как все мы...

— Устал. В Москву хочу, на пенсию. Есть идея — частного психиатра.

Я засмеялся:

— Я в Москве тоже говорю: «Устал. На Север хочу. Литсотрудником в «районку»...»

Из соседней квартиры вышли двое мужчин и полезли с фонарем на чердак — что-то там уже начало отрываться...

Накануне отлета в Билибино вечером я снова зашел к нему — попрощаться. Мирон сварил отличный фасоле-

вый суп с тушенкой, я прихватил бутылочку красного сухого терпкого вина. Был сыр, к чаю Мирон резал лимоны, как деревенская баба нарезает хлеб — толстенными ломтями. С чего-то вдруг мы страшно развеселились, говорили всякий вздор, тут же ему смеялись — словом, как поет Людмила Гурченко, «чушь прекрасную несли». Мирон вспоминал разные случаи из своей врачебной практики, когда еще работал в Москве на «скорой».

— Приезжаю — он бегает с топором по двору. Иду на него, милиционер сяди хоронится — наша милиция, это она уголовников, бандитов с пистолетами не боится, а обычновенного психа трухает. Думаю: хоть бы что-нибудь в руку взять, бутылка пустая подвернулась. Иду с бутылкой. Он замахнулся, я увернулся, бутылку подставил, он по бутылке топором — хрись! Я топор поймал, отнял, тащу самого в машину. На заднее сиденье затолкал, сам сверху — «поехали!». А он мне задницу ку... — Мирон заходился в хохоте, и я вместе с ним, — кусает!..

Когда я уходил, Мирон вышел на площадку меня проводить.

Так я его и вспоминал: продевшегося сквозь железную лестницу, с очередной сигаретой в зубах... Позже, вернувшись в Москву и снова припомнивая наши разговоры, уже за письменным столом, я все у того же Яновского отыскал: «В целях большей эффективности заселения Севера и труда в северных условиях настоятельно необходимо многократно увеличить темпы комплексного изучения проблем адаптации человека на Севере во всех его аспектах — медицинском, социальном, экономическом — и разработать соответствующие научно-практические рекомендации. Необходимо уже в ближайшее время организовать в различных зонах Севера несколько стационарных комплексных лабораторий по изучению проблем адаптации человека, а при республиканских комитетах по использованию трудовых ресурсов — специальные лаборатории по отбору переселенцев на Север, где бы учитывались не только профессиональные, но и медицинские показания. Видимо, нет нужды доказывать, что окупаемость этих лабораторий в социальном и экономическом плане в десятки раз превышает эффективность самого передового предпринятия» (разрядка моя. — Б. В.) Вот на какую насущную потребность — вчерашнего, сегодняшнего, завтрашнего и многих будущих дней — мог бы указать ИБПС в ответ на упрек, что мало от него «экономического эффекта».

Итак — Омолон. Что-то на сей раз везде получалось одинаково: на месте я оказывался поздно вечером и ничего в этот день, кроме гостиницы, не видел. Мороз в Омолоне был такой, что прожектор на крыше аэропорта светил как бы сквозь сильный туман. Быстро проехали на газике куда-то во тьму, остановились перед двухэтажкой. Позже я узнал, что это построенный недавно Дом оленевода, одну квартиру в нем отвели под гостиницу. Комната была сплошь увешана коврами — скорее, для тепла, как я понял, чем для роскоши, — под балконной дверью белел иней. Ближайший туалет помещался на улице, метрах в ста. Абсолютный минимум для Омолона, я помнил, значился минус 67° и приходился именно на этот месяц, на февраль. В монографии «Север Дальнего Востока» об этих местах говорилось так: «В этих широтах (60—70°) на земном шаре нигде нет столь низких температур, даже в центре Гренландии средняя января — 46°, на севере Канады — 32°—36°». Можно было, значит, некоторым образом даже гордиться... Наутро мы условились встретиться с директором совхоза Владимиром Ивановичем Ильченко. Поспешая в контору — прогулочным шагом не пойдешь, — я с удивлением заметил, что поселок-то, оказывается, не такой уж маленький, с виду примерно на тысячу жителей. Летом 72-го наш самолет подзадержался здесь, я пробежался по улице, ведущей от аэропорта, вдоль нее стояло несколько двухэтажных домов, на каждом было написано по слову из лозунга: «Мир. Труд. Май. Равенство. Братство. Счастье», — и с тех пор запомнилось, что в Омолоне домов — как раз на лозунг. А может, так оно тогда и было... В кабинете директора бросался в глаза стоящий в углу бюст, я сразу узнал Виктора Николаевича Болдырева. Портрету его не надо было придавать дополнительно ни мужественности, ни красоты, ни доброты, как это водится иногда у художников, ни скульптурности черт — все это было отпущено Виктору Николаевичу в гармонической мере в жизни. Тот счастливый для художника случай, когда нет нужды думать, как выявить скрытые достоинства натуры... Я познакомился с ним за несколько лет до его смерти, он собирался тогда сплавляться по Большому Анюю. «Он был крупный, седоголовый и, если так можно сказать, настоящий», — написал о Болдыреве Олег Куваев, умерший почти сразу вслед за ним. А бюст представлял Виктора Николаевича молодым, каким он был, наверное, когда начинал

в этих краях, в 40-е годы. Я уже слышал, что бюст сделала и подарила поселку жена Болдырева, скульптор Ксана Ивановская, а перевез его через весь материк из мастерской в подвале старого арбатского дома омоловский пастух, возвращавшийся из отпуска. «Пока тут стоит, — сказал Ильченко. — Вот новый клуб сдадут, туда, в библиотеку, перенесем. И будем просить, чтоб библиотеке присвоили имя Болдырева».

Владимиру Ивановичу на вид лет около сорока, и как руководитель он тоже молод, в должности директора четыре года. А в Омолоне десять лет, работал механиком после Курского сельскохозяйственного института. В Билибино ехал по вызову ГОКа, предполагая осваивать горнаждцкое дело, однако Лысковцев — он был тогда первым секретарем — уговорил: «Поезжай в Омолон, там механика нет...» Я оценил, что Ильченко не стал расспрашивать, «что меня, собственно, интересует», а сразу приступил к нужной, по его мнению, для приезжего корреспондента сути, к тому, чем можно было бы и завершить. Он взял лежавший на столе ежегодный сборник «Магаданский оленевод» за 83-й год, раскрыл и указал на отчеркнутое место: «Я хочу, чтобы вы ознакомились вот с этим». «Коллектив совхоза «Омолон», награжденный по итогам девятой пятилетки орденом «Знак Почета», не имеет равных в оленеводстве. Пожалуй, это единственное хозяйство Магаданской области, которое развивается стабильно и, несмотря на ухудшение в отдельные годы климатических условий (оленеводство во многом зависит от них), не имеет срывов. Достаточно сказать, что среднее производство мяса на 100 янтарских оленей (это один из синтетических, наиболее точно отражающих уровень производства показателей) в полтора раза превышает среднеобластную цифру», — прочел я. Это была статья Виталия Задорина, того самого, что ездил с Мироном в Рассоху. Я ее уже читал, это чрезвычайно интересное, своеобразное исследование, и называлось необычно: «Оленеводство: ищите женщину!» Я к этой статье еще вернусь. В том же сборнике, в статье другого автора, приводилась таблица основных показателей развития оленеводства в совхозах области за 81—82-й годы, из нее можно было понять, что «Омолон» действительно являлся самым крупным, самым передовым хозяйством. Выходное поголовье оленей в 82-м составляло почти 34 тысячи. Лишь два или три совхоза области близились к этому уровню. Для сравнения можно сказать, что это было значительно больше, чем в иных районах. Например, во всем Чукотском,

специфически сельскохозяйственном районе общее стадо насчитывало всего около 26 тысяч голов. И по другим показателям — сохранность взрослого поголовья, деловой выход телят на 100 январских маток, продажа мяса государству — совхоз опережал.

— Работают у нас опытные, заслуженные оленеводы, — говорил меж тем Ильченко. — Вот... — Он показал не врученные еще удостоверения участников ВДНХ. — Кергитагин Гаврила Серафимович — золотая медаль. Гыргольков Владимир Иванович — серебряная... Дмитрий Константинович Ходяло награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, по итогам десятой пятилетки — орденом Октябрьской Революции. У Михаила Кузьмича Пананто два ордена Трудовой Славы, II и III степени. Сейчас оформляем документы на первую... Премирован «Москвичом». А зачем здесь «Москвич», куда проедешь? Привезли его в ящике на пароходе, Пананто даже ящик не вскрывал, посмотрел на этот «Москвич» в щелку и пошел. Так и стоит...

— За что же вас на пленуме райкома критиковали, Владимир Иванович? — спросил я.

— Недовыполнены по мясу в прошлом году. Средняя, стабильная возможность совхоза — семьсот тонн в год. В восемьдесят первом году мы дали семьсот пятьдесят. В восемьдесят втором — семьсот. Тот год нас подвел страшно. Обильные снегопады, морозы сильные, снежный покров более полутора метров, воженки ослабленные. Обычно восемьдесят и больше телят получаем в среднем по отелю от ста воженок, а тут всего семьдесят два, и то очень слабое потомство. Теленок рождается, воженка подыхает. Пастухи плакали просто!.. А нам к тому же на следующий, восемьдесят третий год план спустили, прямо скажем, дурной — семьсот восемьдесят две тонны. Мы продали семьсот шестьдесят две. Вот и критиковали... Ну, в итоге-то по пятилетке мы выполним... Выходное поголовье наметили увеличить до тридцати пяти тысяч...

Да, это был типичный, сколько я их слышал, рассказ руководителя оленеводческого хозяйства. Успех, все, казалось бы, прекрасно — и вдруг!.. Здесь, на континентальной Чукотке, снегопад, мороз, на побережье — пурга, оттепель, потом заморозок, гололед, в результате — большие непроизводительные отходы, срыв плана. И опять постепенно начинает выходить, выкарабкиваться хозяйство из прорыва, наращивать поголовье. Такие «роковые» годы бывают в каждой пятилетке. В Чукотском районе мне называли

когда-то зиму 1972/73 г. (девятая пятилетка), затем зиму 1976/77 г. (десятая пятилетка). Но 82-й, говорят, в этом смысле выдался чрезвычайный — для всей области. Потеряно было 150 тысяч оленей при стаде в 640 тысяч. Такого, по словам специалистов, не случалось за всю историю развития оленеводства. Однако «Омолон» в самом деле, как написал Задорин, можно было считать все-таки стабильным хозяйством. Например, те семьдесят два теленка от ста важенок, о которых Ильченко сокрушался как о показателе ниже среднего, другие хозяйства могли бы записывать в соцобязательства. Возьмем опять же Чукотский район — там деловой выход телят в указанный год составил в среднем 60 голов. В совхозе «Герой труда» (это Уэлен с отделением в Инчоуне) этот показатель равнялся 41,2. Есть совхозы в области, где он еще ниже. Это уже не оленеводство, а слезы!.. Естественно, я спросил у Владимира Ивановича: «Как им удается?..» Директор начал рассказывать о кадровой работе, о профориентации школьников, о перевалбазах на отделениях совхоза, о летовочных базах на маршрутах, о снабжении тундровиков... Вообще должен пожаловаться читателю, что вникать в производственные тонкости данной отрасли сельского хозяйства — занятие, я убедился, бесперспективное. В том смысле, что бесконечное. Чем больше узнаешь, тем больше недоумеваешь. Проблем здесь — словно кочек в тундре, но нет, это не совсем точно, ибо кочки в тундре существуют по отдельности, сами по себе, не мешая друг другу, а проблемы в оленеводстве все время сталкиваются, вступают в непримиримые противоречия, дробятся, объединяются — в общем, «бронево движение» проблем... И с кем ни поговори, пусть с самыми знающими специалистами, отдавшими всю жизнь оленеводству, — услышишь самые разноречивые суждения. Со знающими-то даже еще сложней говорить: у одного за плечами опыт, в голове цифры, факты, и он тебе свое мнение изложит как единственно верное. А у другого — также не меньший опыт, тоже полно цифр и фактов, и он свое диаметрально противоположное мнение тоже сумеет преподнести с убедительностью, как проверенное «самой жизнью». У горняков, золотодобытчиков, при всей сложности их дела, все-таки решается пооднозначней, на уровне «есть — нет». «Металл», он или есть, или его нет. Если есть, то каково «содержание» — промышленное или не промышленное. Если промышленное — разрабатываем, остальное — дело техники. У специалистов же по оленеводству проблемы рассматриваются на уровне «надо — не

надо». И если «надо», тут опять дробится на множество нюансов — как именно надо: «так — не так». Долгое время, например, спорили, надо ли увеличивать удельный вес оленематок в стаде. Теперь все вроде бы сошлись, что надо, но вопрос — как, насколько? И вообще — каково должно быть наилучшее соотношение половозрастных групп в стаде? Для создания оптимальной модели структуры стада даже задействовали ЭВМ. Простейшая модель — это 20 уравнений с 30 неизвестными: 45 тысяч вычислений. Есть модели, требующие свыше миллиона вычислений. Собираются издать справочник с 220 вариантами, и все «оптимальные». Опять же проблема для зоотехника или экономиста совхоза — какой выбрать? Надо шире использовать технику в тундре... — не надо... Лучше вернуться к ездовым, или, как в этой части Чукотки их называют, к «пряговым» оленям. Нет, неверно ни то ни другое — надо разумно сочетать технические средства и олени упряжки... Надо строить холодильники на местах... — не надо. Чукотка — сама естественный холодильник. Лучше обеспечить своевременный вывоз. Надо проводить опрыскивание стада, чтобы защитить оленей от комаров, овода и гнуса? Да, безусловно. «Неисчислимый урон...» и т. д. А как это оказывается на биоценозе тайги и тундры? Опрыскивание проводится обычно во время отдыха стада, на водопое, ядохимикаты неизбежно попадают в речки. Как это оказывается на растительности и животном мире водоемов? «Гибнет, наверное, но специально этого никто не исследовал...» Надо строить дома в тундре — не надо. Если надо, то какие: стационарные или разборные, передвижные? Если передвижные, то какие: «модernовые», алюминиевые или традиционные «балки»? Надо переводить оленеводов на оседлость... — а какой смысл? Ведь оленеводство — это кочевка... Надо налаживать сменный выпас... — не надо... и т. д. Что же остается человеку, заинтересовавшемуся проблемой, но специально не подготовленному? Чью сторону принять? Или просто фиксировать эти противоборствующие мнения? Недели три спустя, когда я уже улетел из Билибинского района на другой конец Чукотки, встретился мне в Анадырском аэропорту Иван Андреевич Корчагин, кандидат сельскохозяйственных наук, коллега Задорина по отделу оленеводства в МЗНИИСХ. Он мне сказал и тем самым несколько приободрил: «Я тридцать лет на Севере, все тридцать лет занимаюсь этими проблемами, а всего не знаю...»

Вот и Владимир Иванович сейчас мне говорил:

— Сменный выпас — это я, признаюсь, не представляю. Ну, вывезли его из тундры, а чем занять на центральной усадьбе? Где-нибудь на складе, разнорабочим? Он — оленевод, для него это непрестижно. Соцбыт у нас — далеко не на уровне. Что ему остается? Как Задорин написал в этой же статье: «Не секрет, что оленеводы злоупотребляют спиртными напитками во время нахождения в селах, так как у них нет ответственности ни перед семьей, ни перед детьми...» Дети-то все — на полном государственном обеспечении, в интернатах!.. А чтобы отправить его потом обратно в тундру — это сколько мук! Нет, если и организовывать сменный выпас, то в пределах перевалбаз, на отделениях. Но не на центральной усадьбе...

А совсем недавно в Магадане один товарищ в беседе со мной воскликнул безоговорочно: «Сменный выпас! Будущее оленеводства — за сменным выпасом!..» Ильченко, судя по всему, в корне сменный выпас не отвергал, но, как практик, сталкивался с его отрицательными последствиями. Опять возникла тот самый вопрос: надо, но как? Поэтому, чтобы не теоретизировать попусту, я попросил:

— Устройте мне, Владимир Иванович, поездку в бригаду, поглядим, как люди живут.

Условились ехать на другой день в седьмую, к Ходяло, — не потому, что он орденоносец и передовик, а потому, что к нему поближе, его база находилась километрах в семидесяти от Омолона, а с транспортом в совхозе было туговато, всего три веездехода, «и те...». Главное же — бригада Ходяло недавно вселилась в готовые домики типа «Север-3». Задорин тут был, уговорил Дмитрия Константиновича поэкспериментировать. О домиках для оленеводов я сколько лет слышал, но никогда их не видел — очень хотел посмотреть... Сидели мы с директором, не снимая полушубков — в его кабинете было еще холоднее, чем в гостинице. Потом догадались перейти в соседнюю маленькую комнатку, благо день был субботний, в корторе мы были одни. Включили там рефлектор, вскипятили электрический чайник, согрелись. Разговор сам собой перевелся на нужды жителей.

— Строительство новой котельной, — рассказывал Ильченко, — для поселка проблема номер один. Старая уже не тянет. Дефицит тепла. Сейчас ставим несколько жилых домов, Дом культуры, но к старой котельной их не подключишь — посадим весь поселок... С доставкой топлива — маesta. Омолон, по сути, изолирован, дорог к нему нет. Только летом по реке, пароходом. Река переменчивая,

пароход этот то туда не может подойти, то сюда. Каждый год с емкостями в семьдесят пять кубов мотаемся по реке взад-вперед. К четырем моторкамцепляем и тянем... Находимся в какой-то хитрой котловине, в «нулевой зоне распространения радиоволн», связи даже с Билибино не бывает по десять — пятнадцать дней. Непрохождение, особенно когда северное сияние... Телевидение недавно появилось, ловится только одна программа, со спутника, у нас в это время ночь. Поначалу никто не спал, все смотрели до пяти утра, до упора, на работу шли сонные. Сейчас попривыкли, не тот азарт...

— А некоторые уверяют, Владимир Иванович, что это хорошо, когда сельский поселок вот в такой заброшенности, то есть в удалении от промышленных предприятий, от проезжих дорог. Поселок, говорят, тогда «в чистоте», меньше влияет пришлое население, сохраняются национальные традиции...

— Конечно, поселок — многонациональный. Из коренных — эвены, чукчи, юкагиры, ламутов пять семей. И обычай сохранились. Но чтобы «в чистоте» — не скажешь, — возразил Ильченко. — Стариков своих хоронят, как раньше, — в тундре, а от нас научились справлять девять дней, сорок дней, годовщину... Молодежь ножичками стала работать, был не так давно случай... А проезжая дорога — вон она, аэропорт. В любой конец. До Билибино — час, до Сеймчана — час двадцать. Что толку, что далеко от приска?!

Директор предложил посмотреть окрестности, сам сел за руль газика, поехали. Дорога была хорошая, укатанная, но — зимник. «Летом вот тут — болото... А сейчас едем по протоке...» — комментировал Владимир Иванович. Да это и так было понятно: по сторонам невысокие обрывчики берегов, густо заросшие кустарником — на Чукотке так бывает только вблизи воды, — резко вдруг накренившееся большое дерево с подмытыми корнями. Зимний лес обычно сквозит, просвечивает далеко, но здесь столько снега лежало на ветвях, что чаща леса была непроницаема, укрывалась получше, чем листвой. А при ярком солнце вообще казалось, что там, в глубине, воздвигнута сплошная белая слепящая стена. Неширокая извилистая протока походила на тихую улочку в старом городе, заснеженную, давно не метенную, и только посередине был расчищен проезд. И так же, как в старом городе, она петляла, разделялась, соединялась с многими другими, возвращалась сама к себе, — летом, с самолета, хорошо просматривался вот этот лаби-

rint. В одном месте мы остановились, Ильченко показал на темную парящую промоину: здесь Омolon почему-то никогда, даже в эти шестидесятиградусные морозы, не замерзл. И глубина-то была всего с вершок, вода перекатывалась по камешкам. Чудеса!.. А дальше — опять все было бело. Такая вот чистая, пронзительная, бесконечная белизна вначале радует и будто изнутри по-праздничному напитываешься ею, но через какое-то время становится однообразной, утомляет, перестаешь что-либо в особенностях выделять. Только то, что темнеет. Я смотрел на следы: вот заяц бежал неторопливо, вот волк махал через глубокий снег, задевая его брюхом, вот лось пропахал. Смотрел на близкие деревья, на их стволы, шершавые, красновато-кирпичные или серые, как старая иссохшая кость. Росла здесь, как в основном и везде по таежному Северу, даурская лиственница, но была потолще, помощнее, чем в окрестностях Билибино — все-таки юг. Годилась даже для строительных нужд. На делянку мы наконец и выехали. Тут стоял теплячок, чернело рядом остывшее костище, валялись расколотые чурки. Было тихо и пусто, нерабочий день, лишь две мохнатые собачки встретили нас возле тепляка. Они не залаяли, но и не стали ласкаться к незнакомым людям, отбежали поодаль и следили молча за нами: мало ли что? Внутри тепляка все выглядело так знакомо: маленькое оконце, печка из железной бочки, широкие нары с брошенными на них старыми телогрейками, лавка, стол, керосиновая лампа. Чайник, добрую половину которого занимала разбухшая заварка, разноцветные эмалированные кружки. К стене были прислонены бензопилы, пахло холодной печкой, солярой, сырой смолистой древесиной. Сплошной неуют и вместе с тем — полный уют! Настрогай щепы для растопки, брось в печку поленьев, и как оживет все вокруг через каких-нибудь полчаса, повеселеет для человека, проведшего весь день на морозе, какими драгоценными станут чайник, и керосиновая лампа, и нары!.. Когда уезжали, возле костища я заметил несколько аккуратно отпиленных тонких лиственничных срезов. Я подобрал один из них, на память. Он был сырой, в кольце красной коры, тяжелый от напитавшей его и пропустившей капельками медово-желтой смолы. Диаметром всего сантиметров в тридцать, но было этой лиственнице, наверное, лет пятьсот. Собачки все так же молча, но теперь уже неодобрительно смотрели: вот, все-таки чего-то прихватил!

— Такое уникальное дерево сводите, Владимир Иванович! — сказал я.

— Весь Омolon из него построен. Запасов, говорят, осталось лет на пять-шесть.

— Так на бетон надо переходить!

— Надо-то надо... — вздохнул Ильченко, что означало: «Будто бы от меня это зависит».

Обратно ехали другой дорогой, другой протокой, вернули к тем самым емкостям, с которыми каждый год «мotaются по Омлону вверх-вниз». При них жил сторож, Михаил Процкий с женой Марьей Васильевной. Избушка у него была поосновательней, вроде сибирского зимовья. Остальное почти все так же: печка, нары, олены кукули, керосиновая лампа, транзистор. К избушке приткнулся «Буран». О Процком, когда отъехали, Владимир Иванович поведал, что попал он когда-то в молодости, еще по «договору с Ягодой», на Колыму, оттуда сюда, женился на местной, народил восемь детей. Лет десять назад решил со всем семейством податься на свою родину, в Белоруссию. Но пожил там недолго. Приходит как-то с работы: посреди двора костер, котел подвешен, бурлит. Оказывается, жена зарезала единственную телку, сама ободрала, разделала по привычке, как олена, и варит. «Нет, — понял окончательно, — не прокормить». И вернулся. Сейчас на пенсии, сторожит. А дети все повыросли, работают: кто в Билибино, кто здесь... Я подумал: сколько российских мужиков осталось вот так на Чукотке, каждый со своей судьбой, и прикипели к ней незаметно навсегда, жили, трудились, оставили после себя детей, сами умерли, похоронены на чукотских кладбищах. Взять хотя бы Уэлен и тех, кого я помнил еще по шестидесятым годам, чьих детей учил, с кем работал, ходил на охоту в тундру. Пекарь наш Семен Фефелов, называвший свой черный хлеб «аммонием», повар поселковой столовой Коля Донов, завуч Леня Бродников... Их уж нет, но они все равно там, лежат на сопке над поселком бок о бок с чукчами, с которыми и жили бок о бок. Я когда-то все собирался написать об этом — очерк не очерк, но так, что-то вроде размышления...

Вечером, помня наказ Деда, сходил к Саяпину. «Летопись совхоза «Омлон», составленная Григорием Сергеевичем, начиналась с этого имени. «1936 год. Студент четвертого курса Омского сельскохозяйственного института Николай Саяпин получил путевку на практику в Корякский национальный округ, на далекую Камчатку.... В этот период Дальстрой закупил на Камчатке оленей и решил их перегонять до Берелеха (Сусуманский район). Маршрут более чем нелегкий, если учесть гористую местность, реки,

отсутствие корма по пути перегона и т. д. Николая Саяпина назначают заместителем начальника перегона...» Этот перегон длился три года. Несколько позже, в начале 40-х, руководство Дальстроя распорядилось создать новый совхоз — «Омолон». Время было тяжелое, военное, Дальстрой, как бы мы теперь сказали, собственными силами решал Продовольственную программу. Надо было изыскать место для центральной усадьбы, разведать пастьбища, определить их оленеемкость. Оленей на этот раз закупили в Якутии, в Нижнеколымске. Перегонял стадо Константин Егорович Ходяло, отец нынешнего бригадира. В это время приехал на Север и молодой биолог Виктор Болдырев. Так сошлись три главных героя будущей болдыревской книги... «На Омолон, к Синему хребту! Меня охватывает радость и тревога. Сумею ли справиться с ответственным поручением? Нам предстояло пробиться с оленями сквозь тайгу, увидеть таинственных обитателей Синего хребта, найти Нангу, освоить девственные пастьбища плоскогорий Омолона и Коркодона в самом сердце Северо-Восточной Сибири!...» «Ромул указывает на столбы дыма, поднимающиеся в дальних распадках: «Видишь, тайга горит». — «Странно, почему дымы клубятся в разных местах, словно окружая нашу сопку?» — «Совсем плохие люди... тайгу зажгли!» Бригадир растерянно оглядывает кольцо дымов...» «Приятель давно не брит: лицо его закрывает пушистая рыжая борода. Лоб забинтован, на повязке у виска просвечивает пятно крови. «Живы!.. Где пропадали?» — кричит Костя. «Удирали от Синего Орла... Что с тобой, Костя?» Он душит меня в медвежьих объятиях...» Ромул — это Константин Егорович Ходяло, он и теперь жив, но я его, к сожалению, не увижу, уехал, говорят, старик на курорт. Костя — Николай Ильич Саяпин, ему семьдесят четыре года, давно на пенсии. Молоденькая дежурная по гостинице провела меня к его дому. Здесь, для полноты библиографии, я обязан кроме Глазырина и Болдырева сослаться еще на Олега Кубаева, он побывал в этом поселке и в этом доме гораздо раньше меня, когда собрался сплавляться отсюда на лодке по Омолону. «Человек оказался погруженной копией моего друга. Те же белоснежно-серые волосы, крупная фигура и твердое лицо, покрытое неистребимым загаром. Все-таки люди высокой породы есть. Бегло взглянув на комнату, я сразу понял, почему он не уехал отсюда, когда вышел на пенсию, и почему никогда не уедет. В домике с низким потолком, огромной русской печью посередине, самодельной мебелью было очень тепло,

пахло свежепеченым хлебом. Этот неповторимый уют со-вмещался здесь с благоденствием охотничьей избушки, до которой ты добирался очень долго в большой мороз или плохую погоду. Из таких жилищ человек уезжает с трудом, чаще всего совсем не уезжает...» Это строчки из повести Кубаева «Дом для бродяг», которую я считаю лучшим из всего, что он написал. Не рассказы, по которым телевидение понадело плохих фильмов, не роман «Территория», а вот это небольшое повествование — без особенного сюжета, без героев с придуманными именами. Выбрался человек из большого города в знакомую с молодых лет обстановку, сел в лодку без мотора и плывет вниз по дикой, пустынной реке, что в здешних условиях и в одиночку вовсе не такая безмятежная прогулка. Ночует в палатке, смотрит вокруг, смотрит внутрь себя, осмысливая свою жизнь, и наконец проникается ощущением единства себя и реки, тайги, зверья, птицы. И реку начинает величать уважительно — Река... Может быть, оттого нравится мне безыскусная эта вещь, что ближе мне по духу. Оба мы начинали на Чукотке примерно в одно время — Кубаев чуть раньше, — но в разных ее концах, потом стали писать о ней и познакомились в Москве, в редакции «Вокруг света», не особенно сближаясь, потому что и Чукотки у нас были разные. Кроме того, у меня прежде Чукотки была еще Сибирь... По «территории» Олега ходили отряды изыскателей, «полевики», там значились маршруты, первопоселения геологов, вроде Билибино конца 50-х годов, там еще встречались работяги, неповторимый, существующий только на Севере, да и то уж в основном в прошлом, тип работяг, исчезающих вдруг на зиму, как лемминги под снегом, и вновь возникающих загадочно к весне, к новому полевому сезону, там любили романтический девиз «Умри, а сделай!». Подозреваю, правда, что всеобщим этот девиз не был... А на моей «территории» стояли стариные поселки чукчей и эскимосов, морских охотников, в море, прямо напротив моих окон, паслись киты, моржи, жизнь была довольно тихая, замкнутая, и древнее непоколебимое спокойствие этой страны читалось не только в очертаниях окрестных сопок, но и в глазах моих пятиклассников, которым я рассказывал про какие-то там шумные древнеримские форумы и походы. Я испытывал на себе незримое, но упорное, «релаксирующее» (выражение Мирона, «Чукчи «релаксируют», — сказал он) воздействие той жизни, она располагала к долгому созерцанию, к уединенному спокойному размышлению... Но думаю, что и Кубаева, не как геолога, но как писателя,

все-таки влекло к таким вещам, отсюда и его одинокое путешествие по Реке, и повесть «Дом для бродяг». «Я увидел излучину,— написал он в этой повести,— которую никогда не забуду... Берег с мачтовыми лиственницами осыпался на глазах. Огромные лиственницы кренились и падали в воду медленно и беззвучно, вздыхая тонны воды. За ними виднелся край заваленного снегом хребта и синее небо над ним. Встречный ветер резал лицо. С отрешенным восторгом я подумал, что если суждено погибнуть, то хорошо бы погибнуть, как гибли эти деревья». Так, мгновенно и не ожидая этого, он и погиб, потому что всякая смерть, в общем-то, гибель, а смерть в сорок с небольшим — тем более...

Дом, куда я пришел, таким и остался, как в куваевской повести, но сам Николай Ильич за эти пятнадцать лет, конечно, постарел. Он лежал в горнице, на застеленной кровати, в новых ватных брюках, заправленных в чистые, «домашние» валенки, в теплой серой, видно, что самодельной, тужурке из толстого сукна. Я не увидел «белоснежно-серых волос», голова его была чисто выбрита, и он, в своей тужурке, похожей на френч, вызывал в памяти образ какого-нибудь крупного военачальника тридцатых годов. Все черты лица — лба, прямого носа, подбородка, скул — были законченными и резкими, характерная линия мощного черепа, большие уши долгожителя, и я опять подумал, что, если бы Ксане Ивановской довелось лепить эту голову, ей так же не пришлось бы напрягаться и призывать на помощь творческое видение — можно было бы ограничиться простым копированием природы. Глаза у Саяпина были холодно-голубого цвета с точечным черным зрачком. А голос тихий уже, старческий был голос, но твердый. Я услышал от него об бесконечных перегонах, кочевках продолжительностью по три, по четыре года — одной такой хватило бы, чтоб всоминать потом всю жизнь, а тут вся жизнь была, по сути, кочевка.

— ...В сорок четвертом мы с Витей в Усть-Олое находились. Главк обязал обследовать пастьбища на Коркодоне. И вот отправились в «кругосветку». В Зырянке лошадей получили, продовольствие с расчетом на три месяца. На пароход погрузились, «Якут» тогда ходил. А лошади — дикиари. Как пароход гудок дал, они чуть с ума не посходили. Орут, как антилопы. Вверх до Оройка по Колыме поднялись, прииск такой был, оттуда надо кочевать. Болдырев говорит: «Тут местные какие-то, на оленях». А это ламуты. Я немного по-ихнему мог. Я с ними: «Гыр-гыр-

гыр» — поговорил. Им тоже кочевать и почти по нашему маршруту. Достали НЗ, угостили, договорились вместе идти. Докочевали до их стойбища, до Глухариного, дневали там три дня. Витя говорит: «Может, проводника дадут?» Дали двух, старика и молодого, и шесть выючных оленей, лошади наши так и не обучились. Мяса дали, а мы им кое-что из продуктов. Около месяца вдоль Коркодона шли на Кедон, левый приток Омолона. Обследовали, ничего подходящего нет. Пастьбища местами на третью категорию кой-как тянут, и тех мало... И вот в один прекрасный день по холмикам спускаемся, старик наш заметил: «Нютчи — это русские, значит — смотрите, там люди с оленями!» Далеко их видно по плоскогорью. А мы знали, что сюда единоличники убежали, Болдухиновы и Хабаровские, семь тысяч оленей у них. Они нас тоже заметили, давай оленей сгонять и подались. Мы спустились километра три, заночевали. Утром проводник наш, Афанасий, тоже Болдухинов, залез на сопку, кричит: «Виктор! Саяпин! Яранги вижу!» Взяли чаю, табаку, ни ружей, ни ножей не взяли. Проводник предупредил: «Не надо». Приходим в стойбище: одни ребята и старичье. Увидели нас, рассыпались, как их нет. По тальникам попрятались. Афанасий подходит к одной яранге, к другой, кричит: «Эй, кто тут, не тронем!» Из одной выползла старая-старая старуха. Афанасий ей: «Гыр-гыр-гыр, пусть не прячутся!» А он, оказывается, в тридцать седьмом по переписи населения работал и знал этих беглецов. И старуха его запомнила. Стала кричать что-то по-своему. Начали собираться. «А где взрослые?» Отвечают, что увидели, как мы идем, и стали оленей перегонять в другое место. Угостили стариков табачком, чайку заварили. Сказали: «Как вернутся мужчины, пусть приходят к нам». Воротились к себе, к вечеру чай заварили, консервы какой-какие достали, ждем. Видим: едут — пять кавалеристов. Да такие олени у них, мать твою, да как сохатые, и на каждого седок с винчестером. Оленей привязали, подошли, а винчестеры не снимают. Рослые все молодцы, здоровые...

— Да и вы с Болдыревым не маленькие, — заметил я.

— Да-а... Поговорили, они выпили спиртику, чайку, поели, а нам интересно. «Где ж у вас хозяин?» — «Он в стаде». А они у него, значит, как батраки, он их за это одевает, кормит. А нас еще в Зырянке предупредили: «Могут у этих беглецов скрываться беглые зэки, будьте осторожны!» Спрашиваем: «Есть ли у вас другие люди, другой нации, вроде русских?» Отвечают: «Нету. Видели, как проплывали они на плотах». Договорились, что завтра

хозяин приедет. Хотели проводника у него попросить, наших пора отпускать было. Назавтра сам кулачок привез, с ним еще человек пять. Лет средних, Болдухинов Петр, из Корякии сюда пришел. Мяса нам привез в подарок. Попросил у нас патрончиков, чаю, табачку — нет у них этого ничего. Мы пообещали. «А проводник?» — «Дам, — говорит, — даже двух. Осень, комара нет, стадо сейчас легче выпасать». Дал оленей выночных, рассказал, где какие места, какие корма, где гари. Мы зарисовали с его слов. И покочевали дальше... А этих-то потом на Рассохе привлекли в совхоз, объединили...

Пришла жена Николая Ильича, Наталья Ивановна, — пожилая, но моложе его, бодрая еще чукчанка, — села на низенькую скамеечку у стены.

— Скажи, как неделями на одном шиповнике жил, — вставила она.

— Да... Сейчас специалистам хорошо: транспорт, вертолет продукты забрасывает, на себе ничего не тащат. И то обижаются, все им вроде не то, снабжение, мол, плохое... А как же мы тогда? Пешком, на себе килограммов тридцать, и — по стадам. Целый день по тайге, по сопкам шлепаешь, на ночь костерчик, чай, утром дальше... А нонешние? «Мы по неделям оторваны от центральной усадьбы!» Я им: «Так ведь там ваша основная работа! В бригадах».

— Спичек не было, головешку возили на нартах, — опять напомнила жена.

— Сейчас оленей много стало, а пастбища подбились. Надо им отдых давать лет на пять, а беда — новых нет. Где пасти? Да пожары, погорело много. Вездеходы стали ездить — пройдет, искру заронит... Молодежь в поселок сорвась норовит, стадо бросит, волк нападет — вот и потери. Волков нынче развелось, одолевают, раньше не было столько, я всего несколько раз и встретил. Еду как-то с Кегалей один, транспорт проводил на Пенжину, возвращаюсь. Олени приустали — где сяду, а где в поводу ташу. Темновато уже, и вижу, фонарики светятся близко, четыре штуки. Что за чертовщина? Олени мои фыркают, рваться начинают. Э-э, да это «друзья»! И силуэты их вижу. Обошел их стороной, они на месте остались. Речку перешел, костер на другом берегу разложил, ночью. Так они, заразы, вылезли на сопку и давай выть — видят оленей-то... Глаза у них в темноте как красная смородина крупная...

— Да, ужасов много было, — сказала Наталья Ивановна.

— Знал, говоришь, Виктора? Он тогда все заявления, чтоб на фронт послали, писал. «Понимаем вас, — ему отвечали, — но сейчас нужно мясо, мясо и мясо!» Дальстрою, значит... Потом они были у меня, Виктор с Куваевым. Куваич-то меленький, шустрый такой. Лето было, на улице сидели, мечтали, разговорились. Олег хотел по Омолону пройти, а Виктор по Колыме. Хотел продолжение «Синего Орла» написать. Я ему свои дневники отдал, шестнадцать тетрадок: «Возьми, — говорю, — тебе пригодятся, а у меня пропадут, к такой матери». Вот и не пригодились... Эх, беда, хорошие такие мужики, много у них недоделок осталось... У меня тоже со здоровьем уж плохо. Вот лежу — ничего, встаю — голова кружится. Последний срок доживаю. Что ж!..

— Детей у тебя шестеро. Три сына, три дочери. Все работают. Семь внуков... Нет, соврала, девять. Или двенадцать? Дед, сколько у нас внуков?..

— А что бюст в кабинете, я не знал. Жаль, не дойти теперь, поглядеть...

И хорошо, и грустно было сидеть здесь, слушать этот неспешный, сплетающийся разговор.

9

На другой день выехали — двумя вездеходами. Один из них долго не могли отогреть, тронулись только часа в два. Накануне подыскали мне одежду: тяжелые ватные штаны с курткой, олени торбаса с чижами. Прихватил я на всякий случай и свой тулу. Ильченко был живописен в брюках из белых шкур, в такой же куртке с национальным орнаментом, в пастушеской шапке с кисточками. Он на своем вездеходе следовал позади, и нетрудно было догадаться почему: у него машина была новая, а та, на которой ехал я, латаная-перелатаная, по всему корпусу, где имелся хоть какой-нибудь изгиб, виднелись следы сварки. Защелка у дверцы кабины с моей стороны была сломана, однако, чтоб дверца не хлопала на ходу, существовало приспособление — коричневый ботиночный шнурок, которым ее очень легко можно было привязать изнутри. За рычагами сидел эвен Егор Иванович Хабаровский — «Хабаров род». Миновали крайние дома поселка, пошел разворачиваться все тот же пейзаж: обширное белое поле, установленное вблизи дороги редкими, одиночными лиственницами, поодаль они соединялись небольшими группками, еще дальше, к гори-

зонту, смыкались стеной. Мне вспомнилось известное изречение Кнуда Расмуссена, и я перефразировал его применительно к моменту: «Дай мне тундру и вездеход, а остальное возьми себе». В самом деле, славно, весело было ехать: белизна стылого пространства заполняла все, разливалась не только вширь, но и стремилась ввысь, пропитывала собою небо, блеск солнца сквозь эту белесую мглу был тусклым, но все равно слепил, и, странно, от этого блеска там, снаружи, казалось, еще холоднее, а в кабине было уютно, здесь стоял рев вездехода, от грохочущего егонутра исходило расслабляющее тепло. Наконец стало жарко, я расстегнулся, набил трубку, раскурил, думать ни о чем не хотелось — просто смотреть... Какой-то современный исследователь нашей документалистики классифицировал очерк: самой низшей, примитивной его формой являлся очерк путевой, дорожные заметки, несколько выше ценился очерк-портрет, затем следовал очерк-проблема, и была еще четвертая ступень, вершина жанра — забыл какая. Что до меня, то я с наслаждением довольствовался бы тем примитивным уровнем. Сказал же поэт:

...Я слишком слаб, не могу напрягаться,
смотреть на прошлое в микроскоп.
Вот конь и луг, утка и пруд,
утешительное описание
миропорядка без рассуждений,
слово в слово, как видят глаз.

Вот и я хотел бы так же — допустим: «Вездеход и дорога, дерево и снег». Но это же невероятно трудно, это невозможно уже — так воспринимать и писать жизнь! Ибо, чем больше вовлекаемся мы в ее, нами же изобретенную сложность и научаемся с виртуозностью разбираться в ней, тем меньше говорит нам изначальная простота. «Вот со-
боль...» Я видел, как он прыгал впереди, невдалеке, по снежной целине характерным скоком, потом замирал, вытягивался темным столбиком, поджидал нас, любопытствуя, и вновь уходил вперед. Вездеход наш неожиданно резко свернул, устремился влево от дороги и остановился, едва не воткнувшись в ствол лиственницы. Хабаровский подергал правый рычаг, тот болтался свободно, как перебитая рука. Наш брат славянин непременно нашел бы, как прокомментировать это событие, — лицо Егора Ивановича осталось невозмутимым. Молча начал отвинчивать гайки, чтоб снять панель. Оказалось, вылетел палец, скреплявший всю эту систему управления. Подъехавший Ильченко сказал: «А мы думали, вы за соболем погнались». Егор

Иванович нашарил палец, водворил на место. И снова — дорога. Иногда в сторону от нее отворачивал след, будто кто-то скользнул в лес на одной, невероятно широкой лыже. Охотник на «Буране»... Плавное поныривание вездехода, однообразный пейзаж повергали в оцепенение, близкое к дреме, и в этом состоянии моментами казалось, что в механическом грохоте двигателя вдруг будто прорезался человеческий голос, произносил какие-то слова, просто ты не готов был, не вслушивался заранее, а то бы разобрал...

На базу 7-й бригады приехали затемно. В густых сумерках различались несколько домиков на краю леса, дальше — заснеженное поле. Не понять было сейчас, что там, под снегом, — тундра, река? Крутились под ногами и прыгали, ласкаясь, радуясь всякому человеку, собаки. Пошли к бригадику. Жилище его было составлено из двух домиков типа вагончиков, соединенных торцами. Пристроен был самодельный дощатый тамбур. В доме бригадира сидели двое молодых ребят, ветврач совхоза Виталий Минченко и механик Сергей Матвейчук. В эти дни в бригаде проводился внеплановый забой, они приехали из Омолона помочь. Самого Дмитрия Ходьяло не было, он находился в стаде, вот-вот должен был подойти. «Бугор» скоро придет», как сказали ребята. Забавно было услышать в тундре — «бутор»... Действительно, пока пили чай, отогревались, послышались бубенцы. Мы вышли. За эти несколько минут все вокруг заволокла морозная мгла, из нее вдруг возникли большие ездовые быки. Приехавшие распрягали оленей, снимали поклажу с нарт. Один из пастухов — это и был Ходьяло — взял на руки укутанный в шкуры ребенок, понес в дом. Олени разбрелись между деревьев. Опять пили чай, Надежда Ивановна, жена бригадира, готовила ужин. Четырехлетняя Аленка, освобожденная от меховых одежд, играла сама с собой, лепетала по-русски в лад, напевала вроде: «Собака бежа-а-ла... Олень бежа-а-л...» Я присматривался к Дмитрию Константиновичу: худощавый эвен лет сорока с чем-то, тонкое интеллигентное лицо, высокий лоб — походил он скорей на учителя, чем на пастуха. Мне показалось, что я уж видел его когда-то. «Наверное, на фотографии, у Деда в музее», — решил я. Ходьяло оказался памятливее: в Москве, лет десять назад, в Доме литераторов. Они с женой были тогда в отпуске, гостили у Болдырева, пошли как-то в ЦДЛ. Там и встречались. Куваев еще был, Окуджава пел...

— Хотел, чтоб улицу в Омолоне назвали в честь Болдырева — не смог добиться, — сказал Дмитрий Кон-

стантинович.— Тут есть сопка, самая высокая, назвал ее «Гора Болдырева». Столбик поставил наверху из лиственницы. Написал: «Писателю Болдыреву от благодарных потомков Ромула». Ромул — мой отец...

Горела свеча, наигрывал тихонько портативный японский магнитофончик. К стене была прикноплена репродукция из «Огонька». Никола Пуссен — «Царство Флоры», семнадцатый век... Поужинали. Ильченко деликатно удалился, чтоб не мешать нам своим, так сказать, начальственным присутствием свободнее толковать о «проблемах», которые он и так знал наверняка — до оскомины. Для начала Дмитрий Константинович рассказал о бригаде. Бригада, как он ее назвал, «семейная». Отец его, Константин Егорович, брат Николай Константинович с сыном Гавриилом (тем самым, что написал в «Золотую Чукотку» «сердитое письмо» о снабжении тундровиков), жена Дмитрия Надежда Ивановна, «чумработница», или, как теперь определяют, «повар-швея». Есть еще две семьи — Василия Иннокентьевича Слепцова, он сейчас в стаде, и Егора Николаевича Дьячкова. Вместе с бригадиром — семья пастухов, а всего пятнадцать человек. Оленей — 2600 голов. Пастухи меняются через двенадцать часов, сутки отдыхают... В зимнее время стадо вокруг базы крутится, километров за двадцать, летом уходят и за семьдесят, за сто. Сейчас в долине Молонджи выпасают, приток Омолова, вот только оттуда приехал... Бригада перешла на подряд, второй год у нее свой трактор, на хозрасчете. Зимой стоит в поселке, летом работает в тундре. С использованием техники затраты становятся выше, себестоимость мяса увеличивается. Стоимость моточаса 10—12 рублей. Тут палка о двух концах. Но бригада может содержать трактор, лишь бы давать побольше мяса. Окупится. С техникой кочевать лучше. В любое время двигаешься. А с оленями — надо ждать ночи, потому что днем жара, овод. Грунт в тайге каменистый, твердый, так что техника пастбища не портит...

Получалось, что Ходьяло — за технику.

— А у каждой бригады в совхозе свой трактор? — спросил я.

— Нет, только у нашей. У других — один на несколько бригад. Техники не хватает.

Я вспомнил свою давнишнюю поездку в Чукотский район, в колхоз имени Ленина.

— А у Григория Семеновича Гутникова было, кажется, восемь бригад, и за каждой на лето закреплялся вездеход, —

сказал я — не в пример, конечно, омолонцам, а так, желая, скорей, «свою образованность показать». Потому что, что ж поделаешь, если нет ее, техники.

Дмитрий Константинович о делах Гутникова, бывшего председателя этого некогда преуспевающего хозяйства, разумеется, знал и имел собственное суждение.

— У них там «пряговых» не было, дали им технику, попользовались, она сломалась. А «пряговых» опять нет. Обязательно должны быть! На железку надеяться нельзя! — возразил он.

Получалось теперь, что бригадир — за олены упряжки. Но я к этому видимому противоречию был готов, существовало ведь третье, компромиссное мнение — о разумном сочетании «пряговых» и техники. Стало быть, его-то Дмитрий Константинович и придерживался. Да и все эти противоречия, эти теоретические споры, о которых поминал я выше, были вовсе не теоретические: как лучше? Вытекали они — это очень легко и скоро можно было уразуметь — из реальной ситуации: что имеем? А если уж пуститься рассуждать, «как лучше?»... К этому мы с Ходьяло в конце концов и пришли.

— Пасем, как наши предки пасли, — начал говорить он. — Только что печка... Домики эти недавно получили. Плохие, холодно в них, надо лучше... Еще передвижные надо. А эти перевозить нельзя — развалятся. Если понастоящему организовывать сменный выпас, в пределах перевалбазы, здесь надо свою дизельную электростанцию, пекарню, баню, клуб... Значит, нужно еще увеличивать бригаду, чтоб был дизелист, радиост, ветфельдшер, киномеханик. Кроме зимней нужна летняя база, на маршруте. Еще холодильник в каждой бригаде, ледник. Летом олень если больной, он погибает. Потери. А с холодильником — забил, мясо не пропадет... Чтобы увеличивать поголовье, о пастбищах надо думать, улучшать их. Много земли не используем: гари, болота. Культивировать... С волками надо что-то делать. С болезнями научились бороться, с хищниками — нет. Хитрые: как вертолет — они в распадки уходят. От волков основные потери. У нас, правда, нет — круглосуточно дежурим возле стада...

— А говорят, волк — санитар?

— Это он для диких санитар, а не для наших. Выбирает самых здоровых... Убойных пунктов нет. В каждом совхозе нужен, чтоб не гнать за тридевять земель, чтоб не получалось, что только кости пригоняем... Корали — чтоб для одной бригады штуки четыре...

— Ну, корали-то в ваших местах самим можно построить. Лес под боком...

— Самим можно, но некогда. Свои-то наряды некогда починить... Людей мало, скоро настя станет некому. Молодежь надо привлекать, а она не хочет. После восьмого класса еще просятся в тундру, после десятого — нет. Девушки — опрос в школе был — совсем не хотят. После техникума, института вообще никого не загонишь. Боятся плохих условий, отвыкли от холодов. Я так скажу: сильно грамотный оленевод — плохой оленевод. У него «вопросы»! «Люди, — говорит, — по Луне ходят, а мы в палатках живем!»

— А у вас какое образование, Дмитрий Константинович?

— Шесть классов и два года в вечерней. Восемь...

Действительно, из опыта своих тундровых встреч могу сказать, что почему-то так совпадало: самые опытные, знающие, заслуженные, награжденные орденами и, что главное, самые ревностно преданные своему делу оленеводы десятилеток не кончали. Выходило, что оленеводство сейчас держалось на стариках, вообще не мыслящих иной жизни, как в тундре, да на энтузиазме следующего поколения, которому уже за сорок, которое выросло во времена, когда требование «всеобщего среднего» не распространялось еще повсеместно с нынешней обязательностью и жизнь в поселке мало чем отличалась от жизни в стойбище. Теперь в поселках стало, конечно, поблагоустроеннее, а образовательный уровень оленеводов характеризуется следующими данными. До 76-го года среди пастухов всего 13% закончило восьмилетку, а с десятилеткой не было ни одного. А в 81-м году уже 42 % тундровиков имело восьмилетнее, среднее и среднее специальное образование... Но не в одном ведь образовании тут дело, не только оно определяет культуру человека, духовные его запросы! Знавал я председателя одного колхоза-миллионера в Крымской области. Он у себя театр строил, Дворец спорта с катком из искусственного льда, многоэтажную библиотеку. О его колхозе исследования писали, к нему министры сельского хозяйства из других стран ездили. А формального-то образования у председателя было — всего четыре класса... И при современных средствах информации «вопросы», как называл их Ходяло, могли возникнуть у каждого. Так что, уловив ironию в его словах «сильно грамотный», я спросил:

— А у вас они неужто не возникают, Дмитрий Константинович? Вы в Москве бываете...

— И у меня возникают. Однако я свое дело делаю. Стадо не бросаю... Всю жизнь в оленеводстве. А чтобы молодежь заинтересовать, выход один: резко улучшать условия жизни в тундре. Вообще, чтобы ставить оленеводство на хорошую ногу, надо вкладывать средства. Постарому нельзя!...

Тут мне снова припомнилась задоринская статья в «Магаданском оленеводстве», все сказанное Ходяло очень с ней перекликалось. И немудрено: Задорин в этом совхозе много работал как исследователь, снимал в бригаде Дмитрия Константиновича документальный фильм «Олеными тропами». Не суть важно было, кто тут на кого влиял, кто кому подсказывал: практик ученому или наоборот, — скорей всего, что к общему убеждению сообща и приходили. Задорин и сам не новичок в оленеводстве, на Севере живет давно. Я с ним встречался еще в шестидесятых, в Уэлене, он работал тогда в Анадыре и приезжал в колхоз по своим делам. О проблемах оленеводства мы, правда, с ним тогда не говорили — я был погружен в свою учительскую работу, захвачен к тому же новизной ощущений, и думаю, что у Виталия его теперешние идеи тоже не оформились еще в то время с отчетливостью... Статья его, я уж говорил, называлась «Оленеводство: ищите женщину!», с подзаголовком «К вопросу о социальных проблемах». Ход мысли Задорина был, в общем-то, прост. Поскольку это бесспорно, что современная оленеводческая бригада исторически вышла из оленного стойбища, автор напомнил, что же представляло собой прежнее стойбище в социальном смысле. Какова была его оптимальная — если позволительно перевести сюда термин, применяемый к оленевому стаду, — «половозрастная структура», как распределялись обязанности между членами этого небольшого, изолированного сообщества, какие существовали между ними родственные и деловые связи, каков был социально-психологический климат и т. д. Перечислил обязанности женщины, кстати практически не изменившиеся и по сию пору, в «век атома». Здесь цитирую: «... на ее плечах лежит ведение всего бригадного хозяйства. Она шьет ярангу или меховую палатку, меховую одежду, обувь и поддерживает их в исправном состоянии. Выделяет от 30 до 60 оленевых шкур ручным, по-современному примитивным способом, но который обеспечивает высокое качество сырья. Разделяет несколько десятков забитых оленей. С утра до вечера под-

держивает огонь в очаге, готовит еду. Заготавливает дрова и воду. Воспитывает детей-дошкольников... И всю эту работу женщина проводит в условиях постоянного кочевания, осложненных экстремальным климатом... Работница оленеводческой бригады проводит в яранге почти всю жизнь. И сколько бы мы ни хронометрировали ее суточный бюджет рабочего времени, меньше чем 14 часов работы не выходило». Затем Задорин проанализировал современную демографическую ситуацию в оленеводческих бригадах Магаданской области. В целом по области за последние двадцать лет из отрасли ушло более пятисот мужчин, что составляет четверть всех пастухов-оленеводов, а количество женщин-работниц оленеводства сократилось за это же время на девятьсот человек, то есть наполовину. Подсчитал он и соотношение на сегодняшний день холостяков и семейных. В группах выше 40 лет пастухов-холостяков насчитывается 28%, в группах до 40 лет не имеет семьи каждый второй, а среди молодежи — до 30 лет — одиноких 69%. Как они живут? «...Женщина уходит из оленеводческой бригады. Бесприютный мужчина переходит жить в простую брезентовую палатку, надевает вместо удобных, теплых, гигиенических тобасов валенки, вместо меховой кухлянки ватник или неуклюжую овчинную шубу. Питается однообразно и нерегулярно. Жизнь его в целом становится беспросветной, надежды образовать семью — почти никакой», — пишет автор. Равно и желающих оставить свою работу среди холостяков оказалось вчетверо больше, чем среди семейных...

Впрочем, не везде по области эта ситуация одинакова. Задорин выделил три региона, сравнил данные своих демографических исследований с производственными показателями, и вот какая сложилась картина. Там, где образовалась диспропорция мужского и женского состава бригад — Восточно-Приморский и таежный регионы, — там наблюдается и резкое сокращение поголовья, не выполняются планы по продаже мяса. Особенно удручающее положение в регионе таежном. Указанная диспропорция здесь самая высокая, самые большие здесь и потери. За последние семь лет стадо уменьшилось на третью — это при значительном резерве пастбищ, при устойчивых, в отличие от побережья, климатических условиях... Но вот центрально-территориальный регион. Тут в бригадах обычно по семь пастухов и пять работниц. Жены оленеводов не рвутся в поселок, дети-дошкольники живут в тундре вместе с родителями. Поголовье оленей выросло за десятую пяти-

летку на 39 тысяч, планы по производству мяса выполнены. В этом регионе расположен совхоз «Омолон». Задорин говорит: «Полнокровной в социально-демографическом аспекте выглядит оленеводческая бригада этого хозяйства. Она состоит из 8 мужчин и 7 женщин, 4—7 детей дошкольного возраста, то есть максимально приближена по своей структуре к традиционному оленному стойбищу. Мне не раз приходилось бывать в этих коллективах. Жизнь здесь, как говорится, бьет ключом... Укрепление внутрисемейных связей — одно из главных направлений кадровой политики в совхозе «Омолон». Конечно же автор не утверждает, что выявленная им причинная связь — единственная, что только в диспропорции в структуре бригад коренятся все беды оленеводства. Но все же многолетние наблюдения, неопровергимость собранного фактического материала позволяют утверждать: «Причина упадка оленеводства носит ярко выраженный социально-экономический, с резким уклоном в демографические вопросы, характер. На первый план всплывает проблема образования семьи, то есть присутствия женщин в оленеводстве как потенциальных невест...» Я пересказываю лишь основные положения статьи, но в исследованной ситуации есть масса тонкостей. Например, штатное расписание. По существующему положению в фонд заработной платы оленеводческой бригады включены всего две ставки работниц. Не исключение и те бригады, где женщин, как в «Омолоне», больше. Что же они, все те перечисленные обязанности исполняют бесплатно? Нет. Происходит попросту внутреннее перераспределение этого фонда, мужчины делятся с женщинами своим заработком. А вообще-то... В какой-то из недавних статей, посвященных все тем же демографическим проблемам, я читал, что сама повседневная деятельность с ее многочисленными регламентациями незаметно настраивает современную семью иметь не более одного-двух детей. Скажем: «Пассажир имеет право бесплатно провести с собой одного ребенка в возрасте...» И т. д. Не так ли и политика республиканского комитета по труду и заработной плате способствует диспропорции в структуре оленеводческих бригад. Несколько времени спустя, в Магадане, когда я говорил об этом с первым заместителем начальника областного управления сельского хозяйства Б. Н. Каныгиным, он сказал, что сейчас вышли с предложением, чтобы в бригаде были «узаконены» четыре женщины. Но это пока только — «вышли»...

Как же теперь поправить созданную ситуацию? Ведь

указать на причины упадка оленеводства — это полдела, нужно что-то и предложить. Чтобы «вернуть женщин» в бригады, а в широком смысле понимать надо так: чтобы создать нормальные условия для жизни в тундре и тем самым привлечь молодежь, Задорин предлагает строить для бригад стационарные жилищно-бытовые комплексы. Тут все продумано. Это должен быть дом, объединяющий под одной крышей несколько жилых помещений различного типа — для семей, для одиноких, зал для культурного отдыха, кухонный блок, санитарно-гигиенический, хозяйственный блок, кладовые, подсобки. Здесь же должна помещаться небольшая дизельная электростанция, котельная. Рассчитан комплекс на коллектив в двадцать человек, включая детей. Ставить его рекомендуется в районе осенне-зимне-весенних пастьбищ, где бригады проводят большую часть года. Социальные последствия этого начинания и вытекающий из них производственный эффект — очевидны... Надо сказать, что о подобных комплексах, как и вообще об улучшении быта тундровиков, говорится не впервые. Еще в 67-м году в «Магаданском оленеводстве» была напечатана статья архитектора А. Сахарова «Проект дома-комплекса для оленеводов, охотников и рыбаков Севера» с приложением чертежей. В 68-м в том же сборнике можно было прочесть коротенькую заметку оленевода из Якутии С. Степанова, автор которой, описывая трудности кочевого образа жизни в тундре, приходит к тому же выводу, что и Ходьяло и Задорин: «Вся эта неустроенность быта и объясняет нежелание молодежи идти на дальние участки, особенно в оленеводческие бригады: молодежь, естественно, тяготеет к культурным центрам...» В книге «Оленеводство Магаданской области», изданной в Магадане в 69-м году, ее автор В. И. Устинов писал: «Значение оленеводческих баз очень велико. Только с их помощью можно коренным образом изменить и характер производства, и быт оленеводов, быстрее ликвидировать остатки кочевого образа жизни и отсталые формы ведения хозяйства». В этой же книге, на с. 120—121, помещался проект бригадного дома и план всей базы, где предусматривалась даже вертолетная площадка и взлетно-посадочная полоса... Идея, таким образом, не нова. Да и сам Задорин признает, что высказывалась она еще лет пятнадцать — двадцать назад. Однако осуществить ее, по мнению автора, в то время было невозможно. Во-первых, отсутствовала необходимая материально-техническая база, во-вторых, старое поколение оленеводов тяготело еще к традиционному укладу жизни, психологически было

не подготовлено, чтобы воспринять «элементы нового быта». Теперь же и материальные возможности есть, и сами оленеводы увидели необходимость строительства таких баз. Например, бригада Ходьяло... В общем, чрезвычайно располагала к себе эта статья. Если прежде подобные выступления были редки, разрознены, звучали как-то робко в сравнении с другими рецептами для оленеводства, сводились в основном к общим утверждениям: да, надо, надо улучшать быт оленеводов! — и тут же позабывались, то задоринская подкупала неординарностью подхода к проблеме, основательностью доказательств, выкладками, фактами, убежденностью тона — чувствовалось, что автор шел не от теории, а от жизни, которую досконально знал. Короче, выдавалось научное обоснование... Меня только интересовало, не очередная ли это «мечта» для обозримого будущего, как и многие другие призывают развивать социальную инфраструктуру в народном хозяйстве области, или наконец народился здесь тип «магаданского практика»? Мы с Виталием встретились и теперь, спустя двадцать лет, как бы заново познакомились. Он рассказал, что разработал технико-экономические обоснования жилого комплекса и в скромном времени в совхозе «Победа» Ольского района, одном из самых отсталых по задоринским показателям, будет проводиться эксперимент по его внедрению. Эксперимент рассчитан на два-три года. Кроме того, в феврале прошлого года между бригадой Дмитрия Ходьяло и управлением сельского хозяйства было заключено что-то вроде своеобразного «договора». Управление обязалось выделить бригаде несколько домиков типа «Север-3» — «шесть спаренных домокомплектов», — а Ходьяло, со своей стороны, должен был испытать их на практике. Этот эксперимент уже начал... Похоже было, что дело стронулось. Но в управлении сельского хозяйства Борис Николаевич Каныгин — тоже старый знакомый и тоже по Уэлену, начинал там зоотехником, — быстренько выдал мне следующий подсчет. В одиннадцатой пятилетке на развитие сельского хозяйства области отпущено 329 миллионов рублей. Стоимость задоринского комплекса — 240 тысяч. Бригад в области — 270. Суммарно выходит, значит, около 65 миллионов. Следовательно, только одни комплексы, если внедрять их повсеместно, разом съедят годовое капиталовложение во все сельское хозяйство!

— Идеи — одна за другой. Еще недавно собирались всех сселять. Теперь наоборот: хутор для каждой бригады... Ну, в порядке эксперимента, конечно, сделаем, — сказал

заместитель начальника управления.— Посмотрим, что получится. Опыт этот должен быть. Да и не везде такой комплекс возможен...

На это у Задорина тоже имелись свои соображения. Комплексы, как он мыслил, должны были строиться на средства, выделяемые на жилищное строительство, подобно тому, как строятся, например, дома в городе. Их следовало узаконить именно как жилье, а не производственный придаток к оленеводству. Тогда затраты на их строительство и содержание не лягут на себестоимость производимой продукции. Ссыпался на постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению жилищных, коммунально-бытовых и социально-культурных условий жизни сельского населения».

— Стоимость только одной квартиры в Магадане — несколько десятков тысяч рублей. Но ведь надо! И строят,— доказывал Виталий.— Почему же не надо в тундре?... Говорят, дорого. А все дело в том, что оленеводство слишком долго было рентабельным, не требуя почти никаких капиталовложений. Не привыкли вкладывать в него средства! Оленеводы жили, как в прошлом веке, и давали десятки и десятки миллионов прибыли. Мы перед ними в моральном долгу. Из одного только морального долга мы должны бы все это построить!.. Я предлагаю программу, ориентированную прежде всего на оленевода. В конце концов, человек для оленя или олень для человека?!

Вот это, о «моральном долге», звучало уже мечтательно, хотя я-то Виталия как раз очень хорошо понимал. Я понимал так: пусть даже его эксперимент в «Победе» не увенчается успехом, то есть не добьются поселившихся в его комплексе и обиженные вернувшимися женщиными оленеводы, не выдадут спустя положенные два-три года желанного увеличения поголовья, а строить эти комплексы все равно надо... Но все только начиналось, и как оно обернется в действительности, угадать сейчас было невозможно. А посему вернемся к тому, что уже существовало в реальности, что можно было осознать, то есть к домикам, в одном из которых мы с Дмитрием Константиновичем сидели в тот вечер и вели свой разговор. Одна свеча дрогнула, поставили другую. Алена вдруг примолкла, потом раскапризничалась, раскашлялась каким-то нехорошим сухим кашлем, жаловалась, показывая на грудь, что там болит. Она, оказывается, недавно приехала в тундру, до того была в детском саду в поселке, Ходяло скучал по ней и забрал. Кроме того, она там простыла. Назавтра Дмитрий

Константинович должен был уезжать с нами, чтобы лететь потом в Билибино, на слет. Я убеждал его везти dochь обратно, показать врачу — очень похоже на воспаление легких.

— Заболеет — на слет не поеду, — встревоженно сказал Ходяло.

Заглянул Ильченко, чтоб показать мне, где будем ночевать. Уходя, я еще раз посмотрел на картиночку на стене. Полунагие люди в грациозных позах, яркие синие и пурпурные пятна легких одежд. Нарцисс не мог никак оторваться от своего отражения в воде, Аякс рушился на меч. По небу бог солнца гнал свою колесницу, рыжеволосая нимфа не сводила с него глаз, за что и была превращена в подсолнух... Эх, и это здесь, в омолонской глухи!.. Ночевали в пустовавшем домике. Там уже топилась печка, кипел чайник, сидели ветвач, механик и другой вездеходчик — Федоров. Русоволосый, крепколицый, скулы и подбородок ровным слоем покрывала светлая недельная щетина. Отпусти он бороду — выпитый был бы Семен Дежнев, каким изображен он на маяке в Наукане. Разговор велся об охоте, о рыбальке, точно так же, как ведется он повсюду, — с разведением рук в стороны, только руки разводились здесь гораздо-гораздо пошире.

— Я бросаю — раз! — она блесну откусила. Харитон рядом бросает, вытаскивает, смотрю, у нее сбоку из пасти — моя блесна. И все щуки как одна — вот такие!..

— ...А на зайца когда петлю ставишь, надо перед ней две веточки воткнуть и нитку натянуть. Он за нитку задевает, ветки его по бокам — хлесь! Заскакивает в петлю как угорелый...

Перед сном я вышел из домика, постоял. Ощущение великого отъединения от всего прочего мира наваливалось сразу за порогом. Окрестности не различались в ночной и морозной мгле, небо было ясно. Большая Медведица нависала прямо над головой. В воздухе, когда немного попривычнее делалась тишина, начинал различаться какой-то мерный шорох. Я задерживал дыхание, чтоб вслушаться, — шорох прекращался. Начинал дышать — и вновь шуршало, как сыпалось что-то. Может, это и называлось «шорохом звезд»? Подошел, позванивая, олень, ткнулся мордой в подставленную рукавицу. Бока его еще хранили след упряжи... По давнишней привычке — привязать к чему-нибудь мелькнувший и безвозвратно канувший миг, — я огляделся. Рядом с домиком чернела на фоне неба одинокая, далеко выступившая из леса старая накренившаяся лиственница. Верхушка ее обломилась, но рост про-

должал высоко вознесшийся мощный сук. Он отходил от основного ствола горизонтально, затем преломлялся под прямым углом, как колено печной трубы, и устремлялся ввысь. Я все смотрел на эту лиственницу, чтобы запомнить ее и, если когда-нибудь опять окажусь здесь, узнать. Или, может, кто-то другой узнает ее по моему описанию...

10

Ночлег наш, если б наблюдал кто эдак со стороны, выглядел, наверное, комически. Деревянные двухъярусные койки шатались со страшной силой, устроиться наверху нечего было и думать, потому что все сооружение моментально начинало валиться. В итоге мы с директором разместились на нижних полках, ребятам пришлось лечь на полу. Постелью служили оленьи шкуры. Ильченко решил спать не раздеваясь, я последовал его примеру. Ватник пристроил под голову, полушубком накрылся. Моя «вагонка» оказалась поустойчивее, а Владимиру Ивановичу даже на нижней полке особенно ворочаться было нельзя — несколько раз его ложе рушилось прямо на раскалившуюся печку, директор успевал соскочить и чертыхался в темноте. Домик скоро высыпал, ребята на полу чувствовали это быстрее, кто-то из них вставал, снова принимался кочегарить печку до свечения. Опять становилось жарко, как в финской бане, даже ноздри подпаливало. Я переворачивал ватник нахолодавшей от стены стороной, утыкался в него разгоряченным лицом. И так всю ночь... Наутро, после чая, выгрузили из вездеходов привезенные в бригаду продукты, погрузили громыхающие оленьи туши. Ходяло не рвался тотчас ехать, ему еще надо было кое-что поделать по дому: дров напилить и т. д. У меня было время рассмотреть базу. «Спаренный домокомплект» имелся только у бригадира, остальные домики стояли по одиночке. Рядом с Дмитрием Константиновичем жил его племянник Гавриил с женой и ребенком — даже для такой небольшой семьи домик, если проживать в нем постоянно, был, конечно, тесноват. Холод проникал в него отовсюду: от пола, от двери, открывающейся прямо на улицу, от оконца, в которое было вставлено одно-единственное стеклышко и даже не замазано — просто наживлено на гвоздики. Из «мебели» — те самые койки, на которых днем можно было сидеть, между ними столик, в углу, возле печки, полочка для посуды... Конечно, если уж ничего лучше нет, наш брат, землепроходец, нашелся бы: чем-нибудь, хоть по-

стельными шкурами, утеплил дверь и стены, раздобыл бы, вставил еще пару стекол и замазал, напилил бы снегу, выложил вокруг дома высокую завалинку. Но у исконного оленевода никаких таких домостроительных навыков, навыков «доведения до ума», нет! Да в тундре и гвоздя подчас не сыщешь, — стало быть, на совесть надо делать!.. Поодаль от домиков, поглубже в лес, стояла палатка с торчащей из нее железной трубой, вся белая от инея. В ней жил пастух Егор Николаевич Дьячков, тоже с женой и маленьким ребенком. Прямо на землю, не сплошь, не везде, были настланы доски, поверх досок — оленьи шкуры. В глубине лежали кукули, одеяла, подушки. Вокруг железной печки, на досках же, была расставлена вся немудреная посуда. Сидя на шкурах, мы попили чаю. Младенец в меховом комбинезончике с наглухо защитными штанами и рукавами таращился с колен матери. К комбинезончику пришил был маленький колокольчик. Я спросил зачем. «Так — красиво», — ответила женщина... В домик, в тот самый, в пустовавший, эта семья переходить не хотела, и я хорошо понимал почему. В палатке, среди шкур, привычнее, надежнее.

...Меня разобрала досада. Чтобы читателю стал более понятен ее смысл, придется вновь ссыльаться на прессу. «Правда» за 19 октября 79-го года. Заметка «Тундра с комфортом»: «Складная юрта с теплым двойным полом, которая в считанные минуты складывается в небольшой пакет, прошла испытания на Ямале. Это одна из новых разработок коллектива Ленинградского зонального научно-исследовательского и проектного института типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий...» «Правда» за февраль 80-го года. Столы же маленькое сообщение «Юрты для северян»: «Батайский завод строительных материалов освоил выпуск юрт для оленеводов и промысловиков Крайнего Севера... Сооружение утеплено тканью «олень». Домику не страшны сильные ветры, проливные дожди, 60-градусные морозы...» «Правда» за май того же года. Здесь уже голос с места: «Оленеводы ждут». Авторы заметки — директор совхоза на Камчатке. «Основным жильем пастухов в летнее время по-прежнему остается брезентовая палатка. Комфорта в ней никакого, перевозить ее тяжело. Мечтают оленеводы о замене тяжелых брезентовых палаток легкими, прочными, из непромокаемых материалов. Но где они? Одному из авторов этих строк в 1977 году довелось побывать на Анадыре, на всесоюзном совещании оленеводов. Управление Севера Мини-

стерства сельского хозяйства РСФСР демонстрировало там прекрасное жилье: дюралевый домик-балок. Утепленный, благоустроенный, легко транспортируемый всего двумя парами оленей... Беда, что делают таких домиков всего шесть штук в год! Осенью следующего года... Терпение, читатель. Вникать в проблему — так вникать! В сентябре 81-го года начальник помянутого Главного управления Севера М. П. Кошелев со страниц «Комсомольской правды» заверил: «Найден подрядчик для изготовления разборных домиков «Север-3»... Начат выпуск утепленных юрт. Разрабатывается проект базового дома-шестигранника повышенной комфортности...» А спустя еще почти два года, в мае 83-го, в опубликованной в «Правде» статье Председателя Совета Министров Якутской АССР С. Маркина «У самой кромки океана» опять можно было прочесть: «Давно ведутся разговоры о том, что необходимо улучшить условия труда и быта пастухов. Ведь они, находясь за сотни километров от центральных усадеб совхозов, по сути, не имеют хорошего жилья. А институт ЛЕНЗНИИЭП (Ленинград) затягивает его проектирование. Это сдерживает приток молодежи, создание новых семей. Между тем в Якутском институте сельского хозяйства разработан и опробован новый тип дома для оленеводов («Север-3»). Наладить его выпуск пока не удается...» Для чего я это все свел? Обычно мы воспринимаем подобную информацию обособленно, в пределах одного газетного номера, и всякий раз нам все понятно: существует проблема... проблема разрешена... проблема еще не разрешена, но в скором времени должна решиться... Хотя и здесь могут возникать вопросы. Например: «шесть штук домиков в год». Кто же, думаешь, их выпускает, где это мощное предприятие? Мы привыкли к сотням тысяч квадратных метров жилья в год, а тут «шесть домиков», наверняка метров по двенадцать каждый... Да, когда же следишь за каким-нибудь, пусть малым, делом, но постоянно, тогда понимать и вовсе трудно. ЛЕНЗНИИЭП испытал юрту... Батайский завод освоил выпуск юрт... Жильем пастухов по-прежнему остается палатка... Найден подрядчик для изготовления «Севера-3»... ЛЕНЗНИИЭП затягивает проектирование жилья для пастухов... Наладить выпуск «Севера-3» пока не удается... «Где же эти самые юрты? — начинаешь спрашивать себя. — Может, их тоже делают по шесть штук в год? И выпускают наконец этот «Север-3» или не выпускают?!» А о «доме-шестиграннике» понимаешь, что задаваться такими вопросами рано...

Но теперь я его видел воочию. Сейчас, при свете дня, можно было даже прочесть на наружной стенке: «Север-3», № 8—1, 83». И что-то еще, головоломное: «ТУ 78-560-82». Делали его, я узнал, на «одном из предприятий Магаданской области», своими силами то есть. Ну, с изготовителями все было ясно. Но на автора «проекта» я хотел бы посмотреть. Или, может, их была, как теперь водится, целая группа, КБ. И так долго, видать, трудились, чтобы додуматься до этого варианта купе в старом общем вагоне и затащить в него железную печурку. Любой вагончик из тех, что строители в Москве возят за собой с места на место по новостройкам, был прочнее, поместительнее, теплее, уютнее и больше подходил бы для тундры, чем этот, «сконструированный специально для оленеводов Севера». «И это уже — «три», «Север-3», — вдруг сообразил я. — Стало быть, логично предположить, что существовали еще «Север-2», «Север-1»? Интересно, что те-то собой представляли?» Но более всего удивляли не конструкторы, не подрядчики, но — заказчики, согласившиеся принять и использовать такой домик. Ведь упрекнуть их в том, что они не представляли жизни в тундре, нельзя было. Все, кого я знал в Магадане и кто занимал там теперь различные ответственные посты, сами в свое время лет по пятнадцать, по двадцать, а то и больше прожили на Чукотке, поработали на всяких должностях, от зоотехников до директоров совхозов, до секретарей райкомов, искрестили тундру вдоль и поперек, доводилось и на собаках. Так что одного взгляда, без всякого эксперимента, было бы им достаточно, чтобы уразуметь, что никуда этот «Север-3» не годится. И тем более не годится он в восточных прибрежных районах, где леса, как на Омолоне, нет, где чукчанка для очага в яранге собирала по речкам тонкие тальниковые веточки и расходowała их экономно, только чтоб приготовить еду. «Чем этот домик топить? Угля в тундру не навозишься... Так зачем экспериментировать, что же тогда такое этот «эксперимент»?» — думал я. Для Задорина ясно: это возможность хоть как-то зацепиться, начать, подтвердить, пусть через производственные показатели, свою очевидную мысль, не требующую, в общем-то, никаких подтверждений, — что люди в тундре должны жить нормально. Для иных же... это привычная «видимость дела», это возможность сказать: «Да-да, как же! Вот проводим эксперимент...» И допустим, что эксперимент удастся — что еще не означает, что идею тут же кинутся воплощать, — но допустим, что воплощать все-таки начнут. Построят в конце концов для всех бригад

капитальные жилищно-бытовые комплексы. Но темпы! Не получится ли так, что не успеют еще эти комплексы внедриться повсеместно, а окрестная жизнь опять ушагает вперед и в глазах будущей молодежи они будут выглядеть так, как в глазах молодежи современной — яранги?.. Тут опять же можно было только гадать...

Дмитрий Константинович управился по хозяйству, после обеда поехали. В последний момент, уже сидя в вездеходе, я успел заметить: на заиндевевшей палатке, в том месте, где была печка, начало проступать зеленое пятно... Теперь с Егором Ивановичем ехал Ходяло с дочкой, а я втиснулся между Федоровым и Ильченко на какой-то выступ вроде коробки скоростей. Вскоре передний вездеход остановился, на этот раз у Егора Ивановича «полетел кардан». Директор, недавно уверявший меня, что трех вездеходов им вполне хватает, потому что основной упор в хозяйстве — на «пряговых», произнес прочувствованную речь о «технике». Я решил пойти вперед. Двигался, не торопясь, останавливался, разглядывал опять следы, закаменевшие стволы деревьев, в которых не могло быть сейчас, казалось, никакой жизни. Когда ехали сюда, Хабаровский рассказывал, что раньше на этой дороге обязательно каждый раз встречал лося. Но после того как в Омолоне образовали отделение Эвенского госпромхоза — с лицензией на сто лосей в год, — попадаться они стали редко. Однако я все-таки надеялся, что мне повезет и я увижу. Колымские лоси считаются самыми крупными в мире, а омолонские среди них — самые-самые. Наши материковские «лесные великаны» в сравнении с ними как телята... Но лосей не было, не было даже следов. Был абсолютный минимум температуры и абсолютный максимум тишины. Переносить такую тишину невозможно, начинает что-то мерещиться. Мне, например, казалось, что в отдаленных рощицах тоненько посвистывают птички... Примерно через час вездеходы меня догнали. Федоров подтвердил, что птички точно могли быть, он не знает, как они называются, но маленькие такие, серенькие, прилетают зимовать...

На другой день мы улетали. Дежурная по гостинице, Фаина Николаевна, заботившаяся обо мне все эти дни, накормила напоследок жареным оленевым мясом, просила «не забыть вставить ее в книжку». Оленеводы собрались в старом, тесном аэропорту, построенным еще во времена, когда через Чукотку перегоняли самолеты по ленд-лизу. Всего со всех бригад съехалось человек двадцать пять. Ходяло тоже был здесь — все-таки прав я оказался насчет

воспаления легких, — но врачи его успокоили, на слет он поехал. Пришел пустой «АН-24» — спецрейс. Когда набрали высоту, по радио объявили: «Дорогие участники слета оленеводов! Экипаж самолета поздравляет вас и желает новых трудовых успехов». Оленеводы похлопали. Рядом со мной сидел пастух в нарядной шапке из камуса, отороченной соболем, расшитой зеленым бисером. Еще в порту я обратил внимание, что у каждого с собой какие-то разно-калиберные коробки, свертки, аккуратно перевязанные нарядными разноцветными лентами. Я поинтересовался у соседа, что они везут, предположив, что это, наверное, подарки, которые омолонцы на слете вручат представителям какого-нибудь другого, соревнующегося с ним совхоза. А те, в свою очередь, им... «Подарки везем, — сказал пастух, — сами себе. У РАПО своих денег нет, а пыль в глаза пустить надо. Там сдадим, потом нам вручат, повезем обратно...» Опять летели вечером, и не видно было гор. В билибинской гостинице Владимир Иванович захлопотался до ночи, заботился о своих оленеводах, как о малых детях. Бегал по номерам, проверял, кто как устроился, всем ли хватило места, сам таскал кресла-кровати... С утра все отправились в Дом культуры. Меня обогнал Ильченко — раздетый, в одном костюме, он несся через площадь с коробкой в руках, бормоча: «В Тулу со своим самоваром!» При входе красовался лозунг: «Слава вам, люди, песен достойные!» В фойе было людно, торжественно, собирались со всего района, приехали гости из Анадыря, Магадана. Висели таблицы показателей, объявления об экскурсии на «атомку», о соревнованиях по национальным видам спорта, о вечере чествования оленеводов. Со звонком все потянулись в зал. Я уж не пошел — мне надо было собираться на Дальний...

11

«Билибино держится на трех китах, — как выразился один мой приятель. — БАЭС, АГРЭ и БГОК. И главный кит, конечно, — БГОК». Какой кит второй, он не назвал, но это было ясно. Если Билибинский горно-обогатительный комбинат занимается непосредственно добычей «металла», то поиск, разведку обеспечивает АГРЭ — Анюйская геолого-разведочная экспедиция. Перед отъездом на Дальний побывал я и там и там. И директор БГОКа Болеслав Иосифович Василяускас, и главный геолог АГРЭ

Александр Иванович Толокольников — оба северяне с солидным стажем — говорили то же, что я уже слышал в Магадане от замдиректора СВКНИИ В. И. Гончарова. Что россыпи отрабатываются, что ориентироваться надо на рудные месторождения, и т. д. «Основной недостаток россыпных — быстрое истощение. Бум с россыпями длится лет двадцать пять — тридцать, это в любом районе», — сказал Толокольников. — Раньше брали, что плохо лежит. Сейчас нужны новые методы поиска. Уменьшение ассигнований, мы считаем, ни к чему в этой ситуации. Возможно, что со временем опять начнется отток средств сюда. Но когда? Им наверху виднее... Строительство рудника нужно — прямо-таки скоропостижное!» — так заключил главный геолог. А директор БГОКа подтвердил: «Сейчас надо активно переходить на разработку рудных, коренных месторождений». Рудник, как я уже упоминал, был, наряду со 2-й очередью БАЭС, другим важным объектом в Билибинском районе, записанным в комплексную программу развития производительных сил области. Сроки его строительства определялись 82—88-м годами. Однако два года прошло, а начато оно до сих пор не было.

Съездил я и туда, на место будущего рудника, благо это совсем недалеко от Билибино: со вторым секретарем Билибинского райкома партии И. М. Кущом мы за какой-то час доехали на его «Волге». Высилась там гора метров в девятьсот, на белых ее склонах виднелись на разных уровнях, будто норы, черные дырки — пробитые геологами разведочные штолни. Внизу, в долинке, приютился поселочек геолого-разведочной партии в считанное количество домиков, с оригинальным, сами понимаете, названием Безымянный. Поселочек такой сразу отличишь: ставится он наскоро, но окончательно, и в таком виде, не переменяясь почти, служит столько, сколько нужно. А уйди из него, допустим, завтра все его обитатели, и уже послезавтра вид у него будет такой, словно не жил в нем никто сто лет. И название его позабудут. В самом деле — как безымянный солдат... Тут можно было бы пуститься в очередное лирическое отступление — на сей раз о поселках для геологов, — но рановато еще. Попозже... Главный геолог ГРП Владимир Андреевич Яковлев поведал историю открытия месторождения. Ничего захватывающего, драматического: кто-то, например, верил, а большинство не верило, и кто-то полжизни положил, но убедил, доказал! — ничего такого в этой истории не было, представляла тут обычная, долгая, будничная работа. Без фанфар. Но главная-то трудность

как раз и заключается — это тоже общеизвестно — в длительности будней. Может, это и подразумевал Владимир Андреевич, когда сказал — «корявая судьба»... Искать начали давно, тридцать лет назад, в 54-м. Результат был... — здесь Яковлев начертил в воздухе ноль, — потому что искали в осадочных породах. В 56-м обнаружили в коренных, это и было открытием. Спустя десять лет создали горную партию. Защищали 1-ю очередь. Жильный тип, квартирцевая формация, в технологическом отношении — «сахар», то есть легко обогатимое, простая гравитация. На Чукотке это одно из первых, если не первое подобное месторождение. Но по запасам было «средненькое», «наверху» им не заинтересовались, отнесли к нерентабельным, забалансовым. Встал вопрос о целесообразности дальнейшей работы. Деньги выделяли только под прирост запасов, а на разведку не давали. Партия сократилась от трехсот человек до ста. Работа все-таки продолжалась, и вот в итоге наткнулись на «слепые рудные тела». То есть не выходящие на поверхность. Теперь будут ставить рудник. Вот и вся история... Позже я спросил у Б. И. Василяускаса, отчего же так затягивается начало строительства и какова тут реальная перспектива. Оказывается, не готов был еще проект, только в этом году должны были его закончить. Имелся уже, правда, проект на ЛЭП, но не давали денег. Лишь в этом году Минцветмет открыл финансирование. Выделили миллион рублей. Это только часть линии и часть дороги... Вот и все, что можно пока сказать о руднике. Но меня по-прежнему влек к себе Дальний, и влек тем более, что восемь лет назад я застал почти самое его начало, а теперь, судя по словам главного геолога АГРЭ, близился его конец.

...Мелькнул на выезде из Билибино последний, окраинный дом нового микрорайона, прозванный билибинцами за разноцветную яркую раскраску панелей «Кубиком Рубика». На шестнадцатом километре дороги в аэропорт ее пересек и ушел вправо трехсоткилометровый зимник на Зеленый Мыс, по которому я ехал в 76-м году. Там, не доехав до Зеленого Мыса, можно было свернуть с основной трассы налево, на Анюйск, переехать Малый Анюй, Большой Анюй и — очутиться на Дальнем. Но в этот раз я не мог тратить две суток на подобное путешествие — и без того уж выбивался из своего графика. Теперь я летел на «Аннушке», за эти годы на Дальнем оборудовали полосу. Летели на запад, вдоль 68-й параллели, и пейзаж не переменялся: невысокие сложенные сопки с разрозненны-

ми лиственницами на склонах, распадки, где деревья сгущались, многочисленные ручьи и речки, чьи русла можно было угадать сейчас лишь по изгибающимся коричневатым полоскам кустарника. Я силился вспомнить термин, обозначающий вот такое петляние — будто шов сметывали крупными редкими стежками,— и вспомнил наконец: м е а н д р ы... Тихое упоение мной владело, как бывает, когда осуществляется давний замысел, но осуществляется не вдруг, не внезапно, а потому что ты сам потрудился для этого, приложил какие-то силы. Я даже бормотал стихи, некую вольную трансформацию запомнившихся с юности строчек: «А там, во глубине Чукотки, там вековая тишина... Меандры рек ее, подобные — чему?..» Я пел даже, благо не слышно было меня за ревом мотора: «Напоминают мне оне другую жизнь и прииск «Дальний»...» и т. д. Через час с небольшим лёту я его увидел — темную россыпь домиков на склоне пологой сопки, обрыв над Тополевкой, различимый даже с высоты. На горизонте высилась белая стена — отрог Кургинского кряжа. Я увидел, как прибавилось отвалов вдоль окрестных ручьев, они выстроились рядами и походили на гигантские, занесенные снегом стога. Я помнил названия этих ручьев, характерные для семидесятых: Ерман, Ерник, Шалун, Сюрприз, Дивный, Дар, Руслан, Людмила... В прежние годы названия давали попроще... К приземлившейся «Аннушке» тут же подрулил автобус забрать пассажиров и почту. С автобусом был человек — в унтах, в короткой меховой шубе с капюшоном. Мы вместе доехали до конторы прииска, вместе зашли в нее и в его кабинете познакомились. Это оказался замдиректора прииска Николай Иванович Алексеев. Я представился, он начал дозваниваться кому-то насчет моего устройства, потом сказал секретарше: «Пусть Лида с нижней гостиницы зайдет, я ее совсем не слышу». Появилась, стало быть, за это время на Дальнем гостиница, и раз — «нижняя», то, следовательно, не одна. Сам Николай Иванович работал здесь с 76-го, то есть именно с того года, когда я приезжал сюда. Значит, был в курсе всех перемен. Не мешкая я попросил его показать мне поселок. Мы сели в тот же автобус и отправились.

О том, что представлял собой Дальний восемь лет назад, я писал когда-то в очерке «Город тысячи мужчин». Но чтоб нынешняя ситуация была читателю понятнее, прибавлю еще кой-какие, не упомянутые тогда, подробности из его истории, ибо судьба прииска и поселка является живой пример «типичного в типических обстоятельствах». Образо-

вался Дальний в 73-м году, причем образовался весьма спешно. В мае того года геологи начали здесь поисковые работы. Два трактора было и два буровых станка. Летом почва оттаяла, кругом болото, техника тонула в грязи. Номер линии, открывшей россыпь с ПС, промыщленным содержанием, геологи до сих пор помнят — двадцатая. Когда сообщали об этом по радио, начальник Иннахской ГРП Наталья Евгеньевна Хабарова — впоследствии Герой Социалистического Труда — переспрашивала: «Миллиграммов?» — а ей повторяли: «Граммов!» Она опять переспрашивала — никак не могла поверить. Разведочные работы еще продолжались, месторождение еще было не защищено, а его уже передали горнякам. Первая бригада прилетела осенью — тем самым вертолетом, на котором улетали геологи. Выгрузились в снег, поставили палатки, сразу принялись сооружать поверхностный комплекс шахты, чтобы подготовить ее к нарезке. Промывальщица Зоя Павловна Иващенко, бывшая среди первопоселенцев, рассказывала о тех днях: «В одной палатке была дизельная, в другой столовая, в третьей жили. На воду растапливали лед, пилили его на речке, возили на волокушах. Продукты доставляли нам вертолетом, — бывало, погоды нет, так сидим без хлеба, без масла... Нас, женщин, приехало пятеро: промывальщиц двое, я и Вера Ткач, компрессорщицы Лариса Наумова и Катя Борецкая и повар, пожилая, все ее звали — Михайлова. Попозже для нас отдельный домик построили...» Кстати скажу о Зое Иващенко. В 76-м, когда мы познакомились на Дальнем, ей было лет тридцать пять, из них двенадцать — на Чукотке. Судьба этой миловидной, черноволосой, темноглазой женщины была самая обычная, но и характерная. Родом с Донбасса, отец — шахтер. Закончила там десять классов, устроилась на работу в Соззепечать. Как-то приехала в отпуск соседка, она работала на Чукотке. Уговорила и Зою поехать: «Посмотришь новые места, там хорошо, не скучно и заработка...» Так оказалась Зоя на прииске. Пошла на курсы промывальщиц, потом на курсы съемщиц. С тех пор так и работала: летом — на съеме, зимой — в промывалке. «Сколько мерзлого грунта оттаяли, а сколько золота прошло за эти годы — ой!.. Когда золото идет, время самое напряженное, с весны до осени без отгулов работаем, если надо... По норме положено два прибора снимать в день, а мы, если надо, четыре снимаем, пять снимаем, если надо... Как-то директор позвонил: «Девчата, выручайте, не хватает до плана!» А там, оказывается, на ГЭПе, стакан, по которому порода из бункера на

колоду идет, был дырявый, сквозь дырку утекало, там свой отвальчик образовался. Бульдозер туда не загонишь. Мы на волокуши лопатами кидали, оттаскивали и вручную мыли. Всю ночь работали, комары едят, дыхнуть невозможно. План дали. Директор потом сказал: «Лучше трех промывальныхниц держать, чем один ГЭП». А места, правда, хорошие, в лес можно сходить, на сопку. Вот только комары. И накомарник надеваешь, и мажешься — все равно, заразы, летят. Если бы не комары, тут курорт был бы летом, люди сами платили бы, чтоб сюда ездить... А мы вроде привыкли. В отпуске побудешь — тянет. Я в Ялту съезжу, в Кисловодск, к своим, месяца через два уже надоедает, говорю матери: «Поеду домой». Она: «А тут тебе что, не дом?!» — «Тянет, и всё тут!» — говорю...» Рассказала еще Зоя, что был у нее муж Яша, бульдозерист. В 65-м за него вышла. «Но пил по-черному! И как напивался — за рычаги... У нас «бунгал» был, однажды я лежала на койке, читала — чувствую, он двигается, потом накреняться стал, койка моя к другой стенке поехала. Еле успела выскочить... Десять лет терпела, потом ушла...» Пока мы разговаривали, сидя в ее домике, заскочил веселый чумазый парень, лицо его мне было знакомо, да и он меня не раз, наверное, видел на шахте с блокнотом в руках, поэтому не удивился, зачем я здесь, поздоровался, напился воды, исчез за дверью и оттуда уже крикнул: «Я с ребятами баню топить!» «Это Коля, мой друг, кузнец из нашей бригады. Мы с ним в отпуск вместе собираемся», — сказала Зоя. —...Я его давно знаю, — прибавила она. — Еще на Дымном вместе работали. И на Крутом, на Мандрикова...» «Кочевая у вас жизнь», — заметил я. «Нет, — возразила женщина, засмеявшись. — Я не кочую. Я всегда с бригадой. Куда бригада — туда и я...» Такие вот женщины, хочу я сказать, — терпеливые, нетребовательные к жизни с ее так называемыми «благами», надежные и безотказные в работе, — именно такие женщины и могли осваивать наравне с мужчинами разные дикие углы на Чукотке вроде Дальнего...

Да, так вот, а причина такой спешной выгрузки на Дальнем была одна: план горел, во что бы то ни стало надо было дать план. От двух приисков — карьера имени Билибина и «45 лет ВЛКСМ» — образовали здесь участки, кинули сюда лучшие бригады. О бригаде Николая Чуева тогдашний первый секретарь Билибинского райкома партии В. В. Лысковцев говорил, например, так: «Отличительная черта — очень хорошие кадры. Все горняки — высокой квалификации, со многими специальностями. Стабиль-

ность кадров. Жесткая дисциплина. Устанавливает сама бригада. Провинился — в круг. Действует лучше всяких приказов, выговоров. Поэтому почти нет прогулов, поэтому и высокая производительность труда... Еще мобильность, навык работы в полевых условиях. В общем, бригада «десантников»...» То же самое можно было сказать и о других дальненских бригадах — Затуливетрова, Карпова, Гармашова, Мельника, Бутовицкого... Всего на Дальний приехала примерно тысяча горняков, человек пятьсот со Встречного и столько же — из Билибино. До 75-го года все жили в палатках. В 75-м официально разрешили индивидуальное строительство, тут же выросли два поселочка с обычными в таких случаях названиями: «Кулаковка» и «Хитрый» — около двухсот домиков. Палаточную проблему они, однако, не решили — последняя палатка была разобрана только через шесть лет, в 79-м году... После месяца работы, при условии, что выполнен план и сделан задел на следующий месяц, горняков вертолетами возвращали дней на пять в свои поселки, к семьям. Горный мастер Анвар Шакирович Сабитов вспоминал: «Первые вертолеты штурмовали, как в фильмах про гражданскую войну — поезда. Однажды чуть не загорелись в воздухе, кабель какой-то задымил. Перегруз потому что: положено человек пятнадцать, а нас набилось больше сорока. Ребята запутались: «Горим, горим!» Летчик вышел, потушил. Долетели без посадки. После того строго — по пятнадцать человек... За несколько рейсов всех вывозили. Через пять дней — обратно. Четыре года отпахали. До сих пор, как вертолет где загудит, так Дальний перед глазами...» Это и был так называемый «вахтовый» или «экспедиционный» метод.

В марте 76-го, когда я приезжал, уже была построена столовая, а в палатке, где она помещалась прежде, устроили клуб. Была небольшая баня, куда из котельной подавалась только горячая вода — парадокс вроде бы, но так: дефицит на Чукотке холодной воды. Желающий помыться прихватывал с собой тазик со льдом или снегом. Имелся крохотный магазинчик, здравпункт с фельдшером. Вот, кажется, и все из «соцбыта». За работу в таких условиях горнякам шли добавочных два рубля в сутки. Полевые... Секретарь парткома прииска «45 лет...» Алексей Игнатович Калинов, с которым я встретился тогда на Дальнем, сказал кратко: «Живут неважно, работают — хорошо!» Жили — действительно... В те же мартовские дни проводился рейд по палаткам. Была создана комиссия: Калинов,

Сабитов, тогдашний замначальника участка по хозчасти Иван Яковлевич Половый и коменданты. В блокноте 76-го года у меня сохранились их фамилии: Елена Никодимовна Смоляк и Любовь Васильевна Самсонова. По специальности обе учительницы, одна — младших классов, другая — филолог с высшим образованием. Ехали на Север, надеялись работать в школе, но школы на Дальнем еще не было, пришлось переквалифицироваться в коменданты. Теперь их заботами стали бачки, умывальники, тазы, мыло, постельное белье. Белье на Дальнем стирать было негде, возили стирать на Встречный, подолгу оттуда не возвращали. Чтоб горняку после шахты хотя бы умыться, нужна горячая вода, бачки на печках стояли круглосуточно, быстро прогорали, а их не списывали, потому что установленный кем-то срок службы еще не вышел, и новых не давали. На каждую палатку полагался приемник, требовалось пятнадцать, а исправных имелось всего три. Вот на эти свои беды учительницы мне и жаловались. Я тоже ходил с комиссией. Снег перед каждой палаткой был усыпан золотистой древесной шелухой — топили местной лиственицей. Существовала и специальная бригада — «хозвзвод» — по заготовке дров. Палатки были длинные, как казармы, перегорожены пополам. В каждом отделении жило по десять — пятнадцать человек. При входе стояла самодельная печка из железной бочкы, вокруг — кто как пристроил — сушилась рабочая одежда. Дальше пространство по обе стороны почти впритык было уставлено койками. В проходе между ними помещался длинный стол с лавками, над столом — сильная лампа, обернутая газетой, чтоб свет не резал глаза тем, кто спит. В одной палатке играли в «тысячу». В другой все лежали на койках — кто читал, кто курил. В третьей все спали, кто-то поднял голову, поинтересовался спросонок, недоуменно: «А чего-то вы ходите, а?» Когда узнавали, «чего ходят», начинали высказывать претензии. Комиссия записывала, записывал и я. Говорили так:

- Когда в нормальную баню будем ходить? Вода только горячая, и та грязная!..
- Простыни меняют раз в месяц. После бани переворачиваем и спим...
- Сами бы постирали, да не в чем!
- Приемники не работают. Газет нет. Никакой информации!
- Не скажете, где сейчас война? В Анголе? Надо же, и в прошлом месяце там была!

— Работаем в три смены. Я пришел — спать хочу, сосед выспался — разговаривать хочет...

— Почему водку не завозят? Травимся какими-то «чернилами»!

— Библиотеку бы...

— Ладно! Пусть хоть карты купят нам, колод двадцать, за счет профсоюза!..

— В очереди в столовой — два часа отдаи!

— А вообще: сколько еще так жить?! Обещали: год, от силы два.

— Третий уж пошел, а ничего не меняется...

— Вот-вот на дворе шестьдесят лет Советской власти, а у вас куска мыла не допросишься!..

И комендантичи-учительницы, которые сами все это знали, понимали и переживали, принимались уверовать:

— Ну, ребята, ну нельзя же так! Неужели не можете вы купить себе этот тазик, этот кусок мыла? Ведь это мелочи! Стыдно!..

И действительно, с одной стороны, они были правы: проще было самим купить «эти мелочи», привезти из дома. Что, впрочем, большинство и делало: привозили и свои транзисторы, и журналы, и любимые книги. А с другой-то стороны, горняк мог бы, допустим, высказаться и следующим образом: «Еще в 60-х годах ЦНИИЭП жилища и институт Дальстройпроект при участии СВКНИИ разработали рекомендации по проектированию типовых приспособленных комплексов. Для участка, подобного «Дальнему», то есть с населением в тысячу человек, там предусмотрены: Дом культуры со зрительным залом на 200—250 мест, с комнатами для двух-трех кружков, с библиотекой на 10—15 тысяч томов, спортивный комплекс с большим и малым залом, с плавательным бассейном и зимним садом, механизированная прачечная, всевозможные мастерские и ателье, баня с парилкой, столовая-кафе, магазины. Не говоря уж о нормальном жилье... Так где же все это?!» Однако та к никто не говорил, и не столько потому, думаю, что не знали о подобных рекомендациях ученых, — думаю, что, если бы и знали, все равно не говорили бы, потому что понимали, что в обозримом будущем это нереально, и не спрашивали бы даже, когда осуществится. Спрашивали же — о вещах реальных. И если уж не могли построить для них плавательный бассейн, то тазик казенный с куском мыла должны были бы выдать! Тут горняк, безусловно, был прав. Если уж уговорили, сагитировали его, возвзвав к со-

знательности, работать в таких условиях, то почему еще о «мелочах»-то ему самому надо было заботиться? Тем более что работал он в самом деле по-ударному. Вытягивал план всего района, а скорей всего, и не только района. Тогда же, помню, награждали победителей в социалистическом соревновании — вручали кому премии, кому почетные грамоты, дипломы, значки. Один из горняков по имени Серафим, фамилия у меня не записана, получив свой значок ударника, говорил с мрачноватым сарказмом: «У меня их уже штук пять! Дома, на Встречном, на ковре приколоты, над кроватью. Значки там, а я — тут. А зачем мне значок? Что я, детский сад?! Вы мне другое дайте. Чтоб моя жена и дети здесь были. А то домой приедешь, сядешь, как чужой, на табуретку возле двери и сидишь. На кухню боишься пройти — покормят или нет, черт его знает!.. Вечером у жены спрашиваешь: лечь-то с тобой можно?.. А работать я и без значка буду. План будет, вот это, — он пошевелил пальцами,— будет. Буду работать, куда я денусь!..» И заработки, это правда, были высокие — рублей по девятысот, по тысяче. Но не одни они удерживали и удерживали не всех. Кому-то осточертевала такая жизнь, и тогда на крохотной дальненской почте можно было слышать, как телеграфистка кричит в аппаратной: «Любаша, отрабатываю две недели. Целую...» Вот и Иван Яковлевич Половый, попробовав пожить на Дальнем с семьей, собрался возвращаться в свое Криворожье — не с кем было оставлять малолетнюю дочку. «А ради дочери я любым окладом пожертвую!» Но подавляющее большинство все-таки оставалось, и, повторяю, не из-за одних только денег. Но и не из чистой сознательности, конечно. Хотя, вполне допускаю, могла быть и была, возможно, и та и другая крайность. Но если взять некий средний тип и порассуждать за него здраво, вышло бы, наверное, так. Уезжать вообще с Чукотки, с концами? Вроде бы рановато, можно еще пожить, поработать, подзаработать. Переходить в другую бригаду, на другой прииск? Хрен на хрен менять — только время терять, везде одно и то же, в смысле условий. Бросать горняцкую специальность, пристраиваться в поселке, где-нибудь в коммунхозе? Зазорно здоровому мужику (сейчас бы сказали: непrestижно) и даже перед семьей неловко, сила еще есть, можно и на подземке повкалывать. Опять же — заработка... Да и семья — не за тридевять земель, однако, а рядом, час лёту, живут в тепле, в уюте, видимся каждый месяц... Опять же ребята из бригады — все-таки лет десять вместе отпахали, и на Крутом, и на

Мандрикова, сработались, неудобно перед ними будет. И значки, и грамоты эти — чего бы тот же Серафим ни талдычил, а ему и самому приятно: значит, уважают тебя, старание твое ценят... Вот так или приблизительно так, с разными вариациями материального или морального толка, могли думать, а то и просто чувствовать дальненские горняки, а в итоге складывалось то, что секретарь райкома Лысковцев определял по-деловому: «стабильность кадров и навык работы в полевых условиях», а горный мастер Сабитов — несколько романтически: «верность бригаде и прииску»...

Когда мы обошли все палатки, я спросил у Калинова:

— А в самом деле, сколько людям еще так жить?

Парторг прикинул и сказал:

— Еще года два.

Так оно примерно и оказалось.

12

Какие же перемены произошли за эти восемь лет на Дальнем? Прежде чем рассказать об этом, позволю себе небольшое отступление. Некогда Николай Васильевич Гоголь написал: «Я очень долго думал о том, каким бы образом узнать многое, делающееся в России, живя в России. Разъездами по государству немного возьмешь. Останутся в голове только станции да трактиры. Знакомства в городах и деревнях тоже довольно трудны для разъезжающего не по казенной надобности: могут принять за какого-нибудь шпиона, приобретешь разве только сюжет для комедии, которой имя бестолковщина. Если же узнают, что разъезжающий есть и писатель вместе, то положение еще смешнее... А между тем никогда еще до сих пор нечувствовал я так сильно потребность знать современное состояние нынешнего русского человека — тем более что теперь так разошлись все в образах мыслей, так вихорь недоразумений обуял всех, что никто не в состоянии верно судить друг друга, и нужно как бы щупать собственою рукою всякую вещь, не доверяя никому». В самом деле, — начинаешь понимать, прочтя это невеселое признание автора «Ревизора» и «Мертвых душ», — сколь непросто давалось когда-то российскому писателю постижение российской же действительности! Ведь не было у него, как у нас, никакого объединяющего союза, не организовывался он в писательские бригады для поездки

в подшефную область или на подшефное предприятие, не общался широко и напрямую с читателями с трибуны или по телевидению и т. д. Работал он глухо и одиноко, на свой страх и риск, являемаясь, по сути, частным лицом. Потому, может,— продолжаешь понимать,— он и ездить-то предпочитал все больше в «прекрасные далека», во Францию, в Германию, в Италию, где ему, по крайней мере, никто не изумлялся и за «шпиона» тем более не принимал... Зато теперь! Едва пожелаешь очутиться в какой-нибудь, пусть самой отдаленной, точке своей страны, или, выражаясь в гоголевском духе, захочешь «пощупать вещь собственною рукою», напиши только заявление в писательскую организацию, получи деньги в Литфонде и кати себе, «разом и вдруг окунайся в жизнь», и никому не покажется ни подозрительно, ни смешно, потому что, во-первых, на руках у тебя, помимо писательского удостоверения, еще бумага, свидетельствующая, что разъезжаешь ты, опять же выражаясь гоголевским слогом, «по казенной надобности», а во-вторых, народ наш попривык, приглядевшись уже к фигуре корреспондента с блокнотом, к тому, что возникает он в самых, казалось бы, неожиданных местах и задает всякие несуразные вопросы,— ему терпеливо, как ребенку, и с участием отвечают и растолковывают, понимая, что это не праздный интерес, но тоже работа. И каждый, как умеет, старается ему в этой работе помочь, подсказать. Бывали и у меня разные трогательные случаи в этом роде — например, в Провиденском аэропорту, где я сидел в ожидании очередного самолета и, пользуясь свободным моментом, заносил в свой дорожный дневник кое-что из накопившихся впечатлений, а сосед мой по креслам, молодой лейтенант в летной форме, распознав во мне того самого «корреспондента», озирался тем временем окрест в поисках чего-либо, достойного внимания, и, обнаружив, докладывал: «А вон еще... Очень, по-моему, интересная деталь!..» Или один старик чукча, заслуженный оленевод, бригадир, орденоносец, с которым мы толковали о житье-бытье в тундре. Не очень-то, видно, доверяя моим способностям понимать, как надо, он вдруг посреди разговора начинал диктовать мне: «Так! Теперь пиши: своим успехом бригада обязана само-отверженному труду следующих товарищей...» Да мало ли!..

Вот и Николай Иванович ничуть не удивился, когда я, едва объявившись, едва «нарисовавшись» на Дальнем, захотел смотреть поселок. Надо — значит, надо! Через минуту к нам присоединился председатель поссовета Нико-

лай Григорьевич Трищ, и на автобусе мы поехали по Дальнему, который и пешком-то можно было пройти из конца в конец минут за пять. Соответственно и все здания, прошедшие здесь за восемь лет перемены, можно уложить в несколько строк. В 78-м году, то есть пять лет спустя после возникновения, участок получил статус прииска, а сам Дальний официально стал поселком. Улицы обрели наименования, дома и «бунгалы» — номера. После этого и было построено кое-что из того, без чего нормально-му поселку называться поселком неприлично. Школа-десятiletka, детсад, спортзал, магазин, клуб, четыре двухэтажных дома... Выстроилось все это не сразу, постепенно. Например, в 78-м — клуб, в 79-м — школа, и т. д. Увеличилась мощность ДЭС — вместо семи дизелей стало одиннадцать. Лучше стало с водой, хотя и доставляли ее по-прежнему водовозами, но уже не выискивали, как раньше, наледи, «пузыри» на речке, а качали из скважины. Почти все дома, как пояснил Алексеев, «под теплотрассой». Появилось даже телевидение, «самостийное», то есть любители сами изготовили ретранслятор, принимающий передачи с «Орбиты», что в Черском... Наконец, в 83-м году заработал санбыткомбинат прииска, рассчитанный на двести человек, — имелись там душ, сушилка, шкафы для спецовки, для чистой одежды. Вот это, конечно, неоценимая для горняка была вещь — только не поздновато ли, через десять лет, а все предыдущие годы так, значит, и действовала система «котельная и тазик со снегом»?.. Посмотрели мы еще общежитие, помещавшееся в одной из двухэтажек, — оно и называлось «верхней гостиницей». Были тут небольшие комнаты, на двух-трех, были и побольше, на пятерых человек. Обустраивал их каждый по-своему, иные выглядели совсем по-домашнему, видно было, что живут тут дружной, согласной коммуной, другие смотрелись типичной отчужденной «общагой»: койки да тумбочки. Однако если вспомнить те палатки!.. Обитали в общежитии не только одинокие, жили и семейные, приехавшие пока в одиночку, чтоб осмотреться, разузнать, что тут к чему, и потом, если понравится и дадут жилье, вызвать с материка семью. Трищ это знал и потому расспрашивал: «Семья есть? Дети? На очередь встали?» Да, с семьей, с детьми на Дальнем теперь вполне можно было жить, с местами в детсаду проблем не было. А тогда, в 76-м, на весь Дальний с тысячным населением детей насчитывалось, по-моему, всего двое, — по крайней мере, я только двоих и видел. Домик этот стоял в самом

центре поселочка, на перекрестке всех дорог, и в какой бы момент дня, и куда бы ни шел — на почту, в контору, в столовую, — постоянно торчали в окошке этого домика две мордахи. Какие-то отчаянные родители привезли их с собой и, уходя на весь день на работу, решались оставлять одних, а они вот так по целым дням у окна сидели. Теперь на мой вопрос о детях председатель посовета своим способом посчитал: «Так... Голосовало в этом году девятьсот семьдесят четыре. Вычитаем... Сейчас, значит, пятьсот двадцать детей, то есть до восемнадцати лет... С жильем на Дальнем, — прибавил Николай Григорьевич, — получше, чем где-либо в районе. В самом Билибино нужно лет пятнадцать жить, чтобы получить квартиру, а у нас — месяца через два-три. А то и домик...»

Подобное сравнительно благополучное положение с жильем на прииске объяснялось просто, объяснялось оно вовсе не интенсивностью жилого строительства на Дальнем, а интенсивностью миграции. В сравнении с тем временем, когда жили в палатках, она даже увеличилась. Вот, казалось бы, странно: условия стали лучше, а народ уезжает... Но как бы там ни было, а новоселы занимали освобождаемую жилплощадь, которая целиком здесь была ведомственной, принадлежала прииску. Поменять ее, как квартиру в Билибино, на любой другой город было нельзя. Уезжаешь — отдай. Касалось это и так называемых «личных», выстроенных своими руками домиков, с той разницей, что домик продавался. Но не частному лицу — опять тому же прииску. Возникла тут вот какая любопытная ситуация. Я уж говорил, что в 75-м году на Дальнем разрешили индивидуальный застрой. Разрешить-то его разрешили, но о доставке строительных материалов специально для нужд энтузиастов никто, конечно, не позаботился. И Дальний в этом отношении не одинок — так бывает при зачинении любой стройки в Сибири и на Севере. Было так в Братске, было на Устье Илма. У меня даже мелькает иногда мысль, что стихия, именуемая «индивидуальный застрой», сознательно или неосознанно, но учитывается при составлении смет. Деньги на строительство объекта — пожалуйста, сколько нужно. А смету на строительство жилья можно и урезать, потому что все эти времянки, засыпушки, балки, тепляки неизвестно, каким образом, неизвестно, из чего, но обязательно возникнут, вырастут сами собой, как грибы, — вот тут уж действительно! — как грибы после дождя вокруг спроектированного города или поселка. Вот и решение жилищной проблемы — пока, конечно, на вре-

мя, а дальше... дальше видно будет... Не знаю, может, я и ошибаюсь, может, и нет такого заведомого расчета, но что ж делать — мерещится он, когда смотришь на месте, когда «щупаешь веять собственной рукою»... Так и на Дальнем произошло — домики эти появились мгновенно, в разных видах: от «бунгалов» до настоящих добротных домов. Собственный дом — это ведь всегда святое дело, а в тех условиях, что были тогда, — это, прежде всего, возможность семью привезти или хотя бы самому из палатки уйти и жить по-человечески. В очерке «Город тысячи мужчин» я упоминал о трех горняках, «лесных братьях» — Геннадии Сливаеве, Борисе Лосеве и Геннадии Жукове, но не рассказывал тогда читателю, какое замечательное они выстроили себе жилье. Мало того что место для него они выбрали поодаль, в лесу — отсюда и прозвище «лесные братья», — но и сам дом в окружении деревьев выглядел будто терем нарядный и светлый, даже экзотическая для здешних мест веранда была пристроена. Изнутри дом тоже светился: ни краски, ни штукатурки, ни обоев — одно дерево, свежее еще, с запахом смолы, местами подожженное паяльной лампой и покрытое лаком или просто прошлифованное. Я же говорю: собственный дом — это ведь у каждого из нас в крови, но не только результат, итог, но и сам процесс, само строительство дома — тоже весьма завораживающее дело, истинный мастер уже словно и позабывает, сам ли он будет жить в этом доме и всегда ли будет тут жить, но он вовлекается, им овладевает азарт, он начинает изобретать, додумывать что-то по ходу, импровизирует, творит. Заводится человек! Вот и «лесные братья» сработали, как прирожденные дизайнеры, все у них внутри дома смотрелось компактно, изящно, все эти полочки, ящички для хозяйственных нужд так ладно были пригнаны друг к другу и не бросались в глаза. Даже вытяжку они устроили на чердак, на случай, если через сктур натопленно покажется в комнате. Печка была, разумеется, не из бочки, как в палатках или в «бунгале» у Мельника, где я жил, а настоящая, сложенная из кирпича, обмазанная, побеленная. Они бы, уверен, и изразцами ее выложили, если бы имелись под рукой. И пол был — паркетный!.. Для чего, теперь спрашивается, им все это понадобилось, не могли они, что ли, довольствоваться, например, обычными половицами? Или просто приоткрыть дверь в сени, если жарко? Тут, прежде чем отвечать, нужно бы привести стихи, которые у меня давно хранятся. В 76-м познакомили меня с одной из немногих тогда на Дальнем женщин, рабо-

тала она дизелистом на ДЭС, была немолода и одинока, конечно. Принесла она мне свои стихи на разрозненных тетрадных листочках, не очень грамотно переписанные. Воспевалась в них окрестная природа, самоотверженные усилия горняков, чтоб «больше желтого металла дать Отчизне дорогой», были частушки на дальненскую злобу дня для исполнения на концертах художественной самодеятельности. Складно, однако от поэзии далеко, в общем. Но одно стихотворение меня поразило, и поразило тем более, что обнаружилось одно-единственное посреди прочих, слабых. Тоже, разумеется, написано не профессионально, но с неожиданной вдруг непосредственностью, грустной кровленностью — о горняке, точнее, о жизни горняка на Дальнем. Пронзительное какое-то излилось стихотворение из души этой женщины и жалостливое чисто по-бабы, что в «городе тысячи мужчин» особенно действовало. А может, еще и потому оно меня так впечатлило и растрогало, что читал я его там же, во глубине Чукотки, и сам все это знал, видел.

...В палатке грязной, ночью иногда
Ему уют во сне домашний снится,
А днем пески он тащит на-гора,
Чтоб золота добыть с него крупицы.
Спускается по лестнице крутой
Так метров сто, а точно и не знаю,
Я только слышу взрывы, а они
Пески золотоносные взрывают...
Когда с работы вечером придет,
Поужинать в столовую он сходит,
А на ночь чаю крепкого попьет,
Потом не спит и в потолок лишь смотрит.
Что делается в мире — ничего
Не знает он, и радио не слышит.
В палатке смотрит иногда кино
Да мысленно ответ на письма пишет...
За часом час денек уходит вдаль.
Ты отпуска ждешь своего, как бога.
Что накопил, за отпуск промотал,
На Север привела обратная дорога.
Лишь только там, под толщею земли,
О жизни на земле ты забываешь,
Ты видишь только деньги лишь одни,
А жизнь свою, как видно, отживаешь...
Седой туман окутал всю тайгу,
Мороз такой, что мысли замерзают,
Лишь, прорезая ночи злую мглу,
Вдали на шахтах огоньки мерцают.

Вот такой «фольклор». Я давно уже, еще в старом очерке, все собирался куда-нибудь вставить эти строчки, но там они почему-то не встали, даже в виде «иллюстрации»,

а здесь вот пришлись вдруг к заданному вопросу: для чего тем ребятам нужно было столько придумывать, стараться — жизнь-то на Дальнем все равно была заведомо временная. Ну и слепили бы времянику — тепло, и ладно! Но я думаю, что это было для них не просто строительство дома, это был еще род настоящего культурного досуга, отдушина, удовлетворение именно духовных запросов — ничего ведь Дальний, кроме работы, предоставить им тогда не мог. И люди, как умели, искали выход из этого убогого быта, монотонного и замкнутого существования: шахта — палатка, палатка — шахта. Не каждый умел, конечно... Рассказывали, что у некоторых вдруг возникали «сдвиги»: иной в шахте в отработанную камеру забывается, с трудом его там в темноте, где-нибудь в дальнем углу сыщут, другому бабочки на снегу начинают мерещиться, гоняется за ними, ловит. На Севере различные психические отклонения у приезжих вообще нередки, это обуславливается многими причинами, о которых много можно было бы распространяться, но это уж слишком специфическая тема, далекая от основного нашего предмета. Скажу только, что причиной тут не один Север с его климатическими и прочими особенностями — долгая полярная ночь, недостаток ультрафиолета и, наоборот, переизбыток его во время полярного дня, нехватка привычных витаминов и т. д., — причиной и сам приезжающий сюда на работу. Не всякий психологически готов к Северу, не всякому он показан. Специальных же лабораторий — «по отбору переселенцев», тех самых лабораторий, о которых, как я писал выше, уже лет двадцать толкуют наши ученые, — до сих пор что-то нет. Конечно, устраиваясь на предприятие, переселенец обязательно проходит медкомиссию, но смотрят там в основном, здоров ли он «практически», то есть, главным образом, физически, по старинке связывая Север прежде всего с повышенными физическими нагрузками. А между прочим, ничто, на мой взгляд, не вызывает в человеке такого нервного напряжения и изнурения, как тяжелая и однообразная изо дня в день физическая работа. Если бы он мог хотя бы после такой работы как-то разрядиться, переключиться! Сходить в просторный и светлый Дом культуры, посидеть там с книгой или журналом под какой-нибудь пальмой в кадке, сыграть на бильярде, посмотреть фильм. Пойти в спортзал или в бассейн. Отвлечься на домашние дела, заняться семьей, детьми. Но, как читателю уже ясно, не было тут этого ничего, включая семью. Ну, наконец, хоть стопку водки хватить после хорошей бани-

ки — тоже доброе дело! Кстати, насчет банек. К чести горняков надо сказать, что они, пооглядевшись и сообразив, что ничто им тут в смысле благоустройства быта в скромном времени не светит, начали, скооперировавшись по нескольку человек, ладить эти баньки для себя сами, как дома. Что же касается спиртного — введен был тогда на Дальнем суровый «сухой закон». Не продавалось и даже не завозилось — ни в каком виде. Опять ради «плана», конечно. Так что понятно, что, попав на пять дней домой, на Встречный, горняк «отводил душу» и отводил ее почти узаконенным образом еще дня два, вернувшись на работу, на Дальний. Потом снова лез в шахту... В общем, было, было отчего после нескольких лет такой жизни вдруг увидеть бабочек на ослепительном дальненском снегу...

Однако мы несколько отвлеклись. Договорим о проблемах строительства на Дальнем, и в частности об «индивидуальном застрое». Нашлись тогда, разумеется, и шибко деловые люди, быстро смекнувшие: «А для чего уродоватьсь на «подземке»? Займемся-ка домами, раз на них такой спрос, оно и легче, и для здоровья полезней — целый день на свежем воздухе...» Сколачивались по двое, больше ни к чему, успевали ставить за лето дома два-три, продавали горнякам — каждый дом шел тысяч за пять — и с тем отчаливали. Но большинство строило для себя. Когда же решали уезжать насовсем с Дальнего, тоже, конечно, продавали — полюбовно, за ту же примерно цену. И вдруг в один прекрасный момент прииск спохватился — раньше будто не догадывался: «Ведь строительный материал-то весь его, прииска! Не завозили ведь сюда других материалов...» Посему и было постановлено: дома продавать исключительно прииску. Создавали комиссию, оценивали. Оценивали только работу, эдак в тысячу рублей. Ее и выплачивали застройщику. Поначалу люди пробовали судиться. Оказалось, бесполезно: справок-то о приобретении материалов в самом деле не было ни у кого. Хотя и кажется тут все ясным читателю, но я считаю, что не такая простая эта ситуация, не одно и не два в ней измерения. С одной стороны, с точки зрения «законности», прииск вроде бы безусловно прав. С другой... Существует в науке об управлении такой термин — «негласная договоренность». Я о нем узнал из одного исследования — о взаимоотношениях начальника и подчиненного. Простейший, приведенный в том исследовании пример: подчиненный, выполнив урочную работу раньше времени и не отпросясь у начальника, уходит со службы. Начальник видит это, но смотрит сквозь

пальцы. Зато в другой раз, когда действительно возникает необходимость срочной работы, начальник вправе попросить, а можно считать, что и потребовать от подчиненного задержаться сверх положенного. Это пример простейший, но принцип сей, «негласной договоренности», в чем только не усматривается, где только не оказывает себя в нашей практической повседневности. Взять тот же Дальний — как он начинался? По этому принципу. «Мы тебя, — как бы говорили горняку, — посыпаем, конечно, не на курорт, но мы платим тебе полевые, не режем заработок, не обижаем премиальными, воздаем твоей самоотверженности честь и хвалу, ну, а в смысле удобств, что делать — потерпи, не посетуй, брат!» И горняк терпел — сетовать-то он, может, и сетовал, но работу не бросал, соблюдал тот негласный, ни на какой бумаге не обозначенный договор... То же и с «индивидуальным застроем». Если уж его разрешили, а магазин стройматериалов не открыли при этом, горняк вправе был предположить, что и «индивидуальный», самостоятельный поиск этих самых материалов ему тоже тем самым санкционировал. В противном случае чего было бы разрешать? Да так оно и выходило на деле: никто тогда к человеку, построившему домик, с вопросами, где взял доски, где разжился рубероидом, и т. д., не приступал. Пусть себе, лишь бы работал, давал план. А он еще при этом был, жизнь обустраивал сносную, и ему бы за это дополнительное спасибо надо было сказать от имени прииска, раз уж сам прииск в этом деле оказался несостоятельным... Короче, вот эту внутреннюю сложность ситуации следовало бы, на мой взгляд, учесть при теперешней оценке домов. Может быть, не в пять тысяч ценить, однако и не в тысячу. Найти какой-то компромисс. Не все ведь, из чего были слеплены эти домики, доставалось «незаконно». Во всяком случае, крепежную стойку из-под шахтной кровли горняк не вышибал и на стропила к себе не тащил. И без того — по любой стройке можете пройти — много чего валяется брошенного, чтобы со временем сгинуть, изоржаветь. Например, о паркете в доме «лесных братьев», об этом литом будто и сверкающем паркете, могу засвидетельствовать совершенно точно, из чего он был сделан. Привозят на прииск ВВ — взрывчатые вещества в ящиках. Вот эти ящики-то, после того как они были выброшены, «братья» подобрали, разбили на отдельные дощечки, каждую дощечку обтесали, выстругали, подогнали друг к другу. Ни одна плашка не шевелилась! А не подобрали бы, в лучшем случае спалил бы кто-нибудь эти ящики... В об-

щем, теперь, когда прииск ввел монополию на покупку «личных» домов и установил свою цену, получилось, если вернуться к тому самому «простейшему примеру», так: руководитель сначала закрыл глаза на самовольный уход подчиненного, потом заставил его отработать, а потом взял и объявил ему выговор за тот уход...

Но сам-то прииск, когда начал кое-чего строить, как строит? Еще в Билибино директор ГОКа Василяускас сокрушился: «В приисковых поселках не хватает объектов соцбыта. Больниц, детсадов, и так далее. Из жилья — бараки, палатки, времянки. Люди теперь так жить не хотят. Необходимость строительства — это мы видим. И признаем, что недостаточно активны, мы скованы в этом деле. В чем основная причина? Мы имеем практически все необходимое для нормального функционирования приисков. Но не поселков. Деньги получаем практически в неограниченном количестве на ГТС — горно-технические сооружения. Кроме денег, не получаем ничего. Нет строительной базы, строительных материалов, трудовых ресурсов. Для строительства вынуждены использовать «рэновские» фонды, то есть то, что предназначено для ремонтно-эксплуатационных нужд... В итоге народ обижается на комбинат, а комбинат зависит от Минцветмета. Финансирует министерство, а не мы...» Вот и на Дальнем: все, что построил прииск — и детсад, и школа, и клуб, и двухэтажки, — и что еще намечает построить, все это за счет ГТС, из крепежного леса. Лес идет сюда путем неблизким, с Дальнего Востока. Существуют нормы: на такой-то объем песков — столько-то кубометров леса. Нормы эти, как мне тут объяснили, неупорядочены, завышены, причем настолько, что позволяют — без нарушения техники безопасности — экономить половину поступающего лиственки и пускать его на строительные нужды. «Ни одной копейки не вложено в капитальное строительство,— сказал замдиректора прииска Алексеев.— Все легло на себестоимость грамма золота. В каком размере? Да так порядка пяти процентов. Но руководство вынуждено идти на это, все строится с ведома комбината...» Что же фактически происходит? Горнодобывающая отрасль не вкладывает средства в развитие социальной инфраструктуры, а вкладывает их лишь в развитие инфраструктуры производственной, и то не в достаточном количестве, пытаясь таким образом получать «металл» с минимальными затратами. На местах же эти затраты все равно поневоле перераспределяются, часть их идет, как мы видим, на строительство жилья, объектов соцбыта. Про-

исходит в действительности то, что тот же комбинат, тот же прииск занимаются фактическим «индивидуальным застроем», ничем не отличаясь в этом смысле от нашего горняка, то есть не имея для строительства ни специально выделенных материалов, ни средств — ничего, кроме собственных рук. А попросту сказать — исхитряются как могут, и не от хорошей жизни, конечно...

Завершили мы осмотр Дальнего тем, что съездили еще за речку Тополевку, через уже знакомую взлетно-посадочную полосу. Там, километрах в четырех от поселка, расположилось подсобное хозяйство прииска. Поглядели на свиней, коров, телят, на быка Красавчика. Восемь лет назад всей этой роскоши тоже, разумеется, не было. На обратном пути Николай Иванович говорил:

— Вот тут рядом теплицы будем делать, сваи уже забили. Полосу хотим удлинить. План есть: вон тот отвал сюда подпихнуть, бульдозерами разровнять... Больницу в этом году заложим... Котельную расширим...

— Тоже, однако, на себестоимость ляжет?
— Конечно.

«И правильно,— думал я.— А то привыкли к газетному трафарету: дескать, в безлюдный, дикий край пришли геологи, отыскали такие-то полезные ископаемые, и, благодаря богатству земных недр, преобразился прежде безлюдный, дикий край... Преобразиться-то он преобразился, но каким, спрашивается, образом? Пока что получается так, что «преображаются края» не для нормальной жизни людей, а лишь для добычи, для извлечения этих «богатств». Для этого тут все: и деньги, и техника, и взрытая земля, и исковерканная природа. Вот и на Дальнем люди живут не бла го даря найденному здесь золоту, но, точнее выражаясь, по-прежнему и з - з а него и ради него... Разумеется, если рассуждать «правильно», можно ответить себе, что не человек для золота, а золото для человека, и на этот же Дальний оно когда-нибудь в каком-нибудь виде возвратится, однако слишком длинная и какая-то абстрактная выстраивается в таком рассуждении цепочка, уводящая в загадочную и закрытую даже для мысленного взора даль... Так пускай же он, этот «металл», хоть таким образом, хоть пятью процентами себестоимости, но здраво, напрямую послужит здесь людям!»

Поговорим немножко и о «металле». Для начала — кое-что из собственных воспоминаний. Впервые — если иметь в виду не золотые часы, не обручальное кольцо, конечно, но, так сказать, первозданный образ — я увидел его в 72-м году, тут же, в Билибинском районе. На промприборе одного из приисков шел съем. В колоде, на черных резиновых ковриках тускло, без блеска посвечивало мокрое золото. Небольшие самородочки, а в основном песчинки. Под наблюдением горного мастера и серьееной девушки, стрелка охраны, работали две женщины-съемщицы. Сбрасывали вниз с колоды разные железки, осевшие в трафаретах, орудовали пробуторками, небольшими такими тяпочками, затем веничками из карликовой березы сметали в кучки золотой песок и стряхивали его с ковриков в специальный контейнер. На съем отводилось определенное время — два с половиной часа. Одну из женщин, Зою Иванченко, я встретил потом, спустя четыре года, на Дальнем — я о ней уже рассказывал. «Я тоже вас узнала, — сказала она тогда. — Помню, говорят: корреспондент приехал. А у меня роба старая, потрапанная, так я все за напарницу старалась спрятаться, совестно было...» Брезентовые эти робы на съемщиках я отметил, запомнил и резиновые сапоги, но Зоя посвятила меня в некоторые тонкости, на которые я по неведению внимания не обратил. «Брюки обязательно на выпуск, поверх сапог. Рукава у куртки перетягиваешь веревочкой. Шапку нельзя — только тугую косынку, и чтоб волосы было не видно...» Вспомнил тогда и я: мокрые снизу штанины и желтые блестки на них... Возле промприбора дождалась машина, «шлиховоз», чтоб отвезти контейнер в ЗПК — золотоприемную кассу. Натурально, я захотел посмотреть, что такое эта касса, на комбинате мне выписали временный пропуск, он и по сию пору у меня сохранился между страницами старого дневника — на белой картонке с красной полосой, с двумя подписями, директора и начальника отряда, с круглой печатью, с пометкой: действителен по такое-то. Через несколько дней и случай представился: с заместителем начальника карьера Владимиром Ивановичем Зозулей мы привезли золото из старательской артели. То есть привез-то, конечно, он, а я, узнав, что он едет в тундру к старателям, набился в попутчики. У артели тоже имелась своя ЗПК, был это простой теплячок на три койки, в нем дощатый чулан с висячим замком, в чулане —

опломбированный сейф. На стене висел график охраны. Была и своя комиссия по приему золота: у одного находился ключ от чулана, у другого — пломбир, у третьего, председателя артели, — ключ от сейфа. Составили акт — о сдаче золота. Помню при этом: Зозуля второпях — поездка организовалась неожиданно и спешно — не захватил какой-то удостоверяющий его права документ, члены комиссии запереглядывались, и председатель даже начал: «Ну, это я тогда не знаю... Это тогда...» И только то, что Зозуля работал здесь уж сколько лет и старатели прекрасно его знали, да еще ответственность момента — килограммы эти были необходимы именно сегодня, для плана, оттого и срочность поездки, а предварительно связывались по радио, — только это убедило: золото отдали... Обратно, как и туда, ехали по речке, мощный «Урал» расекал ее воды, как лось, в иных ямах волны захлестывали в кузов, и тут Владимир Иванович вспомнил, что забыл еще веревку с буем. «По инструкции положено: если везешь по реке, привязывать к контейнеру буй. На Колыме был случай: утопили — так и не нашли...» — «А к людям ничего не положено привязывать?» — хотел спросить я, но промолчал — вопрос был праздный...

ЗПК в поселке выглядела поосновательней: территория, обнесенная аккуратным глухим забором, такие же глухие ворота, проходная. И внутри — не просто принимали золото, но и обогащали, тут размещалось что-то вроде небольшого предприятия: ШОУ — шлихобогатительная установка. Работали там несколько женщин. Золото наше они вытряхнули в обыкновенную эмалированную миску, одна при этом заметила: «Хорошее золото. Крупное, чистое...» — «Из артелей всегда такое. С приисков хуже», — отзывалась другая. Взвесили его — получилось, кстати, на целых четверть килограмма больше, чем старатели сами у себя насчитали. И то: точность весов здесь была до 0,1 миллиграмма. Потом принялись объяснять мне, что они будут делать с этим золотом дальше. Давно все это было, и не помню сейчас всех подробностей того процесса, да и не в технологии дело. Был там «отдувочный» цех, была «камальгамационная бочка» со свинцовыми снарядами и ртутью, в которой, пока она крутилась — два с половиной часа, — свинцовые снаряды дробили шлих, а ртуть «отбирала золото». Вслед за этим золото отбирали у ртути... Запомнилось мне, что попроще: обычный молоток, которым «колотили самородки с видимым кварцем», еще кисточка для бритья и заячья лапка — ими сметали крупинки. Лап-

ка непременно должна быть задняя, на ней мех пожестче, лучше сметает... И после всех этих процедур у них обязательно должно было сойтись — совсем как в школе, на уроке арифметики, когда обратным действием проверяешь, правильно ли решил задачку. Приняли они, допустим, тысячу граммов — вот к этой тысяче они снова обязаны были прийти, только теперь путем сложения: «выколоченное» золото плюс примеси. Все по закону сохранения материи, в общем... Ну, а затем обогащенное золото посылкой отправляют на материк — на «афинажный завод». Вот такую посылку женщины при мне и собрали. Ящик для нее выглядел роскошно, никогда я подобных не видел: из толстой десятислойной фанеры, все стенки соединены «в шип», на kleю и еще на шурупах — «В Магадане их делают, один такой ящик — восемь рублей». Сначала золото упаковали в двойной мешок — «из сатина или из х/б», — а потом в ящик. Прибили такую же толстую крышку. Крышка тоже была непростая, имелось в ней круглое углубление с двумя дырочками. Через дырочки в углубление выводились концы проволочки, сама же проволочка, как мне объяснили, прежде чем выйти в крышку, пронизывала собой все стенки и днище этого замечательного ящика. Углубление залили сургучом и запечатали. Как на всякой посылке, надписали адрес, вес — «10 кг», ценность — пятизначное число...

На этом цепочка оборвалась, прослеживать ее дальше мне не доводилось, да и не хотелось. Думаю, что нашлись бы и там какие-то интересные подробности, но суть была бы та же. Какова же суть? А такова она, что, желая поговорить о «металле», вдруг ловишь себя на том, что говоришь о чем угодно, только не о нем, потому что о самом-то «металле» сказать, в общем-то, нечего. О любой железке, о брошенной и бесполезно ржавеющей в тундре бочке можно много и проникновенно написать, а вот эта бледно желтеющая груда, доверху заполнившая большую миску, и этот набитый золотом ящик — почему-то не впечатляли! Сам хитрый ящик впечатлял, а содержимое нет. Являло оно собой нечто абстрактное. Скажут: в бочке — человеческий труд. Но и в этих извлеченных из-под земли крупицах — тоже, и еще какой!.. Да, интересно, почему так: хлебороб думает и о своевременной вспашке земли, о севе, об удобрениях, о сроках жатвы, о количестве центнеров с гектара и прочем, но в конечном счете он думает непосредственно о хлебе. Садовод ухаживает за яблоней, белит ствол, обрезает сухие ветви, поливает, опрыскивает от вредителей, но

в итоге он видит яблоко. Горняку-золотодобытчику тоже есть о чем заботиться — об эффективных способах взрыва, о землеройной технике помощней, об объемах «песков», о промывке, о цифрах плана — но вот конкретно о золоте он почему-то не думает. И, несмотря на все видимое священное действие, на все предосторожности — «штаны навыпуск», «буй с веревкой», «весы до 0,1 миллиграмма», «заячья лапка», «проводочка» и т. д., — отношение к самому предмету этих забот весьма простое. Помню, меня поразило еще в ЗПК, что вид у тех женщин был какой-то домашний — в халатах, в тапочках, выглядели они будто тетеньки на кухне общепитовской столовой, имеющие дело не с золотом, а с котлетным фаршем. Еще же под этим упрощенным отношением, под этим умолчанием о результате труда мне померещилась некая преднамеренность, пренебрежение. Потому что, хотя мы и знаем, что всякий труд почетен и облагораживает, но вот парадокс: труд по добыче «благородного металла» больше все-таки унижает человека, чем облагораживает. В подтверждение могу сослаться на общезвестную мысль — об отхожих местах из золота. Ведь не дворцы же из него намечалось построить, не памятники каким-то замечательным победам, свершениям человечества, а именно сортиры, то есть выместить тем самым это извечное унижение...

Вот и мы с директором прииска Анатолием Ивановичем Колесовским и главным инженером Владимиром Ивановичем Голубенко о самом золоте не говорили, а толковали о вещах самых прозаических — об открытых горных работах, о вскрыше торфов, о монтаже промприборов. Большие в сравнении с прежними объемы горняки могли давать, лишь бы была хорошая техника. А вот как раз на технику они жаловались. На «шодземке» как были «КЛШ-500», скреперные лебедки и перфораторы, так и остались. Ничего нового тут не внедрили. Зато запретили электробульдозер, по причине травматизма. А он свое давал. «Между прочим, повысить производительность в шахте можно теперь только за счет нарушения техники безопасности», — заметил Голубенко... Бульдозер «Т-100» сняли. Сейчас работают «Т-130», не сказать, что они много лучше, но и таким рады. Однако и их не хватает. Основной упор на открытый способ, там выручает «погрузкомплекс», это соединенная работа бульдозера, погрузчика и самосвала. Входят в «погрузкомплекс» один «Катерпиллер», два «Фиат-аллеса» и три «БЕЛАЗ-540». Но и с этими машинами не

все продумано, они у прииска в аренде, в апреле вернутся в Билибино. Прииск им не хозяин, так что на дешевые работы — дамбы, зумпфы — их не очень-то пошлешь, водителям подавай что подороже. Тут нюансы. Лучше было бы, если б закрепили такие машины за приисками: один хозяин, один «котел»... Электроэнергии зимой хватает, а летом, когда работают все промприборы, бывает пик, ДЭС «разваливается». Сейчас тянут ЛЭП на Мандрикова, там свои дизеля, закольцаются — будет легче... Короче, из разговора этого нетрудно было заметить, что проблемы у руководителей «Дальнего» были те же, что и везде, у всех руководителей производств, а по сути это была одна проблема, и выразить ее можно было в двух словах: «Не хватало...» Одному не хватало техники, другому жилья, третьему — стройматериалов, четвертому — квалифицированных специалистов, и т. д. Причем сам руководитель в массе за последние годы, с точки зрения психологической, очень переменился. Прежний, у которого проблемы тоже, конечно, существовали, перед пишущей братией не больно-то о них распространялся: мало ли... Теперь же недостатков своих никто не скрывал, наоборот, высказывался о них прямо и резко, потому что понимал: не от него зависит. И с надеждой: может быть, тем, что напишут, помогут. Тот же директор Билибинского ГОКа Б. И. Василяускас на мой вопрос, почему комбинат так мало строит, отрезал: «А вот будете в Москве, зайдите в Минцветмет, к начальнику Союззолота Рудакову Валерию Владимировичу — он вам ответит... Мы же все деньги, которые нам выделяют, осваиваем — до рубля!..» Словом, получалось, как у Достоевского: «Смелей, человек, и будь горд. Не ты виноват!» Кто же виноват? И лелеял я, признаться, поначалу такую мысль: вернувшись в Москву, сходить в министерство, дабы обозреть ситуацию, так сказать, «сверху» и разобраться в ней до конца, а потом вдруг представил: а что могут мне там ответить? Видимо, одно: «Денег нет». А на вопрос: «Почему нет денег?» — подведут к карте страны и укажут, где они нужнее. Или, что весьма возможно, подведут к политической карте мира. Показали ведь недавно на всю страну такой фильм — «Тасс уполномочен заявить...», где один очень ответственный и компетентный товарищ (в исполнении актера М. Глузского) внушает другому (в исполнении актера В. Тихонова), что, мол, пока развитию наших отношений с «Нагонией» мешает агент иностранной разведки, мы каждый день теряем на этом миллионы. Каждый день — миллионы!. Какие после

этого могут быть еще вопросы? Так и не пошел я в министерство...

С главным инженером Голубенко мы поехали на участок «Девичий». Я больше не удивлялся, что нас двоих вез целый автобус, уже примеченный мной по портрету Сталина в шоферской кабине. Автобус был на Дальнем единственным разъездным транспортом. На нем и вахту возили на смену, и обед вахте, и начальство ездило... Владимир Иванович работал на прииске шесть лет — сразу после окончания Свердловского горного института. Приехал с семьей, жена его кончила университет, по специальности — химик. Хотела пойти преподавателем в школу, но роне возразило: требовалось педагогическое образование. Пришлось кончить курсы взрывников, сейчас заведовала складом ВВ. Обычная на Севере история. И то — здесь все-таки было близко к основной специальности: химия — взрывчатые вещества. В Омлоне, например, жена работника аэропорта, по образованию экономист, смогла устроиться лишь дежурной в гостиницу... Едва отъехали от поселка, главный инженер сообщил: «Вот тут, под нами, старая шахта. По шахте едем». — «Но ведь дорога может провалиться?» — предположил я, вспомнив огромные горы «песков», выбранных из таких шахт. Голубенко объяснил, что все эти пустоты через открытые стволы сплошь заполняет вода, которая в условиях вечной мерзлоты за несколько лет промерзает, превращается в монолит льда. Эти старые шахты, по словам Владимира Ивановича, были резервом прииска, их можно еще отрабатывать — сверху, открытым способом. Действительно, сообразил я, остались же там нетронутые «целики», кровля. «Процентов тридцать золота еще можно взять, — сказал главный инженер. — Другой резерв — «эйфеля», «хвосты», оставшиеся после промывки. Так называемые «техногенные россыпи». В отвалах прежних лет содержание бывает выше того, что сейчас моем. Но их отработка — дело отдаленного будущего. Нет методики разведки таких отвалов, не годится современная техника промывки. Нужны промприборы с более высокой извлекаемостью...» — «А как же с рекультивацией ландшафтов?» — вспомнил я. Дело в том, что магаданские ученые давно уже твердили о необходимости восстановления уникальных северных ландшафтов, разрушенных деятельностью золотодобывающей промышленности. Возникли даже споры, как это делать. К примеру, мерзлотоведы из ВНИИ-1 рекомендовали отвалы просто разравнивать и создавать поля для будущих сенокосов.

А заведующий лабораторией мерзлотоведения в СВКНИИ, доктор географических наук С. В. Томирдиаро возражал, что при этом произойдет осложнение речных долин, поражение их вечной мерзлотой. Между тем долины всегда были цепны именно лесными ландшафтами, которые и надо восстанавливать: сажать здесь тополь благовонный, ивучозению, смородину черную и красную, шиповник, черемуху — все, словом, что обычно растет по берегам северных таежных речек. А чтобы уберечь посадки от вечной мерзлоты, отвалы надо разравнивать не плоско, но с «рельефом»: создавать многие добавочные протоки, канавы... Об этом я в свое время читал, потому и спросил: «Так как же с рекультивацией отвалов?» Но Голубенко только рукой махнул: «Розовые планы и серая действительность!..» — «Стало быть, гидросеть уж тем более загрязняете?» — «Нет, — возразил он, — вот это нет. В основном стараемся работать на замкнутом цикле. Но, сами понимаете, не из особенной «любви к природе», а по необходимости: воды не хватает. Взять ручей Шалун, например: семь литров в секунду — весь его расход. Поэтому строим дамбы, зумпфы, в паводок, как деревенская баба в дождь, заполняем водой все, что можем. Если дамба дренирует, ниже строим другую, ставим насос, воду перехватываем и — обратно. Два года так работаем на Шалуне. А была бы вода — что кривить душой, сбрасывали бы прямо в ручей. Всякий скажет, что мыть проточной лучше. Не говоря уж о том, что дешевле...» Тут мне вспомнился другой разговор — восьмилетней давности. В 76-м году напротив Дальнего, за Тополевкой, в том примерно месте, где сейчас полоса для «Аннушки», стоял домик на полозьях, еще тепличка для промывки и два станка ударно-механического бурения — в просторечии «шлеп-машины». Жила тут и работала — на «прирост запасов» — буровая бригада из Иниахской ГРП, руководил ею техник-геолог Сергей Соколов. Двадцати семи лет, но уже имел орден «Знак Почета» — как раз за Дальний. Именно его бригаде — он был тогда старбуром — повезло в мае 73-го на памятной 20-й линии. «Ну и с каким чувством находишь золото?» — спросил я его. «С двойственным, — ответил Соколов, — С одной стороны, конечно, приятно: успех, не мартышкин труд... А с другой — видишь всю эту природу и знаешь: следом придет прииск и живого места здесь не оставит... Вот несколько лет назад бурили на левом берегу Омолона — какая там тайга, сколько зверья, рыбы! А золота нет. И ушли со спокойной душой — все это уцелеет...»

...Ехали мы минут сорок. Ровная, пустынная местность смотрелась уныло, посреди белого пространства торчали невысокие редкие деревца, почти без ветвей, так что и клочку снега не на чем было зацепиться. Напоминали они маркированные штаги, которыми геологи отмечают золотоносные скважины. А если сравнивать с лесом, походило, что тут прошел большой пожар... Но нет — вот так этот лес и рос. Есть в самом низовье Колымы поселочек под названием Край Лесов, в котором я никогда не бывал. Но когда на карте он попадается мне на глаза, я всегда силюсь представить, как он выглядит, правда ли, что в том месте обрываются леса. Судя по близости к океану, там кругом голая тундра. Тогда почему — Край Лесов?.. А вот здесь он действительно был, этот краешек, — постепенно, на протяжении сотен километров редеющая опушка... Показался Девичий: десятка три ладненьких разнокалиберных времяночек на склоне сопки. На крышах приметил я телевизионные антенны. Задерживаться не стали — карьер был дальше. Голубенко сказал, что народу здесь сейчас живет немного, в основном ездят на смену с Дальнего. Вот начнется промывка, тогда нахлынут. Дорога на Девичий — пока зимняя... Я понял так, что Девичий по отношению к Дальнему являлся примерно тем же, чем сам Дальний когда-то — по отношению к Билибино и Встречному. С появлением этого поселочка Дальний мог считать себя чем-то вроде столицы. В 76-м году я уже слышал это название — Девичий. Тогда участок только что был разведен, тянули туда с Дальнего ЛЭП. Подъезжая к карьеру, услыхали взрыв, и Владимир Иванович посетовал, что немного не успели, не увидя взрыва. Над долиной поплыло характерное облачко. Автобус остановился на краю огромного котлована. Мы вышли. Внизу здоровенный бульдозер греб и крошил оторванные взрывом глыбы. Поодаль ждал погрузчик, рядом два наших «БЕЛАЗа». Мы спустились. Смерзшиеся эти глыбы, серого и какого-то безжизненного цвета, нельзя было назвать землей, ни тем более почвой, ни даже «песками» на языке горняков — подходило тут, пожалуй, более всего мертвое слово «грунт». Бульдозер кончил грести, погрузчик в два взмаха наполнил двенадцатикубовый кузов, и самосвал медленно полез наверх, на отвал. Поднялись и мы следом. Наверху работал еще один бульдозер, поменьше, расталкивал ссыпавшуюся из кузова груду. Владимир Иванович принялся посвящать в «сложности»: большая, около пятнадцати метров, мощность «торфов», узкий полигон, еще «торфа» в откосах, высокая льдистость «песков», зимой

с ними легко, а летом, когда оттаивают, все ползет обратно: вода, ил. Три дня простояшь, полигон затопит. Работы по монтажу промывочных приборов уже начались, а перемонтаж летом — как на иных приисках: промприбор разобрали и — на новое место,— так вот, такой перемонтаж здесь невозможен: кругом болото... Называл мне мощности работающих внизу машин — в сотнях лошадиных сил, называл производительность за год — в сотнях тысяч кубов. Я не записывал, да и бесполезно было пытаться: мороз стоял за сорок, паста в ручке застывала моментально. «В общем, дурное золото кончилось, осталось — трудовое», — заключил Голубенко.

Мой спутник мне нравился: молодой, симпатичный парень, толковый, знающий инженер и за дело свое болеет — это очевидно. И тем более мне было его жаль, жаль молодую его энергию, ибо, ради о производстве, он не задумывался об обратной его стороне. А может, и задумывался, просто нам не довелось поговорить об этом. Некогда, вот так же, как с ним, мы с Анваром Шакировичем Сабитовым стояли на Дальнем возле выданного на-гора отвала, и я поинтересовался, сколько золота может быть в этой горе. Горный мастер прикинул объем, помножил на содержание. Мы помолчали, и вдруг Анвар Шакирович — бывший фронтовик, старый колымчанин, отец многих детей,— как-то по-особенному вздохнув, сказал: «На эти бы деньги скот выращивать, сады разводить...» Я думал примерно в том же духе и потому понял его мгновенно: он имел в виду не эти деньги, что лежали сейчас в горе, а те, которые были затрачены, чтобы извлечь из-под земли эту гору. Эх, если бы мы с Сабитовым помыслили что-то новенькое, никому еще не известное! Тогда можно было бы помечтать, что стоит теперь лишь объяснить это людям, и... Но вот еще Овидий в своих «Метаморфозах», оказывается, сокрушался: «Мы роем землю, чтоб найти в ней золото, вместо того чтобы пахать ее для жатвы». С тех пор прошло две тысячи лет, а мы по-прежнему роем землю, и очень даже усовершенствовались в этом. Я смотрел на без устали гребущий внизу «Катерпиллер»... какая-то неоформившаяся мысль при взгляде на него все время не давала мне покоя... и вдруг я понял, что вижу сейчас воочию конец той самой цепочки, что оборвалась для меня некогда в Билибинской ЗПК. И конец этой цепочки одновременно был на чалом и овой: машина, купленная на золото, добытое, вполне возможно, на «Дальнем», пришла на «Дальний», чтобы снова рыть золото... «Это надо осмыслить», как сказал

некогда булгаковский мастер, хотя и по другому поводу. Но в данном случае осмысливать было особенно нечего. И тут мне внезапно представилось, как над этой ямой или над подобной ей, в любом другом месте моей планеты, возникла вдруг «летающая тарелка» и зависла на несколько космических мгновений. Но за эти несколько космических мгновений на Земле закончилась бы зима, вскрылись бы речки, так что сидящий в «тарелке» «энлеошник» мог бы наблюдать весь цикл. И несомненно, его заинтересовала бы загадочность наших действий. Он увидел бы, как какие-то, бесспорно, очень целеустремленные существа копают яму, громоздят рядом с нею гору, а затем снова начинают спихивать вниз эту гору — на странное сооружение, поливаемое обильно водой. И вот итог, ради чего все это,— он увидел бы, как существа, взобравшись на сооружение, бережно подбирают с него мелкие блекло-желтые камушки и песчинки. И моментально, с помощью хитрого луча, произведя химический анализ этих камушков, космический пришелец воскликнул бы: «Господи! Да по всей нашей звезде из этого еще в доисторические времена сортировонадели!» Тут он сделал бы жест, идентичный тому, как у нас крутят возле головы пальцем, и, пробормотав: «Нет, рано, рано вступать в контакт с этой планетой!» — взмыл бы вертикально вверх... Очень явственно, читатель, увидел я вдруг эту картину и даже глянул невольно в небо, но было оно лишь по-зимнему серым, размытым и невыразительным... Из состояния задумчивости меня вывел Владимир Иванович, напомнивший, что пора нам возвращаться — автобус был нужен, везти людей на смену.

А в завершение этой главы, чтобы читатель, не в пример мне, не расположился к праздным мыслям, процитирую для ясности несколько строк из статьи одного магаданского ученого «О некоторых особенностях развития народного хозяйства Магаданской области», опубликованной в сборнике «История и культура народов Севера Дальнего Востока» (Москва, 1967):

«Каким образом должен быть решен вопрос о рациональной специализации района во всесоюзном разделении труда?

Отрасли рациональной специализации района будут развиваться при следующих условиях:

1. Если они выпускают продукцию с меньшими удельными затратами, чем другие районы страны (по расчету для потребителя). К таким производствам в Магаданской

области по современной оценке относятся рыбная промышленность, добыча олова.

2. Независимо от экономических показателей, если речь идет о продукции, аналогичной добываемой в других районах страны, но остродефицитной по балансу производства и потребления в СССР (добыча олова, ртути, пушное звероводство). Для этих отраслей особенно важны вопросы снижения себестоимости продукции.

3. Если речь идет о продукции не только остродефицитной, но и уникальной либо особо ценной, используемой для укрепления валютной или оборонной мощи страны (золото, редкие и рассеянные металлы и элементы)».

«Независимо от экономических показателей...» — сказано четко и дополнительных разъяснений не требует.

14

«Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которых решительно никто читать не станет». Сколько раз перечитывал я «Героя нашего времени», однако никогда почему-то не замечал и не помнил этой фразы, но вот недавно наткнулся — видно, прочитывал теперь глазами человека, замыслившего писать в жанре, где без «статистических замечаний» не обойтись. А станут их читать или не станут, это уже не мое дело, мое дело — исследовать предмет. Поэтому, вернувшись с Девицкого, я заглянул еще в сельсовет, нужны мне были кое-какие цифровые данные: жилье, миграция, сколько людей занято в сфере обслуживания, откуда приехали и т. д. Уже знакомый председатель сельсовета Николай Григорьевич Трищ начал с торжественного заявления, что «поселок молодой, его нет даже на карте». Действительно: средний возраст жителя Дальнего — 24 с половиной года, моложе, чем по всей Магаданской области, где средний возраст — 28 с половиной... Ну, что «нет на карте», это ни о чем еще не говорит, это, может быть, лишь о том говорит, что картографы медленно поворачиваются. Прииску — десять лет, вполне за это время мог бы и обозначиться. «Кстати, — подумал я, — ровесник «атомки», мог бы тоже памятную медаль себе отлить, благо очень даже есть из чего...» Да, а картографы, они небось под стать руководителям горно-промышленных объединений. Те рассуждают так: «Пожи-

вут там люди лет пять — дома им построим. Подтвердятся запасы на будущее — дорогу сделаем». Вот и картографы, наверное, выжидают: «Продержится этот поселок еще лет десять — пятнадцать, тогда и отметим, нанесем. Мало ли их, таких поселков...» Что же касается молодости... Сам Николай Григорьевич тоже был молод — лет двадцать пять, как раз вот этот «средний возраст», — и гордость его, созвучную бодрым газетным репортажам с молодежных строек, я понимал. И при зачинании стройки, зарождении поселка молодость — это славно, это в порядке вещей. Но в дальнейшем — хорошо ли? В 76-м году Дальний был даже «старше» — работали здесь крепкие мужики лет по тридцать — тридцать пять, самый возраст для «подземки»: стаж, опыт, зрелая сила и особенная, появляющаяся в человеке именно к этим годам двужильность, выносливость... Сейчас им по сорок — сорок пять, но где они? «Из старожилов осталось процента три», как засвидетельствовал «мэр». Остальные уехали, так как другой стоящей работы, кроме горняцкой, здесь нет, да и сам поселок не приспособлен для того, чтобы оставаться в нем «на всю жизнь». Так что порекомендовал бы я Николаю Григорьевичу прибавлять: «вечно молодой...» Но что Дальний? Взять хоть Билибино с его городскими благоустроенными квартирами — не надо никакой статистики, пожилых людей тут раз, два — и обчелся. А настоящих стариков — один Глазырин... Может быть, в последующие годы они и появятся, то есть останутся здесь, приживутся — из молодого поколения, народившегося уже на Чукотке, — построен в поселке хороший больничный комплекс, профилакторий, бассейн, выдают талоны на диетпитание, еще, несомненно, придумают какие-то специфические льготы для ветеранов Севера, но для тех, кто пришел сюда тридцать лет назад, на пустое место, и дал жизнь современному поселку, порядочно подсократив при этом свою собственную, — для тех его теперешние блага несколько запоздали. И что еще немаловажно — нечего тут делать пенсионеру. Помню, в разговоре с руководителем одного из билибинских предприятий промелькнуло даже такое выраженьице: «Отрицательный момент ветеранов». «Что за «момент»?» — поинтересовался я. «Отдачи мало, а уважения требуют», — пояснил руководитель. Тут мысль моя обратилась прежде всего к Деду, я глядел на моего полного сил собеседника, заботящегося, разумеется, об «интересах производства», и думал: «Эх! Попал бы ты на Север в возрасте, когда отсюда уже уезжают, отдал бы ему сорок лет, исходил бы пешком, искощил

пол-Колымы и Чукотки, да еще в те годы, да... Как это они тогда пели? «Если сопки становятся белыми, если сделан шурфовочный план, собираите кувалды с зубилами, возвращайтесь в любимый Сеймчан!» Да, интересно, каким бы ты сейчас был, и вообще — был ли? А Григорий Сергеевич и до сих пор тут живет и работает! Да одно то, что он тут живет, — уже самая главная его отдача! Не говоря уж о музейной, о воспитательной работе, один его вид — пример и урок подрастающим билибинским детям и всем нам. Таких людей не осталось почти, их в Красную книгу заносить надо!..» Но я не стал объяснять это моему собеседнику — ведь если человек сам не понимает таких вещей, ему и не втолковать...

Что еще любопытного сообщил Николай Григорьевич? Что 75 процентов жителей Дальнего — украинцы, 25 процентов — «остальные». Он и сам со Львовицами, год поработал слесарем на монтаже промприборов, потом избрали председателем, и вот пять лет — «бессменно»... Сказал, что мою знакомую Веру Владимировну Потапенко — она с первых дальненских дней работала здесь пекарихой, я писал в «Городе тысячи мужчин», как плотники вокруг ее печи стены ставили, а Вера Владимировна тем временем пекла, — так вот, проводили ее в прошлом году на пенсию, «ковер ей подарили на прощание: три метра на два». Я пожалел, что не застал Веру Владимировну. «Ковер ей подарили», — повторил Триц. С таким значением поминал он про этот ковер, что я спросил: «Дефицит?» — «Нет, уже нет. Теперь ковры свободно. Сейчас дефицит — меховая одежда, детские шубки, женская обувь, меховые сапоги, шапки, детские игрушки, художественная литература...» — со знанием дела перечислил Николай Григорьевич, будто не председателем исполкома был, а начальником УРСа. Объяснялась его осведомленность однако просто. «Все склоки в поселке в основном из-за барахла. Исполком взял на себя... стараемся распределить справедливо, составляем списки. Социализм — это ведь справедливое распределение?..» — так, не то утвердительно, не то вопросительно, заключил Триц. Тут я хотел спросить, отчего это меховая одежда, столь необходимая на Севере вещь, вдруг превратилась здесь в дефицит. Вон у нас в Уэлене двадцать лет назад висела в магазине спокойно, и каждый свободно мог купить. Однако вряд ли Николай Григорьевич сумел бы мне на этот вопрос ответить. Хотел еще спросить, почему склоки пошли из-за «барахла», даже если и сделалось оно дефицитом, неужели так измельчал

северянин за эти годы?! Вон у нас в Уэлене... — но вспомнил одного своего уэленского товарища. Жил он те самые двадцать лет назад в крохотном домике чуть ли не из фанеры, оббитой толем, и вся немногая мебель — стол, кровать и табуретки — была у него самодельная, и электричество в полночь вырубалось, и вода по утрам замерзала в тазике под умывальником. Что же касается «барахла» — надо ли продолжать... А десять лет спустя, когда я вновь приехал в Уэлен, товарищ мой обитал уже в двухэтажке, в двухкомнатной квартире с батарейным отоплением, и свет был круглосуточный, и печку ему не надо было то и дело кочегарить, и о воде заботиться — воду, а зимой наколотый лед с речки, коммунхоз доставлял прямо к подъезду. И все стены в квартире были увешаны вот этими злосчастными коврами, а те, которые некуда было повесить, свернутые в рулоны стояли в углу, привалившись друг к другу. Но мы были товарищи, и я не стал спрашивать хозяина, зачем ему столько ковров. Справедливости ради надо сказать, что он помнил и любил свою прежнюю неустроенную жизнь. Сидели мы как-то у него, магнитофон крутился, звонил то и дело телефон — да, тогда в квартирах уэленцев только что установили телефоны, и они не привыкли еще к этой игрушке, называли друг другу поминутно для разговора вроде: «Володя, это ты? А это я, Петро. Ты как, нормально? И я нормально. Ну, давай, будь!» — так вот, сидели мы, и товарищ мой, поглядев тоскующе в окно, где недвижным монолитом чернела полярная ночь, вдруг сказал: «На материк пора подаваться». — «Что так?» — спросил я. «Да разве это жизни!» — «А помнишь, как снег пилили на сопке, по пурге в гости друг к другу пробивались, сидели при свечах до утра?..» Как он оживился, заулыбался! «Да, вот тогда была жизнь!..» Но это речь о давнем северянине, которому есть хоть о чем повспоминать, а вот нынешние, недавно приехавшие, — что они вспомнят, окунувшись разом на Севере в «склоки из-за барахла»? Однако и этого вопроса я не стал задавать Николаю Григорьевичу, лишь поинтересовался не без умысла: «Вот в первые годы дефицитом на Дальнем был обычновенный кусок мыла. Так что, лучше стали жить люди?» Ответить он не успел, пришла женщина выписывать комбикорм для свиней. Эту заботу исполком также возложил на себя. Распределяли из расчета по два килограмма на голову в день. «Так... Сколько у тебя голов?» — строго осведомился председатель. «Та як? Правду сказать чи сбрехать?» — лукаво пропела посетительница, покосившись на меня. «Как хочешь. Все равно

выдаем только на две головы. На остальных получишь в торге...» «Порядок такой, — пояснил мне Триц, когда женщина ушла. — Для себя могут держать двух свиней, на остальных заключают договор с УРСом. Там им под договор тоже выдают комбикорм. Торг завозит шестьдесят тонн да прииск для себя — восемьдесят, ежегодно». — «Так лучше, значит, стали жить люди?» — повторил я. «А как же? Раньше «Спидола» была предел мечтаний, а теперь дальненцы из отпусков японскую аппаратуру привозят за несколько тысяч! Личные подсобные хозяйства вот завели, теплицы. Конечно лучше!» — мгновенно отозвался Николай Григорьевич, глядя на меня с такой убежденностью и вместе с тем с таким недоумением — стоит ли, мол, спрашивать об очевидной вещи? — что я невольно ему позавидовал. Ибо сам я, как читатель, видимо, уже понимает, не мог утверждать это столь же безоговорочно.

Тут вот что, в этой лучшей жизни, настораживало, бросалось в глаза всякому, знавшему прежний Север, — это появление здесь «делового человека». Я бы даже так выразился — «очень делового». Ибо как все на Севере с коэффициентом — цена завозимых товаров, себестоимость производимой продукции, зарплата, — так и «деловой человек» тоже с «коэффициентом», так сказать, «в северном исполнении». Вдвойне, втройне, в несколько раз более деловой, чем его собрат на материке. Но, может быть, это не совсем верно, скорее всего, в деловитости они равны, и точнее в данном случае говорить о степени одержимости или о северной специфике... На материке «деловой человек» возник гораздо раньше, давно уже мы читаем о нем обличающие статьи и фельетоны, а вот на Севере — буквально в последние годы. Север в этом отношении продержался как-то подольше. Отдельные экземпляры «деловых», конечно, и прежде встречались, но столь редко, разрозненно, что всерьез не воспринимались на общем фоне и к «деловитости» их прочие северяне относились даже снисходительно, как к чудачеству. Теперь же «деловой человек» распространился по Северу и заявил о себе настолько, что его уже можно считать явлением социальным... Но тут, чтобы не быть неправильно понятым, следует оговориться. Мы ведь подчас склонны подозревать и упрекать уехавших работать на Север в каком-то особенном пристрастии к «длинному рублю». Не так ли, читатель? Я, правда, этого никогда не делаю и, более того, полагаю несправедливым — даже если человек сам мне скажет: «Да, я приехал за длинным рублем». Для меня он все равно не «деловой», а обычный

северянин, получающий свой обычный «длинный рубль», то есть установленную государством двойную зарплату плюс также полагающиеся северные надбавки. «Деловой» же человек нынче не таков, он на просто «длинный рубль» плевал, потому что ему теперь нужен «очень длинный»... Что же он собой представляет, этот народившийся вдруг северный вариант «делового человека»? Запомнился один давний разговор за обедом в билибинской «Золотинке». Подсел со своими тарелками... парень не парень, лет около тридцати, но в наше время и в этом возрасте называют парнями, в лице к тому же что-то еще не завершившееся, неустойчивое. Потом узнал я, что родом он из Белоруссии, из пограничного с Польшей села Рубеж, все родные погибли в войну, семьи до сих пор не завел. В шестнадцать лет завербовался в Сибирь, набавил себе два года, с тех пор и ездит... Но это потом, когда разговорились, а началось с того, что я заметил у него на пиджаке значок с надписью «Валдай».

— Бывал там? — спросил я.
— Нет. Просто значок понравился. А вы были?
— Был.
— Ну и как там?
— Красиво. Лес, озеро. Остров на озере, монастырь.
— А люди, люди как живут?
— Нормально.— Я покал плечами.— Как везде, на-верное.
— Не скажите. Везде по-разному. Например, в южном Казахстане люди живут отлично. А в северном — хуже. В Новосибирской области — опять лучше.
— А в Билибино? — спросил я, чтобы уяснить себе его критерий.
— Не знаю. Я здесь месяц... Мяса вот нет.
— А сюда откуда?
— С прииска «Весенний».
— Там хуже, чем в Билибино?
— Вообще. С жильем, с питанием...
— А на Чукотку откуда?
— С Колымы.
— И надолго думаешь?
— Посмотрю...

Тот самый, «деловой», скажете, человек? Нет, совершенно напротив, это очарованный странник какой-то, созерцатель, и с места на место он переезжает не с конкретной целью, зацепиться где-то, «где лучше», и осесть, но он романтик в своем роде и так и будет скитаться, завор-

женный вот этим непостоянством, пестротой, мозаичностью картины «как люди живут». А у самого у него, кроме чёмоданчика с кое-каким дорожным баражлом, наверняка ничего нет... Но даже если бы он, постранствовав, вернулся, допустим, в запомнившийся ему южный Казахстан и зажил бы, как все, «отлично», все равно в нашем понимании он вышел бы не «деловой», не истинно «деловой» человек. Ибо истинно «деловой» не выискивает, где люди живут лучше, а скорее наоборот — он приезжает, видит, что живут еще так себе, и остается, соображая, какую из этого «так себе» можно извлечь пользу. И извлекает. Овощей нет — строит теплицу, тушеника всем надоела — заводит свиней, шапок приличных нет, за кроличьими и то очередь, а собаки, граждане, на что? Отлавливает беспризорных, у которых мех подлинней, покрасивее, пооткармливает еще маленько, чтоб заблестел, — и давит на те же шапки. Когда же собака не беспризорная, но очень хорошая, может и украсить. Недавно вот в Анадыре у доктора Саши Вольфсона ньюфаундленда украли, единственного в городе, все его знали. Не для того, конечно, украли, чтоб с ним прогуливаться... Но это, конечно, крайний случай, исключительный, а вообще-то «деловой» человек вкалывает честно и не щадя себя. Чего-чего, а работать он умеет, в этом ему не откажешь. Та же теплица, те же свиньи сколько сил требуют, то же совместительство. И не на каких-то там двух работах, а минимум на трех, бывает, и на четырех. В совместительстве опять заложена ситуация «так себе» — «так себе» с рабочей силой. С материка нужного работника не вызовешь, потому что жилья ему нет, тогда, к'элюкъым мин'кыри, что ж делать, придется обращаться вот к этому, который уже приехал. И он, зная это, еще заставит себя поуговаривать, набьет цену. Причем устремлений своих, своего, как обозвали бы моралисты, «хищнического нутра» он и не скрывает, — во-первых, в условиях замкнутого северного существования от людей вообще ничего скрыть нельзя, а во-вторых, «деловой человек» еще чувствует некую свою правоту, точнее же так: он очень тонко ощущает, что не его вина в том, что он появился...

Впрочем, что ж особенно распространяться о природе и многотрудной жизни «делового человека» — они по сути своей такие же, как на материке, и неоднократно описаны. И все-таки в северном варианте этого типажа есть, повторяю, своя специфика. Прочел я недавно повесть чукотского журналиста и писателя Юры Скоробогатова, в которой рассказана история молодой семьи, приехавшей по догово-

ру на Чукотку. Наметили они себе за несколько лет заработать определенную и вполне реальную сумму. Но постепенно герой впадает в соблазн, входит во вкус северных заработков, устраивается еще на одну работу помимо основной, потом еще на одну. Отдежурив в «пожарке», бежит кочегарить в котельную, потом на берег — срочно разгружать подошедшую «коробку», а ночью с такими же энтузиастами «очень длинного рубля» еще строит кораль для забоя оленей. Хорошо прослежено в повести, как из начинаяющего шабашника, мечтающего, чтоб его заметили, только бы взяли в бригаду, герой сам превращается в предводителя, лидера, нюхом чувствующего, где и на чем можно урвать, умеющего поговорить с работодателем и отстоять свои интересы, как появляется в нем эдакая цепкость, жесткость. И законов он при этом отнюдь не преступает, напротив, очень внимательно прочитывает журнал «Человек и закон» — чтоб «соответствовать». Дома почти не бывает, некогда, жена от такой жизни сбегает, а герой находит себе повариху из детского сада — не без пользы для затеянного им свинарника... Повесть знаменательная. Маленький этот поселок, описанный Скоробогатовым, я хорошо знаю. Расположен он в удалении от бурно развивающихся чукотских промышленных центров, жили в нем всегда несколько обособленно, тихо, по-северному спокойно. И вот пожалуйста — такие накопительские страсти!.. Сам Юра по натуре романтик, нежная душа, Чукотку, как и большинство из нас, собратьев по перу, любит за сохранившуюся здесь еще возможность соприкоснуться с первозданной природой, «услышать биение ее сердца», помыслить в одиночестве, ощутить всю полноту бытия. Мог он целую колонку в газете, где работал, занять описанием паучка, выползшего на весенний тундровый снег. Или оповестить читателя с радостью, что знакомая всему поселку бродячая собачонка оценилась — там-то и там-то, на задворках такого-то дома, — и сколько у нее щенков, какого они цвета... И когда уж Юра взялся за такой, вроде бы не органичный для него сюжет, стало быть, действительно допекло, стало быть, и туда, в отдаленный угол, докатилось, распространилось это «свинство»... Да, так вот, а что касается основного различия между северным «деловым человеком» и его материковским единомышленником, то оно, на мой взгляд, таково. Если материковский может позволить себе некоторую размеренность в делах, составить, так сказать, долгосрочный перспективный план, то у «делового человека» на Севере такой возможности нет. Перспективы

ный план тоже, конечно, есть, но весьма ужат во времени, ограничен теми несколькими годами, которые «деловой человек» себе для Севера отвел. Отсюда та одержимость в заработках, азарт, запал, гонка, как бывает в аккордной работе. «Деловой человек» четко осознал себя, свое здоровье, свою молодость как капитал, Север — как место для вложения этого капитала, и хочет использовать свой капитал как можно выгоднее...

Тут можно было бы написать целое исследование — о нюансах, различиях уже внутри самого северного «делового человека»: например, о тех, кто всякую нормальную жизнь откладывает «на потом», когда вернется на материк, и о тех, кто и на Севере устраивается с комфортом, еще о «неделовых деловых», если можно так выразиться, то есть о тех, кто заработать умеет, а потратить с толком не знает как и возвращается из отпуска снова на этот круг, можно было бы порассуждать о нашем двойственном отношении к «деловому человеку» вообще, но уведет это нас далеко. Я и вовсе не собирался отвлекаться на это явление, но, повторяю, очень уж стало бросаться в глаза, и именно здесь, на Севере. Поражает оно внезапностью и быстротой своего распространения, а также обнаженностью, доступностью для наблюдения. Потому что «деловой человек» на материке, скажем в большом городе, в некотором роде абстрактен. Продал он за какую-то там непомерную цену свои овощи, фрукты или цветы, завернул за угол и — является вид вполне респектабельный. А тут он — постоянно на виду, во всей реальности, со всеми издержками. Самая из них, я считаю, досадная и в первую очередь ощущимая — нравственного порядка. Поубавилось заметно той о с б е и н о й, в с е о б щ е й широты, простоты, доверительности, отзывчивости, открытости, которыми всегда отличался северянин в массе. Народ теперь на Севере, как и везде, разны... А жить он — что и говорить, прав Николай Григорьевич, — разумеется, стал лучше. В Билибино был я в одном доме, запомнились там помимо прочего великолепия интерьера обои японские, цветные, фотографические, с Фудзиямой во всю стену, настолько, казалось, взправившей, что хотелось тут же встать из-за стола и уйти к снегам на ее вершине. И не хватало, как я понял из беседы, хозяину этого дома только одного — маленького телевизора. Большой-то у него имелся, громоздился в гостиной с Фудзиямой, но ему еще нужен был такой маленький, переносной, чтоб его в кухне поставить, смотреть и чай пить.

Все, терпеливый читатель! Путешествие наше близится к завершению. В тот день на Дальнем, уж затемно, к вечеру, дошел я наконец до своей «нижней гостиницы». Это был отдельный дом на краю Кулаковки, из тех, «самостроевских». Проводивший меня товарищ сказал, что жил здесь в свое время бывший начальник участка. Человека этого, с восточной фамилией и замашками восточного же князька, я помнил по 76-му году и дом осмотрел с понятным вниманием. Три просторных комнаты, ванная, горячая вода набирается из отопительной системы, для холодной тут же бочка, над нею в стене — маленькая квадратная амбразура с дверцей. Придумано толково: если даже дома никого нет, шофер водовозки толкнет дверцу снаружи, и шланг попадает прямо в бочку. Полы в жилых комнатах также сделаны по уму, приподняты в сравнении с прихожей и кухней. Правильно — чтобы по ногам не дуло и от холодной земли подальше. У Сабитова в итеэрской палатке койка тоже стояла на чурбачках... Все окна изнутри закрываются аккуратными ставенками. Телевизор... ну, телевизор, наальное, позже появился. Вот так, значит, этот человек и жил в те палаточные времена. Да и по нынешним для Дальнего — роскошные хоромы... Вечер я коротал в одиночестве. Никого из старых знакомых не встретил я за этот день да и не искал — знал, что этих людей, работавших на прииске в самые трудные его годы, здесь уже нет. Еще в Билибино Анвар Шакирович Сабитов порассказал мне, кто где. Кто тут же, в Билибинском районе, только на других приисках, кто на материке. Вася Шодьогов, бурльщик из чуевской бригады, теперь на Широтном, работает в ВГСЧ — военизированной горно-спасательной части. «Лесные братья» уехали на материк, одного из них, Геннадия Сливаева, убили в городе Шахты Ростовской области — за аванс, за пятьдесят рублей... У Чуева несколько лет назад случилось большое несчастье — сын-десятоклассник погиб на охоте от случайного выстрела. Очень после этого сдал Николай Сергеевич... Бригадира Леню Мельника за его горячность, за своеобразный способ поддержания дисциплины судили, дали три года. Теперь он освободился, живет на Дальнем Востоке, работает опять бригадиром, только на строительстве, женился, получил квартиру. Пишет, что все, хватит, больше уж не собирается никуда... Бывший хозяин этого дома, превращенного в гостиницу, погорел на своих прегрешениях, исключили из партии,

сняли с должности. Сейчас, по слухам, на каком-то прииске горным мастером. «Горняк-то он все-таки был хороший», — сказал добрый Сабитов. Сам Анвар Шакирович на пенсии, живет на Встречном, возглавляет штаб добровольной народной дружины, переписывается с друзьями-фронтовиками. Получил от них в прошлом году на День Победы поздравительную телеграмму: «Боевому разведчику, участнику штурма более ста городов, в том числе Берлина и Праги...» Да... Но запомнившийся мне «бунгал» Мельника, где я жил в 76-м году, я все-таки попытался отыскать, в перерыве между осмотром Дальнего и поездкой на Девичий успел пробежаться по знакомой улице. Теперь она имела название Зеленая. И помнил я, что где-то он вот тут стоял, вон край обрыва над Тополевкой, и лиственницы целы, но какой именно — этот ли, соседний? — не мог определить. Все домики были покрашены, до неузнаваемости обросли пристройками, тамбурами. Выглянул парень, спросил, кого разыскиваю. Я не стал объяснять. На виду было лет двадцать пять, конечно, он не мог знать Мельника...

Работа моя — не только на Дальнем, но и вообще в районе — закончилась. И впервые за этот месяц сплошной езды, встреч и разговоров я расслабился, о делах не думал, никакого плана в своем блокноте на завтра не составлял. Утром должен был прилететь знакомый летчик Чубов, с ним я вернулся в Билибино, оттуда — в Магадан. Я подготовил себе ужин, как бывало, — банка тушеники, банка зеленого горошка, — заварил покрепче чай. И как посетовал когда-то поэт: «Я пью один, вотще воображенье вокруг меня товарищей зовет...» До меня тут проживала комиссия, приезжавшая по травме. Это можно было понять по оставленным на столе исписанным, исчерканным листкам. Поражала обстоятельность акта. Начинался он с общих сведений — вроде того, что прииск «Дальний» расположен в двухстах сорока километрах западнее поселка Билибино, — а заканчивался выводом: «Все нарушения произвел сам пострадавший Цилинченко В. И., поэтому он является непосредственным виновником несчастного случая». Зачеркнутые крест-накрест абзацы, вставки, сделанные разными чернилами и почерками, — видно, что авторы стремились в изложении к точности и строгости. Но и в таком, в черновом варианте листки внушали уважение, обладали непреложностью документа. Перепишут их набело, отпечатают на машинке, заверят подписями... «А очерк, — думал я, — пусть даже документальный, с конкретными цифрами, фактами, именами?.. Неблагодарный

жанр, он и в законченном виде будет всегда оставаться вечным черновиком. Потому что не успеешь еще дописать и тем более опубликовать его, а уже пойдут письма, звонки, поедут в отпуска билибинцы с новостями: такой-то больше не директор, вместо него тот-то, теплицы, наконец, сдали и в Билибино проводился первый «огуречный день», а перенос антенного поля по новым расчетам будет стоить не два миллиона, как раньше, а гораздо дороже, и т. д. Так что впору возвращаться и все поправлять. А за это время опять что-нибудь обязательно переменится. И так — ад инфинитум, до бесконечности... «Однако смысл и назначение очерка, — напоминал я себе, — вовсе не в воспроизведении этой длительности и переменчивости жизни, смысл — в сиюминутном ее облике, в запечатленных мгновениях, которые тоже тем не менее напоминают нам о быстротекущем времени, да еще как...» Еще я думал о том, что работа писателя-очеркиста очень сходна с горняцкой. Было уже, правда, подобное сравнение — ради, мол, «единого слова» изводишь «тысячи тонн словесной руды», — но там подразумевалась каторжность литературного труда, я же имел в виду исключительно технологию. Вот так же, как пески на прииске, нагребаешь гору разнообразной информации, затем начинаешь «мыть», добираясь до сути, и так же досадуешь, когда что-то остается неотработанным, уходит в «хвосты»...

Больше всего, конечно, жалеешь, что не рассказал о людях — не обо всех тех людях, о которых собирался рассказать. Об их умении трудиться, но главное, об их отзывчивости, доброте, готовности прийти на помощь, об их способности во всякое время, в любой ситуации оставаться человеком. Например, о буровом мастере АГРЭ Сергеев Федоровиче Безызвестных. Работал когда-то в Монголии и получил там орден Полярной звезды, потом, более четырех веков назад, приехал в Билибино, начинал здесь самую первую скважину, первый метр. Инициатор вахтового бурения, рационализатор, награжден орденом Ленина. А еще рассказать о том, как давно, еще в пятидесятых, какой-то помрачившийся работяга из его бригады, бывший зек, полчаса держал Безызвестных под наведенным ружьем, готовый в любую минуту выстрелить, а Сергей Федорович разговаривал с ним все это время — спокойно, по-человечески... Рассказать об инженере управления реактором на «атомке», Петре Петровиче Регере, которого я знаю с 72-го года, а сам он в Билибино с середины шестидесятых, с начала строительства БАЭС. Начинал диспетчером на стройке,

был секретарем комитета комсомола, два срока — секретарем парткома, в самое напряженное время, когда готовился и осуществлялся пуск реактора. Но все это — на виду у людей, а еще рассказать о том, что исполнился ему всего год, когда началась война и погибли родители, полтора года был в детдоме, потом его усыновили. Регер — фамилия его приемных родителей, а Петр — потому что отозвался тогда на Петю... «Я им всю жизнь благодарен», — говорит он. Поехал как-то в отпуск, навестил своих, и вот братья его и сестры — родные дети — завели вдруг такой разговор: ты, мол, столько лет на Севере, а ничего у тебя нет: ни кооперативной квартиры, ни машины... Тогда встал Регер-отец, вышел в соседнюю комнату, вернулся с тетрадкой и сказал: «Он все деньги нам высылал. У меня записано, сколько за эти годы... И этот дом на его деньги построен». Но не в том, я считаю, истинная благодарность и истинное понимание своего человеческого долга, не в деньгах, а в том, что у Петра Петровича двое детей, дочь и сын, и сын — тоже приемный... О летчике Анатолии Васильевиче Чубове. В Билибинском авиаотряде — пятнадцать лет. Пилот 1-го класса, командир звена вертолетов. Почетная грамота и именные часы от Министерства гражданской авиации. Сам с Урала. Работал на заводе, закончил Кременчугское летное училище. При распределении спросили: «На Чукотку поедешь?» — «Поеду». Аэропорт в Билибино был тогда старый — обыкновенный барак. Жилье — общежитие пилотов, но и в нем тесно. Вначале поселили в умывальной, потом перевели в сушилку. Потом — в комнату на пятерых. Только через несколько лет получил квартиру. Поехал на материк за сыном — сыну как раз в первый класс. На обратном пути, в Хабаровске, как всегда, аэропорт забит, люди на полу, на газетах noctуют. Увидел самолет с красным хвостом, обрадовался — свои, полярная авиация. Но пилот уперся: «Не могу, рейс грузовой, картошку везем». Хорошо, другой летчик оказался знакомый. «Я сейчас всю твою картошку вытряхну, а его возьмешь!» В салоне холодрыга, Чубов куртку, свитер с себя снял, на сына накинул. Прилетели тридцатого августа. А тут еще всякие медицинские справки нужны для школы, анализы. На материке недели бы две ушло. Однако на Севере — проще, за день все обегал, сделал, чтоб сын вместе со всеми в школу пошел — «первый раз в первый класс». А сына-то повел в школу товарищ, потому что самому Чубову пришлось лететь в этот день по санзаданию... О работе своей и тем более о «каких-нибудь запомнившихся случаях»

Анатолий Васильевич не говорит. «Вот выйду на пенсию — может, тогда...» Но в его производственной характеристике, я знаю, записано: «Летает смело, уверенно. В сложной обстановке действует хладнокровно...»

Да, и о многих еще можно было бы написать — кем жив, держится и будет держаться истинный Север. «Вот в другой раз, — обещал я себе, — так и сделаю: буду рассказывать только о людях и ни слова — о «проблемах». Потому что тональности тут разные. Для хороших людей — своя, а в «проблемы» начнешь влезать, сама собой навязывается и все забивает другая. И не соединяются никак эти тональности...» Но и проблемы — как их ни исследуй, сколько о них ни пиши — все не перечислишь. Да и к чему повторяться? Собирался я, например, поговорить еще специально о таких маленьких поселочках вроде Дальнего — какими бы им уже сейчас полагалось быть. О домиках для геологов... Но что бы из такого разговора вышло? Извлек бы я опять из своего архива кучу газетных вырезок — в том числе и начинающих желтеть, — в которых сообщалось бы, что для нефтяников, для геологов, для лесозаготовителей Севера и Сибири... уже разработаны проекты «необычных поселков»... из домов-блоков... с «максимумом комфорта» — вплоть до финских бань... «привезут дом вертолетом»... «лишь смонтируют, подключить к сети — и можно спрятать новоселье»... что дома такие и сборные поселки уже прошли испытания... уже выпускаются... на Тунгусском деревообрабатывающем комбинате в Николаевке (Еврейская автономная область), в деревообрабатывающем объединении «Вятские поляны» (Кировская область) и где-то еще... а харьковский институт Укргорстройпроект восемь лет назад вообще посулил северянам целую крытую улицу, по которой «в 50-градусные морозы можно ходить в летней одежде»... Да, так вот, привел бы я все эти давние и недавние бодрые заверения, а в заключение пришлось бы сказать читателю, что никаких таких «необычных» поселков, «улиц» и домиков на Чукотке до сих пор почему-то не видно. Но, может быть, это лишь Чукотка в такой заброшенности, а вот в Сибири, у нефтяников, вот там... Нет. Если судить по опубликованной совсем недавно в «Правде» статье начальника Мирненского управления буровых работ объединения Куйбышевнефть Р. Тативосова «Прилетает вахта на смену», на нефтяников поселки с вертолетов тоже не сыплются — изобретают и делают для себя сами. Так что разговор этот построился бы по той же схеме, как и про домики для оленеводов. А посему — оставим. И без того

уже можно подумать, что я — с одной критикой. Но это неверно. На одну критику всегда существует простой встречный вопрос: а сам-то ты где был, сам-то что сделал, чтоб было не так? Вопрос типа куваевского, которым он завершил свою «Территорию»: «Так почему же вас не было на тех тракторных санях и не ваше лицо обжигал морозный февральский ветер?» Очень сильно действующий на впечатлительное воображение вопрос, особенно если спрашиваемый не может ответить что-нибудь в этом же роде: «А потому что находился в это время несколько северо-восточнее и не было никаких саней, топали пешком!..» Конечно, все это — и вопрос, и ответ — отзыв той молодой убежденности, что Север — единственно достойное место для приложения сил, что только там «истинные харктеры» и «настоящая мужская» работа. Однако со временем этот северный снобизм проходит и начинаешь понимать, что, где бы человек ни жил, чем бы ни занимался, у каждого могут быть свои «тракторные сани» и свой «февраль». И если, допустим, верить по-прежнему в действенность слова, то можно сказать себе, что и на своем писательском месте что-то все-таки старался сделать — и для той же Чукотки...

Но и с твердой уверенностью в своей причастности к общей работе я все равно не с критикой, тем более не с критикой — я разобраться, понять хочу. Вот, например, комплексность, комплексное развитие производительных сил, о котором теперь в Магаданской области столько говорят. В тот последний вечер на Дальнем, перебирая, «перемывая» все свои накопившиеся за поездку впечатления, я думал, что это пока еще не настоящая комплексность. Ибо понятие «комплекс» всегда означало совокупность, связь. А мы пока имеем дело, скорее, с множественностью направлений в экономике. Развиваются традиционные для области отрасли промышленности и сельского хозяйства, и возникают новые, но координации между ними еще нет. Нет координации, как мы видели, даже внутри одной какой-нибудь отрасли. Строятся промышленный объект, но задерживается строительство жилья, увеличивается мощность электростанции, но сокращаются капиталовложения на строительство ЛЭП, и т. д. В этом смысле, осмелюсь сказать, даже существовавший некогда «Дальстрой» и то был ближе к идее комплексности. Открывалось, к примеру, месторождение — и строилось одновременно все необходимое: морпорт, дорога, электростанция, комбинат, поселок. Возникала нужда в продовольствии — «Даль-

строй» организовывал совхоз. Другое дело, конечно, какими методами все это осуществлялось... Сейчас тем не менее в основе поиска ученых-экономистов также лежит принцип самостоятельного, единоначального органа управления. Так, в монографии «Совершенствование регионального планирования в районах Севера СССР» (Москва, 1982), написанной сотрудниками лаборатории экономики и организации промышленного производства СВКНИИ Б. Краснопольским, А. Цуриковым и Г. Ядрышниковым, в качестве такой самостоятельной экономико-организационной системы предполагается ГПКР — горнопромышленный комплекс района, поскольку горнодобывающая промышленность по-прежнему остается ведущей в Магаданской области. Но в данный комплекс включаются еще и другие, обеспечивающие отрасли: топливно-энергетическое хозяйство, машинно-ремонтные предприятия, геологоразведка, строительство и база строиндустрии, транспорт, сельское хозяйство и т. д. Собственный орган управления ГПКР отвечает за все вопросы, связанные с созданием комплекса и его функционированием. А подчиняться он должен, по мысли авторов монографии, «министерству, руководящему основной отраслью данного комплекса», то есть Минцветмету. Вот такой проект. Насколько он реален и в какие сроки может осуществиться, трудно сейчас судить, потому что в этой же работе, в самом ее начале, сказано определено: «На современном этапе развития экономики СССР еще не найдены формы в достаточной степени рационального сочетания отраслевого и территориального планирования, при помощи которых в принятии и исполнении плановых решений реализовывались бы народнохозяйственные интересы, являющиеся интересами более высокого ранга, чем отраслевые и региональные». Иными словами, в наличии пока что «ТПК — территориально-промышленный комплекс неполноценности», как расшифровывает один мой друг, писатель, тоже занимающийся этими проблемами... Но даже простая множественность направлений, задача всестороннего развития производительных сил, которую поставила перед собой в последние годы Магаданская область, — это, несомненно, шаг вперед. Ибо это означает, что область уходит от сковывавшей ее в предыдущие десятилетия узкой специализации, перестает быть на положении иждивенца, когда из других районов страны приходилось завозить практически все. Что же касается межведомственной, межотраслевой разобщенности — эта проблема в одной отдельно взятой области, сами понимаете,

не устраивается, решается она в масштабах всего государства. И к тому времени, когда отыщутся те самые «формы рационального сочетания» в планировании, учитывающие народнохозяйственные интересы «более высокого ранга», то в Магаданской области уже тоже будет что сочетать, увязывать воедино, верно?..

Чем бы хотелось завершить?.. Перед сном я вышел из домика, постоял на крыльце. Огоньки поселка соединялись в слабое зарево, и я представил на минуту, каким, должно быть, нереальным среди объемлющего мрака выглядит это мерцающее пятнышко с пролетающего высоко самолета. Кругом из сугробов торчали закухтанные лиственнички, по новогоднему искрился снег, северное сияние светилось призрачно над Дальним — как и восемь лет назад, вот так же в марте. И вот удивительно: ведь неподалеку безостановочно грохотала ДЭСка, но я гораздо позже, только в воспоминании, услышал этот грохот, а в тот вечер как бы отключился — была тишина... «Ни на что бы не отвлекаться, — думал я, — ни на Билибино, ни на Омолов, а сразу сюда и жить бы здесь весь этот месяц, писать... что-нибудь далёкое от Чукотки... например, о детстве на Пресне...» Еще я ловил себя на противоречивости желаний: да, безусловно, я хотел бы, чтобы этот поселочек, как и многие другие, известные мне по Северу, выглядел «в идеале»: голубел бы тут за огромными стеклами бассейн, зеленел зимний сад... Но — и не хотел бы... То есть, вернее, так: тогда бы меня сюда не тянуло. Потому что сам-то я любил Дальний именно таким, каким он был и оставался сейчас, потому что он напоминал мне мой Братск 57-го года и нашу замечательную общагу посреди леса, на поляне, а потом Устье Ильма и зимовье на берегу Ангары, где жила наша буровая бригада, напоминал Уэлен и мою комнатушку в старом учительском доме, в которой едва умещались койка, стол и стул... Я вспоминал, как снова приехал в Уэлен через несколько лет, его намеревались перестраивать, был фантастический проект, собирающий всех чуть ли не под одной крышей, мне этот вариант не нравился, и я толковал о нем со своими друзьями, которые по-прежнему жили там. Один мой друг был сугубый хозяйственник и рационалист, он упирал на дешевизну проекта, доказывал, что сократятся таким образом коммуникации, которые на Севере обходятся дороже, чем сами дома. Я же, всерьез почему-то уверовавший, что «новый» Уэлен не замедлит осуществиться, говорил с озабоченностью о гармонии с окружающим ландшафтом, о необходимости учитывать национальные традиции эски-

мосов и чукчей... И вдруг второй мой товарищ, слушавший наш спор молча, сказал первому: «Неужели ты не понимаешь? Он просто хочет, чтоб все было, как тогда...» Я, разумеется, пустился возражать, что это не совсем так, сослался даже на «спираль развития», возвращающую нас к старому, но на «качественно новом уровне», — и все это вместо того, чтоб честно признаться себе и им: конечно, кто же из нас, переживший счастливое время в каком-то месте, не хочет, чтоб все оставалось там как т о г д а?.. Просто я раньше моих друзей уехал с Чукотки и поэтому раньше, чем они, прочувствовал этуnostальгию. А потом и они, тоже очнувшись на материке, начали писать в письмах о «светлой и чистой памяти» об Уэлене, о «лучшей части жизни», прожитой там. Да и все мои очерки разве не такие же письма?.. «И пока еще будут на Чукотке такие поселки, — думал я, — и такие люди, как мои друзья, я буду возвращаться...»

Наутро, как и обещал, прилетел Чубов на своем «МИ-8». У него здесь была работа — ставить опоры для ЛЭП. Они лежали вдоль широкой просеки, присыпанные снежком. Сквозь люк в салоне и сквозь метель, поднятую винтами, было видно, как рабочие цепляют опору к болтающимся тросам, как начинает она медленно вставать. Я пристроился на место бортмеханика, надел наушники. Лицо Чубова было сосредоточенным, он не мог видеть, что творится внизу, но в наушниках звучали команды оператора с земли, и по этим командам я чувствовал напряжение Анатолия Васильевича и понимал, насколько ювелирной была сейчас его работа. «Троса натянуты... Десять градусов опора... Тридцать градусов... Сорок... Девяносто! Отываем... Груз оторвали... Влево четыре метра... Ищут лунку. Висим пока... Вправо метр... Полметра влево... Вперед метр... Стоп! Опускаем... Пошли... Нормально стоит... Распугивают... Все! Вверх уходим, Васильич, уходим вверх!..» Потом мы возвращались в Билибино. Обзор из кабины открывался разом далеко вперед, и в обе стороны, и вниз, и вверх — вот здесь-то и можно было ощутить по-настоящему, что летишь. Но вертолет, казалось, не двигался, парил неподвижно, это земля медленно поворачивалась нам навстречу — снова со своими сопками, редколесьем, одинокими деревьями, речными долинами, белыми округлыми провалами тундровых озер, и снова они, как было написано уже задолго до нас, «вперяли в мысль нашу восторг».

Чукотка, февраль — март 1984

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Известно — предисловия пишутся для читателя. Чтобы кратко предварить его о замысле книги, о ее сути. Но для чего послесловие? Если в самой книге не сумел сказать всего, что хотел, значит, книга не удалась и никакое послесловие тут не поможет. Тогда признаюсь, что послесловие автор пишет, по-моему, исключительно для себя. Есть ведь французская поговорка: «Уезжать — это немного умирать». Как всякий афоризм, она оставляет простор для толкований. Первый, на поверхности, ее смысл таков, что, уезжая, ты умираешь для покидаемой тобой жизни, исчезаешь из нее. Замечательно это выражено, еслипомните, у Толстого, в заключительных строчках «Казаков». Оленин, навсегда уезжая из станицы, напоследок оглядывается и видит: «Дядя Ерошка разговаривал с Марьяной, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него». В самом деле, Оленин уже не существовал для этих людей. Надеюсь, что у меня с Чукоткой не так. Это место для меня не случайное, я там жил, работал, там был мой дом, родились дети, выросли мои ученики, остались и живут до сих пор друзья... Но есть еще один смысл: уезжая, ты сам внутренне собираешься, настраиваешься на несиюминутные мысли, подводишь итог увиденному и пережитому и чувствуешь, что какой-то кусок твоей жизни навсегда отделяется от тебя и безвозвратно уходит с ним частичка твоего «я». А это каждый раз, сами понимаете, печально. Может быть, поэтому, уехав, я обязательно старался вернуться в любимые места, когда же не удавалось тотчас осуществить это в действительности, я писал о них, чтоб все равно возобновить ту жизнь, а заодно и самому в ней «немного воскреснуть»... Однако написать книгу — это, я считаю, тоже «немножко умереть». Не знаю, как для других писателей, но мое ощущение таково. Творчество не только самоутверждение, как полагают, но в еще большей степени оно — самоотрицание. И в написанной книге — пусть даже речь шла о самых радужных, счастливых событиях — такая же грусть итога и расставания, как в отъезде. Вот потому-то и берешься сочинять послесловие — не для того, чтобы что-то добавить к сказанному, но чтоб просто еще побывать, задержаться на последней страничке.

Современная наука характеризует пространство как многообразие мира в данный момент времени, а время

определяет соответственно как многообразие мира в данной точке пространства. Так вот, если принять Чукотку за «данную точку пространства», то можно считать, что, возвращаясь туда беспрестанно, глядываясь в различные мгновения ее жизни и пытаясь их запечатлеть, я тем самым старался уловить время. В той мере, конечно, в какой позволял это избранный жанр, в той мере, в какой это возможно одному человеку и насколько это вообще возможно — уловить время. В этом смысле, должен признаться, я считаю свою книгу незаконченной. Да, написанной, но незавершенной. Ибо завершенным может быть только вымысел, о реальных же местах, событиях и людях, о жизни действительной можно рассказывать бесконечно. Потому что и сейчас, когда я ставлю точку, продолжается и впредь будет продолжаться эта жизнь, и большинство моих героев по-прежнему работают и будут работать на Севере, и все так же будут лететь над чукотскими горами вертолеты, идти по тундре вездеходы с геологами, грохотать в билибинских распадках бульдозеры, плыть по морю вельботы с охотниками, и неизменно каждую осень на уэленский берег будут накатываться все новые штормы, а зимой — проноситься над ним новые пурги. И подобной бесконечной незавершенности можно только радоваться — ведь она, помимо всего, означает, что и сам ты в любой момент или кто другой можете вернуться и вновь окунуться в эту прекрасную, не отпускающую от себя жизнь. А посему закончу одним коротким воспоминанием. Однажды зимой, когда я был в Магадане, пробился в закрытую льдами Нагаевскую бухту необыкновенный корабль. Огромный, красного цвета, он выглядел экзотически посреди белого пространства льда, и даже магаданцы, жители портового города, спрашивали друг у друга, что это за корабль стоит там, в бухте. Вскоре из репортажа в «Магаданской правде» все узнали, что это какой-то наш новый, сверхмощный ледокол. Прямо по льду подъезжали к нему грузовики... Я улетел по своим делам на Чукотку, а когда спустя месяц вернулся и отправился, по обыкновению, прогуляться к бухте, корабля там уже не было. Я спустился на лед, пошел по наезженной машинами дороге и дошел до того места, где она обрывалась, упираясь в кромку льда. Корабль ушел, видимо, недавно, место, где он стоял, едва затянулось тонким, чистым, дышащим льдом. Я долго стоял там, где закончилась дорога, смутно чувствуя, что вот эта кромка, эта граница о чем-то мне говорит, только не понимая пока о чем. И лишь когда снова поднялся на высо-

кий берег и оглянулся на прощание на давно знакомую бухту, белую, в окружении черных сопок, и увидел опять внизу эту потемневшую, подожженную мартовским солнцем дорогу, а сразу от нее и дальше — широкую, ровную голубоватую полосу, уводящую к горизонту, то понял, что передо мной наглядное воплощение старой истины: никакая человеческая дорога не кончается, она обязательно переходит в иную, новую, просто мы не всегда это сразу осознаем. На этой обнадеживающей нас мысли и расстанемся, читатель.

Март 1986 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ С ВОЗВРАЩЕНИЯМИ	3
ВНОВЬ НА РОСОМАШЬЕЙ РЕКЕ	50
КОСА, НА КОТОРОЙ СТОИТ УЭЛЕН	88
ОСТРОВ И ЗАПОВЕДНИК	120
ГОРА И ТРАССА	103
ПРОЩАНИЕ С УЭЛЕНОМ	238
СНЕГА БЫЛЫХ ВРЕМЕН	207
ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА	444